


АНАТОЛИЙ  
МАРИЕНГОФ

II



БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

АНАТОЛИЙ  
МАРИЕНГОФ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ТРЕХ ТОМАХ

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

# АНАТОЛИЙ МАРИЕНГОФ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ТРЕХ ТОМАХ

**ТОМ II**  
**КНИГА ПЕРВАЯ**

ПРОЗА

ЦИНИКИ

БРИТЫЙ ЧЕЛОВЕК

ЕКАТЕРИНА

ПИРОГОВ У ГАРИБАЛЬДИ

РОМАН БЕЗ ВРАНЬЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

**ТЕРРА**  **ТЕРРА**  
ИЗДАТЕЛЬСТВО | PUBLISHING HOUSE

 **КНИГОВЕХ™**  
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)1  
М26

*Внешнее оформление художника*  
**А. БАЛАШОВОЙ**

**Мариенгоф А. Б.**

**М26** Собрание сочинений: В 3 т. Т. 2; Кн. 1. Проза; Мемуары; Комментарии / Вступ. ст. Т. Хуттунена — М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. — 672 с.

ISBN 978-5-4224-0739-2 (т. 2; кн. 1)

ISBN 978-5-4224-0737-8

Анатолий Борисович Мариенгоф (1897–1962) – писатель, поэт, драматург, один из основателей ярчайшего литературного течения Серебряного века – имажинизма. Многие работы А. Б. Мариенгофа долгое время были неизвестны читателю. Данное издание является первым собранием сочинений писателя, где в наиболее полной форме представлено все его литературное наследие: от произведений для детей до пьес и мемуаров.

В первую книгу второго тома собрания сочинений включены наиболее яркие прозаические произведения писателя, в том числе знаменитые романы «Циники» и «Бритоголовый человек».

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)1

## *Собрание сочинений в трех томах*

ТОМ ВТОРОЙ

*Книга 1*

Редактор *О. Хвилько* Художественный редактор *А. Балашова*  
Технический редактор *О. Стоскова*. Корректоры *О. Белова, Е. Пастухова*  
Компьютерная верстка *А. Деева*

Подписано в печать 16.08.13 г. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная.  
Гарнитура «Балтика». Печать офсетная. Усл. печ. л. 35,28. Уч.-изд. л. 33,96.  
Книжный Клуб Книговек. 127206, Москва, Чуксин тупик, 9. [www.tepa.ru](http://www.tepa.ru)  
Отпечатано BALTO print. [www.balto.lt](http://www.balto.lt). [www.baltoprint.ru](http://www.baltoprint.ru)

© А. Мариенгоф наследники 2013

© Т. Хуттунена вступительная статья, 2013

© О. Демидов, состав, комментарии, 2013

© Книжный Клуб Книговек, 2013

ISBN 978-5-4224-0739-2 (т. 2; кн. 1)  
ISBN 978-5-4224-0737-8

## «Автофикшн» Анатолия Мариенгофа

Во второй половине 1920-х годов поэт-имажинист Анатолий Мариенгоф перешел от поэзии к прозе. Это произошло сразу после того, как покончил с собой его близкий друг поэт Сергей Есенин и распалась имажинистская поэтическая группа. Тем не менее переход был постепенным, в промежутке Мариенгоф поработал для театра, написал пьесы и статьи о театре. Он пробовал тоже свои силы в кино, поработал в сценарном отделе «Пролеткино» и писал киносценарии, как очень многие литераторы в те годы. Но с поэзией он простился, как он констатировал в своей анекдотической автобиографии «Без фигового листочка» (1930):

*К тридцати годам стихами я объелся. Для того, чтобы работать над прозой, необходимо было обуржуазиться. И я женился на актрисе. К увлечению, это не помогло. Тогда я завел сына. Когда меня снова потянет на стихи, придется обзавестись велосипедом или любовницей. Поэзия не занятие для порядочного человека.*

Известного утонченного денди, щеголя и длинного красавца Мариенгофа постоянно волнует возраст, поэтому и творческие изменения часто связаны у него с собственными круглыми юбилеями. И так, согласно его автобиографическому мифу, когда ему исполнилось 30, он перешел к прозе и написал «Роман без вранья». Когда 40 — готовились «Записки сорокалетнего мужчины». К 50-летию пишется «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги», а к 60-летию — «Это вам, потомки!».

Своим переходом к прозе, связанным с новым ориентиром русской читающей публики, тридцатилетний Мариенгоф отражает известный исторический процесс в русской литературе — переход от поэзии к прозе и сближение их языков — и участвует в актуальной литературной ситуации, описанной Юрием Тыняновым в статье «Промежуток» в 1924 году: «Факт остается фактом: проза победила». Мариенгоф тоже говорил о подобных изменениях в литературной ситуации на одном

из любимых имажинистами литературных диспутов начала 1920-х годов, где он резко выступал против современных критиков. Подсудимыми были такие известные критики, как Петр Коган, который сурово критиковал имажинистов и боялся «мариенгофщины» среди пишущей молодежи, как многие его коллеги. Речь Мариенгофа называлась «Процесс правых казров. День 1666-й», и там он утверждал, что люди уже «не ходят на "Рогонца" и до иступленья посещают "Потомца и Перламутров", не читают поэтов и требуют Марка Криницкого: "уж если не роман, разрешающий проблемы пола, то хотя бы статейку его в "Известиях"».

Еще одним значимым этапом в мариенгофском переходе к прозе служит появление журнала «Гостиница для путешественующих в прекрасном», который выходил в 4-х номерах в 1922 — 1924 годах. Мариенгоф возглавлял этот роскошный, цветной, иллюстрированный имажинистский журнал, на страницах которого он сам часто появлялся как автор статей, манифестов, передовиц, стихов, писем или рецензий. Этот журнал был, как вспоминает имажинист Вадим Шершеневич, раскритикован за возрождение эстетизма, и за то, что в нем «очень чувствуется, например, подчеркнутый ультранациональный характер имажинизма». Шершеневич сам не участвовал в первом номере «Гостиницы», который имел многоговорящий во время большевистского интернационализма подзаголовок «Русский журнал». Декларации нового журнала напоминают о «неославянофильском» манифесте Есенина и Мариенгофа 1921 года, где они выступали против западного влияния на русскую литературу: «Первыми нашими врагами в отечестве являются доморощенные верлены (Брюсов, Белый, Блок и др.), маринетти (Хлебников, Крученых, Маяковский), верхарнята (пролетарские поэты — имя им легион)». Понятно, что Шершеневич, в том числе переводчик итальянского футуриста Ф. Т. Маринетти, такого не мог подписать.

Одним из достаточно неожиданных новых ключевых понятий имажиниста Мариенгофа на страницах «Гостиницы» становится загадочное слово «Академия». В статье «Корова и оранжерей» (1922) он писал: «Только академическое мастерство открывает путь изобретательному моменту в искусстве. Новаторское искусство всегда *академично*. Ибо под новаторством мы понимаем не ремесленный трюк, а движение искусства вперед». С одной стороны, появление нового понятия является откликом имажиниста на основание Российской академии художественных наук (РАХН, потом ГАХН) осенью 1921 года — вице-президентом Академии стал друг имажини-

стов, философ-феноменолог Густав Шпет. С другой стороны, академическое в искусстве означало для него борьбу против лирики, субъективизма, и от литературы требовались такие свойства, как «большая тема», «канон» и «монументальность».

Победа прозы над поэзией была одной из причин конца имажинизма как школы, если верить словам Вадима Шершеневича. О роспуске группы тот заявил официально только позже, но уже в 1922 году Шершеневич выступил с публичной лекцией на тему «Почему я перестал быть поэтом?». Тогда он занимался своим «Опытно-Героическим Театром» вместе с Борисом Фердинандовым. Мариенгоф уходил из поэзии позже. Однако имажинизма Мариенгоф окончательно не оставлял, так как его проза с разных сторон связана с имажинистской группой и поэтикой.

## 1.

К столетию Л. Н. Толстого в 1928 году в советской литературе искали «красного Толстого». Прозаик Мариенгоф в книге «Это вам, потомки!» неоднократно отождествлял себя с Толстым, находя в себе такого же автора исторической прозы, каковым был и Толстой. Ему показалось, что его и Толстого особенно волнует один и тот же вопрос — проблема вымысла и факта в литературе:

*Лев Толстой сообщил Лескову: «Совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли эта художественная изжила, повести отживают или я отживаю?» Это и меня (как Толстого!) преследует постоянно. Но я посамоуверенней Льва Николаевича. Я говорю: «К черту все высосанное из пальца! К чему валять дурака и морочить людей старомодными романами и повестушками». Впрочем, люди, по-настоящему интеллигентные, давно уж этой муры не читают, предпочитая ей мемуары, дневники, письма. («Это вам, потомки!»)*

Проблема вымысла и факта возникает при каждой книге прозы Мариенгофа, она была очевидным предметом его рефлексии. Его практически первой работой в области прозы были воспоминания о Есенине, вышедшие тетрадкой-приложением к журналу «Огонек» в 1926 году. Уже в 1927 году воспоминания Мариенгофа о Есенине вышли в отдельной книге «Роман без



вранья», который получил скандальную известность в России, а потом и за ее пределами. Среди воспоминаний о Есенине «Роман без вранья» — самая спорная вещь. Его не одобряют многие любители и знатоки поэзии Есенина, хотя одновременно этот роман всегда был драгоценным источником для любого есениноведа. Согласно автору, книга была написана «одним духом», примерно за три месяца. Может быть, «Роман без вранья» славится даже не тем, о чем или как в нем пишет автор, а тем, как он был воспринят. Его воспринимали очень часто как искажение образа Есенина, «роман не без вранья», «роман для вранья» или даже «вранье без романа». Таким образом, перед нами автобиография, которую хотели читать, как придуманный автором художественный текст, некий автобиографический вымысел или «автофикшн» (*autofiction*), как любят теперь в западной литературной критике говорить.

За два года до своей смерти, в 1960 году, Мариенгоф написал литературную композицию «Уход и смерть Толстого». Очевидно, толстовские цитаты служат для мемуариста-Мариенгофа некоторым литературным самоопределением и объяснением тому, что ему не удалось стать чистым беллетристом:

*Как-то Лев Николаевич сказал: «Возьмешься иногда за перо, напишешь вроде того, что "Рано утром Иван Никитыч встал с постели и позвал к себе сына..."», и вдруг совесть не делается и бросишь перо. Зачем врать, старик? Ведь этого не было и никакого Ивана Никитыча ты не знаешь».*

*Мне думается, что состояние это самое общеписательское, если, разумеется, писатель не форменная дубина. Именно поэтому я перешел от романов к мемуарам, к дневникам.*

*Сочинять пьесы тоже совестно. («Это вам, потомки!»)*

Как ни странно, та же проблема вымысла и факта — только наизнанку — становится центральной в случае первого художественного и, согласно многим, лучшего романа Мариенгофа «Циники» (1928). Это роман, который полон автобиографических аллюзий, подлинных документов и газетных текстов, исторических прототипов и намеков на реальные события. Таким образом, даже на уровне материала трудно говорить о «чисто» вымышленном романе.

В «Циниках» Мариенгоф пишет историю любви двух «циников» в Советской России в 1918–1924 годах. Это время военного коммунизма, Гражданской войны и начала новой экономической политики. Кроме того, это период активной

деятельности имажинистов: годы деклараций и первых революционных сборников, расхождения, разочарования и роспуска группы. Мариенгоф описывает жизнь двух героев как некое «отраженное существование» — их жизнь определяется отчуждением и конфликтной рефлексией окружающего исторического мира. Этим обосновывается чередование сюжета романа с хроникой документов и исторических записей. Таким же «отраженным существованием» можно описать и имажинистов в это время.

Герои «Циников» — два типичных для прозы 1920-х годов «лишних человека» прошедшей эпохи, живущих в послереволюционном мире: Владимир Васильевич, историк, который теряет свою работу, частичный alterego самого Мариенгофа, отчасти выдавшего в себе историка своего времени и летописца революции. Владимир ведет хронику жизни в разрушенном мире. Это соответствует его восприятию истории как перечня кажущихся не связанными между собой фрагментов. Его супруга Ольга Константиновна — сладкоежка и распутница. Она судит об изменениях в обществе по своим любовникам — во время военного коммунизма она спит с большевиком, во время нэпа — с нэпманом. Прообразом самоубийства Ольги служит любовная история имажиниста Вадима Шершеневича с актрисой Юлией Дижур. Ольга стреляет в себя в конце романа. Английский филолог-славист Гордон Маквей, автор великолепной биографии Есенина и многих пионерских работ по имажинистам, получил письмо от жены Мариенгофа, актрисы Анны Никритиной, которая подтвердила, что Юлия Дижур в возрасте 25 лет «кончила собой точно так, как в "Циниках"». Неудивительно, что Шершеневичу «Циники» не понравились по этой причине: «Впрочем, изданный за границей роман Мариенгофа "Циники" — еще неприятнее. Есть вещи, о которых лучше не говорить».

Нетрудно найти много более или менее очевидных пересечений между «Романом без вранья» и «Циниками». Можно даже говорить о «Циниках» как о некотором переводе «Романа без вранья» на язык художественной прозы. Эмигрантка Надежда Мельникова-Папоушкова в одной из первых рецензий «Циников» в 1929 году обратила на страницах пражского журнала «Воля России» внимание на вышеупомянутое соотношение «Романа без вранья» с «Циниками»: «В новом романе применен несколько иной прием, а именно, действительно существующие люди маскируются вымышленными именами, кроме того, читателя стараются сбить перенесением действия в иное место, чем в действительности. Не знаю, почувство-

вал ли А. Мариенгоф всю неловкость выворачивания чужой жизни под видом литературного произведения, проснулся ли в нем стыд или зашевелился страх перед возмездием, или наконец он просто решил заинтересовать читателя прозрачными масками». Этот прием Мариенгоф сам характеризует в тексте «Без фигового листочка»: «Не был ли я вынужден взять себе в учителя — сплетню. Если хорошенько подумать, так поступали многие и до меня. Но они об этом деликатно помалкивали. Например, месье Флобер. Какую развел сплетню про "Мадам Бовари"! Я обожаю кумушек, перебирающих косточки своим ближним. Литература тоже перебирает косточки своим ближним. Только менее талантливо.»

Примечательно, что в подобном ключе можно рассматривать соотношение второй части «Бессмертной трилогии» Мариенгофа с его «Бритым человеком», в котором тоже на языке художественной прозы трактуются многочисленные мотивы из биографии автора. Город Пенза играет в «Бритом человеке» значительную роль, и Лео Шпреегарт переезжает из Нижнего Новгорода в Пензу, как и Мариенгоф в 1913 году. К тому же Лео любит поэзию Блока, а любовь Мариенгофа к Блоку известна. В одной из многочисленных «Автобиографий» он пишет: «Стихи начал писать рано, со второго или третьего класса. Со своими друзьями издавал в институте журнал "Сфинкс". Печатался он, разумеется, на гектографе. После смерти матери мы переехали в Пензу. <...> Стихи писал постоянно. Моим любимым поэтом в то время (я говорю о современных) был Александр Блок...».

Автобиографические сюжеты «Бритого человека» являются своего рода «эскизом» второй части автобиографической трилогии Мариенгофа. В «Бритом человеке» Мариенгоф неоднократно ссылается на кажущиеся незначительными детали, которые он потом воспроизводит во второй части «Бессмертной трилогии». Таким образом, прототипы и имеющиеся в виду реальные события обнаруживаются в пензенской юности Мариенгофа, а также в сложной дружбе с Есениным и истории его смерти. В этом ключе центральный мотив романа — то, что рассказчик Миша Титичкин повесил своего друга Лео Шпреегарта, — воспринимается уже как циничная автобиографическая ирония над смертью Есенина и связанными с ней обвинениями в адрес Мариенгофа, которые последний мог считать для себя оскорбительными. В случае «Циников» и «Бритого человека» есть повод говорить об «автофикшн» в прямом смысле слова — здесь содержание во многом автобиографично, хотя формально перед нами фикшн.

Короткие автобиографические тексты Мариенгофа — такие, как «Без фигового листочка» (1930) и «Записки сорокалетнего мужчины» (1937) — не построены на сплетне, а, скорее, на анекдоте. Для верного автобиографического письма «Без фигового листочка» слишком последовательны по своему сюжету, а «Записки сорокалетнего мужчины» — слишком обдуманы и композиционно выстроены.

## 2

Несмотря на осознанный творческий переход, декларируемый самим автором, проза Мариенгофа является, безусловно, прозой поэта. Поэтесса Ида Наппельбаум — дочь известного фотографа Моисея Наппельбаума, одного из реальных личностей на страницах «Циников» — сказала о прозе Константина Вагинова, что это «странная проза — проза поэта». Та же характеристика вполне применима к прозе Мариенгофа. Здесь много странного, в духе известного термина формалиста Виктора Шкловского. Кроме того, в самом языке прозы — много поэтического. С другой стороны, это общее явление в русской литературе середины 1920-х годов: когда проза побеждает поэзию, она одновременно становится ближе к ней, похожей на нее.

Богатый эпатажными образами язык романов Мариенгофа несет остатки необходимости поэта-имажиниста шокировать читателя. Нетрудно видеть признаки имажинистской поэтики в первых трех романах Мариенгофа. В «Романе без вранья» сами имажинисты играют главную роль. В «Циниках» речь идет о годах имажинистской деятельности. В «Бритом человеке» Мариенгоф возвращается к тем годам и местам, где родился имажинизм и была основана первая в России имажинистская поэтическая группа: «В Пензе издавал журнал "Комедиант" в 1918 г. Вышло три номера. Журнал был ежемесячным, литературным. Печатал в журнале свои стихи. Потом издал альманах "Исход", тоже в Пензе, летом 1918 г. Там образовал первую группу имажинистов».

Главным принципом мариенгофской имажинистской поэтической теории в книге «Буян-Остров» (1920) является сочетание несочетаемого, соединение несоединимого, особенно «чистого» материала с «нечистым». Такие столкновения, где красивое изображается через отвратительное. И в поэзии, и в прозе изображаемые предметы описываются, например, без прилагательных или эпитетов, а по принципу «образа как

самоцели», по принципу преобладания изобразительной выразительности над изображаемыми предметами мира. Имажинистские «малые образы» в романах Мариенгофа — часто сравнения, построенные с помощью союза или творительного падежа. Это соответствует поэтике имажинистов — они культивировали подобные образы вслед за своим кумиром Соломоном, которого они называли «первым имажинистом»: «Мороз, словно хозяйка, покупающая с воза арбуз, пробует мой череп: с хрупом или без хрупа». («Циники»). «У него пальцы, как у мышонка. Мне как-то удалось рассмотреть мышонка. Он бегал в мышеловке не на лапах, а на руках с пальцами и ногтями Тициана». («Бритый человек»). «Рыжее солнце вихрястой веселой собачонкой путается в ногах». («Циники»). «Вокруг могучая грязь. Она лежит, как разъявшаяся свинья, похрюкивая и посапывая». («Бритый человек»).

Принцип сочетания «чистого» с «нечистым» тоже легко найти в «Циниках», особенно при описаниях любви: «Любовь, которую не удушила резиновая кишка от клизмы, бессмертна». Описывая любовь в революции, изображая совмещение несовместимого, Мариенгоф неоднократно ссылается на историю об Иоканаане и на его жертву: «Ее голова отрезана двухспальным шелковым одеялом. На хрустком снеге полотняной наволочки растекающиеся волосы производят впечатление крови. Голова Иоканаана на серебряном блюде была менее величественна. <...> Я горд и счастлив, как Иродиада. Эта голова поднесена мне. Я благодарю судьбу, станцевавшую для меня танец семи покрывал...». Здесь Мариенгоф ссылается на пьесу английского декадента и денди Оскара Уайльда «Саломея» и на иллюстрации Обри Бёрдсли на эту пьесу 1891 года. В частности, отличаются картины Бёрдсли «The Climax» («Кульминация») и «The Dancer's Reward» («Награда танцовщицы»). Этот уайльдовский подтекст встречается здесь не впервые, так как в самом первом имажинистском сборнике, пензенском «Исходе» (1918), Мариенгоф опубликовал стихотворение «Из сердца в ладонях / Несу любовь. / Ее возьми — / Как голову Иоканаана, / Как голову Олоферна... / Она мне, как революции — новь, / Как нож гильотины — / Марату...» По этой цитате видно, что рассыпанный по роману «Циники» сюжет оторванных голов является у Мариенгофа общим мотивом о революции. Уайльд был важным источником для имажинистского домашнего театра и симуляции гомосексуализма Есенина и Мариенгофа. Он был и примером личного дендизма Мариенгофа, и повторяющимся источником его стихов.

Яркой особенностью прозы Мариенгофа является ее фрагментарность. Отчасти это объясняется тем уже упомянутым фактом, что проза становилась похожей на поэзию — смысловые элементы романа оказываются небольшими кусками, сопоставимыми со стихотворной строчкой. Мариенгоф любит афористичный фрагмент, оторванную из целостного текста часть. Вполне может быть, что источником этого стилевого свойства является фрагментарная проза Розанова, которая была в библиотеке Есенина и влияла, в том числе, на его идеи дадаистского принципа механической «машины образов». Имажинист Матвей Ройзман констатировал, что «Роман без вранья» был «написан под влиянием Василия Розанова. В нем разлиты ушаты цинизма». Розанов играл для имажинистов роль бесспорного мэтра, и, например, его предисловие к переводу «Песни Песней» (1909) Соломона, «первого имажиниста», было их любимым чтением. Несмотря на то, что Розанов описал стихи Соломона скорее «ароматичными», чем визуальными.

Как прозаик, Мариенгоф был анекдотистом и афористом. Фрагментарные афоризмы объявлялись продолжением «имажей» имажинистов среди петроградских младших коллег в 1925 году: «Ускорившийся до невероятности ритм жизни привел искусство вплотную к имажинизму (Мариенгоф). <...> Нами руководило стремление достичь предельной скорости и максимальной экономии слова, достичь в произведении энергии, напряженности, динамики. Прекрасным примером в этом направлении явился афоризм — мысль, выраженная в краткой отрывочной форме, как его определяют словари». Для Мариенгофа подобные афористичные, динамичные, напряженные фрагменты становятся основой его искусства прозы.

Мариенгофская проза в этом втором томе «Собрания сочинений» становится впервые достаточно известной для русского читателя. Лишь один роман Мариенгофа невозможно представить широкому читателю, так как его не существует. Тем не менее он заслуживает внимания. Мариенгоф собирался написать в конце 1920-х годов — до «Циников» или вместо него — роман под названием «Записки Бога», который представлял бы собой дневник (еще раз фрагментарные записки, разумеется) философа Иисуса, который общается в Афинах со своими современниками-философами. В третьей части своей мемуарной «Бессмертной трилогии» Мариенгоф рассказывает сюжет недописанного текста, для которого он собирал материал. Основные действия романа имеют место после

того, как «женщины, обожавшие Иисуса, сняли его с креста прежде, чем он умер». Иисус покинул Галилею, добрался до Афин, в город философов, где он жил среди стоиков, эпикурейцев и киников. Услышав, как апостол Павел рассказывает народу фантастические и наивные истории о его жизни и совершенных им невероятных чудесах, Иисус решил написать «Записки Бога», своего рода мемуары. Это должна была быть история пророка на чужой земле, но Мариенгоф своего плана не осуществил. Он выступает здесь с позиции исторической критики, и свидетельство такого восприятия библейских текстов можно обнаружить во всем его творчестве. Отголоски этого неосуществленного «прототекста» в романе «Циники» можно увидеть в революционности образа Христа, хотя эпатажный текст в принципе характерен для Мариенгофа: «Существовал довольно интересный человек. Слегка эпатируя, он гуманно философствовал в неподходящем месте — в Иудее. Среди фанатических варваров. Если бы то же самое он говорил в Афинах, никто бы и внимания не обратил. А варвары его распяли». Вместо осуществления этого плана Мариенгоф взял и писал «Циников», свою первую настоящую работу в художественной прозе, полную прототипических мотивов, аллюзий и прямых отсылок к истории имажинизма конца 1910-х — начала 1920-х годов. И этот текст оказался его главным достоянием в истории русской литературы.

*Томи Хуттунен*

# ΠΡΟΖΑ







## ЦИНИКИ

Почему может быть признан виновным историк, верно следующий мельчайшим подробностям рассказа, находящегося в его распоряжении? Его ли вина, если действующие лица, соблазненные страстями, которых он не разделяет, к несчастью для него совершают действия глубоко безнравственные.

*Стенгаль*

Вы очень наблюдательны, Глафира Васильевна. Это все очень верно, но не сами ли вы говорили, что, чтобы угодить на общий вкус, надо себя «безобразить». Согласитесь, это очень большая жертва, для которой нужно своего рода геройство.

*Лесков*

1918

1

— Очень хорошо, что вы являетесь ко мне с цветами. Все мужчины, высуня язык, бегают по Сухаревке и закупают муку и пшено. Своим возлюбленным они тоже тащат муку и пшено. Под кроватями из карельской березы, как трупы, лежат мешки.

Она поставила астры в вазу. Ваза серебристая, высокая, формы — женской руки с обрубленной кистью.

Под окнами проехала тяжелая грузовая машина. Средоточенные солдаты перевозили каких-то людей, похожих на поломанную старую дачную мебель.

— Знаете, Ольга...

Я коснулся ее пальцев.

— ...после нашего «социалистического» переворота я пришел к выводу, что русский народ не окончательно лишен юмора.

Ольга подошла к округлому зеркалу в кружевах позолоченной рамы.

— А как вы думаете, Владимир...

Она взглянула в зеркало.

— ...может случиться, что в Москве нельзя будет достать французской краски для губ?

Она взяла со столика золотой герленовский карандашик:

— Как же тогда жить?

## 2

После четырехдневной забастовки собрание рабочих тульского оружейно-патронного завода постановило:

«...по первому призывному гудку выйти на работу, т. к. забастовка могла быть объявленной только в силу временного помешательства рабочих, страдающих от общей хозяйственной разрухи».

## 3

Чехословаки взяли Самару.

## 4

В Петербурге хоронили Володарского. За гробом под проливным дождем шло больше двухсот тысяч человек.

## 5

ВЧК сделала тщательный обыск в кофейной французского гражданина Лефенберга по Столешникову пе-

реулку, дом 8, и в кофейной словака Цумбурга тоже по Столешникову переулку, дом 6. Обнаружены пирожные и около 30 фунтов меда.

## 6

Вооруженный тряпкой времен Гомера, я стою на легонькой передвижной лесенке и в совершеннейшем упоении глотаю книжную пыль.

Внизу Ольга щиплет перчатку цвета крысиных лапок.

— Нет, Ольга, этого вы не можете от меня требовать!

Она продолжает отдирать с левой руки свою вторую кожу.

— Итак, вы хотите, чтобы я поделился с прислугой этим ни с чем не сравнимым наслаждением? Вы хотите, чтобы я позволил моей прислуге раз в неделю перетирать мои книги? Да?..

— Именно.

— Ни за что в жизни! Она и без того получает слишком большое жалованье.

— Марфуша!

От волнения я теряю равновесие. Мне приходится, чтобы не упасть, выпустить из рук тряпку времен Гомера и уцепиться за шкаф. Тряпка несколько мгновений парит в воздухе, потом плавно опускается на Ольгину шляпу из жемчужных перышек чайки.

О, ужас, античная реликвия черной чадрой закрывает ей лицо!

Ольга давится пылью, кашляет, чихает.

Со своего «неба» я бормочу какие-то извинения. Все погибло. С земли до меня доносится:

— Марфуша!

Входит девушка, вместительная и широкая, как медный таз, в котором мама варила варенье.

— Будьте добры, Марфуша, возьмите на себя стирание пыли с книг. У Владимира Васильевича на это уходит три часа времени, а у вас это займет не больше двадцати минут.

У меня сжимается сердце.

— Спускайтесь, Владимир. Мы пойдем гулять.

Спускаюсь.

— Ваша физиономия татуирована грязью.

Моя физиономия действительно «татуирована грязью».

— Вам необходимо вымыться. Работает ли в вашем доме водопровод? Иначе я понапрасну отсчитала шестьдесят четыре ступеньки.

— Час тому назад водопровод действовал. Но ведь вы знаете, Ольга, что в революции самое приятное — ее неожиданности.

## 7

Мы идем по Страстному бульвару. Клены вроде старинных модниц в больших соломенных шляпах с пунцовыми, оранжевыми и желтыми лентами.

Ольга берет меня под руку.

— Мои предки соизволили бежать за границу. Вчера от дражайшего папаша получили письмецо с предписанием «сторожить квартиру». Для этого он рекомендует мне выйти замуж за большевика. А там, говорит, видно будет.

По небу раскинуты подушечки в белоснежных наволочках. Из некоторых высыпался пух.

У Ольги лицо ровное и белое, как игральная карта высшего сорта из новой колоды. А рот — туз червей.

— Хочу мороженого.

Я отвечаю, что Московский Совет издал декрет о полном воспрещении «продажи и производства»:

— ...яства, к которому вы неравнодушны.

Ольга разводит плечи:

— Странная какая-то революция.

И говорит с грустью:

— Я думала, они первым делом поставят гильотину на Лобном месте.

С тонких круглоголовых лип падают желтые волосы.

— А наш конвент, или как он там называется, вместо этого запрещает продавать мороженое.

Через город перекинулась радуга. Веселенькими разноцветными подтяжками. Ветер насвистывает знакомую мелодию из венской оперетки. О какой-то чепухе болтают воробьи.

## 8

В Казани раскрыли контрреволюционный офицерский заговор. Начались обыски и аресты. Замешанные офицеры бежали в Райвскую пустынь. Казанская ЦК направила туда следственную комиссию под охраной четырех красногвардейцев. А монахи взяли да и сожгли на кострах всю комиссию вместе с охраной.

Причем жгли, говорят, по древним русским обычаям: сначала перевязывали поперек бечевкой и бросали в реку, когда поверхность воды переставала пузыриться, тащили наружу и принимались «сушить на кострах».

История в Ольгином духе.

## 9

— Я пришел к тебе, Ольга, проститься.

— Проститься? Гога, не пугай меня.

И Ольга трагически ломает бровь над смеющимся глазом.

— Куда же ты отбываешь?

— На Дон.

— В армию генерала Алексеева.

Ольга смотрит на своего брата почти с благоговением:

— Гога, да ты...

И вдруг — ни село, ни пало — задирает кверху ноги и начинает хохотать ими, как собака хвостом.

Гога — милый и красивый мальчик. Ему девятнадцать лет. У него всегда обиженные розовые губы, голова в золоте топлёных сливок от степных коров и большие зеленые несчастливые глаза.

— Пойми, Ольга, я люблю свою родину.

Ольга перестает дрыгать ногами, поворачивает к нему лицо и говорит серьезно:

— Это все оттого, Гога, что ты не кончил гимназию. Гогиньки обиженные губы обижаются еще больше.

— Только подлецы, Ольга, во время войны могли решать задачки по алгебре. Прощай.

Он протягивает мне руку с нежными женскими пальцами. Даже не пальцами, а пальчиками. Я крепко сжимаю их:

— До свидания, Гога.

Он качает головой, расплескивая золото топленых сливок:

— Нет, прощайте.

И выпячивает розовые, как у девочки, обиженные губы. Мы целуемся.

— До свидания, мой милый друг.

— Для чего вы меня огорчаете, Владимир Васильевич? Я был бы так счастлив умереть за Россию.

Бедный ангел! Его непременно подстрелят, как куропатку.

— Прощайте, Гога.

## 10

На Кузнецком Мосту обдирают вывески с магазинов. Обнажаются грязные, прыщавые, покрытые лишаями стены.

С крыш прозрачными потоками стекает желтое солнце. Мне кажется, что я слышу его журчание в водосточных трубах.

— При Петре Великом, Ольга, тут была Кузнецкая слобода. Коптили небо. Как суп, варили железо. Дубасили молотами по наковальням. Интересно знать, что собираются сделать большевики из Кузнецкого Моста?

Рабочий в шапчонке, похожей на плевок, весело ослабил:

— А вот, граждане, к примеру сказать, в Альшванговом магазине буржуйских роскошей будем махру выдавать по карточкам.

И, глянув прищуренными глазами на Ольгины губы, добавил:

— Трудящемуся населению.

Предвечернее солнце растекается по панелям. Там, где тротуар образовал ямки и выбоины, стоят большие, колеблемые ветром солнечные лужи.

— Подождите меня, Владимир.

— Слушаюсь.

— В тридцать седьмой квартире живет знакомый ювелир. Надо забросить ему камушек. А то совсем осталась без гроша.

— У меня та же история. Завтра отправляюсь к букинистам сплавлять «прижизненного Пушкина».

Ольга легкими шагами взбегаёт по ступенькам.

Я жду.

Старенький действительный статский советник, «одетый в пенсне», торгует в подъезде харьковскими ирисками.

Мне делается грустно. Я думаю об улочке, на которой еще теснятся книжные лавчонки.

Когда-то ее называли Моховой. Она тянулась по тихому безлюдному берегу болотистой речки Неглинной. Не встречая помехи, на мягкой илистой земле бессуразно пышно рос мох.

Вышла Ольга.

— Теперь можем кутить.

Она покупает у действительного статского советника ириски.

Рыжее солнце вихрястой веселой собачонкой путается в ногах.

## 11

Мой старший брат Сергей — большевик. Он живет в «Метрополе»; управляет водным транспортом (будучи археологом); ездит в шестиместном автомобиле на вздувшихся, точно от водянки, шинах и обедает двумя картофелинами, поджаренными на воображении повара.

У Сергея веселые синие глаза и по-ребячьи оттопыренные уши. Того гляди, он по-птичьи взмахнет ими, и голова с синими глазами полетит.

Во всю правую щеку у него розовое пятно. С раннего детства Сергея почти ежегодно клали на операционный



стол, чтобы, облюбовав на теле место, которого еще не касался хирургический нож, выкроить кровавый кусок кожи.

Вырезанную здоровую ткань накладывали заплатой на больную щеку. Всякий раз волчанка съедала заплату.

— Я пришел к тебе по делу. Напиши, пожалуйста, записку, чтобы мне выдали охранную грамоту на библиотеку.

— Для чего тебе библиотека?

— Чтобы стирать с нее пыль.

— Ходи в Румянцевку и стирай там.

— Ладно... не надо.

Сергей садится к столу и пишет записку.

Я завожу разговор о только что подавленном в Москве восстании левых эсеров; о судьбе чернобородого семнадцатилетнего мальчика, который, чтобы «спасти честь России», бросил бомбу в немецкое посольство; о смерти Мирбаха; о желании эсеров во что бы то ни стало затеять смертоносную катавасию с Германией.

Еще не все улеглось. Еще останавливают на окраинах автомобили и держат, согласно ленинскому приказу, «до тройной проверки»; еще опущены шлагбаумы на шоссе и вооруженные отряды рабочих жгут возле них по ночам костры.

Чтобы раздражить Сергея, я говорю про эсеров:

— А знаешь, мне искренно нравятся эти «скифы» с рыжими зонтиками и в продранных калошах. Бомбы весьма романтически отягчают карманы их ватных обтрепанных салопов.

Ольга про эсеров неплохо сказала: «они похожи на нашего Гогу — будто тоже не кончили гимназию».

Сергей трется сухой переносицей о край письменного стола. Он вроде лохматого большого пса, о котором можно подумать, что состоит в дружбе даже с черными кошками.

— Тут, видишь ли, не романтика, а фарс. Впрочем, в политике это одно и то же.

Мягкими серыми хлопьями падает темнота на Театральную площадь.

— Ихний главнокомандующий — Муравьев — третьего дня сбежал в Симбирск и оттуда соизволил ни

больше ни меньше как «объявить войну Германии». Глупо, а расстреливать надо.

Садик, скамейки, тоненькие деревца и редкие человеческие фигурки внизу завалены осенними сумерками. Будто несколько часов кряду падал теплый серый снег.

Я упираюсь в мечтательные глаза Сергея своими — тверезыми, равнодушными, прохладными, как зеленоватая, сентябрьская, подернутая ржавчиной вода.

Мне непереносимо хочется взбесить его, разозлить, вывести из себя.

— Эсеры, Муравьев, немцы, война, революция — все это чепуха...

Сергей таращит пушистые ресницы:

— А что же не чепуха?

— Моя любовь.

Внизу на Театральной редкие фонари раскуривают свои папироски.

— Предположим, что ваша социалистическая пролетарская революция кончается, а я любим...

Среди облаков вспыхивает толстая немецкая сигара.

— ...трагический конец!.. а я?.. я купаюсь в своем счастье, плаваю по брюхо, фыркаю в розовой водичке и пускаю пузырьки всеми местами.

Сергей вытаскивает из портфеля бумаги:

— Ну, брат, с тобой водиться — все равно что в крапиву с... садиться.

И подтягивается:

— Иди домой. Мне работать надо.

## 12

Большевики, как умеют, успокаивают двухмиллионное население Белокаменной.

В газетах даже появились новые отделы:

«Борьба с голодом».

«Прибытие продовольственных грузов в Москву».

На нынешний день два радостных сообщения.

Первое:

«Из Рязани отправлено в Москву 48 вагонов жмыхов».

Второе:

«Сегодня прибыло 52 пуда муки пшеничной и 1 пуд муки ржаной».

### 13

Ольга лежит на диване, уткнувшись носом в шелковую подушку.

Я плутаю в догадках:

«Что случилось?»

Наконец, чтобы рассеять катастрофически сгущающийся мрак, робко предлагаю:

— Хотите, я немножко почитаю вам вслух?

Молчание.

— У меня с собой «Сатирикон» Петрония.

После весьма внушительной паузы:

— Не желаю. Его герои — жалкие, ревнивые скоты.

Голос звучит как из чистилища:

— ...они не признают, чтобы у их возлюбленных кто-нибудь другой «за пазухой вытирал руки».

Ольга вытаскивает из подушки нос. С него слезла пудра. Крылья ноздрей порозовели и слегка припухли.

— Вообще, как вы смеете предлагать мне слушать Петрония! У него мальчишки «разыгрывают свои зады в кости».

— Ольга!..

— Что «Ольга»?

— Я только хочу сказать, что римляне называли Петрония «судьей изящного искусства».

— Вот как!

— *Elegantiae*...

— Так-так-так!

— ...arbiter.

— Баста! Все поняла: вы шокированы тем, что у меня болит живот!

— Живот?..

— Увертюры, которые разыгрываются в моем желудке, выводят вас из себя. Вам противно сидеть рядом со мной. Вы хотели, по всей вероятности, прочесть мне то место из «Сатирикона», где Петроний рекомендует

«не стесняться, если кто-либо имеет надобность... потому, что никто из нас не родился запечатанным... что нет большей муки, чем удерживаться... что этого одного не может запретить сам Юпитер...». Так я вас поняла?

Я хватаюсь за голову.

— Имейте в виду, что вы ошиблись, — у меня запор!  
Я потупляю глаза.

— Скажите пожалуйста, вы в меня влюблены?

Краска заливает мои щеки. (Ужасная несправедливость: мужчины краснеют до шестидесяти лет, женщины — до шестнадцати.)

— Нежно влюблены? возвышенно влюблены? В таком случае откройте шкаф и достаньте оттуда клизму. Вы слышите, о чем я вас прошу?

— Слышу.

— Двигайтесь же!

Я передвигаю себя, как тяжелый беккеровский рояль.

— Ищите в уголке на верхней полке!

Я обжигаю пальцы о холодное стекло кружки.

— Эта самая... с желтой кишкой и черным наконечником... налейте воду из графина... возьмите с туалетного столика вазелин... намажьте наконечник... повесьте на гвоздь... благодарю вас... а теперь можете уходить домой... до свидания.

## 14

Битый третий час бегаю по городу. Обливаясь потом и злостью, вспоминаю, что в XVI веке Москва была «немного поболее Лондона». Милая моя Пенза. Она никогда не была и, надеюсь, не будет «немного поболее Лондона». Мечтаю печальный остаток своих дней дожить в Пензе.

Наконец, когда уже не чувствую под собой ног, где-то у Дорогомиловской заставы достаю несколько белых и желтых роз.

Прекрасные цветы! Одни похожи на белых голубей с оторванными головками, на мыльный гребень волны Евксинского Понта, на сверкающего, как снег, сванетского барашка. Другие — на того кудрявого еврейского

младенца, которого — впоследствии — неуживчивый и беспокойный характер довел до Голгофы.

Садовник завертывает розы в старую, измятую газету. Я кричу в ужасе:

— Безумец, что вы делаете? Разве вы не видите, в какую газету вы завертываете мои цветы!

Садовник испуганно кладет розы на скамейку.

Я продолжаю кричать:

— Да ведь это же «Речь»! Орган конституционно-демократической партии, члены которой объявлены вне закона. Любой бульварный побродяга может безнаказанно вонзить перочинный нож в горло конституционного демократа.

У меня дрожат колени. Я сын своих предков. В моих жилах течет чистая кровь тех самых славян, о трусливости которых так полно и охотно писали древние историки.

— Можно подумать, сумасшедший человек, что вы только сегодняшним вечером упали за Дорогомиловскую заставу с весьма отдаленной планеты. Неужели же вы не знаете, что ваши розы, белые, как перламутровое брюшко жемчужной раковины, и золотые, как цыплята, вылупившиеся из яйца, ваши чистые, ваши невинные, ваши девственные розы — это... это...

Я говорю шепотом:

— ...это...

Одними губами:

— ...уже...

Беззвучно:

— ...контрреволюция!

Ноги меня не держат; я опускаюсь на скамейку; я задыхаюсь; я всплескиваю руками и мотаю головой, как актриса Камерного театра в трагической сцене.

— Но розы, завернутые в газету «Речь»!!!

Положительно, страх сделал из меня Цицерона и ко-нуру садовника превратил в Форум.

— Нет, тысячу раз клянусь непорочностью этих благоухающих девственниц, у меня на плечах только одна голова.

Я кладу руку на его грудь:

— Дорогой друг, если бы интересовались политикой, то вы бы знали, что коммунистическая фракция пятого

Всероссийского съезда Советов Рабочих, Красноармейских и Казачьих депутатов единогласно высказалась за необходимость применения массового террора по отношению к буржуазии и ее прихвостням.

Он сочувственно качает головой.

— Но вы же не хотите мне зла и поэтому, умоляю вас, заверните розы в обыкновенную папиросную бумагу. Что?.. У вас нет папиросной бумаги? Какое несчастье!

Мои ледяные пальцы сжимают виски.

Страшное дело любовь! Недаром же в каменном веке самец, вооруженный челюстью кита, шел на самца, вооруженного рогами барана.

О женщина!

Я расплачиваюсь с моим простодушным палачом пергаментными бумажками и, прижав к сердцу роковые цветы, выхожу на улицу.

## 15

Казань взята чехословаками; англичане обстреливают Архангельск; в Петербурге холера.

## 16

Мне больше не нужно спрашивать себя: «Люблю ли я Ольгу?»

Если мужчина сегодня для своей возлюбленной мажет вазелином черный клистирный наконечник, а завтра замирает с охапкой роз у электрического звонка ее двери — ему незачем задавать себе глупых вопросов.

Любовь, которую не удушила резиновая кишка от клизмы, — бессмертна.

## 17

На будущей неделе по купону № 2 рабочей продовольственной карточки начинают выдавать сухую воблу (полфунта на человека).

Сегодня ночью я плакал от любви.

В Вологде собрание коммунистов вынесло постановление о том, что «необходимо уничтожить класс буржуазии». Пролетариат должен обезвредить мир от паразитов, и чем скорее, тем лучше.

— Ольга, я прошу вашей руки.

— Это очень кстати, Владимир. Нынче утром я узнала, что в нашем доме не будет всю зиму действовать центральное отопление. Если бы не ваше предложение, я бы непременно в декабре превратилась в ледяную сосульку. Вы представляете себе, спать одной в кроватице, на которой можно играть в хоккей?

— Итак...

— Я согласна.

Ее голова отрезана двухспальным шелковым одеялом. На хрустком снеге полотняной наволочки растекающиеся волосы производят впечатление крови. Голова Иоканаана на серебряном блюде была менее величественна.

Ольга почти не дышит. Усталость посыпала ее веки толченым графитом фаберовского карандаша.

Я горд и счастлив, как Иродиада. Эта голова поднесена мне. Я благодарю судьбу, станцевавшую для меня танец семи покрывал. Я готов целовать у этой величайшей из босоножек ее грязные пяточки за великолепное и единственное в своем роде подношение.

Сквозь кремовую штору продираются утренние лучи. Проклятое солнце! Отвратительное солнце! Оно спугнет ее сон. Оно топает по комнате своими медными сапожищами, как ломовой извозчик.

Так и есть.

Ольга тяжело поднимает веки, посыпанные усталостью; потягивается; со вздохом поворачивает голову в мою сторону.

— Ужасно, ужасно, ужасно! Все время была уверена, что выхожу замуж по расчету, а получилось, что вышла по любви. Вы, дорогой мой, худы, как щепка, и в декабре совершенно не будете греть кровать.

## 22

Я и мои книги, вооруженные наркомпросовской охранной грамотой, переехали к Ольге.

Что касается мебели, то она не переехала. Домовой комитет, облегчая мне психологическую борьбу с «буржуазными предрассудками», запретил забрать с собой кровать, письменный стол и стулья.

С председателем домового комитета у меня был серьезный разговор.

Я сказал:

— Хорошо, не буду оспаривать: письменный стол — это предмет роскоши. В конце концов, «Критику чистого разума» можно написать и на подоконнике. Но кровать! Должен же я на чем-нибудь спать?

— Куда вы переезжаете?

— К жене.

— У нее есть кровать?

— Есть.

— Вот и спите с ней на одной кровати.

— Простите, товарищ, но у меня длинные ноги, я храплю, после чая потею. И вообще я предпочел бы спать на разных.

— Вы как женились — по любви или в комиссариате расписались?

— В комиссариате расписались.



— В таком случае, гражданин, по законам революции — значит обязаны спать на одной.

## 23

Каждую ночь тихонько, чтобы не разбудить Ольгу, выхожу из дому и часами брожу по городу. От счастья я потерял сон.

Москва черна и безлюдна, как пять веков тому назад, когда городские улицы на ночь замыкались решетками, запоры которых охранялись «решеточными сторожами».

Мне удобна эта темнота и пустынность, потому что я могу радоваться своему счастью, не боясь прослыть за идиота.

Если верить почтенному английскому дипломату, Иван Грозный пытался научить моих предков улыбаться. Для этого он приказывал во время прогулок или проездов «рубить головы тем, которые попадались ему на встречу, если их лица ему не нравились».

Но даже такие решительные меры не привели ни к чему. У нас остались мрачные характеры.

Если человек ходит с веселым лицом, на него показывают пальцами.

А любовь раскрыла мою физиономию улыбкой от уха до уха.

Днем бы за мной бегали мальчишки.

Сквозь зубцы кремлевской стены мелкими светлыми капельками просачиваются звезды.

Я смотрю на воздвигнутый Годуновым Ивановский столп и невольно сравниваю с ним мое чувство.

Я готов ударить в всполошенные колокола, чтобы каждая собака, проживающая в этом сумасшедшем городе, разлегшемся, подобно Риму и Византии, на семи холмах, знала о таком величайшем событии, как моя любовь.

И тут же задаю себе в сотый раз отвратительнейший вопросик:

«А в чем, собственно, дело? почему именно твоя страстишка — Колокольня Ивана? не слишком ли для нее торжественен ломбардо-византийский стиль?..»

Гнусный ответик имеет довольно точный смысл:

«Таков уж ты, человек. Тебе даже вонь, которую испускаешь ты собственной персоной, не кажется мерзостью. А скорее — приятно щекочет обоняние».

## 24

Центральный Исполнительный Комитет принял постановление:

«Советскую республику превратить в военный лагерь».

## 25

По скрипучей дощатой эстраде расхаживает тонконогий оратор:

— Наш террор будет не личный, а массовый и классовый террор. Каждый буржуй должен быть зарегистрирован. Зарегистрированные должны распределяться на три группы. Активных и опасных мы истребим. Неактивных и неопасных, но ценных для буржуазии запрем под замок и за каждую голову наших вождей будем снимать десять их голов. Третью группу употребим на черные работы.

Ольга стоит от меня в четырех шагах. Я слышу, как бьется ее сердце от восторга.

## 26

Совет Народных Комиссаров решил поставить памятники:

Спартаку	Жоресу
Гракхам	Лафаргу
Бруту	Вальяну
Бабефу	Марату
Марксу	Робеспьеру
Энгельсу	Дантону
Бабелю	Гарibaldi
Лассалю	Толстому

Достоевскому  
Лермонтову  
Пушкину  
Гоголю  
Радищеву  
Белинскому  
Огареву

Чернышевскому  
Михайловскому  
Добролюбову  
Писареву  
Глебу Успенскому  
Салтыкову-Щедрину  
Некрасову...

## 27

Граждане четвертой категории получают:  $\frac{1}{10}$  фунта хлеба в день и один фунт картошки в неделю.

## 28

Ольга смотрит в мутное стекло.

— В самом деле, Владимир, с некоторого времени я резко и остро начинаю чувствовать аромат революции.

— Можно распахнуть окно?

Небо огромно, ветвисто, высокопарно.

— Я тоже, Ольга, чувствую ее аромат. И знаете, как раз с того дня, когда в нашем доме испортилась канализация.

Круторогий месяц болтается где-то в устремительнейшей высоте, как чепушное елочное украшеньице.

По улице провезли полковую кухню. Благодаря воинственному виду сопровождающих ее солдат, миролюбивая кастрюля приняла величественную осанку тяжелого орудия.

Мы почему-то с Ольгой всегда говорим на «вы».

«Вы» — словно ковш с водой, из которого льется холодная струйка на наши отношения.

— Прочитайте-ка вести с фронта.

— Не хочется. У меня возвышенное настроение, а теперешние штабы не умеют преподносить баталии.

Я припоминаю старое сообщение:

«Потоцкий, роскошный обжора и пьяница, потерял битву».

Это о сражении с Богданом Хмельницким под Корсунем.

Ветер бегаёт босыми скользкими пятками по холодным осенним лужам, в которых отражается небо и плавают лошадиный кал.

Ольга решает:

— Завтра пойдем к вашему брату. Я хочу работать с советской властью.

## 29

Реввоенсоветом разрабатывается план подготовки боевых кадров из подростков от 15 до 17 лет.

## 30

Мы подходим к номеру Сергея. Дверь распахивается. Седоусый, прямоплечий старик с усталыми глазами застегивает шинель.

— Кто это?

— Генерал Брусилов.

К моему братцу приставлены в качестве репетиторов три полковника, украшенных, как и большинство русских военачальников, старостью и поражениями.

Если поражения становятся одной из боевых привычек генерала, они приносят такую же громкую славу, как писание плохих романов.

В подобных случаях говорят:

«Это его метод».

Сергей протягивает руку Ольге.

Он опять похож на большого дворового пса, которого научили подавать лапу.

Мы усаживаемся в креслах.

На письменном столе у Сергея лежат тяжелые тома «Суворовских кампаний». На столике у кровати жизнеописание Скобелева.

Я спрашиваю:

— Чем, собственно говоря, ты собираешься командовать — взводом или ротой?

— Фронтом.

— В таком случае тебе надо читать не Суворова, а записки барона Герберштейна, писанные в начале XVI столетия.

Сергей смотрит на Ольгу.

— Даже в гражданской войне генералиссимусу не мешает знать традиции родной армии.

Сергей продолжает смотреть на Ольгу.

— Стратегия Дмитрия Донского, великого князя Московского Василия, Андрея Курбского, петровеликих выскочек и екатерининских «орлов» отличалась изумительной простотой и величайшей мудростью. Намереваясь дать сражение, они прежде всего «полагались более на многочисленность сил, нежели на мужество воинов и на хорошее устройство войска».

Ольга достает папироску из золотого портсигара.

Сергей смешно хлопает себя «крыльями» по карманам в поисках спичек.

Я не в силах остановиться.

— Этот «закон победы» барон Герберштейн счел нужным довести до сведения своих сограждан и посланник английской королевы — до сведения Томаса Чарда.

Сергей наклоняется к Ольге:

— Чаю хотите?

И соблазняет:

— С сахаром.

Он роется в портфеле. Портфель до отказа набит бумагами, папками, газетами.

— Вот, кажется, и зря нахвастал.

Бумаги, папки и газеты высыпаются на пол. Сергей на лету ловит какой-то белый комок. В линованной бумаге лежит сахарный отколочек.

— Берите, пожалуйста.

Он дробит корешком Суворова обгрызок темного пайкового сахара.

— У меня к вам, Сергей Василич, небольшая просьба.

Ольга с легким, необычным для себя волнением рассказывает о своем желании «быть полезной мировой революции».

— Тэк-с...

Розовое пятно на щеке Сергея смущенно багровеет.

— Ну-с, вот я и говорю...  
И, ничего не сказав, заулыбался.  
— О чем вы хотели меня спросить, Сергей Васильевич?  
Он почесал за ухом.  
— Хотел спросить?..  
Чай в стаканах жидкий, как декабрьская заря.  
— Да...  
Ложечка в стакане серая, алюминиевая.  
— Вот, я и хотел спросить...  
И почесал за вторым ухом:  
— Делать-то вы что-нибудь умеете?  
— Конечно, нет.  
— Н-да...  
И он деловито свел брови.  
— В таком случае вас придется устроить на ответственную должность.

Сергей решительно снял телефонную трубку и, соединившись с Кремлем, стал разговаривать с народным комиссаром по просвещению.

## 31

Марфуша босыми ногами стоит на подоконнике и протирает мыльной мочалкой стекла. Ее голые, гладкие, розовые, теплые и тяжелые икры дрожат. Кажется, что эта женщина обладает двумя горячими сердцами и оба заключены здесь.

Ольга показывает глазами на босые ноги:

— Я бы на месте мужчин не желала ничего другого.

Теплая кожа на икрах пунцовеет.

Марфуша спрыгивает с подоконника и выходит из комнаты, будто для того, чтобы вылить воду из чана.

Ольга говорит:

— Вы бездарны, если никогда к ней не приставали.

## 32

Ольга формирует агитационные поезда.

Юноша с оттопыренными губами и ушами величественно протягивает мне руку и отрекомендовывает себя:

— Товарищ Мамашев.  
Это ее личный секретарь.

### 33

Ветер крутит: дома, фонари, улицы, грязные серые солдатские одеяла на небе, ледяную мелкосыпчатую крупу (отбивающую сумасшедшую чечетку на панелях), бесконечную очередь (у железнодорожного виадука) получающих разрешение на выезд из столицы, черные клочья ворон, остервенелые всхлипы комиссарских автомобилей, свалившийся трамвай, телеграфные провода, хвосты тощих кобыл, товарища Мамашева, Ольгу и меня.

— Ну и погода!

— Черт бы ее побрал.

Товарищ Мамашев топорщит губы:

— А что я говорил? Нужно было у Луначарского попросить его автомобиль...

И подпрыгивает козликом:

— ...он мне никогда не отказывает...

Вздергивает гордо бровь:

— ...замечательно относится...

Делает широкий жест:

— ...аккурат сегодня четыре мандата подписал... тринадцать резолюций под диктовку... одиннадцать отношений...

Хватает Ольгу под руку:

— ...ходатайство в Совнарком аккуратно на ваши обеденные карточки, в Реввоенсовет на три пары теплых панталон для профессора Переверзева, в Президиум Высшего Совета Народного Хозяйства на железную печку для вашей, Ольга Константиновна, квартиры, записочку к председателю Московского Совета, записочку... тьфу!

И выплевывает изо рта горсть льда.

Ветер несет нас, как три обрывка газеты.

### 34

В деревнях нет швейных катушек. Центротекстиль предложил отпустить нитки в хлебные районы при условии: пуд хлеба за катушку ниток.

Отдел металла ВСНХ закрывает ввиду недостатка топлива ряд крупнейших заводов (Коломенский, Сормовский и др.).

Окна занавешены сумерками — жалкими, измятыми и вылинялыми, как плохенькие ситцевые занавесочки от частых стирок.

Марфуша вносит кипящий самовар.

Четверть часа тому назад она взяла его с мраморного чайного столика и, прижимая к груди, унесла в кухню, чтобы поставить.

Может быть, он вскипел от ее объятий.

Сергей перебирает любительские фотографические карточки.

— Кто этот красивый юноша? Он похож на вас, Ольга Константиновна.

— Брат.

Самовар шипит.

— ...бежал на Дон.

— В Добровольческую?

— Да.

Я смотрю в глаза Сергея. Станут ли они злее?

Ольга опускает тяжелые суконные шторы цвета заходящего июльского солнца, когда заря обещает жаркий и ветренный день.

Конечно, его глаза остались такими же синими и добрыми. Он кажется мне загадочным, как темная, покрытая пылью и паутиной бутылка вина в сургучной феске.

Я не верю в любовь к «сорока тысячам братьев». Кто любит всех, тот не любит никого. Кто ко всем хорошо относится, тот ни к кому не относится х о р о ш о.

Он внимательно разглядывает фотографию. В серебряном флюсе самовара отражается его лицо. Перекошенное и свирепое. А из голубоватого стекла в кружев-



ной позолоченной раме вылезает нежная ребяческая улыбка с ямками на щеках.

Я говорю:

— Тебе надо почаще смотреться в самовар.

## 37

Всероссийский Совет Союзов высказался за временное закрытие текстильных фабрик.

## 38

Как-то я зашел к приятелю, когда тот еще валялся в постели. Из-под одеяла торчала его волосатая голая нога. Между пальцами, короткими и толстыми, как окурки сигар, лежала грязь плотными черными комочками.

Я выбежал в коридор. Меня стошнило.

А несколько дней спустя, одеваясь, я увидел в своих мохнатых, расплюснутых, когтистых пальцах точно такие же потные комочки грязи. Я нежно выковырял ее и поднес к носу.

С подобной же нежностью я выковыриваю сейчас свою любовь и с блаженством «подношу к носу».

А когда я гляжу на Сергея, меня всего выворачивает наружу. (Он вроде молодого купца из «Древлепечатного Пролога», который «уязвился ко вдовице... люте истаевал... ходил неистов, яко бы бесен».)

## 39

Совет Народных Комиссаров предложил Наркомпросу немедленно приступить к постановке памятников.

## 40

Из Курска сообщают, что заготовка конины для Москвы идет довольно успешно.

Щелкнув рубиновой кнопкой, Ольга вынимает из серой замшевой сумочки сухой темный ломтик.

Хлеб пахнет конюшной, плесенью Петропавловских подземелий и, от соседства с кружевным шелковым платком, — убигановским *Quelques Fleurs*'ом.

Я вынимаю такой же ломтик из бумажника, а товарищ Мамашев из портфеля.

Девушка в белом переднике ставит на столик тарелки. У девушки усталые глаза и хорошее французское произношение:

— *Potage à la paysanne.*

Смешалище из жидкой смоленской глины и жирного пензенского чернозема наводит на размышления.

Ольга вытирает платочком тусклую ложку. Французское кружево коричневает.

Кухонное оконце, как лошадь на морозе, выдыхает туманы.

Я завидую завсегдатаям маленьких веселых римских «попино» — Овидию, Горацию и Цицерону; в кабачке «Белого Барашка» вдовушка Бервен недурно кормила Расина; ресторанчик мамы Сагюет, облюбованный Тьером, Беранже и Виктором Гюго, имел добрую репутацию; великий Гете не стал бы писать своего «Фауста» в лейпцигском погребке, если бы старый Ауэрбах подавал ему никуда не годные сосиски.

Наконец (во время осады Парижа в семьдесят первом году), только высокое кулинарное искусство ресторатора Поля Бребена могло заставить Эрнеста Ренана и Теофиля Готье даже не заметить того, что они находятся в городе, который был «залит кровью, трепетал в лихорадке сражений и выл от голода».

Ольга пытается сделать несколько глотков супа.

— Владимир, вы захватили из дома соль?

Я вынимаю из кармана золотую табакерку времен Елизаветы Петровны.

— Спасибо.

С оттопыренных губ товарища Мамашева летят брызги восторженной слюны.

— Должен вам сказать, Ольга Константиновна, что здесь совершенно нет столика без знаменитости.

Восторженная слюна пенится на его розовых губах, как Атлантический океан.

— Изысканнейшее общество!

Он раскланивается, прижимая руку к сердцу и танцуя головой с кокетливой грацией коня, ходившего в пристяжке.

— Обратите, Ольга Константиновна, внимание — аккуратно, Евтихий Владимирович Туберозов... европейское имя... шесть аншлагов в «Гранд Опера»...

Товарищ Мамашев отвешивает поклон и прижимает руку к сердцу.

— ...аккурат вчера вывез по ордеру из особняка графини Елеоноры Леонардовны Перович буфет красного дерева рококо, волосяной матрац и люстру восемнадцатого века.

Кухонное оконце дышит туманами. Скрипят челюсти. Девушка с усталыми глазами вывернула тарелку с супом на колени знаменитого художника, с которым только что поздоровался товарищ Мамашев.

— Петр Аристархович Велеулов, аккуратно с утренним поездом привез из Тамбова четыре пуда муки, два мешка картошки, пять фунтов сливочного масла...

Ольга вытирает лицо кружевным платочком.

— Товарищ Мамашев, вы не человек, а пульверизатор. Всю меня оплевали.

— Простите, Ольга Константиновна!

Девушка с усталыми глазами подала нам корейку восемнадцатилетнего мерина.

Петр Аристархович вытаскивает из-за пазухи фунтовую коробку монпансье. Товарищ Мамашев впивается в жестянку ястребиным взглядом. Он почти не дышит. В коробке из-под монпансье оказывается сливочное масло. Мамашев торжествует.

## 42

Возвращаемся бульварами. Деревья шелестят злыми каркающими птицами. Вороны висят на сучьях, словно живые черные листья.

Не помню уж, в какой летописи читал, что перед одним из страшнейших московских пожаров, «когда огонь полился рекою, камни распадались, железо рдело, как в горниле, медь текла и деревья обращались в уголь и трава в золу», — тоже раздирательно каркали вороны над посадом, Кремлем, заречьями и загородьем.

## 43

В Москве поставили одиннадцать памятников «великим людям и революционерам».

## 44

Рабочие национализированной типографии «Фиат Люкс» отказались работать в холоде. Тогда районный Совет разрешил разобрать на дрова большой соседний деревянный дом купца Скоробертова.

Ночью Марфуша притащила мешок сухих, гладко оструганных досок и голубых обрубков.

Преступление свое она оправдала пословицей, гласящей, что «в корчме, вишь, и в бане уси ровные дворяне».

У Марфуши довольно своеобразное представление о первой в мире социалистической республике.

Купеческий «голубой дом» накалил докрасна железную печку. В открытую форточку влывает унылый бой кремлевских часов. Немилосердно дымят трубы.

Двенадцать часов, а Ольги все еще нет.

В печке трещит сухое дерево. Будто крепкозубая девка щелкает каленые орехи.

Когда доиграли невидимые кремлевские маятники, я подумал о том, что хорошо бы перевидать в жизни столько же, сколько перевидал наш детинец с его тяжелыми башнями, толстыми стенами, двурогими зубцами с памятью следов от ржавых крючьев, на которых висели стрелецкие головы — «что зубец — то стрелец».

Час ночи.

Ольга сидит за столом, перечитывая бесконечные протоколы еще более бесконечных заседаний.

Революция уже создала величественные департаменты и могущественных столоначальников.

Я думаю о бессмертии.

Бальзаковский герой однажды крикнул, бросив монету в воздух:

— «Орел» за бога!

— Не смотрите! — посоветовал ему приятель, ловя монету на лету. — Случай такой шутник.

До чего же все это глупо. Скольким еще тысячелетиям нужно протащиться, чтобы не приходилось играть на «орла и решку», когда думаешь о бессмертии.

Ольга спрятала бумаги в портфель и подошла к печке. Сверкающий кофейник истекал пеной.

— Кофе хотите?

— Очень.

Она налила две чашки.

На фаянсовом попугае лежат разноцветные монпансье. Ольга выбрала зелененькую, кислую.

— Ах да, Владимир...

Она положила монпансьешку в рот.

— ...чуть не позабыла рассказать...

— ...я сегодня вам изменила.

Снег за окном продолжал падать и огонь в печке щелкать свои орехи.

Ольга вскочила со стула.

— Что с вами, Володя?

Из печки вывалился маленький золотой уголек.

Почему-то мне никак не удавалось проглотить слюну. Горло стало узкой переломившейся соломинкой.

— Ничего.

Я вынул папиросу. Хотел закурить, но первые три спички сломались, а у четвертой отскочила серная головка. Уголек, вывалившийся из печки, прожег паркет.

— Ольга, можно мне вас попросить об одном пустяке?

— Конечно.

Она ловко подобрала уголек.  
— Примите, пожалуйста, ванну.  
Ольга улыбнулась:  
— Конечно...

Пятая спичка у меня зажглась.

Все так же падал за окном снег и печка щелкала деревянные орехи.

## 46

О московском пожаре 1445 года летописец писал:

«...выгорел весь город, так что ни единому дереву не осталось, но церкви каменные распадалися и стены градные распадалися».

## 47

Ночь. Хрустит снег.

Из-за выщербленной квадратной трубы вылезает золотое ухо казацкого солнышка.

Каждый шаг приближает меня к страшному. Каждую легчайшую пушинку времени надо бы ловить, прижимать к сердцу и нести с дрожью и бережью. Казалось бы, так.

В подворотне облезлого кривоскулого дома большие старые сварливые вороны раздирают дохлую кошку. Они жрут вонючее мясо с жадностью и стервенением голодных людей.

Дохлая кошка с расковырянными глазницами нагло, как вызов, задрала к небу свой сухопарый зад:

«Вот, мол, и смотрите мне под хвост со своим божественным равнодушием».

Очень хорошо.

С небом надо уметь по-настоящему разговаривать. На Державине в наши дни далеко не уедешь.

Я иду дальше.

Мой путь еще отчаянно велик, отчаянно долог. Целых полквартала до того семизэтажного дома.

Заглядываю мимоходом в освещенное окно старенького барского особняка.

Почему же окно не занавешено? Ах да, хозяин квартиры Эрнест Эрнестович фон Дихт сшил себе брюки из фисташковой гардины. Эрнест Эрнестович фон Дихт был ротмистр гусарского Сумского полка. У сумчан неблагонадежные штаны. Фон Дихт предпочел, чтобы ВЧК его арестовала за торговлю кокаином.

Я вглядываюсь. Боже мой, да ведь это же Маргарита Павловна фон Дихт. Она — как недописанная восьмерка. Я никогда не предполагал, что у нее тело гибкое и белое, как итальянская макарона. Но кто же этот взъерошенный счастливец с могучими плечами и красными тяжелыми ладонями? Он ни разу не попадался мне на нашей улице.

В первую минуту меня поражает женское небрежение страхом и осторожностью, во вторую — я прихожу к другому, более логическому выводу: супруг Маргариты Павловны, бывший ротмистр Сумского гусарского полка, уже расстрелян. По всей вероятности, в начале этой недели, так как еще в субботу на прошлой у очаровательной Маргариты Павловны приняли передачу.

Скромность уводит меня от освещенного окна.

Какая мертвая улица!

Казацкое солнышко, завернувшись в новенький бараний кожух, сидит на трубе.

Хрустит снег.

Семиэтажный дом смотрит на меня с противоположной стороны сердитыми синими очками. Как старая дева с пятого курса медицинского факультета. Реликвия прошлого. В пролетарской стране, если она в течение первой четвертушки столетия не переродится в буржуазную республику, «старые», по всей вероятности, все-таки останутся, но «девы» вряд ли. МОЛОДОЙ КЛАСС будет слишком увлечен своей властью, чтобы обращать внимание на пустяки.

Чем ближе я подхожу к вечности, тем игривее становятся мои мысли.

Не бросить ли, в самом деле, веселенький царский гривенник в воздух? Благо, завалялся в кармане от доковчегových времен.

Я не поклонник монархии:

— «Решка» за бессмертие!

Случаю — представляется случай покаверзничать.

Гривенник блеснул в воздухе, как капелька, упавшая с луны.

— «Орел», черт побери!

Противоположную сторону рассек переулочек, стиснутый домами и завернутый в ночь (как узкая, стройная женщина в котиковую, до пят, шубу).

В переулочке проживала какая-то дебелая вдова. Я называл ее «моя крошка».

Во вдове было чистого веса пять пудов тридцать фунтов.

А все-таки мы самый ужасный народ на земле. Недаром же в книге «Драгоценных драгоценностей» арабский писатель записал:

*«Никто из русов не испражняется наедине: трое из товарищей сопровождают его непременно и оберегают. Все они постоянно носят при себе мечи, потому что мало доверяют друг другу и еще потому, что коварство между ними — дело обыкновенное. Если кому угасться приобрести хотя малое имущество, то уже родной брат или товарищ тотчас начинают завидовать и домогаться, как бы убить его или ограбить».*

Казацкое солнышко напоминает мне веселый детский пузырь. Какой-то соплячок выпустил из рук бечевку, и желтый шарик улетел в звезды.

На углу дремлет извозчик. Чалая кобыла взглянула на меня равнодушным, полированным под мореный дуб глазом.

Лошади, конечно, наплевать!

Двор. Грустный и брюнетистый — как помощник провизора. С четырех сторон мрачные высоченнейшие стены. Без всяких лепных фигурочек, закавычек и закругляшек.

Мимо ворот ковыляет кляча.

Пьяная потаскушка забористо выхрипывает:

Ты, говорит,  
Нахал, говорит,  
Каких, говорит,  
Не-ма-а-ало.



Все ж, говорит,  
Люблю, говорит,  
Тебя, говорит,  
Наха-а-ала.

Поднимаюсь по черной лестнице. Железные ржавые перила, каменные, загаженные, вышарканные ступени и деревянные, в бахrome облупившейся клеенки, крашенные скукой двери чужих квартир.

Сквозь мутное стекло глядят звезды.

Лень тащиться еще два этажа. А что, ежели с пятого?

Визгливый женский голос продырявил дверь. Я оглянулся в сторону затейных растексов и узорчиков собачьей мочи. Мягко и аппетитно чавкнуло полено. Неужели по женщине?

Мне пришла в голову счастливая мысль, что, может быть, некоторые старые способы в известных случаях приносят пользу.

Луна состроила издевательскую рожу.

Полез выше.

## 1919

### 1

«Винтовку в руку, рабочий и бедняк! В ряды продовольственных баталионов. В деревню, к кулацким амбарам за хлебом. Симбирские, уфимские, самарские кулаки не дают тебе хлеба — возьми его у воронежских, вятских, тамбовских...»

Это называется «катехизисом сознательного пролетария».

### 2

Большевики дерутся (по всей вероятности, мужественно) на трех фронтах, четырех участках и в двенадцати направлениях.

### 3

Из приказа Петра I:

«Кто с приступа бежал, тому шельмованным быти... гонены сквозь строй и, лица их заплывав, казнены смертию».

Из приказа Наркомвоенмора:

«Если какая-нибудь часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар, вторым командир».

Еще:

«Труссы, шкурники и предатели не уйдут от пули. За то я ручаюсь перед лицом всей Красной Армии».

### 4

— Доброе утро, Ольга.

— Доброе утро, Володя.

### 5

На гробе патриарха Иосифа в Успенском соборе братина, чеканенная травами. По ободку ее вилась надпись:

«Истинная любовь уподобится сосуду злату, ему же разбиться не бывает; аще погнется, то разумно исправится».

### 6

Дело обстояло довольно просто.

На черной лестнице седьмого этажа в углу примостился ящик с отбросами — селедочные хвосты, картофельная шелуха, лошадиные вываренные ребра.

Я вылез из шубы и бросил ее на ящик. Потом снял с головы высокую, из седого камчатского зверя, шапку (чтобы она, боже упаси, не помешала мне как следует раскрыть череп).

На звезды напoлз серебряный туман. Луна плавала в нем, как ломтик лимона в стакане чая, подбеленного сливками.

Надо было разбить толстое запакощенное стекло. Я стащил с левой ноги калошу и ударил. Стекло, хихикнув, будто его пощекотали под мышками, рассыпалось по каменной площадке и обкусанным ступеням довольно крутой лестницы.

Некрепкий ночной морозец пробежал от затылка по крестцу, по ягодичам, по ляжкам — в потные трясущиеся пятки. Слово за шиворот бросили горсть мелких льдяшек.

Каркнула птица. В темноте она показалась мне франтоватой. Ее крылья трепыхались, как фракная накидка. Светлый зоб был похож на тугую крахмальную грудь.

А ведь в Париже еще носят фрак. Черт с ним, с Парижем!

Мне захотелось взглянуть на то место, где через несколько минут должен был расплющиться окровавленный сверток с моими костями и мясом.

Я просунул голову.

Какая мерзость!..

Узнаю тебя, мое дорогое отечество.

Я выругался и плюнул с седьмого этажа. Мой возмущенный плевок упал в отвратительную кучу отбросов.

Негодяи, проживающие поблизости от звезд, выворачивали прямо в форточку ящик с пакостиной. Селедочные хвосты, картофельная шелуха и лошадиные вываренные ребра падали с величественной высоты.

Прошу поверить, что я даже в мыслях не собирался вскрывать себе вены, подражая великолепному другу Цезаря. Не лелеял мечту покончить жалкие земные расчеты прыжком с ломбардо-византийского столпа, воздвигнутого царем Борисом, который, по словам летописи, «жил, как лев, царствовал, как лисица, и умер, как собака».

Но умереть в навозной куче!

Нет, это уж слишком.

Пришлось снова надеть калошу.

У меня мрачное прошлое. В пятом классе гимназии я имел тройку за поведение за то, что явился на бал в жен-

скую гимназию с голубой хризантемой в петлице отцовского смокинга. Это было в Пензе.

Легкий ночной морозец садился на щеки, кусал уши и щекотал перышком в ноздрях.

Я извлек из мусорного ящика шапку и нежно погладил красивого камчатского зверя.

Ветер трепыхал фракную накидку на черной ворчливой птице, ерошил мои волосы и сметал в кучу звезды. Пляяды лежали золотой горкой.

На рукаве шубы сверкало несколько серебряных искорок селедочной чешуи. Я соскоблил их, застегнулся на все пуговицы и поднял воротник. «Повесившись, надо мотаться, а оторвавшись, кататься!» — сказал я самому себе и, упрятав руки в карманы, стал сходить вниз почти с легким и веселым сердцем.

## 7

В Коллегии Продовольственного Отдела Московского Совета заслушан доклад доктора Воскресенского о результатах опытов по выпечке хлеба из гнилого картофеля.

## 8

Вон на той полочке стоит моя любимая чашка. Я пью из нее кофе с наслаждением. Ее вместимость три четверти стакана. Ровно столько, сколько требует мой желудок в десять часов утра.

Кроме того, меня радует мягкая яйцеобразная форма чашки и расцветка фарфора. Удивительные тона! Я вижу блягиль, медянку, ярь и бокан винецейский.

Мне приятно держать эту чашку в руках, касаться губами ее позолоченных краев. Какие пропорции! Было бы преступлением увеличить или уменьшить толстоту фарфора на листик папиросной бумаги.

Конечно, я пью кофе иногда и из других чашек. Даже из стакана. Если меня водворят в тюрьму как «прихвост-

ня буржуазии», я буду цедить жиденькую передачу из вонючей, чищенной кирпичом жестяной кружки.

Точно так же, если бы Ольга уехала от меня на три или четыре месяца, я бы, наверно, пришел в кровать к Марфуше.

Но разве это меняет дело по существу? Разве перестает ЧАШКА быть для меня единственной в мире?

Теперь вот о чем. Моя бабка была из строгой староверческой семьи. Я наследовал от нее брезгливость, высохший нос с горбинкой и долговатое лицо, будто свернутое в трубочку.

Мне не очень приятно, когда в мою чашку наливают кофе для кого-нибудь из наших гостей. Но все же я не швырну ее — единственную в мире — после того об пол, как швырнула бы моя расвирепевшая бабка. Она научилась читать по слогам в шестьдесят три года, а я в три с половиной.

В какой-то мере я должен признавать мочалку и мыло.

Не правда ли?

А что касается Ольги, то ведь она, я говорю о том вечере, исполнила мою просьбу. Она приняла ванну.

## 9

В Черни, Тульской губернии, местный Совет постановил организовать «Фонд хлеба всемирной пролетарской революции».

## 10

— Ольга, четверть часа тому назад сюда звонил по телефону ваш любовник...

Она сняла шляпу и стала расчесывать волосы большим черепаховым гребнем.

— ...он просил вас прийти к нему сегодня в девять часов вечера.

Республиканцы обрастают грязью.

Известинский хроникер жалуется на бани, которые «все последнее время обычно бывают закрыты».

Мы едем по заведеревшей Тверской. Глубокий снег скрипит под полозьями, точно гигроскопическая вата. По тротуарам бегут плоские тенеподобные люди. Они кажутся вырезанными из оберточной бумаги. Дома похожи на аптечные шкафы.

Через каждые двадцать шагов сани непременно падают в рытвину.

Я крепко держу Ольгу за талию. Извозчикий армяк рассыпался складками, как бальный веер франтихи прошлого века.

Мы едем молча.

Каждый размышляет о своем. Я, Ольга и суровая спина возницы.

На углу Камергерского наш гнедой конь врастает копытами в снег.

Старенький, седенький, с глазами Миколы Чудотворца, извозчик старается вывести его из оцепенения. Сначала он уговаривает коня, словно малого дитя, потом увещевает, как подвыпившего приятеля, наконец, начинает орать на него, как на своенравную бабу.

Конь поводит ушами, корчит хребет, дыбит хвост и падает в снег. Мыльная слюна течет из его ноздрей; розовые десны белеют; наподобие глобусов ворочаются в орбитах огромные страдальческие глаза.

Я снимаю шапку. Почтим смерть. Она во всех видах загадочна и возвышенна. Гнедой мерин умирает еще более трагически, чем его двуногий господин и повелитель.

Я беру Ольгу под руку:

— Идемте.

С отчаяния седенький Микола Чудотворец принимается стегать изюм из всех силенок покойника и выкручивает ему хвост.

Ольга морщит брови:

— На нынешней неделе подо мной падает четвертая лошадь. Конский корм выдают нам по карточкам. Это бессердечно. Надо сказать Марфуше, чтобы она не брала жмыхов.

Ольга вынимает из уха маленький бриллиантик и отдает извозчику.

Мы идем вниз по Тверской.

На площади из-под полы продают краюшки черного хлеба, обкуски сахара и поваренную соль в порошочках, как пирамидон.

Около «Метрополя» Ольга протягивает мне свою узкую серую перчатку:

— Вы меня сегодня, Владимир, не ждите. Я, по всей вероятности, пойду на службу прямо от Сергея.

— Хорошо.

Я расстегиваю пуговку на перчатке и целую руку.

— Скажите моему братцу, что книгу, которую он никак не мог раздобыть, я откопал для него у старьевщика.

Ольгу замечает вертушка метропольского входа.

Я стою неподвижно. Я думаю о себе, о россиянах, о России. Я ненавижу свою кровь, свое небо, свою землю, свое настоящее, свое прошлое; эти «святыни» и «твердыни», загаженные татарами, французами и голштинскими царями; «дубовый город», срубленный Калитой, «город Камен», поставленный Володимиром и ломанный «до подошвы» Петром; эти церковки — репками, купола — свеколками и колокольницы — морковками.

Наполеон, который плохо знал историю и хорошо ее делал, глянув с Воробьевой горы на кремлевские зубцы, изрек:

— *Les fieres murailles!*

«Гордые стены!»

С чего бы это?

Не потому ли, что веков шесть тому назад под грозной сенью башен, полубашен и стрельниц с осадными стоками и лучными боями русский царь кормил овсом из сво-

ей высокой собольей шапки татарскую кобылу? А кривоносый хан величаво сидел в седле, побрякивал и щекотал брюхо коню. Или с того, что гетман Жолкевский поселился с гайдуками в Борисовском Дворе, мял московских боярынь на великокняжеских перинах и бряцал в карманах городскими ключами? А Грозный вонзал в холопы ступни четырехгранное острие палки, полученной некогда Московскими великими князьями от Диоткрима и переходившей из рода в род как знак покорности. Мало? Ну, тогда напоследок погордимся еще царем Василием Ивановичем Шуйским, которого самозванец при всем честном народе выпорол плетью на взорном месте.

## 13

— Владимир Васильевич! Владимир Васильевич!  
Я обращаюсь.

— Здравствуйте!

Товарищ Мамашев приветствует меня жестом патриция:

— Честь имею!

Он прыгает петушком вокруг большой крытой серой машины.

— Хороша! Сто двадцать, аккурат, лошадиных сил.

И треплет ее по железной шее, как рыцарь Ламанчский своего воинственного Росинанта.

Шофер, закованный в кожаные латы, добродушно косит глазами:

— Двадцать сил, товарищ Мамашев.

Товарищ Мамашев выпячивает на полвершка нижнюю губу:

— Товарищ Петров, не верю вам. Не верю!

Я смотрю на две тени в освещенном окне третьего этажа. Потом закрываю глаза, но сквозь опущенные веки вижу еще ясней. Чтобы не вскрикнуть, стискиваю челюсти.

— Ну-с, товарищ Петров, а как...

Мамашев пухнет:

— ...Ефраим Маркович?

— В полном здравии.



— Очень рад.

Я поворачиваюсь спиной к зданию. Спина разыскивает освещенное окно третьего этажа. Где же тени? Где тени? Спина шарит по углам своим непомерным суконным глазом. Находит их. Кричит. Потому что у нее нет челюстей, которые она могла бы стиснуть.

— Ну-с, а в Реввоенсовете у вас все, товарищ Петров, по-старому — никаких таких особых понижений, повышений...

Товарищ Мамашев снижает голос на басовые ноты:

— ...назначений, перемещений? По-старому. Вчера вот в пять часов утра заседать кончили.

— Ефраим Маркович...

Метропольская вертушка выметает поблескивающее пенсне Склянского. Товарищ Мамашев почтительно раскланивается. Склянский быстрыми шагами проходит к машине.

Автомобиль уезжает.

Товарищ Мамашев поворачивает ко мне свое неподдельно удивленное лицо:

— Странно... Ефраим Маркович меня не узнал...

Я беру его за локоть.

— Товарищ Мамашев, вы все знаете...

Его мягкие оттопыренные уши краснеют от удовольствия и гордости.

— Я, товарищ Мамашев, видите ли, хочу напиться, где спиртом торгуют, вы знаете?

Он проводит по мне презрительную синенькую черту своими влажными глазками:

— Ваш вопрос, Владимир Васильевич, меня даже удивляет...

И поднимает плечи до ушей:

— Аккурат, знаю.

## 14

Товарищ Мамашев расталкивает «целовальника»:

— Ваню! Ваню!

Ваню, в грязных исподниках, с болтающимися тесемками, в грязной ситцевой — цветочками — рубаше, спит

на голом матраце. Полосатый ТИК в гнилых махрах, в провонях и в кровоподтеках.

— Вставай, кацо!

Словно у ревматика, скрипят ржавые, некрашенные кости кровати.

Грозная, вымястая, жирношеяя баба скребет буланый хвост у себя на затылке.

— Толхай ты, холубчик, его, прохлятого супруга моего, хрепче!

Черный клоп величиной с штанинную пуговицу мечтательно вылезает из облупившейся обоейной щели.

Вано поворачивается, сопит, подтягивает порты, растирает твердые, как молоток, пятки и садится.

— Чиге тебе?.. спирту тибе?.. дороже спирт стал... хочишь бири, хочишь ни бири... хочишь пей, хочишь гуляй так. Чихал я.

Он засовывает руку под рубаху и задумчиво чешет под мышкой. Волосы у Вано на всех частях тела растут одинаково пышно.

Мы соглашаемся на подорожание. Вано приносит в зеленой пивной бутылке разбавленный спирт; ставит прыщавые чайные стаканы; кладет на стол луковицу.

— Соли, кацо, нет. Хочишь ешь, хочишь ни ешь. Плакать ни буду.

Вано видел плохой сон. Он мрачно смотрит на жизнь и на свою могучую супругу.

Я разливаю спирт, расплескивая по столу и переплескивая через край.

В XIII веке водку считали влажным извлечением из философского камня и принимали только по каплям.

Я опрокидываю в горло стакан. Захлебываюсь пламенем и горечью. Grimаса перекручивает скулы. Приходится оправдываться:

— Первая колом, вторая соколом, третья мелкой пташечкой.

На пороге комнаты вырастают две новые фигуры.

Товарищ Мамашев прижимает руку к сердцу и раскланивается.

У вошедшего мужчины широкополая шляпа и борода испанского гранда. Она стекает с подбородка краснова-

тым желтком гусяного яйца. Глаза у него светлые, грустные и возвышенные. Нос тонкий, безноздрый, почти просвечивающий. Фолиантовая кожа впилась в плоские скулы. Так впивается в руку хорошая перчатка.

На женщине необычные перья. Они увяли, как цветы. В 1913 году эти перья стоили очень дорого на Rue de la Paix. Их носили дамы, одевающиеся у Пакена, у Ворта, у Шанеля, у Пуарэ. На женщине желтый палантин, который в прошлом был такой же белизны, что и кожа на ее тонкокостном теле. Осень горностая напоминает осень березовых аллей. Женщина увешана «драгоценностями». В дорогих оправках сияют фальшивые бриллианты. Чувствуется, что это новые жильцы. Они похожи на буржуа военного времени. Вошедшая одета в атлас, такой же выцветший, как и ее глаза. Венецианские кружева побурели и обвисли, как ее кожа. Еще несколько месяцев назад эта женщина в этом наряде, по всей вероятности, была бесконечно смешна. Сегодня она трагична.

Товарищ Мамашев приветствует «баловня муз и его прекрасную даму».

Слова звучат как фанфары.

Женщина протягивает пальцы для поцелуя, «баловень муз» снимает испанскую шляпу.

Вано ставит на стол зеленую бутылку.

Я пью водку, закусываю луком и плачу. Может быть, я плачу от лука, может быть, от любви, может быть, от презренья.

«Баловень муз» делает глоток из горлышка и выплевывает. Кацо обязан знать, что прадед поэта носил титул «всепьянейшества» и был удостоен трех почетнейших наград: «символая в петлицу», «бокала на шею» и «большого штофа через плечо»!!

Вано приносит бутылку неразведенного спирта.

Я закрываю лицо и вижу гаснущий свет в окне третьего этажа. Я зажимаю уши, чтобы не слышать того, что слышу через каменные стены, через площадь и три улицы.

Дверь с треском распаивается. Детина в пожарной куртке с медными пуговицами и с синими жилами обво-

дит комнату моргающими двухфунтовыми гирями. У де-  
тины двуспальная рожа, будто только что вытащенная  
из огня. Рыжая борода и рыжие ноздри посеребрены  
кокаином.

«Баловень муз» интересуется моим мнением о скиф-  
ских стихах Овидия. Я говорю, что Назон необыкновен-  
но воспел страну, которую, по его словам, «не следует  
посещать счастливому человеку».

Мой собеседник предпочитает Вергилия. Он нарас-  
пев читает мне о волах, выдерживающих на своем хреб-  
те окованные железом колеса; о лопающихся от холода  
медных сосудах; о замерзших винах, которые рубят то-  
пором; о целых дубах и вязах, которые скифы прикаты-  
вают к очагам и предают огню.

Я лезу в пьянеющую память и снова выволакиваю от-  
туда Назона. Его «конские копыта, ударяющие о твердые  
волны», его «сарматских быков, везущих варварские по-  
возки по ледяным мостам». Говорю о скованных ветрами  
лазурных реках, которые ползут в море скрытыми вода-  
ми; о скифских волосах, которые звенят при движении  
от висящих на них сосулук; о винах, которые — будучи  
вынутыми из сосудов — стоят, сохраняя их форму.

В конце концов мы оба приходим к заключению, что  
после латинян о Пушкине смешно говорить даже под  
пьяную руку.

«Баловень муз» мычит презрительно:

Зима... Крестьянин торжествуя...  
На дровнях... обновляет... путь...  
Его лошадка... снег почуя...  
Плетется рысью как-нибудь...

Товарищ Мамашев спит рядом с могучей вымястой  
бабой на голом, в провонях, матраце. Женщина в увяд-  
шем горностае роняет слезу о своем друге — Анатоле  
Франсе. Пожарный, оборвав крючки на ее выцветшем  
атласном лифе, запускает красную пятерню за блеклое  
венецианское кружево. После непродолжительных по-  
исков он вытаскивает худую, длинную, землистую грудь,  
мнет ее, как салфетку, и целует в сморщенный сосок.

Метель падает не мягкими хлопьями холодной ваты, не рваными бумажками, не ледяной крупой, а словно белый проливной ливень. Снег над городом — седые космы старой бабы, которая ходит пятками по звездам.

Пошатываясь, я пересекаю улицу. В метельной неразберихе натываюсь на снежную память. Сугробище гораздо жестче, чем пуховая перина. Я теряю равновесие. Рука хватается за что-то волосатое, твердое, обледенелое.

Хвост! Лошадиный хвост!

Я вскрикиваю, пытаюсь подняться и раздираю до крови вторую руку об оскаленные, хохочущие, мертвые лошадиные десны. Вскликаю. Бегу. Позади дребезжит свисток.

Метель вздымает меховые полы моей шубы. Я, наконец, похож на глупую, прикованную к земле птицу с обрезанным хвостом.

Вот и наш переулок. Он узок, ровен и бел. Будто упала в ночь подтаявшая стеариновая свеча. В окне последнего одноэтажного домика загорелся свет: подожгли фитиль у свечи.

Кто это там живет?

Я долго и безуспешно роюсь в карманах, отыскивая ключ от английского замка входной двери. Какая досада! Должно быть, потерял у трупа. Надо непременно завтра или послезавтра отправиться на то место и поискать. Мертвая лошадь, на самый худой конец, пролежит еще дня три.

Но кто же все-таки благоденствует в одноэтажном домике? Ах! и как это я мог запомнить. Под крышей, обрамленной пузатыми амурами, проживает очаровательная Маргарита Павловна. Я до сих пор не могу забыть ее тело, белое и гибкое, как итальянская макарона. Не так давно Маргарита Павловна вышла замуж за бравого постового милиционера из 26-го отделения. Я пробегаю церковную ограду, каменные конюшни, превращенные в квартиры, и утыкаюсь в нашу дверь. Звоню.

По коридору шлепают мягкие босые ноги. Мне делается холодно за них.

Б-р-р-р!

Щелкает замок. Из-за угла выскакивает метель. Я открываю рот, чтобы извиниться перед Марфушей, и не извиняюсь...

Метель выхватывает из ее рук дверь, врывается в коридор, срывает с голых, круглых, как арбузы, плечей зипунишко (кое-как наброшенный спросонья) и вспузыривает над коленными чашечками розовую, широкую, влажноватую ночным теплом рубаху.

Слова и благоразумие я потерял одновременно.

## 16

Ольга почему-то не осталась ночевать у Сергея. Она вернулась домой часа в два.

Я слышал, с оборвавшимся дыханием, как повернулся ее ключ в замке, как бесшумно, на цыпочках, миновала она коридор, подняла с пола мою шубу и прошла в комнаты.

Найдя кровать пустой, она вернулась к Марфушиному чуланчику и, постучав в перегородку, сказала:

— Пожалуйста, Владимир, не засыпайте сразу после того, как «осушите до дна кубок наслаждения»! Я принесла целую кучу новых стихов имажинистов. Вместе повеселимся.

## 17

Тифозники валяются в больничных коридорах, ожидая очереди на койки. Вши именуются врагами революции.

## 18

Из Прикаспия отправлено в Москву верблюжье мясо.

## 19

В воскресенье в два часа дня в Каретном ряду состоялась торжественная закладка Дворца Народа. Раз-

рабатывается проект постройки при Дворце театра на пять тысяч человек, который по величине будет вторым театром в Европе.

## 20

Все семейство в сборе: Ольга сидит на диване, поджав под себя ноги, и дымит папиросой; Марфуша возится около печки; Сергей собирает шахматы.

Он через несколько дней уезжает на фронт. Несмотря на кавалерийские штаны и гимнастерку, туго стянутую ремнем, вид у Сергея глубоко штатский. Он попыхивает уютцем и теплотой, точно старинная печка с изразчатыми прилепами, валиками и шкафными столбиками.

Я выражаю опасение за судьбу родины:

— У тебя все данные воевать по старому русскому образцу.

И рассказываю о кампании 1571 года, когда хитрый российский полководец, вышедший навстречу к татарам с двухсоттысячной армией, предпочел на всякий случай сбиться с пути.

— А точный историк возьми да и запиши для потомства: «сделал это, как полагают, с намерением, не смея вступить в битву».

Сергей спрашивает:

— Хочешь, я дам записку, чтобы тебя взяли обратно в приват-доценты? Все, что тебе необходимо выболтать за день, — выбалтывай с кафедры.

Я соглашаюсь на условие и получаю пространную записку к Анатолию Васильевичу.

Сергей очень ловко исполнил Ольгину просьбу. Мне самому не хотелось тревожить высокопоставленного братца.

Мы приятничаем горячим чаем. Марфуша притащила еще охапку мелко нарубленных дров. Она покупает их фунтами на Бронной.

## 21

Жители Бурничевской и Коробинской волости Козельского уезда объявили однодневную голодовку, что-

бы сбереженный хлеб отправить «красным рабочим Москвы и Петрограда».

— Мечтатель.

— Кто?

— Мечтатель, говорю.

— Кто?

— Да ты. По ночам, должно быть, не спишь, воображая себя «красным Мининым и Пожарским».

Ольга мнет бровь:

— Пошленьким оружием сражается Владимир.

— Имею основания полагать, что, когда разбушевавшаяся речонка войдет в свои илистые бережочки, весь этот «социальный» бурничевско-коробинский «патриотизм» обернется в разлюбезную гордость жителей уездного лесковского городка, которые следующим образом восторгались купцом своим, Никоном Родионовичем Масленниковым: «Вот так человек! Что ты хочешь, сейчас он с тобою может сделать; хочешь в острог тебя посадить — посадит; хочешь плетюганями отшлепать или так, в полицы розгами отодрать — тоже сейчас он тебя отдерет. Два слова городничему повелит или записочку напишет, а ты ее, эту записочку, только представишь — сейчас тебя в самом лучшем виде отделают. Вот какого себе человека имеем».

## 22

Прибыло два вагона тюленьего жира.

## 23

За заставы Москвы ежедневно тянутся вереницами ломовые, везущие гробы. Все это покойники, которых родственники везут хоронить в деревню, так как на городских кладбищах, за отсутствием достаточного числа могильщиков, нельзя дожидаться очереди.

## 24

Поставленный несколько дней тому назад в Александровском саду памятник Робеспьеру разрушен «неизвестными преступниками».



Сергей — в собственном салон-вагоне из бывшего царского поезда — уехал «воевать».

Сегодня утром Ольга вспомнила, что Сергей уехал «в обыкновенных нитяных носках».

Я разделил ее беспокойство:

— Если бы у наполеоновских солдат были теплые портянки, мы с вами, Ольга, немножко хуже знали бы географию. Корсиканцу следовало наперед почитать растопчинские афиши. Градоправитель не зря болтал, что «карлекам да щеголкам... у ворот замерзать, на дворе аколевать, в сенях зазевать, в избе задышаться, на печи обжигаться».

Ольга сказала:

— Едемте на Сухаревку. Я не желаю, чтобы великая русская революция угодила на остров Святой Елены.

— Я тоже.

— Тогда одевайтесь.

Я подошел к окну. Мороз разрисовал его причудливейшим серебряным орнаментом: Египет, Рим, Византия и Персия. Великолепное и расточительное смешение стилей, манер, темпераментов и воображений. Нет никакого сомнения, что самое великое на земле искусство будет построено по принципу коктейля. Ужасно, что повара догадливей художников.

Я дышу на стекло. Ледяной серебряный ковер плачет крупными слезами.

— Что вас там интересует, Владимир?

— Градусы.

Синенькая спиртовая ниточка в термометре короче вечности, которую мы обещали в восемнадцать лет своим возлюбленным.

Я хватаюсь за голову:

Двадцать семь градусов ниже нуля!

Ольга зло узит глаза:

— Наденьте вторую фуфайку и теплые подштанники.

— Но у меня нет теплых подштанников.

— Я вам с удовольствием дам свои.

Она идет к шкафу и вынимает бледно-сиреневые рейтузы из ангорской шерсти.

Я нерешительно мну их в руках:

— Но ведь эти «бриджи» носят под юбкой!

— А вы их наденете под штаны.

С придушенной хрипотцой читаю марку:

— "Loow Wear" ...

— Да, «Loow Wear».

— Лондонские, значит...

Ольга не отвечает. Я мертвеющими пальцами разглаживаю фиолетовые бантики.

— С ленточками...

Она поворачивает лицо:

— С ленточками.

Брови повелительно срastaются:

— Ну?

Я еще пытаюсь отдалить свой позор. Выражаю опасения:

— Маловаты...

В горле першит:

— Да и крой не очень чтобы подходящий... Треснут еще, пожалуй.

И расправляю их в шаг.

Она теряет терпение:

— Не беспокойтесь, не треснут.

— А вдруг... по шву...

Она потеряла терпение:

— Снимайте сейчас же штаны!

По высоте тона я понял, что дальнейшее сопротивление невозможно.

Да и необходимо ли оно?

Что такое, в сущности, бледно-сиреневые рейтузы с фиолетовыми бантиками перед любовью, которая «двигает мирами»?

Жалкое испытание.

Я слишком хорошо знаю, что замухрявенькую избенку и ту самой «обыденкою» можно построить многи-

ми способами — и в обло, и в лапу, и в присек, и в крюк, и в охрянку, и скобой, и сковородником.

А любовь?

— Ольга!

— Что?

— Я снимаю штаны.

— Очень рада за вас.

Со спокойным сердцем я раскладываю на кровати мягкие бледно-сиреневые ноги, отсеченные ниже колен, сажусь в кресло и почти весело начинаю высвобождать черные шейки брючных пуговиц из ременных петелек подтяжек.

В конце концов, на юру Сухаревки при двадцати восьми градусах мороза в теплых панталонах из ангорской шерсти с бóльшим спокойствием можно отыскивать для своего счастливого соперника пуховые носки.

## 27

Мы подъехали к башне, которая, как чудовищный магнит, притягивает к себе разбитые сердца, пустые желудки, жадные руки и нечистую совесть.

Я крепко держу Ольгу под руку. Ноги скользят. Мороз превратил горячие ручейки зловоний, берущих свое начало под башенными воротами, в золотой лед. А человеческие отбросы в камни. Об них ломают зубы вихрастые дворняги с умными глазами; бездомные «були» с чистокровными мордами, которые можно принять за очень старые монастырские шкатулки; голодные борзые с породистыми стрекозьими ногами и бродячие доги, полосатые, как тигры.

На сковородках шипят кровавые кружочки колбасы, сделанные из мяса, полного загадочности; в мутных ведрах плавают моченые яблоки, сморщившиеся от собственной брезгливости; рыжие селедки истекают ржавчиной, разъедавая вспухшие руки торговков.

Мы продираемся сквозь толпу, орущую, гнусавящую, предлагающую, кланчающую.

Я говорю:

— Это кладбище. И, по всей вероятности, самое страшное в мире. Я никогда не видел, чтобы мертвецы занимались торговлей. Таким веселым делом.

Ольга со мной не согласна. Она уверяет, что совершается нечто более ужасное.

— Что же?

— Прекраснейшая из рожениц производит на свет чудовище.

Я прошу объяснений.

— Неужели же вы не видите?

— Чего?

— Что революция рождает новую буржуазию.

Она показывает на высокоплечего парня с глазками маленькими, жадными, выпяченными, красными и широко расставленными. Это не глаза, а соски на мужской груди. Парень торгует английским шевиотом, парфюмерией «Коти», шелковыми чулками и сливочным маслом.

Мы продираемся вперед.

Неожиданно я опускаю руку в карман и натываюсь в нем на другую руку. Она судорожно пытается вырваться из моих тисков. Но я держу крепко. Тогда рука начинает сладострастно гладить мое бедро. Я боюсь обернуться. Я боюсь взглянуть на лицо с боттичеллиевскими бровями и ртом Джиоконды. Женщина, у которой так узка кисть и так нежны пальцы, не может быть скуластой и широконоздрой. Я выпускаю руку воровки и, не оглядываясь, иду дальше.

Старушка в чиновничьей фуражке предлагает колечко с изумрудиком, похожим на выдранный глаз черного кота. Старый генерал с запотевшим моноклем в глазу и в продранных варежках продает бутылку мадеры 1823 года. Лицо у генерала глупое и мертвое, как живот без пупка. Еврей с отвислыми щеками торгует белым фрачным жилетом и флейтой. У флейты такой грустный вид, будто она играла всю жизнь только похоронные марши.

— Ольга, мы, кажется, не найдем пуховых носков.

Она не отвечает.

Мороз, словно хозяйка, покупающая с воза арбуз, пробует мой череп: с хрупом или без хрупы.

Женщина в каракулевом мантии и в ямщицких валенках держит на плече кувшин из терракота. Маленькая девоч-

ка с золотистыми косичками и провалившимися куда-то глазами надела на свои дрожащие кулачки огромные резиновые калоши. У нее ходкий товар. Рождающемуся под Сухаревской башней буржуа в первые пятьдесят лет вряд ли понадобятся калоши ниже четырнадцатого номера.

— Ольга, как вы себя чувствуете?

— Превосходно.

Физиономия продавца бархатной юбки блее облупленного крутого яйца. Я сумасшедше принимаюсь растирать щеки обледенелой перчаткой.

— А вот и пуховые носки.

Я оборачиваюсь. Что за монах! Багровый нос свисает до нижней губы. Не мешало бы его упрятать в голубенький лифчик, как грудь перезрелой распутницы.

Во мне бурлит гнев. У такого монаха, мне думается, я не купил бы даже собственной жизни.

Ольга мнет пух, надевает носки на руку.

— Тепленькая...

Я пытаюсь обратиться к ее революционной совести. Она сует мне купленные носки и предлагает ехать обратно на трамвае, «так как сегодня его последний день».

После случая с ангорскими рейтузами я твердо решил раз и навсегда отказаться от возражений.

В течение получаса нам довелось переиспытать многое: мы висим на подножке, рискуя оставить пальцы примерзшими к железу; нас, словно марлевые сетки, пронизывает ледяной ветер на задней площадке; нас мнут, комкают, расплющивают внутри вагона, и только под конец удается поблагодумствовать на перинных коленях сухаревской торговли селедками.

Я не могу удержаться, чтобы не шепнуть Ольге на ухо:

— Однако даже в революции не все плохо. Уже завтра, когда она прекратит трамвайное движение, я прощу ей многое.

## 28

Марфуша докрасна накалила печку. Воздух стал дряблым, рыхлым и потным. Висит на невидимой веревке — темной банной простыней.

Ольга сидит в одних ночных сафьяновых туфельках, опущенных белым мехом. Ее розовая ступня словно шелковая ночная рубашка, залитая топленным молоком кружев. Рубашка еще тепла теплотой тела.

— Ольга, что вы собираетесь делать?

— Ловить вшей.

— Римский натуроиспытатель Плиниус уверял, что мед истребляет вошь.

— Жаль, что вы не сказали этого раньше. Мы бы купили баночку на Сухаревке.

— Я завидую, Ольга, вашему страху смерти.

— Раздевайтесь тоже.

— Ни за что в жизни!

— Почему?

— Я буду вам мстить. Я хочу погибнуть из-за пуховых носков вашего любовника.

— Считайтесь с тем, что ваш тифозный труп обкусают собаки. Несколько дней тому назад товарищ Мотрозов делал доклад в Московском Совете о похоронных делах. В морге нашего района, рассчитанном на двенадцать персон, валяется триста мертвецов.

— О-о-о!

— Вынесено постановление «принять меры к погребению в общих могилах, для рытья которых применять окопокопательные машины».

Впечатление потрясающее. Я вскакиваю и с необъяснимой ловкостью циркового шута в одно мгновение сбрасываю с себя пиджак, жилетку, воротничок, галстук и рубашку.

Ольга торжествует.

Я шиплю:

— Какое счастье жить в историческое время!

— Разумеется.

— Воображаю, как нам будет завидовать через два с половиной века наше «пустое позднее потомство».

— Особенно французы.

— Эти бывшие ремесленники революции.

— Почему «бывшие»?

— Потому что они переменили профессию.

Ольга роется в шелковых складках.

— Не думаете ли вы, что они к ней вернуться?

— Вряд ли. Французы вошли во вкус заниматься делом.

Кружево стекает с ее пальцев и переливается через ладони:

— Это все от ненависти к иностранцам.

— Да. Чтобы не покупать у немцев пирамидон и у нас сливочное масло.

— Но мы им отомстим.

— Каким образом?

— Мы их попробуем уговорить питаться нашими идеями. Несмотря на всю свою скаредность, французы довольно наивны. Они уже теперь учатся у нас писать романы таким же дурным литературным стилем, как Толстой, и так же скучно, как Достоевский. Но, увы, им это не удастся.

Мы ведем разговор в полутонах и улыбке, сосредоточенно охотясь за «врагами революции». Но мне в жизни безумно не везет. Первую вошь ловит женщина.

— Ольга, если вы жаждете славы, не убивайте ее. Поступите, как император Юлиан. Вошь, свалившуюся с головы, он впускал себе обратно в бороду. И верноподанные прославили его сердце. Надо уметь зарабатывать бессмертие. Способ Юлиана не самый худший.

Ольга не желает бессмертия. Она даже не верит мне, что творец вселенной при создании этого крохотного чудовища был остроумнее, чем когда-либо. Я почти с поэтическим вдохновением описываю острую головку, покрытую кожей твердой, как пергамент; глазки выпуклые, как у еврейских красавиц, и защищенные движущимися рожками; короткую шею, наконец, желудочек, работающий молниеносно. Наша кровь, сперва густая и черная, становится уже красной и жидкой в кишечках и совсем белой в жилочках.

— А это замечательное туловище, покрытое тончайшей прозрачной чешуйкой, с семью горбиками на боках, благодаря которым чудовище может с комфортом располагаться и удерживаться на наших волосах! А эти тонюсенькие ножки, увенчанные двумя ноготками!..

— Достаточно.

Я умоляю.

Поразительное насекомое гибнет под рубиновым ноготком моей жестокосердной супруги.

## 29

Совет Народных Комиссаров постановил изъять из обращения в пассажирских поездах вагоны первого и второго класса и принять немедленно меры к переделке частей этих вагонов в вагоны третьего класса.

## 30

В ближайшее время предполагается пустить в ход паровичок, который заменит собой трамвай по линии от Страстного бульвара до Петровско-Разумовского.

## 31

С завтрашнего дня прекращается освещение города газом.

## 32

Представители Союза работников театра заявили в Совете Рабочих Депутатов, что «в случае совершенного прекращения тока в Москве, театры примут меры для замены электричества другим освещением».

## 33

На 23 февраля объявлена всеобщая трудовая повинность по очистке улиц от снега и льда для всего «мужского и женского здорового населения в возрасте от 18 до 45 лет».



Я целую Ольгу в шею, в плечи, в волосы.

Она говорит:

— Расскажите мне про свою любовницу.

— У нее глаза серые, как пыль, губы — туз червей, волосы проливаются из ладоней ручейками крови...

Ольга узнает себя:

— Боже, какое несчастье иметь мужем пензенского кавалера.

— Увы!

— Дайте папиросу.

Я протягиваю руку к ночному столику. За стеной мягко прошлепывают босые ноги. Ольга поднимает многозначительный палец:

— Она!..

Марфуша подбрасывает дрова в печку, а у меня вспыхивают кончики ушей. Ольга закуривает:

— Итак, поговорим о вашей любовнице. У нее, наверно, красивая розовая спина... жаркая, как плита.

— Немножко широка.

— По крайней мере, не торчит позвоночник!

Ольга поворачивается набок:

— Вроде моего.

И вздыхает:

— Бамбуковая палка, которой выколачивают из ковров пыль.

— Флейта!

Я целую ее в рот.

Она морщится:

— Вы мешаете мне разговаривать.

После поцелуя у меня в ушах остается звон, как от хины.

— А что вы скажете об ее животе? Да рассказывайте же, или я умру от скуки в ваших объятиях.

Я смотрю в Ольгины глаза и думаю о своей любви.

...Моя икона никогда не потускнеет; для ее поновления мне не потребуется ни вохра-слизуха, ни празелень греческая, ни багр немецкий, ни белила кашинские, ни червлень, ни сурик.

Словом, я не заплатил бы ломаного гроша за все секреты старинных мастеров из «Оружейной серебряной палаты иконного воображения».

## 35

Прекращено пассажирское железнодорожное движение.

## 36

Народным Комиссариатом по просвещению разработан проект создания пяти новых музеев:

1. Московского национального.
2. Русского народного искусства.
3. Восточного искусства.
4. Старого европейского искусства и
5. Музея церковного искусства.

## 37

Я сегодня читал в университете свою первую лекцию о каменном веке.

Беспокойный предмет.

Три раза меня прерывали свистками и аплодисментами.

На всякий случай отметил в записной книжке чересчур «современные» места:

1. «...для того чтобы каменным или костяным инструментом выдолбить лодку, требовалось три года, и чтобы сделать корыто — один год...»

2. «...так как горшки их были сделаны из корней растений, для разогревания пищи бросали в воду раскаленные камни...»

3. «...они плавали по рекам на шкурах, привязывая их к хвостам лошадей, которых пускали вплавь...»

Олухи, переполнившие аудиторию, воображали, что я «подпускаю шпилечки».

На улице позади себя я слышал:

«Какая смелость!»

В следующий раз надо быть поосторожнее.

## 38

Колчак сказал:

«Порка — это полумера».

## 39

В Саратовской губернии крестьянские восстания. В двадцати двух волостях введено осадное положение.

## 40

С начала зимы в республике заболело сыпным тифом полтора миллиона человек.

## 41

Я объезжаю на лесенке, подкованной колесиками, свои книжные шкафы.

Потрепанная армия! Поредевшие батальоны.

Ольга читает только что полученное письмо от Сергея.

Я восклицаю:

— Ольга, ради наших с вами прожорливейших в мире желудков я совершил десятимесячный бесславный поход. Я усеял трупами, переплетенными в сафьян и отмеченными экслибрисами, книжные лавчонки Никитской, Моховой, Леонтьевского и Камергерского. Выразите же мне, Ольга, сочувствие.

Не отрываясь от письма, она проямливает:

— И не подумаю.

— Вы бессердечны!

Я подъезжаю к флангу, где выстроились остатки моей гвардии — свитки XV века, клейменные лилиями, кувшинчиками, арфами, ключами с бородками вверх, четвероконечными крестами; рукописи XVI века, просвечивающие бычьими головами, бегущими единорогами, скачущими оленями; наконец, фолианты XVII века с жирными свиньями. По заводскому клейму, выставленному на бумаге, можно определить не только возраст сокровища, но и душу времени.

Ольга вскрикивает:

— Это замечательно!

У нее дрожат пальцы и блестят глаза — серая пыль стала серебряной.

— Что замечательно?

— Сергей расстрелял Гогу.

Я досадительно кряхчу: у «спасителя родины» были нежные губы обиженной девочки и чудесные пальцы. А у Сергея руки мюнхенского булочника, с такими руками не стоит жить на свете.

## 42

В Симбирской, Пензенской, Тамбовской и Казанской губерниях крестьянские восстания. Волости, уезды, города на военном положении.

## 43

Сегодня по купону № 21 продовольственной карточки выдают спички — по одной коробке на человека.

## 44

Лениным и Цурюпой отправлена на места телеграмма: «...Москва, Петроград, рабочие центры задыхаются от голода».

## 45

По сообщению из Версаля, Верховный Совет Антанты держится того взгляда, что блокада Советской России должна продолжаться.

## 46

Туркестанский фронт:

«...после упорного боя нами оставлено Соленое Займище».

«...после упорного боя наши части в 55 верстах юго-западнее Уральска отведены несколько севернее на новые позиции».

Восточный фронт:

«...на реке Вагай наши части отводятся к реке Ашлик».

«...севернее Тобольска наши части под давлением противника несколько отошли вверх по реке Иртыш».

## 47

Деникин взял Орел.

## 48

Юденич взял Гатчину.

## 49

Отдел изобразительных искусств Народного Комиссариата по просвещению объявляет конкурс на составление проекта постоянного памятника в память Парижской коммуны семьдесят первого года.

## 50

Река синяя и холодная. Ее тяжелое тело лежит в каменных берегах, точно в гробу. У столпившихся и склоненных над ней домов трагический вид. Неосвещенные окна похожи на глаза, потемневшие от горя.

Автомобили скользят по мосту, подобно конькобежцам. Их сегодня больше, чем обычно. Кажется, что они описывают ненужные, бесцельные круги вдоль кремлевских зубцов с «гусенками», вдоль тяжелых перил, башен и полубашен с шатрами и вышками из бутового камня и кирпича полевых сараев, крепленного известью, крухой и мелью с хряцем. Сухаревка уже разнесла по Москве слухи об убегающих в Сибирь комиссарах; о ящиках с драгоценностями, с золотом, с посудой, с царским «бельишком и мебелишкой», которые они захватывают с собой в тайгу.

Мы идем по стене.

Ветер скрещивает голые прутья деревьев, словно рапиры, качает черные стволы кленов.

Я вглядываюсь в лица встречных. Веселое занятие! Будто запускаешь руку в ведро с мелкой рыбешкой. Неуверенная радость, колеблющееся мужество, жиреющее злорадство, ханжеское сочувствие, безглазое беспокойство, трусливые надежды — моя жалкая добыча.

Я спрашиваю Ольгу:

— А где же любовь к республике?

— Под Тулой и на подступах к Петрограду.

Мы поднимаемся по улице, которая когда-то была торговой. Мимо спущенных ставен, заржавевших засовов, замков с потерянными ключами, витрин, вымазанных белилами, точно рожи клоунов.

С тех пор как торговцы опять на бутырских нарах рядом с налетчиками и насильниками малолетних и торговля считается не занятием, а позором и преступлением — в Москве осталось не более четырех лавок, за прилавками которых стоят поэты, имеющие все основания через сто лет стать мраморными, а за кассой — философы, посеребренные сединой и славой.

Мы проходим под веселыми — в пеструю клетку — куполами Василия Блаженного. Я восторгаюсь выдумкой Бармы и Постника: не каждому взбредет на ум поставить на голову среди Москвы итальянского арлекина.

Грузовой автомобиль застрял среди площади. Он вроде обезглавленного и обезноженного верблюда. Горка старых винтовок поблескивает льдистой сталью.

В цейхгаузах республики много свободного места. Винтовкам от «турецких кампаний» суждено завтра решить судьбу социализма на улицах Петербурга.

Ольга говорит:

— Сделайте три шага к той стене и прочтите в «Правде», что сегодня идет в театрах.

С тех пор как у нас стало «все даром», газеты приходится читать, стоя у забора. Их клеят, как афиши.

— Куда вы хотите пойти?

— Выберите пьесу, которая соответствовала нашему героическому моменту.

— Попробую.

Я надеваю пенсне и читаю:

— Большой театр — «Сказка о царе Салтане», Малый — «Венецианский купец», Художественный — «Царь Федор», Корш — «Джентельмен», Новый Театр — «Виндзорские проказницы», Никитский — «Иветта», Незлобина — «Царь Иудейский»... сочинения Константина Романова, Камерный — «Саломея»...

— Довольно.

Мы пересекаем площадь.

Может быть, наши шаги ступают как раз по тому месту, где лежал голый труп Отрепьева.

Любовь к «изящным искусствам, скоморошеству» не довела его до добра.

Мне вспоминается запись очевидца: «Народ, проходя, не переставал ругаться, единые положили ему на брюхо весьма страннообразную маску, найденную у Марины Мнишковой, другие, ругаясь его люблению музыки, в рот ему всунули сопель, а под пазуху положили волюнку».

В этой стране ничего не поймешь: Грозного прощает и растерзывает Отрепьева; семьсот лет ведет неудачные войны и покоряет народов больше, чем Римская Империя; не умеет делать каких-то «фузей» и воздвигает на болоте город, прекраснейший в мире.

Я говорю:

— Вы не находите, Ольга, что у нас благополучно добирается до цели только тот, кто идет по канату через пропасть. Попробуй выбрать шоссейную дорогу и непременно сломаешь себе шею. После падения Орла и

Гатчины я начинаю верить в крепость советского строя. Наконец, у меня даже мелькает мысль, что с помощью вшей, голода и чумных крыс, появившихся в Астрахани, они, чего доброго, построят социализм.

## 51

Через час мы едем на вокзал встречать Сергея. Товарищ Мамашев уверяет «на основании точных реввоенсоветских сведений», что контузия не очень сильная:

— Года через три, аккурат, будет слышать на левое ухо, а голова перестанет трястись и того раньше.

## 1922

### 1

Осенью двадцать первого года у меня почему-то снова зачесались пальцы. Клочки и обрывки бумажек появились на письменном столе. У карандашей заострились черненькие носики. Каждое утро я собирался купить тетрадь, каждый вечер собирался шевелить мозгами. Но потом одолевала лень. А я не имею обыкновения и даже считаю за безобразие противиться столь очаровательному существу.

Мягкие листочки с моими «выписками» попали на гвоздик «кабинета задумчивости», жесткие сохранились. Я очень благодарен Ольге за ее привередливость.

Так как я всегда забываю проставлять дни и числа, приходится их переписывать в хронологическом беспорядке.

### 2

Бездожде, засуха первой половины лета выжгли озимые, яровые, огороды и покосы от Астрахани до Вятки.



### 3

Саранча, горячий ветер погубили позднее просо. Поздние бахчи запекло. Арбузы заварились (Донской округ).

### 4

Просо, бахчи и картофель из-за жарких и мгlistых ветров погибли (Украина).

### 5

На X съезде партии установлены основные положения нэпа.

### 6

До июля небо стояло окутанное дымом горящих за Волгой лесов. Солнце выжигало поля. Земля трескалась и превращалась в золу. Потом вдруг пошли непрерывные дожди и холодные погоды. Яровые и овощи, начавшие было выравниваться, стали блекнуть. В конце июля наступили теплые дни — овес выкинул метелку, мелькнула надежда на семя. Тогда явился черно-бурый червь, и поля превратились в пустыню (Чувашская область).

### 7

В изменение декрета Совета Народных Комиссаров от 14 декабря 1917 года о запрещении сделок с недвижимостью (собрание Узаконений 1917 г. № 10, ст. 154) и декрета ВЦИКа от 20 августа 1918 года об отмене прав частной собственности на недвижимость в городах Совет Народных Комиссаров постановил: разрешить возмездное отчуждение немунципализированных строе-

ний собственникам их... понимая под владением дом и примыкающие к нему жилые и служебные дворовые постройки.

## 8

Неурожай распространился на все хлебные злаки.

## 9

Про сенокос не приходится говорить: щипнуть нечего.

## 10

Земля высохла и отвердела — напоминает паркет. Недосожженное пожират саранча.

## 11

Постановление: «Выселение владельцев из занимаемых ими помещений может иметь место только по обстоятельствам военного времени».

## 12

Крестьяне стали есть сусликов.

## 13

Желуди уже считаются предметом роскоши. Из липовых листьев пекут пироги. В Прикамье употребляют в пищу особый сорт глины. В Царицынской губернии питаются травой, которую раньше ели только верблюды.

## 14

В отмену прежних декретов: «Никакое имущество не может быть реквизировано или конфисковано». Иностранная валюта, золото, серебро, платина и драгоценные камни сверх нормы подлежат возмездной сдаче по средним рыночным ценам.

## 15

Разрешены к продаже виноградные, плодово-ягодные и изюмные вина с содержанием алкоголя не более четырнадцати градусов.

## 16

Выпал снег, покрывший последние источники питания голодных.

## 17

ОБЪЯВЛЕНИЕ:  
ГДЕ МОЖНО СЫТНО И ВКУСНО ПОКУШАТЬ  
ЭТО ТОЛЬКО В РЕСТОРАНЕ  
ЭЛЕГАНТ  
ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА

Идеальная европейская и азиатская кухня под наблюдением опытного кулинара. Во время обедов и ужинов салонный оркестр. Уголки тропического уюта, отд. кабинеты.

## 18

Ольга говорит на полном спокойствии:

— А руки я вам, Илья Петрович, не подам.

Докучаев растерянно смотрит на Ольгу, на меня, на голову Сергея, прыгающую в плечах, как сумасшедшая секундная стрелка.

— Я не шучу, Илья Петрович.

Волосатые растопыренные пальцы висят в воздухе.

— Где вы сейчас, Илья Петрович, были?.. — Докучаев хихикает. — Розы бахчисарайские срывали, что ли?

— Шутить изволите, Ольга Константиновна?

— Нимало.

Он смущенно, будто первый раз в жизни, рассматривает свои круглые, вроде суровых тарелок, ладони. Глаза у Докучаева — темные, мелкие и острые, обойные гвоздики.

— Запомните, пожалуйста, что после сортира руки полагается мыть. А не лезть здороваться.

Горничная вносит белый кофейник и четыре чашечки формы бильярдного шара, разрезанного пополам.

Ольга ее просит:

— Проводите Илью Петровича в ванную.

Докучаев послушно выходит из комнаты.

Вдогонку ему Ольга кричит:

— С мылом, смотрите!..

## 19

На Докучаеве мягкая соболья шапка. Она напоминает о старой Москве купецких покоев, питейных домов, торговых бань, харчевенных изб, рогаточных будок, кадей квасных и калашных амбаров. О Москве лавок, полулавок, блинь, шалашей мутных, скамей пряничных, аркадов, цирюлен, земель отдаточных и мест, в которых торговали саньями.

Соболья шапка не очень вяжется с его толстой бритой верхней губой и бритым подбородком. Подбородок широкий и крепкий, как футбольная бутса.

Свою биографию Илья Докучаев рассказывает «с обычкой». До 1914 года состоял в «мальчишках на побегушках» в большом оптовом мануфактурном деле по Никольской. В войну носил горшки с солдатскими испражнениями в псковском госпитале. Философия была проста и резонна. Он почел: пусть уж лучше я повиношу, чем из-под меня станут таскать. От скуки Илья Пе-

трович стал вести любопытную статистику «смертей и горшков». Оказывается, что на каждые десять выносов приходился только один мертвец. За три года войны Докучаев опорожнил двадцать шесть тысяч урыльников.

В 1917 году был делегирован от фронта в Петербург. Четвертушку от часа поразговаривав с «самим» Керенским, составил себе «демократическое созерцание». В октябре Илья Петрович держал «нейтралитет». В годы военного коммунизма «путешествовал». Побывал не раз и не два в Туркестане, в Крыму, на Кавказе, за Уралом, на Украине и в Минске. Несмотря на то, что «путешествовал» не в спальном купе, а почаще всего на крышах вагонов, на паровозном угле и на буферах, — о своих «вояжах» сохранил нежные воспоминания.

Багаж у него был всякообразный: рис, урюк, кишмиш, крупчатка, пшенка, сало, соль, сахар, золото, керенки, николаевские бриллианты, доллары, фунты, кроны, английский шевииот, пудра «Коти», шелковые чулки, бюстгальтеры, купчие на дома, закладные на имения, акции, ренты, аннулированные займы, картины старых мастеров, миниатюры, камеи, елизаветинские табакерки, бронза, фарфор, спирт, морфий, кокаин, наконец «еврей»: когда путь лежал через махновское Гуляйполе.

Докучаев уверяет, что предвосчувствовал нэп за год до X съезда партии.

Сейчас он арендатор текстильной фабрики, хорошенького домика, поставщик на Красную Армию, биржевик. Имеет мануфактурный магазин в Пассаже, парфюмерный на Петровке и готового платья на Сретенке, одну-другую палатку у Сухаревой башни, на Смоленском рынке, на Трубе и Болоте.

Но, как говорится, «на текущий момент — Илью Петровича довольно интересуется голод».

Спрашивает меня:

— Постигаете ли, Владимир Васильевич, целые деревни питаются одной водой. Пьет человечешко до трех ведер в сутки, ну-с, и припухнет слегка, конечно. Потом, значит, рвота и кожа лопается.

— Ужасно.

— Ужасно. Совершенно справедливо заметили.

Он крутит мокрую губу цвета сырой говядины и смотрит на меня с косовинкой:

— В одной только Самарской губернии, Владимир Васильевич, по сведениям губернского статистического бюро, уже голодает, значит, два миллиона восемьсот тысяч.

Он берет меня под руку.

— Многонько?

— Да, много.

Обойные гвоздики делаются почти вдохновенными:

— Необычайная, смею доложить вам, Владимир Васильевич, коммерческая перспектива!

## 20

Мы сидим за столиком в «Ампире».

Докучаев подает Ольге порционную карточку:

— Пожалуйста, Ольга Константиновна, программку.

Метрдотель переламывается в пояснице. Хрустит крахмал и старая позвоночная кость. Рахитичными животиками свисают желтые, гладко выбритые морщинистые щеки. Глаза болтаются плохо пришитыми пуговицами. За нашими стульями черными колоннами застыли лакеи.

Ольга заказывает:

— Котлету марешаль... свежих огурцов...

Метр повторяет каждое движение ее губ. Его слова заканчиваются по-бульдोजьи короткими, обрубленными хвостиками:

— Котлетку-с марешаль-с... свеженьких-с огурчиков-с... пломбир-с... кофеек-с на огоньке-с...

Докучаев взирает с наслаждением на переломившийся старый хребет, на бултыхающиеся бритые морщинистые щеки, на трясущиеся, плохо пришитые к лицу пуговицы, на невидимое валянье бульдожьих хвостиков.

Черные колонны принимают заказ. Черные колонны побежали.

Ольга оглядывает столики:

— Я, собственно, никак не могу понять, для чего это вы за мной, Докучаев, ухаживаете. Вот поглядите, здесь дюжины три проституток, из них штук десять красивей, чем я.

Некоторые и вправду очень красивы. Особенно те, что сидят напротив. Тоненькие, как вязальные спицы.

Ольга спрашивает:

— Неужели, чтобы выйти замуж, необходимо иметь скверный цвет лица и плохой характер? Я уверена, что эти девушки попали на улицу из-за своей доброты. Им нравилось делать приятное людям.

Ольга ловит убегающие глаза Докучаева:

— Сколько дадите, Илья Петрович, если я лягу с вами в кровать?

Докучаев обжигается супом. Жирные струйки текут по гладко выбритому широкому подбородку.

Ольга бросает ему салфетку:

— Вытритеесь. А то противно смотреть.

— С панталыку вы меня сбили, Ольга Константиновна.

Он долго трет свою крепкую, тяжелую челюсть.

— Тысяч за пятнадцать долларов я бы вам, Докучаев, пожалуй, отдалась.

— Хорошо.

Ольга бледнеет:

— Мне рассказывали, что в каком-то селе Казанской губернии дети от голода бросаются в колодцы.

— Это было напечатано, Ольга Константиновна, неделю тому назад в газете.

— На пятнадцать тысяч долларов можно прокормить много детей.

— Можно, Ольга Константиновна. Совершенно справедливо заметили.

— Я к вам приду сегодня часов в одиннадцать вечера.

— Добре.

Докучаев прекрасно чувствует, что дело отнюдь не в голодных детях. Ольга проигрывает игру.

Очаровательные вязальные спицы переговариваются взглядами с необычайно смешным господинчиком.

У того ножки болтаются под диваном, не достигая пола, живот покрывает колени, а вместо лица — дырявая греческая губка.

Он показывает на пальцах сумму, которую дал бы за обеих. Они просят больше. Господинчик накидывает. Тоненькие женщины, закусив нежным, пухлым ртом папироски, пересаживаются к нему за столик.

— Докучаев, просите счет.

Лакей ставит большую хрустальную вазу с фруктами.

Ольга вонзает ножичек в персик:

— Я обещала Сергей Васильевичу быть дома ровно в шесть.

Персик истекает янтарной кровью. Словно голова, только что скатившаяся с плахи.

— Боже мой! боже мой!

Встретившись глазами с женщиной «чересчур доброй», по словам Ольги, я опрокидываю чашечку с кофе, вонзаю себе в ладонь ноготок фруктового ножа и восклицаю:

— Да ведь это же она! Это же Маргарита Павловна фон Дихт! Прекрасная супруга расстрелянного штаб-ротмистра. Я до сегодняшнего дня не могу забыть ее тело, белое и гибкое, как итальянская макарона. Неужели же тот бравый постовой милиционер, став начальником отделения, выгнал ее на улицу и женился по меньшей мере на графине? У этих людей невероятно быстро развивается тщеславие. Если в России когда-нибудь будет Бонапарт, то он, конечно, вырастет из постового милиционера. Это совершенно в духе моего отечества.

## 21

— Ольга, вам Докучаев нравится?

— Не знаю.

— Вы хотели «ранить ему сердце», а вместо того объяснились в любви.

— Кажется, вы правы.

— Вы пойдете к нему сегодня?

— Да.



С Сергеем приходится говорить значительно громче обычного. Почти кричать.

— ...видишь ли, я никак не могу добраться до причин вашего самоупоения. Докучаев? Но право, я начинаю сомневаться в том, что это вы его выдумали.

Сергей задумчиво смотрит в потолок.

— ...и вообще, моя радость, я не слишком высоко-го мнения о вашей фантазии. Если говорить серьезно, то ведь даже гражданскую войну распропагандировал Иисус за две тысячи лет до нашего появления. Возьми то место из Священного Писания, где Иисус уверяет своих учеников, что «во имя его» брат предаёт на смерть брата, отец — сына, а дети восстанут на родителей и переколотят их.

Сергей продолжает задумчиво рассматривать потолок.

— «Кто ударит в правую щеку, обрати другую, кто захочет судиться с тобой и взять рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». С такими идеями в черепашке трудненько заработать на гражданском фронте орден Красного Знамени.

Улыбающаяся голова Сергея, разукрашенная большими пушистыми глазами, беспрестанно вздрагивает, прыгает, дергается, вихляется, корячится. Она то приседает, словно на корточки, то выскакивает из плеч наподобие ярмарочного чертика-пискуна.

Каминные часы пробили одиннадцать. Ольга вышла из своей комнаты. Мне показалось, что ее глаза были чуть шире обычного. А лоб, гладкий и слегка покатый, как перевернутое блюдечко, несколько бледноват. Красные волосы были отлакированы и гладко зачесаны. Словно с этой головы только что сняли скальп. Она протянула Сергею руку:

— До свидания.

— Вы уходите?

— Да.

— Можно спросить куда?

— Конечно.

И она сказала так, чтобы Сергей понял:

— К Докучаеву.

Сергей положил дрогнувшие и, по всей вероятности, заолодавшие пальцы на горячую трубу парового отопления.

## 23

Только что мы с Ольгой отнесли в Помгол пятнадцать тысяч долларов.

## 24

Хох Штиль:

«Русские о числе неприятеля узнают по широте дороги, протоптанной в степях татарскими конями, по глубине следа или по вихрям отдаленной пыли».

Я гляжу на Сергея. Только что по нему прошли полчища. Я с жадностью ищу следов и отдаленных вихрей.

Чепуха! Я совсем запамятовал, что на льду не лежат мягкие подушечки жаркой пыли, а на камне не оставишь следа.

## 25

В селе Липовки (Царицынского уезда) один крестьянин, не будучи в силах выдержать мук голода, решил зарубить топором своего семилетнего сына. Завел в сарай и ударил. Но после убийства сам тут же повесился над трупом убитого ребенка. Когда пришли, видят: висит с высунутым языком, а рядом на чурбане, где обычно колот дрова, труп зарубленного мальчика.

## 26

Холодное зимнее небо затоптано всякой дрянью. Звезды свалились вниз на землю в сумасшедший город, в кривые улицы.

Маленькие Плеяды освещают киношку, голубоватое созвездие Креста — ночной кабака, а льдистая Полярная — Сандуновские бани.

Я оборачиваюсь на знакомый голос.

Докучаев торгуется с извозчиками. Извозчик сбавляет ворчливо, нехотя, злобисто. Он стар, рыж и сморщинист, точно голенище мужицкого сапога. У его лошаденки толстое сенное брюхо и опухшие ноги. Если бы это был настоящий конь с копытами наподобие граненых стаканов, с высоким крутым задом и если бы сани застегивались не рогожистым одеяльцем, а полостью отличного синего сукна, опушенного енотом, послал бы сивоусый дед с высоты своих козел прилипчатого нанимателя ко всем матерям. Но полостишка не отличная, а как раз паршивенькая, да и мерин стар, бос и борода, как Лев Толстой.

Докучаев выматывает из старика грош за грошем спокойно, долботно, уверенно.

Старик только мнет нахлобучку, ерзает на облучке и теребит вожжой.

— Ну, дед, сажаешь или не сажаешь? Цена красная.

И Докучаев отплывает в мрак из-под льдистой Полярной, воссиявшей над Сандуновскими. Сворачивает за угол.

Дед кричит вдогонку:

— Садись уж! садись! куды пошел?

И отворачивает рогожистое одеяльце:

— Тебе, видно, барин, грош-то шибчей мово нужен.

Потом трогает мохрявой вожжой по мерину:

— Богатей на моем коне.

Докучаев разваливается на сиденьце:

— С вашим братом шкуродером разбогатеешь.

Улыбка отваливает его подбородок, более тяжелый, чем дверь в каземат.

Я один раз был с Ильей Петровичем в бане. Он моется в горячей, лежит на верхней полке пупом вверх до седьмого пота, а под уход до рубцов стегается березовым веником.

Русак!

## 27

В Большой Гущине Пугачевского уезда в правлении потребительского общества доставлено 10 фунтов вареного человеческого мяса, добытого на кладбище. Мясом этим питалось десять семей.

## 28

В селе Любимовке Бузулукского уезда обнаружено человеческое тело, вырытое из земли и частью употребленное в пищу.

## 29

По Нансеновскому подсчету голодает тридцать три миллиона человек.

## 30

Я говорю Докучаеву:

— Илья Петрович, в вас погибает огромный актер. Вы совершаете преступление, что не пишете психологических романов. Это ужасно и несправедливо, что вам приходится вести переговоры с чиновником из МУНИ, а не с Железным Канцлером. Я полагаю, что несколько тысяч лет тому назад вы были тем самым Мудрым Змием, который соблазнил Адама. Но при всех этих прстойнейших качествах, дорогой Илья Петрович, все-таки не мешает иногда знать историю. Хотя бы только своего народа. Невежество — опасная вещь. Я уверен, что вы, кстати, даже не слышали о существовании хотя бы Ахмед-ибн-Фадлана. А ведь он рассказал немало любопытных и, главное, в досталь полезных историй. В том числе и о некоторых превосходных обычаях наших с вами отдаленных предков. Он уверяет, например, что славяне, «когда они видят человека подвижного и сведу-

щего в делах, то говорят: этому человеку приличествует служить Богу; посему берут его, кладут ему на шею веревку и вешают его на дереве, пока он не распадается на части».

Докучаев весело и громко смеется.

Чем больше я знаю Докучаева, тем больше он меня увлекает. Иногда из любознательности я сопутствую ему в кабинеты спецов, к столам делопроизводителей, к бухгалтерским конторкам, в фабкомы, в месткомы. В кабаки, где он рачительно чинует, и в игорные дома, где он довольно хитро играет на проигрыш.

Я привык не удивляться, когда сегодня его вижу в собольей шапке и сибирской дохе, завтра — в красноармейской шинели, наконец, в овчинном полушубке или кожаной куртке восемнадцатого года.

Он меняет не только одежду, но и выражение лица, игру пальцев, нарядность глаз и узор походки.

Он говорит то с вологодским акцентом, то с украинским, то с чухонским. На жаргоне газетных передовиц, съездовских делегатов, биржевых маклеров, старомосковских купцов, братишек, бойцов.

Докучаев убежден, что человек должен быть устроен приблизительно так же, как хороший английский несессер, в котором имеется все необходимое для кругосветного путешествия в международном спальном вагоне — от коробочки для презервативов до иконки Святой Девы.

Он не понимает, как могут существовать люди каких-то определенных чувств, качеств, правил.

В докучаевском усовершенствованном несессере полагается находиться: самоуверенности рядом с робостью, наглости рядом со скромностью и бешеному самолюбию рядом с полным и окончательным отсутствием его.

Человек, который хочет «делать деньги» в Советской России, должен быть тем, чем ему нужно быть. В зависимости от того, с кем имеешь дело, — с толстовкой или с пиджаком, с дураком или с умным, с прохвостом или с более или менее порядочным человеком.

Докучаев создал целую философию взятки. Он не верит в существование «не берущих». Он утверждает,

что Робеспьеру незаслуженно было присвоено прозвище Неподкупный.

Докучаевская взятка имеет тысячи градаций и миллионы нюансов. От самой грубой — из руки в руки — до тончайшей, как французская лъстивость.

Докучаев говорит: «Все берут! Вопрос только — чем».

Он издевается над такими словами, как: дружба, услуга, любезность, помощь, благодарность, отзывчивость, беспокойство, внимательность, предупредительность.

На его языке это все называется одним словом: взятка.

Докучаев — страшный человек.

## 31

В селе Гохтале Гусихинской волости крестьянин Степан Малов, тридцати двух лет, и его жена Надежда, тридцати лет, зарезали и съели своего семилетнего сына Феофила.

«...положил своего сына Феофила на скамейку, взял нож и отрезал голову, волосы с которой спалил, потом отрезал руки и ноги, пустил в котел и начал варить. Когда все это было сварено, стали есть со своей женой. Вечером разрезали живот, извлекли кишки, легкие, печеньку и часть мяса; также сварили и съели».

## 32

— Объясни мне, сделай одолжение, зловещую тайну своей физиономии.

— Какую?

— Чему она радуется?

— Жизни, дорогой мой.

— Если у тебя трясется башка, ни черта не слышат уши, волчанка сожрала левую щеку...

— Мелочи...

— Мелочи? Хорошо.

У меня зло ворохнулись пальцы.

— А голод?.. Это тоже мелочь?

— При Годунове было куда тучистей. На московских рынках разбазаривали трупы. Прочти Де Ту: «...родные продавали родных, отцы и матери сыновей и дочерей, мужа своих жен».

К счастью, мне удастся припомнить замечание русского историка о преувеличениях француза:

— Злодейства совершались тайно. На базарах человеческое мясо продавалось в пирогах, а не трупами.

— Но ведь ты еще не лакомился кулебякой из своей тетушки?

После небольшой паузы я бросал последний камешек:

— Наконец, женщина, которую ты любишь, взяла в любовники нэпмана.

Он смотрит на меня с улыбкой своими синими младенческими глазами.

— А ведь это действительно неприятно!

Мне приходит в голову мысль, что люди рождаются счастливыми или несчастливыми точно так же, как длинноногими или коротконогими.

Сергей, словно угадав, о чем я думаю, говорит:

— Я знал идиота, которому достаточно было потерять носовой платок, чтобы стать несчастным. Если ему в это время попадалась под руку престарелая теща, он сживал ее со свету, если попадалось толстолапое невинное чадо, он его порол, закатав штаненки. Завтра этому самому субъекту подавали на обед пережаренную котлету. Он разочаровывался в жене и заболел мигренью. Наутро в канцелярии главный бухгалтер на него косо поглядывал. Бедняга лишился аппетита, опрокидывал чернильницу, перепутывал входящие с исходящими. А по пути к дому переживал воображаемое сокращение, голодную смерть и погребение своих бранных останков на Ваганьковском кладбище. Вся судьба его была черна как уголь. Ни одного розового дня. Он считал себя несчастнейшим из смертных. А между тем, когда однажды я его спросил, какое горе он считает самым большим в своей жизни, он очень долго и мучительно думал, тер лоб, двигал бровями и ничего не мог вспомнить, кроме четверки по закону божьему на выпускном экзамене.

С нескрываемой злостью я глазами ощупываю Сергея: «Хам! щелкает орехи и бросает скорлупу в хрустальную вазу для цветов».

У меня вдруг — ни село ни пало — является дичайшее желание раздеть его нагишом и вытолкать на улицу. Все люди как люди — в шубах, в калошах, в шапках, а ты вот прыгай на дурацких и пухленьких пятках в чем мать родила.

Очень хорошо!

Может, и пуп-то у тебя на брюхе, как у всех прочих, и задница ничуть не румяней, чем полагается, а ведь смешон же! Отчаянно смешон.

И вовсе позабыв, что тирада сия не произнесена вслух, я неожиданно изрекаю:

— Господин Ньютон, хоть ты и гений, а без штанов — дрянь паршивая!

Сергей смотрит на меня сожалительно.

Я говорю:

— Один идиот делался несчастным, когда терял носовой платок, а другой идиот рассуждает следующим манером: «на фронте меня контузило, треснули барабанные перепонки, дрыгается башка — какое счастье! Ведь вы только подумайте: этот же самый милый снарядец мог меня разорвать на сто двадцать четыре части».

Сергей берет папиросу из моей коробки, зажигает и с наслаждением затягивается.

Мои глаза, злые, как булавки, влезают — по самые головки — в его зрачки:

— Или другой образчик четырехкопытой философии счастливого животного.

— Слушаю.

— ...Ольга взяла в любовники Докучаева! Любовником Докучаева! А? До-ку-ча-е-ва? Невероятно! Немыслимо! Непостижимо. Впрочем... Ольга взяла и меня в «хахаля», так сказать... Не правда ли? А ведь этого могло и не случиться. Счастье могло пройти мимо, по другой улице...

Я перевожу дыхание:

— ...не так ли? Следовательно...

Он продолжает мою мысль, утвердительно кивнув головой:



— Все обстоит как нельзя лучше. Совершенно правильно.

О, как я ненавижу и завидую этому глухому, рогатому, изъеденному волчанкой, счастливому человеку.

### 33

В Пугачеве арестованы две женщины-людоедки из села Каменки, которые съели два детских трупа и умершую хозяйку избы. Кроме того, людоедки зарезали двух старух, зашедших к ним переночевать.

### 34

Ольга идет под руку с Докучаевым. Они приумножаются в желтых ромбиках паркета и в голубоватых колоннах бывшего Благородного собрания. Колонны словно не из мрамора, а из воды. Как огромные застывшие струи молчаливых фонтанов.

Хрустальные люстры, пронизанные электричеством, плавают в этих оледенелых аквариумах, как стаи золотых рыб.

Гремят оркестры.

Что может быть отвратительнее музыки! Я никак не могу понять, почему люди, которые жрут блины, не говорят, что они занимаются искусством, а люди, которые жрут музыку, говорят это. Почему вкусовые «вудырчики» на языке менее возвышенны, чем барабанные перепонки? Физиология и физиология. Меня никто не убедит, что в гениальной симфонии больше содержания, чем в гениальном салате. Если мы ставим памятник Моцарту, мы обязаны поставить памятник и господину Оливье. Чарка водки и воинственный марш в равной мере пробуждают мужество, а рюмочка ликера и мелодия негритянского танца — сладострастие. Эту простую истину давно усвоили капралы и кабатчики.

Следуя за Ольгой и Докучаевым, я разглядываю толпу подозрительно новых смокингов и слишком мяг-

ких плеч; может быть, к тому же недостаточно чисто вымытых.

Сухаревка совсем еще недавно переехала на Петровку. Поэтому у мужчин несколько излишне надушены платки, а у женщин чересчур своей жизнью живут зады, чаще всего широкие, как у лошади.

Крутящиеся стеклянные ящики с лотерейными билетами стиснуты: зрачками, плавающими в масле, дрожущими руками в синеньких и красеньких жилках, потеющими шеями, сопящими носами и мокроватыми грудями, покинувшими от волнения свои тюлевые чаши.

Хорошенькая блондинка, у которой черные шелковые ниточки вместо ног, выкликает главные выигрыши:

— Квартира в четыре комнаты на Арбате! Верховая лошадь породы гунтер! Рояль «Беккер»! Автомобиль Форда! Корова!

Ольга с Докучаевым подходят к полочкам с бронзой, фарфором, хрусталем, серебряными сервизами, терракотовыми статуэтками.

Ольга всматривается:

— Я непременно хочу выиграть эти вазочки баккара.

Вазочки прелестны. Они воздушны, как пачки балерины, когда на них смотришь из глубины четвертого яруса.

Докучаев спрашивает хорошенькую блондинку на черных шелковых ниточках:

— Скажите, барышня, выигрыш номер три тысячи тридцать семь в вашем ящике?

Ниточки кивают головой.

— Тогда я беру все билеты.

Ольга смотрит на Докучаева почти влюбленными глазами.

Сопящие носы бледнеют. Потные шеи наливаются кровью. Голые плечи покрываются маленькими пупырышками.

Высокоплечая женщина с туманными глазами приваливается к Докучаеву просторными бедрами. Толстяк, который держит ее сумочку, хватается за сердце.

Ольга вертит вазочки в руках:

— Издали мне показалось, что они хорошей формы.

Черные ниточки считают билеты, которые должен оплатить Докучаев.

Ольга ставит прелестную балетную юбочку баккара на полку:

— Я не возьму вазочки. Они мне не нравятся.

Женщина с туманными глазами говорит своему толстяку:

— Петя, смотри, под тем самоваром тот же номер, что и у нашего телефона: сорок — сорок пять.

— Замечательный самовар! Наденька, ты хотела бы выиграть этот замечательный самовар?

Она смеется и повторяет:

— Какое совпадение: сорок — сорок пять!

И, отослав за апельсином толстяка, еще нежнее прилипает к Докучаеву просторными бедрами.

Ольга громко говорит:

— Запомните, Илья Петрович, ее номер телефона. Это честная женщина. За несколько минут до того, как вы проронили свое великолепное желание, она вслух мечтала выиграть для своего старшего сына барабан, а для дочери — большую куклу в голубеньком платьице.

Ольга вежливо обращается к женщине с туманными глазами:

— Если не ошибаюсь, сударыня, ваш телефон сорок — сорок пять?

Просторные бедра вздергивают юбку и отходят.

— Боже, какая наивность! Она вообразила, что я ревную.

Мы продвигаемся в круглую гостиную.

На эстраде мягкостные юноши и девушки изображают танец машин. Если бы этот танец танцевали наши заводы, он был бы очарователен. Интересно знать, сколько еще времени мы принуждены будем видеть его только на эстрадах ночных кабачков?

Конферансье, стянутый старомодным фракком и воротничком непомерной высоты, делающим шею похожей на стебель лилии, блистал лаком, крахмалом, остроумием и круглым стеклом в глазу.

Конферансье — один из самых находчивых и остроумных людей в Москве. Он дал слово организаторам гран-

диозного семидневного празднества и лотереи-аллегри «в пользу голодающих», что ни один нэпман, сидящий в круглой гостиной, не встанет из-за стола раньше, чем опустеет его бумажник. Он обещал их заставить жрать до тошноты и смеяться до коликов, так как смех, по замечанию римлян, помогает пищеварению.

Мы с большим трудом раздобываем столик. Илья Петрович заказывает шампанское хорошей французской марки.

Из соседнего зала доносится серебристая ария Надира. Поет Собинов.

Русские актеры всегда отличались чувствительным сердцем. Всю революцию они щедро отдавали свои свободные понедельники, предназначенные для спокойного помытья в бане, благотворительным целям.

## 35

В Словенке Пугачевского уезда крестьянка Голодкина разделила труп умершей дочери поровну между живыми детьми. Кисти рук умершей похитили сироты Селивановы.

## 36

Откормленный, жирный самовар мурлычет и щурится. За окном висит снег.

— Это вы, Владимир Васильевич, небось сочинили?

— Что сочинил, Илья Петрович?

— А вот про славян древних. Неужто ж сии витязи, по моим понятиям, и богатыри подряд геморроем мучились?

— Сплошь. Один к одному. И еще рожей. «Опухоли двоякого рода».

— У кого вычитали?

— У кого надо. А боярыни — что красотки с Трубы. Румян — с палец, белил — с два... Один англичанин так и записал: «Страшные женщины... цвет лица болезненный, темный, кожа от краски морщинистая...»

— Ну вас, Владимир Васильевич.

— Про Рюриковичей же, Илья Петрович, могу доложить, что после испражнений даже листиком зеленым не пользовались.

Докучаев беспокоенно захлебал чай.

Илья Петрович имеет один очень немаловажный недостаток. Ему по временам кажется, что он боится нежным чувством к своему отечеству.

Я полечиваю его от этой хворости. Надо же хорошего человека отблагодарить. Как-никак, пью его вино, ем его зернистую икру, а иногда — впрочем, не очень часто — сплю даже со своей женой, которая тратит его деньги.

Докучаев мнет толстую мокрую губу цвета сырой говядины, закладывает палец за краешек лакового башмака и спрашивает:

— А хотели бы вы, Владимир Васильевич, быть англичанином?

Отвечаю:

— Хотел.

— А ежели арабом?

— Сделайте милость. Если этот араб будет жить в квартире с приличной ванной и в городе, где больше четырех миллионов жителей.

— А вот я, Владимир Васильевич, по-другому понимаю.

И заглядывает на себя в зеркало:

— Носище у меня, изволю доложить, вразвалку и в рыжих плюхах.

Ольга приоткрывает веко и смотрит на его нос.

— ...а ведь на самый что ни есть шикарный, даже с бугорком греческим, не переставлю-с.

Ольга потягивается:

— Очень жаль.

— Совершенно справедливо.

И продолжает свою мысль:

— Но бестолковству же, Ольга Константиновна, на англичанина в обмен не пойду. Горжусь своей подлой нацией.

На «подлость нации» не противоречу. Капитан Мержерет, храбро сражавшийся под знаменами Генриха IV,

гетмана Жолкевского, императора Римского, короля Польского, имевший дело с турками, венграми и татарами, служивший вероломно царю Борису и с завидной преданностью самозванцу, рассказал с примерной правдивостью и со свойственной французам элегантною о нашем неоспоримом превосходстве невежливостью, лукавством и вероломством над всеми прочими народами.

Илья Петрович раздумчиво повторяет:

— Го-о-оржусь!

Тогда Ольга поднимает голову с шелковой подушки:

— Убирайтесь, Докучаев, домой. Меня сегодня от вас тошнит.

За окном дотаивает зимний день. Снег падает большими редкими хлопьями, которые можно принять за белые кленовые листья.

Докучаев уходит на шатающихся ногах. Я вздыхаю:

— Такова судьба покорителей мира. Александр Македонский во время Персидского похода падал в обморок от красоты персианок...

## 37

Только что я собирался нажать горошинку звонка, когда заметил, что дверь не заперта. Тронул и вошел. В передней пошаркал калошами, прокашлялся, шумно разделся.

Ни гугу.

В чем, собственно, дело? Друг мне Докучаев или не друг?

И я без церемоний переступаю порог.

В хрустальной люстре, имеющей вид перевернутой сахарницы, горит тоненькая электрическая спичка. Полутемень жметя по стенам.

У Докучаева в квартире ковры до того мягкие, что по ним стыдно ступать. Такое чувство, что не идешь, а крадешься.

Стулья и кресла похожи на присевших на корточках камергеров в придворных мундирах.

Красное дерево обляпано золотом, стены обляпаны картинами. Впрочем, запоминается не живопись, а рамы.

Я вглядываюсь в дальний угол.

Мне почудилось, что мяучит кошка. Даже не кошка, а котенок, которому прищемили хвост.

Но кошки нет. И котенка нет. В углу комнаты сидит женщина. Она в ситцевой широкой кофте и бумазеевой юбке деревенского кроя. И кофта, и юбка в красных ягодах. Женщина по-бабьи повязана серым платком. Под плоским подбородком торчат серые уши. Точно подвесили за ноги несчастного зайца.

Я делаю несколько шагов.

Она сидит неподвижно. По жестким скулам стекают грязные слезы.

Что такое?

На ситцевой кофте не красные ягоды, а расплзшиеся капли крови.

— Кто вы?

Женщина кулаком размазывает по лицу темные струйки.

— Почему вы плачете? Возьмите носовой платок. Вытрите слезы и кровь.

Меня будто стукнуло по затылку:

— Вы его жена?

Я дотрагиваюсь до ее плеча:

— Он вас...

Ее глаза стекленеют.

— ...бил?

## 38

— В прошлом месяце: раз... два... четырнадцатого — три...

Ольга загибает пальцы:

— На той неделе: четыре... в понедельник — пять... вчера — шесть.

Докучаев откусывает хвостик сигары:

— Что вы, Ольга Константиновна, изволите считать?

Ольга поднимает на него темные веки, в которых вместо глаз холодная серая пыль:

— Подождите, подождите.

И прикидывает в уме:

— Изволю считать, Илья Петрович, сколько раз переспала с вами.

Горничная хлопнула дверью. Ветерок отнес в мою сторону холодную пыль:

— Много ли брала за ночь в мирное время хорошая проститутка?

У Докучаева прыгает в пальцах сигара.

Я говорю:

— Во всяком случае, не пятнадцать тысяч долларов.

Она выпускает две тоненькие струйки дыма из едва различимых, будто проколотых иглой ноздрей.

— Пора позаботиться о старости. Куплю на Петровке пузатую копилку и буду в нее бросать деньги. Если не ошибаюсь, мне причитается за шесть ночей.

Докучаев протягивает бумажник ничего не понимающими пальцами.

Если бы эта женщина завтра сказала:

«Илья Петрович, вбейте в потолок крюк... возьмите веревку... сделайте петлю... намыливайте... вешайтесь!» — он бы повесился. Я даю руку на отсечение — он бы повесился.

Надо предложить Ольге для смеха проделать такой опыт.

## 39

В селе Андреевке в милиции лежит голова шестидесятилетней старухи. Туловище ее съедено гражданином того же села Андреем Пироговым.

## 40

Спрашиваю Докучаева:

— Илья Петрович, вы женаты?

Он раздумчиво потирает руки:

— А что-с?

Его ладонями хорошо забивать гвозди.



- Где она?
- Баба-то? В Тырковке.
- Село?
- Село.

Глаза становятся тихими и мечтательными:

- Родина моя, отечество.

И откидывается на спинку кресла:

— Баба землю ковыряет, скотину холит, щенят рождает. Она трудоспособная. Семейство большое. Питаться надобно.

- А вы разве не помогаете?

- Почто баловать!

- Сколько их у вас?

— Сучат-то? Девятым тяжелая. На Страстной выкудакчает.

- Как же это вы беременную женщину и бьете?

Он вздергивает на меня чужое и недоброе лицо:

- Папироску, Владимир Васильевич, не желаете?

Египетская.

Я беру папиросу. Затягиваюсь. И говорю свою заветную мысль:

— Вот если бы вы, Илья Петрович, мою жену... по щекам...

Докучаев испуганно прячет за спину ладони, которыми удобно забивать гвозди.

В комнату входит Ольга. Она слышала мою последнюю фразу:

- Ах, какой же вы дурачок, Володя! Какой дурачок!

Садится на ручку кресла и нежно ерошит мои волосы:

— Когда додумался! А? Когда додумался! Через долгих-предолгих четыре года. Вот какой дурачок.

На ее грустные глаза навертывается легкий туманец. Я до боли прикусываю губу, чтобы не разрыдаться.

## 41

Приказчик похож на хирурга. У него сосредоточенные брови, белые руки, сверкающий халат, кожаные браслеты и превосходный нож.

Я представляю, как такой нож режет меня на тончайшие ломтики, и почти испытываю удовольствие.

Ольга оглядывает прилавок:

— Дайте мне лососины.

Приказчик берет рыбу розовую, как женщина.

Его движения исполнены нежности. Он ее ласкает ножом.

— Балычку прикажете?

Ольга приказывает.

У балыка тело уайльдовского Иоконаана.

— Зернистой икорочки?

— Будьте добры.

Эти черные жемчужины следовало бы нанизать на нить. Они были бы прекрасны на округлых и слегка набеленных плечах.

— На птицу, мадам, взгляните.

— Да.

Поджаренные глухари пушатся бумажными шейками. Рябчики выпятили белые грудки и скорчили тонюсенькие лапки. Безнравственные индейки лежат животом кверху.

— Ольга, вы собирались подумать о своей старости!

Раки выпучили таинственные зрачки и раскинули пурпуровые клешни. Стерляди с хитрыми острыми носами свернулись кольчиком.

— В нашей стране при всем желании нельзя быть благоразумной. Я обошла десять улиц и не нашла копилки.

Под стеклянными колпаками потеют швейцарские сыры в серебрянных шинелях.

— Свеженькой зелени позволите?

— Конечно.

Привередливые огурцы прозябли. Их нежная кожа покрылась мелкими пупыришками. Редиски надули, словно обидевшись, пухлые красные губки. Молодой лук воткнул свои зеленые стрелы в колчан.

— Владимир, у меня тут работы на добрый час. Съездите за Сергеем. Его не было у нас три дня, а мне кажется, что прошли месяцы.

— А если бы меня... не было три дня?

— Я бы решила, что прошли годы.

— А если Докучаева?  
— Три минуты... а может быть, и три десятилетия.  
Мороз крепчает. Длинноногие фонари стынут на  
углах.

## 42

Парикмахер бывш.  
Б. Дмитровка, 13  
САЛОН ДЛЯ ДАМ  
Прическа, маникюр, педикюр, массаж лица,  
отдельные кабинеты для окраски волос

## 43

Модельный дом  
Кузнецкий пер., 5  
ПОСЛЕДНИЕ МОДЫ  
капы, манто, вечерние туалеты, апрэ-миди,  
костюмы

## 44

МОССЕЛЬПРОМ  
требуйте  
во всех кондитерских, киосках, хлебпекарнях

какао шоколад	{	Капе
		Нестле
		Коллер
		Гала Петер
		и др. заграничные продукты высших марок

## 45

У меня, Владимир Васильевич, дед был отчетливый  
старик. Борода с ворота, да и ум не с прикалиток.  
Докучаев налил себе и мне водки.

— С пустячка начал. Лыко драл с мордой косоглазой. Ну вот, я и говорю, а под догар обедни пароходишки его, как утки, плескались. К слову, значит, пятьдесят три года состояние себе упрочал, а спустил до последнего алтына в одну ночь... Выпьем, Владимир Васильевич?

— Выпьем.

— И был это он крупнейший любитель петушиных боев. Жизни по ним учился. Птицу имел родовую. Одно загляденье. Все больше пера светло-солового или красно-мурогого. Зоб — как воронье крыло. Ноги либо горелые, либо зеленые, либо желтые. Коготь черный, глаз красный... Подлить, Владимир Васильевич?

— Подлейте.

— В бою всего более переярка ценил. Это, значит, петуха, который вторым пером оделся.

Докучаев встал и прошелся по комнате.

— Птицу, как и нашего брата, в строгости держать надо. Чуть жиру понадвесила, сейчас на катушки из черного хлеба и сухой овес. Без правильной отдержки тело непременно станет как ситный мякиш. А про гребень там или про «мундир» — и разговоров нету. Какой уже пурпур! Какой блеск!.. Приумножим, Владимир Васильевич!

— Приумножим.

— В бою, доложу я вам, каждая птица имеет свой ход. Один боец — «на прямом». Как жеребец выступает. Красота глядеть. Рыцарь, а не петух. Только ведь это ни к чему. Графское баловство.

Илья Петрович улыбается.

— Есть еще «кружастые». Ну, это будет маленько посмышленее. Рыцаря завсегда, значит, отчитает. Да. Потом, Владимир Васильевич, идет «посылистый». Хитрый петух. Спозади, каналья, бьет. Нипочем «кружастому» его не вытерпеть.

Докучаев налил еще рюмку. Выпил. Закусил белым грибом. И с таинственной значимостью нагнулся к моему уху:

— А всем петухам петух и победитель, Владимир Васильевич, это тот, что на «вороватом ходу». Сражение дает для глазу незавидное. Либо, стерва, висит на бойце, либо под него лезет. Ни гонору тебе, ни отваги, ни

великолепия. Только мучает и нерв треплет. Удивительная стратегия. Башка! Башка, доложу я вам. Сократ, а не птица... Наше здоровье, Владимир Васильевич!.. Дед меня, бывало, пальцем все в лоб тычет: «Учись, Ильюшка, премудрости жизни. Не ходи, болван, жеребцом. Не плавай лебедем. Кто, спрашиваю тебя, мудр? Гад ползучий мудр. Искуситель мудр. Змий. Слышишь — змий! Это ничего, брат, что брюхо-то в дерьме, зато, брат, ум не во тьме. Понял? Не во тьме!»

И Докучаев вдруг забрызгался, залился, захлебнулся смехом.

— Чему смеетесь?

— Строителям коммунизму.

Он потер колено о колено, помял в ладонях, будто кусок розовой замазки, свою толстую нижнюю губу и козырнул бровью.

— Только что-с довершил я, Владимир Васильевич, маленькую коммерческую комбинацию. Разрешите в двух словах?

— Да.

— Спичечному, видите ли, Полесскому тресту понадобился парафин. На внешнеторговской таможне имелся солидный пудик. Цена такая-то. Делец, Владимир Васильевич, «на прямом ходу» как поступит? Известно как: купил на государственной таможне, надбавил процент и продал государственному спичечному тресту.

— Полагаю.

— Ну, «кружастый» или «посылистый», скажем, купил, подержал, продал. Процентик, правда, возрос, но капитал не ворочался. Тучной свиньей лежал. Обидно для капитала.

— А на «вороватом ходу»?

У Ильи Петровича загораются зрачки, как две черные свечки:

— Две недели тому назад гражданин Докучаев покупает на таможне парафин и продает Петрогубхимсекции. Играет на понижение. Покупает у Петрогубхимсекции и продает Ривошу. Покупает у Ривоша и перепродает Северо-Югу. Покупает у Северо-Юга, сбывает Техноснабу и находит желателя в Главхиме. Покупает в Глав-

химе и предлагает... Спичтресту. Причем, изволите видеть, при всяком переверте процент наш, позволю себе сказать, в побратанье...

— ...с совестью и с законом?

— Именно... Прикажете, Владимир Васильевич?

— Пожалуй!

Докучаев открывает бутылку шампанского:

— Сегодня Спичтрест забирает парафин с таможи.

— Так, следовательно, и пролежал он там все эти две недели?

— Не ворохнулся. Чокнемся, Владимир Васильевич!

Вино фыркает в стаканах, как нетерпеливая лошадь.

Илья Петрович ударяет ладонь об ладонь. Раздается сухой треск, словно ударили поленом о полено.

Ему хочется похвастать:

— Пусть кто скажет, что Докучаев не по добросовести учит большевиков торговать.

Я говорю с улыбкой:

— Фиораванти, сдвинувший с места колокольню в Болонии, а в Ченто выпрямивший башню, научил Москвитян обжигать кирпичи.

Он повторяет:

— Фиораванти, Фиораванти.

## 46

Сергей подбрасывает в камин мелкие дрова. Ольга читает вслух театральный журнальчик:

— «Форрегер задался целью развлечь лошадь. А развеселить лошадь нелегко... Еще труднее лошадь растрогать, взволновать. Этим делом заняты другие искатели. Другие режиссеры и поэты... Лошадиное направление еще только развивается, еще только определяется...»

Сергей задает вопрос, тормоша угли в камине железными щипцами:

— Ольга, а как вы считаете, Докучаев — лошадь или нет?

— Лошадь.

Я встречаю:

— Если Докучаев — животное, то, во всяком случае...

Сергей перебивает:

— Слышал. Гениальное животное?

— Да.

— А по-вашему, Ольга?

— Сильное животное.

— Неужели такое уж сильное?

Тогда, не выдержав, я подробно рассказываю историю с парафином.

Сергей продолжает ковыряться в розовых и золотых углях:

— Ты говоришь... сначала Петрогубхимсекции... потом Ривошу... потом Северо-Югу... Техноснабу... Главхиму и, наконец, Спичтресту... Замечательно.

Ольга хохочет:

— Замечательно!

Сергей вынимает из камина уголек и, улыбаясь подергивающимся добрым ртом, закуривает.

От папиросы вьется дымок, такой же нежный и синый, как его глаза.

## 47

«Людоедство и трупоедство принимает массовые размеры». («Правда»)

## 48

Вчера в два часа ночи у себя на квартире арестован Докучаев.

## 49

Сергей шаркает своими смешными поповскими ботами в прихожей. Он будет шаркать ими еще часа два. Потом, как большая лохматая собака, долго отряхаться от снега. Потом сморкаться. Потом...

Я взволнованно кричу:

— Ты слышал? Арестован Илья Петрович!

Он протягивает Ольге руку. Опять похож на добродушного ленивого пса, которого научили подавать лапу.

— Слышал.

— Может быть, тебе известно, за что?

— Известно.

Ольга сосредоточенно роется в шоколадных конфетах. Внушительная квадратная трехфунтовая коробка. Позавчера ее принес Докучаев.

Вздыхает:

— Больше всего на свете люблю пьяную вишню.

И, как девчонка, прыгает коленями по дивану:

— Нашла! нашла! целых две!

— Поделитесь.

— Никогда.

Сергей сокрушенно разводит руками, а Ольга сладострастно запикивает в рот обе штуки.

— Расскажи про Докучаева.

— Что же рассказывать?

Он оборачивает на меня свои синие нежные глаза:

— Арестован за историю с парафином. Мы проверили твои сведения...

Кричу:

— Кто это «мы»? Какие это такие «мои сведения»?

— Ну и чудак. Сам же рассказал обстоятельнейшим образом всю эпопею, а теперь собирается умереть от разрыва сердца.

Ольга с улыбкой протягивает мне на серебряном трезубчике докучаевскую конфетку:

— Владимир, я нашла вашу любимую. С толчеными фисташками. Разевайте рот.

1924

1

Заводом «Пневматик» выпущена первая партия бурильных молотков.



## 2

Госавиазавод «Икар» устроил торжество по случаю первого выпуска мощных моторов.

## 3

Завод «Большевик» доставил на испытательную станцию Тимирязевской сельскохозяйственной академии первый изготовленный заводом трактор.

## 4

— Ольга, не побродить ли нам по городу? Весна. Воробы, говорят, чирикают.

— Не хочется.

— Нынче премьера у Мейерхольда. Что вы на это скажете?

— Скучно.

— Я позвоню Сергею, чтобы пришел.

— Не надо. С тех пор, как его вычистили из партии, он брюзжит, ворчит, плохо рассказывает прошлогодние сплетни и анекдоты с длинными седыми бородами.

— От великого до смешного...

И по глупой привычке лезу в историю:

— Князь Андрей Курбский после бегства из Восточной Руси жил в ковеле «в дрязгах семейных и бурных несогласиях с родственниками жены». Послушайте, Ольга...

— Что?

— Я одним духом слетаю к Елисееву, принесу вина, апельсинов...

— Отвяжитесь от меня, Владимир!

Она закладывает руки под голову и вытягивается на диване. Каждый вечер одно и то же. С раскрытыми глазами будет лежать до двух, до трех, до четырех ночи. Молчать и курить.

— Фу-ты, чуть не запямятовал. Ведь я же получил сегодня письмо от Докучаева. Удивительно, вынесли человека на погреб, на полярные льды...

- ...а он все не остывает.
- Совершенно верно. Хотите прочесть?
- Нет. Я не люблю писем с грамматическими ошибками.

## 5

Бульвары забрызганы зеленью. Ночь легкая и неторопливая. Она вздыхает, как девушка, которую целуют в губы.

Я сижу на скамейке с стародавним приятелем:

— Слушай, Пашка, это свинство, что ты ко мне не заходишь. Сколько лет в Москве, а был считанных два раза.

У «Пашки» добрые колени и широкие, как соборные ступени, плечи. Он профессор московского вуза. Но в Англии его знают больше, чем в России. А в Токио лучше, чем в Лондоне. Его книги переводятся на двенадцать языков.

— И не приду, дружище. Вот тебе мое слово, не приду. Отличная ты личность, а не приду.

— Это почему?

Он ерзает бровями и подергивает короткими смысленными руками — будто пиджак или нижняя рубаха режет ему под мышкой.

— Почему же это ты не придешь?

— Позволь, дружище, сказать начистоту: гнусь у тебя и холодина. Рапортую я зиму насквозь в полушпиглеткишках и не зябну, а у тебя дохлые полчаса просидел и пятки обморозил.

— Образно понимать прикажешь?

Он задумчиво, как младенец, ковыряет в носу, вытаскивает «козу», похожую на червячка, с сердитым видом прячет ее в платок и бормочет:

— Ты остришь... супруга твоя острит... вещи как будто оба смешные говорите... все своими словами называете... нутро наружу... и прочая всякая размерзятинка наружу... того гляди, голые задницы покажете — а холодина! И грусть, милый. Такая грусть! Вам, может, сие и неприемно, а вот человека, бишь, со свежинки по носу бьет.

Зеленые брызги висят на ветках. Веснушчатый лупоглазый месяц что-то высматривает из-за купола Храма Христа. Ночь вздыхает, как девушка, которую целуют в губы.

Пашка смотрит в небо, а я — с завистью на его короткие, толстые — подковками — ноги. Крепко они стоят на земле! И весь он чем-то напоминает тяжеловесную чашку вагона-ресторана. Не красива, да спасибо. Поезд мчит свои сто верст в час, дрожит, шатается, как пьяный, приседает от страха на железных икрах, а ей хоть бы что — налита до краев и капли не выплеснет.

## 6

Заходил Сергей. Ольга просила сказать, что ее нет дома.

## 7

— Ольга, давайте придумывать для вас занятие.

— Придумывайте.

— Идите на сцену.

— Не пойду.

— Почему?

— Я слишком честолюбива.

— Тем более.

— Ах, золото мое, если я даже разведусь с вами и выйду замуж за расторопного режиссера, Комиссаржевской из меня не получится, а Коонен я быть не хочу.

— Снимайтесь в кино.

— Я предпочитаю хорошо сниматься в фотографии у Напельбаума, чем плохо у Пудовкина.

— Родите ребенка.

— Благодарю вас. У меня уже был однажды щенок от премированного фокстерьера. Они забавны только до четырех месяцев. Но, к сожалению, гадят.

— Развратничайте.

— В объятиях мужчины я получаю меньше удовольствия, чем от хорошей шоколадной конфеты.

— Возьмите богатого любовника.  
— С какой стати?  
— Когда город Фивы был разрушен македонянами, гетера Фрина предложила выстроить его заново за свой счет.

— И что же?  
— К сожалению, предложение было отвергнуто.  
— Вот видите!  
— Гетера поставила условием, чтобы на воротах города красовалась надпись: «Разрушен Александром, построен Фриной».

Ольга вынула папиросу из портсигара, запятнанного кровавыми капельками мелких рубинов:

— Увы! если бы мне даже удалось стать любовницей самого богатого в республике нэпмана, я бы в нужный момент не придумала столь гениальной фразы.

И добавила:

— А я тщеславна.

## 8

Был Сергей. Сидели, курили, молчали. Ольга так и не вышла из своей комнаты.

## 9

По предварительным данным Главметалла выяснилось, что выплавка чугуна увеличилась против предыдущего года в три раза, мартеновское производство — в два раза, прокатка черного металла — на 64%.

## 10

В Николаеве приступлено к постройке хлебного элеватора, который будет нагружать океанский пароход в два с половиной часа.

## 11

На заводе «Электросила» приступлено к работе по изготовлению генераторов мощности в десять тысяч лошадиных сил.

## 12

Как-то я сказал Ольге, что каждый из нас придумывает свою жизнь, свою женщину, свою любовь и даже самого себя.

— ...чем беднее фантазия, тем лучше.

Она кинула за окно папиросу, докуренную до ваты:

— Почему вы не подсказали мне эту дельную мысль несколькими годами раньше?

— А что?

— Я бы непременно придумала себя домашней хозяйкой.

## 13

Мне шестнадцать лет. Мы живем на даче под Нижним на высоком окском берегу. В безлунные летние ночи с крутогора широкая река кажется серой веревочкой. На версты сосновый лес. Дерево прямое и длинное, как в первый раз отточенный карандаш. В августе сосны скрипят и плачут.

Дача у нас большая, двухэтажная, с башней. Обязана террасами, верандами, балкончиками. Крыша — веселыми шашками: зелеными, желтыми, красными и голубыми. Окна в резных деревянных мерезках, прошивках и ажурной строчке. Аллеи, площадки, башня, комнаты, веранды и террасы заселены несмолкаемым галдежом.

А по соседству с нами всякое лето в жухлой даче без балкончиков живет пожилая женщина с двумя некрасивыми девочками. У девочек длинные худые шейки, просвечивающие на солнце, как промасленная белая бумага.

Пожилая женщина в круглых очках и некрасивые девочки живут нашей жизнью. Своей у них нет. Наши-

ми праздниками, играми, слезами и смехом; нашим убежавшим вареньем, пережаренной уткой, удачным мороженым, оценившейся сукой, новой игрушкой; нашими поцелуями с кузинами, драками с кузенами, ссорами с гувернантками.

Когда смеются балкончики, смеются и глаза у некрасивых девочек — когда на балкончиках слезы, некрасивые девочки подносят платочки к ресницам.

Сейчас я думаю о том, что моя жизнь, и отчасти жизнь Ольги, чем-то напоминает отраженное существование пожилой женщины в круглых очках и ее дочек.

Мы тоже поселились по соседству. Мы смотрим в щелочку чужого забора. Подслушиваем одним ухом.

Но мы несравненно хуже их. Когда соседи делали глупости — мы потирали руки; когда у них назревала трагедия — мы хихикали; когда они принялись за дело — нам стало скучно.

## 14

Сергей прислал Ольге письмо. Она не ответила.

## 15

— Владимир, верите ли вы во что-нибудь?

— Кажется, нет.

— Глупо.

Ночной ветер машет длинными, призрачными руками, кажется — вот-вот сметет и серую пыль Ольгиных глаз. И ничего не останется — только голые странные впадины.

— Самоед, который молится на обрубок пня, умнее вас...

Она закурила новую папиросу. Какую по счету?

— ...и меня.

Где-то неподалеку пронесся лихач. Под копытами горячего коня прозвенела мостовая. Словно он пронесся не по земле, а по цыганской перевернутой гитаре.

— Всякая вера приедается, как рубленые котлеты или суп с вермишелью. Время от времени ее нужно менять: Перун, Христос, Социализм.

Она ест дым большими, мужскими глотками:

— Во что угодно, но только верить!

И совсем тихо:

— Иначе...

Как белые земляные черви ползут ее пальцы по вздрагивающим коленям. Приторно пахнут жасмином фонари. Улица прямая, желтая, с остекленелыми значками.

## 16

Прибыл Чрезвычайный посланник и Полномочный министр Мексики Базилио Вадилю.

## 17

Одного знакомого хлопца упрятали в тюрьму. На срок пустяшный и за проступок не стоящий. Всего-навсего дал по физиономии какому-то прохвосту. У хлопца поэтическая душа золотонного теленка, волосы оттенка сентябрьского листа и глаза с ласковым говорком девушки из черноземной полосы. Так и слышится в голубых поблесках: «хром худит... хора хромадная».

Теленок попал в компанию уголовников. Публика все увесистая, матерая, под масть. А старосту камеры хоть в паноптикум: рожа круглая и тяжелая — медным пятком, ухо в боях откручено, во рту — забор ломаный. У молодца богатый послужной список — тут и «мокрое», и «божией» старушки изнасилование, и ограбление могил.

Вот однажды мой теленок и спрашивает у старосты:

— Скажите, коллега, за что вы сидите?

Бандит ответил:

— Кажись, братишка, за то, что неверно понял революцию.

Я смотрю в Ольгины глаза, пустые и грустные:

— За что?..

Думаю над ответом и не могу придумать более точного, чем ответ бандита.

## 18

По всем улицам расставлены плевательницы. Москвичи с перепуга называют их «урнами».

## 19

Опять было письмо от Сергея. Толстое-претолстое. Ольга, не распечатав, выбросила его в корзину.

## 20

— Владимир, вы любите анекдоты?

— Очень.

— И я тоже. Сейчас мне пришел на ум рассказец о тщедушном еврейском женихе, которого привели к красотке ростом с Петра Великого, с грудями, что поздние тыквы, и задом, широким, как обеденный стол.

— Ну?..

— Тщедушный жених, с любопытством и страхом обведя глазами великие тела нереченной, шепотом спросил торжествующего свата: «И это все мне?..»

— Прекрасно.

— Не кажется ли вам, Владимир, что за последнее время какой-то окаянный сват бессмысленно усердно сватает меня с тоской таких же необъятных размеров? Жаль только, что я лишена еврейского юмора.

## 21

Звезды будто вымыты хорошим душистым мылом и насухо вытерты мохнатым полотенцем. Свежесть, бодрость и жизнерадостность этих сияющих старушек необычайна.



Я снова, как шесть лет назад, хожу по темным пустынным улицам и соображаю о своей любви. Но сегодня я уже ничем не отличаюсь от своих дорогих сограждан. Днем бы в меня не тыкали изумленным пальцем встречные, а уличная детвора не бегала бы горлающей стаей по пятам — улыбка не разрезала моей физиономии от уха до уха своей сверкающей бритвой. Мой рот сжат так же крепко, как суровый кулак человека, собирающегося драться насмерть. Веки висят; я не могу их поднять; может быть, ресницы из чугуна.

Наглая луна льет холодную жидкую медь. Я весь промок. Мне хочется стащить с себя пиджак, рубашку, подштанники и выжать их. Ядовитая медь начала просачиваться в кровь, в кости, в мозг.

Но при чем тут луна? При чем луна?

Во всем виновата гнусная, отвратительная, проклятая любовь! Я награждаю ее грубыми пинками и тяжело-весными подзатыльниками; я плюю ей в глаза, разговариваю с ней, как пьяный кот, требующий у потаскушки ее ночную вырубку.

Я ненавижу мою любовь. Если бы я знал, что ее можно удушить, я бы это сделал собственными руками. Если бы я знал, что ее можно утопить, я бы сам привесил ей камень на шею. Если бы я знал, что от нее можно убежать на край света, я бы давным-давно глядел в черную бездну, за которой ничего нет.

Осенние липы похожи на уличных женщин. Их волосы тоже крашены хной и перекисью. У них жесткое тело и прохладная кровь. Они расхаживают по бульвару, соблазнительно раскачивая узкие бедра.

Я говорю себе:

«Задуши Ольгу, швырни ее в водяную синюю яму, убеги от нее к чертовой матери!»

В самом деле, до чего же все просто: у нее шея тонкая, как соломинка... она не умеет плавать... она целыми днями, не двигаясь, лежит на диване. Когда я выйду из комнаты, Ольга не повернет головы. Сяду на первый попавшийся трамвай и не куплю обратного билета. Вот и все.

Неожиданно я начинаю хохотать. Громко, хрипло, визгливо. Торопливые прохожие с возмущением и презрительностью отворачивают головы.

Однажды на улице я встретил двух слепцов — они тоже шли и громко смеялись, размахивая веселыми руками. В дряблых веках ворочались мертвые глаза. Ничего в жизни не видел я более страшного. Ничего более возмутительного. Хохочущие уроды! Хохочущее несчастье! Какое безобразие. Если бы не страх перед отделением милиции, я бы надавал им оплеух. Горе не имеет права на смех.

Я сажусь у ног застывшего Пушкина. По обеим сторонам железной изгороди выстроились блеклые низкорослые дома. Тишина, одевшись в камень и железо, стала глубже и таинственнее.

— А что, если действительно Ольга умрет?..

Мысль поистине чудовищная! Догадка, родившаяся в сумасшедшем доме. Хитряга мир чудачит со дня сотворения. Все шиворот-навыворот: жизнь несет на своих плечах смерть, а смерть тащит за собой бессмертие.

Помутившийся разум желает сделать вечной свою любовь. Любовь более страшную, чем само безумие.

Ночь проносится по шершавому асфальту на черном автомобиле, расхаживает по бульвару в черном котелке, сидит на скамеечке, распутив черные косы.

## 22

Сергей получил назначение в Берлинское торгпредство. Просил меня передать Ольге, что завтра уезжает с Виндавского вокзала.

## 23

— Владимир Васильевич, вас просит к телефону супруга.

— Спасибо.

Я иду по желтому коридору. Сквозь стены просачивается шум вузовских аудиторий. Неясный, раздражающий. Такой же чужой и враждебный, как эти

девушки с неприятными плосконосыми лицами, отливающими ржавчиной, и эти прыщеватые юноши с тяжелыми упорными черепами. Лбы увенчаны круглыми височными шишками. Они кажутся невыкорчеванными пнями от рогов. А рога были крепкие, бодливые и злые.

— У телефона.

— Добрый вечер, Владимир.

— Добрый вечер, Ольга.

— Простите, что побеспокоила. Но у меня важная новость.

— Слушаю.

— Я через пять минут стреляюсь.

Из черного уха трубки выплескиваются веселые хрипы.

— Что за глупые шутки, Ольга!

— Но я и не думаю шутить.

Мои пальцы сжимают костяное горло хохочущего аппарата:

— Перестаньте смеяться, Ольга!

— Не могу же я плакать, если мне весело. Прощайте, Владимир.

— Ольга!..

— Прощайте.

— Ольга!..

— Пишите открытки на тот свет. Всего хорошего.

Обозлившись, говорю в черный костяной рот:

— Bon voyage!

— Вот именно. Счастливо оставаться.

## 24

Я ору на рыжебородого извозчика. Извозчик стегает веревочным кнутом кобылу. Кляча шелестит ушами, словно придорожная ива запыленными листьями, и с проклятой расейской ленью передвигает жухлые жерди, воткнутые в копыта.

Милиционер с торжественностью римлянина поднимает жезл: телега, груженная похрюкивающей сви-

ней, и наша кобыла останавливаются. Смятение и буря в моем сердце.

Я скрежещу на милиционера зубами:

«Воскресный фараон!»

«Селедка!»

«Осел в красном колпаке!»

«Враг народа!»

Жезл опускается. Я вытираю перчаткой холодный пот, обильно выступающий на лбу.

## 25

Осеннее солнце словно желтый комок огня. Безумный циркач закинул в небо факел, которым он жонглировал. Факел не пожелал упасть обратно на землю. Моя любовь тоже не пожелала упасть на землю. А ведь какие только чудовищные штуки я над ней не проделывал!

Но сколько же времени мы едем?..

Пять минут?

Пять часов?

Или пять тысяч лет?

Знаю одно: в эту пролетку отверженных я сел почти молодым человеком, а вылезу из нее стариком. У меня уже трясутся колени и дрожат пальцы; на руках сморщилась кожа; шестидесятилетними мешочками обрюзгли щеки; слезятся глаза.

Жалкий фигляришка! Ты заставил пестрым колесом ходить по дурацкой арене свою любовь, заставил ее проделывать смертельные сальто-мортале под брезентовым куполом. Ты награждал ее звонкими и увесистыми пощечинами. Мазал ее картофельной мукой и дрянными румянами. На заднице нарисовал сердце, истекающее кровью. Наряжал в разноцветные штанины. Она звенела бубенчиками и строила рожи, такие безобразные, что даже у самых наивных вместо смеха вызывала отвращение. А что вышло? Зброшенная безумьем в небо, она повисла там желтым комком огня и не пожелала упасть на землю.

В воздухе мелькает кнут. Как листья, шелестят лошадиные уши, неторопливо шлепают разношенные копыта по осенним лужам.

Я захлебываюсь злобой. Я хватаю за шиворот рыжебородого парня. Он держит вожжи, точно скипетр. Сидит на козлах, как император Александр III на троне.

Я кричу:

— Зарежу!

И вытаскиваю из кармана черный футляр от пенсне. У Александра III дыбом поднимается рыжая борода.

Мое тело словно старинная люстра. Каждый нерв звенит и бьется хрустальной каплей.

— Что за ерунда!..

Я отваливаюсь к спинке и трясусь в мелком смехе.

— Какой зловредный безмозглик сказал, что существует смерть! Хотел бы я видеть этого паршивца. Хорошеньким бы щелчком по носу я его угостил. Клянусь бабушкой!

Золотой хвост кобылы колышется над крупом, как султан старинного гренадера.

— Честное слово, я в здравом уме и твердой памяти. Доказательств? Извольте: родился в тысяча восемьсот девяностом году, именинник пятнадцатого июля по старому стилю, бабушку звали Пульхерией.

Кобыла упирается передними копытами в лужу и приседает, как баба, на задние ноги.

— А все-таки смерть не существует!

...Горячая сверкающая струя вонзается в землю.

— Да-с! Здоровеннейшая фи́га вам вместо смерти! Шиш с маслом.

Я почти спокойно вспоминаю, что скифы в боях предпочитали кобыл, так как те на бегу умеют опорочить свой мочевого пузырь. Везде ложь!

— Впрочем, Пушкины, Шекспиры, Ньютоны, Бонапарты, Иваны Ивановичи и Марьи Петровны умирают. Я сам читал на Ваганьковке: «Под сим крестом покоится тело раба твоего Кривоупупникова». Совершенно неоспоримо, что Николай Васильевич Гоголь «приказал кланяться». Иначе бы ему не поставили памятника. Подумаешь, тоже важность — «Мертвые души»! Дворник с нашего двора — старый Федотыч, разумеется, протянет ноги. Вот эта кобыла с красивыми, витающими в облаках глазами сдохнет через годик-другой. Но при чем же тут Ольга? Че-пу-ха! Ее бессмертие я ощущаю не менее правдиво, чем шляпу на своей голове. Ее вечную жизнь я вижу столь же ясно, как этот императорский зад, раздавивший скрипучие козлы. Не вообразите, что я говорю о чем-то таинственном, вроде витанья души в надзвездных пространствах или о переселении ее в черного кота. Ничего подобного. Я просто утверждаю, что мы с Ольгой будем из тысячелетия в тысячелетие кушать телячьи котлеты, ходить в баню, страдать запорами, читать Овидия и засыпать в театре. Если бы в одну из пылинок мгновения я поверил, что будет иначе, разве мог бы я как ни в чем не бывало жить дальше?.. Есть? пить? спать? двигаться? стоять на месте?.. Подождите, подождите! А вы? Вы, любезнейший Иван Иванович? Когда вы, Иван Иванович, сентиментально вздыхаете: «Ах, я чувствую приближение смерти», что это: пустое, выпрошенное, ничего не значащее слово? Или — нечто — вы ощущаете так же правдиво, как я шляпу на своей голове? Смерть! Понимаете — смерть? Вот вы, милейший Иван Иванович, — старший бухгалтер и... труп. На вас, на Ивана Ивановича — старшего бухгалтера, а не на Ивана Петровича — младшего бухгалтера, натягивают коленкоровый саван. У вас на веках лежат медные пяточки. Вы смердите. Вас запихивают в гроб. Кидают в яму. Вас жрут черви. Чувствуете? Врете, гражданин. Нагло врете. Ничего вы не чувствуете. Ни-че-го. Ровнехонько. Иначе бы вы, Иван Иванович, сидели сейчас не за бухгалтерской конторкой, а на Канатчиковой даче. Кусали бы каменные стены и животным криком разбивали тусклые стекла, зашитые железными прутьями. Если бы

вы, Иван Иванович, увидели свою смерть так же ясно, как я вижу на козлах зад императора, одинаково равнодушный к страшному человеческому горю и к ослепительному человеческому счастью, вы бы, гражданин, в ту же секунду собственными ногтями выдрали — с кровью и мясом — свои увидевшие глаза.

## 28

Уличные часы шевелят черными усами. На Кремлевской башне поют невидимые памятники. Дряхлый звонарь безлюдного прихода ударил в колокол.

Я хватаю руку извозчика и покрываю ее поцелуями. Шершавую костистую руку цвета красной лошадиной мочи.

Я умоляю:

— Дяденька, перегони время.

Ничтожное, расслабленное, старческое время! Миллионы лет оно плелось, тащилось, как липкая собачья слюна, и вдруг, ни с того ни с сего, вздыбилось, понеслось, заскакало с разъяренной стремительностью.

## 29

Ольгины губы сделали улыбку. Рука, поблескивающая и тонкая, как нитка жемчуга, потянулась к ночному столику.

— Ольга!..

Рука оборвалась и упала.

— Дайте мне, пожалуйста, эту коробку.

Ольга лежит на спине прямая, поблескивающая, тяжелая, словно отлитая из серебра. На ночном столике рядом с маленьким, будто игрушечным, браунингом стоит коробка с шоколадными конфетами. Несколько пьяных вишен рассыпались по гладкому грушевому дереву.

— Дайте же мне коробку...

Левый уголок ее рта уронил тонкую красную струйку. Сначала я подумал, что это кровь. Потом успокоился, увидав запекшийся на нижней губе шоколад.

Я прошептал:

— Как вы меня напугали!

И, наклонившись, вытер платком красную струйку густого сладкого рома. Тогда Ольга вытащила из-под одеяла скрученное мохнатое полотенце. Полотенце до последней нитки было пропитано кровью. Грузные капли падали на шелковое одеяло.

Она вздохнула:

— Стрелялась, как баба...

И выронила кровавую тряпку:

— ...пуля, наверно, застряла в позвоннике... у меня уже отнялись ноги.

Потом провела кончиком языка по губам, слизывая запекшийся шоколад и сладкие капельки рома:

— Удивительно вкусные конфеты...

И опять сделала улыбку:

— ...знаете, после выстрела мне даже пришло в голову, что из-за одних уже пьяных вишен стоит, пожалуй, жить на свете...

Я бросился к телефону вызывать «скорую помощь».

Она сказала:

— К вечеру я, по всей вероятности, умру.

## 30

Операцию делают без хлороформа.

## 31

У Ольги сжались челюсти и передернулись губы. Я беру в холодеющие пальцы ее жаркие руки. Они так прозрачны, что кажется — если их положить на открытую книгу, то можно будет читать фразы, набранные пентитом.

Я шепчу:

— Ольга, вам очень больно?.. я позову доктора... он обещал впрыснуть морфий.

Она с трудом поднимает веки. Говорит:



— Не ломайте дурака... мне просто немножко противно лежать здесь с ненамазанными губами... я, должно быть, ужасная рожа.

32

Ольга скончалась в восемь часов четырнадцать минут.

33

А на земле как будто ничего и не случилось.

## БРИТЫЙ ЧЕЛОВЕК

Меня много занимал писанный мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось сухое дерево. Я жил тогда в деревне; знатоки и судьи мои были окружные соседи. Один из них, взглянувши на картину, покачал головою и сказал: «Хороший живописец выбирает дерево рослое, хорошее, на котором бы и листья были свежие, хорошо растущие, а не сухое».

*Гоголь*

### Первая глава

#### 1

Мы бегаем по земле, прыгаем по трамваям, носимся в поездах и все для чего? Чтобы поймать за хвост свое несчастье.

Одному оно попадает в руки под видом эфемернейшего существа с голосом как журчеек, и с такими зеркалами души на лице, что хоть садись и сочиняй стихи. Другому — в коварливой приятности ответственного поста. Третьему — под обликом друга с широким сердцем, в котором, кажется, поместишься без остатка. И не то, что свернувшись калачиком, скрючившись крендельком или загогулькой. Ничего подобного. Хоть в стрелку вытягивайся, похрустывая конечностями.

Свое несчастье я поймал в Пензе в шелудивый осенний день. Это случилось ровно пятнадцать лет назад.

Сковорода сказал про Моисея, что он с невидимого образа Божия «будто план сняв, начертал его просто и

грубо самонужнейшими линиями и по нему основал жидовское общество».

Я пишу книгу о моем несчастье, может быть, еще более невидимом. Мне бы хотелось последовать Моисею.

## 2

Наша частная Пустаревская гимназия помещалась в оскотовелом здании мохрякого кирпича. Здание пензякам казалось громадным. У нас ведь так говорили:

— А где вы живете, добрейший Василий Петрович?

— Живу я, Петр Васильевич, у фонтанки в большом двухэтажном доме.

Само собой, что здание в четыре слоя было гордостью города. Его показывали зашельцам. О нем упоминали в домовитых хрониках. Им козыряли пензенские патриоты, когда у них разгорался спор стародавний с патриотами тамбовскими. Здание стояло на главной улице. Улица была крючкостая, горбоносая. Она лезла в гору тяжело, с одышкой, еле передвигая ухабистые, выбоинистые, худо и лениво мощенные ступни мостовой.

На горе сидел забор. Обрюзглый. Крашенный желчью. Расползшийся будто куча. Похожий на острог. А также на полковника Боткина, командира Приморского драгунского полка, квартировавшего в Пензе. Колокольня же соборная походила на пензенского губернатора фон Лиленфельд-Тоаля, тщательного средневека с неулыбающимся ртом.

## 3

Из Нижнего Новгорода, из дворянского какого-то заведения, в нашу Пустаревскую гимназию перевелась достопримечательность. Надо сказать, что всегда у меня была к достопримечательностям склонность. Будь то седобородый красавец-архиерей, питомец Пажеского корпуса, носивший клобук монаший словно сверкающий кивер синего кирасира, или разважничавшийся

волкодав со многими медалями столичных собачьих выставок, неперемный спутник полицмейстерской дочки с личиком из монастырского воска и глазами нежнейшей голубизны свежавыпавшего снега ясных и очень морозных ночей.

Когда достопримечательность из дворянского института появилась в нашей гимназии, у меня от первого взгляда запрыгала невидимая жилка над правой бровью и заползали по хребту мурашки, не существующие в природе.

Мне тут же смертельно захотелось подбежать к нему, лепетать какие-то жалкие слова, лебезить, угодать, заискивать с глазами, залосненными лестью.

Для преодоления противного желания потребовалось довольно мучительное усилие. Я его проделал. Но ладонь, тяжелая и холодная, продолжала лежать на груди.

Кроме того, я определенно завидовал и злился на Сашу Фрабера. Он, к моему изумлению, не только, как ни в чем не бывало, посадил институтца к себе на парту, но на первых порах даже держался по отношению к нему покровительственного тона. Саша Фрабер — гимназист с ластиком, с часами, с карандашом в жестяной капсюлке и перочинным ножиком с тремя лезвиями, ногтечисткой, зубоквыральной, подпильником и ножничками. Если к Саше Фраберу обращались с вопросом, хотя бы самым пустяковым и ничего не значащим, он обычно отвечал: «Я об этом должен подумать».

И собирал на лбу кожу в крупную складку. Саша Фрабер не любил, чтобы его торопили: «Если ты хочешь услышать мое мнение, пожалуйста, не мешай мне думать».

В такую минуту было бы неблагоприятно сунуть ему под мышку нужную тетрадь или книгу: «Разве ты не видишь, что я думаю?» — кричал он на не в меру прыткового приятеля и гневно швырял на пол злосчастную книгу.

Маленькие фраберовские недостатки росли в тот день в моих глазах с невероятной быстротой, принимали чудовищные размеры. Я говорил самому себе: «Нечего тут и обсуживать; толстозадое "подумать" тебя ограбило. Полюбуйся, как этот гнусный карандаш в капсюлке без

всякого затаенного волнения расхаживает по коридору с твоим институтцем. Как без малейшей трепетливости кладет руку на его светящийся лаковый пояс. Как без бьющегося сердца расчесывает свой дурацкий нафиксатуренный ершик черепаховой гребенкой, извивающейся в пальцах, словно полоска бумаги».

И спазма перекусывала мне горло.

#### 4

Я уже упомянул, что свое несчастье поймал за хвост пятнадцать лет тому назад. Да, теперь легко сказать: «Свое несчастье».

Через пятнадцать лет не великое дело догадаться. Так накануне золотой свадьбы «жених» приходит к мысли, что полстолетия тому назад он, как последний длинноухий осел, влюбился в бесповоротную каргу. А семидесятилетнюю «невесту» осеняет откровение, что в прошлом веке она нерассудно отдала свое шаловливое сердце бесчувственному чурбану. Какая цена их запоздалой мудрости? Что могут изменить их старческие слезы? Милая карга и дорогой чурбан, постарайтесь весело отпраздновать свою золотую свадьбу. Ну возьмите же себя в руки. Улыбайтесь. Принимайте поздравления. Пусть ваши многочисленные дети, внуки и правнуки думают, что вы прожили замечательную жизнь. Пусть они считают, что вы счастливы. Все равно каждый из них или повторит вашу ошибку, или сделает свою собственную. Некоторые по всей вероятности станут менять своих спутниц и спутников жизни. В этом случае они под старость будут бранить себя за глупые измены. Им будет казаться, что они потеряли счастье в тот день, когда сбежали от своей первой подруги или от своего первого возлюбленного. Потому что любовное разнообразие откроет им, что в любви нет ничего разнообразного. Они скажут себе: «Не для чего было городить огород. Хороший товар нужнее, чем пустоголовая любовница. В конце концов, с дурой даже не так сладко спится, как это кажется». А когда последние объятия повторят им только то, что они узнали в первую ночь, они поймут, что

во всем виноваты лживые загадочные слова, которыми фантазеры обозначили нечто зауядное. Они возненавидят слова «наслаждение», «страсть», «сладострастие». Будут уверять, что с поэзией необходимо бороться как с расстройством желудка, потому что самый безобидный понос может во всякую минуту перейти в дизентерию. В разговоре они станут пользоваться словарем газетного репортера, судебного заседателя, гинеколога. Будут говорить: «половой акт», «совокупление», «соитие». И сойдут в могилу циниками, до последнего волоса разочарованными в любви. А ведь их прабабушки накануне золотой свадьбы разочаровались всего-навсего в своем трудолюбивом возлюбленном.

## 5

Жирными селезнями плыли лужи по взлохмаченным временем и непогодами панелям. Размокшие окурки, козы ножки, пивные пробки, спичечные и папиросные коробки подпрыгивали замурзанными пешеходами. Обрывки газетной бумаги волочили махровые кружева нижних юбок. Круглыми золотыми орехами катился лошадиный кал.

Занятый своими мыслями, я усерднее, чем когда-либо, созерцал кончик собственного носа. Такая уж у меня манера, задумавшись, созерцать то, что менее всего достойно созерцания.

Наша Пенза тиха и пустыннолюдна. Даже на главной улице панель оживала только в исключительных случаях: когда на нее въезжал подвыпивший велосипедист или извозчицья кобыла с хвостом, завязанным в узел, как пучок на голове старой девы, заинтересовывалась витриной галантерейного магазина бр. Слонимских.

Неожиданно я получил изрядное напоминание в берцовую кость. «Неужели, — подумал я, — назюзюкался мотоциклист, единственный в городе?» К счастью, мое предположение оказалось неверным. Я открыл рот, чтобы выругать мальчишку, тащившего на голове вольтеровское кресло, и увидел, что в трех шагах от меня

цокают по щербатому асфальту лаковые копытца моей достопримечательности.

«Боже мой, боже мой, да ведь он без калош».

И я ощутил, как из моего сердца вылилось теплое тягучее, почти материнское беспокойство: «Ах, он непременно промочит ноги и поймает насморк. Хорошо еще, если не злокачественный. Ведь насморки бывают всякие. И как это можно ходить без калош! Добро бы еще где, а то в нашей богоспасаемой Пензе».

Ни одна гимназистка не прошла мимо него, не оглянувшись. Я не допускал мысли, что тому виной его фуражка с красным околышем и с необычайным гербом, увенчанном короной. Или его плоские золотые пуговицы с танцующими оленями. Или белые замшевые перчатки с черными шнурами. Или шинель с красными жилками и сверкающим от хлястика разрезом кавалерийского образца.

Почему же, в таком случае, гимназистки не оглядываются на Исаака Исааковича Лавриновича?

Исаак Исаакович известный пензенский «tailor». Если Исаак Исаакович выходил из дома даже в 9 часов утра — он надевал цилиндр и пальмерстон. В цилиндре Исаака Исааковича парадоксально отражались окружающие предметы. Обыкновенный, допустим, керосиновый фонарь, один из тех немногих фонарей, что освещали главную улицу в безлунные ночи, — превращался в соблазнительнейшую из знаменитого нашего кафешантана «Эрмитаж» мадемуазель Пиф-Паф. Тоненькое, как папироска, существо от скуки догадалось внести незначительные усовершенствования и весьма скромное воображение в свою профессиональную гимнастику, и это ловко сыграло ей на руку: полковник Боткин меньше произносил за зиму тостов «за прекрасный пол», чем Пиф-Паф разбивала сердец.

А вот невинный детский шарик на ниточке, отразившись в цилиндре Исаака Исааковича, мгновенно оборачивался в бритую голову пристава Утробы из первого участка. Грозный пристав говорил сам о себе: «Я убежденный жидоненавистник, а посему и бескорыстный гонитель».

Что же касается фиолетового стеклянного шара из окна аптеки провизора Маркузина, то он в цилиндре tailor'a видоизменялся в мадам Тузик, многогрудую, бочковатую, с бровями, как усы у Фридриха Ницше, гостеприимную хозяйку самого добросовестного публичного дома в Пензе, «фирма существует с 1887 года».

Следует упомянуть, что наши пензенские любители, когда они ставили пьесу из аристократической жизни, всегда одалживали у Лавриновича его пальмерстон и цилиндр.

## 6

Проегозив мимо моей достопримечательности, одна пышечка, зажмурившись от волнения, прошептала другой пышечке, побледневшей от восторга:

— Ужасно тонный.

На это вторая отозвалась, как эхо:

— Кошмарно интересный.

И обе одновременно выдохнули из себя, похожее на стон:

— А-а-х.

А он, кажется, и не почувствовал, что уносит на своих пуговицах с танцующими оленями скромные фиалки их глаз.

Зато у меня на лице неприлично расплылась блаженная улыбка. Я ее презирал, ненавидел, и ничего не мог поделать. Одновременно я не мог вырвать, освободить своих движений из полного подчинения ритму его тела. Я даже ощущал какое-то мучительное наслаждение в том, что иду его покачивающейся походкой, так же поигрываю бедрами, так же бережно несу голову. И вдобавок, теперь мне кажется это невероятным, я испытывал болезненную ломоту в скулах и лицевых мускулах: точно они растягивались, пытаюсь принять яйцевидную форму его лица.

Мне припомнились пригостишкинские разговоры с самим собой. Чаще всего они велись в общей зале за утренней молитвой во время чтения отцом Смаковничным главы из Евангелия. Я смотрел на мальчика, славивше-



гося своей смазливой морденкой, и думал: «Что за свинство, Володька Морозов красивый, а я некрасивый. И все папка и мамка виноваты, чтоб их кошки драли. Не могли постараться. Тоже — утюги». Потом задавал себе вопрос: «А хотел бы ты, Мишка, поменяться с Володькой Морозовым — носами? Глянь, какой у него благородный, а у тебя плюха». И чуть, бывало, не вскрикивал: «Ни-в-жись. Пес с ним, с Володькиным носом. Мне моя плюха больше нравится». Куда девался гордый пригостишка?

## 7

Угол. Золотоливрейный эрмитажный швейцар, не торгуясь, расплачивается с лихачем. Пиф-Паф ездит только на дутиках, и поэтому их становится в Пензе с каждым годом все больше и больше.

За «Эрмитажем» начиналась Сенная площадь. Лотки, ларьки, палатки, деревянные лавчонки, кирпичные мясные ряды. Вокруг могучая грязь. Она лежит, как разъезженная свинья, похрюкивая и посапывая.

С возрастающей тревогой я поглядываю на лаковые копытца, мелькающие перед моими глазами.

Надо сознаться, это был один из тех немногочисленных случаев в моей жизни, когда предчувствие не пожелало быть обманщиком.

Говорят, что для некоторых предчувствие служит толковым советчиком. Когда приходит важное обстоятельство, счастливицы больше всего стараются не шевелить мозгами. Но зато очень прислушиваются к таинственному голосу, исходящему невесть из каких мест. А так как у этих людей все в жизни получается складно и удачно, то я прихожу к выводу, что наука о человеке не стоит выеденного яйца. Если живот или филейная часть лучше советуют, чем голова, значит и надо их слушать.

Что же касается меня, то на протяжении трех десятков лет мне все почему-то давали никуда не годные советы. Задница не многим отличалась от лучшего друга, жена — от кишечника, мозги — от сердечной сумки. Поэтому у меня не было никаких оснований отдавать

особое предпочтение предчувствию. Чаще всего я даже обращался с ним не без наглости.

Если я сидел в кино по соседству с очаровательной незнакомкой, волнующей воображение, как лампа под желтым абажуром или яркие полосатые обои (в подобном окружении можно чудесно провести полчаса и омерзительный день), и предчувствие начинало мне нашептывать: «Дурак, пользуйся случаем. Я тебя уверяю, что в этих прелестных коленных чашечках под шелком, более прозрачным и легким, чем пар, горячая и густая кровь. Трус, неужели ты боишься до них дотронуться кончиками пальцев? Другой бы, разумеется, не такой осел, как ты, давным-давно был бы на пути к тому, что мы деликатно называем своим счастьем», — я всегда отвечал предчувствию: «Проваливай. И без твоих советов я всегда успеваю лишний раз в жизни получить по морде».

## 8

Вот так лужа!

«Я отдам ему калоши».

Это была моя первая мысль. Вторая оказалась более разумной. Она меня вовремя одернула. Я в остуду сказал себе: «Глупое животное, если бы его отделял вершок от гибели, он и тогда бы не воспользовался твоими дурацкими калошами, облезшими, как старая змея, и побывавшими в руках заливщика».

Он идет через лужу, будто по рельсе. Я вспоминаю детство, и у меня заболевает нежностью сердце.

Он легкими, как бумага, руками ищет какие-то воздушные, неверные, призрачные перила.

Сначала торкается в меня, потом грузно ломится желание — подбежать, пробормотать: «Умоляю вас!» — и подставить свое плечо. Но я робею.

## 9

Судя по всему, и я способен на нечто героическое. Только бы подвернулись подходящие обстоятельства. Может случиться, что когда-нибудь и я побегу со шты-

ком наперевес вперед, а не назад. Конечно, если буду уверен, что человек, которому я должен выпустить кишки, действительно того достоин. Но, к стыду своему, я до сих пор не могу назвать такого человека, которому проткнул бы живот с удовольствием. Когда я извлекал институтца из лужи, одновременно вылавливая разбухшие тетради, книги и побуревшую фуражку с короной, он улыбался недоумевающей и очаровательной по беспомощности улыбкой, напоминая актрису Орхидееву, что в прошлом сезоне на глазах «всей Пензы», играя прекрасную Юлию, потеряла панталоны в сцене лирического прощания с Ромео.

Бедняжке пришлось уехать из города в середине зимы, потому что на каждом спектакле в самом драматическом месте ей кричали гимназисты с галерки:

— Орхидеева, галифе при-дер-жи-вай!

Потом я вынул носовой платок и трепетно принялся вытирать его руки, его шинель, его брюки, его ботинки.

Когда платок вымок, я вытирал рукавом собственного пальто. Он продолжал улыбаться, но уже не столь беспомощно. Мне даже показалось, судя по его губам, тонким и прямым, как спичка, что мы успели поменяться ролями. Выходило, будто не он «потерял панталоны», а я.

С того самого момента, как он встал на ноги, он только и сделал, что брезгливо бросил на панель перчатки и, чтобы помочь мне лучше ориентироваться, несколько раз пошевелил пальцем с еле уловимой снисходительностью:

— Пожалуйста, вот еще здесь, и здесь, и здесь. Очень вам благодарен. Да нет же — около штрипок. Мерси.

Когда все, что нужно было выловить из лужи, я выловил, и все, что можно было оттереть и отскоблить, я оттер и отскоблил, он сказал:

— Мы с вами, кажется, еще не знакомы?

И сделал рассеянную улыбку, словно никак не мог вспомнить собственную фамилию. Я пробормотал:

— Титичкин.

Он с сочувствием пожал мне руку и произнес очень тихо, приглушенно, как бы в дымчатость и ласковость пеленая любимые буквы:

— ШПРЕВГАРТ.

## Вторая глава

### 1

Это же «Шпреегарт!» было его последним словом. Последним словом! С пьяным затекшим сознанием, с ржавыми веками, более тяжелыми, чем ставни Китайгородских складов, на которых железными грыжами торчат замки, с головой, болтающейся на одной ниточке, с волосами свалывшимися — шкурой под собачьим хвостом (после тридцати лет Шпреегарт начал роковым образом плешиветь), с повисшими руками — белыми, как адьютантские аксельбанты, с комочками рвоты на шелковой рубашке и на галстукe с «Rue de la Paix», он умудрился произнести «Шпреегарт!» нежно, как первое «люблю».

Много бы я дал, чтобы заглянуть тогда в его пьяный самовлюбленный мозг.

Я хотел его повесить — жалкого, ничтожного, заблеванного. А он взял да и надел в остающуюся минуту на свою плешивую голову черное сияние ангела преисподни.

Из всех последних слов я раньше считал самыми замечательными слова графини де Версели — «Она перестала говорить и, молча, боролась с агонией. Вдруг в тишине раздался звук вырвавшегося из ее тела газа. "Прекрасно, — подумала она, — женщина, способная на это, еще не умерла"».

Никто не скажет, что Жан-Жаковская аристократка плохо дорисовала свой портрет. Но если бы кто-нибудь знал моего друга так, как знал его я, то он, конечно, не стал бы возражать против моей измены графине де Версели. Если она была духовной бабушкой Анатоля Франса, то мой друг неожиданно своим изумительным «Шпреегарт!» — подвнутился к Достоевскому.

### 2

Я повесил моего друга на шнуре от портьеры. Шнур заканчивался тяжелой кистью цвета клеенки, что употребляется при компрессах. Кисть пристала к его ниж-

ней челюсти, как борода. Она сделала его похожим на ассирийца.

Я никогда не предполагал, что он будет таким красивым в петле. Он почему-то не посинел, не высунул язык, не выкатил из орбит голубоватых шариков из замерзшего дыма египетской папиросы. Его пальцы не скрючились, как им, собственно, надлежало. Но — казалось, стали еще длиннее. Он только в этот день сделал маникюр. Упоминал ли я о том, что пальцы у него были необыкновенно длинные, тонкие, острые — будто карандаши, впервые отточенные специальным колпачком-точилкой. Я терпеть не могу людей, отточенных таким образом (Саша Фрабер). Человек должен быть отточен небрежно, неровно — лезвием безопасной бритвы или еще лучше — столовым ножом. Но пальцы!

Шнур от портьеры я привязал к крюку, ввинченному в потолок. Так как комната была высока, а я коротконог, мне пришлось соорудить целую башню: на стол водрузить венский стул, на стул — безрупорный граммофон, на граммофон — полное собрание сочинений Шекспира в издании Брокгауза. Незадолго до того мой друг сказал, взглянув на тисненый золотом переплет:

— У него в фамилии на две буквы меньше, чем у меня. Я пробормотал себе под нос:

— Бедный Шекспир!

До чего тысячеудово бесчувственно пьяное тело. Шпреегарт словно обожрался булжниками.

А вместе с тем я припомнил, что он едва притронулся к копченому угрею, к лимону и соленым фисташкам.

Рядом с ним за столом сидела Лидочка Градопольская. Он ей шептал:

— Лидочка, я пиршествую вами.

И ее глаза звенели, как золотые бубенчики.

Однажды Шпреегарт признался:

— Я прекрасно знаю, что меня будет терзать на смертном одре.

— Что?

— Слушай. — И с туманом на глазах он стал рассказывать: — Я тогда был зелен, как огурец. Когда при мне говорили: «Он просил у нее руку и сердце», — я и

не предполагал, что в переводе на человеческий язык это только и означает: «Поспим вместе». Так вот, в те наивные времена мы жили лето по соседству с польской служивой семьей — Пширыжецких. Отцы наши вместе винтили, матери варили варенье, с панятами мы играли в шар-мазло, а по шустроглазой Ядзе я беззвучно вздыхал. Как-то, проходя огородами, оттекишими в овраг, Ядзя показала мне лазейку в высоком заборе, окружавшем польскую дачу. А часа четыре спустя я уже крался на первое в жизни ночное свидание. Проклятая луница яичницей-глазуньей украсила небо. Ядзя — бледная, повздрагивавшая в сквозной набросайке, — сидела на подоконнике. Шустрые глаза ее были будто проглочены зрачками. Жадными, прекрасными и, вместе с тем, какими-то коровьими. Я сел рядышком и...

Он простонал:

— Замер.

— Ну?

— Замер!.. и все.

Он стал трагически ходить из угла в угол, топча текинский ковер тяжелыми шагами убийцы.

— На смертном одре вспомню и зубами заскрежещу. Замер? Ах, сукин сын! Агонию, можно сказать, себе испакостил.

И положил голову на мои колени:

— Скажи, Мишка, не бессмысленная ли роскошь в наше время — иметь такую нежную, такую хрупкую совесть? Шестнадцать лет угрызений!

### 3

У меня жидкие руки и больная поясница. Раз в месяц я непременно страдаю прострелом. Шпреегарт любил мне ставить спасительные банки: он ловко бросал зажженные бумажки в стеклянные рты и присасывался ими к моей спине. Моя багровая кожа, вздуваясь, заполняла сосудики. Я стонал, скрипел зубами. Это было похоже на пытку. Он себя чувствовал заплечных дел мастером. Под занавес, для веселья, он ставил мне две бан-

ки на ягодицы. Я кричал, ругался, посылал проклятья. А он хлопал в ладоши, заливался смехом, приводил мою жену и показывал:

— Ниночка, полюбуйся. До чего же хорош!

Она визжала:

— Ой, какой ужас! Какой ужас!

И хватала его за руку:

— Честное слово, я сейчас стошнюсь. Ей-богу, стошнюсь. Вот уже к горлышку подкатило.

И выбегала из комнаты. Моему другу приходилось ее успокаивать. А банки с поясницы снимала Матрена. Это была человеколюбивая женщина. Она вместе с вазелином втирала в мою багровую спину свои слезы и жалость.

Из-за тухлявой спины я никогда не мог решиться перенести на руках мою жену с кресла в кровать. Бедняжка должна была всякий раз сама шлепать по полу босыми пятками. Конечно, это не украшало мою любовь. Но я все-таки малодушно предпочитал получить немножко меньше того, что мне полагается по программе, лишь бы не выламывался позвоночник.

А моего пьяного друга я волочил на закорках через всю комнату. Карабкался с ним на стол. Поскользнулся на фисташковой скорлупке, опрокинул бутылку, попал каблуком в консервную банку со шпротами «Прима» на деликатесном масле, раздавил лососиный глаз. Граммофон кряхтел под нашей двойной тяжестью. Шекспировские тома разъезжались под ногами.

Еще труднее было накинуть петлю на голову. Вернее — продеть голову в петлю. Почему-то (по неопытности, разумеется) я все время пытался проделать вторую манипуляцию, хотя первая была несравненно проще. Я напоминал себе старуху с трясущимися руками, что проклинает крохотный глазок иглы. Не хватало то-то, чтобы я еще помусолил конец моей нитки. Я дошел до такого абсурда, что надел на нос свое знаменитое пенсне в золотой оправе. На моем ничтожном носу оно во всех случаях жизни имеет торжественный вид. Как золотой крендель над захудалой пензенской лавчонкой, торгующей мучным.

Мой друг сделал не более двух-трех движений. Почти изящных. Он словно вставал на цыпочки, чтобы заглянуть в бессмертие.

За оконным стеклом потягивалось раннее утро, небритое, опухшее, щетинистое. Оно выгодно оттеняло эlegantность мертвеца. Складка на брюках стала еще безукоризненней. Небрежно приподнявшийся воротник пиджака прикрыл рубашку, забрызганную комочками рвоты. Шелковый платок в боковом кармане казался белым цветком. А петля взбеспорядочила его волосы. Она разложила пряди с той небрежностью и неожиданностью, на которую не способны щипцы цирюльника. Даже ржавые веки, тронутые акварелью вечности, стали более легкими.

Я ударил его кулаком в живот. Он, качнувшись, отвесил мне поклон.

Я крикнул:

— Пшют.

А он...

Чушь! чушь! Трупы никогда не разговаривали. Это не в их правилах.

Однако же я заорал благим матом:

— Молчать!

И повторял, скатываясь яблоком с лестницы:

— Ты, милый друг, достаточно поострил на мой счет в жизни. Вполне достаточно. Совершенно достаточно.

#### 4

Бульвар. На тупоносых фонарях железные намордники. С какой стати? Не воображают ли какие-нибудь идиоты, что они залают от ужаса, что они взбесятся, станут бросаться на прохожих, рвать брюки вместе с ляжками.

Впрочем, все возможно. Этот фонарь видел, что у моего друга выросла ассирийская борода. Может быть, он не воеет из трусости. Чтобы и его за компанию я не придушил.

Я бегу по мокрой дорожке бульвара. Право же, я почти весел. Как возвращающийся с кладбища порожний катафалк.



В чем дело? Хватит с меня одного «геморроя». Теперь, по крайней мере, душа не будет испражняться кровью.

Я спокоен. Я нашел спокойствие. Только вот немножко злит ветер. Он загоняет мою душу в бутылку: берет за храпок.

Нашел спокойствие? Кретин.

Я однажды шел по улице за голодным человеком. Кожа серой резиной обтягивала кости на его лице. Рот у него был темный, как бровь. Глаза лежали кусочками гнилой говядины, просалив веки, будто оберточную бумагу. Человек рычал и грыз ногтями зеркальные стекла, за которыми стояли красные деревянные кругляшки взамен голландских сыров; взрезанные ноздреватые чурбаны с нарисованной слезой — взамен швейцарских; длинные серебряные мешочки, наполненные опилками, — вместо колбас; жирные свиные окорока из папье-маше и, наконец, яйца, снесенные токарем.

Человек, одуревший от голода, стал доверчивым и наивным. На углу Газетного и Тверской он вдруг остановился. Его слипшиеся веки впились в панель. Я взглянул по тому же направлению — на панели что-то сверкнуло серебром. Несчастный прыгнул, взвизгнул и схватил дрожащими счастливыми руками... плевок. Скользкий, круглый, расплзшийся у него в пальцах.

Теперь я спрашиваю себя: «Дорогой приятель, не похоже ли и найденное тобой спокойствие на серебряный рубль того голодного человека?»

На голом суку — ворона. Кто ее тут повесил? Не самоубийство ли это? Неужели воронам так хорошо живется на белом свете, что они никогда не отправляются к чертовой матери по собственному желанию?

Я поднимаю с земли камень и бросаю в проклятую птицу. Она продолжает висеть на суку, как старый башмак.

Я бегу.

Ах, почему не Сковорода возделывал мое сердце. Разве не стал бы я мужественней, если бы и меня сизмалу он оставлял между гробов, будто для того, чтобы отменной было мне слушать его игру на флейтравере, доносящуюся из неподалекой рощи.

Ветер хлопает позади меня в ладоши. Мне даже слышится неясное, будто с галерки: «Бис». Я зажимаю уши: «Бис». Что, собственно, ему угодно? Понимаю. Ему понравилась моя работа — быстро и аккуратно. Он хочет, чтобы я еще кого-нибудь повесил. Например: свою квартирохозяйку — у нее тоже неудобный характер. Шиповата. На прошлой неделе, когда я на ее полу в кухне положил свое сливочное масло, она полила его керосином. А чтобы я отучился топтать каблуками — она потихоньку плюет мне в суп. Придумщица. Она меня доконает, если я ее не повешу. Третьего дня я сам видел в замочную скважину, как она посреди ночи собирала в жестяную коробку от зубного порошка клопов. Громадных, черных и жирных. Хозяйка выковыривала зверей из пупиков наматрасника, из-под цветистых открыток, развешанных веерами на стене, из обойных щелок, из дырочек от гвоздей. Она сбивала их палкой от половой щетки. Клопы падали на нее, как спелые ягоды. Тогда она сняла с себя рубашку и села верхом на палку по примеру ведьмы, собирающейся на шабаш. А когда подняла руки, стала четырехголова, как дракон. Назавтра отвратительные насекомые были выпущены из коробки от зубного порошка в мою кровать.

## 5

Я опустился на скамейку. Мне захотелось спать. Раз шесть я сладко позевнул.

На траве, обносившейся и злой, валялась будка, в которой летом торговала мороженым барышня, более веснушчатая, чем ночное южное небо.

Я подумал: «Мой бедный друг огурцы любил пуще, чем мороженое и апельсины».

Неожиданно из будки выползла женщина. Она отрясла рыжие юбки, приудобила шляпу с петушиными перьями, воткнула папироску в зубы и, сев рядом со мной, стала в средоточии разглаживать только что заработанную кредитку.

Я сообразил: «Сейчас спрячет ее за чулок. Так всегда поступают проститутки в кинофильмах».

И отвернулся, испугавшись, что ее голая нога выше колена напомнит мне шею моего друга, а красная подвязка — петлю.

Женщина тронула меня за локоть и начала фразу негнущимся, как офицер, голосом:

— Мальчик, а мальчик...

Но закашлялась, захрипела и высморкалась на песок. Мне почему-то вспомнилась старенькая загадка: бедный наземь кидает, рогатый с собой собирает.

— Безурядица, мальчик, кругом. В баню нас не пускают, а в комнате, печаль по плечам, мамочка живет. Пойдем... И кивнула петушиным хвостом на будку.

— ...Сказочку тебе расскажу.

Я обернулся, встретился с ней глазами и вскрикнул:

— Пиф-Паф!

## 6

«Ах, сердцеедка ты моя, львица пензенская!»

Я глажу ее неопрятные ладони, колючие колени, дышу на пальцы, затягиваю на башмаке развязавшиеся шнурки.

До чего же любит русский человек всякую дрянь. Вшу, вот, величает скотинкой, животинкой, утяткой, коровушкой. «Царь Константин гонит кони через тын» — это когда мерзопакостину-то гребнем вычесывает. А блоха у него — карапузик, вьюрочек, маленька барынька, пузатенька собачка, каренький жеребчик.

«В шатер взойдет, богатыря перевернет». А то еще слаще: «Милый мой спит со мной, а поглядиться не дается». Вот она, народная мудрость!

Русский человек? Глупо. Подло. Совершенно лишнее. Неосновательная фантазия природы.

## 7

Пенза. Люстра истекает висюльками. Пиф-Паф тоже хрустальная висюлька. Скользящий лакей-татарин, распуша хвостики фрака и подложив салфетку под раска-

ленную тарелку, вносит на вытянутой руке ростбиф, кровоточащий, как голова пророка.

Сервизы в «Эрмитаже» старинные, в надписях. На моей тарелке полуславянская вязь: «Амур, смеясь, все клятвы пишет стрелою по воде». На плюшевом диване с кистями, оборванными у валиков, спит, подложив под голову бутылку «Аи», саранский помещик. Он по-бабьи дышит животом. Рыхлым, бульбулькающим, высунувшим белый язык сорочки.

Мой друг высобачивается:

— Мадемуазель, вы начинаете опускаться.

Это потому, что у Пиф-Паф в носу, в ямке, похожей на перламутровое гнездышко, где выращивается жемчужина, золотится волосок-шелковинка.

## 8

— До чего же он был, Мишка, красивый.

— Почему был? Почему, Пиф-Паф, ты говоришь: был?

— А я так думаю, что его большевики расстреляли. Они всех хорошеньких перестреляли.

Пиф-Паф сердито комкает рублевку.

— А может, и лучше, что закопали. Оторловали орлы. И задирает юбку. Мелькает красная, как петля, подвязка, и голая, как его шея, нога.

Я кричу.

## 9

Темное солнце качается на невидимой паутине. Качается? Плечи всасывают голову. Я без головы. Ужас меня обезглавил. Ладони вылезают из карманов, как глаза из орбит. Я роняю перчатки. Они лежат на тротуаре. Я боюсь их поднять. Они словно отрубленные кисти рук. Я бегу, ударяя обрубками по воздуху.

Мой друг тоже сейчас качается. Вытянув ноги. У него пальцы, как у мышонка. Мне как-то удалось рассмотреть

мышонка. Он бегал в мышеловке не на лапах, а на руках с пальцами и ногтями Тициана.

А ноги? У моего друга были превосходные ноги. С чудесными ступнями. Как у свиньи. Люди ни черта не видят, что вокруг них делается. Они воображают, что у свиньи безобразные ноги. А у свиньи самые элегантные ноги в мире. Крохотные. С изысканным подъемом. Аристократическим носком, на высокой пятке. Свинья ходит словно на французских каблуках.

Я хватаюсь за карман. Я беспартийный, но у меня есть право на ношение оружия. К величайшему моему ужасу, мне преподнес это разрешение, вместе с браунингом, начальник конотопского ГПУ. Он славный парень, этот гепеушник с глазами кормилицы.

Какая чепуха! Я никогда не ношу с собой револьвера. Я его боюсь. Он у меня заперт в нижнем ящичке письменного стола. А заряженные обоймы заперты в чемодане. Я не рискну их положить вместе с браунингом. Вдруг выстрелят.

Я осматриваюсь. Мне необходим булыжник. Чтобы разmozжить себе голову. Или, может быть, на рельсах трамвая дать самому себе подножку? Ведь никто лучше моего во всем классе не давал подножек. Саша Фрабер однажды пересчитал своим бабьим задом все шестьдесят четыре ступеньки нашей гимназической лестницы. Еле поднявшись, он сказал, потирая задницу: «Теперь я должен хорошенько подумать, кто бы это мог дать мне подножку».

— Трамвай «А».

Я облюбуюсь счастьем, если мои отрезанные окровавленные култышки уволочут псы-чревоугодники. Я буду мысленно обжираться вместе с ними. Или, подобно Юлиану Отступнику, брать руками кровь из раны и, бросая ее к солнцу, раздельно говорить: «Насытсья».

«А».

Выхаркиваю крик: «Столбование! Столбование!». Стою на месте. Руки висят. Губы шлепают: «Ох, охотнюшки, тошно мне без Афонюшки». Я плачу. Слезы,

как пенсне. Стекла не по глазам: люди, извозчики, фонари — кисея, муть, пар, безумие. Рыдаю. Соль и вода меня ослепляют.

## Третья глава

### 1

Я впервые в доме у Шпреегарта. У него в руках серебряные щипчики, изображающие львиные лапы:

— Позвольте за вами поухаживать: я у нас за хозяйку. И стал накладывать в мой стакан сахар.

— Что вы! Что вы!

— А это вам в наказание, чтобы не церемонничали. Вот и ложечкой еще размешаю.

— Нет, вы право же...

— Сами виноваты. Если бы вы...

Он будто замешкался над неподатливым словом:

— Я и говорю, сами же вы... — И сморщил нос.

— Фу, как противно получается с этим «вы»! И сощурился.

— Меня дома зовут: Лео.

И, не договорив, стал в моем стакане размешивать сахар. Ложечка тинькала:

— Видишь, скотина, какой я милый, какой я замечательный.

Мне ничего не оставалось, как прикрыть ладонями кончики ушей, покрасневшие от удовольствия.

А Шпреегарт в эту минуту задумался над тем, какое бы подобрать для лица выражение. Собственно, подбор у него был весьма ограниченный. Впоследствии я почти безошибочно угадывал: на чем он в таком-то и таком-то случае остановится. Иногда я в шутку советовал:

— Лео, саркастически переломи губы, скажи пошлость.

— Лео, ты в недоумении: вскинь мефистофельскую бровь.

— Лео, ты презираешь: узь глаза.

- Лео, ты покоряешь: улыбайся, как балерина.
- Лео, ты чудный парень: ямочки на щеках.
- Лео, ты мечтаешь: рассматривай свои ногти...

## 2

Хорошо ему: «Лео». А вот как вывернешься из положения, когда тебя зовут: «Мишка». Выпасть разве: «Михаил».

Но я думал о том, что сказать «Михаил» вместо «Мишки», значило бы соврать. Я, собственно, это и сделал бы при других обстоятельствах с легким сердцем; я человек не принципиальный. Я совсем не Саша Фрабер. Это он, выскорлупившись от столичной народоволки и нерчинского попа, все сделал по житиям прудонов:

- Я принципиально не верю.
- Я принципиально не даю взаймы.
- Я принципиально не курю.
- Я принципиально приношу завтрак из дома.
- Я принципиально хожу в баню по вторникам.

Мне, конечно, ничего бы не стоило сказать: «Меня зовут Михаил». Лео, весьма вероятно, на первых порах принял бы это за чистую монету и пустил в обращение: «Вы любите, Михаил, "Снежную маску" Александра Блока?», «Неужели вы, Михаил, не любите варенье из дынных корочек?»

Возможно, что некоторое время я бы чувствовал себя празднично и необычно, как в крахмальном воротничке, одевавшемся под серую гимназическую рубашку в день бала в Первой женской гимназии, куда я получил приглашение от двоюродной сестры, зеленоглазой горбуни.

Через полчаса после первого вальса, на который я смотрел из-за колонны, крахмальные концы воротничка врезывались мне в подбородок, а запонка вливалась в горло. Я становился несчастнейшим человеком, потому что приходилось поворачивать шею с надменной медленностью, говорить в нос, смотреть свысока, не имея для того никаких оснований — т. е. ни соответствующих лакированных ботинок, ни соответствующего пробора.

Сегодня бы Лео пел, как на скрипке: «Неужели вы, Михаил, не любите варенье из дынных корочек?» А завтра, придя в гимназию, он услышит: «Мишка, чертов сын, поздравляю тебя с очередным прыщом на носу», «Ребята, Мишке-скотине в срочном порядке требуется девочка», «Ребята, предлагаю в складчину сводить Мишку к мадам Тузик».

Наконец, я припоминаю, что уже в те отдаленные времена, когда я на четвереньках пытался переползти нашу Завальскую улицу, более широкую в моих карапузских глазах, чем теперь целая жизнь, мать, свесившись из окна, кричала: «Мишка, в колее утопнешь! Назад скоро рачься, слышь?»

Память, собственно, твердо сохранила только одно первое слово. Но я не сомневаюсь в полной непридуманности остальных, потому что мать с разительной терпеливостью относилась с той же остротой ко всем моим четверем сестрам и семи братьям, заявлявшимся на свет один за другим без малейшего рассеяния и через совершенно равные промежутки времени.

Рождение человека в нашей семье было событием несколько не важным. Отец обычно сообщал о нем следующей фразой: «А старуха-то моя поутру опять мальчишку выплюнула».

Несколько недель тому назад мне исполнилось тридцать четыре года. Если переводить на старинку, по должности я действительный статский. Партийцы мне говорят: «Товарищ Титичкин». Виднейшие спецы: «Михаил Степанович». Но стоит кому-нибудь вообразить, что стены кабинета непроницаемы, как до меня доносится:

«А у Мишки-то нашего автомобиль отбирают».

«Ах, бедненький Мишка, он этого не переживет».

«Припадочный!»

«Автомобиль, Кузьма Иванович, для Мишки символ».

«Идиот!»

### 3

Не найдя сколь-нибудь удачливого выхода из положения, в которое меня поставил, сам того не ведая, Шпреегарт, я предпочел отделаться мучительным молчанием.



Я смотрел на золотой круг стакана. В нем плавал абажур, обрамленный кленовыми листьями цвета сентября. Я пытался по нему угадать мягкие линии рук, кудреватый узор походки и глубину глаз отцветающей тетушки Лео. Именно она — танта Эля или танта Алис, на имени которой я не успел остановиться, по моей твердой уверенности, сшила этот абажур ко дню ангела старого Шпреегарта.

Вначале образ отцветающей женщины был для меня туманен, как снимательная картинка, только что принесенная из игрушечного магазина. Но когда я разглядел на абажуре маленькие кровавистые ягоды рябины и причудливо переплетшиеся серебряные нити осенней паутины, — снимательная картинка стала необыкновенно яркой по краскам и точной по рисунку, словно ее перевели на гляцевитый лист альбомной бумаги.

Я увидел и сдобные ладони сорокалетней дамы, и губы, слегка запекшиеся от позднего чувства, и плечи, гладкие и горячие. Казалось, они больше всего боялись глухого платья.

Вслед за тетушкой, — мне захотелось увидеть его бабу, покойную мать, отца, двоюродную сестру. Я стал искать их в комнате.

Бабка мне представилась в буфете, завладевшем целой стеной и большею частью воздуха и света. Прямые суровые створки. Поседевшее от времени красное дерево. Черные медальоны, свидетельствующие о мрачном характере императора Павла. Звериные лапы, впившиеся в пол. И я нарисовал образ строптивой старухи, одетой гербами и родословными.

Круглый вращающийся стол на одной ножке, с бантами из карельской березы, уверил меня, что его покойная мать была приветливой и легкомысленной женщиной.

Для того, чтобы познакомиться с отцом, мне следовало пройти в кабинет. Я бы отыскал отцовские глаза в чернильницах. Его руки — в пресс-папье. Его нос — в пепельнице. Его характер — в том порядке, в каком все эти вещи расставлены на столе.

Наконец, грудастенькая софа, обитая оранжевым бархатом, двусмысленно шепнула мне о двоюродной сестре, — конечно, хохотушке, пухляшке, в золотых кудельках.

— Лео, у вас есть кузина?

— Кузина? Как вам сказать. Если сухопарую лошадь Августу можно назвать кузиной, значит, есть.

Тогда мне пришла в голову обидная мысль, что и во всем остальном я безнадежно напутал. Что его бабушка также не соответствует — буфету, покойная мать — обеденному столу, а тетушка — абажуру, как и моя внешность, мое происхождение (сын кондуктора), моя нелепая манера держаться — не соответствуют, в чем я беспокоебимо уверен, моему тонкому внутреннему строению.

Когда выбираешь «между человек», есть смысл вспомнить сквородову притчу о горшечнице и о бабе, которой «амуры молодых летеще отрыгались».

Ткнув пальцем в обожженок, баба спросила:

— А что за сей хорошенький?

— За сей дай хоть три полушки.

— А за того гнусного — вот он, — конечно, полушка?

— За тот ниже двух копеек не возьму.

— Что за чудо?

— У нас, баба, — сказал мастер, — не глазами выбирают, мы испытуем, чисто ли звенит.

Странно только то, что за тридцать четыре года никто не заметил моего «звененья». Впрочем, последнее обстоятельство я целиком отношу к непроницательности моих приятелей, сослуживцев, моего отца, матери и моей жены.

## Четвертая глава

### 1

Моя жена!

Я не поворачиваю головы, чтобы ее не увидеть. Я боюсь, что одеяло сползет с ее плеча, или ее голая нога выползет наружу. У нее всегда горячие ноги. А у меня всегда холодные. Ночью, во сне, мы враждуем и ненавидим друг друга так же, как и днем. Я делаю из ватного одеяла жаркий мешок, а она его распарывает. Она похожа на раскрытые ножницы.

У нее желтые волосы, живот нежный, как щечка с ямочкой, глаза неряшливее, чем расстегнутая прорешка, и блестящие губы. Словно они сосали золотую монету. И однако, невозможно представить, чтобы эти блестящие комочки мяса произносили стихи, целовали ребенка или улыбались чужому счастью.

Зато даже человек бессовестно обделенный воображением, взглянув на них, сразу почувствует все гнусности, им доступные. Будто слюна, слова, романсы и поцелуи имеют резкую и твердую форму.

Ее губы переняли предательские контуры, как шляпа, пиджак, жилетка, брюки или ботинки перенимают форму плеч, грудной клетки, таза, черепа или ступни. А переняв, сохраняют, даже валяясь под кроватью (ботинки), будучи перекинутыми через спинку стула (брюки), на вешалке (пиджак), на гвозде (шляпа).

## 2

Июльское утро. Туман вытек на город из сырого лица. Мы едем с Лео на «Митчеле» вдоль Страстного бульвара. Истошные липы держат в трясущихся ладонях маленькие, пыльные, пахучие цветы.

Лео сидит на машине важно, раскидисто. А я притулился. Меня, конечно, принимают за его писца. Вечером, когда я буду возвращаться со службы, я тоже положу ногу на ногу, прищурюсь и буду небрежно пощелкивать пальцами по фиолетовому кузову машины.

Я посажу в автомобиль делопроизводителя Моськина. Он для этого подходящ — не выпячивается, не дымит папироской, не размахивает руками. Когда Моськин сидит в машине, по мне не ползает скользкое беспокойство, и я не ерзаю на кожаных желтых подушках от страха, что меня принимают за шнурок от его штилеты или за обкусок его судьбы.

— Мишка, останови машину у того дома.

Улыбающееся окно второго этажа задернуто синеватой занавеской. Занавеска обшита кружевами, как панталоны.

— Подожди.

— Мне некогда.

— Ладно, потороплюсь.

И он выскакивает из машины... Я закуриваю. «Конечно, он в комнате с улыбающимся окном».

Я жую дым, точно кусок супового мяса, плохо вываренного. Шофер барахтается под машиной.

Сквозь занавеску просовывается голова в желтых, смятых, незастланных волосах. Шея женщины обвязана, как шарфом, руками. Я узнаю полоску на лионезе.

Женщина оглядывает автомобиль, меня. Сквозь сиреневатость я различаю тело легкое, как струйка дыма, выпущенная курильщиком из ноздри.

Желтая голова исчезает. Струйка дыма, выпущенная из носа, рассеивается.

Но в моем воображении она еще дотаивает, рассыпавшись на серебряные кольца.

Выбегает Лео. Он вытирает носовым платком рот: отвращение, брезгливость, лопнувшие пузыри чужой слюны, комочки губной помады.

Спрашивает:

— Быстро?

Желтая голова снова появляется в окне. Я запоминаю опорожненные глаза, запечатавшие лицо капельками голубоватого сургуча.

Будто случайно распаивается занавесочка. Серебряная струйка дыма ест мне глаза.

Гагачья пушинка с рукава моего друга пересаживается на мою гимнастерку. Я счастлив. Я незаметно отстраняюсь, чтобы она жестокосердечно не перепорхнула обратно. Возможно, я бы даже решился украсть ее — эту пушинку.

«Конечно, конечно, у меня бы хватило на это подлости». И я не смотрю в глаза моему другу.

### 3

Любовь.

Я вспоминаю философа, игравшего на человеческих сердцах с неменьшей приятностью, чем на скрипке,

флейтравере, бандуре и гусях. Я советую себе то же, что посоветовал он относительно Божьей премудрости молодым харьковским дворянчикам.

«Пожалуйста, не любопытствуйте, как это сия премудрость родилась от отца без матери и от девы без отца, как это она воскресла и опять к своему отцу вознеслась и прочая. А поступайте и здесь так, как на опере, и довольствуйтесь тем, что глазам вашим представляется, а за ширмы и за хребет театра не заглядывайте».

Любовь!

Нечто подобное происходит с нами, когда вдруг, с необъяснимым рвением, мы тратим в лавке старьевщика все содержимое нашего тощего кошелька на никому не нужную вазу только потому, что она стояла в вестибюле какой-то родовитой дуры времен Екатерины. Или ни с того ни с сего заводим узорчатого, как немецкий галстук, дога, который становится нашим деспотом. Если до счастливого приобретения мы без особых трагических последствий позволяли себе раз в неделю выпить бутылку вина или съесть сибирского рябчика, то теперь это становится недосыгаемой мечтой. Зато прелестная «собачка» жрет все, что ей заблагорассудится. В лютый морозище ночью, когда ей вдруг приходит в голову фантазия прогуляться, мы вылезаем из теплой кровати, прерывая на самой интересной странице книгу или обезглавливая замечательное сновидение, которому не суждено повториться, чтобы, дрожа от холода, сопроводить нашего четвероногого друга от тумбы к тумбе.

Вообще, я давно пришел к заключению, что мы бесконечно много тратим энергии, хитрости, изобретательности и остроумия, чтобы сделать свое собственное существование наименее сносным.

#### 4

— Не правда, ли, Семен Абрамович, до чего изменилось подполье?

И Лео полил растопленным маслом головку спаржи, оттененную благородной зеленоватостью старинной бронзы.

— Раньше в подполье печатали прокламации или начиняли порохом и ненавистью бомбы, а теперь...

Он кровожадно насадил на вилку растение, напоминающее женский палец, выставленный в витрине парикмахерской под дощечкой с надписью «холя ногтей».

— ...а теперь, Семен Абрамович, приходится идти в подполье, чтобы съесть свиную котлету. В сущности, чернокудрые социал-демократы и патетические эсеры в те времена гораздо меньшим рисковали, чем вы, Семен Абрамович, сегодня. В худшем случае, за нелегальную новеллу в духе Фридриха Энгельса пылкий, но непристроенный журналист уезжал на годок-другой в очаровательную Северную Азию.

Лео наполнил стакан тепловатой кровью винограда.

— Я положительно, Семен Абрамович, восхищен вашим мужеством. Вы кушаете с аппетитом свиную котлету, прекрасно зная, что в годы военного коммунизма она может послужить, так сказать, прямым билетом для путешествия на тот свет.

Бывший фабрикант сделал движение головой, как бы желая убедиться, что она еще не лежит на плахе.

— Если, дорогой буржуа, из-за какой-то свиной котлеты столько людей, столько врагов нашей пролетарской революции...

Лео, не договорив, обвел глазами «подполье». Большая комната, она предпочитала волнующую бледность толченого риса — собственной бледности; матовую туманность электричества — молочности осеннего дня. День, разбившись о квадратные стекла, завешанные портьерами цвета раздавленных ягод поздней рябины, схлынул вниз в улицы, на вылинявшие шляпки, на шерстяные платки, на выгоревшие картузы, на оголенные хребты извозчичьих кляч, на купол часовни, похожий на клистир, на обожравшихся мертвечиной ворон, шикарных и лоснящихся, как цилиндры.

В комнате было человек десять: мохнатый, пугвоносый коллекционер эротических изданий жаловался пискавым голосом трехлетней девочки на бальзаковский возраст утки, фаршированной яблоками; издатель декадентских поэтов, сутуловатый иронический человек

с лицом, посыпанным угрями, как черной солью, распиливал куски бифштекса дырявыми деснами. Сынок знаменитой конфектной фирмы, узкобедный ротмистр, стяжавший на галицийском фронте в 1915 году за атаку в конном строю Белого Георгия и торгующий теперь на Сухаревке одесской халвой, очищал полированным ногтем правого мизинца апельсин для более или менее знаменитой балерины. Латышский дипломат свисал с кресла воловьей жилой.

— Скверные шутки, Леонид Эдуардович. Ведь с них всего хватит. Очень даже просто за котлетку к стенке поставят.

— Мы, Семен Абрамович, из любви к человечеству, если понадобится, и за макарону к котлетке расстреляем.

Вокруг столов плавала Ия Петровна. Об антрекотах, пулярках, рассольниках, расстегайчиках, телячьих печенках и куриных пупочках она ворковала шеей, задом, ляжками.

## 5

— Ах, Нина Ивановна, миленькая, где же это вы пропастились? Чувствует мое сердце — изменили. Изменила, разбойница, бессердечно изменила моему шницелю по-венски. Неужто ж, родненькая, у Агриппины Васильевны вкуснее?

— Ах, Ия Петровна, какие вы ужасы говорите. Я же на иконку, Ия Петровна, перекрестилась, что никогда в жизни вам не изменю.

Хотя должна вам откровенно сказать, Ия Петровна, что у Агриппины Васильевны шницели стали — мечта. На языке тают.

ОНА!

Лео зовет:

— Ниночка, Нина Ивановна.

Но она не слышит. Она стоит перед стеклянной горкой. Под стеклом вместо саксонского фарфора лежат пироженные: эклеры, лопающиеся от высокомерия, трубочки — истекающие безнравственностью, наполеоны — отяго-

ценные животиками, бeze — с нетающими снеговыми вершинами, мокро — рассыпчатые, как мораль.

— Нина Ивановна.

Она не слышит. Она парит. Ястреб. Ее глаза наливаются кровью. Пальцы крючатся. Вот они уже превратились в когти. Крылья ноздрей вздрагивают и пунцовеют. Нижняя челюсть отваливается. Через губы, как у спящей старухи, переливается слюна. Она сопит, тяжело дышит, дрожит всем телом. Ноги раскрываются, как ножницы.

— Нина Ивановна.

Лео безнадежно откидывается на спинку кресла, потягивается, постукивает коленками:

— Сука!

И смотрит жидкими глазами, как ее тело — проглатывает пирожные. Впрочем, если у нее, вопреки здравому смыслу, есть еще и душа, но и она проглатывает эклер, бeze, трубочку, корзиночку с засахаренными ягодами. У ее души тоже имеются зубы, живот, толстая кишка и ноги, распадающиеся ножницами.

— Кушайте, Нина Ивановна, кушайте на здоровье.

— Кушаю, Ия Петровна, кушаю. Вы не беспокойтесь, я пирожные ваши по пальчикам считаю.

Издатель декадентских поэтов распиливает ее дырявыми деснами; мохнатый коллекционер рассматривает как скабресную картину; кавалер Белого Георгия очищает от шелковой шкурки как апельсин; Семен Абрамович обглаживает, будто косточку свиной котлеты; и только латышский дипломат продолжает свисать с кресла воловьей жилой — ему шестьдесят девять лет.

## 6

На этой женщине Лео меня женил. Он приложил немало стараний, он выказал ангельское терпение устраивать мое счастье, от которого я, после встречи у Ии Петровны, упорно уваливал.

Весьма вероятно, что у меня хватило бы мужества и окончательно увильнуть от моей нареченной, если бы я вдруг не испытал желания оказать Лео эту маленькую дружескую услугу.



«Мужество» слово не мое и не Лео, а Саши Фрабера, чудака полагал, что своей судьбой надо управлять твердо и добросовестно, как советским учреждением.

Словом, в чудесный декабрьский день, по гостеприимно похрустывающему снегу Нина Ивановна перевезла в мою комнату у Патриарших прудов вместе со своими «меблями» и саму себя.

Мое скромное, я бы сказал, девственно-белое окно обрядилось в кружевные панталоны. Мои гладкие, незапятнанные уютom стены украсились гравюрочками, открытками, акварельками и шелковым ковром, на котором была изображена разными нитками и бисеринками полуобнаженная римлянка, возлежащая на кровожадной зебре — полосатой, как брюки. Моя электрическая лампочка сменила свой засиженный мухами газетный колпак на кокетливую шляпу в лентах, бахромках, бархотках и цветах. Наконец, мой ломберный стол уступил место туалету, почти из красного дерева, а пузырек с высохшими чернилами — флакончикам, вазочкам, пудреницам, тарелочкам, стаканчикам и многочисленным фотографиям моей жены. Причем, всякой позе, выражению лица или платью — очень хитро и искусно была подобрана рамочка. Рамочки были бархатные, бронзовые, картонные, выпиленные, выжженные, сделанные из волос, из перышек, из уральских камушков, из крымских ракушек и невесть его знает, из чего еще.

Но больше всего меня смутила кровать. Она явно была чересчур велика для нас двоих. Я испытал чувство, должно быть, похожее на то, какое испытывает человек из степной полосы, впервые очутившись на берегу моря. Ах, как у меня защемила душа по моей узкой, складной, парусиновой кровати, а говоря аллегорически, по моей родной серебряной, как полтинник, Сура, что протекает в трех верстах от Пензы. Милая Сура, всегда вижу твой второй берег — то зеленый, то глинистый, то пыльный, то лесистый, то оскуделый, то пышный и кудрявый, как рококо. До чего же я люблю в жизни — этот второй берег. Очень мне нужно, чтоб от безбрежья сердце прыгало блохой в груди, чтоб леденела в жилах жидкая кровь, чтоб икры тряслись мелкой трясучкой.

Я смотрел на необъятный пружинный матрац, на волосяной с пупочками наматрасник, на гагачий наперинник (тут я с грустью припомнил пушинку, перелетавшую на мою гимнастерку с рукава Лео), на беременные подушки, на миловидные думочки, на льняные простыни, на монастырское стеганое одеяло, — и сравнивал себя с мореплавателем, у которого морская болезнь начинается уже в гостинице портового города за несколько часов до неизбежного отплытия. Она обвила мою шею:

— Бубочка, отнеси меня на ручках в кроватку за то, что я свила тебе такое чудное гнездышко.

## Пятая глава

### 1

Гимназическая слава завоевывалась в сортире.

О сортире нижегородского дворянского института, после первого посещения нашего — пустаревского, Лео рассказывал со слезами на глазах.

Я никогда не видел его более одухотворенным, более трепещущим, более взволнованным, чем в те минуты сладостнейших воспоминаний.

— Да пойми ты, Мишка, что это был не ватерклозет, а лирическое стихотворение.

И рассказывал, попыхивая зрачками, будто раскуренными на ветру, о фарфоровых писсуарах, напоминающих белоголовых драконов, разверзших сияющие пасти, о величавых унитазах, похожих на старинные вазы для крюшонов; о сверкающем двенадцатикранном умывальнике; о крутящемся в колесе мохнатом полотенце; о зеркалах, обрамленных гроздьями полированного винограда; о монументальном дядьке в двубортном мундире с красным воротником и в штанах с золотыми лампасами, охраняющем крюшоновые вазы с бдительностью, достойной часового порохового погреба в осажденной крепости.

Я хорошо понимаю, что всякое живое существо, чувство, вещь — достойны опозитизирования. А уж сортир

тем более. Но все же мне чудится, что он несколько преусердствовал.

Вообще, легкое преувеличение было в его характере. И прежде всего, он преувеличивал самого себя.

Но как же далек был от шпреегартовской грезы наш пономаревский нужник или гальюн, как его раз и навсегда окрестил рыжезубый классный надзиратель Мишель Нукс, — в недалеком прошлом отважный мореплаватель и штурман дальнего плавания.

К счастью, я могу уклониться от описания гимназического форума. Разве не всякому известно, что из себя представляет «00» в проходном дворе на лаятельной Трубе или «Pour les messieurs» в баламутной пивной «Стенька Разин» по Лиговке, или перронное — «для мужчин» на шербаршистой станцийке южнорусских железных дорог.

Несмотря, однако, на мрачность гальюнного колорита, а может быть, именно благодаря ему, гимназическим звездам предопределено было в нем — загораться, распухать великолепием или превращаться в жалкие мусоринки.

## 2

Ванечка Плешивкин, Жак Воблыедов, Василий Васильевич Свинтухов, по прозвищу Кузькина Мать — вот оно, поистине, светозарное трехзвездие гальюна.

До каких необъятных размеров разрослась, Ванечка Плешивкин, твоя изумительная коллекция известной венерической болезни, которую юные смельчаки с незаслуженной презрительностью называли «насморком»? Я, как сейчас, вижу ту, может быть, самую незабываемую минуту в твоей жизни, когда ты, голосом, дрогнувшим от переизбытка гордости, провозгласил:

— Седьмой.

И как в ответ сотряслись от восторженного рева мрачные своды, источенные ручейками вонючего пота.

Мишель Нукс, перевидавший виды в своей жизни, и улыбавшийся себе в бороду при таких штормах, когда заправские матросы одевали чистое белье, «чтобы на

том свете веселая Мария Магдалина ими не побрезговала», — прибежал в галюн бледный и растерянный. Ворочая рыжими глазами, он выдохнул из себя:

— Дьяволы, что случилось?

Кузькина Мать бросился от радости на могучую грудь бывшего морского волка:

— У Ванечки Плешивкина седьмой.

И классный наставник пробасил:

— Ванечка, сукин сын, поздравляю. Мы с тобой ровесники.

Помнится, мне улыбнулась фортуна, и я один из первых исхитрился поцеловать Ванечку Плешивкина в нос, не менее выразительный и надменный, чем кукиш, счастливо заменяющий русскому человеку дар остроумия и находчивости.

Жак Воблыедов, закадычный друг Ванечки Плешивкина, отличался матовой бледностью чела, пичужьим носиком и синим отливом волос.

Он приносил в гимназию щипцы для завивки и на большой перемене в нужнике превращал свою голову в мерлушковый парик.

Агафья Тихоновна Полотертова обожала Жаковы черные кудри и матовую бледность. Сорокапятилетняя купеческая вдова была богатейкой во всех отношениях. Трудно сказать, где скопилось у нее больше добра — в кованных ли медью сундуках, в плесневатом ли холоде ренсковых погребов (по Сенной площади, на Московской улице и у Поповой горы) или в несбыточных плечах, в бюсте, в бедрах, затопляющих розовой волной самые широкие кресла.

Агафья Тихоновна, допустив по мягкосердечию и неопытности рокового Жака до своих телесных прибитков, не смогла, к собственному удивлению, уберечь от слишком сметливого возлюбленного и прочих богатств.

Жак не только поил нас мадерой конца прошлого столетия, поражал зеленоигристой игрой перстня, угощал египетскими папиросами, но и водил по субботам к мадам Тузик, где широко расплачивался золотыми пятерками и десятками, обхлопотанными из крутящейся кассы ренского погреба «Вдова Полотертова с сынами».

Василий Васильевич Свинтухов, по прозвищу Кузькина Мать, не отличался своеобычностью и сверхъестественными, как говорил о себе Жак, наружными качествами; его «коллекция» не шла в сравнение с Ванечкиной.

Тем не менее, он принадлежал к трехзвездию. И не без права: Василий Васильевич давал пять очков вперед грандотельскому маркеру Яшке. А был ли хоть еще один человек в Пензе, в Пензенской губернии, а может быть, и в целом мире, который бы дал вперед Яшке, и выиграл.

Проводя большую перемену в грандотельской бильярдной, Василий Васильевич зачастую опаздывал на четвертый урок.

Но даже суровый законоучитель — нахлобучив брови с деланной деловитостью, встречал его не выговором, а вопросом:

— Выиграл, что ли?

Василий Васильевич скромно отвечал:

— С большим трудом, батюшка.

— Сколько в лузу-то клали?

— Зелененькую.

— Что маловато?

— Яшка жался.

— Ну, подь сюда, подь.

И законоучитель заботливо стирал полый своей фиолетовой рясы с локтей Кузькиной Матери въедливый мел бильярдной.

### 3

Лео Шпреегарт впервые вошел в нужник с томиком Александра Блока в руках. До чего же это было неудачно.

К счастью, «Прекрасную Даму» увидел только я один. Знакомство с блоковской музой, несмотря на всю подозрительность этой особы, здесь бы не очень лестно истолковали. Сообразив неудачу, мой друг принялся безуспешно запихивать книгу в карман. Надо отдать справедливость, у него было развито чувство стиля. Лео ломал и мял блоковский томик с ненавистью.

Так обозлившийся муж щиплет под столом в ляжку свою верную супругу, когда та, случайно очутившись в обществе чиновных барынь, от смущения начнет рассказывать, каким способом она «штопает пятки» своему повелителю.

Сейчас я подумываю о том, что человек с сердцем, попав в положение, сходное с шпreeгартовским, страдал бы не за себя, а за «Прекрасную даму».

Так и другой муж не ущипнет до синяка в ляжку свою поскользнувшуюся в разговоре подругу, но даст тревожный сигнал незаметным поглаживанием по коленке или нежным пожатием руки у локтя.

К сожалению, мы хорошо разбираемся в чувствах, когда они уже не существуют, или существуют весьма относительно, как, скажем, бессмертие, — то есть в воспоминаниях.

Когда металл затвердеет и потеряет окраску пламени, очень просто отличить золото от меди и платину от серебра.

Страдание Лео проникло в меня на манер несложной уличной песенки, отпечатлевающейся в нас помимо воли: вот шарманщик в последний раз с собачьей безнадежностью оглядывает скудные окна, перекидывает ремень через плечо, пересыпает редкие гроши из шапки в карман и уходит со двора, волоча за собой босоногую детвору, словно разбившуюся на мелкие осколки тень, — а простенькая песенка продолжает звенеть в наших ушах.

То, что в редких случаях удавалось Шекспиру, Толстому, Рембрандту или Бетховену — удалось ей, мы расстроганы, да еще как!

#### 4

Проклиная добросовестность переплетчика и плодovitость блоковской музыки, я с затаенным дыханием следил, как белые пальцы моего друга стремились с отчаянием, увеличивающим безуспешность, засунуть книгу в поперечный карман брюк.

«Ах, только бы не случайный взгляд Ванечки Плешивкина, не роковой поворот головы прекрасного Жака».

И мои глаза встретились с глазами Лео. Мог ли я дольше колебаться?

Разумеется, «Прекрасная Дама» была мне милостиво уступлена. Конечно, она была через миг у меня обнаружена Ванечкой Плешивкиным.

Потрясая томиком Блока над головами, он завопил:

— Ребята, а Мишка-то, олух, стишки читает.

Жак сказал недоверчиво:

— А ну-ка, Ванечка, покажи.

— Стишки, ей-богу, стишки. Ну и осел!

— А знаешь, Мишка, я давно предполагал, что ты дерьмо, — вздохнул Василий Васильевич.

— У него, у дурака, потому прыщи на роже и скачут, что все стишки читает.

Классный наставник, сверкнув рыжими зубами:

— К б... бы лучше сходил, болван.

— Предлагаю пустить Мишкину «Прекрасную Даму» на подтирку.

Нужник заорал:

— Пустить!

Ванечка Плешивкин с внушительной торжественностью принялся обделять гальюнчиков листиками, отмеченными неувяданьем.

— Разрешите предложить и вам? — обратился он с некоторой высокопарностью к Шпреегарту.

— Благодарю.

И мой друг, взяв листик, смял его, как обыкновенно мнут предназначенную для известной цели бумажку:

— Непременно воспользуюсь.

Фраза Шпреегарта произвела хорошее впечатление.

А я повторял нешевелиющимся ртом: «Благодарю вас, непременно воспользуюсь». Ну и дрянь. И мое тело вдруг стало необычайно тяжелым: я не знаю, все ли этому подвержены, но что касается меня, то всякое настроение я ощущаю, как нечто имеющее определенный физический вес, плотность, температуру.

Меня можно наполнить кипящим оловом или гвоздями, как мороженицу набить снегом, как мешок насыпать картошкой или надуть кислородом, будто резиновую подушку для задыхающегося сердечного больного.

Но тут же Жак извлек из кармана портсигар и предложил моему другу знаменитую египетскую папиросу. Лео откланялся:

— К сожалению, я не курю.

Сортир замер. Гвозди мгновенно из меня высыпались. Я прохрипел:

— Лео не курит папиросы. Он предпочитает сигары.

— Да, знаете ли, я предпочитаю сигары.

Моя услуга была отлакирована интонацией столь тонкой, рассеянной и блестящей, что ложь, даже в моих глазах, превратилась в правду.

Кукиш Ванечки Плешивкина налился пурпуром и ревностью.

— А скажите, Шпреегарт, у вас был триппер?

— Нет, не было, но...

— ...я, видите ли, очень побаиваюсь, не произвела ли меня девочка в полные генералы.

Он снисходительно положил руку на Ванечкино плечо:

— Кстати, Плешивкин, не слышали ли вы случайно...

Это «случайно» сделало Шпреегарта великим в моих глазах.

— ...кто у вас в городе лучший венеролог?

Ванечкин кукиш стал белым.

Жак взял моего друга под руку. Василий Васильевич под другую, классный наставник раболепно распахнул дверь. Подобострастные гальюнщики расступились. Я крикнул:

— Лео.

Но он, по всей вероятности, не расслышал. Дверь с треском захлопнулась перед моим носом.

## Шестая глава

### 1

В вечера, когда бесконечность, разбрызгавшись куриным желтком, не перепачкивала синий фуляр неба, мы бродили по улицам сладко посапывающего города и заглядывали в чужие окна.



Дерево, гнедое, как лошадь, ничего, вероятно, не имело против. Собака с плакучим хвостом придорожной ивы не сквернословила, Лео восклицал:

— Это единственное культурное развлечение в Пензе. И принимался рассуждать о непреднамеренных актерах, значительно играющих для нас незатверженные роли. Он уверял, что теперь мы непременно бы заснули в Художественном театре, или, в лучшем случае, шокированные грубостью, сбежали после первого акта к своим освещенным стеклам. По его мнению, щепетильность всегда вредит художнику.

— Не находишь ли ты, что Станиславскому не мешало бы иногда прикладываться глазом к замочной скважине? А то ведь старик всерьез воображает, что жизнь натуралистична. Вот простофиля!

Он стукнул себя по лбу:

— А еще, по-моему, не менее поучительно, прекрасно и в эстетическом смысле благородно подслушивать у чужих дверей.

— Это идея.

Однако не всегда мы возвращались домой в хорошем настроении. На манер болтливой библиотечарши, освещенному стеклу, а позднее звукопроницаемой двери или перегородке подчас удавалось всучить нам чепуху и маловажность.

Надо сказать, что с каждой прогулкой мы становились придирчивей и придирчивей.

Если пухлая гимназисточка, вылезая из форменного платья, как розовая зубная паста из тюбика, оказывалась в целомудренных полотняных штанах, мой друг клеветливо говорил:

— В таком случае, у девчонки душа кокотки. Это еще неутешительнее для ее матушки. Я бы на месте старушки предпочел видеть на дочери невыразимые с инкрустациями.

Если же седобакенбардный чиновник в ватном халате времени Первого Крестового похода, раскладывая в уверенном одиночестве гранд-пасьянс, не ковырял упоенно в носу, не вытирал извлеченную «козу» о донышко кресла или по совестной обязанности не помогал кон-

чиком языка перемещению карт, — мы считали, что он кривляется.

Однажды я очень обрадовался, увидав, как целуются молодые супруги.

— Смотри, Лео, им тоже ужасно мешают носы. Они ими все время стучаются.

— Это потому, что они любят друг друга.

А в день именин губернаторши мы подсматривали сквозь щель в шторах за сероволосой женщиной с глазами, украденными у Натальи Гончаровой. Женщина, словно ампиристая колонна помещичьего дома, была увита сентябрьским плющом прабабушкиных кружев, может быть, привезенных из Венеции прадедушкой — посольским дьяком.

Поправляя брильянтовый гребень в серых волосах, она за какую-то провинность так рассердилась на зеркало, что сначала не преминула ударить его длинной лайковой перчаткой, потом кулаком, а под конец еще и выругала, как будто не совсем прилично.

## 2

Сероволосая женщина стала моей возлюбленной. В ту же ночь, может быть, даже в ту же минуту, когда она танцевала вальс с молчаливым губернатором, я, обжигая спиной сбившуюся простыню (возможно, что на простыне оставались золотистые полосы, как от слишком раскаленного утюга), уже проворливо требовал от нее непомерные порции клятв, предупреждая, что любовь, ограниченная какой-то жалкой вечностью, меня совершенно не устраивает. В ответ она зашивала мой рот горячей ниточкой поцелуев.

Я не проклинал быстропролетность ночи, потому что завтра между девятью и десятью утра (т. е. как раз в те часы, когда я буду сидеть на уроке немецкого языка, а она размякать в утренних сновиденьях) — мы, о могущество воображенья, прижавшись плечом к плечу, будем бродить по традиционной Поповой горе, позвенькивающей серебряным колокольчиком ущербной луны.

В Поповогорском парке не столь уж мало кленов, и она дала слово целовать меня под каждым деревом с листьями, напоминающими звезды. Я же обещал целовать ее под липами с листьями, напоминающими сердце. А так как на горе не растет других деревьев, значит, мы будем целоваться с ней непрерывно.

Мне только что пришло в голову, как резко не соответствует моя наружность моему воображенью, а воображенью моего друга — его наружности. Разве мои мясистые щеки не вполне бы гармонировали с грубыми мечтами Лео, а его тело, имеющее сходство с ножницами для маникюра, тоненькими и блестящими, — с прихотливостью моих желаний.

### 3

Оказывается, я напрасно не проклинал расставанье и ночь за быстролетность: нам не пришлось целоваться под листьями, напоминающими звезды.

За пять минут до звонка на молитву я встретил моего друга в гимназической раздевалке. У него был скверный вид. Я спросил:

— Что с тобою, Лео?

— Видишь ли, провел беспутную ночь с сероволосой красавицей.

Секундные стрелки его ресниц замерли на 60 и 30. Я вскрикнул:

— Негодяй!

Он раскланялся, приняв мой стон за одобрительную шутку. Тогда я поднял руку, чтобы надавать ему оплеух, а он, решив, что я собираюсь заключить его в дружеские объятия, положил голову на мое плечо.

— Ах, Мишка, Мишка, ты же ничего не соображаешь. Ты болван. Чудный, милый болван.

Его голова лежала у меня на груди и тупо не понимала тюремной азбуки сердца, выстукивающего трагические ругательства.

— Ты, Мишка, без сомнения уверен, что если женщина не похрапывает у тебя под боком, а, скажем, танцует вальс с губернатором...

Я отстранил его и, пошатываясь, стал подниматься по лестнице, с грустью вспоминая шестнадцатый век, когда в России за воровство били кнутом из белой воловьей кожи или привязывали к вертелу и жарили на огне.

Как часто у прекрасного — судьба Джоконды. Проклятая судьба!

Отпылав, я сравнил моего друга с Христом. Лучший из людей, которому Цельс никак не мог простить трусости в Гефсиманском саду и слабости на Голгофе, с такой же милой наивностью обокрал Ветхий Завет.

Только вчера, рассматривая картинку Дюрера, я случайно прочел в книге Левит: «Люби ближнего, как самого тебя». А строкой ниже еще лучше: «Если пришлец поселится на вашей земле, то пусть будет и он для вас как туземец, люби его, как самого себя».

#### 4

Первый урок. Безгрудая немка прилипла к кафедре. Перед ней переминается с ноги на ногу Ньюма Шарослободский. В потных руках он держит маленькую тетрадку. Она хлопает крылышками, как тот голубокрылый попугай болгарина, что бесконечно мудрее жизни, потому что вытаскивает женам наших завальских сцепщиков, смазчиков и кондукторов только билетки со счастливой судьбой.

На кончике Ньюминого носа висит обычно капелька. Сегодня она представляется мне озером, падающим с обрыва. Мои мысли в нем отражаются наподобие лесов и гор. Я всегда должен проделывать подобную штуку, если хочу что-нибудь увидеть яснее. Я гляжу в чернильницы, в стаканы с чаем, в пивные бутылки, в полированное дерево, в тарелки с супом, в ромбы пакета. Только не в зрачки человека. Черные стекляшки приводят меня в ужас. Когда отец кричит: «Мишка, почему ты никогда не смотришь прямо в глаза, — будто наблудил, либо украл?» — я не знаю, что ответить.

«Так вот ты какая? Ах, колонна, увитая сентябрьским плющом! Ах, деточка, подравшаяся с зеркалом!

Тварь. Грязная баба. На скольких еще кроватях валялась ты в эту ночь? Скольким ртам подставляла губы для поцелуя?»

Гнев и отчаяние растягивают мои орбиты. Глазные яблоки делаются арбузами, аптечными шарами. Они открывают для ревности необъятные просторы. Я начинаю понимать, что всякая моя возлюбленная, если б она даже оказалась, по случайности, столь же добродетельной как моя мать, для меня будет чудовищем, в сравнении с которым солдатская девка или проститутка с Чернобанной улицы окажется олицетворением чистоты. Потому что каждый мужчина, — будь то первый встречный на улице, обронивший желание, точно пустую спичечную коробку, или мой друг, возможно, относящийся ко мне дурно из-за моей глупой повадки крутить бородавку под левым ухом, может сделать мою целомудренную возлюбленную — порочной полудевой, разъяренной самкой или изощренной профессионалкой наслаждения.

Я понял, что всякое сопротивление ее бессмысленно, невозможно. Она разденется тогда, когда этого пожелает заказавший ее своему воображению мужчина, — так заказывают в ресторане «стерлядь кольчиком» или «горошек по-французски». Ляжет, как собака, при слове «куш». Исполнит всякое желание, даже высказанное быстроговоркой, как у вешалки в театре: «Палку! Шляпу! Галоши!»

Разве я сам не заставлял воровку глаз целоваться со мной под листьями, напоминающими звезды.

Конечно, требования моего друга были куда грязнее и беспристойнее.

По всей вероятности, в ту же ночь ею не пренебрегло еще человек двадцать: и губернатор, и драгунский полковник, и управляющий казенной палатой с ушами, закрученными словно бараньи рога, и чиновник особых поручений с губами негра, играющего на трубе, и бурлявый, как плотина, мукомол Панкратий Крухтий, и предводитель дворянства, веселый, как пупок, и его сын, красавец лицеист, приехавший по просьбе отца из Петербурга продирижировать мазуркой, и архиерей, грасирующий, как парижанка, и зятянутый в рясу, будто в

шелковый дамский чулок, и лакей, обносивший пломбиром, и швейцар, уже сжимавший в объятиях ее ротонду, и кучер, коснувшийся ее колен, когда застегивал полость, отороченную медведем.

Сжимающая меня ревность готова была приписать желание дивану, на бархатных коленях которого она сидела; дверям, что раскрывали перед ней свое сердце; вееру, что нашептывал ей на ухо признания; музыке, с которой она сливалась; вину — вскружившему ей голову.

## 5

Нюма не знал, как будет по-немецки «спички». Саша Фрабер шелестел губами, завязанными бантиком:

— Zundholzer.

Его шелест, не слышный соседям по парте, доходил до Ньюминого уха, потому что у Ньюмы наследственный абсолютный слух. Отец Ньюмы, Соломон Яковлевич Шарослободский, после одиннадцати часов вечера «маэстро». Маленький кафешантанный оркестрик «Эрмитажа» плачет под его смычок.

А с полудня до четырех с половиной — Соломон Яковлевич зубной врач. У него грустная скрипка и веселая бормашина. Он нажимает ее педаль всякий раз под какую-нибудь игривейшую мелодийку мадемуазель Пиф-Паф. У Соломона Яковлевича один белый халат. Когда халат в стирке, Соломон Яковлевич принимает больных во фраке. Это импонирует пензякам.

## 6

Перемена. По коридору прогуливается Лео под руку с Сашей Фрабером. У моего друга сияющее лицо, словно он объелся созвездиями подобно автору Экклезиаста. Он присвоил себе счастье, как присваивают понравившуюся манеру или чужой каламбур. Впоследствии он также присвоит славу. Он положит ее в карман небрежно, как мундштук или зажигалку.

На уроке геометрии я уступил ему женщину, украсившую глаза у госпожи Пушкиной. Уступил уже после того, как простил ей губернатора, драгуна, предводителя, лицеиста, архиерея, мукомола, лакея, кучера, словом, всех — вплоть до веера и шумановского вальса.

Почему я это сделал? Не знаю.

## Седьмая глава

### 1

А вот и конец истории: моя лошадь шарахается в сторону и удивленно, по-человечьи, скашивает глаза. Кобыла Лео длинноногая, черная, как еврейка, поднимается на дыбы и отмахивается, словно руками, от этого ужаса. Третья лошадь чувствует себя превосходно: играя порожним седлом, она перескакивает через канаву в траву.

У Лидии Владимировны вместо головы — кровавая лепешка. Серые, рассыпавшиеся волосы забрызганы кровью, костями, мозговой мякотью, черным фетром. Маленькая рука в молочной перчатке сжимает ивовый прут. Полчаса тому назад, поднося почтительно эту теплую, даже сквозь перчатку, руку к губам, я спросил:

— Разрешите, Лидия Владимировна, снять чулочки с пальчиков?

Она улыбнулась моему другу глазами, украденными у госпожи Пушкиной.

— Разрешается?

Она была натоплена счастьем, как маленькая деревенская банька.

Лидия Владимировна лежала на спине, сжав колени. Выпавшая из пудреницы пуховка плакала гильотинированным одуванчиком в кровавой луже. Земля была влажная, глинистая. Она всасывала кровь медленно, смакуя ее, как старое вино.

Небо высокое, голубое. Немецкий аэроплан казался крылатым амуром, что вооружен луком и веселыми стрелами.

На голубое небо в пяти-шести местах упали очень милые снежинки, — не хочется думать, что это шрап-

нельные разрывы. Наши зенитные орудия обстреливали немца лениво, наперед зная, что проку не будет. А тот летал тоже без толку, прогулки ради (как петербургская дама по солнечной стороне Невского проспекта) — не пропадать же хорошему дню: почему не прогуляться за пятнадцать верст до ближайшего тыла противника, где, к несчастью, был расположен штаб нашей инженерно-строительной дружины, находившейся в ведении общественных организаций — земских и городских.

Лидия Владимировна была убита упавшим «стаканом», посланным от нечего делать русским артиллеристом в небо.

## 2

Я кричу:

— Лео! Лео! Лео!

Его кобыла бросает мне в глаза копыта. Я вижу, как он рассекает ей голову промеж ушей стеклом и рвет блестящее брюхо шпорами. Кобыла вытягивается в карандаш. А ему, по всей вероятности, кажется, что она плетется мелкой рысью.

Я еще продолжаю на что-то надеяться:

— Лео! Лео!

Ведь он же знает, как я боюсь мертвых. Мне всегда чудится, что они со мной разговаривают. А от комариной капельки крови меня тошнит. В гимназии, на выпускном экзамене, когда у Ньюмы Шарослободского от страха пошла кровь носом, со мной случился припадок, близкий к эпилептическому. Припадок, как прачка, намылил мне губы и, словно игрок в домино, перевернул глаза с темного брюшка на белое.

«В конце концов, это его любовница. Какое мне дело?»

С присущим моему другу благородством, он уступил ее мне, когда ее голова стала отвратительной лепешкой, уснащенной густым липким кровавым вареньем — по-ложим на малиновое.

Сковорода сказал бы про мою душу, что она тощая и бледная, точно пациент из лазарета. А душу моего друга



он бы, возможно, уподобил Библии, которая, по его словам, породила не львов или орлов, а мышей, ежей, сов, не топырей, шершней, жаб, песъих мух, ехидн, василисков, обезьян и вредящих Соломоновым виноградникам лисиц.

### 3

Дорога была обмазана солнцем, как йодом. От трепетаний прямых сосен пел воздух. Небо, спокон века напухшее голубизной и потому не впитывающее моего отчаяния, казалось тяжелей греческой губки, вынутой из горячей ванны. Если бы оно было тучистое или мглистое — дышалось бы легче.

Лошадь медленно передвигала ноги. Лидия Владимировна лежала поперек седла. Ее серебристые шпорики игриво тинькали, худенькое плечо доверчиво прижималось к моим коленям, несгибающиеся пальцы не противились моему пожатью. Если бы у нее была голова, может быть, я поцеловал бы ее в губы.

Я подумал о своем внутреннем хозяйстве. В эту минуту оно мне показалось образцовым. Вроде имения Константина Федоровича Костанжогло, где даже свинья глядела дворянином.

Продолжить прекрасного рассуждения не удалось — Лидия Владимировна скатилась с седла. Лошадь рванулась и заскакала. В ужасе я вцепился одной рукой в ногу трупа, развевающего по ветру кровавые волосы, как знамя революции, другой рукой за гриву одуревшего животного.

Сосны звенели. Дорога, вымазанная солнцем, вертелась. Я закрыл глаза. Зубы кусали воздух. Сначала он казался жестким, как бифштекс, потом вдруг сделался жидким, как вода. Я стал захлебываться.

### 4

Через три дня за Лидией Владимировной из корпуса приехал муж. Артиллерийский офицер походил на сельского учителя. Полковничьи погоны с белыми генштабистскими жгутиками будто шутки ради были при-

цеплены к мешковатой гимнастерке, подпоясанной, как ситцевая рубаша. Стекла круглых очков были все время мутны, словно его глаза дышали. Рыжеватые сапоги сморщились, как человек, собирающийся заплакать.

Он сидел у гроба, пощипывая редкую бороденку непонятого цвета. А когда ему казалось, что никто не видит, он гладил Лидии Владимировны руки и подомашнему, без попреку, протирал запотевшие стекла своих очков ее черной юбкой в шершавых пятнах от подсохшей крови.

## 5

Лидия Владимировна лежала с закрытым лицом, а мой друг в 1922 году лег в деревянный ящик будто в кровать к любовнице.

К последнему блестящему выезду его снарядила моя жена. Вытаскивая голову из петли, она прощebetала:

— Ах, какой ужасно, ужасно непривлекательный!

И тут же вынула из гипсоровой сумочки герленовскую губную помаду, карандаш для бровей, пудреницу и тушь для ресниц, так называемую «плевательницу».

Моя жена преобразила его в несколько минут. Белые, сухие губы стали пунцовыми и жирными, бровь изогнулась мефистофельскою презрительностью, а пыльные щеки заперсиковели.

Гроб с моим другом стоял в общественном здании. Мраморные колонны были одеты в пурпур и креп.

Знаменитые актеры читали моему другу Державина, Пушкина и Александра Блока. Скрипач с мировым именем Наум Шарослободский играл Гайдна. У Ньюмы все так же висела на носу капелька, хотя грудь его, шея и руки были осыпаны хрустким снегом крахмала, а комберленовский фрак облил тщедушное тело черным дождем. Балерина, носившая название «народной», танцевала ему «Умирающего лебеда». У балерины были глаза как две огромные слезы.

Человек, повешенный мною, лежал в гробу как фараон. Я был удивлен, почему не снабдили его моссель-

промовским печеньем «Сафо» и несколькими баночками пищетрестовских консервов.

Около разлагающегося трупа представители общественных организаций, друзья и возлюбленные несли почетный караул.

Примерно с пятого года революции москвичи заобожали покойников. Как только умирал поэт, стихов которого они никогда не читали, глава треста или актриса, сошедшая со сцены четверть века тому назад, граждане, сломя голову, бежали «смотреть».

На мертвецов образовывались очереди, как на подсолнечное масло или на яйца. В очередях ругались, вспоминали старое время, заводили знакомства, обсуждали политические новости. Словом, мертвецкие хвосты ничем не отличались от кооперативных. Некоторые приходили в очередь с бутербродами, некоторые с книгами, некоторые со складными стульчиками, а рукодельницы с вязаньем или вышиваньем.

Люди, имеющие склонность поблистать, положительно не пропускали ни одного сколько-нибудь видного покойника. Премьеры или вернисажи не могли конкурировать с похоронами.

Я сам недосужно ответил на приглашение, далеко не лишенное заманчивости:

— Не могу. Не могу. Днем я на Ермоловой, а вечером в Большом на Борисе.

Великую Ермолову хоронили еще пышнее, чем моего друга.

Когда шофер в кожаных латах и с опущенным кожаным забралом остановил госиндикатовскую машину с Сашей Фрабером около общественного здания в пурпуре и крепе, очередь на моего друга уже завернула за угол второго квартала.

Секретарь Фрабера — юноша с портфелем из крокодиловой кожи — шепнул на ухо своему патрону:

— Александр Августович, не беспокойтесь, распорядитель погребения мой закадычный приятель.

Но Саша Фрабер, сложив губы недовольным бантиком, сказал:

— Товарищ Лошадев, я принципиально против протекции.

И встал в хвост как раз в тот момент, когда взбалмошный гражданин в буланой поддевке (под цвет бороды) кричал некой флюсатой гражданке с соломенной кошелкой:

— Я у вас, мадам, в ноздре не ковыряю, так и вы в мою не лезьте.

Гражданка, по-видимому, отнеслась к гражданину с неуместным поучительством.

А немного поодаль женщина, похожая на ватку в больном ухе, говорила старухе, зловецей, как медный пятак на глазу покойника:

— А вы слышали, маман, о последнем фейерверке Елены Павловны, сошлась, figures-vous, с приказчиком из Рабкоопа.

— Приспособьтесь, гражданин из автомобиля, приспособьтесь. За этой девушкой приспособьтесь.

Клетчатая немка с Трубы фыркнула:

— Как же-с! Девушка: на левое ухо.

Саша, глотая слезу, встал в хвост.

## 6

Перед тем как заколотить гроб с Лидией Владимировной и перенести его на артиллерийскую двуколку (полковник увозил Лидию Владимировну), он для чего-то положил около небьющегося сердца своей жены крохотный портретик девочки, по всей вероятности, с серой косичкой.

За несколько минут до отъезда, протирая запотевшие стекла очков (запотевшие глаза нельзя было протереть), он попросил:

— Познакомьте меня с этим человеком.

Я пошел к моему другу.

— Он хочет тебя видеть.

— Пусть отправляется ко всем собакам.

Не глядя в глаза, я пробормотал:

— А по-моему, тебе бы следовало пожать ему руку.

— Не имею ни малейшего желания.

Мне пришлось соврать артиллерийскому полковнику, что мой друг болен.

Полковник, смущенно подергав крестик Белого Георгия, почти виновато проронил:

— Если он не хочет проститься с Лидочкой при мне, я выйду.

Чтобы не огорчать чудака, я сказал:

— Пожалуйста.

## 7

Ночью Лео играл в покер. Играл, как всегда, — осторожно, расчетливо, без оплошалостей. Он редко проигрывал. Его длинные, не в меру гибкие пальцы наводили на скверные мысли. Но он, разумеется, не передергивал.

Хотя, на его месте, я бы не садился за карточный стол в этом френче из дорогого английского коверкота, в этих мягких сапогах из французского шевро, обтягивающих ногу, как бальная перчатка. И френч и сапоги были сделаны на «покерные деньги». Лео, не вынимая из зубов папиросы, промямлил:

— Ваши десять рублей и еще пятнадцать.

У Петра Ефимовича завлажнели брови:

— Эх, пал дуб в море, море плачет, — четвертый разочек до покупочки повышаете, Леонид Эдуардович. Право же-с играть мне с вами, маэстро, что комару на зимнего Николу петь: кафтанчик короток!

И Петр Ефимович расстегнул ремень на завлажневшей рубахе:

— А ведь у Леонида Эдуардовича, ей-ей, на руках флешрояль.

Говорю, в игре у него крылья орловы, а хобота слоновы. Беда!

Подрядчик, переодетый, как и все мы, в военного чиновника, до войны сражался с супружницей в свои козыри или, на худой конец, с десятниками в двадцать одно. Сейчас он, по всей вероятности, с нежностью вспоминал эти игры, не воспрещающие таинственным: «блеф пар жест» выпенивать из себя вулканические страсти.

Думается, что Петр Ефимович и играл-то в покер из-за таинственных иноземных слов, которые произносил

он с полным наслаждением, нимало не подозревая, что они после процеживания сквозь его гуляй-полевские усы становились самыми что ни на есть оханскими. — Значит, сервнете, Леонид Эдуардович?

Мой друг улыбался, позвякивал шпорой, шелестел картами. А я думал об артиллерийском полковнике, похожем на сельского учителя. В ту ночь чудак, наверное, не мог бы играть в покер. Он вообще, мерещится мне, недоумевал, как в эту ночь лошади могут жевать овес, солдаты ловить вшей, луна золотить землю, немцы ненавидеть русских, орудия икать, сестры милосердия давать офицерам.

В эту ночь!

## 8

Вторым заядлым покеристом и постоянным партнером моего друга был Алеша Тонкошеее, молодой актер Художественного театра. Алеша был человек благоразумный, предусмотрительный и потому несчастный. Бывало, не успеет еще Петр Ефимович раздать по три карты, а уж Алеша обымает будущее грустным взглядом:

— У меня сейчас, вот увидите, стрит тузовый подберется, а у Лео, голову прозакладую, тройка и двойка. Горько плакали мои фишки.

И Алешины фишки, действительно, горько плачут под восторженный всплеск Петра Ефимовича:

— Матадор вы, Леонид Эдуардович, арены мадридской!

И не только в покере обымал Алеша Тонкошеее будущее взглядом своих добрых белокурых глаз. Бывало, сидим на зеленой скамейке перед фанерным домиком, вечер лучше и не придумаешь: заря бражничает, верещит тальянка, ветер пришептывает непоодаль в червонеющих березах. Будто мы не в тылу фронта, а в диком привольном селе размашистой черноземной губернии. Вкруг скамейки пораскидались — сердечками, лунками, бараночками цветущие клумбы.

Я копошусь кортиком в настурциях и резеде. Людей мы не рушим и потому не жалованы шашкой. Рот у меня,

сам чувствую, до ушей. Петр Ефимович сказал бы: «Хоть завязочки пришей».

Алеша страдальчески ломает брови:

— Ну, чему радуешься, чему?

— Да вот резеда распустилась, пахнет чудесно.

— Распустилась! Пахнет! А через неделю что?

Гнильно, может быть, пахнуть будет?

— По всей вероятности.

— Вот и посуди сам, чему же тут радоваться? Цветочки неделю живут, а потом вянут, осыпаются, гниют, а ты от этого в телячий восторг приходишь. Удивительные люди!

Леша отрешенно похрустывает пальцами. А через минуту:

— Чего дышишь, чего?

— Хорошо. Прохладно.

— Прохладно. А завтра что будет? Какой день?

— Должно быть, жара. Закат кровавой.

Он обрадовался:

— Ага, жара! А ты наслаждаешься, сияешь?

Я беру Алешу за руки:

— Тонкошеечка, дорогой, хочешь быть в жизни немножечко посчастливей?

— Дурацких советов и слушать не желаю.

— Я только хочу сказать, Алеша, что всегда лучше думать о сегодняшней прохладе, чем о завтрашней жаре. Вот и все.

Он сердито поднимается со скамейки:

— Скотская философия.

И уходит, не взглянув на меня.

## Восьмая глава

### 1

Когда мой друг увидел у Лидии Владимировны две еле уловимые морщинки у косячков рта, он сказал:

— Время — аккуратный автор. Оно не забыло поставить дату и под этим великолепным произведением.

Я спросил:

— Какой месяц обозначает цифирка?

— Начало июля. Лето в полном разгаре. Впрочем, мне думается, что осень тоже будет не лишена очарования. Ах, как я влюблен в эту женщину!

Каждое утро Лидия Владимировна говорила:

— Лео, сегодня последний день.

Так продолжалось две недели. Она хваталась за голову:

— Прошел месяц, как я уехала из Пензы.

— Но ведь ты же была у мужа.

— Сколько я у него была?

— Ровно столько, сколько он заслужил своей любовью.

Лидия Владимировна была убита в день, когда ее чемоданы уже были на станции. Из Пензы пришла телеграмма, что девочка с глазами, как у маленькой госпожи Пушкиной, заболела скарлатиной.

## 2

Жительствовали мы в чистеньких фанерных домиках. В комнатах было уютно. По вымытому полу разбежались крученые, в разводах, половички. На столе лежала льняная скатерть. Кровати, застланные пикейными одеялами, пахли утюгом, белой мыльной пеной и девичьими руками. В фаянсовом кувшине у изголовья кровати стояли чайные розы. Их привозила моему другу женщина-врач Юлинька.

Юлинька заведовала госпиталем, которому бесконечно не везло: с начала войны в нем еще не простонал раненый, Юлинька нервничала, ругала разленившихся на Западном фронте пруссаков и безуспешно ездила каждые две недели в Минск выпрашивать раненых. А ее сестры милосердия разводили породистых цыплят, выращивали французский горошек, чайные розы, ездили верхом, зимой ходили на лыжах, летом играли у нас в теннис и участвовали в наших любительских спектаклях. Юлинька относилась к ним трогательно: выслуши-



вала сердечные тайны, журила, делала аборт. Сестры уверяли, что у нее легкая рука.

К сожалению, Юлинька была сделана под таксу, разрубленную пополам. Ее каплюсенькие кривые ножки были очень подвижны — она перемещалась на них быстрее верзилестого мужчины. Если бы к ее заду можно было приделать вторую пару таких же ножек, Юлинька могла бы гоняться не только за моим другом, но и за лисицами.

Лео крикнул:

— Маня!

Вошла толстушка с нахохлившимися бровями, с носиком, подпрыгнувшим, словно от щелчка, в кружевном передничке и наколке. Лео сказал сердито:

— Вы же знаете, Маня, что я без вас не могу лечь спать.

И с видом мученика протянул ей ногу, затянутую в сапог, как в бальную перчатку.

### 3

Наша инженерно-строительная дружина прокладывала стратегические дороги среди непосаженных полей Западного фронта и строила стратегические мосты через звонкую, как струна, реку.

Работали в дружине татары из-под Уфы, сарты и финны. Татары были жалкие, сарты суровые, финны наглые. Притворяясь, что не понимают русского языка, они хрипели на покрики десятников: «сатана пергеле» и поблескивали белесыми глазами как ножами.

Кажется, из-за дохлой кошки, а может быть, собачонки, вытащенной из супового котла, финны пробездельничали три дня. В конце месяца у них из жалования вычли прогул. Тогда финны разгромили контору, избили табельщика и подожгли фанерный домик начальника дружины. Пришлось вызвать эскадрон. Но финны разбежались раньше, чем уланы сели на коней.

Начальник дружины румяный инженер Корочкин все охотно просил прощения «за беспокойство и по-

тревогу» у ротмистра с перекошенным лицом, точно поперхнувшимся моноклем.

Уланы гостили у нас несколько дней. Мы играли с ними в теннис, стреляли уток, катались на моторной лодке по звонкой реке, угощали их тонкими обедами (повар был у нас знаменитый — от «Оливье»), возили на многопокойной «Испано» к Юлинькиным сестрам.

Поперхнувшийся моноклем ротмистр завистничал:

— Помещики! А? Помещики, корнет?

Корнет, сотворенный природой, по словам Петра Ефимовича, в оправдание побайки «на бочке едало, на едале мигало, под мигалой сморкало» — хрипел:

— Помещики? Черта лысого снилось такое моему батьке: женщины, карты, английские забавы, автомобиль. Во бы нам с вами, ротмистр, месяц-другой стратегические мостики повозводить.

Поперхнувшийся ротмистр вздыхал:

— Н-да, мостики...

А Лео вызверился на уланские горячие штаны с белой выпушью и кожаные на ягодицах:

— Умереть! Уснуть!

И вечер насквозь трагически ворковал о султанах — белых, из петушиных перьев, лапушных, черных косичетых или из конского волоса, что трессируется на нитку; о помпоне, обвитом ссученным снуром из серебряной канители; о кокардах из опряденного серебра; о галунах из опряденного золота с шелковыми закранами; о кирасирских орлах; о гербах, нумерах, накладных литерах, знаках с просеченными подписями; о гранатах «в три огня» на шапках; об уланской чешуе, набранной из звеньев, вырезанных фестоном; о кистях из рассыпных, в три ряда ссученных жгутиков «мат с гранью»; о двойных языках из алого сукна к шишаку в серебряных плетенках; о кирасирских колетах, гвардейских доломанах, ментиках, парадных чачкирах, венгерках, супервестах, выкроенных наподобие лат.

Мой друг изнывал от жалости к самому себе — за то, что должен был носить кокарду не яичком, а репкой, и погон не в ладонь, а на палец поуже, да еще простроченный по-чиновничьи в клетку и с отвратительным вензе-

лем земского союза. Ему, не ко времени, припоминалась незадавшаяся поездка в Минск, когда придирчивый комендант столицы Западного фронта под рывканье зевак снял с него на улице шпоры, отобрал стек и заставил выправить кокарду, сплюснутую под офицерскую.

Я сел к моему другу на кровать и увертливо попытался отвлечь его от грустных мыслей:

— Как ты думаешь, Лео, выиграем мы войну или проиграем?

Он молчал, уткнувшись носом в подушку.

Я сказал:

— Проиграем.

Он поднял на меня гневные глаза.

Под окном корнетова тень напевала носику, подпрыгнувшему от щелчка:

Ой, вы, улане,  
Малеваны дети,  
Не одна паненька  
За вами полети,  
Не одна и вдова  
За вами, улане,  
Летети готова,  
Улане, улане.

Любовников, как два ломтика черного хлеба, густо посолила луна. Я пожал плечами:

— Ну сам подумай, разве может победить армия, которая сплошь состоит из неудавшихся земгусар.

#### 4

Средь поля стоит сосна — длинная, тонкая, безрукая. К острой ее макушке прицеплено небо.

Я лежу под деревом.

Сковорода заметил, что отсутственная дружественная персона похожа на музыкальный инструмент — он издали бренчит приятнее.

Если бы мой друг не был гадиной, если бы он не измывался надо мной, не титуловал меня через слово «животным», не считал ничтожнейшим ничтожеством, не расковыривал бы сонные, пеклые и болезненные ростки

моего самолюбия — разве был бы он мне дружественной персоной?

Говорю себе: «А ведь ты, брат, лихо смахиваешь на мадемуазель Пиф-Паф».

Пензенское происшествие:

Опускается занавес в сильфидах, лаврах и лирах. Мой друг скользит на лаковых носках вдоль барьера, по которому, как на жердочке, сидят одноглазыми разъевшимися канарейками — желтые драгунские шапки. Лидия Владимировна протягивает ему руку. Он подносит ее к губам бережно, словно чашку из розового фарфора, грозящую при малейшей неловкости расплескать благоухающий кипяток. Оба полыхают. Лидия Владимировна глазами, украденными у госпожи Пушкиной, а мой друг крутым солнцем воротника, подпирающего уши. Лидия Владимировна влюбленно ломает холодный стебель лорнета. Лео — свою черную, опущенную золотом, треуголку.

Мы с Пиф-Паф стоим в проходе. Ее щекочет ревность. Лео переломился возле просвечивающей насквозь Лидии Владимировны. Золотой ноготь его правоведской шпаги царапает барьер. Пиф-Паф подходит и берет своего возлюбленного под руку. Мой друг выпрямляется, смотрит на нее неузнающим взглядом.

— Сударыня, вам здесь не панель.

И подзывает капельдинера:

— Выведите из театра эту особу.

Пиф-Паф выводят.

Ночью он забежал к ней в номер, чтобы на скорую руку надавать пощечин. Но увлекся. Бил долго, сосредоточенно, с наслаждением. Ее голова качалась вправо и влево. На нежной коже оставались рубцы, будто бил не пальцами, а хлыстом. И Пиф-Паф впервые почувствовала себя женщиной, возлюбленной. В ней проснулось чувство собственного достоинства, почти высокомерия. Она сказала себе: «Если он меня бьет как собаку, значит, я тоже человек». И в порыве благодарности сделала его своим божеством на всю жизнь. Она носила, как ладанку, на груди белую лайковую перчатку, лопнувшую у моего друга на ладони после второго удара.

Ветер. Сосна топорщила жесткие волосы, желая во что бы то ни стало походить на вепря. На верхних черных сучьях, словно за попитрами, сидели горбоносые пичужки и пиликали на флейтах.

По большаку из леса тройка дымчатых лошадей вынесла лакированную откидную коляску. Я хотел спрятаться за дерево, но не успел.

Юлинька закричала:

— Миша, Миша, полюбуйтесь на нас, раненого в госпиталь привезли. Замечательный. Обе ноги оторваны. Непременно приезжайте завтра взглянуть. Слышите, непременно. И Лео привозите.

Я хотел крикнуть: «поздравляю», но дымчатые кони уже унесли счастливую докторшу.

Ветер качал безрукую сосну и прицепившееся к ней звездное небо.

Такса бежала впереди. Ее крутой задок управлял движением выпускного и стремительного тельца.

Сестра Шура, пушистая и ленивая, как хвост сибирской кошки, шептала не без гордости:

— Раненый — пальчики оближешь: так пузом душечка и оканчивается.

Мой друг процедил:

— Забавно.

Юлинька обернулась:

— Лео! Миша! Шурочка!

Она уже стояла у входа в палатку и шеламутила руками:

— Протискивайтесь же, протискивайтесь. Ах, копуны.

Мы вошли. У окна под мягким байковым одеялом, кучкой высившимся у изголовья и распластавшимся нелепо плоско «в ногах», спиной к нам лежал человеческий обрубок. Над ним серой веревочкой вился дым. Сдела-

лось неприятно и страшно: «Обрубок, и еще курит, жизнью наслаждается».

Я попятился было к двери, но сообразительная Юлинька схватила меня за руку. Мой друг с навычной легкомысленностью звякнул шпорой. Это было бестактно: ведь шпора привинчивается к сапогу, а сапог...

Обрубок повернул голову.

## 7

Больше всего я ненавижу жизнь за ее шуточки. Порой хочется показать ей кулак. А может быть, даже крикнуть в небо:

— Конферансье!

Обрубок оказался Ванечкой Плешивкиным.

## Девятая глава

### 1

Я стою в футбольных воротах. Ужас в моем сердце. Подобно желтым фонарям, прыгают в зрачках голые колённые чашки Ванечки Плешивкина.

Чашки?.. Тазы? Медные тазы!

Они обмотаны и перекручены веревками мускулов. У него икры, как булыжники. Когда Ванечка заносит над мячом белую бутсу величиной с березовое полено, у меня падает душа.

А как он бегаёт! Впрочем, на таких ногах не мудрено делать сто метров в 10 секунд. Там, где у меня сосок, у него кончается бедровая кость.

Лео сделал меня голкипером. Когда я голкипер — несчастный человек. Больше всего в жизни я не хотел быть голкипером. Лучше уж пожарным. Вообще я пожертвовал десятью годами жизни, согласился бы умереть не восьмидесяти пяти лет, а семидесяти пяти, семидесяти, — только бы не играть в футбол.

А ведь я обожаю жизнь. Не в качестве участника ее, а как свидетель.

Когда мне было шесть лет, мой отец — кондуктор, спросил меня:

— А что, Миша, ежели б тебе бы жить?

— Только без одной ножки?

— Да.

— Конетьно.

— А что ежели б, Миша, руку и ногу?

— Значит, с одной ручкой и одной ножкой?

— Да.

— Ну конетьно, жить.

— Ах ты, сорока картавитая, а ежели голову?

— Значит, без глазок?

— Какие уж тут глаза!

И я, по преданию, горько задумавшись над пагубой, заковырял промеж своих пальчат на лапах с многосерьезностью взрослой:

— Нет, папка...

Мои реснички точили слезы:

— Без глазок хотю умереть.

Меня сегодня тренировали чет унес с поля кипящий, красномедный самовар зари.

Лео сказал:

— Не горюй, Мишка. Из тебя в конце концов получится голкипер.

Я ответил тихо, как умирающий:

— Из меня, кажется, уже получился гробожитель.

Роковой Жак утешил:

— Выживешь.

А Ванечка Плешивкин, посту; обнадежил:

— Обомнешься.

И только Саша Фрабер шепнул с лаской:

— Миша, иди ко мне ночевать. У мамы есть йод и свинцовая примочка.

## 2

Ночью, во сне, я наново переживал тренировку. Все было как в действительности: нападение играли Лео, Жак и Ванечка; беком был Саша Фрабер; я стоял в воротах.

Когда Ванечка бил по голу, я зажимал глаза и наудачу выкидывал руку по направлению свистящего мяча. Если мяч случайно ударялся о кулак, пальцы выламывались от боли, а на костяшках выступала кровь и обмохрявливалась кожа.

Лео кричал:

— Дурак, сколько раз я тебя учил: мяч надо не отбивать, а ловить.

И я, перекорючившись от ужаса, в следующий раз ловил мяч в себя, как в мешок. После этого мне казалось, что отбитые внутренности тинькают в животе, как дробинки или горошинки в детской погремушке.

Язвительнейшие удары были у Лео. Он бил не сильно, но зато в самый уголок ворот. Чтобы вытренироваться в первоклассного голкипера, я должен был стремглав падать на мяч, презирая грязь, липкую и холодную. Иногда, не рассчитав прыжка, я ударялся головой о палку ворот. Это вызывало всеобщее одобрение.

Моя «защита» (Саша Фрабер) играла не за страх, а за совесть. Через пять минут после начала тренировки он становился липким, как леденец, вынутый изо рта.

Саша наскакивал на ведущего мяч с исступленностью. Но почти всегда безуспешно, Лео делал несколько движений — легких, еле уловимых, почти балетных, и Саша оставался позади с выпученными и удивленными глазами.

А мяч летел в уголок гола.

### 3

Ночью, перед тем как лечь в кровать, я с засыпающими веками натирал мяч касторовым маслом. А утром перед гимназией вместо того, чтобы выпить стакан горячего чая, зашивал вощеной ниткой разлезшиеся от Ванечкиных ударов швы на покрышке. Потом я надувал мяч велосипедным насосом и зашнуровывал.

Мяч вызывал во мне трепет, ненависть и восхищение. Я зачастую видел, как ничтожны в сравнении с ним Достоевский, Пушкин, Марксов «Капитал», Мартов с Да-



ном и мадам Тузик: у нас в гимназии был литературный кружок — не стало; Саша Фрабер выпестовал тайный меньшевистский социал-демократический комитет — самораспустились; наконец, «фирме, существ. с 1887», не приходилось по субботам прятать в чулане гимназические шинели. Вышибало Андрей Петрович лишился тепленьких пятиалтынных.

Вышибало, из милованных каторжан, был гордостью заведения: «И сшили Андриюшеньке ожерельице в два молота», — рассказывала с чувством проститутка Фрося.

Белокосая Фрося — воплощение русского разума и души. Бывало, ходит голая, чуть ступая, от ночного столика с будильником до простенка, где портрет цесаревича Алексея в матросском костюмчике, и все вопросы задает:

— А скажи, Мишенька, что в жизни всего тяжелее?

Теперь бы я, разумеется, ответил: «Быть голкипером», но тогда еще не был я футболистом и потому не знал, что сказать.

— Так вот, Мишенька, всего тяжелее в жизни отца с матерью кормить.

У Фроси глаза хатки-мохнатки.

— Ты на сколько, Мишенька, на час или на ночь?

— На час, Фрося.

Она делово заведет будильник, прижав холодное стекло к животу, пахнущему материнским молоком, и опять спросит:

— Ну, а чего, Мишенька, всегда хочется?

— Тебя, Фрося.

— А вот, глупый, и не знаешь: всегда хочется ничего не делать.

С Фросей я, как в раю. Вспоминается Скворода: «Рай божий, простее сказать, зверинец».

В зеркале, мутном и загадочном, точно остекленевший дым, отражались ее домыслы и покорная спина, безжалостно рассеченная позвоночником.

— Смотри, Мишенька...

Она показывала на Млечный Путь.

— ...вон там шла девица из Питера, несла кувшин бисера, споткнулась и рассыпала.

Фрося в объятиях плакала. Ее любовь приносила радость и чистоту. Я бы хотел Фросю не на час, но до конца дней.

А спустя десяток лет мне довелось узнать, что бывает еще любовь, оскорбительная, как пощечина.

Когда я обнимаю мою жену, она хохочет, словно я щекочу ей пятки. И во мне, как при встрече персидского слона — во времена Петра, «внезапу, яко вода воскипеша московитии народи, улицы востопташася, слободы пролияшася, переулки протекоша».

#### 4

Наш матч с 1-й казенной гимназией судил Исаак Исаакович Лавринович. На нем был смокинг из красного сукна, сшитый специально для этой цели, и круглая шапочка из пестрых клиньев на манер жокейской.

Пристав Утроба прибыл на матч в полицмейстерском шарабане и с полицмейстерской дочкой. Ее глаза отличали голубизной январского снега. А вокруг шеи был обмотан желтый шарф. Когда шарф плыл по ветру, полицмейстерская дочка становилась похожа на пузырек с рецептом. Ее нужно было принимать по каплям, чтобы не отравиться насмерть.

Пристав Утроба, увидав на поле Исаак Исааковича в красном смокинге и со свистком, сказал своей нареченной:

— Жидовская игра.

И возглавил партию врагов футбола.

В Пензе было всего несколько еврейских семейств, но, по уверению Лео, благодаря тому, что Исаак Исаакович, как только проглядывало солнце, выходил на Московскую улицу «прогуляться»; как только на столбе появлялась афиша с заезжим гастролером — покупал «место в креслах»; как только открылась первая в городе кофейная «Три грации» бр. Кузьминых — абонировал на фэйфоклоковское время столик у окна; как только в столицах вошло в моду танго, — стал танцевать его на благотворительных балах, устраиваемых госпожой фон-

Лилиенфельд-Тоаль, наконец, потому, что Исаак Исаакович был бильярдист, поэт, винтер, охотник, рыболов, дамский угождатель, любитель-фотограф, старшина обоих клубов и дружинник вольно-пожарного общества — казалось, что Пенза донельзя населена евреями.

Матч с 1-й гимназией был проигран из-за меня. Надо сознаться, что оба гола непростительны. Первый мяч я попросту выронил, а второй прокатился у меня между ног.

Лео ушел с поля с трясущимися губами. От злости у него даже закосил левый глаз.

Я ходил за ним — побитой собакой. Заглядывал в лицо, вытирал платком его вспотевшую спину, застегивал подтяжки, очищал и резал ломтиками лимон, зажигал и подносил спичку раньше, чем он вставлял в зубы папиросу.

Он меня не замечал. Я сам начинал ощущать себя как пустоту. Я чувствовал, что он не простит мне этих двух мячей никогда в жизни. Он всячески давал мне понять, что, собственно говоря, мне следует в ту же ночь пустить себе пулю в лоб. Но я смалодушничал. Я прикинулся простачком, не умеющим читать чужие мысли.

## 5

Ночь. Небо сурово и торжественно, как вывеска, что парит над Сенной. Вывеска из черного стекла. Золотом на ней написано: аптека. В детские годы я был уверен, что у Бога лицо старенького провизора Моносзона. Когда меня без вины стегали ремнем, я огорчился за Бога. Мне казалось, что он, как Лев Моисеевич, засунул за какой-то шкапчик свои очки и потому плохо видит, что делается на земле.

А попозже бывало еще лучше: сидит отец в кухне на табуретке и чистит толченым кирпичом свои кондукторские пуговицы; я прибегаю с улицы и кричу:

— Папка, я сегодня видел Бога. У него рыжая борода.

— Ладно.

И продолжает чистить пуговицы. Назавтра я прибегаю и докладываю:

— Папка, я сегодня опять видел Бога, с черной бородой.

— Ладно.

У отца все лицо в дырочках, как головка перечницы.

— Папка, а папка...

Вшвыриваю себя в комнату, как зажженный факел:

— ...Трех Богов видел!

— Ладно.

Так бы и остаться мне многобожием, если б не мать, спасибо, объяснила:

— Да это, Мишка, поп. И то — поп. А ты, вона — Бог. Пороть надо!

И вера моя кончилась.

Темная трава орошена слезами. Уходя в ночь, весенний день плачет, как женщина, потерявшая юность. Я стою на дощатых мостках и смотрю в реку. Сура прекрасна. Она обогащена половодьем, как удачной биржевой спекуляцией. Я завидую.

Месяц прыгивает с Большой Медведицы. Нырнул. Плывет. Он похож на крестьянского мальчика, золотоголового, загорелого. Ветер раздевает прибрежные ивы. Они стыдятся, как девушки. Они бросаются в воду в своих зеленых рубашках, легких и трепещущих. Золотоголовый озорник плывет им навстречу.

Я смотрю в воду. Я наслаждаюсь тишиной и одиночеством. Самое тяжелое позади. В следующее воскресенье наша гимназия играет реванш с 1-й казенной. Голкипером будет Василий Васильевич Кузькина Мать.

Скрипучие мостки из молодого теса пахнут пасхальной заутреней. Вода, что дымок от ладана. Восторг поднимается у меня от живота к сердцу, от сердца к горлу, бьет в нос, туманит глаза. Я перевешиваюсь через скрипучие перильца и... плюю в реку.

Француз или немец, быть может, свой восторг иначе выразил бы. Но русский человек никогда. Сколько я ни видел моих соотечественников, любующихся в лунные ночи речным простором, будь то в Петербурге на Аничковом, около чутунных коней, вздыбленных бароном Клодтом, в Нижнем или на Плашкоутном, что перепоясал сыромятным ремешком широкотелую Волгу, в Мо-

скве ли на Каменном — всякий раз мои соотечественники в последнюю минуту поэтического восторга плевали в воду.

Туча проглотила месяц. Я возвращался домой. Сначала лесом, в котором было душно, как в комнате больного, уставленной микстурами, каплями, пилюлями и притираниями. Потом спящими улицами и черными переулками. Они у нас в Пензе перепутаны, как линии на ладони. Я шел, будто гадая свою судьбу: то по линии смерти, то по линии жизни, то по линии любви. Спотыкался на бугорках, по случайности не названных в честь богинь — Минервы или Венеры.

Я был последователем Пифагора, Цезаря, Суллы, Агриппы из Неттестейма и Преториуса. Я знал, что в книге Иова сказано: «На руку всякого человека он налагает печать для вразумления всех людей, сотворенных им».

## Десятая глава

### 1

Теперь все ясно. Хиромантией заниматься бессмысленно.

### 2

Я сижу в ванне и слышу через тонкую стенку, как хохочет моя жена. У меня мутнеют глаза. Я открываю кран, ошпариваю себя кипятком, засовываю голову в мыльную пенящуюся воду.

Моя жена хохочет, как рыжий в цирке. Я затыкаю уши красной резиновой губкой, вгрызаюсь зубами в мыло.

### 3

Она встречает меня улыбкой:

— Ну, бубочка, хорошо выкупался?

— Прекрасно.

- С легким паром, Мишка.
- Спасибо, Лео.
- А почему у тебя, бубочка, такая красная рожа?
- Я принял чересчур горячую ванну.
- С твоим сердцем, бубочка, это чистое сумасшествие.
- Зачем ты волнуешь свою жену?
- Он всегда меня волнует. Он ужасная дрянь.

#### 4

Лео бреется перед зеркалом моей бритвой. Нина вышивает гладью целующихся голубков. Раздается четыре звонка.

— Это к нам. Бубочка, отопри.

Я только что растянулся на диване. Какое наслаждение после ванны полежать минут двадцать, не шевельнув пальцем. Но она меня пытается, — в ее распоряжении шотландский сапог, сжимающийся винтом, нюрнбергский валик, вырезающий кожу полосками, богемские тиски для пальцев, дыба, облюбованная Малютой: когда в жаркий день я останавливаюсь у будки, чтобы выпить стакан ледяного нарзана, она говорит: «Миша, оставь мне глоточек», и я оставляю ей этот глоточек, хотя именно его мне и не хватает, чтобы утолить жажду. Я хочу эту каплю ледяной влаги как бессмертия. Но я не сопротивляюсь: пусть пьет, все равно моя жизнь загублена, все равно она целый день поет романсы, перевирая слова, мотивы. Я умоляю: «Ниночка, ради всего святого: "ночь, платформа, огоньки, дальняя дорога". "Знаю, знаю, не учи, пожалуйста". И тянет свое: "В семафоре огоньки, же-ле-е-езная дорог-а..."»

Я открываю дверь. Входит Лидочка — лучшая подруга моей жены. Лидочка на девятом месяце. Тем не менее ступает она легко, как паук по своей трепещущей паутинке.

Лео, намыливая подбородок, философствует:

— Я нахожу, что природа отнеслась несправедливо к нам, к мужчинам. Право же, я предпочел бы раза два-три в жизни родить, чем каждый день бриться.

Моя жена обнимает подругу:

— Ты к кому, солнышко, записалась?

— К Пигеру.

— Миленькая, да ведь у него на прошлой неделе целых две роженицы Богу душу отдали. Впрочем, миленькая, везде роженицы или умирают или калечатся.

Лидочкины глаза тонут в слезах.

## 5

Почтовое отделение помещается в первом этаже углового дома из бурого кирпича. Некоторые окна в доме занавешены, некоторые голые. Те, что освещены и без занавесок, кажутся бесстыдными. В окнах стоят эмалированные кастрюли, глиняные горшки, прикрытые тарелками, банки с солеными огурцами, пивные бутылки с зелеными туберкулезными шейями, консервные коробки, ожерелья из луковиц, кактусы с обломанными пальцами (соком кактусов москвичи лечат мозоли) и еще какие-то пыльные растения с бумажными розами. К форточным задвижкам привешены свертки. Из промокшей газетной бумаги выглядывают рыбы хвосты и сырое мясо, выданное по карточкам на три дня.

Лео говорит:

— Расплодился. Сопят. Чешутся. Жуют. Переваривают. Возмутительно! Это мешает мне наслаждаться жизнью. Я люблю думать, что мир создан только для моего сопенья, переваривания, моих снов, моего насморка.

Мы поднимаемся по каменной лестнице, засеянной бандеролями, стянутыми с трубочек, конвертами на красной подкладке, вскрытыми, как рана; открытками, скомканными или разорванными.

Лео покупает десятикопеечную марку у девушки, свирепо разрисованной усами.

Над ее клеткой висит плакат:

**КЛЕЙТЕ МАРКУ В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ.  
ОБЛЕГЧАЙТЕ РАБОТУ ПОЧТОВЫХ СЛУЖАЩИХ.**

Мой друг присаживается к длинному столу, оклеенному черной клеенкой и окапанному фиолетовыми

чернилами. Он пишет адрес круглыми буквами, располагающимися на бумаге как поссорившиеся супруги в кровати: «Минск. Октябрьская ул. II, Ядзе Пширыжецкой». (Лео все еще питает надежду освободиться от угрызений совести.)

Написав, переворачивает письмо и, оглянувшись по сторонам, наклеивает марку посередине конверта.

Он говорит:

— Каждый свергает советскую власть и борется с социалистическим строительством как умеет.

У меня является прекрасное желание кинуться в будку телефона-автомата и вызвать ГПУ.

Если бы Лео на моих глазах заряжал адскую машину для взрыва Кремля, у меня не явилось бы такого желания: «Фи! Донос».

Смертна ли принавычившаяся в нас «мещанская мораль»?

Однако и в случае «с маркой» я не сделал того, что следовало. Позор! Мои резиновые губы растянулись в улыбку, почти одобрительную.

Нечто схожее происходит со мной во время писания докладов, рапортов, резолюций. Когда перо бежит без размысливаний, я никогда не грешу орфографической ошибкой; но стоит запнуться в слове, потерять лоб над буквой, и в самом простом случае я промахнусь с непростительностью дошкольника.

## 6

В обширном кресле с сигарой в зубах и с напильничком для ногтей в чересчур длинных пальцах Лео иногда разговаривал с глазу на глаз высокими и щеголеватыми фразами:

— Эта несносная революция, как железнодорожный вор, вторично крадет у снисходительной улицы ее многообещающих, как реклама, женщин, обласканных рыжими кунницами, золотистыми соболями, вкрадчивыми кротами, непорочными горностаями и каракулями, курчавыми, как семиты; ее породистых мужчин — в



белоснежных кашне, пенящихся над бровными воротниками, подобно взбитым сливкам в стаканах кофе; ее автомобили — нетерпеливые, как биржа; рестораны, величественные и молитвенные, как храмы, и храмы, шикарные, как кабаки; рысаков, более статных, чем гвардейские офицеры; витрины, ласкательно сияющие чужим счастьем; фоксов и булей — в барсовых ошейниках; фонари — в нимбах, как святые.

И он снял с сигары кольцо нежно, как с пальца женщины, принадлежащей другому.

## 7

Я ишу глазами милиционера, чтобы справиться, как пройти в Спасско-Голенищевский переулок. Красная фуражка останавливает мой взгляд с властностью тревожного фонаря стрелочника, вкапывающего экспресс копытами в землю. Я подошел к милиционеру, когда его дребезжащий свисток ловил за подол старушку лунного цвета. Она совершила беззаконие, сойдя с задней площадки трамвая.

Милиционер получил с преступницы рубль и выдал ей голубенькую квитанцию. Старушка бережно спрятала ее в ридикюль 90-х годов. Она, должно быть, решила предъявить документ Господу Богу в день Страшного суда.

Я спросил милиционерскую спину:

— Товарищ, как пройти в Спасско-Голенищевский?

Спина, сверкнув медными зрачками, важно повернулась.

Будь в эту минуту на моем месте моя жена, она бы непременно занозисто воскликнула: «Жак! Голубчик! Неужели, роковулечка, это вы? Поручик? Гусар смерти? С черепом? С косточками? Ой, дорогушечка, как к вам катастрофически не идет мильтонский колпак!»

Но я, по существу, не такой уж плохой человек. Я узнаю моих старых гимназических товарищей, когда это доставляет им удовольствие; интересуюсь «как здоровье?», когда щеки судачат румянцем; говорю «привет жене», если уверен, что нежная половина не перепорхнула

ла только что к соседу по комнате на легких крылышках своей юбки, не в меру послушной ветру страстей; наконец, любопытствую «как делишки?», если вижу, что мой добрый знакомый увешан тючками, сверточками и кулечками. Мне ни разу не ответили трагическим анекдотом: «Дела? А вы знаете, Михаил Степанович, что такое г..? ну так это — к о м п о т по сравнению с моими делами».

Я бегу от милиционерского поста.

Серые стены бывш. Благородного собрания оклеены туманом, тенями, золотыми бумажками фонарей и афишами горлопастыми: «Шпреегарт. Шпреегарт. Шпреегарт».

На панели толпятся девушки с красными руками и юноши с такими глазами, что я недоумеваю, почему не пахнет палеными ресницами и горелым мясом.

Слова у моего друга красивые, как руки девушек.

Я говорю себе: «Значит, он еще не выходит. Хорошо, если он меня заметит. Он тогда решит, что я был в Политехническом. Это его порадует. Ему кажется, что у меня от зависти болит живот. Я занимаю слишком большое место в его жизни. Если бы меня не существовало, он бы, наверное, был личным секретарем Саши Фарбера. Слава для него была бы безвкусна. Как щука по-жидовски без перца».

## 8

— Перестань, Лео, мучить Мишу.

И Саша Фарбер, как водится, сложил губы многозубным бантиком.

— Хорошо. Хорошо. Изволь. Будем говорить о звездах, о сливочном масле, о политике, о литературе.

Несколько капель водки из его рюмки, высокой, как палец, выплеснулось на увитую розочками тарелку фарфоротрестовской фабрики «Имени Правды». Темная чайная колбаса лежала парными суживающимися колесиками (как нарезанный бинокль). В стакане, отмеченном прыщами юношеской целомудренности, стояла слипшаяся кетовая икра. В расковыренных ножницами консервных банках — сладкий перец, синие баклажаны и маринованный судак.

— Кстати, только на этих днях я перечитал «Братьев Карамазовых». Не находите ли вы, друзья мои, что великий русский писатель стал для нас, русских, — африканским негром? китайцем с Желтой реки? или, в лучшем случае, жителем Мадрида? Я прочел роман Федор Михалыча с прелестной легкостью. Как «Тарзана». Как экзотическое сочинение завсегдатая джунглей. Увлекательная штучка! Нет, вы только подумайте, — книга о русской душе. А? Как вам это понравится? Чудак! Русская душа! Ну и шутник. Уморил.

Лео насадил на вилку темное колесико чайной колбасы и замахал им над головой.

— Скажи, милый друг, Саша, — русская душа? Кескесе? С чем это кушают? Русская душа. А не думаете ли вы, товарищ Фрабер, что мы сбрили наши русские души вместе с нашими русскими бородами в восемнадцатом году? Не думаете ли вы, что у нас в груди так же гладко, как и на подбородке?

Мой друг пошатнулся.

— Вдохновенные бакенбарды Пушкина? Патриаршья борода Толстого? Мистические клочья Достоевского? Интеллигентский клинышек Чехова? Оперные эспаньолки символистов? Тю-тю! Ауфидерзейн!

Он пронзил указательным пальцем облачко табачного дыма.

— Архив. История. Пыль веков. Мы самые современные люди на земле. По сравнению с нами французы сумасшедшие: вообразили треугольник — короной. Великомученики носят его, как сияние. Глупые быки — изнемогают под ярмом, более невесомым, чем пилюля гомеопата, и менее правдоподобным, в нашем представлении, чем раскаянье, долг, национальная гордость, чувство стыда или благодарности. Граждане столицы Мира еще не сбрили усов. Они только подрезали их слегка, после Мопассана. В три шеи французов! Да здравствует наш подбородок и верхняя губа — чистая, как у младенцев. Ниночка, чокайся со мной.

Бутылка, словно чахоточный, кровохаркнула в стакан моего друга.

— А товарищ Фрабер — материалист, социалист, марксист, диалектик и почти коммунист...

Саша, переполненный чувством собственного достоинства, нахлобучился:

— Плехановец!

— ...плехановец Фрабер сидит с кислой физиономией. Ему хочется, чтобы у него была душа. Как у старца Зосимы. Старца Зосимы. А? Не правда ли? Зосимы? Грушеньки? Бляди Настасьи Филипповны? Идиота Мышкина? В отставку товарища Фрабера. На пенсию. На социальное обеспечение. В богадельню. В ящик!

Моя жена была в вечернем платье из шифона цвета железа с ржавчиной.левой рукой он схватил ее за голое плечо, а правой за грудь, выскользнувшую из его пальцев, словно мокрый кусок розового семейного мыла.

— Ниночка, Нинок...

Он икнул.

— ...ты одна меня понимаешь. Одна! Чокайся. Пей.

— Лео, ты все врешь. У меня тоже есть душа. У меня очень широкая русская душа.

И жена зарыдала, уронив голову в тарелку с залившим поросенком.

А я, с околованными глазами, ринулся к моему другу целоваться, искательно и одикаревши.

Философ Скворода сказал бы: осел, позавидовав собачьим ласковостям, спятился копытами на брюхо хозяина.

## 9

Я полирую ботинки бархатной полоской. Наслюнявленными пальцами отдираю от штанов гагачьи пушинки. Протираю одеколоном голову, стриженную под машинку. Пудрюсь перед зеркалом, поджав рот. Я всегда поджимаю губы, когда смотрюсь в зеркало. А Лео презрительно узит глаза. А моя жена строит очаровательную улыбку. А Саша Фрабер старательно делает умное лицо. Каждый раз, но непременно щепетильно и с болезненной беспокойностью хочет себе понравиться. Мы все не очень долюбливаем правдивые зеркала. По всей вероятности, их недолюбливали и сидоняне (эти первые коке-

ты древности), и венецианцы XIII века, любовавшиеся собой в зеркала из дутого стекла на свинцовой фольге.

Я сегодня, одиночествуя, вкусно поел (жена убежала к Лидочке, благополучно родившей десятифунтового мальчугана), соснул после обеда, лежебокствовал, прочел газету и удачно набросал тезисы к докладу в ВСНХ.

У меня свежий вид, веселые глаза и настроение не без ласкательства к самому себе.

Стук в дверь. Я оборачиваюсь и делаюсь грустный и пыльный, как ресторанный пальма.

— Даю голову на отсечение, ты, Мишка, идешь в балет, на «Лебединое озеро».

Почему это у моего друга сегодня такая глупая физиономия? Может быть, у него всегда такая? А я пятнадцать лет по оплошалости и рассеянию не замечал.

Я догадываюсь: мой друг сегодня постригся. А у мужчин, как правило, после цирюльника физиономии делаются глупее процентов на семьдесят пять. Я бы хотел, чтобы мне довелось увидеть автора «теории относительности», выходящим из парикмахерской.

Лео берет кресло и садится против меня. Его зрачки, как пиявки, впиваются в мой нос:

— Мишка, а ведь у тебя над правой ноздрей черненькая.

Все пропало. Кровь, точно молоко от капли уксуса, свертывается в моих жилах.

— Голову прозакладую, что ты ошибаешься. У меня на носу нет черненькой.

— Полно врать, есть.

— Клянусь тебе.

— Клянусь тебе, — угорек. И достаточно внушительный.

Его взгляд становится коршуновым. Сосудики на белках наливаются кровью.

— Надо выдавить.

— Может быть, завтра, Лео? Сегодня я собрался на «Лебединое озеро». У меня хорошее место, разорился на третий ряд, только Ниночке не рассказывай.

Он пересаживается ко мне на колени, берет меня за виски и приближает мой нос к своим коршуновым глазам в кровавых ниточках.

Он дрожит. Наслаждение, получаемое им от выдавливания на моем носу угрей, может равняться только ужасу, который испытываю при этом я.

Я закрываю глаза. Пальцы мои становятся горлышками пивных бутылок. Лоб покрывается остекленными капельками. Я галлюцинирую когтями стервятника, пахнущими грушевой эссенцией. Они покрыты лаком — красным, как запекшаяся кровь.

— Не двигайся, Мишка. У тебя на носу целых четыре черненьких.

— Но это же мой нос. Мой собственный нос. Разве я уж не хозяин своего собственного носа?

Он упирается мне коленом в живот. Сладострастно дышит. Я плачу крупными слезами, как волоокая лошадь.

## 10

Все мое лицо покрыто вспухшими кругами с пунцовыми фонариками, словно освещающими вход в опустошенные норки.

Черненьких оказалось значительно больше, чем мы предполагали. При желании их было бы можно пересчитать. Они лежат стройной шеренгочкой на фаянсовом блюде, издевательски задрав крохотные головки.

## 11

Выдавливание повторилось в субботу 16 сентября перед пиршеством.

## 12

Трудно даже поверить, что из-за этих самых крохотных червячков с издевательскими головками и белыми хвостиками я на шнуре от портьеры повесил моего друга.

# ЕКАТЕРИНА<sup>1</sup>

Нуждаясь в деньгах своего господина, испанские генералы находили значительные суммы под заклад своих усов.

*Марат*

## Первая глава

### 1

21 апреля 1729 года в городе Штетине у генерал-майора прусской службы, проживавшего в угловом доме № 791 по Домштрассе, родилась дочь.

Для уголовного дома это явилось событием. Впрочем, по случаю рождения девочки несколько раз выпалили из пушки в пехотном полку № 8, которым командовал генерал-майор.

Нельзя сказать, чтобы тридцатидевятилетний отец был особенно счастлив. Какой же уважающий себя солдат мечтает о дочери?

Роды были тяжелые, и потребовалось немалое акушерское искусство, чтобы в конце концов появилась на свет девочка.

Когда отцу принесли новорожденную, он ее оглядел с вымуштрованной добросовестностью, но из чужих рук.

У генерал-майора были круглые глаза, по-лошадиному красивые. Для полного сходства с глазами благородного животного им не хватало лошадиной задумчивости.

Оглядев дочь, генерал-майор сказал резким некомнатным голосом:

— Унести.

Казалось, что он отдал приказ своему пехотному полку, проводившему экзерциции на городском плацу.

Оставшись один, отец крупным солдатским шагом подошел к двери и запер ее на ключ, словно для того, чтобы убежать от стыда. У его ребенка было жидкое воспаленное тельце и непомерно большая лысая и лобастая голова, и слезящиеся глаза в красных веках, и руки словно корешки, а ногти прелестные — миндалинками. Но их увидела только мать, находящаяся в полубеспамятстве. А все остальное она проглядела.

Генерал час от часу становился мрачнее. Он маршировал по комнате. Ему казалось, что его колебали мысли. Но как человек, не привыкший думать, он все время одну и ту же фразу, обидную для своего ребенка, ворочал и переворачивал в голове. Потом генерал сел в кресло, поставив кулаки под мясистые щеки. Отвис второй подбородок. Все та же фраза разбухала в мозгу. Генерал физически ощущал, как тесно мыслям в черепной коробке. Ему чудилось, что лобные кости болезненно растягиваются, что они растягиваются от мыслей, которых не было. Генерал думать не умел, а подумать ему не мешало бы. Ну, хотя бы о своих победах над трактирными служанками в дни Нидерландского похода. А девки с острова Рюгена? А померанские солдатки? А война за Испанское наследство? Хорошенькие чертовки таскались за армией.

Но у генерала плохая память.

\* \* \*

Несколькими годами позже, уже в чине генерал-лейтенанта, небо подарит ему наследника (Боже мой, до чего же неточно мы выражаемся!). Мальчик родится с усыхающей ножкой. Его детским товарищем станет костыль.

Вторая и третья дочь генерала на задержатся на белом свете. А на пятьдесят втором году жизни у главы дома, после удара, отнимется левая половина тела. Нам кажется, что в жилах генерал-майора прусской службы князя Христиана-Августа из Ангальт-Цербстского дома текла грязная кровь.



## 2

Вдовствующая герцогиня Брауншвейг-Вольфенбютельской являлась родственницей, крестной матерью и, что самое важное, благодетельницей Голштин-Готторпской принцессы Иоганны-Елисаветы.

Поэтому, когда герцогиня-благодетельница решила, что генерал-майор прусской службы князь Христиан-Август Ангальт-Цербстский будет прекрасным мужем для хорошенькой принцессы, последней ничего не оставалось, как с этим согласиться.

В Брауншвейг-Вольфенбютельском забавном замке сыграли свадьбу. Герцогиня дала своей воспитаннице кой-какое приданое. Между молодыми была разница в годах малым меньше, чем в четверть века.

Супруги, в ожидании смерти владетельного принца Ангальт-Цербстского княжества, поселились в Штетине в угловом доме по Соборной улице, принадлежавшем господину Ашерслебену, председателю местной торговой палаты.

Ждать смерти владетельного принца нашим супругам пришлось пятнадцать лет. Наконец, в 1742 году, они облегченно вздохнули: душа принца-кузена отлетела. Управление княжеством перешло к Христиану-Августу и его старшему брату. Обширности ангальт-цербстских земель вряд ли позавидовал бы пензенский помещик не бог весть какой вельможности.

Штетинское семейство перебралось в Цербст. Однако и это удовольствие было испорчено тем, что в одном доме очутилась целая куча родственников. Но не станем забегать вперед.

## 3

Деятнадцатилетняя кормилица, жена барабанщика, с античным бесстыдством вынула розовую грудь, имевшую форму мяча, и заткнула соском как пробкой маленькую орущую пасть.

В комнату вошло солнце.

Генерал улыбался. Радость его была неподдельна, а улыбка чем-то напоминала виляющий собачий хвост. Генерал не мог бы, подобно собаке, словами выразить свое настроение.

— Итак, — сказал он, — мы наречем ее Софией-Августой-Фредерикой в честь теток.

Молоко, перелившись через губки ребенка, потекло по розовому подбородку и окапало кружева, пенящиеся вокруг воспаленного тельца.

— Мы будем называть ее Фике. Правда, это отличное имя?

— Да, это отличное имя, — повторила мать, распластанная на простыне.

Роженица была так худа, что казалось, будто одеяло неряшливо брошено прямо на кровать: тело не образовало никакой горки.

Большие синие глаза смотрели на мужа и не понимали, чему он радуется. «Впрочем, — подумала роженица, — он может радоваться, у него мясистые щеки и два подбородка».

— А почему у Фике заплаканные глаза? Не мучилась ли она животом? — спросил отец.

Вместо ответа прозрачная женщина провела рукой по вискам: генерал не умел говорить тихо, по-комнатному.

— Это они у нее слезятся, — ответила кормилица.

— Челуха, у Фике отличные глаза! Они горят, как пуговицы на мундире, — сказал генерал и заулыбался.

Блаженная родительская слепота осенила его своей благодатью с небольшим запозданием.

А Иоганна-Елисавета успела даже забыть, что у дочери необыкновенные ногти-миндалинки. Молодая женщина думала о себе.

— Принесите мне ручное зеркальце, — попросила она мужа.

Генерал ткнулся туда-сюда и не нашел. Хотел переложить с кресла на столик молитвенник. Из него выпало зеркало. Оно не разбилось. Генерал выпрямился. Он был к Богу прилежен. Красная сеточка затянула белки круглых глаз, лишенных лошадиной мечтательности. Видимо, кровь прилила к голове. Генерал несколько раз

провел прямой ладонью по волосам, гладко зачесанным и связанным назади в пучок, согласно моде Фридриха-Вильгельма.

— Каким образом ваше зеркало попало в молитвенник? — спросил он жену недовольным голосом.

Больная лежала с опущенными веками. Ей почему-то было приятно, что она обеспокоила и озлила этого прусского служаку с мясистыми щеками.

— Каким образом ваше зеркало попало в молитвенник?

Женщина молчала.

К счастью, генерал был воспитанником Рыцарской академии в Берлине. Орден Великодушия он получил не за то, что колотил женщин, но потому, что стрелял в людей, рубил их и отдавал команду прикалывать штыками.

#### 4

Христиан-Август стал штетинским комендантом. Из уголовного дома господина Ашерслебена семейство переехало в замок древнего строения. Ему полагалась казенная квартира.

В свое время в замке проживали герцоги померанские. Прямые башни как прусские гренадеры. А башня южного флигеля даже ворочала глазами, пугая ребят. На ней были часы с циферблатом, сделанным как лицо человека. Когда часы били — двигались мертвые глаза. Каменный прусский солдат держал в зубах цифру, которая означала месяц.

Маленькую Фике водворили в сводчатой комнате рядом с колокольной, а нежная мать предпочла устроиться в противоположном крыле здания.

У Иоганны-Елисаветы было много забот, из Парижа ей присылали кукол, одетых по самой последней моде. Но муж был скареден, а штетинские портнихи сплошь дуры. Кроме того, король прусский не любил французских затей. Он, уподобляясь варвару, восставал против

тростниковых, стальных или китового уса обручей, диаметром до четырех аршин, которые носились под юбками; а также восставал против мельничных крыльев и кораблей, которыми франтихи украшали свои прически. Фридрих-Вильгельм желал, чтобы немецкие дамы были одеты менее красиво.

Как тут не потерять голову хорошенькой супруге коменданта: молодая мать, получившая светское воспитание в Брауншвейге, награждала Фике колотушками, не всегда справедливыми.

Фике была поручена Магдалине Кардель. Как истая француженка, Кардель прежде всего стала обучать свою воспитанницу улыбаться.

Перед отцом, перед матерью, перед прусскими офицерами и штетинскими дамами ребенок должен был появляться улыбающимся. У знатных особ Фике целовала платье.

Песочную горку в городском сквере возле мрачного храма с золотым крестом Фике любила гораздо больше, чем замок герцогов померанских, и даже больше, чем свою сводчатую комнату с окнами во двор.

Из влажного песка Фике выпекала хлеба для громадной булочной, сооруженной из щепок. У Фике было пять помощников-пекарей: дочь суконщика, дочь цирюльница и три дочери часовщика; а сын аптекаря был хозяином булочной.

Когда Магдалина Кардель вышла замуж за адвоката, около Фике в качестве воспитательницы очутилась толстуха Бабет, сестра Магдалины.

Красногубая, пышущая здоровьем толстуха вначале относилась к ребенку с брезгливостью, потому что маленькая Фике почти постоянно была покрыта золотушной корочкой. Когда болячки образовывались на голове, ребенка стригли наголо; замшевые перчатки скрывали болячки на руках. Впоследствии эта голая напудренная головенка в чепце, эти худенькие ручонки в замшевых перчатках вызывали у толстухи Бабет не брезгливость, а теплое и почему-то щекочущее в носу чувство жалости. Сколько раз она с мокрыми глазами умудряла своего заморыша французской азбукой.

Учитель по танцеванию приходил к Фике через день.

— Раз-два-три!

И девочка с грустными глазами вскарабкивалась на стол.

— Раз-два-три! — отщелкивал из кресла тонконогий человек в белых шелковых чулках. — Раз-два-три!

По-птичьи трепыхались ручонки в перчатках.

— Раз-два-три! — продолжал отщелкивать тонконогий человек в шелковых чулках. — Раз-два-три!

Изнемогающая девочка улыбалась.

Раз-два-три... раз-два-три... раз-два-три...

По часу и долее тоненькая девочка с напудренной голрой головкой ухищрялась на столе в скаках и вывертах.

\* \* \*

Немецкому письму обучал Фике господин Вагнер. Он был прекрасным пруссаком. Бережливый король Фридрих-Вильгельм ставил таких в образец. Перед началом занятий господин Вагнер подвязывал себе передник и надевал на рукава холщовые чехлы. Однако это не сделало его богатым. А Христиан-Август никак не мог предположить, что хороший пруссак может быть плохим педагогом.

Историю, географию и закон Божий преподавал местный пастор.

— Что было раньше мирозданья? — спрашивала девочка почтенного слугу господа Бога.

— Хаос.

— А что такое хаос?

— Это вам объяснит розга, — отвечал находчивый законоучитель. И девочка сразу все понимала.

В нижнем этаже померанского замка жил старый умный господин Больхаген. Он был другом и помощником коменданта города. Господин Больхаген иногда ду-

мал за Христиана-Августа, а князь делился своими мыслями с господином Большагеном. Нищета тоже бывает щедрой.

Давно известно, что неверные жены не испытывают особой привязанности к верным друзьям своего мужа. А Иоганна-Елисавета даже не желала этого скрывать.

«Но какое, наконец, дело брюзгливому старику до ее юбок! Ах так, господин Большаген уверяет, что под ее юбкой может свободно поместиться круглый стол с двадцатью пирующими? Но она, право же, не имеет ни малейшего желания их там помещать — этих семидесятилетних подагриков, друзей господина Большагена».

А в прошлое воскресенье молодая женщина слышала собственными ушами, как старый черт сказал мужу: «Ваша супруга бывает в Штетине только проездом».

«Нет, это уже превосходит всякое терпение!»

На крепостном валу, как девушки, трепетали липы. Поднимался туман с Одера, на илстых берегах которого сидел город.

Иоганна-Елисавета никому не давала раскрыть рта: «В конце концов она не какая-нибудь дочь цирюльника. На нее падает отблеск двух северных корон. Глава ее Дома — племянник шведского короля Карла XII и муж дочери Петра Великого. Ее родной брат был женихом дочери русского императора. Берлин, Гамбург, Кведлинбург, Эйтин, Брауншвейг переполнены ее родственниками и друзьями».

«И любовниками», — мысленно добавил старый Большаген, покачивая на коленях Фике. Ему бы очень хотелось знать, что делается на душе у ребенка. Кося левый глаз, старик взглянул на девочку и увидел только улыбку, словно приклеенную к ее лицу.

«Да! Да! Да!» Иоганна-Елисавета имела привычку придерживать груди, когда волновалась.

«Это разумно, — подумал друг ее мужа, — мода последних лет покровительствует бесстыдству; вырез на корсаже с каждым месяцем опускается все ниже и ниже: скоро женщины станут показывать нам живот».

«Да! Да! Да!», — разгорячившаяся молодая женщина на мгновение опустила руку, и это уже было неблагоприятно.

Старик отвел глаза.

«Гамбург, Кведлинбург, Эйтин, Берлин, Брауншвейг переполнены ее родственниками и друзьями, и это прекрасно знает господин Больхаген. Может ли она лишить их своего общества?»

Старик хотел бы сказать: «А как относительно мужа и детей? Их, милостивая государыня, вы можете лишить своего общества?»

Но Иоганна-Елисавета не выложила еще и половины имеющихся доводов. «В ней, например, души не чают бабушка герцога Карла. Какая необыкновенная старуха! Одна ее дочь замужем за императором Карлом VI, другая была за русским венценосцем, третья за герцогом. О, больше половины королей, королев, императоров и императриц Европы окажутся скоро ее внуками и внучками. Ради одной этой почтенной особы следовало бы как можно чаще посещать Брауншвейг».

Старик сказал:

— Брауншвейг — хороший город. В нем родился Ганс Юрген, изобретатель прялки.

«Нет, этот господин Больхаген, этот морщинистый гриб положительно издевается надо мной», — решила молодая женщина.

Ей пришлось снова придерживать груди: «О, совершенно напрасно господин Больхаген столь уменьшительного мнения о Брауншвейге. Герцогский двор во всем превосходит двор прусский. Какое величие! Какое великолепие! Балы, оперы, концерты, охоты, прогулки. Там уже никто не будет закатывать глаза к небу при виде фижм.

Известно ли господину Больхагену, что в Брауншвейге можно встретить сколько угодно кавалеров, подкладывающих китовый ус под фалды кафтана. Какое подражание женской моде! Что сказал бы король Фридрих Вильгельм, увидев подле своего трона мужчину в кринолине? А между тем это так элегантно!»

Христиан-Август провел ладонью по волосам: «Ах, не чересчур ли жена проворна на язык: тараторит, тара-

торит, тараторит». А когда Иоганна была невестой, генерал говорил ей: «Вы щебечете».

— Кроме того, господин Больхаген забывает, что я мать.

Умный старик усмехнулся: «Оказывается, это он забывает, что она мать».

Иоганна-Елисавета поправила чепчик на бритой головке своей дочери:

— Не успеешь оглянуться, как Фике станет девушкой. Или вы, может быть, полагаете, господа, что я собираюсь выдать ее замуж за сына аптекаря?

У Фике язычок «сделался сухим, а щеки пунцовыми». На крепостном валу трепетали липы.

## 7

Мадмуазель Бабет, уложив Фике, вышла по нужде. Как только девочка осталась одна в комнате, она оседлала подушку и стала скакать по кровати. Она скакала до изнеможения. Вернувшаяся воспитательница застала ее тихой, улыбающейся.

Бабет задула огонь.

Фике принялась считать, прижимая к ладоням пальчики, покрытые болячками: «Первая за императором Карлом, вторая за русским королем, третья...»

Всю ночь золотушной девочке снились короны, короны, короны.

## 8

У Фике на коленях лежала большая французская книга в красном переплете. «Фике должна знать много басен Лафонтена, очень много. Она дурнушка, ей надо быть умной и образованной, чтобы какой-нибудь принц из соседей взял ее в жены» — так все говорили: и мама, и мадмуазель Бабет, и господин пастор.

Третьего дня у Фике уже отняли куклы. Она не плакала. Она теперь будет играть с носовым платком.



Бабет смотрела в окно.

До чего же грустны ноябрьские сумерки в Штетине. А где они не грустны? Ах нет, в Штетине особенно! В Штетине они не имеют цвета, не имеют начала, не имеют конца. Так кажется.

Ветер выл.

«Самое гадкое, — подумала Фике, — когда воеет ветер, или когда воеет скрипка или собака. А другим людям почему-то скрипка и орган нравятся, а если воеет собака, они сердятся». Фике это было непонятно. «Не все ли равно».

Бабет сказала:

— А теперь прочтем вечернюю молитву.

Девочка опустила на колени. Но читать молитву она не смогла. Ее стал душить кашель. Пришлось взять Фике на руки и отнести на кровать.

Утром мягкой стопой вошел в комнату врач. Он был в красном плаще, в башмаках с тупыми носками и при шпаге. Но рассуждения порядочного в медицинских науках не имел.

## 9

Болезнь, начавшаяся рвотным кашлем и колотьями в левом боку и сильным жаром, имела бедственные следствия: у ребенка искривился позвоночник.

Врач в красном плаще входил и уходил мягкой стопой, а худенькое тельце имело вид зигзага: одно плечо встало над другим, под крайним коротким ребром образовалась впадина, правое бедро опустилось, а тонкая шея сломалась, как стебелек, и окостенела.

Круглые глаза Христиана-Августа обрели лошадиную задумчивость, Иоганна перестала говорить о брауншвейгских маскарадах.

Неслышно скользил по комнате мальчик с усыхающей ножкой.

Старый умный господин Больхаген сказал:

— Придется позвать палача. В Штетине только он один знает, как лечить такую болезнь.

Молодая женщина не решилась возражать. Она только разъяснила: «Конечно, ей бы не хотелось звать палача к кровати своей дочери, но так как в Штетине никто не знает, как приступить к ужасной болезни, то волей-неволей придется за ним послать».

На другой день, вместо врача в красном плаще, в комнату вошел палач.

Волосы висели у него по щекам, как собачьи уши. Рот был сухой, пасторский. Веки низкие. Из-под кафтана полувоенного покроя смотрела рубашка, очень белая.

Палач попросил, чтобы все оставили комнату.

Осмотр больной длился час и пятнадцать минут.

У палача были пальцы длинные, тонкие, холодные. Казалось, что они сделаны из прутьев тюремной решетки. Когда он касался ими Фике, по телу девочки пробежала дрожь.

— Вы приехали из Берлина? — спросила Фике, принимая палача за доктора, очень знаменитого.

— Да, деточка.

— А почему у вас нет шпаги?

Палач не знал, что ответить. Наконец отцу и матери, и господину Больхагену было разрешено войти в комнату. Палач сказал:

— Я пришлю в замок девушку. Каждое утро натошак она будет натирать своей слюною больные части тела.

Фике заплакала.

Палач погладил ее по головке своими холодными длинными пальцами.

— Кроме того, я сделаю для вашего ребенка особый корсет. Не снимайте его ни днем, ни ночью. Приходить я буду через день. Девочка выпрямится.

Палач ушел.

У Иоганны-Елисаветы вырвался вздох облегчения. Христиан-Август смотрел на своего мудрого старого друга счастливыми глазами.

— Вы слышали, господин Больхаген, что он сказал?

— Да, сударь.

— Он уверен, что Фике выпрямится.

— Да, он в этом уверен.

Палач приходил в замок, как обещал.

Через полтора года стали появляться надежды на выздоровление.

Слюна девственницы помогла.

Во дворе замка долгоногий офицер, сверкающий позументами, делал развод солдатам в красных штанах и синих мундирах.

Мальчик с усыхающей ножкой прилип к стеклу. Пухлый нос его расплющился в лепешку.

— Направо-о!.. Налево-о!.. — восклицал хромой мальчик, представляя себя долгоногим офицером в сверкающих позументах.

— Уходи к себе в комнату. Ты мне мешаешь, — строго сказала кривобокая девочка. Она заучивала наизусть псалом.

«Рассуди меня, Господи, ибо я в непорочности моей и, уповая на Господа, не поколеблюсь, искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце мое». Так начинался двадцать пятый псалом Давида. Двадцать четыре псалма Фике уже затвердила. Всего их сто пятьдесят.

«Плохо живется на свете будущим королевам. Они должны быть очень учеными, — думала Фике, — они должны знать сто пятьдесят псалмов Давида и уметь читать и писать по-французски и по-немецки. Хорошо еще, что пастор не очень помнит историю с географией. А то бы и эти науки пришлось знать. Но вот уже совсем непонятно, к чему нужны будущим королевам басни господина Лафонтена. Другое дело — танцы. Королевы устраивают маскарады и балы».

Фике просила Иоганну-Елисавету, чтобы она снова разрешила приходиться учителю в белых шелковых чулках.

— Ах, мама, это очень удобный железный корсет. Ну, право же, он мне ни капельки не мешает.

Когда Бабет не было в комнате, кривобокая девушка немного упражнялась в кадрили. Это было очень больно. У Фике по щекам текли слезы. Она плакала и танцевала, плакала и танцевала. Но ничего не поделаешь, если хо-

чешь носить корону, надо плакать и танцевать, плакать и танцевать.

Фике не терпелось взглянуть в окно. «Может быть, из ворот выйдет господин Больхаген». Но шея не поворачивалась. Палач слишком туго обмотал ее черной лентой.

«А вдруг господин Больхаген опять принесет газету и станет читать вслух. Вчера было так интересно».

Вчера господин Больхаген читал о свадьбе принцессы Августы Саксен-Готской с принцем Уэльским, сыном английского короля.

Умный старец сказал, обращаясь к Бабет:

— Эта принцесса Августа приходится Фике троюродной сестрой. Но верьте мне, она гораздо хуже воспитана, чем наша девочка.

И, погладив Фике по бритой головке, он добавил:

— Вот бы кому пристало носить корону.

## Вторая глава

### 1

Герцог Карл-Фридрих Шлезвиг-Голштинский был ростом мал, кожей пылен и на лицо мартышка.

А царевна Анна, старшая дочь Петра I, и ростом, и костью, и мясом удалась. И лицом тоже удалась. Вырез глаз, с косинкой от Золотой орды, и брови-подковки вскинутые, будто в удивленности, выбивали ее какой-то приятной особенностью из череды розово-белых петербургских красавиц.

Герцога-мартышку с царевной Анной обручил Петр.

Даже слон явился с поздравлением к герцогу. Четвероногого царедворца, звенящего драгоценной сбруей и увешанного богатейшими покрывалами, сопровождало семь гвардейских солдат.

Петр не дождал до свадьбы герцога с царевной Анной. Сыграли ее вскоре после великого рева и слез, при Екатерине I.

Впереди свадебного поезда к жениху-мартышке на белом коне ехал гоф-фурьер. За ним попарно на

превосходных турецких и персидских скакунах — двенадцать младших шаферов. За ними — литаврщик и четыре трубача. Потом — еще две пары шаферов. И следом в роскошном фаэтоне на шести лошадях золотой масти — маршал свадьбы, обер-прокурор граф Ягужинский; в правой руке держал он литого серебра граненый жезл, на котором сидел государственный орел в короне. А за обер-прокурором, опять же на скакунах и попарно ехали четыре обер-шафера — четыре старших полковника. За этими — на шести тигровых лошадях в еще более роскошном фаэтоне сам князь Меншиков с обер-маршальским жезлом, на котором сидел орел императорский, полыхающий бриллиантами. И, наконец, в хвосте свадебного поезда, покачивались в седлах четыре обер-шафера — четыре генерал-майора.

И вдогонку, думается, никто не сказал: вот она дурость-то, темнота. Золотом, серебром и бриллиантами сверкающая темнота.

Вскоре после свадьбы снова был великий рев. Голосили обе дочери Петра. Елисавета голосила из жалости, Анна — по себе. Да и мудрено было бы не облиться слезами: князь Меншиков, обер-гофмаршал роскошной свадьбы, выгонял дочь Петра и мужа ее из Петербурга, из России. Вон выгонял: помешали, путались в ногах. А князь Меншиков собирался высоко шагать.

## 2

Молодожены торжественно отбыли в Голштинию. Там, в столичном городишке Киле, чтоб не так тошно было, принялись устраивать фейерверки, балы и маскарады.

Средь фейерверков герцогиня и затяжелела.

Вот что писала из Кили в Петербург царевне Елисавете придворная дама Маврутка Шепелева:

*«Ваша сестрица все готовит, а именно: чепьчики и пелонки, и уже по всякой день варошитца у ней в брuxe ваш будущий племянник».*

О погоде придворная дама доносила:

*«В Кили... очен гажди велики и ветри».*

А подписывалась так:

*«Ваша раба и гочь, и холопка, и кузына».*

\* \* \*

10 февраля 1728 года у герцогини родился сын. Об этом город Киль и его окрестности были возвещены пушечной пальбой, колокольным звоном, звуками труб и литавр.

Новорожденный получил имя Карла-Петра-Ульриха. Он приходился родным внуком Петру I и двоюродным, по бабке, Карлу XII.

— Малыш сможет выбирать короны, — говорил отец, — захочет — возьмет российскую, захочет — шведскую.

Были опять фейерверки, маскарады и балы. А за ними, без скважины, черное сукно и черный креп, и черные сургучные печати: молодая герцогиня Анна Петровна скончалась.

Память человеческая слишком мудра. Она в своих невидимых погребах не любит подолгу хранить большое горе. А люди хотят быть во что бы то ни стало несчастными. Они легко отпускают счастье и вцепляются в отчаянье, боясь с ним расстаться. Душевные раны заживали бы необычайно быстро, если бы мы усердно не расковыривали их.

Голштиния оделась в черные кафтаны, платья, плащи и шляпы — в эти одежды человеческой глупости. За телом дочери Петра русские суда приплыли в октябре.

Анна Петровна умерла, кажется, от чахотки. Императрица Анна Иоанновна обычно следующим образом справлялась о здоровье внука Петра: «А что, голштинский чертушка еще не издох?» А чертушка рвал желчь; с головными болями, разламывающими маленький череп, изучал историю Швеции; извивался в кадрилиях; стоял часами в ружье — и не издыхал.

«Когда я стану королем Швеции, — утешал себя чертушка, — я прикажу привязать господина Брюммера к лошадиному хвосту».

\* \* \*

Голштинский герцог давал балы в залах, освещенных огарками. Устраивал пиры на рваных скатертях.

В одно из таких пьянств, когда Карлу-Петру-Ульриху исполнилось девять лет, отец заплетающимся языком произвел его из унтер-офицеров в секунд-лейтенанты.

Собутыльники герцога восторженно заорали и подняли над головами стаканы с плохим вином.

Карл-Петр-Ульрих, до того стоявший при дверях, в карауле, передал ружье солдату и сел за один стол с пьяными голштинскими офицерами.

В его детстве этот день был самым счастливым.

А утром, на уроке, когда секунд-лейтенант по неспособности коверкал шведские слова, Брюммер, играя хлыстом, сказал:

— Я вас так велю сечь, что собаки кровь лизать будут.

### 3

В 1739 году Карл-Петр-Ульрих похоронил отца. Герцог умер легко, за писанием скверных мемуаров.

Неумные люди слишком просто расстаются с жизнью. Им кажется, что они не так уж много теряют. А можно ли потерять больше? Следует сказать, что неумные люди всегда на что-то надеются, они даже в яме надеются найти небо.

Правителем Голштинии и опекуном одиннадцатилетнего Карла-Петра-Ульриха стал епископ Любекский, принц Адольф-Фридрих, дядя маленькой Фике.

Резиденция правителя была в Эйтине. Небольшие озера, цвета некрашеного железа, лежали среди небольших гор, цвета железа, покрытого ржавчиной. Место было красивое. По крайней мере, таким оно нравилось немцам. Они называли Эйтин — Швейцарией.

Люди с поэтической душой имеют обыкновение называть Швейцарией всякий дачный поселок, в окрест-

ностях которого находятся два-три пригорка и лужа для жирных домашних уток.

Летом этого года в Эйтине собрались родственники. Тут были бабушки, дедушки, дяди, тети, племянницы, внуки и внучки.

Принц-опекун привез из Киля своего питомца.

Иоганна-Елисавета из Штетина с остановкой в Гамбурге везла Фике.

Скопища облаков обгоняли их в пути.

В Эйтин приехали поздно вечером.

Фике стало грустно: «Ее сейчас накормят и уложат спать».

Она чуть не заплакала при этой мысли. Она сгорала от нетерпения увидеть мальчика, который может выбирать короны.

«А я сразу засну, — решила она, — и тогда время пройдет очень быстро, потому что время, которое спишь, не считается».

Значит, если верить Фике, одной трети жизни не существует, треть жизни не в счет.

#### 4

Они сидели на скамейке под раскидистым кленом. Казалось, что кто-то над их головой перелистывает большую книгу. Это шелестело дерево.

Взрослые сказали:

— Подождите нас здесь, мы скоро вернемся.

И ушли по дорожке, ведущей к китайскому павильону.

Оттуда доносилась инструментальная и голосная итальянская музыка.

Мальчику тоже очень хотелось поближе подойти к оркестру. Он очень любил музыку. Почти так же, как солдатский фрунт. Чуть-чуть поменьше.

А его все время заставляли быть «с этой противной негнибающей девчонкой».

Он ее терпеть не мог: «Девчонка тощая, как щепка, и все время неизвестно чему улыбается, словно дура».

Мальчик двигал ушами и смотрел вверх на листья, будто вырезанные маленькими ножницами из зеленой бумаги.



А Фике очень нравился мальчик в кавалерийском колете и в высоких сапогах со шпорами.

Мальчика меньше всего можно было назвать красивым. Он походил на червяка, выброшенного лопатой могильщика на поверхность. Но этот червяк приходился внуком Петру Великому и, по бабке, Карлу XII. Поэтому он очень нравился Фике.

На скамье лежала маленькая офицерская шляпа. Фике нежно гладила султан из перьев и повторяла про себя: «Карл-Петр-Ульрих, Карл-Петр-Ульрих».

Над головами шелестели узорчатые листья.

«Мама сказала, что он будет выбирать короны. Захочет — возьмет шведскую, захочет — русскую. А голштинская — плохенькая, он на нее и не посмотрит».

— Пойдемте и мы к Китайскому павильону, — предложил мальчик. Глаза у него были почти желтые и такие большие, что даже страшно.

— Нет, лучше посидим здесь, там у Китайского павильона большой шум.

— Там играют итальянские музыканты.

— Я не люблю, когда играют.

«Вот дура, — подумал мальчик, — это она музыку называет шумом. Таких девчонок надо убивать».

Когда Фике с детской мечтательностью гладила султан из перьев, Карл-Петр-Ульрих вынул язык цвета капустного листа: «Вот тебе, дура».

Бледное, болезненное лицо мальчика стало уморительно смешным. Фике неожиданно подняла глаза.

— Внуку Петра Великого, — сказала она строго, — не пристало высовывать язык.

«Таких девчонок надо убивать», — упрямо твердил маленький паяц.

## Третья глава

### 1

В Санкт-Петербурге была стужа. Анне Леопольдовне — правительнице империи — не можилось мыться. Она сидела на кровати, повязав жирные волосы белым платком.

С Невы дул ледяной ветер.

«Дом-то наш, словно мешок дырявый», — сказала правительница и засунула шершавые руки с обкусанными ногтями под рубаху девице Юлии Менгден.

Та их грела.

Правительница скучно смотрела обслюнявленными глазами в окно.

— В карты б, Юлинька, побросаться.

Девица Юлия Менгден отмахнулась.

Тогда правительница попросила:

— Почитала б, Юлинька, драматические стихотворения.

Анна Леопольдовна любила поэзию. Но девица опять отмахнулась:

— Хотения что-то нет.

Шершавые руки с обкусанными ногтями, как большие жуки, ворочались у нее за пазухой. Девицу вдруг озлило, и она толстым голосом задекламирровала по-французски.

Правительница спросила:

— Почему ж ты, Юлинька, на попугайском-то?

Анну Леопольдовну привезли в Россию в годовалом возрасте. Немецкому языку она в Петербурге кой-как обучилась, а по-французски только разумела, да и то худо.

— Слышь, Юлинька?

Но та сделала вид, что не слышит.

Тогда правительница скучно повалилась на кровать и натянула на голову одеяло, подбитое рыжим мехом.

Ледяной ветер бодал императорский дом, даренный со всеми его уборами и двумя дворами Петру II от адмирала-генерала графа Апраксина, по духовной.

Старый же Зимний дворец, строенный Петром Великим и угромадненный при Екатерине I многими пристройками, был еще в 1732 году отдан под жилье придворным музыкантам и служителям.

Анна Леопольдовна высунула из-под мехового одеяла потное красное лицо и сказала:

— Тепло. Взопрела, — и вытерла простыней щеки, шею и нос.

Принц Антон, генералиссимус русской армии, так определил красоту своей супруги правительницы: «Лиценачертанием она нерегулярно пригожа».

Ветер с ледяной Невы все бодал и бодал рыхлое апраксинское строение. Казалось, вот-вот подымет он этот деревянный мешок на свои белые рога и понесет, понесет, понесет и сбросит в балтийскую хлябь.

Кто-то хотел войти во внутренний покой, но взопревшая правительница закричала: «Пусть, де, убираются к черту до зова».

Потом обе женщины так и валялись в платьях и башмаках под меховым одеялом, слипшимся от пота, слюны и горячего дыхания.

Из меха прыгали блохи. Девушка Юлия Менгден, слюнявя пальцы, ловила их с большой ловкостью.

— Во! Навострилась.

А правительница империи, почесывая обкусанными ногтями прыщавые лопатки, лениво, в привычку, ругала: мужа своего, принца Антона, похожего на кудрявую бабу; графа Остермана, голову второго департамента, где по артикулу сосредотачивались дела иностранные и морские, а если без артикула, так управление всей империей; тонконового маркиза де-ла-Шетарди: французского посла, копающего против немецкой и английской политики кабинета; а еще ругала: царевну Елисавету, называя ее «Кругломорденькой», и медика ее Лестока, называя его «побегушником при Шетардие», и шведов, с которыми воевали не по своей охоте, и графа Левенгаупта, вражеского главнокомандующего.

Этого ругала пуще остальных: «Как смел выпустить манифест, что дерется, де, не с достохвальной русской нацией, а против иностранных министров, господствующих над Россией, и что будто хлопчет лишь о том, как избавить великий русский народ от чужеземного притеснения».

— Я ж ему, проклятому каналье, шведу этому, разбила харю при Вильманштранде? — лениво вопрошала правительница.

— Уж так.

— И еще буду бить во всех сражениях, сколько захочу. Трус! Корова!

— А кто, матушка, научил Левенгаупта? Кто?

И девица Юлия Менгден, подзуживая правительницу, говорила, что стокгольмский кабинет подбит на войну царевной Елисаветой и ее медикусом Лестоком, и что затеяна эта война, чтобы подкопать трон под императором-младенцем, и что «Крутломордая» имеет дерзкие воображения из рук наших правление выдрать.

— Вот так бы я Крутломордую! — и девица с ожесточением сердца раздавила двумя пальцами большую блоху.

— Ну да, раздавишь ее, гвардейскую куму.

Анна Леопольдовна стала лениво разъяснять, что в доме у Елисаветы на Царицыном лугу «солдатские ассамблеи творятся» и что Елисавета без счета накрестила детей у преображенцев.

— Отправить бы янычаров к шведу под мортиры, — сказала девица Юлия Менгден.

— И Остерман ко мне с тою же пропозицией, — обрадовалась правительница империи, — может, и вправду у всех их, янычаров этих, швед перебьет?

— Не перебьют, — сказала девица.

— И то.

Потом правительница стала тешить себя мыслью, что прикажет не давать Елисавете денег.

— Ну что она тогда крестникам в люльку класть будет? Шиш свой?

Девица молчала.

— Вот скажи, Юлинька, кому нужна Крутломордая с шишом своим масляным. Кому?

— У Франции, небось, золото возьмет, — утешила девица.

— И то! — спокойно отозвалась Анна Леопольдовна. — Франция ей денег не пожалеет.

Девица потянулась.

— Вставать, что ли? Куртаг скоро.

— Заваялись.

И высказав философическую мысль, что «самое, де, счастливое место на этом свете — кровать», правительница стала натягивать чулки на пупырчатые коленки.

У царевны Елисаветы лицо было круглое и белое, как тарелка, рот мягкий, красный, ноги длинные, зад широкий, плечи, позолоченные нежнейшим пушком.

В Санкт-Петербурге всякий рейтар, всякий мушкетер называл амуров ее: щеголь Нарышкин, Бутурлин, Шубин, гвардейский солдат, конюх Андрей Вожжинский, гребец с водной кареты Лялин, певчий Разумовский.

Да, бывают такие женщины, которых, мельком увидев в окне или в санях, мчащихся стремглав, или еще как в толкучести и мимоходе, потом через день-другой, а то и через год, а то и через десяток лет, а то и под вечер жизни, — видишь во сне и небезгрешно.

Елисавета была из числа таких женщин.

Она была хороша и для купца, и для попа, и для солдата.

Для покойного императора Петра II, приходившегося ей племянником, тоже была хороша. А он для нее — не очень; не польстилась.

### АНЕКДОТ

В Россию приехало из Китая посольство с чем-то поздравлять Анну Иоанновну.

— Какую женщину в этой зале считаете вы самой красивой? — спросила рябая императрица желтого дипломата, окруженного петербургскими прелестницами.

— В звездную ночь трудно сказать, какая звезда самая блестящая, — увернулся посол.

Но китайские вежливости не по русскому нраву. Рябая императрица потребовала ответа более определенного.

Тогда китаец, отвесив поклон Елисавете, сказал:

— Если бы у этой принцессы глаза были немного поуже, красота ее стала бы смертоносной.

В большом петербургском доме был куртаг.

Искусанная блохами императрица смотрела рыбьим взглядом на явившихся.

Принесли графа Остермана, страдающего подагрой и хирагрой. При Анне Иоанновне он по годам не выходил из своих покоев, а тут, что ни день, таскали его в императорский дом.

Генерал-фельдмаршал граф фон Миних, завидя благообразную физиономию вносимого Остермана, круто повернулся на высоких красных каблуках. Ему хотелось, чтобы все видели, как он неглижирует министра иностранного и морского. Но все сделали вид, будто ничего и не заметили.

\* \* \*

Однажды фельдмаршал Миних обедал у регента Бирона. «А врет английский посол, что Бирон с людьми говорит, как лошадь, а с лошадьми, как человек, — подумал фельдмаршал, — видит Бог, Бирон создание душевнейшее, а хозяин хлебосольный».

И за радушный обед сытый гость благодарил крепкими объятиями и горячими поцелуями.

А через несколько часов прислал за хлебосольным хозяином отряд мушкетеров со своим адъютантом.

Чтобы спасти жизнь и власть, страшный Бирон с криком «караул!» полез под кровать. Но из этой затеи ничего не вышло. Мушкетеры, издавав регенту пинков, завернули его в одеяло и бросили в карету, предоставленную для этой цели фельдмаршалом.

Все шло как по маслу. Миних стал первым министром. Анна Леопольдовна подарила девице Юлии Менгден четыре кафтана герцога Бирона, а на себя налепила Андреевский орден и звание правительницы — императором остался Иоанн VI, ее младенец. Низвергнутого регента сослали в Сибирь, в Пелым. Синод, министерство и генералитет объявили манифест от имени императора, сосущего грудь. А через четыре месяца страдающий подагрой и хирагрой граф Остерман выгнал из кабинета министров знаменитого фельдмаршала Миниха, победителя многих народов, и герцога Бирона.

\* \* \*

Искусанная блохами, Анна Леопольдовна ходила взад и вперед, поглядывая рыбьим взглядом на явившихся.

— Обратите внимание на шею правительницы, — шепнул на ухо английскому посланнику господину Финчу его враг, посланник французский, маркиз де-ла-Шетарди, приехавший в Россию со 100 000 бутылок тонкого французского вина и со свитой, состоящей из дюжины атташе, полдюжины ксендзов, пятидесяти слуг и нескольких первоклассных поваров, среди которых блистал месье Боридо, имевший мировую известность.

— Статс-дамы и фрейлины обыкновенно замазывают белилами эти отвратительные пятнышки, — сказал англичанин совершенно спокойно.

«Черт возьми! То, что делает правительницу смешной, не портит ему настроения, — подумал француз с грустью, — уж не меняет ли Англия игру? Уж не предложил ли господин Финч пенсии лекарю Елисаветы?»

Обе половинки двери отворились.

— Кругломорденькая пришла, — сказала девица Юлия Менгден.

— Пришла, — подтвердила правительница.

На Елисавете были фижмы цвета раздавленной малины.

— Поговорить бы с Кругломордой, — посоветовала девица.

— И то! — лениво согласилась правительница — Ко мне и Остерман с тою же пропозицией, чтобы поговорить.

— Только это без толку будет, — утешила девица.

— Что так?

— Кругломордая янычарам по пяти рублей дала.

— Она не всем дала. Она только тем, что к шведу под мортиру пойдут.

— Еще не пошли.

— А может, и не пойдут, — засомневалась Анна Леопольдовна.

— Так как же? — обозлилась девица.

— Может, Юлинька, Господь не оставит нас.

— Медикуса бы в Петропавловскую посадить, да с Шетардием чтобы Кругломордая не виделась.

— Скажу.

— А Кругломордая не послушается.

— Не послушается, — опять согласилась Анна Леопольдовна.

В другом конце залы многомогущий Остерман в любезнейшей манере и речью вполне государственной, необыкновенно изысканной и совершенно непонятной, приводил в бешенство французского посланника.

«Мерзавец! Скотина! — беззвучно ругался тонконогий маркиз. — Богом клянусь, он способен любого человека посадить в дом умалишенных».

А благообразный старик все говорил, говорил и говорил на безукоризненном французском языке.

Это была знаменитая манера петровского дипломата, сделавшая его в глазах русских северным полубогом: на четырех европейских языках и одном древнем умел он приводить в бешенство иностранных министров.

Анна Леопольдовна с неохотой удалилась в дальнюю комнату.

— Зря все это, — толстым голосом сказала вдогонку девица.

Правительнице опять пришла в голову философическая мысль, что самое счастливое место на свете — кровать, а самая лучшая одежда — спальное платье. В обыкновенные дни она в нем и за обед садилась, и за карточный стол.

Елисавета подошла к Миниху.

Старый любезник встретил ее щелком красных каблуков, взлетом седых бровей.

Голубые глаза Елисаветы — обещали, сулили.

Есть такие женщины, которые и в одиночестве полнейшем находясь, — обещают, сулят. Кому? Зеркалу, креслу, четырем стенам.

«Она бы сделала меня первым министром», — подумал Миних.

Финч, махнув тяжелыми веками в сторону фельдмаршала Миниха, шепнул на ухо маркизу:

— Какой необычайный случай: тигр, змея, лисица и осел уживаются под одним кафтаном.

Так можно было говорить только о человеке, доигрывающем свою политическую игру без единого козыря.



— Прекрасно сказано, — ответил Шетарди, — я, право, не представляю себе, чтобы портрет господина Миниха кто-либо нарисовал лучше. Вы, сударь, Тициан слова.

Финч поклонился. «Тициан слова!» Это приятно услышать, если даже и знаешь цену французской любезности.

«Конечно, льстец не кто иной, как фальшивомонетчик; но до чего бы грустно и тошно жилось на свете, если б этих мошенников сажали в яму, как того требует нелепая справедливость», — подумал англичанин. А сказал:

— Пойдемте, милейший маркиз, к царевне.

Два врага были неразлучны. Так обоим было спокойней.

Елисавета обернула к иностранным министрам свою сверкающую тарелку.

У Шетарди заныли его жидкие икры.

Финч замахал тяжелыми веками.

«Нет, такие женщины не делают государственных преступлений, они созданы для другого», — успокоил себя в мыслях граф Остерман. С самим собой он совещался и разговаривал на добром, совершенно понятном немецком языке.

Когда правительница прислала за Елисаветой и та, как говорили тогда, «выступкой павы» покинула залу, мужчинам сразу сделалось скучно.

Анна Леопольдовна встретила царевну рыбьим взглядом.

— Садись, матушка.

Елисавета села в кресло, обитое зеленым штофом.

— Что это, матушка, слышала я, будто ваше высочество имеет корреспонденцию с армией неприятельскою и будто ваш медикус ездит к Шетардию и с ним фикции в той же силе делает.

— Вижу я, сестрица, что вам наговорили обо мне множество предеззостей.

— В письме из Бреславля советуют мне немедленно заарестовать медикуса вашего, — испуганно сказала Анна Леопольдовна и тут же добавила: — Но я, ваше высочество, всем этим слухам о вас не верю и Остерману

не позже как вчера возражала, что вас, матушка, невинно обнесли.

Елисавета поднялась с кресла и, оправив фижмы, проговорила достойно:

— Я с неприятелем отечества, против которого мой родитель столько сражался и чьею злою пулею шляпа моего родителя пробита, никаких альянцев и корреспонденций не имею.

#### 4

Рыжие конские хвосты, казалось, разбрасывали в ночи пламя, и копыта высекали пламя из белой земли.

— У, тихие дьяволы! — ругалась Елисавета. — Не лошади, а коровы.

Камер-юнкер Михайла Воронцов сказал:

— Помилуй, матушка, это вепри, ей-богу, чистые вепри.

Перед тем, как облаять лошадей, Елисавета подумала: «А что, как откроется секретная бумага, выданная стокгольмскому кабинету? У Остермана собачья ноздря, не дай, Господь, вынюхает».

Чего-чего только не наобещала Елисавета Петровна в этой бумаге исконным врагам своего отечества: и вознаградить-то их за все издержки по ведению войны с Россией, и снабжать-то их в течение всей своей жизни субсидиями, потихоньку от русской нации, и содействовать всяким их выгодам, и давать-то всякие торговые привилегии, и в союзы-то не вступать ни с кем, кроме как с ними, да с Францией. «А какие пользы от этой войны? Никаких! Только одна забота, — думала Елисавета, — ведь наущала Нолькена (это она про стокгольмского посла), чтобы у них, у шведов, в войске был племянник мой, герцог Голштинский. Может, и стали б тогда наши дурни класть мушкеты. Как же драться против крови Петра?»

А теперь Елисавете казалось, что эта несчастная для шведов война (а для России счастливая) вместо того, чтобы расшатать непрочный трон императора-младенца, только подперла его.

«О-о-ох!» — тяжело и смутно вздохнула Елисавета из собольих мехов.

Война была затеяна стокгольмским кабинетом по ее уговорам. Швеция рассчитывала вернуть обратно восточный берег Балтийского моря, отнятый у нее Петром.

— Решения нужно брать, ваше высочество, — сказал Михайла Воронцов, подписавший вместе с лекарем Лестоком, по доверию Елисаветы, секретную бумагу к стокгольмскому кабинету.

— Тяжко. Ум у меня, Михайла Ларивонович, в расстройставах.

— А мешкать неможно. Наутрие будет опубликован приказ, чтобы всем полкам гвардии быть готовы к выступлению в Финляндию против шведа.

— Знаю, — сказала Елисавета.

— Вот и уйдут воины, не оказав вам, матушка, благодарности за похлебство.

— Знаю.

— Долго ли над Россией править Анне Леопольдовне с иноземщиками? Решайся, матушка. Пожалей себя и отечество.

— Как Господь!

Рыжие конские хвосты, казалось, разбрасывали в ночи пламя, и копыта высекали пламя из белой земли.

Елисавета боялась, что она «не изрядно одарила гвардейцев» и что в нужный час они не пойдут на Зимний императорский дом. Но казна ее была пуста, а французский посол выдал на свержение иноземного правления вместо пятнадцати тысяч, просимых дочерью Петра, всего две, да и то, как стало известно, занял их у одного чиновника своего посольства, обыгравшего в карты какого-то немца.

— А как скажешь, Михайла Ларивонович, пойдут гвардейцы?

— За гренадерскую роту Преображенского полка голову кладу, — сказал камер-юнкер, — они у меня вторую неделю из питейных домов не выходят.

И, спохватившись, добавил в строгости:

— За отечество, за дочь своего Творца (так в гвардейских полках называли Петра), и чтоб иноземщикам земля была пухом, готовы пролить кровь свою.

Версаль.

— Ваше величество, маркиз Шетарди надеется повернуть Россию в сторону интересов Франции. Для того, по мнению господина посланника, всеми способами должна быть проложена дорога к трону принцессе Елисавете. Став императрицей, она доверится русским и перенесет столицу в Москву. Граф Остерман взойдет на эшафот. Русские вельможи от интересов государственных обратятся к заботам о своих поместьях, к делам хозяйственным. В этом их прирожденная склонность. Морские силы будут преобразованы. Россия, ваше величество, мало-помалу вернется к старине, и Франция освободится от могущественного врага. Принцесса Елисавета ненавидит англичан. Торговые выгоды России ставили ее в зависимость от Англии. С помощью Божией на развалинах английской коммерции ваше величество утвердит французскую.

Так министр изложил перед королем содержание депеши, полученной из Петербурга.

\* \* \*

Господин Шетарди и господин Финч, не сходясь в политических интересах, сходились, и не редко, во вкусах и мнениях.

*«Большая часть дворян — закоренелые русские; только принуждение и насилие могут воспрепятствовать им возвратиться к их старинным обычаям. Между ними нет ни одного, который не желал бы видеть Петербург провалившимся на дно морское и все завоеванные у шведов провинции отошедшими к черту, лишь бы только иметь возможность возвратиться в Москву, где, вблизи своих поместий, они могли бы жить с наибольшею роскошью и с меньшими издержками»* — писал в Лондон из Петербурга английский посланник 21 июня 1741 года.

Около полуночи явился Михайла Воронцов с пятью гренадерами лейб-гвардии Преображенского полка.

- Пришли, — сказал медикус Лесток.
- Слышу, — глухо откликнулась цесаревна.
- Дожидают в антикамере.
- Знаю. Не вяжись ты ко мне, ради Господа!
- Поспешай, ваше величество.

В сенцах брехали псы. Елисавета с белыми губами вышла к гренадерам.

— Дети мои, — сказала она верзилам в больших шапках из черной пумповой кожи, — так как же, не попятимся? Ретирады не будет?

Губы ее дрожали.

— Спасем отечество, дети мои? Прогоним иноземщиков?

Слезы прыснули из ее глаз, посеревших в эту ночь от страха.

Верзилы в шапках из черной пумповой кожи взревели:

- Спасем отечество!
- Прогоним иноземщиков!
- Веди, матушка!

В антикамере завоняло перегаром, речичным рыгом, простой кожей.

Елисавета вышла в соседний покоец и там, как скошенная, обрушилась перед иконой Христа Благословляющего.

— Пушай поговорит с Господом Иисусом Христом, — сказал гренадер с перерубленной бровью.

— Пушай поговорит, — сказали и остальные. Воронцов вывел верзил в сенцы. Псы, расчухав знакомцев, завияли хвостами. Лекарь Лесток принес вина, закусок и сладких заедок.

Чарка пошла кругом.

Верзилы крякали, чавкали, рыгали.

\* \* \*

Двор у цесаревны был не густой, гость не частый, столы малые. К поставцу же ее выдавалось водок на месяц 44 ведра с полукружкой и  $\frac{1}{8}$  кружки, вина 68 ведр, 2 кружки с четвертью, пива 538 ведр и полторы кружки.

А расходились от столов не всегда на четвереньках.

Елисавета валялась перед иконой.

Лекарь Лесток постучал в стену.

С таинственно помигивающих лампадок лилась святость на округлые розовые плечи.

Лекарь Лесток во второй раз постучал в стену.

Елисавета поднялась и оправила платье; потом оправила волосы.

Верзилы кричали, чавкали, рыгали.

Лесток в третий раз постучал в стену.

Тогда Елисавета взяла крест и вышла в сенцы, чтобы привести верзил к присяге.

Те клялись вонючими ртами. Целовали крест. Икали. Широко, до пупа, крестились.

— Дети мои, — сказала Елисавета, — когда Бог явит милость свою нам и всей России, то я не забуду верности вашей. А теперь ступайте, соберите роту во всякой готовности и тихости, а я сама тотчас за вами приеду.

Гренадеры ушли.

Елисавета опять валялась перед иконой Христа Благословляющего, в голос спрашивая у размалеванной деревяшки совета и научения.

Часы прокуковали четверть второго.

Елисавета легко поднялась и крикнула:

— Кирасу, Михайла Ларивонович! Принеси-ка, мой друг, кирасу.

И надела ее поверх платья.

## 7

К светлицам гвардии Преображенского полка, что за Литейной улицей, приехала в сопровождении лекаря Лестока и старика Шварца, учителя музыки. На облучке сидел кучером камер-юнкер Воронцов.

Гренадерская рота была в сборе. На шапках из пумповой кожи горели двухголовые орлы и, как в параде, трепыхались страусовые перья: у рядовых красные, у капралов красные и белые, у барабанщиков по краям красные, а в середине зеленые.

Воронцов приказал разломать барабаны.

— Чтоб в тишине, братцы. Разломали.

— Клянусь умереть за вас. Клянетесь ли умереть за меня? — негромким голосом спросила Елисавета.

— Клянемся! — рывкнули гренадеры. — Всех перебьем.

От рывка и гремя прямыми шпагами с медными эфесами и гарусными темляками у Елисаветы сделалось сжатие сердца. Еле слышно она попросила «всех не перебивать»...

— Ну, с Богом, — сказал камер-юнкер Воронцов.

Елисавета села в сани.

Гренадеры ее окружили. Перекрестилась. Цок, цок, цок, цок. Двинулись спасать отечество. Мороз драл носы и щеки.

С дороги Елисавета отделила отряды для заарестования графа Остермана, генерал-фельдмаршала Миниха, кабинет-министра графа Головкина, Лопухина, барона Менгдена — президента коммерц-коллегии и обер-гофмаршала Левенвольде.

Перед концом Невской проспективы гренадер с разрубленной бровью сказал:

— Вылазь, матушка, ваше высочество. Для тишины даде ногами двинемся.

Елисавета вылезла из саней, но от страха ногами двигаться не смогла. Тогда гренадер с разрубленной бровью взял ее на руки.

Шли.

У Елисаветы мутилось сердце. Гренадер с разрубленной бровью обдавал ее горячим перегарным духом.

Шли.

Елисавета боялась шевельнуться на непомерной ладони, которая тискала ее и мяла.

Шпиц и башенный купол, что над воротами Адмиралтейства, сверкали медными, в огне позолоченными листами.

Пришли.

Явились перед часовыми в караульне. Недремлющая стража, как всегда в таких случаях, — дрыхла. Растолкали.

— Дети мои, — сказала Елисавета, — хотите ли мне служить, как отцу моему и вашему служили?

— Хотим, матушка, хотим! Давно этого дожидаемся! — закричали караульные солдаты.

Караульных офицеров пришлось заарестовать.

Правительница империи сладко спала на груди у девицы Юлии Менгден, когда в покои ввалились гренадеры, предводительствуемые Елисаветой.

— Сестрица, пора вставать, — сказала цесаревна.

— Кругломордая! — вскрикнула девица Менгден.

— Это вы, сударыня? Вы?.. Что вам здесь, сударыня...

Но правительница не договорила. Она увидела медных двухголовых орлов, страусовые перья и красные Преображенские воротники.

— Худое дело, с кумовьями пришла, — шепнула с мрачным юмором девица Юлия Менгден.

— Соберитесь, сестрица, — приказала Елисавета.

Правительница растерянно взглянула на верзил.

Щеки и носы их, распаленные водкой и морозом, были подобны обмякшим кирпичам.

— Нехорошо мне при них из кровати вылазить.

— Ничего, сестрица, при них можно, это мои дети, — успокоила Елисавета.

Гренадер с разрубленной бровью подал правительнице белье и чулки на штыке.

— Натягивай, мать.

Правительница стала ловить руки Елисаветы.

— Матушка, ваше высочество, не разлучай меня с Юлией!

И плакала навзрыд.

— Ладно уж, не разлучу, — сказала Елисавета. — Ну? Готовы? Идем в сани садиться.

## 8

Елисавета сделалась полковником Преображенского, Семеновского, Измайловского, Конной Гвардии и Кирасирского полков, а также императрицею Всероссийской.



Села же она на родительский престол по прошению всех верноподданных, «а наипаче и особливо лейб-гвардии нашей полков». Так говорилось в манифесте, выпущенном по сему случаю.

31 декабря по именному указу Гренадерская рота, с которой Елисавета спасала отечество, стала именоваться Лейб-Компанией.

Капитан-поручик в ней равнялся полному генералу, поручик — генерал-лейтенанту, подпоручик — генерал-майору, прапорщик — полковнику, сержант — подполковнику, капрал — капитану.

Унтер-офицеры, капралы и рядовые получили дворянство и гербы с надписью: «За ревность и верность».

Кое-что перепало и деньгами. Поделили меж собой и деревеньки с крепостными, что отписаны были у арестованных в ночь на 25 ноября. Даже юбки, рубахи, чулки, белье постельное, наряды ношенные и прочее тряпочное добро Минихши и Остерманихи раздарила Елисавета своим камергерам и камер-юнкерам.

На оборотной стороне рубля приказано было чеканить фигуру гренадера.

## 9

Елисавета сказала барону Корфу:

— Вот вам наказ, сударь, поспешайте-ка в Киль за племянником моим, герцогом Голштинским.

Полковник Преображенского, Семеновского, Измайловского, Конной Гвардии и Кирасирского полков был — хорошей теткой.

— Неотлагательные, сударь, имею желанья увидеть его перед собой.

У полковника пяти полков увлажнились глаза.

— Я к племяннику моему питаю родственные чувства, всем сердцем моим питаю.

Тут Елисавета вспомнила сестру свою Анну, выпихнутую из России князем Меншиковым; вспомнила, как писала Маврутка Шепелева: «по всякий день варошитца у ней в брухе ваш будущий племянник».

Портрет герцога голштинского Карла-Петра-Ульриха висел на стене: голова редькой, уродец.

Елисавета с нежностью подняла на портрет влажные глаза.

И барон Корф тоже поднял. И подумал: «Экое неавантажное рыло». И стал глядеть на неавантажное рыло с полным восхищением.

Елисавета уронила мягкие руки на юбку: «Ах, как худо умирать в городе Кили».

«Будто где умирать приятно», — подумал барон.

«В Кили очен дажди велики и ветри». И Елисавета, сжав круглые колени, закачалась в кресле; из растворенных глаз стали падать слезы на юбку. «Кликнуть бы Маврутку, пусть рассказывает, как пелонки шили, как варошился племянник в брухе, как плакала сестра по России».

Тут Елисавете пришло на ум, что покойной сестры портрет, писанный прусским министром бароном Мардефельдом, имеется у Ангальт-Цербстской княгини Иоганны-Елисаветы.

«Надо б испросить».

Обтерла глаза платочком.

— А в Кили, сударь, неутомленно подвигайте племянника моего к отъезду. У меня и у России до него нужда. Поспешайте ж с Богом, и чтоб до великой грязи обратно быть в Петербурге.

По уходе Корфа позвала Воронцова и стала диктовать ему грамоту к Ангальт-Цербстской княгине.

*«Светлейшая княгиня, гружелюбно-любезная племянница...»*

Слова Елисаветы произносила с распевом.

*«Вашей любви писание от 27 минувшего декабря и содержанные в оном доброжелательные поздравления мне не инако как приятны быть могут».*

И дальше сказала нацарапать о портрете.

Воронцов нацарапал.

— Огласите-ка, батюшка, Михайла Ларивонович, крайний артикул.

Михайла Ларивонович зачитал:

*«Яко иного хорошего такого портрета здесь не находится, уступить и ко мне прислать изволите;*

*а сию угодность во всех случаях взаимствовать сходя буду».*

— Ладно. А подписуюсь так: вашей любви дружественноохотная Елисавет.

— Ну те-ка, друг мой Михайла Ларивонович, — сказала Елисавета, — узнайте, что там обрушилось?

Но узнавать не пришлось, так как вошел действительный тайный советник Лесток и в гневе объявил, что пьяный лейб-компанец, озлившись на кого-то, опрокинул стол со многими кувертами.

— Полными корзинами, ваше величество, выносят переколотые тарелки и блюда.

— Заарестовать его.

На другой день ни один лейб-компанец не изволил пожаловать во дворец.

— Где мои дети? Почему детей моих я не вижу? — спрашивала расстроенная императрица.

Воронцов догадался:

— Уж не в обидах ли они, ваше величество.

— За что ж в обидах?

— А крушителя-то фарфоров заарестовали.

Перепуганная Елисавета приказала немедленно освободить солдата. Тогда лейб-компанцы простили императрицу.

## 10

Домы покидались жителями.

*«Доселе гремахом, а ныне увидахом, что Остерман и Миних с своим сонмищем влезли в Россию, яко эмиссарии дьявольские»* — это из проповеди ректора московской академии архимандрита Заиконоспасского монастыря Кирилла Флоринского.

Ворота стояли на запорах.

И солнце бывает белое, как сметана.

Священники и причт ходили на караулы к рогаткам и на пожары, и несли другие полицейские обязанности.

В стригольном ряду, где бездельно сидели фельдшеры с бритвами, прошел слух, что императрица повелела отращивать бороды.

- И водка не валит гвардейскую погань.
  - Викториальные дни!
  - Господи, словно в чуме город.
  - Круто посолили.
  - Батожья, что ли, на сукиных сынов нету?
  - А ну, завяжи пламя в мешок.
  - Господи!
- Так разговаривали жители в Петербурге.

Преображенцы были мечены красными воротниками, семеновцы — синими, измайловцы — зелеными. У гренадеров усы были задраны черным воском. Лейбкомпанцы имели помочи на плечах из витого шнура, конногвардейцы — золотые шарфы. Кирасиры расхаживали в тупоносых сапогах раструбами.

«Вы это называете поносом, навозом, испражнениями, экскрементами и как еще? А по-моему — это испанский шафран».

К извозничьим становищам не подходили рядиться седоки; мерзли возницы и кони.

Государыня решила: «Из всей империи всех мужеска и женска пола жидов, со всем их имением, немедленно выслать за границу».

Купцы закрывали лавки без почина.

Попы гнусавили в пустых церквах.

*«Как поживаете, Алемант? — Хотелось бы мне держать во рту палку, чтобы дать тебе полезный ответ».*

Начался 1742 год.

- Опять в барабаны лупят.
- Опять.
- Шкура — она терпеливая.
- Терпеливая.

На скрещеньях улиц били в полосатые барабаны с латунными обручами и орали о публичной казни.

Когда генерал-фельдмаршал Миних взял регента Бирона и перед тем как отхватить Волынскому голову, тоже били в полосатые барабаны и орали.

Скудные люди останавливались среди пустынных улиц и равнодушно глазели на барабанщиков.

- Кого это, стало, еще?
- А бес их знает.

И не упомянув немецких имен, шли дальше, думая о своемобычном.

На Сенатской площади, перед зданием коллегии, солдаты в сермяжных кафтанах соорудили эшафот.

Казнь была назначена на 18 января.

Конечно, спозаранок собрались зеваки. Мужчин было не так густо. Неужели женщины и дети любопытней до крови и чужого страданья?

Эшафот окружали мушкетеры Астраханского полка в черных шерстяных шляпах, заиндедеввших на морозе. Ветер рвал с плеч астраханцев васильковые епанчи, застегнутые у шеи на медную пуговицу.

На эшафоте стояло бревно короткое и толстое, еще не обогрешенное. В бревне торчал топор. В обжорном ряду у лавок, где торгуют мясом, обычно стояли такие же бревна.

Остермана, поваленного подагрой и хирагрой, привезли на извозчичьих санях в одну лошадь. Миних, Головкин, Менгден, Темирязов и Левенвольде — пришли ногами.

Извозчичья клячонка остановилась. Остермана выволокли из саней и на носилках втащили на эшафот. Там стоял стул. Позаботились.

— Благодарен, много благодарен, — сказал Остерман и одернул лисью шубку и сел будто в кабинетское

кресло своего второго департамента, где сосредотачивались дела иностранные и морские.

На помост взошел сенатский секретарь с приговором.

Остерман угодливо снял бархатный колпак. Невский свирепый ветер чуть было не содрал с головы куцый парик.

Сенатский секретарь начал чтение.

Женщинам и детям стало скучно.

Остерман слушал внимательно и в мыслях почему-то придирался не к существу, а к неправильностям и к грубости слога. Он со времен Петра был в Российской империи первым слогистом.

Сенатский секретарь читал долго. Астраханский полк, обутый в тупоносые черные башмаки на высоких каблуках, отмораживал ноги.

У Остермана устала шея. Тогда он подпер желтым ногтем большого пальца упрямый подбородок, обросший белым волосом.

Сенатский секретарь читал.

«Ничего не умеют», — думал приговариваемый к колесованию.

Но колеса не заготовили.

Все, что писал и говорил граф Остерман при шести правительствах Российской Империи, можно было понять двояким образом. А тут в бумаге седьмого правительства, которое втащило его на эшафот, как ни тужься, нельзя было выискать второй мысли, противоположной.

Обвинялся Остерман в утайке тестаменты «блаженная памяти императрицы Екатерины I», по которому выходило, что ежели великий князь (т. е. Петр II) без наследников преставился, то имеет по нем наследовать цесаревна Анна и ее десценденты (голландский, значит, уродец), по ней цесаревна Елисавета и ее десценденты, «однако ж никто никогда Российским престолом владеть не может, который не греческого закона».

И еще обвинялся Остерман в составлении свадебного проекта для Елисаветы, предлагая ее выдать за чужеземного убогого принца. И еще в учинении Елисавете разных озлоблений. И еще...

Миних, Головкин, Левенвольде, Менгден и Темирязев расставлены были в полукружок подле эшафота. На победителе герцога Бирона и многих народов вихрился красный плащ, поверх кафтана цвета лезвия шпаги. Держался Миних прямо, как палку проглотил, и даже озираал астраханцев злыми глазами. Однако лицо его, красивое чертами, было будто вылеплено из снега. При заарестовании, в ночь на 25 ноября, мушкетеры изрядно поколотили генерал-фельдмаршала. На переносице, над левым глазом, над губой, на скуле повскакали багровые дули и щедрины, но, как следствие протянулось, то и негодь вся с лица, красивого чертами, поуспевала отвалиться.

Когда сенатский секретарь дочитал приговор до конца, к Остерману подошли солдаты, подняли его со стула и положили лицом вниз на пол.

Женщины с превеликой живостью похватили детей на руки, а которые — посадили к себе на плечи, чтобы лучше было глазеть.

Палач сдернул с приговоренного куцый парик и растегнул ворот как у шлафрока его, так и у рубахи. Обнажилась желтая жилистая шея.

Женщинам и детям не было скучно.

Палач швырнул старика на плаху и ухватил за волосы. Головкин, Левенвольде, Менгден и Темирязев потупились, а Миних, улыбнувшись непритворно, не опустил глаз. В эту минуту он забыл, что ему следующему всходить на эшафот. Левенвольде — в прошлом красавец, игрок и волокита, услышал подле себя: «Сие не худо!» Он подумал, что генерал-фельдмаршал сошел с ума.

Второй палач поднял топор.

Тут сенатский секретарь не торопясь вынул другую бумагу и прочел:

— Бог и государыня даруют тебе жизнь.

Остермана подняли.

Миних выпятил с презрительностью нижнюю губу. Из толпы первой стала лаяться купецкая жена в куньей шубе; а за ней и другие.

— Прошу вас возвратить мне мой парик и шапку, — сказал тихим голосом помилованный.

Подали. Напялил.

Застегнул дрожащими пальцами ворот у рубахи и у шлафрока.

Астраханского полка долгоносый профос, в сермяжном кафтане с зелеными обшлагами и в козлиных штанах, вытер кулаком слезу.

Солдаты снесли помилованного с помоста.

Извозчицья клячонка помахивала хвостом-ледышкой.

Остерман одернул лисью поколенную шубку, поудобней лег в саних и, хрустнув костяшками худых пальцев с желтыми ногтями, вторично подумал о Елисавете и сенаторах ее: «Ничего не умеют».

Миних, Головкин, Левенвольде, Менгден и Темирязев на эшафот не всходили.

\* \* \*

«В Сибирь!»

И поехали: Остерман в Березов, Миних в Пелым.

Бирону же милость — из Пельма в Ярославль.

\* \* \*

У околицы сани, увозящие Миниха, и сани, возвращающие Бирона, повстречались.

## Четвертая глава

### 1

У Фике распухли губы от поцелуев.

— Довольно. А то мне будет больно дотронуться ртом до чашки, и я не смогу вечером пить чай. Это огорчит мою маму.

— Любите ли вы меня, милая Фике?

— Да! Очень! — и прижавшись головой к широкой груди красивого офицера прусской службы, она добавила: — Вы же мой дядя, как я могу вас не любить?

Она сказала это тоном ближайшей родственницы и вполне искренно. Так, по крайней мере, показалось



принцу Георгу-Людвигу, родному брату ее матери, красивому офицеру.

Разве давно не замечено, что глупость понимает толк в прекрасном: как часто головы, в которых она устраивается, имеют форму, отвечающую самым строгим законам гармонии, а неряшливая мудрость сплошь и рядом довольствуется безобразным горшком, увенчанным лысиной.

Красивый офицер вздохнул:

— Вы ребенок, с которым нет возможности говорить.

— Мне уже четырнадцать лет, милый дядя.

— Замолчите! — воскликнул двадцатичетырехлетний офицер — вы даже не имеете понятия, как мне тяжело быть вашим дядей.

— Ай, пожалуйста, только не говорите этого маме. Она очень рассердится на меня, если узнает, что я такая плохая племянница.

— Опять! Вы бессердечны.

Но девица не унималась.

— Скажите, дядя...

Нечто похожее на стон вырвалось из груди несчастного родственника.

— Дядя! — сочувственно воскликнула притворщица. — Научите же меня скорей, что я должна сделать, чтобы стать примерной племянницей и чтобы вам не было тяжело быть моим...

Офицер с такой силой сжал ее в своих объятиях, что проклятое слово «дядя» притворщица скорее выдохнула, чем проговорила. Но, тем не менее, офицер его услышал.

— Фике, — сказал он умоляющим голосом, — согласитесь выйти за меня замуж. Право, это не имеет большого значения, что я довожусь вам... кем-то.

Фике подняла на него счастливые глаза.

А вечером она действительно не могла пить чай.

Брауншвейг был третьим по счету городом, в котором они целовались. Началось с Берлина, где им мешала Бабет Кардель. Потом Гамбург, где им не мешала Бабет Кардель. И, наконец, Брауншвейг, где им покровительствовала Иоганна-Елисавета, легкомысленная мамаша.

Фике легла в кровать половина одиннадцатого, а заснула после того, как бронзовые часы с лазуревым циферблатом пробили четыре.

Лежа на животе, она думала о широкогрудом офицере с большими сильными руками. Это была ее первая любовь. Ей нравились его глаза, умеющие выражать только чувства, и его голос, похожий на военную трубу. Она благодарила судьбу-сводницу. «Что было бы со мной, если б я не встретила дядю? Я бы умерла, не познав любви». Ей казалось, что молодого человека с тонкими руками, с грудью не столь широкой, с голосом, не похожим на военную трубу, с глазами, выражающими игру мысли, — она бы никогда не могла полюбить.

Лежа на животе, Фике уверяла себя: «Я буду обожать его всю жизнь, до самой могилы. Ах, милый дядя, я постараюсь сделать тебя очень счастливым. Я не взгляну ни на одного мужчину, какие бы ни были у него сильные руки. А ты? Милый дядя, у тебя такие глаза и такой голос, и такие большие руки, что, наверное, всеберлинские красавицы будут вешаться тебе на шею. Но я тебя не отдам. Я выцарапаю глаза первой же, которая на тебе повиснет. И второй, и третьей, и четвертой — тоже выцарапаю. А если ты мне изменишь, я приму какой-нибудь яд и умру».

Фике заснула, когда стрелки на бронзовых часах с лазуревым циферблатом показывали четверть пятого.

\* \* \*

На следующий день, когда тени издеваются над нами, превращая наши ноги в ходули и головы в нелепые кувшины, дядю с племянницей можно было увидеть на улицах Брауншвейга.

Несколько брызг из цинкового фонтана, стоящего как раз посреди рынка, упало на блестящие коричневые волосы Фике и на зеленый мундир с широкими обшлагами и полами, завороченными назад. От фонтана дядя и племянница направились к ратуше, закинувшей в небо готические башни, и прошли под балконом, не внушающим опасения, так как девять брауншвейгских владельцев подпирали его своими каменными головами.

— Фике...

Большие сильные пальцы сжали маленький локоть.

Трудно объяснить, как могла эта невероятно худая девочка, с двумя коротенькими соломинками вместо ног и двумя длинными белыми ниточками вместо рук, возбуждать желания в двадцатичетырехлетнем офицере с голосом, как военная труба.

— Фике, вы так и не дали мне ответа?

Она прижалась большелобой головкой к офицерскому плечу, почти такому же твердому, как плечи девяти брауншвейгских владетелей, подпирающих балкон каменными головами.

— Вы согласны, Фике?

Оказывается, что и медная труба может выдуть любовную песенку необыкновенной нежности.

Через неделю возлюбленные принуждены были расстаться. Дядя уехал в Берлин, в казарму, а семейство Христиана-Августа — в Цербст.

При прощанье, орошая обильными и безутешными слезами большие сильные руки, Фике торжественно поклялась прекрасному офицеру ни на минуту не забывать его, быть верной ему до могилы и выйти за него замуж в тот час, в который решители ее жребия дадут согласие.

\* \* \*

А про Брауншвейг в краткой политической географии 1745 года сказано следующее: «Большой и притом довольно укрепленный город, который для знатных своих ярмарок, так же и для разных выдержанных осад, а напоследок и для тамошнего пива, мумма называемого, славен».

## 2

Был умный зимний день. Ни дикого ветра с ледяной речки, ни злого мороза, ни бессмысленной январской капели. Было в меру по-зимнему холодно, в меру по-зимнему тепло. Падало, казалось, с неба замерзшее молоко.

Христиан-Август ел картофельный суп. Разумеется, всякий видел глаза животного — жующего, пьющего или испускающего мочу? Спокойные, исполненные серьезности глаза? Такие глаза были у Христиана-Августа, когда он ел картофельный суп.

Иоганна-Елисавета страдала. Она спрашивала себя: «Ну почему же это должно происходить так громко? Нет, не напрасно говорят про англичан, что они нарочно ходят слушать, как немцы кушают суп».

А Фике под эту музыку мечтала о дяде. Он обещал, не позже как в первых числах февраля, приехать в Цербст. Коричневополосая девица въявь представляла, как они будут целоваться, пока не распухнут губы, и под башней Роланда, опущенной снегом, и на развалинах крепостных укреплений XV века, и на всех скамеечках, стоящих на берегу замерзшей речки. Возлюбленные начнут целоваться при белых звездах, так поэтически называла Фике снег, а кончат, когда звезды, падающие с неба, станут голубыми. Звезды будут таять на горячем дядином лице. У дяди будет мокрый рот. Он будет целовать ее мокрым ртом. Мысль об этом обстоятельстве почему-то доставляла Фике особое наслаждение.

Принесли телятину под белым соусом. Не успел Христиан-Август проглотить куска, как вошел камерлакей с сообщением, что прибыла эстафета из Берлина.

— Принесите пакет сюда, — сказал фельдмаршал.

\* \* \*

Мы, кажется, еще не поставили в известность, что как только Елисавета Петровна села на родительский престол, Фридрих II, король прусский, зная привязанность императрицы ко всем своим родственникам, в том числе и к голштинским, поспешил произвести князя Христиана-Августа в фельдмаршалы.

Король прусский, впоследствии прозванный Великим, считал необходимым поддерживать дружбу с русскими варварами. Он полагал, что и будущие правители Пруссии, в интересах отечества, принуждены будут следовать его примеру.

«Принца Ангальт-Серпста король пожаловал в фельдмаршалы», — писал русский посол из Берлина в Москву, где находился двор.

\* \* \*

Фельдмаршал скovyрнул вилкой печать, напоминающую громадную запекшуюся каплю крови.

— Телятина остынет, сударь, — не без раздраженности сказала цербстская княгиня.

Ее светскость не могла простить мужу скovyривание печатей вилкой и чтения бумаг за обеденным столом.

«О, эти люди Фридриха-Вильгельма!» — так в то время обзывали староманерных господ, одетых, говорящих, двигающихся и думающих не по моде.

Надо сказать, что во все времена — одевались, говорили, двигались и думали не по моде либо глупцы, либо бунтовщики. К лицам второй категории, к сожалению, мы никак не можем отнести князя. Впрочем, впоследствии императрица Екатерина II уверяла, что ее отец держался республиканских убеждений и что в этом отношении она являлась прямой наследницей прусского фельдмаршала.

Христиан-Август, окончив переборку бумаг, сказал некомнатным голосом:

— Тут, сударыня, и для вас кое-что имеется, — и добавил значительно: — Из Петербурга.

— Давайте же, давайте! Ах, как вы медлительны, — воскликнула светская женщина, выхватывая из негнущихся пальцев большой толстый пакет цвета слоновьего клыка.

Но прежде чем вскрыть, она сочла необходимым исследовать его на свет, повертеть в руках и трижды перечитать ничего не значащие слова адреса, выведенные крупным красивым почерком.

Так большинство женщин поступает с письмами.

Наконец цербстская княгиня, забыв всякую светскость, нервически сломала печать.

— Это от гофмаршала Брюммера, сударь.

— Что же он сообщает о нашем юном друге?

\* \* \*

Юный друг, то есть внук Петра Великого и по бабке Карла XII, чертушка и уродец Карл-Петр-Ульрих, обученный в Голштинии фрунтовым выправкам, муштрованию, кадрилиам и ничему более, — 5 февраля 1742 года прибыл в Санкт-Петербург. Его свита состояла из камергера Дукера, обер-камергера Бернгольца и обер-гофмаршала Брюмера, прекрасного дрессировщика. Елисавета Петровна, в восхищениях от приезда племянника, немедля налепила на него орден св. Андрея Первозванного с богатой, бриллиантами обсыпанной звездой и ко дню рождения пожаловала подполковником лейб-гвардии Преображенского полка. А к концу года был обнародован манифест, в котором Карл-Петр-Ульрих, перешедший в греко-российскую веру, переименовался в Петра Федоровича, великого князя и наследника российского престола. Посольству же, прибывшему в Москву к внуку Карла XII от стокгольмского сейма с предложением шведской короны, было сказано, чтобы убирались восвояси.

\* \* \*

Телятина под белым соусом, по мере чтения брюмеровского письма, остывала на тарелке, а лицо цербстской княгини, вследствие трепетания духа, распестрялось пятнами.

Петербургский пакет вывел Фике из мечтательного полузабытья. Брызгая, через плечо матери, левым глазом в обер-гофмаршальское послание, ей удалось прочитать следующие фразы:

*«...хлопотал и употреблял всевозможные старания, чтобы довести дело до желанного конца... Эта августейшая императрица желает, чтобы Ваша Светлость, в сопровождении принцессы, старшей Вашей дочери, прибыли возможно скорее и не теряя времени в Россию... Ваша Светлость слишком просвещена, чтобы не понять истинного смысла... и принцессу, Вашу дочь, о которой молва сообщила нам так много хорошего... не-*

*сравненная монархиня мне именно указала предварить Вашу Светлость, чтобы принц, супруг Ваш, не приезжал вместе с Вами...»*

«Это очень мудрое указание», — положила в мыслях неверная жена.

«Бедный папа», — подумала любящая дочь.

Прочитанное письмо Иоганна-Елисавета сунула под тарелку.

— После обеда, сударь, пройдите ко мне в комнату. Мне надо с вами поговорить, — сказала она мужу.

Даже фельдмаршал заметил, что его супруга не могла скрыть трепетания духа.

Когда Фике, изъявив благодарность, отходила от обеденного стола, цербстская княгиня взглянула ей вслед.

— Обратите внимание, сударь, на вашу дочь. Не правда ли, у нее походка королевы?

Фельдмаршал удивленно поднял на жену свои круглые глаза, красивые, как у лошади, но, как мы уже говорили, лишенные лошадиной задумчивости.

А Фике действительно со смешной важностью передвигалась на коротких соломинках. Железный корсет палача и черная шейная лента, снятые не столь давно, сделали девочку чересчур прямой, чересчур несгибаемой.

Не успела взволнованная княгиня высказать фельдмаршалу и половину своих соображений по поводу письма обер-гофмаршала Брюммера, как в Цербст пришла вторая эстафета из Берлина.

*«Совершенное почтение, питаемое мною к Вам и ко всему, касающемуся Вас, обязывает меня сказать Вам, какова собственно цель этого путешествия, и доверенность моя к вашим прекрасным качествам позволяет мне надеяться, что Вы осторожно отнесетесь к моему сообщению по делу, успех которого вполне зависит от непроницаемой тайны. В этой уверенности я не хочу далее скрывать от Вас, что вследствие уважения, питаемого мною к Вам и к принцессе, Вашей дочери, я всегда желал ей доставить необычное счастье, и у меня явилась мысль, нельзя ли соединить ее с ее троюродным братом, русским великим князем. Я приказал хлопотать*

*об этом в глубочайшем секрете, в надежде, что это не будет Вам неприятно», — писал Иоганне-Елисавете король прусский Фридрих II.*

### 3

Падал снег.

Фике стояла у окна.

Вязь ее мыслей, течение их, стекаемость и растекаемость, вызывали некоторое изумление. По всей вероятности, в ее мыслях еще было чересчур много детскости. Этим мы хотим сказать, что они были слишком расчетливы.

«А в Петербурге, — думала она, — целые полгода падают с неба белые пушистые звезды. Но там они, конечно, гораздо больше и красивей. В Петербурге они, наверно, похожи на ордена, осыпанные бриллиантами. У русской императрицы бриллиантов больше, чем во всем мире. Она, может быть, держит их в мешках, как горох или картошку. Потому государыне их совсем не жалко. Она даже моей маме прислала свой портрет, осыпанный драгоценными камнями. Я бы хотела жить только в Петербурге. Это самый лучший город в мире. Его построил самый великий император. Наследник русского престола, Петр Федорович — его внук. У Петра Федоровича почти желтые глаза. Желтые глаза самые красивые. Нет выше счастья, чем носить корону. Больше всего на свете я бы хотела носить корону. Мама говорила неправду, что Петру Федоровичу требуется жена из могущественного дома. Почему это? Его притязания на престол вовсе не надо поддерживать жене из могущественного дома. Петр Федорович сам могущественный. Его уже объявили наследником русской короны. Самое большое счастье — это носить корону. Я хочу носить корону. Я буду носить корону. Петру Федоровичу нужна супруга не могущественная, а умная, образованная и любящая. Я для него самая подходящая супруга. Я буду его любить больше всего на свете. Мне очень нравятся почти желтые глаза. Корона тоже желтая. Мама довольно часто говорит неправду. Русская императрица прика-



зала написать с меня портрет и прислать его в Россию. Мама говорит неправду, что Елисавета Петровна сделала это, потому что любит своих родственников. Я ей прихожусь очень далекой родственницей. А три моих портрета уже отправили в Петербург. Какая я была глупая, что верила маме. Зачем нужно русской императрице столько портретов далекой родственницы? Папа тоже довольно часто говорит неправду, но он это делает очень неумело. Папа говорит неправду, что внимание Елисаветы Петровны к нашему дому объясняется любовью императрицы к моей маме. У мамы был родной брат, епископ Евтинский и Любский. Это верно. Епископ умер в Петербурге от оспы. Это тоже верно. Епископ был женихом Елисаветы Петровны. И это верно. А дальше все выдумки. Папа говорит, будто Елисавета Петровна так сильно любила маминого брата, что и теперь о нем плачет и никак не может его забыть. А по-моему, она его давным-давно забыла. Я один раз подслушала, как мама сказала: "У русской императрицы фаворитов больше, чем у меня платьев". И вообще я думаю, что мама во всей истории играет совсем маленькую роль. Если бы Елисавета Петровна интересовалась моей мамой, а не мной, она бы просила прислать в Петербург три маминых портрета, а не три моих. Теперь я понимаю, почему меня показывали с распущенными волосами камер-юнкеру Сиверсу, приехавшему из России. Надо было бы показывать маму с распущенными волосами, а не меня, если бы то, что говорит папа, было правдой. Господин Сиверс осмотрел меня очень внимательно и со всех сторон. Это было немного грубо. Говорят, что камер-юнкер Сиверс прежде играл в России на скрипке в кабаке у какого-то нашего соотечественника. Его увидела русская императрица и взяла себе в ямщики. А из ямщиков произвела в придворные. Русская императрица может делать все, что угодно. Нет большего счастья, чем стать императрицей. Когда я выйду замуж за наследника русского престола...»

Падал снег.

Фике то и дело прижимала горячие пальцы к стеклу. Когда пальцы охлаждались, она клала их на пылающие глаза. Но это не помогало.

Башня Роланда высилась, опущенная снегом. Она казалась тенью. Поднявшейся тенью. Тенью, оторвавшейся от земли. Скамеечки, стоящие на берегу ледяной речки, походили на белых четвероногих зверьков.

Падал снег. В темном небе появились звезды, маленькие и большие. Подобно людям и животным, были одинокие звезды, были звезды, имеющие спутников в своем медленном движении по небу, и звезды, сбившиеся в кучки.

«У наследника русского престола глаза, как звезды», — подумала Фике. Она забыла, что у Петра Федоровича бесплечее тело, похожее на длинную-длинную шею.

В комнату заглянула Бабет Кардель. Обнаружив свою воспитанницу застывшей у окна, не улыбающейся, с взором, устремленным в звездное небо, Бабет на цыпочках подкралась к ней и, нежно обняв за низкую талию, прошептала в пылающее ухо:

— А я знаю, о ком вы мечтаете! — и с прехитрой улыбкой назвала имя красивого двадцатичетырехлетнего офицера.

Фике с неподдельным удивлением взглянула на простодушную толстуху.

— Как вам только могли придти в голову, мадмуазель Бабет, такие несуразности!

— Ну, ну, не скрытничайте.

— Вы прямо смешны мне, мадмуазель, — отрезала Фике и с такой презрительной гримасой вышла из комнаты, что обескураженная толстуха и в самом деле сочла свою догадку несуразностью.

«Вот дура! — думала Фике, в медлительной важности минуя галерею с цветными стеклами, — толстая слепая дура».

#### 4

Прошло трое суток, а с Фике никто не говорил о письме обер-гофмаршала Брюммера. Она лишилась сна и аппетита. Она даже перестала улыбаться.

«Августейшая императрица желает, чтобы Ваша Светлость в сопровождении принцессы, Вашей дочери, прибыли возможно скорее и не теряя времени, в Россию», — эта фраза ни на минуту не выходила из головы.

«Господи, ведь в письме же совершенно ясно сказано "не теряя времени", а они вот уже третьи сутки как запираются в кабинете и все о чем-то совещаются. Всесильный Бог, о чем тут можно совещаться? О чем говорить? Что обсуждать?» — думала она, до боли сжимая ладонями свои слишком высокие виски.

Был день, когда Фике ела свиные котлеты, гуляла по Цербсту, легла в кровать и села на ночную вазу в короне, совершенно явственно ощущая ее холодок, ее тяжесть. У Фике даже слегка уставала шея. Но какая это была приятная усталость. А теперь!.. «Боже мой, Боже мой!» — и воспаленные глаза цербстской мученицы уже видели эту прекрасную тяжелую русскую корону то на дочери французского короля, то на сестре Фридриха II, то на саксонской принцессе, то, и это было подлинное безумие, на голове толстухи Бабет, которая злоумышленно прочла свою воспитанницу в жены ничтожному прусскому офицеришке.

Фике не выдержала и пошла к матери разговаривать.

— Это я. Разрешите войти, — сказала Фике не своим тоном.

— Входите, сударыня.

Иоганна-Елисавета рассматривала куклу, только что полученную из Парижа. Кукла была причесана и одета по самой последней моде.

Фике вкрадчивыми шагами приблизилась к матери. Та, не выпуская куклы из рук, спросила:

— Вы очень беспокоитесь? Вы умираете от любопытства, сударыня?

— Да, конечно, — ответила Фике, улыбаясь.

Еще ни разу в жизни ей не было так трудно улыбаться.

— Письмо, полученное из Петербурга, волнует не одну меня. Оно волнует всех в доме.

— А что говорят о нем? — рассудила поинтересоваться Иоганна-Елисавета, продолжая рассматривать фасон маленьких фижм цвета железа, тронутого ржав-

чиной. — Не правда ли, сударыня, эта кукла божественно одета? Разве могли бы немцы или англичане сшить нечто подобное? Французы — народ богоизбранный.

Фике согласилась. Хотя, надо сознаться, у нее было желание несколько уточнить афоризм матери, т. е. сказать, что «эти слова, конечно, сама истина, но только в отношении французских портних, а не всех французов». Несгибающаяся девица уже считала богоизбранным народом русских варваров.

— Что же говорят, сударыня, о петербургском письме у нас в доме?

— Всякие пустяки.

— А вы, сударыня, что вы об этом думаете? Что, по-вашему, в нем заключается?

— В нем заключается...

Ах, Фике очень хотелось бы в эту минуту не показать волнения; однако не все сразу дается. Мы всего-навсего люди. Никто из нас не родится великим поваром, великим философом или великим притворщиком. Но жизнь относительно милостива. Своим избранникам она имела обыкновение предоставлять довольно широкие возможности совершенствоваться в направлениях, отвечающих их желаниям. Цели же бывают легкие и трудные. Поговорим об избранниках, потому что эта книга, к сожалению, посвящена им. Итак, мы считаем, например, что избраннику гораздо легче было вырасти в порядочного человека, чем стать порядочным негодяем. Для второго, нам кажется, требовалось затратить несравненно больше усилий, настойчивости и времени. А любители парадоксов, может быть, добавят: и таланта!

На вопрос цербстской княгини Фике с волнением ответила:

— В нем заключается приглашение русской императрицы. Вас и меня зовут в Россию.

— Откуда вам это известно, друг мой?

Фике несколько растерялась; нельзя же признаться, что брызгала левым глазом в обер-гофмаршальское послание.

— Ну-с, я вас слушаю, — продолжала допытываться княгиня, находившаяся в духе удовольствия.

Фике стала врать:

— Я узнала это через гадание.

— Вот как?

— Да! да! — очень искренно воскликнула лгунья. —

Фразу о приглашении нас в Россию я вывела из букв, составляющих мое и ваше имя. Я научилась этому искусству в Брауншвейге от одной женщины.

И Фике принялась пояснять с видом старого опытного мага:

— Буквы и цифирки рассыпаются по канве. Конечно, надо знать, как ее расчертить. Тут на помощь приходят звезды. Потом при помощи точек определяешь порядок. Это совсем не просто. Над одной маленькой фразой я билась тринадцать часов.

— Ну, если вы такая ученая, — сказала насмешливо цербстская княгиня, — вам надо лишь отгадать остальное содержание делового письма в двенадцать страниц.

— Хорошо, я постараюсь это сделать, — ответила Фике и, поклонившись, вышла из комнаты со спокойной важностью, которую она обрела еще быстрее, чем потеряла.

Вечером юная комедиантка передала цербстской княгине записку следующего содержания: «предвещаю по всему, что Петр Федорович будет твоим супругом».

Прочитав записку, Иоганна-Елисавета сделала вид, что очень удивлена:

— Да вы, сударыня, пифия!

Тогда Фике упала на колени и, целуя у матери руки, стала умолять о согласии на поездку в Россию.

— Ах, я всем сердцем чувствую, что там мое счастье, — шептала она, незаметно брызгая на княгиню левым глазом.

— А как же мой брат Георг? Что он скажет? — вдруг спросила Иоганна-Елисавета.

Фике меньше всего ожидала этого вопроса — коварного или глупого? В течение трех дней она основательно успела забыть о существовании красивого прусского офицера с большими сильными руками и голосом, как военная труба.

— Что же вы молчите, сударыня?

Фике выпрямилась, и, смотря матери прямо в глаза, сказала с трогательной наивностью:

— Я уверена, что дядя будет очень рад за меня. Он всегда мне желал благополучия и счастья.

## 5

Христиан-Август не с легким сердцем отпускал дочь и жену. Россия, это — топор, колесо, кнут, каземат, Сибирь, оспа, дворцовые революции и греческая вера.

«Глупая маленькая Фике, откуда ей знать, в чем счастье?»

И фельдмаршал, против всех своих обыкновений, сажал дочь на колени и смотрел на нее глазами грустными, как у старой лошади; потом прижимал большелобую головку к своим холодным пуговицам, к колючим орденам, к груди, колеблемой глубокими вздохами; потом гладил жесткими солдатскими ладонями коричневые волосы и некомнатным голосом, но таким нежным, чертовски нежным, вел моральные и критические рассуждения:

— Сколько вам лет? Четырнадцать! Вы еще и в невесты-то не поспели. Куда спешить? А когда придет время, мы вас выдадим за соседнего принца, за принца цивилизованной страны. Вот увидите, мы найдем красивого жениха, он будет лютеранской веры. Самое большое счастье иметь чистую душу. Мне страшно подумать, что вас могут заставить в России переменить веру. Подумайте о душе.

Критические и моральные рассуждения фельдмаршала были очень длинны и не очень многообразны: душа, вера, Россия, Бог, Царствие Небесное, царствие земное, чистое сердце... чистое сердце, царствие земное, Царствие Небесное, Бог, Россия, вера, душа.

— Лучше отказаться от неверной короны, чем поступить против своей совести.

Душа, вера, Россия, Бог...

В который раз?

А Фике в ответ только плакала. Она прекрасно понимала, что на слезы любимой дочери фельдмаршалу трудней возражать, чем на слова.

— Скажите же мне что-нибудь, — умолял несчастный отец.

А Фике покрывала поцелуями его руки. Женщины и полководцы знают, что самое лучшее, самое верное оружие — нечестное оружие. Потому-то в решительную минуту они и предпочитают им сражаться.

Мучимый скорбным предчувствием, Христиан-Август сказал:

— Пройдите к себе и попросите, чтобы меня никто не беспокоил.

Фике поднялась с колен и с повисшими руками направилась к двери. На пороге она повернула к отцу мокрое лицо и почтительно поклонилась.

Замок щелкнул.

Покорная кроткая девица на мгновение остановилась в пустынном сводчатом коридоре, хлопнула в ладоши, подпрыгнула и, перевесившись через перила, скатилась на животе в первый этаж.

А фельдмаршал, колеблясь в мыслях и с глазами, обращенными на распяты́е, сидел в кресле. Он совещался с Богом и с самим собой. На это занятие ушло довольно много времени.

Выплыла луна.

Фельдмаршал подошел к письменному столу и зажег свечи.

Глупые люди, как правило, не сомневаются в своем уме. Большею частью они также не сомневаются в том, что друзья и знакомцы их считают за умников. Поэтому, не тревожимые сомнением, они обычно столь разговорчивы в обществе, многословны в письмах и щедры на сентенции.

Фельдмаршал оточил перо. Перед маленькой Фике лежала жизнь. Отец решил дать своей крошке несколько мудрых наставлений, так сказать, крепкий посох, с которым она пойдет по жизни, не споткнувшись. Только бы она не выпустила его из своих слабых ладоней.

Фельдмаршал недаром прожил свой век. Он шествовал, оглядываясь по сторонам. Господь Бог дал нам уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть. А глупцы завязывают их. Принесем же Господу благодарение за то, что

он не создал фельдмаршала глупцом. Теперь у фельдмаршала есть святая обязанность — передать дочери всю свою житейскую мудрость. Пути Господни неисповедимы. Кто знает, может быть, и вправду крошку Фике ждет русская корона? Как же отцу не облегчить тяжести ее?

Христиан-Август обмакнул перо и, перекрестясь, вывел первые слова:

*«Pro memoria»*, что означает «на память».

Он писал всю ночь. Судорога дважды сводила узловатые подагрические пальцы. В первый раз на фразе, рекомендующей Фике *«униженно оказывать Ее императорскому величеству всевозможное уважение...»*, во второй раз на практическом поучении *«милостивыми взорами смотреть на слуг и фаворитов государя»*.

Качающееся пламя свечей вызвало острую резь в глазах.

Абзац *«карманные деньги, какие только будут отпущаться, держать у себя и хранить, выдавая понемногу прислуге, по счету»* фельдмаршал написал полуслепым.

Первые лучи белого зимнего солнца, неторопливого в своем восхождении, совершенно обесцветили качающиеся язычки оплывающих свечей, вернее, огарков.

Фельдмаршал поставил жирную точку.

— Утро!

Он скинул сапоги; откинулся на спинку кресла; вытянул ноги, вытянул руки, — в локтях и коленях лирически хрустнули косточки; широко вздохнул:

— Какое прекрасное утро!

А слишком обыкновенное зимнее утро, пронизанное пугливыми белыми лучами, казалось ему таким прекрасным потому, что испытывал одновременно и приятное чувство исполненного долга, и вполне понятное чувство гордости от сознания силы и глубины своих мыслей.

## 6

Самая умная погода обернулась в самую глупую — ветер, мокрота. В холодном поту стояла башня Роланда. Скамеечки, что тянулись по берегу речонки, напоми-



нали бездомных грязных собак. Никому бы в голову не пришло целоваться на таких скамеечках. Вороны падали на крыши домов и на развалины старинных укреплений, как черные мокрые тряпки.

Из Цербста выехали на колесах.

От плаканья у толстухи Бабет нос стал, что синяя слива.

Фике сказала своей воспитательнице: «Уезжаем в Берлин и через несколько недель будем обратно». Русская императрица и прусский король приказали окутать непроницаемой тайной это путешествие. И все окутывали. А Фике больше других. Но так как на свете не бывает непроницаемых тайн, то как раз те, кому не следовало бы знать, — прекрасно знали цель и конечную черту путешествия.

Бабет была убеждена, что она видит свою «щепочку» в последний раз. Поэтому-то мадмуазель и плакала так горько.

Если вы будете убеждены, что видите в последний раз цепного пса, или свою детскую кровать, или небо, под которым выросли, вы, может быть, тоже заплачете. И совсем не оттого, что все это вам бесконечно дорого. Нет, просто-напросто видеть что-либо в последний раз очень грустно. Это говорит о краткости и обреченности жизни.

Свита состояла из горничных, лакеев, повара. Всего несколько человек. Багаж не тяжелый — платья, немного белья. Уложили, что было. Считали не дюжинами.

В Берлин приехали 11 января. На придворном ужине Фике сидела рядом с прусским королем. Фридрих II расточал любезности большелобой девочке.

— Вы наполнены прелестей, амуров и граций, — так говорил некрасивой девице, а сам думал: «Черт ее знает, эту Россию, с ее ордами, татарами, киргизами, казаками, тысячемильными пространствами, проклятыми городами, до которых никакая армия не домарширует».

О музыке Фике сказала, что она «громадная». Что-то смешное девица сказала и о поэзии.

Король был человек беседы. Он струил и струил о комедиях, о балетах, о маскарадах.

Односложные ответы, казалось, приводили короля в восторг; улыбка, заморозившая полудетское лицо с длинным подбородком, казалось, совершенно его пленила.

«Черт ее знает, эту Россию! Хоть бы девчонка-то оказалась добрых поведений. Татары, киргизы, казаки... А девчонка-то слишком уж обыкновенная, ничего выдающегося. Татары, киргизы...»

У короля разболелась голова.

## 7

Фике дремала. Ей чудилось, что сани едут по холодному черному кофе. Она открыла глаза. Грязь и вправду была похожа на кофейные недопитки.

Лошади не везли, а тащили карету.

Христиан-Август свистел носом. Иоганна-Елисавета страдала по этой причине. А когда она спала, она тоже свистела носом, только на другой — тоненький манер.

Фике не умела мечтать, но она умела и любила думать о будущем, ощущая его по-своему. Ее будущее никогда не принимало таинственных очертаний. Оно не было некоей туманностью — расплывающейся, рассеивающейся, колеблющейся. Фике во сне ни разу не летала. Она и в сновидениях или ходила по земле, или сидела в кресле, или ела телятину.

Девочка, не имеющая дюжины ночных рубашек, довольно часто ночью примеряла порфиру — примеряла серьезно и деловито, несмотря на то, что стеганое одеяло исполняло обязанности пурпура и горностая.

Хлюпали подковы.

Свистел носом Христиан-Август.

Фике полулежала с закрытыми глазами.

«Самое важное понравиться. Я сделаю все, чтобы понравиться. Я понравлюсь. Я должна понравиться», — говорила она себе в двадцатый, в тридцатый, в пятидесятый, в сотый раз.

«Я должна понравиться прежде всего Елисавете Петровне, потом Петру Федоровичу, моему жениху, потом России».

В Шведе на Одере прощались с Христианом-Августом. Обе женщины, чтобы оказать почтение, горько плакали. Фельдмаршал обронил слезу, оказав любовь.

С Штаргардта начались морозы. Ехали в шерстяных масках с дырками для глаз. Дорога поджескла.

Иоганна-Елисавета для сохранения тайны взяла имя графини Рейнбек.

От полулежания и полусидения у Фике распухли ноги. Ее выносили из кареты и вносили в карету на руках.

Президенты провинций, исполняя приказ прусского короля, оказывали Рейнбек и ее дочери всякие внимательности.

В городах таинственные путешественники останавливались в квартирах, а в местечках — на постоянных дворах.

В Кеслине Иоганна-Елисавета села за письмо к мужу. В нем лжеграфиня подробно описала путешествие, вспомнив и упомянув таких живых существ, которых она бы сочла недостойными упоминания при иных okazиях. Мы разумеем хозяев и хозяек постоянных дворов, детей их — в люльках, в постелях, за печкой и на тюфяках, а также хозяйских дворовых собак и петухов. Все это, по словам лжеграфини, валялось в полнейшем беспорядке вокруг нее и один около другого, как репа или капуста.

Между Шлаве и Мариенвердером на путешественников напали разбойники. Слава Господу, удалось отбиться. По-видимому, повар и лакей проявили подлинную храбрость. Но почему-то не принято составлять восторженные, или, скажем по-старинному, восхитительные реляции о лакейской храбрости. О солдатской же храбрости пишут очень охотно, хотя мы прекрасно знаем из истории битв, что на каждого победителя обычно имелся свой побежденный и что улепетывающих вояк, если верить военным писателям, всегда было значительно больше, чем героев.

В Кенигсберге путешественники вынуждены были передохнуть два дня. От скуки лжеграфиня решила почитать вслух сочинение Христиана-Августа. Она посадила Фике перед собой и, достав из чемодана «Pro metoia», принялась декламировать с листа, подражая в интонациях знаменитой берлинской актрисе.

Фике, мысля о своем, вначале слушала не очень внимательно.

— Сударыня, — обратилась к ней Иоганна-Елисавета в декламационном тоне, — делаю вам наставительную рекомендацию не пускать фразы мимо ушей. Ваш отец желает, чтобы у его дочери была душа, наклонная к добру.

И, не дав провинившейся открыть рта, стала на высокой ноте продолжать чтение:

— *«...никто не может ни заслужить, ни достигнуть царства Божия собственными делами, обетами или заступничеством святых, но все происходит от заслуг Христа, Сына Божия. Что сходно с этим верованием, то дочь моя может принять, все же несходное должна отвергнуть. При этом она должна иметь при себе лютеранскую Библию, молитвенник и другие лютеранские книги и взывать к Господу Богу, чтобы он до конца живота ее сохранил в ее вере».*

На этом чтение и окончилось, хотя Фике из всех сил показывала, как говорилось тогда, «вид внимания». Мы должны признать, что Иоганна-Елисавета была менее терпелива.

Недаром же она сама себя называла Блуждающим Огоньком.

— Спрячьте, сударыня, сочинение вашего отца в чемодан. В Петербурге мы продолжим чтение.

Фике, взяв листы, понесла их к чемодану на вытянутых руках. Вероятно, она боялась расплескать наполнявшую их мудрость.

Осоловевшая лжеграфиня Рейнбек пустила носом первую тоненькую трель.

— Желаю вам самых сладких сновидений, — сказала Фике и подсунула Блуждающему Огоньку под голову шелковую подушку.

— Благодарю вас, сударыня.

\* \* \*

Прямая улица. Прямые дома. Они будто подняли вверх руки: башни, башни, башни.

Фике на подоконнике стала писать письмо отцу. «Государь...»

Слова ложились на бумагу такие холодные, такие послушные, такие вязкие, что даже самой Фике они чем-то напоминали оставшуюся позади прусскую грязь — кофейные недопитки:

*«...умоляю Вас быть уверенным, что Ваши увещевания и советы навечно останутся запечатленными в моем сердце, равно как и семена нашей святой религии в моей душе, которой прошу Господа ниспослать все силы, необходимые, чтобы выдержать те искушения, которым готовлюсь подвергнуться...»*

Фике подняла глаза: прямая улица, прямые дома; они будто подняли кверху руки.

Окончив письмо, примерная дочь вывела скрипучим пером: *«Кенигсберг, в Пруссии, 29 января 1744».*

Точно. Аккуратно.

Немка.

## 8

Какая салютация!

У цербстской княгини было такое чувство, словно ее посадили в теплое молоко.

— О Боже, я, кажется, сбилась со счета, — всплеснулась она, — который раз выпалили, сударыня?

— Стоит ли, право, считать, — сказала Фике.

Она была несгибающаяся, улыбающаяся, спокойная, с учтивостями. Что же тут за сюрприз? Все так и должно быть: и этот камергер Нарышкин с бесценными собольими шубами и палантинами от императрицы, и князь Долгоруков, вице-губернатор города Риги, переехавший через двинский лед, чтобы встретить, и эта склоненность генерал-фельдмаршала Ласси, и склоненность генерал-аншефа Салтыкова, имеющего у себя под стражей в замке Дюнамюнде бывшую правительницу империи, бывшего императора-младенца, бывшего генералиссимуса русской армии, принца Антона-Ульриха.

Трубы, трубы, трубы.

Литавры, литавры, литавры.

Барабаны, барабаны, барабаны.

И склоненность приветствующего магистрата, и эта золоченая карета, в которой цербстские путешественницы въехали в город, и гоф-фурьеры, и лейб-гвардейцы в белых кружевных манжетах, в белых шелковых бантах и в золотых кистях, и кирасиры полка Петра Федоровича, одетые как на параде: лосяного колера колеты с красными бортами.

— Это сон, — прошептала Иоганна-Елисавета.

Часовые, часовые, часовые, ночующие в ружье.

— А мне кажется сном наша жизнь в Цербсте, — ответила Фике.

\* \* \*

Из Риги предприняли путь в 11 часов утра.

— Надо закидывать ногу, — обучал несгибающуюся принцессу первый российский щеголь, камергер Нарышкин, — закидывайте, закидывайте вот этак.

И камергер творил прекомический пируэт.

— Ах, сударь, я не умею.

— Как в кадрили: раз-два! Раз-два!

И ничего не вышло.

Фике не предвидела, что от невесты наследника русского престола потребуется умение закидывать ногу.

В беспомощном состоянии оправдывалась она перед камергером.

— Очень странные сани.

Нарышкин сказал:

— Это сани Петра Великого.

Тогда Фике немедля закинула ногу и смешно повалилась на груду шелковых перин, прикрытых атласным одеялом.

— В сущности, это мчащаяся кровать, — пояснил Нарышкин, — укладывайтесь поудобней. Положите под голову еще подушку. Желаю вам самых прекрасных сновидений.

Изнутри сани были обиты куньим мехом, а снаружи красным сукном с серебряными украшениями...

Придворные персоны и дежурный офицер лейб-гвардии Измайловского полка сели на передок петров-

ских саней; на запятках поместились два гренадера-преображенца и два камер-лакея.

Раздалась команда кирасирского офицера.

Рослые жеребцы и кобылы, тронутые шпорами, завияли лоснящимися крупами.

Иоганна-Елисавета перекрестилась.

Заскрипел снег полозьями.

Раздалась команда офицера Лифляндского полка.

Конский храп сзади, конский храп спереди.

Этот концерт, услышанный Фике в нежных возрастах, остался в ее памяти на полу столетие как прекраснейший.

Поскакали.

Поезд растянулся на добрую немецкую милю: сани вице-губернатора, сани коменданта, сани камергера Нарышкина, сани магистрата, сани представителей дворянства, сани корпораций, сани, сани, сани.

В Москву!

## Пятая глава

### 1

Москва ругалась.

На низких домовых крышах, на тесовых надворотнях, кровлях и на куполах, схожих с золотыми горшками и плошками, лежал снег горами грязного белья.

Императрица Елисавета Петровна была совершеннейшая танцовщица, подававшая собою всему двору пример правильного и нежного танцевания.

А соли в Москве не было.

Только в немногих улицах стояли слюдяные фонари на столбах, выкрашенных синею и белою краской.

\* \* \*

— Брюху без соли, что дитю без матери, — пророчил с мрачной серьезностью малыш в бабьей дырявой кофте.

— Чего? чего? — и сутулый старик незло потянул за рыжие вихры малыша, свирепо локтями расчищающего себе дорогу к дощатой лавке. — Эх, какой шустрый!

— Чей паренек-то?

— Петуховой вдовы сын.

Кто-то сказал:

— Хоть мочись во щи, чтоб солоней были, прости Христос.

— А солдат ходит в веселых видах, — выкрикнула долгоногая баба.

— Ему по казенную соль в лавку, что в свой карман.

— Усчастливилась синяя сатана.

— Воры!

— Чует муха, где струп.

— Воры!

— Ух, спереду любил бы, сзади убил бы, — с той же мрачной серьезностью пробасил Петуховой вдовы сын, залезая пальцем в нос-репку.

— И то, в колья бы их!

— Вот и я говорю, в колья! Дьяволов!

— Эх, какой шустрый! — повторил ласково сутулый старик.

Но малыш, с глазенками как две большие веснушки, даже не удостоил его взглядом.

\* \* \*

Бароны Строгановы писали доношение в сенат и в коллегии, что в соляной беде они не повинны, что во всем Бог, что соль с пермских варниц села за мелководьем, что нужны люди для перегрузок, а их нет.

Если дама бросила перчатку, это служило знаком приглашения на «менует».

«Воры! Воры! Воры!» — бурчало в московских улицах, уложенных тесно, как кишки в брюхе.

Патрульные разъезды берегли спокойство.

Кавалеры и дамы пудрились перед зеркалом, держа на коленях серебряную лоханку, куда сыпалась пудра.



Прекрасные московские храмы поставлены «на костях казенных и убиенных и на крови».

Бароны Строгановы плакались перед сердобольным сенатом на великие убытки от соляных промыслов и клянчили «обнадежить милостивым награждением».

«Воры! Воры! Воры!»

Государыня, сильно потевя во время танцевания, трижды переодевалась за бал.

За Москвою-рекою солдаты ночью вломились в дом купца Петрова, жену его и племянницу били смертно, кололи шпагою и пожитки грабили.

Генерал-прокурор с утра ездил по городу, а после делал извещение сенату: *«У лавок множайшее число крестьян и прочей подлости, а когда продираются в лавки, то соли уже нет и это который день, а солдаты имеют уметость продираться вперед черного народа для захватки соли; первые скупщики солдаты; по всей Москве торгуют и в главную голову лейб-гвардия; берут с подлых людей знатно лишнюю цену».*

На низких крышах лежал темный ноздрястый снег.

В церквах, в исполнение указа о «Безмолвии», штрафы с разглагольствующих во время службы собирали отставные офицеры и солдаты.

В Ефиопии, говорит Аристотель, государственная власть разделяется между гражданами по их росту или по красоте.

«Где ж слыхано, чтоб хозяйствовал в храме Божьем солдат?» — вздыхал поп с Вшивоедской улицы, Яузской части.

Сенат постановил, что полицмейстерская канцелярия в разбойных делах поступала слабо и неосмотр-

тельно; надо б в полки гвардии и в Военную коллегию сообщить с требованием, чтоб всех драгун и солдат осмотреть, не явится ли чего из покраденных пожитков, и все ли в ночь были на квартирах неотлучно.

Российские послы у дворов Версальского, Саксонского и Королевы Венгерской к всеподаннейшим своим реляциям прикладывали описательные списки самых модных товаров с ценою на них.

Елисавета Петровна, прежде чем подписать бумагу государственной важности, клала ее под изображение плащаницы, ожидая без торопления совета свыше.

В кружалах, где вино подавали в мелкую чарку, и в маркитантских избах, и у рынков, и у торговых мест, где скудные люди хлебали щи, только и слышалось: «Воры, воры, воры».

В иностранной коллегии у вице-канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина случались нервные припадки, когда политическая бумага по месяцу и долее не являлась от государыни.

— Слезами, матка, не умоешься, — строго сказал вдове Петуховой сын ее, явившийся с солью в карманах.

## 2

Большие чубарые лошади, счетом шестнадцать, мчались петровские сани по укатанной дороге. На крутом повороте в подмосковной деревеньке сани мазнули красным сукном своим по избе.

Преображенцы с запяток покатались в сугроб. Расколотые черепа пролили кровь.

Снег, снег, снег.

И черные кривые ракиты.

И черные одинокие птицы.

И собачий вой.

Женщины, лежащие в красных петровских санях, молчали.

Иоганна-Елисавета, подсунув пухлую ладонь под щеку, думала о преображенцах, с расколотыми черепами скатившихся в снег.

Фике, лежащая на спине с руками, сложенными по-мужски крест-накрест, думала о своем розовом муаровом платье без фижм.

Переспорив княгиню, она умышленно оделась скромно.

Надо отдать справедливость этой девочке, она в нужную минуту умела сосредоточить свои мысли на самом существенном. Разве не предстояло ей появиться через какой-нибудь час перед взорами императрицы, великого князя и нации? Так называла Фике толпу елисаветинских придворных. Разве не сказала принцесса себе еще в Цербсте, что должна понравиться? Разве платье не показывает женщину скромной или наглой, девственной или развратной, прелестной или вульгарной, наконец, умницей или дурой?

Лошади дымились. Можно было предположить, что они проглотили горячие головни и что в брюхах у них костры.

— Мы летим со скоростью стрелы, — сказала цербстская княгиня, разглаживая ладонями затекшие ноги.

Лошади пробежали не более двадцати пяти верст в час. Но не будем тщеславны! Через сто девяносто лет и над нами будут улыбаться.

От скуки, вернее от заторможенности, Иоганна-Елисавета пыталась представить себе лицо русского вице-канцлера графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина: «крючковатый нос, птичьи черные глаза!»

Княгиня невольно улыбнулась, хотя и думала о своем враге: сколько раз она уже пробовала подобным образом представить себе чью-нибудь внешность, и всякий раз портрет, нарисованный воображением, являл комическую неудачу.

В Берлине король сказал ей: «Я буду просить вашу светлость о помощи. Вы знаете, я умею быть благодарным. Государственные интересы Пруссии, а также ваши собственные интересы, требуют крушения Бестужева. Прошу не забывать, что господин вице-канцлер меньше

всего желал бы видеть вашу прелестную дочь супругой наследника российского престола. Вице-канцлер настаивает перед императрицей на саксонской принцессе Марии-Анне. У этого Бестужева имеется дурацкая политическая система о союзе России с двумя морскими державами — Англией и Голландией и с двумя континентальными — Саксонией и Австрией. Глупая фантазия! Россия — историческая союзница Пруссии. Прошу помнить, княгиня, что в Петербурге мои друзья станут друзьями вашей светлости». Король назвал Мардефельда, Брюмера, Шетарди и первого лейб-медика Лестока.

Мчащаяся кровать.

Деревья, похожие на черные скелеты.

В девяти верстах от Москвы Фике вдруг замотала головой, словно желая вытряхнуть из нее страшную мысль, пронзившую сознание: «Мы не доедем, что-то должно случиться, какое-нибудь несчастье».

Буераки, заваленные ноздрястым снегом.

Излучины укатанного пути.

В пяти верстах — Фике обозвала клячами шестнадцать дымящихся животных, вернее зверей, по какому-то недоразумению впряженных в сани.

И Елисавета Петровна, помнится, несправедливо ругалась на тихую езд.

Рыхлые сумерки.

Две желтые звезды в небе.

В трех верстах — камер-юнкер Сиверс от имени императрицы и наследника престола приветствовал высоких гостей.

— Ее императорское величество и великий князь, — уверял камер-юнкер, — считают минуты и секунды в нетерпении столь желательного свидания.

В восемь часов вечера красные петровские сани остановились перед деревянным головинским дворцом.

### 3

Еще не скинули рыжих собольих шуб, даренных императрицей, как в покоец вошел длинным прыгающим шагом Петр Федорович.

Заприветствовал кваком.

Голос у великого князя стал какой-то лягушечий, и рот тоже.

Нам кажется, что не глаза, а рот — истинное зеркало души.

Великого князя сопровождали фрейлины с крашеными щеками и принц Гессен-Гамбургский в кавалериях.

— Ах, какое счастье, что вы здесь! — оглушительно квакнул Петр Федорович, обращаясь к Иоганне-Елисавете.

Фике показалось, что у внука Петра Великого еще желтей стали глаза; «звезды, настоящие звезды».

«Что снималось, — подумала Иоганна-Елисавета, — он совсем зеленый, как лягушка».

И воскликнула:

— Вы имеете прекрасный вид, ваше высочество. Видимо, климат этой необыкновенной страны принес вашей натуре неоценимые услуги.

— О, здесь самые мерзкие погоды, в этой России, — подпрыгнул, как на пружинке, Петр Федорович, — в Киле у меня никогда не было изнурительных лихорадок, а тут я только и знаю, что болею. В ноябре мне было так плохо, что я даже прогнал музыкантов из своей передней и приказал молчать кастрату, который пел, как ангел.

Болезненный юноша, вложив указательные пальцы в углы рта, растянул его, как чулок.

— Вот такую гримасу скорчил почтенный медик Бургав, когда ему принесли эту новость. А затем, мне передавали, он пробурчал: «О, это очень дурной знак!» Каналья знал, что я больше всего на свете люблю музыку.

И великий князь вторично подпрыгнул, как на пружинке.

Иоганна-Елисавета подумала: «Ах, какой же он невыносимый паяц».

А сказала:

— Ах, ваше высочество, как ярко вы умеете вести беседу!

Петр Федорович оглянулся. Их разговор внимательно слушала красноносая фрейлина, не понимающая по-немецки ни одного слова.

— Сударыня тетушка, мне, черт возьми, придется огорчить вас, вы приехали в страну дикую и глупую.

Таково было мнение наследника престола о России.

\* \* \*

Елисавета Петровна походила на размалеванный истукан. В кучу лисьих волос, осыпанных бриллиантами, было воткнуто черное перо величиной в полноги. Громкие фижмы из серебряного газета казались клубами банного пара.

Фике видела, как ее мать целовала руку у прекрасного истукана, а потом... «Господи, но что же это такое? — спросила себя девица, не на шутку перепугавшаяся. — Почему же я вижу, как мама открывает и закрывает рот и не слышу ее слов? Потеряла ли мама от страха голос или я оглохла?»

И в последнем отчаянии Фике принялась щипать себя. Старое испытанное средство помогло: словно издалека донесся знакомый голос, напоминающий бубенчик:

— ...просить вашего покровительства себе, остальному моему семейству, и той из моих дочерей, которую ваше величество удостоило дозволением сопровождать меня в поездке к вашему двору.

В ответ закачалось, закивало, закланялось черное перо. Немецкая речь прекрасного истукана, по выговору, была не очень провинциальна.

— Все, что я сделала, ничто в сравнении с тем, что я желала бы сделать для своей семьи. Моя кровь не дороже, чем ваша. Намерения мои всегда останутся теми же, и моя дружба должна цениться по моим действиям в пользу всех вас.

Произнеся это, императрица взяла в пухлые свои ладони голову Фике. Так точно берет баба в обжорном ряду крынку, полную молоком.

— Боже мой, что за прелестный ребенок!

— Девчонка-то не больно манифик. Совсем гриб चाहотный.

И заглянула в глаза.

И с чмоком поцеловала.

У обласканной на всем теле кожа стала гусиной.

Впоследствии Фике утешалась, что и господа министры иностранных дворов не совсем хорошо себя чувствовали от елисаветинских заглядываний «во внутренности души», как говорила придворная дама Мавра Егоровна.

#### 4

Фике спала скверно: кусали клопы, неподвижная кровать на львиных лапах мчалась, императрица заглядывала в глаза, перины были горячие, капельки пота на животе — холодные, Петр Федорович разговаривал только с жирными женщинами.

Бедняжка просыпалась с мыслью: «Господи, хоть бы немножечко потолстеть».

И щупала ягодичы свои, жесткие, как кулак.

И плакала.

И собирала в комочек рубашку и дышала на нее и прикладывала теплое полотно к векам, чтобы не были красные.

«Скоро одеваться и идти во дворец. Наверное, будет очень торжественно по случаю дня рождения великого князя. Ему исполняется шестнадцать лет. У него глаза, как звезды. Но почему-то они смотрят только на жирных женщин. Даже во время разговора со мной великий князь смотрел на мамин зад. Господи, хоть бы стать ко дню рождения жирной. Почему чудеса случаются только в книжках?»

Плакала.

Дышала на полотняный комочек и прикладывала его к векам.

«Во дворце, наверно, будет вся нация». Так Фике упорно называла придворную толпу.

В Петербурге супругу и дочь прусского фельдмаршала, приехавших в Россию с несколькими чемоданами, снабдили модною гардеробой. Девушки Карр и Салтыкова научили Фике прическе с вытянутым до половины щеки локоном и с бантами, из которых торчали цветы.

Оказалось, что императрица терпеть не может такой прически, потому что ее выдумала Анна Леопольдовна.

Господи, что же надеть из петербургских платьев, чтобы стать толстой? А то Петр Федорович опять, разговаривая со мной, будет смотреть на мамин зад. У императрицы зад гораздо шире, чем у мамы, раза в два. Говорят, что Елисавета Петровна съедает за обедом целый косяк буженины, индейскую курицу и лопату пирогов. Я теперь тоже буду съедать лопату пирогов и тогда стану вдвое шире мамы. Господи, как же причесаться, чтобы угодить государыне? У всех женщин в России лица намалеваны. Надо сказать, чтобы мне принесли белил, румян и сурьмы. Нации нравятся намалеванные. Всегда буду ходить с красными щеками, с белым носом и с черными толстыми бровями. В России любят все толстое. А в Брауншвейге бы тыкали пальцем, Брауншвейг жалкий город».

И снова плакала — почему не умеет говорить по-русски: «Папа виноват, он же знал, что Россия великая страна».

Но плакать старалась одними губами, без слез, «а то веки будут красные и не понравлюсь».

## 5

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин пронзающими щелками смотрел на Москву.

— Даже бездельные горы, на которых расположена эта деревня, называются тут вздорно: гора Варгуниха, гора Варвара, Пупыши... Пупыши... Все они Пупыши!

Но последние слова уже относились не к бездельным холмам московским, а к злодеям вице-канцлера — к Лестоку, к Брюммеру, к Шетарди, к приехавшей княгине Ангальт-Цербстской. «Фридерикова кочерга, станет теперь ею король прусский из печи жар загребать».

А про Мардефельда вице-канцлер думал: «Посла завистливого государства не можно лучше сравнить, как с дозволенным у себя шпионом».

Курантные часы на башне играли утро.



Извозчики с зелеными полостями трусили ранних седоков.

Алексей Петрович напялил малиновый кафтан.  
Погляделся в зеркало, обвитое серебряной лозой.  
Что-то стал делать губами.

Почти всякий, глядясь в зеркало, что-то делает губами — один поджигает их, другой прикусывает, третий выпячивает.

Губы у вице-канцлера, как две темные нитки.

«Туман, экий белый туман». С чего-то вспомнились Бестужеву иностранные города. В Копенгагене Алексей Петрович обучался в шляхетной академии, в Берлине — в высшем коллегииуме; потом, с соизволения императора Петра I, находился на службе ганноверского курфюрста Георга-Людвига. Когда курфюрст стал королем Англии, Бестужев-Рюмин был послан, в качестве английского министра, из Лондона в Петербург с нотификацией о восшествии на престол.

«Блин поджарится, сам свалится», — сказал вслух Алексей Петрович, подумав «о первейшем своем злодее» маркизе Шетарди.

«Тонконогий черт!»

После шведской войны маркиз был отозван из Петербурга.

Король, вызвав его в Версаль, просил показать елисаветинские подарки.

Шетарди хвастался драгоценностями и мехами. Прикинули, как на ярмарке.

«Покупаю за 1500 000 ливров», — пошутил король.

Цену, на всякий случай, дал скромную.

В ноябре 43-го года Шетарди, по желанию Елисаветы, вернулся в Россию. Однако в качестве посла принят не был, так как верительных грамот с императорским титулом для монархии не предъявил.

*«Имею известность, что войск французских бригадир Шетардий снабжен вверяющими письмами двух образцов, в одном государыня титулуется императрицей, в другом царицей, — говорил сенату Бестужев-Рюмин, — господин Шетардий имеет напрасное воображение выторговать союз с Россией за титул».*

Проживая при русском дворе простым и, как говорили тогда, «бесхарактерным человеком», Шетарди играл в большую политическую интригу.

*«Ссажение вице-канцлера, — писал он из России в цифирном пассаже, — есть такое дело, как совершенно необходимое наперед учиниться имеет».*

Перевод с французского не очень складный, но сделан он был человеком полезным — статским советником Гольдбахом из Бестужевской коллегии по иностранным делам. Этот статский советник, полунемец, полуеврей, обладал «особливым искусством» подбирать ключ к таинственной цифири депеш чужеземных.

«Поверьте, месё, в варварской стране повар и амур сильнейшие союзники», — как-то сказал Шетарди своему приятелю Мардефельду.

«Есть еще третий союзник достаточно сильный», — отвечал пруссак.

«Кто же это?»

«Осторожность!»

«Ах, дорогой друг, только играющий мелко рискует много проиграть».

«Вы это серьезно думаете?» — спросил пруссак, привыкший оценивать слово по его весу, а не за блеск.

«Я думаю, что счастье есть наилучший расчет», — улыбнулся француз.

«Я бы сказал несколько иначе», — возразил скучный собеседник.

«А именно?»

«Что расчет и есть счастье».

«Вы очень храбры, месье. Вы даже не боитесь оскорбить счастье, предлагая ему подмогу».

Маркиз был остроумен не только в дружественной беседе за стаканом вина, но и в обильных донесениях к своему двору, писанных в цифири, вполне непроницаемой, как он полагал, для непосвященных.

\* \* \*

Бестужев отошел от зеркала, в которое смотрелось также и мглистое утро.

Краснолапый голубь сел на подоконный вычур и заглянул в комнату.

Колокола пели согласными голосами.

Алексею Петровичу надоело слушать изо дня в день эту московскую музыку.

«Приведу государыне итальянскую поговорку, — решил Бестужев, — скажу: ваше величество, кто чрезвычайно льстит и по губам мажет, тот или обманул, или обмануть ищет».

Это также относилось к маркизу Шетарди, о котором Бестужев не переставал думать. Впрочем, он готов был отнести итальянскую поговорку ко всем французам. Вице-канцлер предпочитал Англию — тароватую страну.

«Древняя, государя Петра Великого политическая система: у России с Англией общие интересы».

У Бестужева — с Англией тоже были общие интересы.

Бриллианты, осыпавшие нагрудный портрет Петра Великого, егозились лучиками зелеными и голубыми.

Вице-канцлеру верилось в собственную душевную высоту. «Видит Бог: отечество свое и милостивцев никогда не искал обмануть».

Увы, Бог ничего не видит.

Вице-канцлер запомнил милостивца своего Бирона, которого на следствии жестоко оговаривал; и еще крепче запомнил корреспонденции свои к царевичу Алексею, когда тот находился в бегах в городе Вене. В корреспонденциях Бестужев предлагал будущему своему царю и государю Алексею «всякие готовности и преданности»; переход же свой в иностранную службу угодливо объяснял невозможностью «двигать в России интересы царевича», несходственные с Петровыми.

Подвигаешь их при таком царе!

Егозились зеленые и голубые лучики вокруг нагрудного, на голубой ленте, портрета, даренного Бестужеву-Рюмину Петром I.

«От края и до края дней в службе России проводил и проводить буду политическую систему государя своего и творца Петра Великого», — подумал вице-канцлер, получая душевную приятность от непреклонности сво-

их принципов. А корреспонденции в Вену к царевичу Алексею начисто из головы вылетели.

Пели колокола согласными голосами.

К краснолапому голубю на подоконный вычур прилетела голубка.

Бестужев стукнул кулаком по стеклу: «А медикуса бы Лестока весьма резонабельно в Сибирь, в рудники, на вечную тяжелую и всегдашнюю работу! У скольких печей, вор, руки греет? Франция — одна печь, Фридерикова прусская — вторая, саксонская — третья, Англия — четвертая. Первый лейб-медикус и вор! Петров шут Лакоста палкою его по голове бил, в Шателе, в парижской тюрьме, господин лейб-медикус малость года не досидел, в Данциге свору борзых украл, с Франции пенсион получает, с Англии пенсион. Вор! В рудники!»

## 6

В государских комнатах была толкучка. Воняло потными подмышками, нюхательным табаком, печным жаром, скверной париковой пудрой и квасным рыгом.

Иоганна-Елисавета бледная, ненарумяненная, с мутными глазами, причесанная не по вкусу императрицы, продиралась вслед за улыбающейся размалеванной Фике. Толпа была бархатная, шелковая, муаровая, газетовая, парчевая, золотая, серебряная и в драгоценностях.

Впереди матери шла Фике — улыбающаяся, размалеванная.

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин в малиновом кафтане, в белом парике, уложенном по старой моде в долгий локон, жеманно точил вежливости на четырех языках.

И узкие глаза непонятного цвета, и губы, как две нитки, и роскошность.

Бестужева трепетали.

Вельможи, сверкающие золотым шитьем и драгоценными камнями, и орденскими знаками, и лентами через плечо, но в большом числе своем не знающие родного чтения и письма, — трепетали: мстителен вице-

канцлер, лукав, изгибист, непримирим, мелочен, властен и химии любитель.

— Жизненные капли изобрел в Копенгагене, — шепнет кто-нибудь.

— Tinctura tónico nervina Bestuscheffi, — подтвердит иностранный медикус.

— Тынктура тоныка нырвына, — повторит глубоко-мысленно россиянин.

— Французскому королю биение пульса возвратили.

— Экие капельки.

— Черт!

— Черт полена не мягче.

— Известно.

Распахнулись двери обеими створками.

Вышла Елисавета Петровна, как горохом осыпанная бриллиантами. За ней следовал обер-егермейстер Разумовский, красавец с египетскими глазами. Он держал на ладонях поднос, на котором сверкали знаки ордена св. Екатерины — белые финифтяные о восьми лучах кресты.

Императрица надела сначала Фике красную ленту в три пальца ширины, а потом на Иоганну-Елисавету.

Статс-дамы прикололи им звезды к левой стороне груди.

После этого Елисавета Петровна поехала к обедне, а супруга и дочь прусского фельдмаршала знакомились с дамами — придворными и городскими.

Супруга прусского фельдмаршала много говорила, дочь — мало. Супруга проявляла внимательность только к самым «увышеннейшим особам», чтобы не уронить своего достоинства; дочь была мила со всеми без разбора, чтобы поднять свое достоинство.

## 7

Обедали в великокняжеских покоях. Петр Федорович сидел рядом с Фике. Она не уставала слушать. Он не уставал болтать.

— О, моя милая Голштиния! Как вы думаете, сударыня, увижу ли я ее когда-нибудь наяву?

— Разумеется, ваше высочество.

— Сны, сны, сны... Черт возьми, мне уже этого мало! Хотя только во сне я чувствую себя счастливым.

Подали кур русских жарких под лимоны.

— Сегодня, например, я всю ночь бегал по улицам своей столицы.

Сны рассказывать чрезвычайно приятно. Все любят рассказывать сны. Слушать же их тоска неимоверная, но все слушают. Почти все. Так мы играем вничью. В жизни, при известном эгоизме, почти всегда можно сыграть вничью. Но, боже мой, как же существовать деликатному человеку? Зная, что сны рассказывать очень приятно, он никогда не найдет в себе отваги прервать свою жену, своего приятеля, своего сослуживца. Зная также, что внимать рассказываниям тоска неимоверная, он вряд ли решится найти себе слушателя. Каторжная жизнь у деликатного человека. Впрочем, он по всей вероятности получает большое удовольствие от сознания собственной деликатности. Вот и опять ничья.

Рассказав длинейшее сновидение, наследник российского престола спросил:

— Сударыня, случилось ли вам бывать в Киле?

— Нет, ваше высочество, не случилось.

— Ах, как мне вас жаль. Вы знаете, он очень маленький, мой Киль. И все вокруг него маленькое: маленькие рощи, маленькие озера, маленькие холмы, маленькая гавань с двумя сближающимися мысами. Это вполне в моем вкусе.

— И в моем также, — шепотом сказала Фике.

Наследник залпом выпил бокал венгерского.

— Черт подери, самое отвратительное, что было в Голштинии, сударыня, это господин Брюммер, и его-то мне пришлось привести с собой в Россию. Вы его видели, сударыня? Я вам говорю, это чудовище, и весьма мерзкое. Однажды в Киле он оставил меня на целые сутки без еды, а потом надел мне на шею картонное изображение осла и в таком виде приказал стоять в дверях залы, где пировали мужественные голштинские офицеры. Какое, сударыня? Изображение осла на шее наследника двух северных корон!

— Это ужасно, ваше высочество.

— И это, черт подери, только за то, что я не смог за-твердить десятка шведских слов. Каналья! Клянусь все-ми ведьмами, что в день своей коронации я его повешу при салютах из самых больших пушек. Всех же осталь-ных воспитателей, учителей и русских попов выгоню в шею из своей империи.

Принесли гуся жаркого под скрылки и под луковым взваром.

— А вас, сударыня, еще не начали обучать дурацко-му русскому чтению и письму и обращать, черт возьми, в греко-российскую веру?

— Нет еще, ваше высочество.

— В таком случае, скоро примутся. Весьма советую брать с меня пример.

— Почту за счастье, ваше высочество.

— Ни одного пункта, сударыня, не сдавайте им без яростного сражения. Благочестивый архимандрит Ипа-тьевского монастыря приходил ко мне толстым и ро-зовым, а удалялся худым и багровым. Черт свидетель, я защищал нашу святую реформатскую религию с та-ким изуверским рвением, словно мне было с ней очень жаль расставаться. О, мы так орали, сударыня, благоче-стивый Симон Тодорский свои аргументации за греко-российскую веру, а я против нее, что в нашу штудирную комнату нередко сбегался весь двор с ее величеством тетушкой во главе. А статс-дама Маврутка, умоляя меня уступить архимандриту, сказала, что я своим необори-мым упорством «все жизненные спирты государыне перетревожил».

Только одна Фике могла слушать Петра Федоровича не уставая.

— Как вам нравится, сударыня, это дурацкое рус-ское блюдо: «гусь под скрылька»?

И высунув длинный острый язык цвета капустного листа, великий князь зафыркал, обдавая брызгами со-седку справа и соседку слева.

Всякий оплеванный стесняется вытереть чужие слюни.

Фике не ответила на вопрос, но «гуся под скрильки с луковым взваром» ела она с особым аппетитом, вероятно, потому, что это было русское блюдо.

Наследник престола, накрутив из хлеба полную горсть шариков, принялся пулять ими в толстых статс-дам и фрейлин.

## 8

Фике заболела во вторник 6 марта.

Иоганна-Елисавета решила, что у дочери оспа. Лейб-медикус Бургав имел подозрение на плеврит. «Санкт-Петербургские ведомости» сообщили о «лихорадке от флюса». А маркиз Шетарди написал к своему двору, что «апостема в грудях у нее оказалась».

Лейб-медикус предложил «отворить кровь».

С великим шумом был он подкреплен в этом предложении графиней Воронцовой, графиней Румянцевой и фрейлиной с морковным носом.

Но Иоганна-Елисавета заверяла, что «кровопусканиями отправили из России на тот свет ее брата, жениха государыни».

У Фике был сильнейший жар, мучительное колотье в правом боку и головные боли, от которых она теряла сознание.

Елисавета Петровна богомольничала в Троицком монастыре.

Лейб-медикус Бургав отправил курьера к первому лейб-медикусу Лестоку, находящемуся при императрице.

Перетревоженная Елисавета немедленно прискакала по самому скверному пути в Москву и, сопровождаемая Разумовским, Лестоком и хирургом Верром, прямо по выходе из кареты прибежала в комнату Фике.

Больная лежала в беспамятстве.

Фрейлина с морковным носом шепнула императрице, что «княгиня Ангальт-Серпста воспрещает своему дитю испускать стоны, потому что это не приличествует принцессе».



Императрица сказала:

— Мать дура.

Первый лейб-медикус Лесток и хирург Верр согласились с лейб-медикусом Бургавом, что «необходимо пустить кровь».

И Разумовский был тех же мыслей.

Императрица сказала:

— Пуцайте.

Иоганна-Елисавета опять закричала, что ее брата отправили на тот свет, так как лечили оспу кровопусканиями.

Фрейлина с морковным носом шепнула императрице, что «у принцессы не воспа, а лихорадка от флюса».

Елисавета приказала Ангальт-Цербстской княгине удалиться в отдаленный покоец.

Взволнованная мать принялась ломать руки.

Тогда Елисавета остановила на ней свои просторные глаза. Мы, кажется, упоминали, что самые изгибистые иностранные министры, не говоря уже о своих российских, чувствовали себя «в худых авантажах при заглядывании ее величеством во внутренности души», как говорила придворная дама Мавра Егоровна.

Цербстская княгиня перестала ломать руки и удалась в отдаленный покоец.

— Замкните дуру ключом, — сказала Елисавета.

Фрейлина с морковным носом, держащая сторону Бестужева-Рюмина, исполнила приказание с большой радостью.

Фике отворили кровь.

Она пришла в сознание в объятиях императрицы. В отдаленной комнате несчастная мать ломала руки.

— Бог даст, скоро поправишься, — сказала Елисавета, — это вы, милая, поймали простуду в санях. Слишком много разъезжали по Москве.

— О нет, ваше величество, — едва слышно прошептала больная, — в собольей шубе, которой вы милостиво меня одарили, очень тепло. Я получила простуду, ваше величество, не в санях.

— А где же, моя милая? — спросила участливо императрица.

— Здесь, в комнате. Я ходила ночью босой по полу, — еще тише проговорила Фике.

Она была до крайности слаба. Даже тонкие голубоватые веки казались ей невероятно тяжелыми; чтобы не уронить их, приходилось делать значительное усилие.

— Ах, какая неосторожная поступка! — воскликнула по-русски Елисавета, — но для чего же вам, милая, понадобилось ходить среди ночи не обувшись?

Фике ждала этого вопроса. Слабеньким голоском она призналась, что, имея сильное желание сделать хорошие успехи в русском чтении и языке, она всякую ночь просыпалась, вставала с кровати и босая ходила по комнате, затверживая тетради, исписанные господином Агагуровым.

У императрицы на ресницах задрожали слезы умиленного восторга. У графини Воронцовой, графини Румянцевой и фрейлины с морковным носом также. Разумовский устремил свои египетские глаза к потолку, где полагалось присутствовать Богу. Медикусы последовали его примеру.

— Господь вознаградит вас за это, дитя мое, — убежденно произнесла императрица и трепетно поцеловала лгунью в голубоватые веки, падающие от слабости.

За первое кровопусканье Фике получила от Елисаветы бриллиантовый шлейф на шею и серьги, стоимостью «в двадцать тысяч рублей», по оценке графини Румянцевой, а от наследника престола — часы, обложенные рубинами, «в четыре тысячи рублей».

В это время пуд муки в Москве стоил 23 копейки, а пуд крупы 33 копейки.

Две недели Фике находилась у края жизни.

Кровь отворяли шестнадцать раз.

В покойце был до того спертый воздух, что у иноземцев, даже вполне здоровых, мутилось сознание; российские же были привычны к таким «воздухам».

Приходя из беспамятства в полупамять, Фике всякий раз слышала:

— Ж-ж-ж-ж-у-у-у-у-у.

Ей казалось, что по комнате летала громадная муха.

Но когда больная находила в себе силы приподнять веки, она видела не муху, летающую по комнате, а деся-

ток женщин, молодых и старых, красивых и безобразных, украшенных и не украшенных статс-дамским портретом.

Конечно, молчать труднее, чем разговаривать, потому что разговаривать можно ни о чем, а молчать надо о чем-нибудь.

Женщины не умолкали ни на минуту.

Казалось, от стены к стене летала огромная муха.

«Бестужев злодей Ангальт-Серпстов, Ангальт-Серпсты злодеи Шувалова, а Шувалов злодей Трубецкого, а Трубецкой злодей Бестужева, а Бестужев злодей Мардефельдов, а Мардефельд злодей Герсдорфа, а Герсдорф злодей Шетардия, а Шетардий злодей Маврутки, а Маврутка злодейка Лестока, а Лесток Бестужева, а Бестужев Ангальт-Серпстов, а Ангальт-Серпсты...»

Злодеи, злодеи, злодеи.

Ж-ж-ж-ж-у-у-у-у-у.

Жар не спадал.

Приходила императрица, садилась у изголовья и плакала, по-бабьи шмыгая носом.

Медикусы первые заговорили о священнике.

— Сыщите мать, — приказала императрица. — Она, верно, у Бецкого время проводит с Шетардием, да с Брюммером, да с Мардефельдом в совещательствах дурацких. У дочери жизнь пресекается, а она и сердцем не сохнет. Дура! Где возьму на нее терпение?

Привезли от Ивана Ивановича Бецкого политическую женщину.

Елисавета сказала ей:

— Поговорить бы вашей дочери со священником. Кого звать?

— Моя дочь горячая лютеранка, — воскликнула Цербстская княгиня, — она так воспитана. При слезном прощании со своим отцом она только и говорила, что о семенах нашей святой религии. А если бы вы читали ее письма в отечество!

И, ломая руки, заключила:

— Умоляю, ваше величество, пошлите за лютеранским священником.

В этот день больной отворили кровь четыре раза. Наконец сознание вернулось.

— Дитя мое, — сказала Елисавета с материнской трепетностью, — хочешь ли ты, чтобы мы послали за лютеранским священником?

Фике попыталась покачать головой. И не смогла. Мысль ей повиновалась лучше.

— Зачем же за лютеранским, пошлите лучше за Симоном Тодорским, — пролепетала умирающая, — я охотно с ним поговорю.

Иоганна-Елисавета превратилась в недвижимый пень. Разумовский поднял не только глаза, но и ладони к потолку, где по его мнению присутствовал Бог.

Императрица зашмыгала носом.

Статс-дамы и фрейлины также.

Карета поскакала за Симоном Тодорским, архимандритом Ипатьевского монастыря.

Цербстская княгиня, освободившись от одеревенения, опять принялась ломать руки.

— Уберите дуру, — сказала императрица.

Иоганна-Елисавета уехала к Бецкому.

Екатерина II, впоследствии, сделала следующую запись об остроумном отказе своем от лютеранского попа в пользу православного: *«Это очень подняло меня во мнении императрицы и всего двора».*

## 9

Улучшение здоровья началось после 19 марта, когда, по сообщению «Санкт-Петербургских ведомостей», «больная много мокроты выкинула».

Фике стала подолгу спать посреди дня. Впрочем, довольно часто, чтобы не мешать дамским разговорам, она только делала вид, что спит.

Таким способом она узнавала разные любопытности и полезности.

Очень интересный разговор однажды имелся у графини Анны Карловны Воронцовой с графиней Марией Андреевной Румянцевой. Это были, во всех отношениях, первейшие дамы двора.

После брачного сочетания Анны Карловны с Михайлой Илларионовичем Воронцовым сама императрица с

великой свитой и в предшестве трубачей и литавр провожала новобрачных в их дом.

А Румянцева Мария Андреевна, еще в девушках, удостоилась быть телесно поколоченной на чердаке, из ревности, самим Творцом России — Великим Петром.

Повторяем, это были первейшие особы двора, что не мешало им в эпистолярном стиле находиться, может быть, не на самой вершине.

Впрочем, мы предоставим судить об этом самому читателю:

*«Ея высочества изволила вакошьке меня видит, изволила тать час до меня прислать».*

Вот образчик из ненарочитого письма к императрице одной из первейших особ, украшенных статс-дамским портретом.

Но вернемся же к очень интересному разговору, кававшемуся брачного сочетания наследника престола.

— Господин канцлер, видится мне, еще до сей поры прицелку имеет на саксонскую принцессу Марианну, — сказала графиня Румянцева.

— Княгиня Ангальт-Серпста по стольку всякий день весу теряет в глазах государыни, что удивления не будет, если прицелка Бестужева будет весьма манифик, — отвечала Анна Карловна.

— А барон Горсдорф, саксонский посланник, делает ради своей принцессы сильные акции и беготню, соря деньгами на правую и левую стороны.

Больная старательно похрапывала, поощряя графинь к беседе, которая велась на русском языке.

«Вице-канцлер... саксонская принцесса... княгиня Ангальт-Серпста... Бестужев... Акции», — вот те немногие слова из любопытной беседы, которые поняла Фике.

Но девица была догадлива.

В четверг или, скажем по-тогдашнему, четверток графиня Анна Карловна порадовала выздоравливающую объявлением, что после полдника можно ожидать императрицу и наследника престола.

— У вас нынче, сударыня, вид несравненный против вчерашнего, ее величество будет счастлива видеть такое быстрое поправление в здоровье.

— Нет, это вам так кажется, — возразила выздоравливающая — я сегодня себя чувствую гораздо хуже. В теле опять разгорается жар.

Анна Карловна и Мария Андреевна утешили Фике, что это, де, у нее «от воображительного мнения и что в теле полная прохладность».

А через полчаса выздоравливающая впала в тяжелый сон.

Когда же Елисавета Петровна, обер-егермейстер с египетскими глазами и скучающий Петр Федорович разместились около постели, у Фике начался бред.

«Боже мой, Боже мой! — всхлипывала императрица, слушая страшную сказку, прерываемую стенаниями, — вы слышите, судари мои, что она только говорит? Бедная девочка, она думает, что ее отравил саксонский посланник в интересах своей принцессы Марии-Анны. Вот до каких ужасных воображений довели они больного ребенка своими искательствами, лишенными ума и чести! Клянусь Господом, хоть и полна я терпением, но как ки-нуть сердцем, наберутся судари слез. Да что ж вы, дуры, в столб стали? Скорей за медикусом кровь пущать».

К счастью, как только дамская свора бросилась за хирургом, бред прекратился и Фике, глубоко вздохнув, открыла глаза.

— Подождем пущать, даст Бог полегчает, — сказала Елисавета.

Следует помянуть, что бредила Фике по-французски. «Нация, — решила она, — должна как можно скорей забыть, что я немка».

## Шестая глава

### 1

Изготовили полдник. Шувалов потребовал:

- Водок, Мавра, с прикускою сыра или колбасов.
- Тебе, Петр Иванович, коричной подать или кар-дамонной? — спросила Мавра Егоровна.
- Вели много водок давать. Пить буду.

Принесли полные штофы и коричной, и кардамонной, и приказной, и анисовой.

Шувалов выпил большую чарку, обтер салфеткой губы и, не тронув сыра и колбас, сказал:

— Сенат реприманды учиняет, а польз в делах нет. Ты, жена, почаще б о том государыне поминала. Какие в сенате люди? Какие в коллегиях? Все отечество ругается. Ни умов нет у людей, ни прилежности. Хоть бы сидели с терпением в стульцах и, как в старину, волосатые места чесали, а то и к этому лень имеют. Я нарочито наведываю коллегии да канцелярии, оборони Боже, чтоб где присутствующих застать. Секретарей и тех днем с факелой не сыщешь. Ты, Мавра, сказывай об этом государыне.

И выпил кардамонной.

Мавра Егоровна вскинулась в голос мужу: «Черпаком, де, моря не убавишь. На выблюдков, де, не реприманды нужны. Творец, де, отечества Петр Алексеевич знал секрет, как из больших ослов делать слонов».

И пошла, и пошла.

Она была клювоноса, прыткоглаза. Рот имела отвратительный, будто изнанкою вывернутый наружу. Ростом была очень мала, а рядилась чуть не всякий день по-мужски: штаны, камзол, кафтан.

«Ух, и вздорная баба, ух и чадна!» — говорил двор.

Шувалов же Петр Иванович, муж ее, лейб-компанец и камергер — телом был складен, щеками округл, глазами горяч и годами моложе Мавры Егоровны: той ко дню свадьбы минуло тридцать четыре, а ему тридцать два.

Поженились они через несколько недель после того, как Елисавета села на родительский престол.

Мавру Егоровну не раз и не два перед тем пронзала страшная мысль:

«Ох мне, проквашусь в девках».

В паре — Петр Иванович и Мавра Егоровна — целого сената были умней.

Держали они сторону Алексея Петровича.

— Что ж ты, Петр Иванович, колбасов не трогаешь. Возьми хоть тоненькое колесико, — сказала заботливая супруга.

— Молчи. Не суй клюва.

Но колесико взял и сыру пожевал.

— Где же наши вельможи понимают интересы отечества? Где же, отвечай ты мне, Мавра, свои интересы понимают?

— Ты-то, Петр Иванович, понимаешь! — ответила Мавра Егоровна нежно.

— Я-то понимаю, — согласился Шувалов, — я-то, на Англию глядя и у Франции учась, понимаю. У всякого века свое движение. У нашего века движение торговое и финансовое. Неужто ж в купецкие руки отдать руль славы?

И опять со стульца повскакала статс-дама и опять вскинулась в голос мужу.

А тот поерзал негустой бровью:

— Сядь, Мавра, сядь. Да ногами-то не махай под стульцем.

— Не буду, — сказала Мавра Егоровна покорно.

Шувалов налил коричной. Глотая, не крикал, не коверкался.

— В вельможах, Мавра, украшение нашего отечества.

И еще выпив, возопил, как на огне пряхась:

— Мне б, Мавра, в сенат! Сколько ж мне с тобою в разговорах упражняться? Пятки, дура, чешешь, а польза от тебя нет.

Потом стал вопить на губернаторов и воевод, которые воруют из кабаков казенные пития, а из таможен — дрова и свечи.

— Вельможи! А? Вельможи!

И бух, бух, бух, замолотил по стулу кулаком, так что и штофы, и чарка, и тарелки с подником и с колбасами и с сырами вспрыгались при громаднейшем дребезге.

— Хвосты псиные, а не вельможи. Двухрублевешники! Полуполтиннишники!

Мавра Егоровна смотрела на округлые, багровые, трясущиеся щеки и таяла от любви.

— В сенат меня, Маврутка! В сенат, клювонося! Хотения имею отечество свое на высшие ступени возвести. Все равно, как Великий Петр, из больших ослов буду слонов делать. Не дам в купецкие руки славу нашего века. В сенат меня, Маврутка. В сенат!



Елисавета Петровна высочайшею своею особой в императорские кресла седши, сказала:

— Зачнем, господа сенаторы.

Бестужев поднялся и, положив длинные пальцы на крепкую доску большого соснового стола, крытого алым бархатом, обратил свои непонятные щелки в сторону императрицы.

— Ваше величество...

Солнечные лучи, пройдя сквозь пыльные стекла, сами казались пыльными.

Господа сенаторы сидели, не касаясь бархатными своими спинами алых спинок кресел своих.

Генерал-прокурор князь Никита Юрьевич Трубецкой помещался за отдельным маленьким столом.

Кругом бархат.

Алые покрывала, с большого сенаторского стола и с маленького генерал-прокурорского, были обшиты двухпалым золотым позументом.

Вице-канцлер говорил голосом ровным, глуховатым.

Голоса тоже бывают умные и глупые. Глуховатые, хриповатые, сиповатые большею частью — умные, бархатные — глупые.

На столах стояли серебряные чернильницы и восковые свечи в серебряных подсвечниках.

Когда вице-канцлер рассуждал в присутствии императрицы, он делался похожим на восковую свечу в серебряном подсвечнике.

А короткий расползшийся генерал-прокурор в пудреном громадном парике и в кафтане, густо расшитом серебром, был похож на чернильницу.

Вице-канцлер рассуждал липучими староманерными фразами.

Елисавета подумала: «Надо б, что ли, и Мавруткиного мужа в сенаторы; он хоть и плут, да с приткостью, да горяч; не столь досаден».

От Шувалова императрица в мыслях скакнула на собственную персону: «Опять обожралась; хорошо б теплую салфетку на брюхо и в постелю; чего вылезла ни свет ни заря? Ну, чего? Дура!»

Она в сенате сидела редко — раз в три месяца, раз в четыре.

— Чтоб одержать поверхность над древней российской политической системой, — рассуждал вице-канцлер, — господин Шетардий с неслыханной в свете дерзости собирает за французское золото прегромадную партию, в которую улавливает обще с людьми мужска полу и особ женских.

Тут Елисавета, отстав думать о стороннем, взяла внимание.

— И в сих покусительствах каверзных просто путешествующий француженик Шетардий границ знать не желает.

И Бестужев провел длинными пальцами по столу, словно желая стереть с бархата пыльный луч.

Без ума и разума, сей бесхарактерный человек, в коварственных видах закидывает сеть на высокую особу, узлом крови связанную с ее императорским величеством.

— На кого? — спросила грубо Елисавета.

— На княгиню Ангальт-Цербстскую, Государыня.

Императрица сосредоточила намазанные брови; когда ж говорили о мануфактурах, или о соли, или о магистратских беспорядках, или о пеньке, или о рыбном клее, ей трудно было взять внимание: мысли о стороннем так и лезли тогда в голову.

И опять вице-канцлер провел длинными пальцами по бархату, будто стирал пыльный луч.

— А когда было генералу Ушакову государское повеление чинить допрос лифляндцу Штакельбергу, сделавшему в прусском городе Кенигсберге мерзкую поноску нашему любезному отечеству, а также предрекавшему вторую революцию в обратную пользу принцессы Анны, то господин Шетардий возымел дерзости сделать вмешательства в дела тайной канцелярии, извещая свой двор, что имеет намеренность у допроса лифляндца поставить еще вторую персону, полезную Франции и Пруссии.

При последних словах вице-канцлера князь Никита Юрьевич Трубецкой почувствовал в оплывших щеках своих мелкую трясучку. «От кого ж Бестужев выве-

дал? — вопрошал мысленно Никита Юрьевич. — Маркиз, что ли, не утаил? Вот и вяжись с французами! Во рту у них от длинного языка тесно, а в голове от мозгов курячих — простор».

Грустные пыльные лучи весеннего солнца играли на золотом позументе алого бархатного покрывала, падающего тяжелыми складками с сенаторского стола.

Под окнами прошла расхлябанным шагом Преображенского полку рота, мундированная в английское сукно.

От легких дуновений покачивались туда-сюда белые плюмажи на гвардейских шляпах.

Никита Юрьевич, злобно глянув заплывшими глазами в пронзающие бестужевские щелки, подумал: «Множайшие выгоды были б отечеству от надавливания ступою на горло этой рассуждающей персоне, полезной Англии, — и еще подумал: — О Господи, ограбил узкоглазый диавол российские мануфактуры за похлебство английского двора; хороший шиш теперь остался от всех промышленных попечений Творца России. Вот бы Творцу из гроба вылезть с тростью своей», — и Никита Юрьевич даже пропотел от удовольствия, представив, как Петр ломает об вице-канцлера свою трость.

Большинство средних людей очень любит подобные представления. Вообразит себе восстание из мертвых какого-нибудь необыкновенного человека и пытается угадывать, что бы он сказал, увидав то, как бы удивился тому-то, да как бы поступил в таком случае, да как в другом, да как в третьем.

Трубецкой продолжил мысль свою:

«Рвет, небось, на том свете власы на себе Петр Великий: были российские мануфактуры, а нынче, спасибо вице-канцлеру, — тьфу! Дырявое место!»

В 43-м году Трубецкой шел против контракта с английскими купцами на мундирование ими ввозным грубым сукном полков гвардейских, армейских, артиллерии и флота.

*«Братья Бестужевы, — писал из Петербурга в Лондон английский посланник Кириль Уэйч, — достойны получать осязательные доказательства милостивого расположения к ним его величества».*

В серебряной чернильнице отражалось пыльное небо. Бестужев хрустнул длинными пальцами.

— Ваше величество, слыханое ли в свете дело...

Елисавета сердито обглядывала свой маленький зеленый башмак с тупым носом.

— ...слыханое ли в свете дело, чтобы бесхарактерный чужеземец инструктировал иностранную политику и внутренние дела Российской Империи?

Вице-канцлер обвел непонятными щелками господ сенаторов.

Лучи пыльного весеннего солнца ложились на стену, на чернильницы, на кафтаны с блестящими пуговицами, на белые вонючие парики.

Может быть, только детские глаза видят весну. Поэтому-то, выйдя в юность и еще более того — в средние годы, начинаем мы вдруг удивляться, что и ручки скучно журчат, и сосульки неведь куда подевались, и апрельское солнце не так светит, как четверть века тому назад.

Елисавете было тридцать пять. Она явилась в сенат невыспанная и с желудком, тяжелым от пирогов пряженных, от печенки в опонях с кишечки наливные, от пороса рассольного и утя жаркого под огурцы, залитых сладким токаем.

Лучи, озарявшие квадратную комнату, представлялись ей пыльными, сенаторы — дураками, Трубецкой Никита — пронырой, Бестужев — скучным злодеем.

Не дав вице-канцлеру закончить липучую фразу, как «Шетардий похвалялся перед своим двором, что сам, де, он проектировал российские политические ответы», — Елисавета шумно поднялась высочайшей своею особой с императорских кресел:

— Больше не хочу, сударь, ваших жалузий слушать, потому что все это ложь, вытекающая от врагов маркиза, среди которых, сударь, и вы.

И стала оправлять юбку растопыренными пальцами.

Никите Юрьевичу Трубецкому померещилось, будто темные нитки бестужевских губ образовали улыбку.

— Ваше величество, — сказал вице-канцлер, — дозвоьте мне представить доказательство, что слова мои есть сущая и необспоримая правда; а если ваше высо-

чайшее милосердие и далее распространится, дозвольте представить экстракты из таких дел маркиза Шетардия, которым и примеров нет в целом свете.

### 3

Белые лошади, давя гусей и уток, плавающих в жирных лужах, несли вскачь по московским улицам императорскую карету.

Елисавета иначе не ездил: две ли версты, две ли тысячи верст, по деревенским ли улицам Москвы, по излучинам ли степных дорог, по снегу ли, по грязи, по пылище, по равнине или в косогор — все вскачь.

— Вору! Плуты! Спесь гишпанская, а спины холопы, — честила она своих сенаторов.

— Тоби, Лиза, до сэнату ездите нечего. Кынь, право, ему казаться, — посоветовал обер-егермейстер с египетскими глазами, — вон тоби только в сердце приводит.

Когда Фике впервые увидела обер-егермейстера Разумовского, высившимся над императрицей, он показался ей самым красивым мужчиной в свете.

— Как скажет Бестужев «Отечество! Россия!», — передразнила Елисавета вице-канцлера, — так морды у всего сената и окаменяют.

Разумовский, потягиваясь в широких плечах, повторил свой совет «помэншэ буваты у сэнати».

Коровы и свиньи с жестоким мыком и визгом кидались от плюющих лошадиных морд к сторонам, ломая и валя плетни, колья и некрашенные заборы, огораживающие московские пустыри, луга, сады и огороды.

Москва ругалась.

Императрица ругалась:

— Только в том и упражняются, что каменные рыла творить. Герои из римской истории! — и, уцепив Разумовского за бриллиантовую пуговицу, спросила: — Помнишь, Алеша, когда родитель мой Петр Алексеевич... Да где тебе, дурню, помнить! Ты, стало, тогда еще в Лемешах у себя общественные стада пас.

Разумовский родился в 1709 году в деревне Лемешы, на 9-й версте по старому тракту из Козельца в Чернигов.

Мальчишкой он действительно пас коров. Потом пел в церкви близкого села Чемеры. А в Петербург был привезен неким полковником Вишневым, любителем пения.

Елисавета, крутя бриллиантовую пуговицу обер-егермейстера, стала рассказывать, как родитель ее Петр Алексеевич дозволил крепостным людям по собственной охоте от помещиков отходить и в армию вступать.

— Все народы тогда перед Россией дрожали. Ох мне, баба! Где б, Алеша, настатуй этих сенаторов сколько-нибудь силы взять?

Когда дочь Петра села на родительский престол, *«между крепостными распространился слух, что опять позволено им подавать записываться в вольницу, и они порознь и целою толпою стали подавать императрице просьбы о принятии в военную службу; другие прямо бежали от помещиков для поступления в солдаты».*

Вспомнив про это, разумеется, не в форме исторической цитаты, Елисавета вскинулась:

— А они, сенаторы-диаволы, герои римские, что на это? Что?

— Кынь думаты, Лиза. Бэз користи для отечества, все жизненные спирты себе перетревожишь, — сказал Разумовский любимую фразой кузины Маврутки.

— Как же не перетревожишь, коли они, герои римские, диаволы, всем сенатом, Алеша, порешили плетями да батогами на площадях народ подлый потчевать, а которые просьбы ко мне писали, тех чтоб в Сибирь гнать на вечную работу. Ох, диаволы! Ох, статуи! Ох, воры!

Чтоб утешить императрицу, обер-егермейстер стал правой рукой поглаживать высокие груди ее, прободающие корсаж.

Императрица сразу обмякла.

Обер-егермейстер поцеловал ее в горячие толстые губы.

Минуя бесконечные заборы, плетни, колья, огораживающие пустыри и огороды, минуя церкви каменные и деревянные, крашенные дома, некрашенные дома, дома с дощатыми трубами, полосатые фонари, ворота с двускатными кровлями и маленькими замшелыми иконками, покосившиеся курные избы и избы, крытые дранью,

и избы, крытые соломой, — словом, через всю первопрестольную Москву, несли вскачь вспененные лошади императорскую карету.

#### 4

Был вечерний стол в покоях великого князя. Петр Федорович, как завелось, сидел рядом с Фике. У нее после болезни сильно поредели волосы, лоб еще больше выпуклился, подбородок еще удлинился, но щеки, обтягивающие скулы, цвели пышными розанами, из банки румян, подаренных императрицей.

*«Лето есть такое время в году, в которое человек ищет воздушных рассеяний и охотно бежит из комнаты в сад, на поле, даже в самые дикие овраги»*, — говорит писатель XVIII века.

И Петр Федорович искал воздушных рассеяний; а Фике была слаба и неохотно бежала из комнаты в сад, в поле и даже в самые дикие овраги; поэтому-то они и виделись не так часто.

— Черт возьми, а ведь с вами, сударыня, я особенно хорошо себя чувствую! — воскликнул Петр Федорович.

— Мне это весьма приятно слушать, ваше высочество.

— А знаете ли почему? Потому что вы немка и моя троюродная сестра. Это открывает двери для откровенности.

Но Фике, надо сказать, не особенно ломилась в эти открытые двери; ей казалось, что пучеглазый лейб-компанец, сидящий наискось, понимает немецкую речь.

— А ведь я влюблен, — сделал Петр Федорович вполне неожиданное сообщение.

— Да что вы!

И завитки ушей у Фике зарделись.

— Нет, вы не поверите, сударыня, я, черт побери, просто без ума влюблен.

— Ах!

И Фике опустила счастливые глаза в тарелку со щучиной.

— Хотите я назову вам имя моей прелестной?

— Да! — едва слышно сказала Фике, не поднимая счастливых глаз от щучины.

— Это прелестное существо, сударыня...

— Ах, не надо! Молчите!

— Почему же? Итак, это прелестное существо... фрейлина Лопухина.

Фике выронила вилку из рук.

— Я, конечно, счел бы для себя величайшей радостью на ней жениться, но, черт возьми, тетушка против. А так как я, к сожалению, наследник российского престола, но не шведского, на который тетушка посадила вашего дядю, то, сами понимаете, приходится покоряться ее воле. И жениться на вас. Надеюсь, сестрица, вы не возражаете?

— Конечно.

Завитки ушей у Фике больше не рдели до конца ужина и, вообще, никогда больше не рдели от близости своего жениха, а вскоре и мужа, может быть, чересчур откровенного.

Об откровенности, кажется нам, следовало бы при случае обстоятельно потолковать: что это за свойство и каких душ и каких сердец и каких умов — добрых или злых, возвышенных или низменных, честных или преступных.

— А вы знаете ли, сестрица, историю Наталии Лопухиной, матери дамы моего сердца? — спросил Петр Федорович не совсем твердым голосом.

— Нет, ваше высочество, не знаю.

— Госпожа Лопухина в Сибири. Мрачная история, клянусь адом! А перед отправлением туда ей, черт побери, сочли полезным урезать язык, да еще плетью отстегали. Каково, сударыня, варварство?

Пытаясь отвлечь Петра Федоровича от малоуместного повествования, Фике воскликнула:

— Какое вкусное блюдо, ваше высочество, эта «щучина».

До ничтожной ли рыбы было рассказчику.

— Вы, конечно, сударыня, желаете узнать, — вопил он, — какое государственное преступление совершила сия красавица? В таком случае, позволю доложить вам, что главнейшая вина госпожи Лопухиной была в ее красоте. Поверьте, сестрица, красота у нее, черт подери,



была неземная, первейшая в Петербурге. А теперь первейшая у тетушки. Кому охота быть второй, если совсем нетрудно стать первой, не так ли, сударыня?

— Вы ничего не кушаете, ваше высочество.

— А когда монарх пожелает избавиться от соперницы, клянусь головой, не столь уж трудно найти зацепочку.

— Ваше высочество, как вы вчера стреляли уток?

— Удачно, сударыня. Итак, не успела еще моя тетушка помечтать о доносе на госпожу Лопухину, как он был уже и написан, а следственная комиссия, в которой на одного каналью приходилось по два негодяя...

— Ваше высочество...

— Удачно! удачно!.. А следственная комиссия, состоящая из канальей и негодяев, черт побери, уже и дозналась до самых сокровенностей.

— Ваше высочество...

— Ага! Я вижу, вы сгораєте от любопытства поскорей узнать, до каких сокровенностей дознались эти канальи и негодяи.

Фике покрылась капельками холодного пота.

— Имейте в виду, сударыня, что дыба была у них правой рукой и колесо, черт побери, левой, а дознались мерзавцы вот до каких сокровенностей, — и сделал прекомичнейший нос из десяти пальцев.

— Однако, судя по вашему лицу, сестрица, вы, кажется, опять собираетесь меня спросить, удачно ли я стрелял уток?

— Вы ошибаетесь, ваше высочество, — смутилась Фике.

— В таком случае, — и вспыхнул, — да слушайте же вы меня, наконец, сестрица!

Фике подумала: «Нет, я ему никогда не понравлюсь, если не буду терпеливо слушать его истории, к сожалению, не совсем уместные».

— Итак, госпожа Лопухина где-то соизволила сболтнуть, что ее величество моя тетушка непорядочно живет, что всюду она непрестанно бегает, таскается...

На этих словах наследнику российского престола пришлось оборвать занимательное повествование, потому что у Фике внезапно приключились сильнейшие колики в груди.

— Поздравляю, сударыня, вторично простудились. Я же вас предупреждал, что эта Россия — проклятая страна. Вот увидите, не пройдет и трех месяцев, как вы отдадите здесь Богу душу. Разрешите, сестрица, постучать вам кулаком по шее? Это иногда помогает от задыхания.

Фике ничего не оставалось, как принять с благодарностью предложение внука Петра Великого. «Пусть уж лучше стучит мне кулаком по шее, чем рассказывает свои истории».

— Разрешите постучать, сударыня, посильней?

Несчастливая пролепетала: «Пожалуйста, ваше высочество».

— Ага! Помогло?.. Ну-с, теперь продолжим нашу историю. Так вот, когда госпожу Лопухину везли с торговой казни мимо сената и в окна увидела она каналий сенаторов, подписавших варварскую сентенцию... Подождите, черт возьми, подождите, сестрица, кашлять, сейчас доскажу... Госпожа Лопухина, воздев руки к небу, кровью в их сторону плюнула и с презрением отворотилась. Как-ково, сестрица? Это ли не героический поступок?

Но Фике ничего не ответила, так как у нее возобновился кашель, самый злодейский.

«Какая досадная простуда», — сокрушался Петр Федорович, обуреваемый желанием поразвлечь свою предполагаемую невесту дополнительным рассказом про вплетенную в то же дело Софью Лилиенфельд, жену камергера, к которой следственные персоны, из-за ее брюхатости, захотели применить снисхождение, а Елисавета Петровна собственноручно начертала: «...плутоф и наипаче желеть не для чего, лучше чтоб и век их не слышать нежели еще от них плодоф ждать».

## 5

Солнце жгло. Небо казалось твердым, тяжелым. Небо казалось перевернутой синей плоской.

Архимандрит Арсений Могилянский, облаченный в священные одежды, встречал «со кресты» императрицу в монастырских воротах.

Колокола ревели.

Соблюдая ранжир, теснились и прели соборные старцы в дорогих бархатных рясах. Башмаки на старцах были с бриллиантовыми пряжками, чулки, как у фрейлин, шелковые, а исподнее платье, застегивающееся золотыми и серебряными штифтными крючками, из тончайшего нерусского полотна.

Не все монахи твердо стояли на ногах. Каждому брату Троице-Сергиева монастыря ежедневно отпускалось: одна бутылка хорошего кагора, один штоф пенного вина, по кувшину меда, пива и кваса. Водки же на братию полагалось 3 000 ведер в год.

Колокола ревели.

Краснорожие здоровенные семинаристы в ангельских белых одеяньях с зелеными лавровыми веночками в волосах, вымытых квасом, держали в руках пальмовые ветви и поздравительные стихи.

Наследник престола, шедший следом за императрицей, усердно шевелил ушами, опустив долу глаза и закуся лягушачью губу свою, чтобы не прыснуть смехом.

Колокола ревели.

Лицо у Фике светилось, как говорится, внутренним светом. Она делала вид, что не чувствует, как жених тычет ее то локтем в бок, то острой коленкой в ляжку.

Архимандрит как-то по-особому, по-условленному, махнул крестом.

Семинаристы в ангельских одеяниях, протянув к императрице красные кулачищи с пальмовыми веточками, грянули поздравительные стихи. Зеленые лавровые веночки съехали на затылки, воняющие квасом.

Солнце жгло.

Обильный пот падал грязными крупными каплями на ангельские одеяния.

Плавилось золото на куполах.

Троицкий монастырь имел сто тысяч душ крепостных людей. Помещичьи мужики не завидовали монастырским.

Елисавета Петровна смотрела с умилением и благодарностью на широкие монастырские стены, укрывшие ее родителя при московском бунте.

Стенами этими Троица опоясалась еще при малолетстве великого князя Ивана Васильевича Грозного.

Семинаристы пели поздравительные стихи толстыми и тонкими голосами. Обильный пот, проводя грязные борозды вдоль щек, сделал красные морды их полосатыми.

Петр Федорович, встречаясь глазами с золотобородым архимандритом, комически опустил ухо почти до середины шеи.

Золотобородый открыл рот от удивления. Солнце жгло.

Фике, устремив восторженные взоры к небу, думала: «Боже мой, для чего на свете существуют стихи? Неужели они кому-нибудь доставляют удовольствие; наверное, все притворяются так же, как и я».

Подобная мысль довольно часто приходила ей в голову и позднее в зрелом возрасте, когда она покровительствовала искусствам. «Не может быть, — твердила она себе, — чтобы слова, которыми никто не говорит, да еще расставленные неправильно, было приятно читать».

Наследник престола свирепо проквакал:

— О, сестрица, если бы вы только знали, какое у меня огромное желание отправить на живодерню этих лошадей, одетых херувимами.

— Любите ли вы поэзию, ваше высочество?

— Помилуйте, сударыня: как же я могу не любить родную сестру музыки.

Фике заключила: «Нет, он не притворяется».

Семинаристы прижали к сердцам красные кулачищи с пальмовыми веточками.

Наследник престола фыркнул.

Золотобородый подумал: «Чистый буфон».

Солнце жгло.

Архимандрит был одним из постоянных спутников императрицы. Он за нею и на маскарады следовал, разумеется, не надевая домины, и в немецкую комедию, и в оперный дом, где, кроме итальянцев оперистов и оперисток, немые роли играли молодые дворяне, обучавшиеся в Сухаревой башне.

Поймав взгляд золотобородого, наследник престола вторично опустил ухо чуть ли не до середины шеи.

«В дедушку пошел, в Петра Алексеевича», — сказал себе архимандрит и, не выдержав издевательства неморгающих глаз наследника, спрятался под золотые свои мохнатые брови. «О Господи, почто на российский престол опять сатану сажаешь?»

Солнце жгло.

## 6

Под вечер приехал в монастырь Михайло Ларионович Воронцов с толстым пакетом для императрицы от Бестужева.

\* \* \*

— Чего замолчала? Читай. Тебе говорю, что ли, читай, Маврутка, — сказала Елисавета очень тихо и потому страшно. — Да гляди, коли какое слово проглотишь, ох, клянусь Господом, так и пуцу башмаком в рыло.

Когда императрица орала и сверкающая тарелка лица ее пунцовела, у Мавры Егоровны сердце не проваливалось, как в бездну; но когда тарелка делалась белой и говорить императрица начинала так тихо, что в трех шагах и слова не разберешь, тогда сердце у кузины летело в тартарары.

— Читай.

Елисавета сидела на постели, обняв голую ногу, согнутую в колене, обеими руками; другой, правой ногой она, не переставая, ерзала по простыне.

— Ну?

— А которое ж, матушка ваше величество, теперь читать?

— Вот это, — и государыня ткнула пяткой в большой белый лист, отбившийся от вороха прочих шетардиевых писем, разобранных с цифири статским советником Голдбахом, чиновником из коллегии иностранных дел.

— К кому оно?

— К Амелоту, матушка.

— Читай, что красным подчерчено господином вице-канцлером.

— Слушаю, матушка-государыня, — и кузына принялась за огласку, водя глазами по крупным и длинным строкам: «Дабы о том, что в сердце царицыном делается, сказать или паче, когда бы ее суеверными предупредительными мнениями пользоваться, то всемерно и существенно потребно есть ее духовника и тех архиереев, которые синод сочиняют, подкупить».

— Ладно, кинь к стороне, — сказала Елисавета, не двигая глазами, белыми от злости.

Мавра Егоровна откинула.

— Это! — И Елисавета ткнула пяткой в другой лист. — Читай.

— Опять, матушка ваше величество, оттоле брать, что красным отчерчено?

— Оттоле.

— *«Но пункт о низвержении вице-канцлера еще в состояние не приведен, однакож мы много от помоществования принцессы Цербстской надеемся...»*

— Известно, — сказала Елисавета, — дуракам от дуры и помоществование. Умный-то не подаст. Ох, клянись Господом, и будет немецкой дуре осадка. Читай.

— Под сим, матушка ваше величество, шетардиевым пассажем имеется Алексея Петровича подлинный ремарк.

— У господина вице-канцлера словеса-то липучи, как собачья слюна. Бери, стало, с середики.

— Слушаюсь, ваше величество, — и взяла с середики. — *«Будучи грустном и печальном состоянии только утешения на правосудие ея императорского величества со всещедрым своим покровом не допустить его вице-канцлера невинным быть сакрифисом.»*

— Сакрифисом! — мрачно прыснула Елисавета. — А по моему згаду, от такого невинного сакрифиса, как граф Бестужев, и палачу-то кровожадному дай Бог — живу ноги унести.

Кузына вставила:

— Он, матушка, граф Алексей Петрович человек есть прозорливой.

— Ладно, тебя — министра не спрашиваю, — огрызнулась императрица.

Кузына подобрала слюнявые губы. Елисавета опять ткнула пяткой в лист.

— Читай!

Мавра Егоровна с поспешностью загнусавила:

— *«Царица, будучи единственно увеселеньям своим предана, и от часу вяще совершенную омерзелость от дел возимевая...»*

— Бери вон то, — сказала Елисавета чуть слышно, — да раздельно читай, да громогласно.

— Слушаю, матушка ваше величество.

И зачитала:

— *«Услаждения туалета четырежды или пятью на день повторенное и увеселение в своих внутренних покоех всяким подлым сбродом...»*

Тут кузына, набравшись смелости, проглотила вместе с холодной слюной своей несколько горьких шетардиевых слов.

Елисавета незаметно подняла башмак.

— Государыня, ваше величество, — быстро-быстро заговорила служебница раба и кузына, — да можно ль этакую погань читать в огласку?

Елисавета за спиной крутила, вертела и сжимала башмак.

— От одного тухлого яйца, сказано, семеро мужиков разбежалось; а тут, матушка...

Но договорить кузыне не пришлось: башмак, брошенный с силой неженской, угодил метко.

— Вيني самою себя, Мавра Егоровна. Кузына с кровью выплюнула два темных передних зуба.

— Ступай вон из кельи, — сказала Елисавета; а подумала: «Не малина, не опадет».

Июньский теплый вечер, переливаясь через полуоткрытые створы окна, колебал лампадные огоньки.

Кузына удалилась, спуская соленую кровь в брюхо большими глотками.

За дверью завывла по зубам.

Императрица, упав лбом в подушку, тоже завывла. Ей казалось, что она несчастна.

Кукарекнул петух, вероятно, страдающий бессонницей.

Ночь обсыпалась звездами, к сожалению, не столь золотыми, как кресты и купола Троицкого монастыря.

В келью влетел майский жук.

Жалостливая государыня поймала его и, подойдя к окну, выпустила в теплую ночь.

— Живи, миленькой.

И легла высокими розовыми грудями на подоконник и запустила пальцы в кучу рыжеватых волос и помыслила: «Ох, изуродовала бабу».

Стала звать:

— Мавра!.. Маврутка!.. Мавра Егоровна!

Зареванная кузина вошла в келью, прикрывая ладошкой рот.

— Ты, Мавра Егоровна, не плачь, — сказала ласково Елисавета, — муж все равно любить станет. Уж я его знаю, как свой пяток. Он тебя, мой друг, теперь पुще прежнего любить станет. Я его, Мавра Егоровна, мужа твоего, господина Шувалова, сейчас в сенат посадила.

И собою вполне довольная, дала рабе и кузине целовать ручку.

«Тем-то и несносно невежество, — сказано у Платона, — что оно не будучи ни прекрасным, ни добрым, ни благоразумным, все-таки остается собою вполне довольным».

\* \* \*

Порозовели листья берез.

Из-за бело-черных стволов словно вынырнул дьякон: в стихаре с посохом в руках и верхом на крупной черной кобыле.

«Конным бы гвардейцам так в седле сидеть», — заключил архимандрит Арсений Могилянский, потягиваясь на мягких подушках золотой кареты.

Шестернею нежирных лошадей, в цвет кареты и бороды и куполов монастырских, ехал архимандрит в баню.

В немногих шагах от кареты громыхал окованными колесами небольшой возок со всякою снедью и питиями.

Гладкий пол в бане был выстлан цветами и душистой травой.



На раскаленный камень плескали из шаек венгерским вином. От такого пара кость млела.

Взглянув на распахнутое окно в государской келье, архимандрит подумал: «Хорошо в бане с бабой мыться».

Березы шелестели розовыми листьями. Заснула Елисавета, отошедши сердцем, а когда после полудня продрала глаза — все было ей не мило. Такое случается.

## 7

— Тетушка в кипучем состоянии, — объявил Петр Федорович, келья которого притулилась по соседству с государской, — статс-дамам, значит, и фрейлинам нынче румяниться не придется.

Фике заинтересовалась: «Почему бы это?»

— А тетушка их всех сама подрумянит, — пояснил наследник, — отхлещет по щекам, ну и расцветут натуральные розы.

— Вы зло шутите, ваше высочество.

— Да нет же! Я вовсе не шучу! Право, сестрица, сразу видно, что вы еще совсем недолго живете при дворе, самом блестящем в Европе.

— Ее величество присылала за мамой, когда еще к обедне звонили, — объявила Фике.

— Подрумянит, — сказал невозмутимо наследник. — Хотите, сестрица, я вам представлю, какое сейчас лицо у тетушки.

Он округлил глаза, раздул ноздри, раздул щеки и прикрыл верхнюю губу нижней.

— Боже мой, как вы похожи на государыню! — воскликнула Фике.

— А теперь смотрите, какое лицо у вашей мамы.

И он представил Иоганну-Елисавету с таким комическим сходством, что Фике, не выдержав, рассмеялась.

— А вот полюбуйтесь на господина Лестока, присутствующего при объяснении высоких дам.

Петр Федорович сделал пресмешную рожу. Первый лейб-медик, неожиданно вошедший в келью, сразу же узнал себя в карикатуре.

«Проклятый шут!» — пробормотал оскорбленный доктор.

У Фике текли слезы от смеха.

Наследник, увидев Лестока, не счел нужным убрать с лица комическую маску.

Первому лейб-медику казалось, что он видит себя в зеркале из плохого стекла.

Фике поспешно вытерла слезы. «Ах, какая неосторожность! — досадовала она. — С этой минуты господин Лесток изменит ко мне свое отношение».

— Вашему шумному веселью приходит конец, — сказал лейб-медикус, сжимая кулаки.

С каким бы удовольствием он сейчас разбил бы в кровь «голландскую рожу».

— Итак, сударь, вы полагаете, что нашему веселью приходит конец? — спросил наследник не своим, но лестоковским голосом, сиповатым от комического бешенства.

— Да, ваше высочество, полагаю. А что касается до вас, сударыня, — обернулся Лесток к Фике, — то, по моим сведениям, вам не остается ничего другого, как собирать вещи в обратную дорогу.

У Фике подкосились ноги.

Она сказала себе в мыслях: «Ах, Господи, вот к чему привела маму политическая деятельность!» И добавила по-русски, подражая императрице: «Дура!»

Лесток, не разжимая кулаков, вышел из кельи.

— Ну, каково, сестрица, разве я не предсказал, что сегодня тетушка подрумянит вашу маму? — весело проквокал жених, теряющий свою невесту. — Интересно все-таки знать, на ком же они меня в конце концов женят.

Почти всякий из нас, как самый хороший, так и дурной, при известии, что кого-то постигло несчастье, испытывает, помимо воли, чувство удовольствия. И, как это ни странно, но испытываем мы это гаденькое чувство даже тогда, когда несчастье случается с нашим хорошим знакомым, с другом, с родственником. Особенно же удивительно, что чувство это не исчезает даже в том случае, если несчастье, разразившееся над близким че-

ловеком, каким-то своим концом ударяет и нас по голове. Само собой разумеется, что мы давно научились, довольно прилично и по возможности быстро маскировать гаденькое чувство — видом огорченности.

Когда несчастье постигает не врага нашего, а доброго знакомого или друга, то обычно, вслед за маскировкой в огорченность, следует самое искреннее и глубокое огорчение.

\* \* \*

Наследник сказал:

— Тсссс! Это шествует тетушка.

Фике, сидевшая на высоком монастырском подоконнике рядом с наследником, нежно прижалась к нему и склонила голову на его плечо.

Юноша взглянул с удивлением на троюродную сестрицу.

Вошла государыня с плохо намазанными бровями, красная и потная от криков, в которых поусердствовала. За ней следовала Иоганна-Елисавета, с глазами и носом, распухшими от слез; видимо, они щедро текли также из отверстий не столь поэтических.

Фике с первого взгляда поняла, что слова медикуса о дорожных чемоданах были сказаны не на ветер: глаза и нос цербстской княгини, распухшие от слез, свидетельствовали о буре и, по всей вероятности, о кораблекрушении.

«Судя по маминому жалкому виду, ей здорово попало», — подумала Фике, получая почти наслаждение от этой мысли.

Ошибкой было бы считать Фике очень плохой дочерью.

«Что же будет со мной?» — была вторая ее мысль.

И она, нимало не влюбленная в наследника русского престола, еще влюбленней прижалась к его плечу.

«Ах, какой великий у них амур», — подумала императрица, подобно большинству женщин обожавшая сводничать. «Милые дети, чем же они виноваты, что мать политическая дура».

Английский посланник лорд Тироули сообщал из Москвы в Лондон: *«Я не имел покойной минуты, пока шло дело Шетарди, потому что поставлен был вопрос: кому победить — Англии или Франции. Когда мы открыли императрице его поступки и представили его не только опасным, но и с самой смешной стороны, то оно очень скоро на нее подействовало».*

Великобританские подданные покупали у России две трети всей вывозимой пеньки, более половины всех кож, столько же льна, более трех четвертей всех полотен, по крайней мере столько же железа, весь поташ, большую часть ревеня, рыбьего клея, щетины и т. д.

6 июня маркиз де ла Шетарди получил предписание в 24 часа выехать из Москвы.

*«Такой в Шетардии конфузии и торопности никогда не ожидали, — писал Бестужев к Воронцову, находящемуся при императрице в Троицком монастыре, — ни опомнился, ни сесть попотчевал, ниже что малейшее в оправдание свое принесть, стоял потупя нос и во все время сопел».*

Граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин был возведен в великие канцлеры, а Воронцов Михайла Ларионович — в вице-канцлеры.

— Преподобие нынче в баньку поедут, — весело объявил дьякон, сидевший в седле лучше конного гвардейца.

— Что так?

— Сердцем болеют. Никольские мужики своих монахов поизувечили.

— Господи помилуй.

В селах и деревнях Никольского монастыря на Песноше, приписанного к Троице-Сергиевой лавре, крестьяне, «надорвав жилу терпения, взяли решимость отложиться от вечного рабства».

Черные помещики на беду свою, не дотерпев прихода солдат, попытались вразумить мужиков: сперва молитвенным гласом, а потом, запыхав от мужицкого крика, ругательными речами.

Получилось неважно.

«У-у-у-ух, у-у-у-ух, — выл старшой монах Илия. — Не медведь же я, сыночки, не зверь дикой лесной, чтоб с рогатиной на меня».

«Хуже медведя, — отвечали мужики, — медведь скотину режет, а ты, батя, вроде как людей».

А в селе Рогачеве брата Василия, привязав цепью, купали в глубоком пруду.

«До осмых пузырей», — приказал рогачевский уговорщик, седой крестьянин с изможденным лицом и молодыми дерзкими глазами.

«Карась тину любит», — заявили девки, обесстыженные монахом.

Старцу же Иову из села Козельского взъерошили всю кожу на спине.

Суд у мужиков был Соломонов: каждая душа, выпоротая Иовом, отпускала старцу по пятку плетей. Мужики, бабы, девки и дети стегали козельского Малюту.

## 10

Елисавета назначила обручение на день Петра и Павла.

— А в канун чтоб девочка приняла православную греческую веру и святым мирром была помазана.

Фике с чужого голоса, не понимая русских слов, как попугай, затвердила исповедание.

Постилась.

Крестной матерью была игуменья Новодевичьего монастыря, старуха с ястребиным клювом и с темными ногтями, под благословление которых приходили трепещущая, чувствуя себя добычей — цыплятами, овцами. Ведьма стяжала славу подвижницы.

Вследствие удачных комедиальных упражнений, Фике так произнесла Символ веры, что вся церковь рев-

мя ревела: сенат, синод, генералитет, вельможи; не говоря уже о дамах, чьи слезы мы привыкли расценивать подешевле. Словом, русская нация, как Фике продолжала называть придворную толпу, была в восхищениях.

У императрицы таяло сердце.

Внук Петра Великого исподтишка хлопал в ладоши своей невесте.

Немка София-Августа-Фредерика стала Екатериной Алексеевной.

По окончании церемонии императрица подарила ей аграф и складень бриллиантовый, ценою в несколько сот тысяч рублей.

Один пуд говядины тогда в Москве стоил 12 копеек.

\* \* \*

Вечером двор из Головинского деревянного дворца перебрался в Кремль.

29 июня состоялось обручение.

В Успенский собор Елисавета прошествовала в императорской мантии и в короне, обляпанной 2605 драгоценными камнями, среди которых, как открытая рана, багровел знаменитый рубин, купленный еще при Алексее Михайловиче у китайского богдыхана.

Рослые генерал-майоры, восемь их было, с тупыми лицами несли серебряный балдахин.

Елисавета жестоко потела под мантией.

«Спасибо еще балдахину, а то б совсем околела».

Разумовскому показалось, что у Лизы его задержалось плечо. «И! Беда! Не дай, Господи, чтоб грохнулась в падучей».

От родителя наследовала государыня болезнь.

Гвардейские полки стояли шпалерами, горя золотыми шарфами через правое плечо, золотыми темляками, золотыми эфесами, золотыми зубчатыми галунами на кафтанах по борту.

Кольца, надетые государыней на пальцы обручающимся, Иоганна-Елисавета назвала «настоящими маленькими чудовищами» в 50 000 экю.

Один пуд ветчины стоил в Москве 50 копеек.

Все московские колокола пели согласными голосами, когда епископ читал императорский указ, повелевающий Екатерину Алексеевну почитать великою княжною с титулом Ее Императорского Высочества.

После службы палили из пушек.

Вечером состоялся бал.

На ковре, у подножия трона, танцевали: императрица, великая княжна Екатерина Алексеевна, ее мать («Тьфу, на дуру») и принцесса гессенская. Всего четыре пары.

Английский посланник лорд Тироули, собою не весьма сановитый, танцевал на ковре у подножия трона.

## Седьмая глава

### 1

Декабрьский мороз сделал жеребцов и кобыл похожими на большущих белых ежей: иглами стояла шерсть.

Императрица следовала в санях, имеющих внутри карточный стол, и отапливающихся, как дом, печкой.

Лошадей, падающих в снег с агонийным хрипом, заменяли другими из запасного табуна, скачущего за полосьями.

В стремительном войске Чингис-хана, чтобы не воровать у быстроты, за каждым всадником следовало 18 неоседланных коней. Чингис-хан торопился привести в повиновение 720 народов.

Елисавета, отганцевав на маскарадах в Москве, торопилась в Петербург к кадрилям и «менуветам метаморфоз», где «мужск» пол, обряженный в юбки, как бы становился полом женским, а «женск» — мужеским, отчего высоким и стройным бабам была потеха, а жирным да коротким — в штанах-то! — слезы.

\* \* \*

Утром в Твери Петр Федорович сообщил невесте, что «тетушка ночью проскакала».

Екатерина Алексеевна, взглянув на жениха, спросила с беспокойством:

— Хорошо ли вы себя чувствуете, ваше высочество?

— Я в России! — отвечал он, давая понять насмешательностью тона, что в проклятой стране этой иначе, как мерзейше чувствовать себя невозможно.

Но вид у жениха был еще хуже, чем всегда.

Брюммер сказал, что «его высочество с утра тошнит, верно в санях укачало, но для беспокойства тут не имеется места».

Петр Федорович пожаловался на головную боль.

— Впрочем, это от дурацкого колокольного звона. Какие-то ослы, черт возьми, поместили нас рядом с церковью. Предпочел бы кабак. Став монархом, прикажу повыдергать языки у всех колоколов. И добавил вполне неожиданно:

— А также у негодаев, поносящих прусского короля.

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, вслед за императрицей, в кругу друзей обозвал Фридриха II «пруссским шах-Надиром».

Пошли ложиться в сани — наследник ехал с Брюммером, Екатерина с матерью.

Дорога была в ухабах — качало, мотало.

И метель, как белый пожар.

И пылающие смоляные бочки.

Петр Федорович высовывал горячую голову за полог и рвал желчью в снег.

Смоляной огонь, казалось, протягивал дрожащие кровавые руки к длинной шее наследника российского престола.

Снег.

Рвота.

Пламя.

Желтые измученные глаза.

По немногим ступеням придорожного хотиловского дворца, что стоял на четырехсотой версте от Москвы, Петр Федорович едва-едва втащил ноги.

Не лег, а свалился в постель.

Екатерина, услышав через стену, как жених ее лязгает зубами, встревожилась непритворно:



— Да что же это такое, что такое? Ах, ему плохо!

Просила:

— Пустите меня к нему, пустите!

— Сядьте, сударыня, — сказала будущая теща наследника престола, — успокойтесь, сударыня.

— Где доктор? Где Бургав? Бегите, бегите за Бургавом!

— Не кричите, сударыня, вы не рыночная торговка.

Туговатый на ухо лейб-медикус, обнаружив у Петра Федоровича треугольные красные пятна внизу живота, а также на груди и под мышками, пробормотал:

— У его высочества оспа.

«Воспа!» — как ветер, пронеслось по Хотиловскому дворцу.

— Воспа!

— Воспа!

— Воспа!

— Мой брат в России тоже умер от оспы, — сказала Иоганна-Елисавета.

— И император Петр II от оспы, — сказал Брюммер. Екатерина упала без чувств.

К императрице поскакал в Петербург курьер с невестостями.

От оспы тогда ежегодно умирали в Западной Европе свыше полутора миллионов человек. Двадцать коронованных особ она прибрала в течение века. Единственной защитницей от нее была Доу-чжень-нян-нян, китайская богиня. Впрочем, и в Индии также стояли каменные болваны-целители. А медикусы, надо признаться, помогали слабо. Хотя поощряли их всячески. Так, к примеру, исполняя последнюю просьбу скончавшейся от оспы бургундской королевы Аустригильды, двух ученых врачей Донатуса и Николауса, спасовавших перед болезнью, для поощрения изрубили мечами.

— Уезжайте немедленно, — пробормотал лейб-медикус Иоганне-Елисавете.

Целуя у матери руки, покрытые холодной испариной, Екатерина стала молить о дозволении остаться ей в Хотиловом Яму, чтобы ходить за женихом.

Она, на этот раз, плакала и умоляла не из желания понравиться нации и наследнику.

— Ах, сударыня, хотя бы в такую минуту вы избавили меня от своего комедианства, — прошипела мать, вполне уверенная, что дочь ее представляет для окружающих великую любовь.

Но Екатерина на этот раз ничего не представляла.

Настоящие большие чувства во всех случаях рекомендуются прятать, хотя бы уже потому, что они кажутся поддельными.

Екатерина, не любя жениха, любила в нем свое будущее.

Она кричала:

— Я хочу умереть вместе с ним!

Иоганна-Елисавета приказала завернуть великую княгиню в шубу и снести в сани.

Метель, как пьяная баба, крутилась и корячилась в спальнoй рубаше и выла среди ночи русские песни.

Но хрип гривастых императорских коней Екатерина все-таки услышала.

В легких санях государыня сломя голову неоглядкою скакала из Петербурга в Хотилов Ям.

— Стой! Стой!

— Репортуйте меня, сударыня, — обратилась Елисавета к цербстской княгине.

Императорские лошади, пошатываясь как после пирушки, ловили мордами снег.

Будущая теща с увлечением «репортовала». Елисавета Петровна плакала. Екатерина плакала.

Пылающие смоляные бочки были похожи на громадные злые волчьи глаза.

Разведав в подробность, Елисавета обернулась к меньшей:

— В Новгороде, до него недалеко, поусердней, дитя мое, помолись за обедней Господу.

И часто-часто стала крестить.

— Ну, Христос с тобой, девочка.

И кони рванули легкие сани.

И метель орала русские песни.

Когда на зудящей коже племянника высыпали красные пуговики, Елисавета стала надавливать их пальцами — тут, там, здесь. Пуговики исчезали.

— Да, воспа, — строго сказала императрица.

Глаза ее были сухи.

Через несколько дней у Петра Федоровича, вместо лица, уже была страшная гнойная маска. Распухший язык, роняя вонючую слюну, торчал изо рта, как гнилая редька.

Страдания, поистине, были невыносимы. С хрипом, в изнеможении телесном, гнойный племянник слал мольбы — кончить его, зарезать, приколоть.

Или поносил «проклятую Россию».

Елисавета, денно и ночью сидящая у оспяной постели, отчаялась в Господе.

«Ох, бедствию подвергаемся. Коли помрет племянник, хоть рожай империи наследника. От Алеши, от бандуриста маленького, что ль, рожать-то? А если бабу дашь? Только танцевать, дура, станет. Протанцует, дура, отечество».

И, пылая огнем и пламенем, вскакивала со стульца и с глазами, готовыми к пролитию слез, бросалась, сжав кулаки, на перепуганную Богородицу, что висела в золотой ризе на стене среди мерцающих лампад.

Гнойное мясо с вонючей постели хрипело проклятия России.

Деревянная Богородица, в страхе перед осатаневшей государыней, прижимала к груди своей упитанного розового младенца.

«Ох, будет тебе, мать, по делам!» — и дочь Петра обрывала лампаду и стаскивала икону со стены и швыряла ее в угол и рычала на нее устрашительными клятвами и похабными словами и загибами, от которых бы пришел в удивленность даже такой великий ругатель, как бомбардир Петр Алексеев.

В Петербурге по приказу, оставленному императрицей, Иоганну-Елисавету отделили от дочери.

«Растасовали — и хорошо», — заключила Екатерина и забыла о существовании матери, хотя и оказывала ей внимательности, встречаясь ежедневно.

Разделены они были не улицами, но общей залой: в кавалерском придворном доме, стоящем близ дворца, мать разместили справа от лестницы в четырех комнатах, обтянутых красной и голубой материей, а дочь слева от лестницы в четырех комнатах, тоже обтянутых красной и голубой материей.

— Дух мой в Хотилове: у постели его, — говорила Екатерина графине Румянцевой и не врал, если только можно назвать «духом» — беспокойство мысли.

В морозную январскую пятницу, когда кислое чухонское солнце вздумало притворяться природным рассейским, пришла в Петербург из оспяного дворца весть, которую засиявшая Екатерина боялась назвать доброй: «Боже упаси, спугнешь».

А во вторник великая княгиня уже танцевала, как обычно: утром с семи до девяти, после обеда с четырех до шести и часть ночи.

А в среду она вспомнила, что граф Гюленбург в Петербурге.

Это был человек средней красоты и среднего возраста. Ему нравились очень худые девушки. Он еще в Гамбурге обратил внимание на мальчишеские ноги принцессы Цербстской. «У вас лоб Сократа», — объявил он тогда Фике. Но девица в ту пору была влюблена в своего дядю с мокрыми губами и голосом, как военная труба.

В Россию человек средней красоты прибыл из Стокгольма с неприятным известием о свадьбе шведского наследника с принцессой Прусской.

«Преуспел», — Фридрих II, сводничавший двух немков для наследников северных стран.

Так строилась политическая безопасность не только в XVIII веке.

Граф Гюленбург приходил в комнату, обтянутую красной материей, садился против Екатерины и, слегка покачиваясь в вытертом кресле, заводил речь о добродетели, свойственной древним грекам и римлянам, но не свойственной русскому двору.

Так как Екатерине нравились глаза графа, под серым спокойствием которых она угадывала волнение, и нравились сухие губы, казавшиеся горячими (так меняются вкусы), то и речи о добродетели были ей не скучны, если даже и слушала она их не всегда внимательно.

Может быть, потому, что великая княгиня очень редко открывала рот, граф называл ее «философом в пятнадцать лет».

Екатерина приняла прозвище с удовольствием.

Марья Андреевна Румянцева говорила домашним: «Все швед ходит, чтоб питаться страстным зрением на немку нашу; но вредов не производит».

\* \* \*

Граф произнес прекрасную тираду о добродетельном Бруте.

О Бруте, про которого Юлий Цезарь сказал: «Я не знаю, чего желает этот молодой человек, но все, чего он желает — он желает страстно».

О Бруте с низким лбом и высокой душой.

О Бруте, писавшем Антонию: «Советую тебе подумать не о том, сколько жил Цезарь, но о том, как мало он царствовал».

О Бруте, заявившем Цицерону: «Ты намереваешься ввести умеренное рабство, тогда как предки наши не терпели и кротких деспотов».

Граф произнес прекрасную тираду, пересыпанную извлечениями из Плутарха.

Великая княгиня так заслушалась господина Гюленборга, что даже сочла его коленные чашечки за ножки кресла.

Она смотрела на сухие губы, казавшиеся ей губами Демосфена, ожидая с трепетом, что они еще изрекут о римлянине, побеждавшем своих врагов не оружием, но нравственностью. Впрочем, для Гая Юлия Цезаря добродетельному Бруту все-таки понадобился меч.

— Как жаль, сударыня, что вы должны выйти замуж за великого князя! — воскликнул Демосфен из шведского посольства.

Какое прекрасное заключение!

— Почему? — наивно спросила Екатерина.

Не отвечая на вопрос, поставленный достаточно прямо, граф вспомнил Платона и без колкости согласился с его словами, «что человек любящий — божественнее человека любимого». Следует заметить, что у великого грека это сказано несколько в ином смысле.

— Ах, сударь, я ничего не читала Платона, — посетовал философ в пятнадцать лет.

— Скажите-ка, сударыня, как часто вы открывали порядочную книгу со дня своего приезда в Россию?

Великая княгиня призналась, что «не открывала ни разу».

— Это ужасно! Вот что значит жить при невежественном дворе.

— Но если до конца быть откровенной, то и на родине, сударь, я читала не больше.

— Тем не менее — вы философ!

— Посоветуйте, пожалуйста, сударь, что прежде всего прочесть этому философу?

— То, что написано в моих глазах, — отвечал стокгольмский Демосфен.

Мы настаиваем на том, что даже незаурядные люди довольно пошловато говорят о чувствах, а умники — глупо объясняются в любви. Может быть, вообще, в подобных случаях не следует доверяться словам — этим второстепенным участникам сердечных побед и поражений.

Практическая Екатерина, приняв с жеманной благосклонностью тривиальную фразу, повторила свой вопрос:

— С каких же книг, сударь, мне следует начать порядочное чтение?

Граф Гюленбург без пылки посоветовал ей раздобыть Плутархову «Жизнь знаменитых мужей» и госпожина Монтескье «Причины величия и упадка Римской республики».

В Петербурге тогда была одна книжная лавка.

— А также, сударыня, достойное сочинение «Жизнь Цицерона».

Граф откланялся.

Двумя страницами «Жизни Цицерона» Екатерина вполне насытилась. Плутарха в столице не оказалось. Монтескье в течение трех дней казался стоящим внимания. Тем не менее, в пятницу, задолго до зажигания свечей, усердная читательница сладко заснула на фразе «римляне праздности боялись больше, чем врагов».

Таким образом и господин Монтескье не явился помехой в занятиях великой княгини с господином Ланде, учителем танцевания.

#### 4

— Приехали и ждут ваше высочество в зале.

«Приехал! Приехал!» — Екатерина зажмурила глаза и крепко-крепко сжала саму себя в объятиях.

5 часов.

Февраль.

Петербург.

Зало холодное и полутемное. Почему-то государыня не приказала зажигать свечей.

Перед дверьми Екатерина остановилась, чтобы глотнуть воздуха.

Петр Федорович, с пышной руки одетый, ходил спокойным шагом в темном углу.

Длинная шея, сгибающаяся как указательный палец, уронила на грудь голову, прикрытую громаднейшим париком.

Дверь скрипнула.

Жених вздернул лицо.

Так вот почему государыня не приказала зажигать свечей.

— Ах! — вырвалось у невесты.

— Я очень страшен вам? — жалким голосом спросил жених.

— Вы очень выросли, ваше высочество, — негромко ответила великая княгиня и постаралась улыбнуться.

Но сердце не так послушно, как губы.

— Поцелуйтесь же, дети, — обратилась умоляюще императрица, — вот и пришел пытанью вашему конец. Слава Богу!

— Слава Богу, — еще тише повторила невеста.

И улыбнулась.

И встала на цыпочки, чтобы поцеловать красную, распухшую, дырявую как решето, страшную рожу под громаднейшим париком.

— А теперь веселым пирком да и свадебку, — сказала императрица.

Великая княгиня благодарила за счастье, припав холодными губами к пухлой руке с красивыми пальцами, унизанными перстнями.

— Ну, ну! — и тетка ласково прижала к мягкому животу своему большелобую упрямую голову: — Ну! Ну! Чего ты? Чего?

Петр Федорович отворачивался от зеркал, ежась в полутемной холодной зале:

«Навешали, варвары, стекляшек!»

На петербургском небе была привычная грязь.

Птичья черная стая, вылетевшая из сырых высоких лесов, что теснились вокруг Фонтанки, опустилась на золотой купол Петропавловской крепости.

«Обгадят, диаволы», — хозяйски подумала императрица.

Привычная грязь падала с неба на город.

«А теперь веселым пирком да и свадебку, а теперь веселым пирком да и свадебку», — твердила невеста, пробегая не печальными шажками галереи кавалерского дома.

Но войдя в комнату, обтянутую красной материей, Екатерина вдруг увидела перед собой страшную, распухшую, дырявую рожу.

И красная комната, уставленная немногими стульцами да креслами, с чего-то дрогнула, закачалась и, перекувырнувшись наподобие паяца, обрушила мебели свои на холодное темя невесты.

— И! И! И! — вскрикнула Марья Андреевна Румянцева, рассыпая по полу карты, до которых была великая страстица. — Как есть без чувствий! Экий, верно, толчок приняла, — и стала на расprostертую прыскать водой. А также совать под нос ей тертый олений рог, употреблявшийся от обмороков.

В сознание пришла Екатерина через три часа.



Сенатору Шувалову приснилась баба. Большая мясистая баба в грязной дырявой юбке из грубого холста, что шел на мешки и на паруса по восемнадцать, двадцать рублей за тысячу аршин. Баба сидела на скамейке около бани и жрала, облизываясь коровьим языком, голую соль из большого корыта, которое держала на коленях. Пожрет, пожрет соли и ну за баню опорожниться. Уж пять знатных горок навалила: первую из медных денег, вторую из серебряных пятиалтынников, третью из полуполтинников, четвертую из золотых двухрублевиков, пятую из импералов.

— Мавра, Маврутка! — ткнул Петр Иванович супругу свою в теплое плечо. — Проснись, что ли, ради Господа, разговаривать хочу.

Мавру Егоровну будто из ковша полили.

— Ляг, чертова ягода! — распорядился сенатор. — Чего села? Чего веслами треплешь? Только морозу своим характером под одеяло напускаешь.

И, смахнув пальцем холодную утреннюю слезу, за которой не было ни радости, ни горя, Петр Иванович стал в строгости рассказывать Мавре Егоровне свое сновидение про бабу толстого сложения.

Влюбленная супруга выслушала, не ворохнувшись.

— Ну, а теперь, Мавра, скажи, кто же она есть, эта баба?

— Никак, Аксинья? — робко проронила госпожа Шувалова, прикрывая беззубый рот ладошкой.

— Аксинья! — передразнил зло сенатор. — Аксинья!.. Э-э-эх, а еще министр при особе. Тьфу! — и плюнул: — Вот какой ты внутренний министр.

Если невпопад сказала бы любимая женщина, это, вероятно, показалось и милым, и трогательным.

— Она, толстая баба эта, есть любезное отечество наше! — раскрыл Шувалов. — Россия! Вот кто она есть.

— Россия, — повторила Мавра Егоровна, — сей только час и догадала, что Россия.

— Догадала! Догадала!

— Прости, пожалуйста, что неразумная, — сказала женщина самая умная в государстве, по обновлениям врагов ее.

А кому же верить в этом мире, если не врагам?

Сновидение Петра Ивановича в наше время объяснили бы так: исполнение желаний.

И действительно, мысли о соли преследовали сенатора.

Империя готовилась к свадьбе. По ранней весне в иностранных портах стали грузиться корабли на Санкт-Петербург: каретами, колясками, тафтой, парчой, бархатами, шелками, шляпами, башмаками, чулками, пуговицами, позументом, ниткой.

Российские послы при дворах французском и саксонском изучали дела церемониальные не для того, чтоб в пышностях сравниться с Парижем и Дрезденом, первыми мотами в свете, но чтоб перепышнить их.

— Когда Отечество войдет в прежнюю свою тарелку, кому, Мавра, об нем стараться, если не Шувалову? У кого еще в сенате есть ум? Кто России усерден? Видит Бог, вельможам всякая чужая беда за сахар. Того гляди, пустят Отечество Христовым именем побираться. Ох, Мавра, свадьбой этой государыня кинула через плечико последний империял.

\* \* \*

Именным указом было выдано всем чинам четырех классов жалованья по окладам за целый год наперед.

«Капля в море-окиане», — плакались чины, заказывая для церемоний богатые платья, кареты цугами и прочие экипажи с золотыми и серебряными убранствами.

«Для мужеской персоны особливый экипаж, для женской особливый».

«Да егерей одеть знатно, да пажей и двух скороходов и двух гайдуков и двенадцать лакеев и лошадей в цугах».

Однажды важная персона спросила у Сумарокова: «Что полновесней, ум или глупость?» — «Глупость, — отвечал тот, — вас, сударь, возят шесть скотов, а меня одна пара».

От великих разорений у персон всех классов пошла кругом голова.

Деревни с рабами стали продаваться в полцены. На базаре, не до звезды торгуясь, можно было купить за двадцать копеек старуху с зубами.

\* \* \*

Шувалов, потягиваясь в постели, процедил сквозь зубы:

— А тут не ныне-завтра на Фридриха придется узду надевать, грабит прусский герой Европу, равновесие качает.

— Равновесие качает, — подтвердила Мавра Егоровна.

— Турит свое дело.

— Турит свое дело.

— И в каких аллюрах!

Мавра Егоровна разверзла было рот, чтобы и на аллюры отозваться, но Петр Иванович так ее чувствительно торкнул костяшкой пальца по лбу, что огнищи из глаз посыпались.

«Хранить тишь, значит», — сообщила супруга с некоторым запозданием.

— А кто полки российские двинет? Вошь, что ли, с нечесаной башки? А, Маврутка? Вошь? — и строго: — Империя! Вот кто двинет. Финансы! Вот кто в нынешнем веке первую имеет силу.

Но Мавра Егоровна молчала.

— Мне сказывал недавно генерал Кейт: ни людей у него, ни припасов, ни снаряжения, — продолжал сенатор после небольшой паузы, — крысы с голода дохнут в магазинах. А фельдмаршал Лессий горько на то смеется: «Отдаваемые, де, военной коллегией приказы существуют только на бумаге и так, де, их и надо исполнять». Граф Бестужев волосы на темени рвет: «Свадьба! Свадьба!» А как постараться об отечестве, не знает. Кругом бараны. Уперлись лбами в недоимки, да в подушные, а забор, вишь, камен. Вот лбы и трещат. От подушных и недоимок-то вся Россия разбежалась, которые к полякам, которые на бухарскую сторону и в Персию бусур-

маниться, которые в Сибирь. На одних казенных заводах беглых крестьян до шестнадцати тысяч душ. Для провожания их в дома всего сибирского войска не хватит.

Шувалов, утвердив локоть на подушке, подпер умную взъерошенную голову кулаком.

— Ну, Мавра, хоть теперь скажи, пожалуй, есть ли у тебя соображение, к чему сон явился? — пытал сенатор супругу.

Мавра Егоровна, конечно, соображение имела; она сразу же угадала в толстой бабе, которая жрала соль и опорожнялась богатой казной, разумеется не дворовую девку Аксинью, а любезное Отечество свое.

— Нет, Петр Иванович, не имею догадки. Растолкуй уж ты, сударь, дуре своей, — протянула она, прикидываясь простенькой, чтоб доставить мужу удовольствие.

Она знала, что сенатору нравится видеть себя великаном посреди карлов.

Женщины вообще, думается нам, наблюдательней мужчин. Чужая жизнь словно за четырьмя стенами.

Мужчина, походя, заглянет в нее через незанавешенное окно, а женщина припадет глазом к замочной скважине. Нам кажется, что в скважину всегда увидишь больше. Может быть, поэтому мужчины и сплетничают скупое. Может быть, и это всего вероятнее, им и сказать-то нечего. Что увидишь через незанавешенное окно? Ничего интересного.

Сенатор опустил веки, как скрипач, играющий с чувством.

— Солью у нас торгуют в губерниях по неровной цене, — начал он в том приятном тоне, каким говорится о высоких материях: о бессмертии, о времени, о пространстве, о звездах.

Вот это мужской разговор. Ах, какая скучища!

— В одной губернии торгуют солью по три копейки за пуд, в другой по двугривенному, а где и полтинник. Из листов соляных контор приметно, что Отечество наше за полный год съедает без малого семь с половиной миллионов пудов соли, принося государству прибыльных денег 755 600 рублей и 24 копейки, — сенатор слегка приподнял веки и опять опустил их, как скрипач, играющий с

чувством. — Стараясь Отечеству и видя великую нужду в деньгах, я, государи мои... — сквозь опущенные веки Шувалову виделись господа сенаторы в красных креслах, — я, государи мои, предпринял исчисления, отвергающие, по моему згаду, перед любезным Отечеством нашим новые врата в финансовую эру, которую уместно сравнить с садом цветущим.

И Петр Иванович в том же приятном тоне, каким говорят о времени и пространстве, произвел несложные исчисления, показывающие, что прибыльную сумму легко увеличить на миллион, если во всех губерниях соль продавать по ровной цене 35 копеек за пуд.

— А чем есть всесильно Отечество? — подняв веки, спросил сенатор. — Отечество есть всесильно народом.

Петр Иванович, лежа рядом с Маврой Егоровной на влажных утренних перинах, из которых не всякий месяц выветривали тяжелый дух, воображал, что произносит тираду перед потомством, утверждаясь в славе российского Цицерона.

— Малая мудрость в том, господа сенаторы, если справедлив к себе, если по себе заботен. И волк себя за хвост не кусает, господа сенаторы.

И, с велеречивостью, неведомой россиянам, Шувалов раскрыл перед Мавруткой, замещающей всесильный сенат, сколь справедливы соляные принципы, берущие с населения лишний миллион, необходимый отечеству, разорившемуся на свадьбе.

— Соль, государи мои, все кушают: и я, и вы, и вся подлость, — так российский Цицерон называл народ. — Сим образом, всякий из нас, господа сенаторы, бросив щипок соли во щи, придет к любезному отечеству нашему с посильной помощью в равной доле со своим холопом. И трибун римский, избранный плебеями, не пресек бы, господа сенаторы, сих соляных принципов, справедливых во всеобщем и полном равенстве своем! — заключил российский Цицерон и будущий откупщик с четырьмястами тысячами рублей годового дохода.

А московский «плебей» на Большом Суконном дворе получал за чистку 1 фунта козьего пуха, что требовало четырнадцати часов работы, — одну копейку.

Падал мартовский снег, мокрый и тяжелый, как творог.

Мавра Егоровна, большая любительница «шампанского», сравнила с этою французскою шипучкой речь своего Цицерона.

— Разнежилась, а государыня дожидает, — турнул супругу господин сенатор, — вылазь из постели, что ли, надевай юбки.

И чтоб не видеть голых ног ее в синих венах и с кривыми пальцами, отвернулся к стене.

## 6

Шувалов обеденное кушал у себя в штудирной комнате среди ворохов сенатских бумаг.

«В Петербурге в один год три осени», — размышлял сенатор, поживаясь в шлафроке на куньем меху.

Город был без неба. А может быть, белесое небо лежало на мостовых города и лошади мыли его копытами и рвали полозьями саней.

— Чертово место, — выругался сенатор. — Свечу, что ли, зажечь? — и обтерев о волнистые волосы нелепое перо, заложил его за ухо.

Подражая Шувалову, мы скажем, что в Петербурге вечер бывает и утром, и днем, и в положенный час.

Пришел из поместья обоз со столовым запасом и хлебом.

«Экий народ! — пробормотал сенатор, кинув взгляд через переплет окна во двор, — Словно дом у них запалился».

И верно, крику было много, а дел не столько: разгружали обоз тихим обычаем, с развалом.

«Всю Россию переделаю», — пообещал Петр Иванович, скидывая шлафрок, крытый китайской тафтой.

«Не проведать ли обер-егермейстера? Он, слыхнулось мне, прихворнувши».

\* \* \*

Когда сенатор вошел в камору к Разумовскому, тот как раз лечился из чарки.

Елисавета про своего обер-егермейстера так говорила: «Он у меня по старому слову: — Тит, иди горох молотить! — Брюхо болит. — Тит, иди вино пить! — Бабенка, подай шубенку».

Ведро приказной водки стояло на табурете, застланном вышитым полотенцем.

Обер-егермейстер, облобызав гостя, наложил ему большую тарелку гречневой каши размазенки с чухонским маслом.

— Лечись и ты, Петр Иванович, — и налил в чарку приказной.

— Снег идет, — сказал Шувалов, чтобы не молчать. «О чем с ним, обер-егермейстером, разговаривать», — На Невской перспективе снегу лошадям по то место, откуда хвост растет.

— Це погано.

— Да. Езда тихая.

— Колы снигу коням по рэбры, конечно швыдко нэ пойдешь, — поддержал разговор хозяин с египетскими глазами.

«Хоть бы песни петь принялся», — мысленно взмолился Шувалов.

— Лечись, Петр Иванович.

— Лечусь, Алексей Григорьевич. Выпили одним духом.

— Так ты кажешть на Невской перспективе снигу коням по рэбры?

— По самые ребры.

— В таком рази выходыть издыти тут, наипоганищэ.

«Слава тебе Господи, за бандурой потянулся», — облегченно вздохнул сенатор.

Обер-егермейстер, надев на второй палец золотой наперсток с кусочком лозы, стал перебирать струны из бараньих кишок.

«Що идуть лита сего свита

Приблизиться конецъ вика...» —

хриповатым, хватаяющим за душу голосом, запел обер-егермейстер.

«Будь ты неладен», — пожелал хозяину гость, недолюбливающий божественного репертуара.

«Олень, олень!  
Страшен тот день...» —

пел Разумовский, и слезы текли из его египетских глаз.

Падал снег, тяжелый, как творог.

Пели песни и лечились водкой до полуночи. У Шувалова налились кровью круглые жирные щеки, а у обер-егермейстера — египетские глаза.

— А мне, Алексей Григорьевич, нынешней ночью толстая баба снилась, — сказал сенатор, — будто жрет она из корыта соль и за баню опорожняться бегаёт. Прегромаднейших пять горок навалила, две золотых да три серебряных. Догадай-ка, что означает сей сон и кто есть эта баба?

Разумовский стал думать, положив на стол красивую голову с египетскими глазами, налившимися кровью.

— Не можешь догадаться, Алексей Григорьевич?

— Нэ могу, — со слезами в египетских глазах ответил хозяин.

— Ну так я тебе подмогу, — сжалился сенатор. — Эта толстая баба и есть наше Отечество.

— Кто? — переспросил обер-егермейстер.

— Отечество, — отчеканил сенатор.

Хозяин поднялся с кресла, выпрямился, вознес бандуру и, крикнув, раскрошил липовый кузов о голову своего гостя.

— Вот тебе за Отечество! — пояснил хозяин и, отбросив в сторону короткий широкий гриф с двенадцатью болтающимися струнами, величественно опустился в кресло.

Обер-егермейстер в обхождении был человек нецеремониальный.

Шувалов сразу протрезвел.

«Никто как черт за язык меня потянул, — пришел к неутешительному выводу Петр Иванович. — С дураками песни выть надо, а не разговаривать».

К сожалению, не все мудрые мысли приходят вовремя.



— Кто? — вторично взревел обер-егермейстер. — Кто будэ цэ баба?

— Так я это, Алексей Григорьевич, ради смехов, — умилительно сказал сенатор, боясь шевельнуться в стульце.

— Над Отечеством смехи делаешь? — сообразил человек, называвший государыню «Лизой», а то и «Лизько».

И, крикнув холопов, приказал сечь господина Шувалова в каретнике батошьем до крови.

Сенатор повалился на колени.

У трезвого Разумовского душа была баранья, а у хмельного — тигрова.

— Ни, — мотнул он головой.

И российского Цицерона поволокли в каретник.

## 7

Внук Петра Великого в тесном прусском мундире с широкими обшлагами и полами, завороченными назад, объезжал верхом на стуле оловянных своих пруссаков: егерей, фузелеров и мушкетеров в белых гамашах, построенных на полу в длинные тонкие развернутые линии, согласно новейшей Фридриховой тактике.

Старый шведский драгун Румберг, также верхом на стуле, объезжал оловянные русские полки, поставленные в укрепленные позиции.

Почти желтые глаза наследника престола горели решимостью и отвагой. Желваки двигались на бледном рябом лице. Длинные беспокойные пальцы ползали, подобно глистам, по вызолоченному эфесу шпаги.

Семнадцатилетний полководец, объехав первую линию, круто повернул своего деревянного коня воображаемой мордой его, то есть спинкой стула, в сторону русских.

Оловянные преображенцы, семеновцы, измайловцы и конногвардейцы скрывались за книгами, за пустыми коробками, наконец, за растянутыми на полу протертыми драгунскими штанами, заменяющими редуты.

Старый Румберг, командующий русскими войсками, отъехал на своем стуле за левый фланг, упирающийся в канале.

Презрительная улыбка искривила бескровные губы Петра Федоровича: «Варварская тактика! — положил он в мыслях. — Я разобью наголову этих русских янычаров, воюющих, как при Моисее. Они годны только на турок. Какой же порядочный полководец в наш век начнет сражение с отстрелки из редутов. Ослы!» Петр Федорович твердо помнил про короля прусского, отказывающегося ставить свою армию в укрепленные позиции, чтобы не дать противнику шанса перейти в наступление.

— Ура-а-а! Ура-а-а! Ура-а-а!

И, выхватив из ножен клинок, на котором было вырезано, как и на всех прочих российских офицерских шпагах, «Виват Елисавета Великая», Петр Федорович приказал трем камер-лакеям, ползавшим коленями по полу, двинуть линейную прусскую пехоту в атаку на штаны, прикрывавшие левый фланг русских войск.

«Всегда во фланг, никогда с фронта», — говаривал Фридрих.

На прусских гренадер и фузелеров посыпался горох.

— Ура-а-а! — орал наследник престола, вздыбливая стул и размахивая над головой шпагой.

Оловянные трупики пруссаков усеяли поле сражения.

Наследник, содрав с горячей трясущейся головы треугольную шляпу, проквашал:

— Пальбы плутонгами от фланга к центру и обратно!

Но сухой горох почти не причинял урона первому российскому гвардейскому полку, защищенному протертыми драгунскими штанами.

Тогда Петр Федорович двинул для атаки скорыми аллюрами и сомкнутым строем, согласно Фридрихову правилу, кирасиров и карабинеров с холодным оружием. Мортиры, с высоты четырех подушек, стали изрыгать на прусскую конницу комья жеваной бумаги.

Спазма перекусила горло семнадцатилетнего главнокомандующего оловянных войск.

Камер-лакеи, справедливо испугавшись столь сокрушительного артиллерийского огня, сообразили начать

перестройку прусской тяжелой конницы в тонкие резервные линии.

— Негодяи! — прохрипел в бешенстве Петр Федорович. — Вы, кажется, вздумали рассуждать? — и, в бешенстве соскочив с деревянного коня, наградил нарушителей дисциплины пинками в зад.

Офицеры и солдаты прусского короля, как известно, должны были знать одно право и обязанность: «Исполнять, что приказано». Всякое рассуждение во время боя рассматривалось Фридрихом, а за ним и Петром Федоровичем, как нарушение дисциплины, что каралось наравне с изменой.

— Расстреляю! Вздерну! Ме... Ме...

Ком жеваной бумаги ненароком влетел в рот полководцу.

— Ме... мерзавцы! — тем не менее, доругался он, сгоряча проглотив ядро.

Артиллерийский и ружейный огонь положил на месте более двух третей кирасиров и карабинеров. Остальные были подняты на штыки русской пехотой, наконец-то решившей оставить свои укрепленные позиции.

— Румберг! — тихо позвал старика-драгуна внук Петра, дергаясь маленькой головой, напоминавшей редьку.

Белый как лунь драгун крупным солдатским шагом подошел к всхлипывающему полководцу и, вытянувшись перед ним в струну, сжал челюсти, чтобы, не моргнув, получить две пощечины.

— А теперь, ваше высочество, разрешите начать преследование вашей опрокинутой армии? — отчеканил упрямый солдат.

— Разрешаю, — простонал Петр Федорович и, обвив пальцами-глизтами маленькую горячую голову, стал нервически выкликать распоряжения, может быть, верные в устах Фридриха II.

## 8

У Екатерины болели зубы.

— Жених, ваше высочество! — взвизгнула камермедхен.

Невеста, держась за щеку, подбежала к окну.

Из кареты вылез Петр Федорович.

Невеста ничего не имела бы против того, чтобы он взволнованно поднял глаза к потным стеклам комнаты, обитой красной материей. Этого не случилось.

Екатерина кинулась к зеркалу в раме с облесшей позолотой. Зная нерусский вкус Петра Федоровича, она не перепудрилась и не перерумянилась.

— Как ваше здоровье, сударыня?

— Благодарю, ваше высочество, я себя чувствую, как нельзя лучше, — жизнерадостно воскликнула невеста, страдавшая самой злодейской зубной болью.

— Это превосходно. У вас, сударыня, цветущий вид, — проквакал любезник, внимательно разглядывая какую-то трещину на потолке.

— Может быть, вы сядете, ваше высочество.

И, просительно улыбаясь, придвинула вытертое кресло.

— Да нет, благодарю покорно, я лучше похожу. У меня в карете ноги затекли.

Петр Федорович раз и навсегда учел, что удирать от невесты легче из стоячего положения, чем из сидячего.

«О чем же с ней разговаривать, — думал он не без досады, — музыку не любит, поэзию не любит, картины не любит, а в войне баба смыслит, что корова в этикетке», — и вдруг, засияв почти желтыми глазами, вспомнил про совещания свои с шведским драгуном о супружеской жизни.

— Нынче утром, черт побери, старый Румберг давал мне порядочные советы.

— К чему бы они относились, ваше высочество?

— К супружеской жизни, сударыня.

— Интересно знать, что думает об этом ваш драгун.

— Извольте, — и жених без вторичного приглашения резко сел в кресло, хрустнувшее подклеенными ножками. — Прежде всего, сударыня, жене следует трепетать мужа и не совать нос в его дела, а потому, черт возьми, не слишком затруднять себя рассуждением. Это мужское занятие.

— Нет, ваше высочество, я философию вашего солдата, во второй части ее, не вполне разделяю. Есть пред-

меты, о которых женщине думать и рассуждать вполне пристало, возьмем, к примеру, о нарядах и увеселениях, а также о воспитании своих детей в нравственных качествах, — заключила Екатерина, не чувствуя к детям ничего, кроме гадливости.

«Из этой скучной особы, лишенной всякого тщеславия, образуется, по моему мнению, самая наилучшая супруга для монарха», — положил в мыслях наследник российского престола.

— Мне, сударыня, остается только согласиться с вашим благоразумием.

Серая пыль скуки, покрыв пеленою рябое лицо жениха, нисколько не осела на длинном личике, заклеявшем вечной улыбкой.

— Я с нетерпеливостью ожидаю, сударь, продолжения вашего рассказа.

— Право, сударыня, не так уж он любопытен. К чему уговаривать овцу, питающуюся травой, не кушать бычьего мяса, вкусного для тигрицы? — и потер руки, довольный своим звонким ответом.

## 9

Фридрих II объявил войну Саксонии.

*«Рабочих суконного двора за грубые и дерзкие слова наказывать: в первый раз — плетью, во второй раз — батогами с вычетом платы за три месяца, а в третий раз — ссылкой на год на каторжные работы; если же кто поднимет руку, того бить кнутом и ссылать на каторжную работу вечно».*

Бракосочетание наследника российского престола с великою княгиней Екатериной Алексеевной было назначено на 21 августа.

Вода в Неве, как жидкий гранит.

Король прусский называл солдат «самым необходимым для правителей товаром».

Современники называли Фридриха II «королем-философом».

Первый петербургский щеголь Семен Кириллович Нарышкин сделал себе к свадьбе кафтан, на спине которого было вышито серебряное дерево с сучьями, расходящимися по рукавам.

Карета Нарышкина имела кругом, даже в колесах, зеркала.

Российские дамы и кавалеры восторгались изящным вкусом петербургского щеголя.

Бестужев говорил, что союзы между государствами должны покоиться на взаимных пользах и на торговле.

А Петр Федорович, будучи рыцарем, изощрялся в издевках над меркантильной политикой, обещая при своем императорстве «союзы чести и благородных сердец».

*«Адевшись в мушском платье я ехать верхом в Чарско село»,* — так писал наследник российского престола.

Герольды в латах, сопровождаемые отрядом конной гвардии и драгун, разъезжали по Петербургу и, при звуках литавр, оповещали население о предстоящем бракосочетании.

Каменная некрашенная стена, обрызганная утренними лучами, подчас кажется городскому человеку более прекрасной, чем само восходящее солнце.

Невесте сшили платье из серебряного гласе, окаймленное на высоте пол-юбки битью из золота.

*«Теперь война между двумя союзницами России — Пруссиию и Саксонию; обе имеют право требовать от нас исполнения договоров: на которую же сторону склониться? — Разумеется, на саксонскую, ибо Фридрих II нарушитель всеобщего спокойствия»* (из письменного

мнения Бестужева, написанного вскоре после бракосочетания).

Сократ на одном пиру украл ковш.

«Этот подлый русский язык пригоден только собакам и рабам», — говорил Брюммер, воспитатель наследника российского престола.

Во весь 1745 год императрица ни разу не присутствовала в сенате.

В том же году скончался Акинфий Никитич Демидов, оставив наследникам своим 21 завод, 30 000 крепостных душ, 23 городских дома, Магнитную гору, Точильную гору, соляной прииск с угожьями, довольно капитала, сел, деревень, пильных мельниц, драгоценных вещей и серебряной посуды.

На горных заводах Акинфия Никитича рабочий вместе с лошадейю зимою получал 6 копеек в сутки.

Сорочку на новобрачную наденет принцесса Гессен-Гамбургская, а штаны с жениха снимать будет обер-егермейстер граф Алексей Григорьевич Разумовский.

Невеста получила от государыни повеление отправиться в баню.

Сенатор Шувалов считал, что монополии и откупа должны быть в руках вельмож.

*«Все погибло, если корыстная профессия откупщика сделается, благодаря их богатствам, еще и уважаемой профессией»* (из Монтескье).

Мы уклоняемся от описания первой брачной ночи, тем более, что императрица Екатерина II, видимо, не столь краснеющая, довольно хорошо запомнила наиболее существенные подробности: *«Его императорское*

*высочество, плотно поужинав, пришел спать, и когда он лег, он завел со мной разговор о том, какое удовольствие испытал бы один из его камердинеров, если бы увидел нас вдвоем в постели; после этого он (т. е. жених) заснул и проспал очень спокойно до следующего дня. Простыни из камердука, на которых я лежала, показались мне еще летом столь неудобны, что я очень плохо спала, тем более, что, когда рассвело, дневной свет мне показался очень неприятным в постели без занавесок, поставленной против окон, хотя и убранной с большим великолепием розовым бархатом, вышитым серебром. Круже (камер-фрау) захотела на следующий день расспросить новобрачных, но ее надежды оказались тщетными; и в этом положении дело оставалось в течение девяти лет без малейшего изменения».*

— Мама уехала, даже не простившись, — сказала Екатерина.

— Это она, чтобы не растрогать вашу чувствительную душу, — пояснил молодой муж.

## Восьмая глава

### 1

В небольшой, пригретой майским солнцем, комнате Летнего дворца Петр Федорович играл концерт для нескольких персон своего дворца.

Екатерина пропускала звуки скрипицы мимо ушей, думая о лакее.

Петр Федорович напивался музыкой, как водкой.

Если трудные пассажи становились чистой музыкой, т. е. всем на свете и ничем, Петр Федорович бросался целовать или смычок, или струны, причем к квинте он питал особую нежность.

А однажды во время послеобеденного концерта, когда четвертая струна — басок, обмотанная серебряной тончайшей проволокой, гнусно сфальшивила, Петр Федорович озверело перекусил ее серебряное горло своими длинными зубами.



Екатерина думала о красивом лакее. Он был в сажень ростом. На груди хоть танцуй, а плечи, как скамьи.

Петр Федорович играл на скрипке с закрытыми глазами.

«Сегодня он будет целоваться с квинтой, — решила Екатерина. — Да, это так! Он теперь совсем не в уме».

И на цыпочках вышла из комнаты.

Кузина Маврутка, любя издевки над родом человеческим, рассказывала, как однажды великая княгиня на вопрос, какой музыке, перед всей остальной, она отдает решительное предпочтение? — ответила, не долго раздумывая: «Самой тихой».

В большом зале Летнего дворца красили потолок. На лесах, сшитых живым гвоздем, покачивались маляры с кистями на длинных палках.

Лакей саженного роста стоял у окна, безразлично поглядывая на диких уток, плещущихся в гнилой Фонтанке.

Противоположные окна залы выходили в грязный вонючий дворик.

Не решаясь окликнуть лакея, великая княгиня прошла к своей комнате и, остановившись в полурастворенных дверях, стала пронзительно смотреть в круглый тяжелый затылок.

Лакей гладил себя по густым умасленным волосам и не оборачивался.

Екатерина жевала воздух, казавшийся ей горячим. Маляры с кистями на длинных палках покачивались под потолком, растрavляясь сердцем от скрипки, «воюющей знатно», хоть и не по-русски, не по-новгородски, не как своя теплая баба.

Екатерина через весь зал бросила гвоздем в лакея. Угодила в локоть ему.

«Черт несуразный», — выругался лакей, думая на маляра.

А гвоздь-то был от амура.

Петр Федорович играл с закрытыми глазами.

«Право, в сем уродце заключается прекрасный артист, — положил в мыслях чувствительный к музыке граф Девьер и обернулся, чтобы смолвиться взглядом с

супругой скрипача: — Что за баснь! Куда же исчезла великая княгиня?»

Когда Екатерине казалось, что какой-нибудь маляр готов посмотреть вниз, она отводила большие жаркие руки лакея.

А графа Девьера, наблюдавшего за этой сценой, она не заметила.

— В комнате-то вашей никого нет? — хрипло спросил лакей.

Екатерина мотнула головой.

Лакей оглянулся.

И она тоже. И схватилась за грудь.

Леса, сшитые живым гвоздем, маляры с кистями на длинных палках и намалеванные на потолке купидоны с румяными ягодицами запрыгали в ее глазах.

— Беда, — прошептал лакей. — Матушка, не продай на дыбу!

Екатерина жевала воздух, казавшийся ей ледяным. Граф Девьер, наблюдавший поразительную сцену, сказал с поклоном:

— Великий князь просит ваше высочество к себе. И скользнул ресницами по саженной фигуре. В ту же ночь Андрей Чернышев, так звали лакея, был взят драгунами в Тайную канцелярию.

\* \* \*

«Жеребец проржет — косяк отзовется», — нашлась перед государыней Мавра Егоровна, выхлопатывая великую княгиню.

## 2

Бестужеву Андрею Петровичу императрица верила не столько, как Казанской Божьей Матери. Впрочем, другой раз и западала в голову грешная мысль: «С чего бы в делах иностранных великие смыслы иметь маме», — так коротко называла государыня Богородицу.

Англия торговала у дочери Петра тридцать тысяч русских солдат, чтоб драться им за интересы морских держав на Рейне и в Нидерландах.

Бестужев говорил:

— Это будет начатками не сумнительных польз для отечества. Творец России всегда искал мешаться в дела европейские. Да и не можно отказаться от денег, коли они знатно нужны. С морских держав, по размене ратификациями, имею характер требовать на русских солдат 150 000 голландских ефимков, а всего есть надежда выторговать сходную цену по десять фунтов за душу, что составит 300 000 фунтов стерлингов в год.

— Все так, — сказала мать отечества, со вниманием слушая рассуждения Алексея Петровича, — вы, сударь, не за пылью гоняетесь.

Сам великий канцлер не столь давно имел характер взять взаймы без процентов с английского двора, через консула Вольфа, 50 000 рублей.

— Все так, — повторила императрица.

Однако прежде чем апробовать договор с морскими державами, для всякого случая решила она спросить совета у Богородицы.

«Научи, мама, как мне быть, прадавать солдатоф своих басурманам или басурманам не продавать. Мне, мама, очень тесно в деньгах», — написав эту записку, государыня повалилась на колени перед иконой, сверкающей золотой ризой в бриллиантах и рубинах величиной с добрый орех. Таков был туалет на матери нищего Иисуса.

«Научи, мама», — шептали толстые горячие губы.

Молитва была с пролитием слез.

Тем не менее Казанская Божья Матерь не очень торопилась отвечать на записку, засунутую за ризу, сверкающую пурпуровыми орехами.

Бестужев боялся показаться на глаза лорду Гиндорфу, английскому министру при российском дворе.

Наконец Елисавете приснился среброкрылый ангел, с большим мешком в зубах, летающий над Санкт-Петербургом. «Что у тебя, миленькой, в мешке-то?» — стала кричать императрица ангелу. Но тот, летая под облаком, ничего не слышал. Тогда императрица, наплюнув на удивление петербургских жителей, вскарабкалась с удивительной ловкостью на Петропавловский шпиг, пронзающий облако. «Скажи ради Бога, милень-

кой, что у тебя в мешке?» — вторично крикнула государыня, вертясь вокруг шпица быстрее колеса, наподобие шутилой женской персоны из курьезного шпрыгмейстерского действия. «У меня в мешке сто пятьдесят тысяч голландских ефимков», — ответил басом удивленный ангел. «Верно, простудился миленькой, — подумала государыня, продолжая дивно и штучно крутиться, — кто же по такой погоде голышмя летает, вот и захрип», — и предложила удивленному ангелу: «А ну-ка, миленькой, лети ко мне в покоец, я тебе соболью шубу жалую».

Наутро Елисавета дала согласие разменяться ратификациями, справедливо решив, что Божья Матерь, подобно Бестужеву, советует продать тридцать тысяч русских солдат Англии и Голландии.

### 3

Лорд Гиндорф, имеющий присутствие у императрицы на конференции, сказал:

— Англия, Ваше величество, покупает у России пеньку, кожу, железо, полотна, поташ, ремень, рыбий клей, щетину и воск. А Пруссия пытается через посредство и с помощью графа Лестока, а также друзей его господина Воронцова и господина Трубецкого, купить у России ее великое будущее. Какое дерзкое и безумное желание, Ваше величество!

— Господин первый лейб-медикус и сочувственники его не иначе как прусские партизаны, — заявил великий канцлер, оправляя длинными пальцами портрет Петра Великого на голубой ленте, — смелые и ретивые прусские партизаны, так их величает и господин Финкфон-Финкенштейн в своих реляциях к королю.

Елисавета, не поднимая глаз, дышала на мягкие руки. В дворцовой каморе, отапливаемой плохо складенной печью, было хоть и не довольно морозно, как в большой зале с зелеными деревянными панелями, но все же «прохладительно» — всякий рассуждающий видел пар, струящийся из собственного рта.

Государыня подумала: «Надо б перед конференцией скликать в камору караульных чинов».

В таких случаях гренадеры выстраивались в несколько шеренг и до надувания синих жил на лбу выдыхали из себя тепло. Сама монархиня изобрела этот способ «самого скорого натапливания комнат».

Лорд Гиндорф, в придачу к пеньке и щетине, настойчиво требовал голову графа Лестока, интригующего против английских интересов.

«Кругом в ворах и шпиёнах», — положила в мыслях императрица, прислушиваясь к тяжелому биению своего ожиревшего сердца.

Из перлюстрированных в иностранной коллегии депеш Финка-фон-Финкенштейна, заменившего в Петербурге Мардефельда, Елисавета знала о субсидных деньгах Фридриха II для первого лейб-медика и для графа Михайлы Ларивоновича Воронцова — государственного вице-канцлера, лейб-компания поручика, орденов Александра Невского, св. Анны, Польского белого орла и Прусского черного орла кавалера.

«Ишь ты, и в голове-то у Михайлы Вседержитель реденько засеял, а туды ж тебе, в шпиёны, — и государыня пырляла голубыми глазами рассуждающих персон. — Научи, мама, что с медиком делать, что с Михайлой?»

А в памятную морозную ночь, когда отечество от иноземщиков спасала, кто сидел кучером на облучке саней, скакавших к светлицам гвардии Преображенского полку? — Воронцов Михайла. А кто стоял на запятках? — Лекарь Лесток.

«Ох, мама, туго мне! Ох туго!» — и монархиня, забыв про лорда, громко шмыгала носом.

О, эти ожиревшие женские сердца!

Шевелились, как черви, толстые губы Бестужева.

«Он продает императрицу за чистые деньги англичанам, австрийцам и саксонцам, не отнимая от себя, впрочем, свободы подбирать и где-нибудь в другом месте», — писал Дальон о великом канцлере.

«Знаю я, Алексей Петрович, и твои добрые свойства», — злилась в мыслях императрица.

Плохо складенная печь стелила голубоватый чад.

— Англия не так уж много продает в Российскую Империю, — продолжал лорд Гиндорф, — покупают же

великобританские купцы более двух третей всех вывозимых отсюда товаров. Свыше миллиона английских денег ежегодно остается в России.

Далее англичанин пояснил, что все это делается не из выгод, не из меркантильности, столь, де, не свойственной островитянам, но из самых искренних побуждений и бескорыстной дружбы, которую неизменно питает Георг II к дочери Петра Великого.

— Разве не могли бы великобританские купцы на свои деньги приобретать, по примеру подданных прусского короля, прекрасный рыбий клей и щетину в какой-нибудь другой стране, — улыбнулся лорд.

Монархиня, пырнув его глазами, мысленно выплевалась: «И Финч туркал меня щетиною с рыбьим клеем, и этот щетиною с рыбьим клеем. Тыфу на вас, купецкие лорды!»

— Что же касается прусского короля, — заключил бескорыстный островитянин, — то я, право, боюсь, не дал ли он клятву, подобно афинским юношам в храме Аглавры, считать границею своего государства: пшеницу, овес, лен и коноплю, т. е., иначе говоря, считать своею всякую возделанную и обработанную землю.

«Ишь, диявола, козыряет как!»

Бестужев кивал головой, осыпая пудру с пышного парика.

«Пенька, кожа, ревень, щетина, рыбий клей... О Господи!»

Чадила печь.

Конференция длилась два с половиной часа.

Государыне казалось, что у англичанина все в лице будто перевернуто: нижняя губа вместо верхней, верхняя вместо нижней, так же и веки; а уши: «Ба! ба! ба! К волосам острые, а мочки баранкой.

Чистый бес!»

#### 4

Петр Федорович, обучив военному делу камергеров своих, и кавалеров, и профессоров, и кастратов, и лакеев, принялся за Екатерину, бессердечно отрывая ее от

нескромных томиков некраснеющего Брантома, реже от «Жизнеописаний» Плутарха, наконец-то раздобытых, и еще реже от исторических фолиантов епископа Перефикса и отца Барра.

\* \* \*

— Муш-кет к но-ге!

В исполнение команды великая княгиня беспрекословно отдала тяжелым прикладом маленькую, но весьма чувствительную к прикосновениям мозоль.

— Муш-кет на пле-чо!

Столь же послушно страдалаца раз в двадцатый взвалила солдатское ружье на правую ключицу, выпирающую из декольте на полвершка, как это бывает у заморенных подростков.

— Примерно неуклюжи, черт побери!

В ответ на атгестацию более-менее справедливую, Екатерина проглотила слезу.

— Ретирада-а-а! — пронзительно квакнул наследник российского престола, обряженный в мундир голштинского офицера. — Поворотясь направо кругом, маршировать пять шагов назад, потом налево кругом идти до своего места и, пришед, оборотиться в исходную позитутуру для отдавания комплимента.

Перед столь сложной экзерцицией у великой княгини заглодало сердце: «Боже мой, Боже мой, хоть бы не перепутаться», и, выбрасывая короткие ноги, стала она сосредоточенно считать: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть».

— Осел! осел! — заорал голштинец, сверкая почти желтыми глазами: — Пять! пять! А ты, сукин сын, сколько отшагал?

— Шесть, — едва слышно ответила великая княгиня, не смея разрыдаться.

— Простите, — сказал Петр Федорович, придя в ум, — вы для меня, ваше высочество, в сию минуту солдат, а не женщина.

— Это верно, — подтвердила самая покорная из жен.

А чтобы снискать любовь знатных бабушек, тетушек и маменек гвардейских офицеров, Екатерина поставила себе за правило во время бальных и маскарадных веселостей подсаживаться к креслам старушек для увлекательного разговора о ревматизмах, подаграх, микстурах, о семейных праздниках и поминаньях, дни которых она знала безошибочно, так же как и имена многочисленных мосек, кошек, попугаев и дур, услаждавших жизнь старых барынь.

— Марширование! — проквакал истязатель. — Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Сделав пятьдесят кругов внутри комнаты, Петр Федорович вывел за дверь свою заморенную вконец супругу.

— Мушкет на карау-ул!

Екатерина исполнила команду.

— Ты охраняешь пороховой погреб, — сообщил истязатель.

Екатерина, как умела, выразила на своем лице, позеленевшем от экзерциций, полное понимание этого важного караула.

Петр Федорович удалился длинным прыгающим шагом.

Случалось, что она охраняла подобные пороховые погреба и магазинны по три и по четыре часа без роздыха.

Пусть теперь скажут, что наша дама заурядная личность.

Есть предание, что за несколько дней до того, как разрешиться от бремени Периклом, матери его приснилось, как будто она родила тигра. Допустим на мгновение, что подобные сны, вещи в метафорах, стали явлением самым обычным, — какого же зверя в таком случае произвела на свет легкомысленная Иоганна-Елисавета в апрельском сновидении 1729 года?

Может быть, хамелеона?

Маленькие честолюбцы более всего любят отыскивать себе братьев и сестер в царстве великих теней.

«Я герой, — решительно сказала пустынной галерее Екатерина, изнемогающая с тяжелым мушкетом у воображаемого порохового погреба, — да, да, видит Бог, я истинный плутархов герой».



Однако со свойственной ей скромностью она в ту минуту сравнила себя не с Цицероном, хвастливым, как мальчишка, и не с Антонием, про которого сказано, что он растратил в наслаждениях с Клеопатрой самую драгоценнейшую из трат, т. е. — время, и не с Ликургом, считавшим богатство и бедность самыми страшными болезнями государственного тела, и не с Брутом, чересчур нравственным, хотя и не брезговавшим отдавать под чужим именем свои деньги под сверххростовщические проценты, и даже не с Юлием Цезарем, из трусости не надевшим на свою лысую голову императорского венца, но с хамелеоном Алкивиадом, который среди ионийцев бездельничал, в Спарте был серьезен, стригся под гребенку и ел черную похлебку, а при дворе сатрапа Тиссаферна жил так пышно, что в сопоставлении с этим, как говорит Плутарх, ничего не значила прославленная персидская роскошь.

Екатерина непритворно валилась от усталости, когда, словно из щели в полу, выпрыгнул Петр Федорович.

Его лицо, изуродованное оспой, пылало, а длинные руки качались осатаневшими маятниками.

— Сударыня, какая страшная новость, — закричал он из глубины галереи, — граф Лесток взят в Тайную канцелярию!

Великая княгиня выронила из рук тяжелый мушкет.

## 5

— Отечество наше корнями за пуп Земли зацепилось. А ты вздумал отечество наше рылом своим копать! Не слыхано в свете, чтоб свинье повалить столь превеликое дерево, — сказал Александр Иванович Шувалов, большой братец сенатора, поставленный в начальники Тайной канцелярии Мавруткиной силой у двора.

Вторым допрашивателем Лестока был, дружный Бестужеву, Степан Федорович Апраксин, гвардии Семеновского полка подполковник и военной коллегии вице-президент, человек больших великолепий, очень тучный сибарит с красивым бабьим лицом.

— Свинья на дубу гнездо свила, — процедил Апраксин, чистя себе ногти замшевым лоскутком.

Лесток молчал.

Шувалов дернул скулой:

— У него, как видится, нет сильного хотения с нами разговаривать.

— Слава Богу, наконец-то и догадал, — огрызнулся Лесток.

— В таком случае, к чему же нам без толку терпения свои терзать, — опять процедил Апраксин, — какой там у нас, Ваше сиятельство, следующий допросный пункт?

Александр Шувалов, дергаясь правой стороной лица, стал читать по большому листу:

— *«Во время негоциации с морскими державами о перепущении им помощного корпуса, ты старался все тайности у вице-канцлера сведать и о всем Финкенштейну пересказывал; уже доказано, что и сам вице-канцлер прусскому министру такие открытия чинил, с тобою же был в тесной гужбе».* Отвечай.

Лесток молчал, разглядывая с наглостию и надсмешкой, как дергается у начальника Тайной канцелярии правая сторона лица.

Тучный сибарит чистил ногти замшевым лоскутом.

— Отвечай, плут, отвечай, фридерикова собака! — крикнул Шувалов.

Лицо его прыгало.

— На чужой рот пуговицы не нашешь, — сказал брезгливо Лесток и отворотился к окну, чтобы смотреть на галок и пускать мимо слуха допросные пункты.

\* \* \*

И дыба, и костер, курившийся над ней, и кнут, исходатайствованные у государыни Бестужевым, «для узваний от прусского партизана множайших свирепств его высшего секрета» — не заставили Лестока разговариваться.

Бестужев обозвал начальника Тайной канцелярии — «теленком».

А Екатерина, узнав о пытаниях, воскликнула:

— И это имеется в XVIII веке!

Современница Вольтера была горделивого мнения о своем времени.

\* \* \*

*«Поднятому на дыбу привязывали к ногам тяжелые колодки, на кои ставши, палач подпрыгивал и тем самым увеличивал мучение: кости, выходя из суставов своих, хрустели, ломались, иногда кожа лопалась, жилы вытягивались, рвались и тем причинялось несносное терзание»* — так описывает пытку знаток этого дела.

## 6

А лакей-то с большими горячими руками не так скоро был забыт.

Вот тому свидетельство:

*«...девушка туда отправилась и привезла мне от него (это от Андрея Чернышева, значит) письмо, в котором он описывал свои приключения за два года. Эта девушка могла говорить со мной на свободе, лишь когда я шла на свой стульчак; я положила письмо между подвязкой и ногой, и, когда пришлось разуваться, несколько заблаговременно, сунула его в свой рукав: я не смела оставлять его в кармане, опасаясь, чтобы там не рылись. Я прочла это письмо, когда все заснули; я ответила ему и послала немного денег и несколько других маленьких подарков, в которых он мог нуждаться. Он мне еще несколько раз писал и я отвечала тем же путем».*

Это взято из мемуаров Екатерины II.

## 7

В конце года двор потащился в Москву.

## 8

Сочинитель XVIII века сказал бы: «Плавали в лодке по воде и волторы вслед, рассекая струи, раздавали в воздухе свои звонкие тоны».

Елисавета походила на каменный статуй Венус. Богиня стояла на плотине средь золоченых горшков с цветами и средь красивых баляс.

На середину неба вылезла луна, в чем мать родила.

Под плотиной резвились каменные купидоны. Они тоже были позолоченные.

Подле Елисаветы сидел Ванюша Шувалов, двоюродный братец сенатора.

И все девять прудов, и каналы и шлюзы, доставляющие воду для игранья фонтанов, были позолочены, но не малярами, а луной и осенью.

Ванюшу Шувалова выдумал российский Цицерон. А Мавре Егоровне надлежало осуществить политическую выдумку супруга своего.

Обер-егермейстер Разумовский, потупя египетские очи, покусывал костыльную рукоятку из ониксы, представляющую сирену с открытою грудью и в бриллиантовой короне.

Мавре Егоровне было даже немножко жаль обер-егермейстера. В этом мире любовь окружает преимущественно дураков. Самые серьезные люди и те испытывают к ним нежность. А если, по счастливой случайности, дурак оказывается еще и пьяницей, число друзей у него, поистине, бывает неисчислимо, врагов же безнадежно искать и днем с огнем.

Какому умнику Мавра Егоровна простила бы рубцы от плетей на спине своего сенатора?

Среди осенних боскетов играли фонтаны и каскады.

Когда императорская водная карета подплыла к сфинксам, вызолоченным не луной, но малярами, все волторы разом умолкли.

— Тише, тише, моншеры, это музыкальный пруд мой, — сказала государыня, кладя теплую мягкую ладонь на колено юному Шувалову.

Ее музыкальный пруд был в изобилии населен лягушками, привезенными по особому повелению из Малой России.

Вызолоченные малярами московские сфинксы, не иронически называемые москвичами «свинксами», были и курносы, и скуласты, и толстогубы, и не загадочны, как дворовые девки.

Елисавета спросила Ванюшу, «любит ли он награждать свои слухи квакальной музыкой».

Тот, зная «государынину склонность к зеленым тварям», ответил, что «любит сие до крайности». Юноша злодейски врал. До крайности он любил французскую литературу, а вовсе не «столь курioзных лягушек».

Потом поплыли к золотым чуланам, из которых велено было пускать на волю цветноперых заморских птиц.

— Ах, моншеры, я вижу себя, как в райском саду, — пролепетала императрица, — право, можно сказать, это московский Эдем.

Она и от гуляния по воде, и от игранья фонтанов, и от квакальной музыки, и от цветноперых птиц получала полное удовольствие, потому что ей нравился Ванюша. Ему шел двадцать второй год. У него были серые глаза и серые брови, и серые длинные ресницы, и раздвоенный нежный подбородок, и румянцы на щеках, и вкрадчивые руки.

Недаром же руки называют — языком чувств.

А у Елисаветы — на сверкающей тарелке ее лица — стали появляться, то там, то здесь, роковые трещинки. Как на фаянсе.

Из государственных покоев, после нового года, шесть или семь раз камер-лакеи выметали разбитые зеркала.

Обер-егермейстер взглянул Лизе в глаза, и ему показалось, что они стали похожи на глаза ирландской его суки, когда та с остервенелым любострастием задней лапой вычесывает блох из своей рыжей шкуры.

А Маврутка все еще дрожмя дрожала, боясь поверить фортуновой улыбке: «А ну как и сегодня государыня не возьмет спать с собой Ванюшу? И чего только время ведет, такие сантименты к нему питая?»

Подплыли к каменным вызолоченным орлам, что сидели на низких столбах у пологой лестницы, обсыпанной поздними розами.

— Ступай-ка, Алексей Григорьевич, да на ранжереи взгляни с Маврой Егоровной, — обратилась ласково Елисавета, — к этим ранжереям нашим, бог мой, сколько глазу надобно, чтоб добрые пользы были. Крутом плуты.

— Чего ж в них ночью увидишь, в ранжереях ваших, — потупился обер-егермейстер; щеки его за одну эту короткую ночь обвалились.

— Увидишь, Алексей Григорьевич, увидишь. Вам факелой посветят.

Мавра Егоровна мелким воробушком выпрыгнула из водной кареты.

В оранжереях, окруженных обширным аптекарским и плодovitым, и овощным садом, выращивались для императорских и персонских столов тонкошкурные цитроны, пупырчатые апельсины, баргамоты, виноград белый и красный, персики и ананасы.

## 9

Чиновник, что отправлял секретарскую должность в Мануфактур-Коллегии, переломившись перед сенатором Шуваловым, сказал:

— Всем присутствием выехали на фабрику Болотина и Докучаева. Там, ваше сиятельство, имеее уверенность и князя Владимира Абрамовича застать.

— А что за трясение земли на фабрике?

— Работные люди, ваше сиятельство, станы побросали, приказаниев ничьих не слушают, от работы плюются. Из неполной тысячи, Ваше сиятельство, восемьсот восемьдесят подлецов разбежлось. Чуть господина Болотина камнями не сокрушили. Истинное, ваше сиятельство, трясение земли.

Шувалов из любопытства поскакал на суконную фабрику.

Мелькали грустные, обугленные улицы. Словно не века назад, а только вчера ушел из Москвы хан Тахтамыш со своею косоглазой ордой.

Да разве в год обстроиться после столь великих пожаров.

Лето 1748 года горожане с горькой насмешкой прозвали «красным». Только за один десятый день майского месяца сгорело тысяча двести два дома, храмов двадцать пять да людей девяносто шесть.

Мелькали обугленные улицы.

Сенатор находился в муторном состоянии ума и души. Оттого с самого утра и поскакал из дома. О чем бы ни думал, а где-то под поверхностью нарочитых мыслей нудилась одна потаенная: «А что, если Ванюша не уважит, не подравится?»

Сенатор вытащил из кармана золотые часы, похожие на репу: на них было четырнадцать минут десятого; вытащил золотую луковицу — эта показала двумя минутами менее, а утыканные рубинами — ничего не показали: остановились подлые посреди ночи. «Ранее пяти пополудни Маврутку и не жди из императорского дома», — положил в мыслях Петр Иванович.

Государыня жила навыворот — в постель ложилась после заревого пенья петухов, а глаза продирала гораздо за полдень, когда люди уж от обеденного вставали. А тут еще новый «случай»!

Фабричный двор имел правильную форму квадрата. Перед наездом чинов его словно языком вылизали.

Присутствующие из Мануфактур-Коллегии поместились за большим некрашеным сосновым столом, застанным грубой материей василькового колера. Несколько поодаль на табуретах сидели фабриканты Болотин и Докучаев в совершенно одинаковых истуканных позах, положив правые ладони на правые колена, а левые ладони на левые колена. По надоевшим обыкновениям оба фабриканта были в бородах — Докучаев в густой пламенной, Болотин в пепельной, чуть пожиже.

У кирпичной стены теснились суконщики двумя неравными кучами. Большую составляло человек сто, сто двадцать. Это те, что не кинули работать. Кой на ком была обувка, а рубахи и порты не так, чтоб очень рваны. Держались они в степени, как и пристало суконным мастерам, получающим до четырех рублей в месяц. К мастерам присоединились старики и убогие. Они являли вид самый плачевный. Нищета к ним поторопилась, а смерть за ними — запоздала. «Эй, вы там — могильное воинство!» — крикнул им веснушчатый сновальщик из малой кучи в пятнадцать человек. Этих, пойманных на заставах, поутру привели с драгунами из полицейской канцелярии.

Князь Владимир Абрамович стал скучно спрашивать, «почему побросали станы и не хотят работать». Тяжелые фабричные мухи летали над головами.

— Что же вы, басурмане, что ли? Слов российских не понимаете? Или жалузий у вас вовсе нет на господ фабрикантов, а разбежались отселе за тем, чтоб порты себе в Москве-реке постирать или рыбку на крючок поймать? Так, что ли, я понимаю?

Суконщики, приведенные драгунами, разом загалдев, вытолкнули вперед веснушчатого молодого сновальщика Петуха.

Фабриканты, не снимая ладоней с колен, повернули на него глаза.

Скучный князь Владимир Абрамович положил пальцы на запухшие веки:

— Рассуждай, — проямлил он веснушчатому.

К фабричным воротам подскакала шуваловская карета.

— Батюшки, родные, соляной черт пожаловал, — ахнул горбатый кардельщик из могильного воинства.

И суконщики загудели:

— Соляной черт... соляной черт... соляной черт...

Эта кличка пристала к Петру Ивановичу после прохождения в сенате знаменитых принципий, обещавших казне новый миллион. Ровную цену на соль в 35 копеек за пуд нищая страна считала иродовой. Горбатый кардельщик, имея жалованья с фабриканта 1 рубль и 70 копеек за месяц, не всякий день мог солить свою краюху хлеба.

Но и казна просчиталась на шуваловских принципиях: потребление соли с пятидесятого года настолько уменьшилось, что миллиона и в помине не оказалось, а болезни, по свидетельству современника, «пошли множайшие».

Присутствующие из Мануфактур-Коллегии угодливо сбились, давая Петру Ивановичу простор около скучного князя.

— Каков в своем здоровье, Владимир Абрамович? — спросил сенатор.

— Плох, Петр Иванович. Потею, кушаю без аппетитов, с человечеством скушаю. А ты как благополучен?



И поддерживая пальцами запухшие веки, приказал во второй раз сновальщику:

— Рассуждай.

У вихрастого глаза были умные, дерзкие, похожие на две большие веснушки.

Шувалов сказал себе: «Это — заводчик бунта». И стал со вниманием слушать.

— Мы жалузии свои на господ фабрикантов с подробностью перьями описали и государыне в претолстом снесли пакете! Вот стало, государыне и потребно доброе время для узнавательства нашей несчастной жизни от господ фабрикантов.

Пепельнобородый Болотин глядел не на вихрастого, а на толстые волосатые пальцы Шувалова, ощупывающие сукно, что покрывало стол.

— Тронь-ка, Владимир Абрамович, — шепнул сенатор, — экое шишковатое недоваленное дерьмо.

— Да, дерьмо, — согласился скучный князь. Тяжелые фабричные мухи летали над головами. Вихрастый говорил складно, от минуты к минуте разгораясь двумя своими большими веснушками:

— От каторги мы только тем и отличны на фабрике господ Болотина и Докучаева, что руки наши и ноги не в железах, а другого несходства с каторгою, видит Бог, никакого нет. Да, может, на каторге и лучше. Там, слышалось, не в норах звериных работают. А мы будто кроты. Мы чистим и щипем шерсть в темноте за две копейки в сутки. Так же и сукно в темноте стрижем не меньше как по четырнадцати с половиной часов вот по этим песочным извергам, — и молодой сновальщик кивнул на большие песочные часы, высившиеся посреди квадратного двора.

— Против часов мы не ругаемся, — закричали приведенные драгунами, — мы не против суконного регламента, а темноты нет в законе.

— И чтоб штрафы клали за дело, — сказал высокий старик-прессовщик, — а то как снег на голову в июльском месяце.

— И в морду то ж, ваше сиятельство, чтоб не славу богу туркали, а чтоб за дело.

— И стегали так.

— И с умом чтобы.

Скучный князь замотал вытянутым носом:

— Пусть какой-нибудь один говорит.

Болотин, не снимая ладоней с колен, шепнул своему компаньону:

— А Шувалов-то граф, соляной черт, чего приехал?

— Почему знать.

— Может, у него к сукну повертка.

— Может, и к сукну.

— У купца Евреинова промысла-то соляные оттягал.

— Очень просто.

— Теперь, стало, от нас сукно тягать станет.

— Это так, — согласился компаньон.

— Загребущ, проклятый.

— Лапищи-то волосатые, как у лешего.

Сальные промыслы у Архангельска и на Коле, Гру-пландские китоловные, рыбные у Каспия и на Балтике и по Белому были на откуп у Шувалова.

— Как Петр Великий, флот теперь себе строит, — мрачно заключил фабрикант.

Золотой струйкой бежал песок в часах, высившихся посреди квадратного двора.

Сновальщик, шмыгнув веснушчатым носом, сказал:

— Все бедства наши чтоб перьями описать, и чер-нилов, верно, в России не достанет, а коли словами, так летнего дня — мало.

И две большие веснушки под рыжими бровями Петуха погасли.

Тяжелые фабричные мухи летали над головами.

— А когда к станам вернетесь? — вдруг спросил скучный князь, поддерживая пальцами запухшие веки. — Если завтра наутрие к станам вернетесь и сукно стричь станете и чесать станете, никаких наказаний вам не будет и все преступления ваши прощаются, а коли не вернетесь, пеняйте на свое злодейство. Постирали порты в Москвереке и хватит. И глаза на меня не пучьте, я по-русски говорю, всем и каждому понятно, пусть он даже дурак.

Слушая одним ухом томительного князя, Петр Иванович думал: «А что, если Ванюшка, сучья негодь, не уважит государыню? Ох-ох!»

В дома возвращались на рысях. Скучный князь, не противясь, перешел в шуваловскую карету.

— При Владимире Мономахе у нас в Киеве и в Новгороде изрядные делали сукна и торговали ими в Европу. Нашими сукнами иноземцы одевались. Я это, нелицемерный друг мой Владимир Абрамович, у летописца читал. А теперь что? Да ведь в такое шишковатое дерьмо только, подкупив совесть, солдата обрядить можно. Даже не верится, что живешь в XVIII цивилизованном веке. Нет, друг мой нелицемерный, для славы отечества надобно иметь крайнее старание, чтобы мы, просвещенные вельможи, из рук дикого русского купца выдрали финансы, откупа и промышленность. Не дальше чем в прошлый четверток или среду я у вас в Мануфактур-Коллегии наткнулся на ведомость от шелковых фабрикантов, так это же смехи, друг мой Владимир Абрамович! А ну-ка скажи мне, Ваше сиятельство, сколько пар шелковых чулок или сколько персидских кружев во весь год имеют силу сделать российские фабриканты?

Потерев запухшие веки, князь сказал:

— Нет у меня этого как-то в голове, сколько могут они изготовить.

— Ну, я тебе тогда скажу: чулок шелковых — сто пар, а персидских кружев — двести косяков. Ведь это же, ваше сиятельство, громкие смехи для нашего цивилизованного века.

— Да, это маловато, коли сто пар, — кивнул вытянутым носом скучный князь и подумал: «А вот когда ты, друг мой нелицемерный, рыбкой стал торговать, это уж не громкие смехи стали, а горькое горе для всей России. Кругом люди подавились твоей рыбной костью, такую цену вздул».

Обугленные улицы наводили грусть.

У зданья в два жилья, обшитого резной вычурой, скучный князь попросил оставить карету.

— Желая поправления appetитов, — сказал Шувалов. — А от заболевшей груди, Владимир Абрамович, хорошо лечится травой буквицею, варенной в воде.

И сенатор поскакал в дом.

На московских улицах коровы и козы щипали траву; из колодцев бабы поднимали воду.

— А я-то вас, Петр Иванович, уже с четверть часа как дожидаю! — закричала Мавра Егоровна, всплескивая кургузыми руками.

— Не томи, дура.

— Ах, как пондравился! Ах, как!

И супруги, перекрестившись на икону, облобызались, как в светлое Христово воскресенье.

\* \* \*

После розыска в бегах осталось 586 суконщиков.

Каждого десятого человека, из отказывающихся стать на работу, сенат приказал наказать нещадно кнутом и, заклепав в железа, сослать на каторжную работу.

А веснушчатый сновальщик Петух хоть и был бит до испущения духа, но, по крепости молодого тела, не представлялся.

Жизнь, что дубок зеленый!

Отдышавшись, выпоротый «до испущения духа» сказал:

— Держусь за дубок, дубок в землю глубок.

В Рогеревик на каторжную работу Петух исхитрился не угодить.

## Девятая глава

### 1

Есть что-то невыразимо хорошее в глазах затяжелевшей женщины, и в спокойствии вдумчивых ее движений и в походке ее, я бы сказал, не боясь показаться смешным, по-особенному грациозной, если понимать это слово не мелко. А как прекрасна улыбка, совсем особенная, светящаяся, с которой прислушивается женщина к шепелению живого комочка у себя под пупком, а вовсе не под литературным сердцем! Или та нежность, с которой

она поглаживает гороподобный живот девятого месяца, безобразный даже в глазах отца будущего ребенка.

Однако все это ни в какой мере не относится к затаенной Екатерине. Бог мой, какую ненависть, какое отвращение испытывала она к своему животу! В сущности, это было даже несколько удивительно для ее расчетливого сердца: чем же иным она могла более угодить и государыне, и своему новому политическому другу Алексею Петровичу Бестужеву, а главное, себе самой, если не рождением будущего российского императора или, на худой случай, императрицы?

В примечательной инструкции, сочиненной великим канцлером, так ведь и говорилось без обиняков: *«Внешнее достоинство императорского высочества не в каком ином виде и надеянии возвышена, как токмо своим благоразумием, разумом и добродетельми его императорское высочество к искренней любви побуждать, сердце его к себе привлеци, и тем империи пожеланной наследник и отрасль нашего высочайшего императорского дома получена быть могла».*

А вот что произошло в 1753 году, когда и у монархини, и у великого канцлера, и у нации, как называла великая княгиня кучку придворных, все веры иссякли в Петра Федоровича.

*«Чоголова, всегда занятая своими заботами о престолонаследии, — рассказывает Екатерина II в "Записках", — сказала мне: "Послушайте, я хочу поговорить с вами совершенно откровенно". Я, понятно, вся обратилась в слух. Она начала длинным разглагольствованием о своей привязанности к мужу, о своем благоразумии, о том, что нужно и чего не нужно для взаимной любви и для облегчения супружеских уз, и потом ограничилась заявлением, что бывают иногда положения высшего порядка, допускающие исключения из правила. Я дала говорить ей все, что она желает, не прерывала ее и не понимала, куда она клонит; я была несколько удивлена и не знала, ставит ли она мне ловушку или говорит искренно. Пока я внутренне размышляла об этом, она сказала мне: „Вы увидите, люблю ли я свое отечество и насколько я искренна, — не может быть, чтобы кое-кто вам не*

*нравился; предоставляю вам выбирать между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным. Если я не ошибаюсь, то избранник Нарышкин». Я невольно вскричала: "Нет, вовсе нет". — "Ну, если не Нарышкин, то уж, конечно, Салтыков". На это я промолчала.*

Нам кажется, что мы правильно поступаем, уклоняясь от авторства в местах наиболее щекотливых. Бог с ним, с недоверчивым читателем, пусть уж имеет дело с глазу на глаз с Екатериной II.

## 2

«Вот и пришло», — решила великая княгиня, проснувшись от болей в животе. Но первые схватки были не так сильны, и она засомневалась: «Может, это от мыслей... или покушала что-нибудь гадкое из рыбы».

В соседней комнате похрапывала Прасковья Никитишна.

Сентябрьская ночь роняла звезды в гнилую Фонтанку.

Положив теплую наспанную подушку на громадный живот, Екатерина стала вспоминать: «Что же такое покушала за вечерним столом. Может, это от грибов в тесте с лимоны и с медом цыженным?»

Ветерок колыхал занавес на окне, плохо закрывавшемся из-за перекоробившихся рам.

У Екатерины уже было два выкидыша. Ей хотелось думать, что тяжелела она всякий раз от Салтыкова, красавца, фата.

Тикали часы, показывающие неправильное время.

«Я разрешусь легко». И, не любя женщин, подумала: «Врут они, наверно, что мучения эти так ужасны; для мужей своих врут, чтобы иметь вес в жизни».

— Ох, Господи! ох!

И, прикуся губу, скорчилась в постели.

«Нет, будто, не так врут».

А когда отпустило, опять не совсем поверила, что это схватка.

«Разбудить бы Прасковью Никитишну».

Но будить было совестно: «А что, если от грибов с лимоны?» Не хотелось показать страх.

Комната была унылая, пустынная. По стенам, обведенным малиновой кромкой, стояло несколько штофных стульев, канапе, имеющее чурбашек вместо задней ножки, да два миниховских кресла.

И вдруг будто кто подменил сердце на самое маленькое, жалкое, бабье.

Проснулась Прасковья Никитишна.

Страх вошел в душу к Екатерине словно на цыпочках.

Побежали за повивальной бабкой.

Побежали за великим князем.

Побежали за государыней.

— Великая княгиня с большим терпением переносит изнеможение физики, — так было доложено ее величеству.

Государыня без помощи камер-фрау нырнула в юбки.

Петр Федорович долго застегивал непроснувшимися пальцами коричневый камзол; потом лениво плескал холодную воду на рябой нос; потом не торопясь расчесывал черепаховым гребнем сваявшиеся волосы: «А я-то к чему? Что я, повивальная бабка? Или кто? Терзатели проклятые!»

Когда схватка кончалась, у Екатерины тяжелели веки, и она говорила, что очень устала и что очень хочет спать, но повивальная бабка, госпожа Андриана фон-Дершарт, не хотела об этом и слышать.

Все, за исключением, разумеется, роженицы, не знали, как себя вести, что делать и что говорить. Любовь в таких случаях бывает неплохой советчицей.

Государыня то и дело обращалась к маме, как она называла запросто Богородицу, прося у нее дать империи мальчика: «Племянник-то у меня урод, черт его возьми, голштинец, не хочю ему оставлять Россию».

Екатерина с большим терпением выносила «изнеможение физики».

Даже самые нежные матери, разрешаясь, не думают о ребенке.

Государыня с грустью вспомнила, что она не намалевалась.

Медленно подползал рассвет — жидкий, белесый, петербургский, беспощадный для женской красоты пятого десятка.

Петр Федорович не без интереса разглядывал морщины и морщинки, и дряблости, и запухлости на круглом, как тарелка, лице своей тетки. Может быть, первый раз в жизни он видел ее неразмалеванной.

Однако не лицо, но шея — вот неумолимый календарь возрастов женских.

С половины десятого Екатерина начала рычать. Это меньше всего входило в ее предположения.

Петру Федоровичу стало противно.

Желтые и красные листья летели из Летнего сада, разведенного ганноверским уроженцем Гаспаром Фактом.

Государыня нервически зябла под мантильей из голубого атласа.

Наконец около полудня, по всей вероятности не без участия Богородицы, великая княгиня родила сына.

Давным-давно Елисавета уже решила назвать его Павлом.

Повивальная бабка дала новорожденному два шлепка по попке.

Раздался слабый писк.

Обычно после этого звука перерождается молодой отец, а в женщине просыпается материнское чувство.

Ничего подобного не произошло ни с великим князем, ни с Екатериной.

Новорожденного унесли в покои императрицы.

Только через сорок дней состоялась вторая встреча нежной молодой матери со своим младенцем.

Разрешившись, Екатерина ощутила себя необычайно легкой, счастливой. Словно и не было никаких «изнеможений физики».

Так произошло, выражаясь языком «Санкт-Петербургских ведомостей», «вождевленное рождение».

За это дело Екатерина получила от императрицы 100 000 рублей.

Но про Петра Федоровича вполне резонно забыли. Тогда он устроил скандал. Дали и ему 100 000.



А Салтыкова, чтобы поскорей с глаз долой, отправили в Швецкое королевство с радостным объявлением о дарованном наследнике.

С той поры фат российский так и мотался до конца своих дней по Европам.

Екатерина плакала. Она его очень любила.

А фат, по внушениям великого канцлера, лишь более или менее добросовестно прикидывался воспламененным. И то очень недолго. Он был бестужевским клеветником и прилепился к Екатерине «для узнания сокровеннейших секретов молодого двора», а также для завязки в один узел интересов великой княгини и великого канцлера, которому английский посланник сэр Гюи Дикенс посоветовал искать политического союза с женщиной, почитающей Вольтера и Монтескье.

Англичанин, хмуря седые брови, сказал Бестужеву:

— Убили мы с вами, сударь, птицу, перья от нее остались, а мясо улетело.

Под «перьями» разумелся Лесток, под «мясом» — Воронцов, Трубецкой, Шуваловы.

Англичанин жаловался:

— У меня, господин канцлер, одышка и с сердцем нехорошо. А у вас в Петербурге что ни день — комедии, куртаги, маскарады, кончающиеся при солнце. Где уж мне с одышкой за прочими министрами угнаться. Да, сударь, решил проситься домой, в Лондон.

### 3

*«Санкт-Петербургские ведомости» сообщали: «Его сиятельство господин генерал-аншеф, сенатор, ее императорского величества действительный камергер, генерал-адъютант, лейб-компани подпоручик и разных орденов кавалер, граф Петр Иванович Шувалов 6 полудни богато трактовал в своем доме за столом на 26 кувертов римско-императорского и королевина величества господина посла, всех иностранных господ министров и некоторых придворных кавалеров. Вместо ожидания обыкновенного в окончание стола десерта, пошли*

*все знатные гости от стола в верхний подле залы грот, где в середине на круглом столе поставлен был весьма отменной десерт новой инвенции. Оной представлял великую гору, состоящую из всяких руд каменных и минералов и из разных курioзных окаменелых вещей, яко дерев, раковин, грибов и прочего, принадлежащих к многочисленному минеральному кабинету его высокографского сиятельства. На верху сей горы стоял изрядной архитектуры и аллегорическими статуями украшенный рудник, в котором видна была рудокопная яма со многими черными людьми в обыкновенной горной работе упражняющимися, а далее по сторонам домны. На другой стороне текла с горы великая река, впадающая в приморскую гавань, где несколько судов со всем такелажем, также несколько шлюпок с промышленниками, выходили на тюленью и китовую ловлю. На реке построен был великолепный мост к горному замку, а на берегу стоял фарус с горящим на нем огнем, не упоминая о многих других строениях и фигурах при сем курioзном десерте представленных».*

#### 4

И над Лондоном бывает голубое небо без единого облачка.

Сэр Уильямс, перечитывая инструкцию, только что полученную от министра, подчеркнул длинным желтым ногтем следующий пункт: «Русских нужно убедить, что они останутся азиатской ордою, если будут сидеть сложа руки и тем дадут прусскому королю возможность привести в исполнение его честолюбивые, опасные и явно уж задуманные им планы увеличения своего королевства».

Сэр Чарльз Генбури Уильямс из древнего графства Ворчестера, член партии вигов, сатирический стихотворец, недурной художник и политический вольтижер, поднял глаза к безоблачному небу.

«Это очень приятно пускаться в путь, — подумал он, — при благоприятных знамениях природы».

И улыбнулся, обнажив зубы, длинные, как пальцы.

У посла были свои приметы.

Стоит ли сомневаться, что небо дает советы англичанам преимущественно перед всеми прочими человекоподобными тварями, населяющими землю.

По приезде в Петербург сэру Уильямсу была дана партикулярная аудиенция.

— Одной вахтовой шеренге, — распорядилась государыня, — приступить к ружью, а когда господин посол поедет домой, отдать честь фрунтом, на караул без барабанного боя, а обер-офицерам снятием шляп, без уклонения экспонтов.

Сэр Уильямс, повторяем мы, был политическим вольтижером.

Алексей Петрович Бестужев поспешил обрадовать великую княгиню сообщениями о прибывшем из Лондона «истинном друге».

И над Петербургом бывает голубое небо без единого облачка.

Государыня спросила великого канцлера:

— Правда ли, что господин Уильямс преизрядный и неумолимый танцовщик, а также остроумец?

Алексей Петрович расхвалил качества нового посла.

— А мне будто и менуветы надоедными сделались, — отнеслась Елисавета к Шувалову Ивану Ивановичу, — в луга бы мне, по траве росной без обувки побегать, цветки пощипать.

Всю прошлую ночь она протанцевала на опухших ногах, появляясь в маскараде то французским мушкетером, то казацким гетманом, то голландским матросом, то в домине пурпуровой с золотом.

10 000 свечей загоралось в одну минуту в паникадилах и крахштейнах большого зала.

— А у Павлуши десенка свербит, верно, еще зубок режется, — сказала государыня, сияя на Ивана Ивановича широко распахнутыми глазами.

Елисавета старела. Она стала по ночам писать стихи.

Нам кажется, что лирические чувства увядают на двадцать пятом году жизни и распускаются вновь на шестом десятке.

В Петербурге сэр Уильямс смеялся над деревянными лачугами, и над деревянными дворцами, и над белеными мелом залами вельмож, и над громадными, в «бычий глаз», бриллиантовыми пуговицами президента академии Кирилы Разумовского, меньшого братца обер-егермейстера, и над сырыми дремучими лесами, теснящими проспекты, и над мраморными венерами в Летнем саду, охраняемыми гренадерами в кожаных шапках с перьями, и над охотниками, стреляющими диких уток с Фонтанки, и над «английским обычаем» графа Бестужева всякую ночь ложиться в постель пьяным, и над убранными франьями и раскрашенными в пеструю краску извозчичьими экипажами, где седокам надлежало держать вожжи, а возницы бездельно стояли сзади, и над роговой, слышимой за восемь верст музыкой, изобретенной Нарышкиным, где на каждый голос имелся особый рог, длиною от пядени до десяти футов.

А туманы Санкт-Петербургские, по мнению сэра Уильямса, только обезьянничали лондонские.

На куртаге, где от стола государыни были поставлены четыре стола в четыре лучи, политический вольтижер сидел рядом с Екатериной.

Волторы пели подобно кастратам.

За сахарами, так назывались столы, уставленные конфетами, и вареньями, и фруктами, Екатерина сказала графу Бестужеву:

— Я также думаю, Алексей Петрович, что сэр Уильямс наш истинный друг.

В свите английского посла находился стольник великого княжества Литовского Станислав Понятовский. Ему было не многим более двадцати лет.

Екатерина высказала предположение, что «если бы ангелы танцевали менуэт, они бы уступили в изяществе юному поляку!» Покинутая Салтыковым, Екатерина искала утешений, а может быть, и отмщения.

Сэр Уильямс поспешил представить ей графа Станислава. Он приятно щурил близорукие глаза и с салонной легкостью рассказывал о Вольтере.

— Слыхали ли, ваше высочество, что господин Вольтер составил для себя карманный словарь выражений, употребляемых королями?

— Признаюсь, сударь, не слыхала. Но я убеждена, что это достойно удивления, как и все, что написано пером этого великого писателя. Прошу вас, сударь, будьте же милосердны к женскому любопытству, — прожеманничала великая княгиня.

После рождения Павла она раздалась в бедрах, в груди и несколько обросла жиром.

— Господин Вольтер, ваше высочество, находит, что, когда король говорит «мой друг», это значит — «мой раб», когда он говорит «мой дорогой друг», это значит «ты более, чем безразличен для меня», выражение «я вас осчастливаю» подразумевает «я буду терпеть тебя, пока ты будешь мне нужен», а королевское приглашение «пужинаем со мною сегодня» равняется «я хочу сегодня позабавиться тобой». Вот, ваше высочество, какие принесла плоды и чему научила господина Вольтера высокая дружба прусского владыки.

Сэр Уильямс, побывавши посланником в Берлине и раздраживший короля-философа едкостью своих острот, вспомнил некстати:

— Я слыхал, что господин Вольтер называет Фридриха II «Люком», по имени обезьяны, взявшей обыкновение кусаться.

И разговор потек по этому каналу.

Волторы пели подобно кастратам.

Государыня с необыкновенной грацией танцевала на опухших ногах.

Президент Российской академии Кирила Разумовский соперничал с Петром Ивановичем Шуваловым величиной бриллиантовых пуговиц.

\* \* \*

*«Великая княгиня высказала мне на днях чистосердечное свое мнение о прусском короле — она не только убеждена, что Фридрих II естественный и опасный враг России, но даже лично ненавидит его».*

Такое сообщение поспешил отправить в Лондон сэр Уильямс.

По проекту сенатора Шувалова учрежден первый в России банк из казенной суммы для дворянства.

В Москве через газеты ведомость из Некепинга, что на острове Масе в Ютландии, близ Западного моря, четверо рыбаков в ночи *«поймали против чаяния так называемую сирену или морскую женщину. Оное морское чудовище походит сверху на человека, снизу на рыбу; цвет на теле желто-бледный; глаза были затворены; на голове волосы черные, а руки заросли между пальцами кожей»*.

По проекту сенатора Шувалова уничтожены внутренние таможи.

При пожарном несчастье с Головинским дворцом у Елисаветы сгорело четыре тысячи пар платьев, что составляло некоторую часть ее гардероба.

По проекту сенатора Шувалова учреждается первый в России банк для купечества.

Екатерина писала серебряным пером, которое называлось вечным, потому что имело в себе чернильницу.

Сенат рассуждал о воспитании для императрицы двух медвежат: *«Чтобы знали ходить на задних лапах и через палку прыгать»*.

Царскосельский дворец имел машины, которые поднимали в этажи гостей, сидящих на мягких диванах.

Сенатор Шувалов получил Гороблагодатские заводы многолюднейшие и на великом пространстве лежащие.

По дороге в Царское Село смердели лошадиные трупы.

*«Императрице пришла фантазия велеть всем придворным дамам обрить головы. Все ее дамы с плачем по-*

*виновались. Императрица послала им плохо расчесанные парики. И себя тоже обрила».*

К Гороблагодатским заводам, после передачи их Шувалову, было приписано 16 132 крепостных души.

Крестьянин погородной Яранской слободы Леонтий Шамшуренков изобрел самобеглую коляску и объявил, что сделал он коляску, *«а теперь может сделать сани, которые будут ездить зимою без лошадей; может сделать также часы, которые будут ходить у коляски на задней оси и будут показывать на кругу стрелюю до 1000 верст, на всякой версте будет бить колокольчик».*

Сенатор Шувалов имел 400 000 годового дохода.

Правительственный сенат рассудил на содержание Московского университета и двух гимназий отпускать ежегодно 15 000 рублей.

Человек, не умеющий плакать и смеяться, — это уж не человек, а скотина.

По проекту сенатора Шувалова произведена денежная реформа.

Медикусам, обучающим повивальных бабок, велено именоваться «профессорами бабичьего дела».

Приметив, что в армии о муштровании и обращении корпусами худое понятие имеют, сенатор Шувалов вымуштровал образцовый отряд и показал его Военной Коллегии, чтобы по такому способу перемуштровать всю армию, чему и была высочайшая апробация.

## 6

### Екатерина

Я думаю, Алексей Петрович, что в России нельзя понравиться нации, имея пустой кошелек.

Бестужев

Я думаю, ваше высочество, что так в целом свете.

Екатерина

Это не делает чести народам, что они так меркантильны.

Бестужев

Уж нет ли тут какого-нибудь финта дьявола.

Екатерина

Верно ли то, Алексей Петрович, что у государыни водянка в животе?

Бестужев

Ее величество тает, как свечка.

Екатерина

Боже мой, что будет с Россией, когда Господь позывает к себе государыню.

Бестужев

Я страшуся, ваше высочество, подумать об этой печальной минуте.

Екатерина

Муж мой не любит России.

Бестужев

Государь, который отворачивается от страны своей, не то ли, что мачеха для ребенка. Впрочем, у супруга вашего ум весьма подвижный.

Екатерина

Петр Федорович превосходно представляет гримасами целый двор, а также коверкает свою тетушку, будучи ей обязанным всем в жизни.



Б е с т у ж е в

Только к скоропостижному прусскому королю, главнейшему злодею России, его высочество почтение питает.

Е к а т е р и н а

Ваш священный долг, Алексей Петрович, подумать об отечестве.

Б е с т у ж е в

Ваше высочество, я с подобною репликой смею отнестись и к вам.

Е к а т е р и н а

Я право не знаю, что может предпринять особа, имеющая на собственные расходы 30 000 рублей в год.

Б е с т у ж е в

В тесных обстоятельствах не следует убежать друзей.

Е к а т е р и н а

Я слишком бедна, Алексей Петрович, чтобы их иметь.

Б е с т у ж е в

Однако это не так.

Е к а т е р и н а

Не просить же мне займа у вас, Алексей Петрович, когда я знаю, что вы бьетесь в копейках.

Б е с т у ж е в

Поверьте старику, ваше высочество, сэр Уильямс вам истинный друг.

\* \* \*

У великого канцлера были умные сухие руки, оплетенные синими жилами; была на лице желтая кора вме-

сто кожи; были узкие, пыльные, непонятные глаза; были губы, как черви; был портрет Петра на груди.

Такие канцлеры кажутся несменяемыми.

Такие старики кажутся бессмертными.

Про Екатерину он думал: «И комар лошадь свалит, коли волк пособит».

\* \* \*

Нева явилась ледяным мостом к Петропавловской крепости с ее четырьмя воротами и одним рavelином, и шестью куртинами, и шестью болверками, и золотым шпидем, легким, как солнечный луч.

Двор имел выходы в комендантский анбар у Синего мосту, где отправляли кукольную комедию, и в театральный дом при Летнем саде на берегу Большой Невы, и в маскарады; и упражнялся в карточной игре, в тресет и в ломбер, и в танцеваниях и в разговорах о любовных связях Петра Федоровича с толстой Елисаветой Воронцовой, а Екатерины — с полячишкой, которого английский посол называл «сынком».

Петербургские метели не обезьянничали лондонские.

Извозчики в красных кушаках и с номерами на левых рукавах играли, по обыкновению, у становищ в мячи, чтобы согреться.

Сэр Уильямс к своим донесениям в Лондон стал кой-когда прикладывать денежные расписки супруги наследника российского престола.

Рубли и стерлинги Екатерина получала через барона Вольфа, английского консула.

## 7

*«Минувшего генваря 16 числа к вечеру был Великий Совет в Сенджамсе, в котором подписан трактат между дворами Английским и Прусским».*

Каждая из сторон обязалась помогать другой против нападения.

Этот трактат, названный Вестминстерским, успокаивал Англию за Ганновер, европейское ее владение, и развязывал ей руки для колониальной войны с Францией.

Сэр Чарльз Генбури Уильямс в течение полугода убеждал русских, что они останутся «азиатской ордой», если не влезут в драку с Фридрихом.

В том же самом русских убеждали, и не только словами, еще несколько сэров, предшественников сэра Чарльза Генбури Уильямса.

Вероятно, после подписания Вестминстерского трактата придется убеждать варваров в чем-нибудь другом.

Да, это верно, что в трагедии, если она хороша, зритель должен не только поплакать, но и от души посмеяться.

— Россия находится на услужении Англии, — сказал Фридрих II, а мы с королем Георгом стали добрыми союзниками. Надо думать, что солдаты, которых он купил в Петербурге, будут превосходно бить австрийцев для меня.

Но к субсидному договору на русских солдат была, оказывается, приложена «секретнейшая декларация» — поясняющая, что русские солдаты проданы Англии только на Фридриха.

Из-за этого неожиданного приложения министерство хотело отозвать из Петербурга сэра Уильямса.

Но Фридрих отговорил.

*«Это было бы несчастьем относительно молодого русского двора, который вдруг лишился бы его добрых советов при обстоятельствах критических», — писал дальновидный король.*

## 8

Если судить по мебели, которыми Алексей Петрович обставлялся, можно было заключить, что из всех зверей он отдавал предпочтение хозяину пустыни — льву. Петербургские англичане меркантильно объясняли это угодливиостью великого канцлера перед двором короля Георга: лев был зверем с английского герба.

Но чересчур трезвые умозаключения нам подчас кажутся наиболее наивными. Почему бы, право, и не предположить, что Алексей Петрович носил в сердце нежность к своей молодости: вот он, Алексей Петрович, щеголь, ветреник и умница-острослов, в службе ганноверского курфюрста; вот ганноверский курфюрст становится королем Англии; вот для Алексея Петровича из туманов возникает великий город — каменное логовище британского льва; вот и тяжелая Темза, которую, по меткому слову сэра Уильямса, только обезьянничала Нева; вот Алексей Петрович в качестве английского министра скачет в Петербург с нотификацией о восшествии на престол Георга.

Это бестужевская молодость, далекая годами и близкая в памяти. «Ах, будто все было вчера» — так испокон века говорят старики.

\* \* \*

За окном была ледяная неразбериха.

Над большим письменным столом, стоящим на львиных лапах, стлыло морщинистое лицо под непомерным париком старинных обыкновений.

«Одревнел Бестужев, неприлично одревнел», — думал сэра Уильямс.

Глубокие кресла, обитые бархатом цвета сырого мяса, также стояли на львиных лапах; большая серебряная чернильница имела львиную голову; толстые свечи были воткнуты в разверстые пасти тяжелых подсвечников, разумеется, серебряных. Впрочем, все бестужевские львы, деревянные, серебряные и бронзовые, немало походили и на барбосов.

Февраль пулял ледяной крупой в большие квадраты стекол просторного кабинета.

«Не слишком ли я долго говорю перед этим господином?» — спросил себя сэра Уильямс.

На письменном столе лежал бронзовый лев-барбос, держащий в зубах часы. Англичанин поднял на них левую веку, напоминающую скорлупу грецкого ореха: «Истекает двадцать четвертая минута — это сверх всякой меры».

И сэр Уильямс заключил свое двадцатичетырехминутное сообщение:

— Таково, граф, содержание трактата, подписанного в Сенджамсе.

И почтительно улыбнулся длинными, как пальцы, зубами.

Вспомнив сообщение своего предшественника сэра Гюй Дикенса о взятках, которые получал Бестужев от австрийского двора и от саксонского, от первого что-то около тридцати тысяч флоринов, а от второго тысяч девять-восемь рейхсталеров, сэр Уильямс сказал себе в уме: «В следующий раз непременно издали покажу ему золотую пилюлю; эта русская птица, именуемая великим канцлером, обладает орлиным глазом для распознавания предметов подобного рода».

За окном выла ледяная неразбериха.

— Заверяю вас честью, граф, — сказал посланник, — а также и клятвой истинного и испытанного друга, что трактат не имеет никаких тайных и сепаратных артикулов.

Бестужев молчал. Узкие пальцы его, растекшиеся по столу, дрожали. Лицо посерело. Можно было подумать, что слова длиннозубого англичанина, являясь материей — пылью или пеплом, легли тончайшим слоем или пеленой на щеки, лоб и губы великого канцлера.

— Можем ли мы с вами, граф, иметь сомнения, что только страх перед старинной и искренней дружбой дворов английского и российского принудили короля Пруссии к подписанию трактата, столь благодетельного и успокоительного для Европы.

Бестужев молчал.

От привычки быть вежливым, англичанин продолжал выталкивать изо рта слова, которые относились к той обширной категории слов, что являются бессмысленной и обременительной повинностью, как для говорящего, так и для слушающего.

— Как только весть о трактате дошла до меня, я, не смея помедлить, сломя голову поскакал в эту пургу к вам, ваше сиятельство, для скорейшего извещения.

И сэр Уильямс улыбнулся длинными, как пальцы, зубами.

А Бестужев удержался, чтобы не прикрыть трясущейся рукой жилистую свою и напряженную шею. Словно длинные желтые зубы принадлежали какому-нибудь дикому зверю, а не вежливому английскому послу, столь расположенному к посильным услугам для российского великого канцлера.

— И еще, граф, я бы счел не лишним упомянуть, что мой государь имеет твердые надежды, что на основе конвенции российские войска будут двинуты к границе.

Заключая союз с английским двором, Фридрих рассчитывал на этих русских солдат, купленных королем Георгом у Елисаветы.

— А субсидные деньги, сударь, на содержание ваших солдат припасены.

Бестужеву хотелось плакать.

Через двойные рамы было слышно, как бьет ледяная крупа в квадратные стекла.

Тикали часы.

— Позвольте, сэр, принести мне свои искренние поздравления с подписанием трактата, — сказал Алексей Петрович чужим старческим голосом.

— Благодарю вас.

— Я не премину, сэр, сегодня же известить об этом чрезвычайном событии ее величество.

И, обтерев хрустящим полотняным платком сухие губы, великий канцлер добавил немощно:

— Но у меня есть опасение, сэр, что эта новая связь двора английского с королем прусским будет государыне не так приятна.

В ответ господин посланник с деланным удивлением поднял левую веку, напоминающую скорлупу грецкого ореха.

— Государыня, сэр, привыкла считать короля прусского...

Бестужев не решился сказать: «Обезьяной Люком, взявшей обыкновение кусаться».

Эта фраза, оброненная Уильямсом на куртаге, имела успех при русском дворе.

— Я надеюсь, ваше сиятельство, — нетерпеливо перебил Алексея Петровича посланник, — что вы употре-

бите все старание представить императрице это дело с настоящей точки зрения.

\* \* \*

Как театральный занавес, опустилась ледяная неразбериха за каретой длиннозубого человека.

— Ускакал. Смеючись, ускакал.

Старик, сидящий среди львино-барбосьих голов, лап и хвостов, несколько раз провел трясущейся, оплетенной синими жилами рукой по напряженному кадыку.

— Вот и окончание жизни. Иголка служит, пока с ушком. Обманула Англия! О Господи, за что?

И старик заплакал.

*«... И с подмогою чужих денег сокращать короля Прусского, подкрепить своих союзников, сделать сего гордого принца у турков, у поляков да и у самих шведов презрительным, а не так как ныне уважительным...»*, — писал Бестужев к императрице, отстаивая против мнения сенатора Шувалова и неумного вице-канцлера Михайлы Воронцова продажу российских солдат Англии.

— О Господи, в какие дураки влез! чему делал защиту, декларировал за что? Ох, обманула Англия!

И старик, содрав с головы громадный парик, так бился морщинистым лбом о холодное дерево стола, что прыгали и бронзовые часы, и чернильница, имеющая голову не то льва, не то собаки, и тяжелые серебряные подсвечники, что в оскаленных пастях держали толстые свечи.

— Ох, обманула Англия! А я-то, седой пес, от секретнейшей декларации брыкался. Господи, в каких дураках перед всем светом и государыней. Дурак! Дурак! Старый дурак! Жри нонче великого канцлера кто хочет, кому аппетитов Бог дал. И Мишка Воронцов жри, и пузатый Трубецкой жри, и Маврутка, и Петр Иванович. О Господи!

## 9

Франция, покинутая Фридрихом, и Австрия, покинутая коварной Англией, волей-неволей, после вековой «естественной» вражды, сделались самыми «естественными» и сердечными друзьями.

Эти забывчивые страны, неожиданно вспомнив, что они страны католические, не умудрялись теперь даже взять в толк, как это они, будучи сестрами по религии, могли столь упорно драться друг с другом, из-за какого-то, скажем, «испанского наследства».

Сердечная дружба была закреплена в Версале соответствующим трактатом, что доставило в Петербурге порядочно удовольствия отменным французам — Ивану Ивановичу Шувалову и Михайле Ларивоновичу Воронцову, вице-канцлеру, который только что получил от Людовика XV «всяких необходимостей» для своего нового дома. Это были старые мебели, которые начинали надоедать маркизе Помпадур.

А еще Михайла Ларивонович, усвоивший, наконец-то, принципы Петра Ивановича Шувалова «про новое финансовое движение света», соображал о русском табачке, чтобы став в отечестве монополищиком, с Божьей помощью, наладить небогий вывоз в прекрасную Францию.

Словом, дела французские в Петербурге двигались.

И Алексею Петровичу Бестужеву, по настоянию Англии в свое время выставившему из России маркиза Шетарди, теперь при худых обстоятельствах пришлось сделать извещение австрийскому послу Эстергази, что, *де, «ее величество согласна возобновить сношения с французским двором посредством взаимного отправления министров».*

Тем временем российские сухопутные и морские силы, находящиеся в удивительном некомплекте, кой-как приводились в готовность усердием вновь учрежденной для «нынешнего времени» конференции, которую составляли следующие, первейшие в государстве, персоны: великий князь Петр Федорович, канцлер Бестужев, вице-канцлер Воронцов, Петр Иванович и Александр Иванович Шуваловы, генерал-аншеф Апраксин, генерал-прокурор Трубецкой, сенатор Бутурлин, сенатор Голицын и Бестужев Михайла, собирающийся послом к французскому двору.

Сэр Чарльз Генбури Уильямс, справедливо нервничая и, видимо, более доверяя языку, чем перу, поспешил на секретное свиданье к своему другу Екатерине.



О таинственном разговоре этих лиц кое-что известно истории.

*«Я уже напугал ее и насчет приезда французского посланника, — доносил сэр Чарльз, — и показал, что присутствие его здесь может быть очень опасно для нее и для великого князя».*

*«Она усердно меня благодарила, — читаем мы далее, — и сказала: я вижу опасность и бугу побуждать великого князя сделать все возможное для ее удаления; я сделала бы еще более, если б у меня были деньги, потому что без денег здесь ничего сделать нельзя; я должна даже платить императрицыным горничным; мне не к кому обратиться в этом случае, моя собственная фамилия бедна; но если ваш король будет так любезен и великодушен, что даст мне займы известную сумму денег, то я дам расписку и заплачу долг при первой возможности, причем могу дать королю честное слово, что каждая копейка будет употреблена для нашей общей с ним пользы, как я понимаю дело, и я желаю, чтобы вы поручились его величеству за мой образ мыслей и действий».*

По записочке сэра Уильямса, великая княгиня получила от английского консула барона Вольфа 10 000 фунтов стерлингов.

## 10

*«Министрат и большое число жителей Нарвы приедет сюда броситься к ногам императрицы, чтобы просить у нее правосудия. Этот город совершенно приходит в упадок вследствие запрещения продавать их леса и это запрещение было получено Петром Шуваловым с целью поощрить торговлю лесом, которую он сам ведет на Онежском озере. Теперь находится на пятьсот тысяч рублей леса, который гниет на улицах и побережьях Нарвы, помимо того, что купцы не смеют продавать его хотя бы на одно су и весь город, за исключением четырех семейств, приведен в нищету».*

## Десятая глава

### 1

Повалившись в падучей, Елисавета скулою удари-лась о ножку канапе.

«Не к роже белила, не к очам сурьма», — думала в крайней печали государыня, замалевывая кровоподтек.

И то верно! Лицо у нее было мятое и под глазами дря-блые мешки.

«А вот и такую, лучше нонешних девок. Не родится больше красивых баб. Вывод им, как допотопному зве-рю. Это Ванюша говорит. Ему и смотреть-то на молодых тошно».

Но чтобы не быть перед собой сколько-нибудь дурой, кинув зеркало, сказала вслух:

«Это так! Всякая старина свою плешь хвалит».

И на опухших ногах немного походила по комнате.

И опять вернулась в мыслях к Ивану Ивановичу.

«За что ж любит? Он ведь не корыстный. А ну как стану ему досадна? Навыкла я к чувствительностям его. Миленькой француз мой, Иван Иванович, Богом прошу, не покидай».

И опять зло:

«А не ндравлюсь, иди к черту, был бы горшок, а по-крышка найдется!»

И, опаматовавшись, легла на канапе дожидать и тер-пеливо скучать в запас и прислушиваться к поврежде-нию здоровья.

Но терпеливость у дочери Петра была короткая.

«Морды им бить, плутам! Как глядят! Пружины на всех канапях повыпрыгивали».

А канапе было холмиком лебяжьего пуха.

И опять, чтобы не быть перед собой дурой, сказала грустно:

— Старой бабе и на печи ухабы.

И покарябала в голове острым ногтем согнутого указательного пальца, а не всей пятерней, как чесались жены купецкие.

И замерла со скрюченным пальцем на удивление жирной камер-меджен.

— Уф! Экая колика... Дунька жирный черт, салфетков горячих на брюхо! Да скоро! Розгой тебя, жирную, увещать, что ли?

И со смертной тоской в глазах захрипела:

— Медикусы-то, сволочи, лечить не знают. Может, брюхо-то у меня надо шпагою пропырять, чтобы вонючие воздуха вышли. Кобыл-то, боже мой, четвероногих тварей, спасают этим пыряньем. Нужда им, вора, в кобыле. А во мне, верно, нужды нет. Потому и уменя не имеют. Потому и жизнь продолжить не ищут. А меня в яму? К червям? К червям для кушаньев?

И завопила на медикусов:

— Гады! Гады! Гады!

И скатилась, словно мешок тяжелый, на пол и, заливаясь горькими слезами, стала от непомерной злобы рвать большими прядями волосы на голове, ругая Бога и Сына Его, распятого на Голгофе, самыми поносными мужицкими словами.

Волосы у государыни были черные, крашенные, мертвые, как у куклы.

## 2

Степан Федорович Апраксин называл старшую дочь свою, Елену, бывшую замужем за гофмейстером князем Куракиным, — Сабелькой.

Княгиня Елена походила на отца, прекрасного чертами лица. Но генерал-аншеф и кавалер Степан Федорович был тучен, громаден, а княгиня тонка, изгибиста. Дочь была словно вынута из отца. Ну, скажем, как вынимают скрипку из футляра. Это сравнение представляется нам удачным. Генерал именно казался дорогим, любовно выделанным футляром для своей дочери.

Ее бледность не ощущалась болезненной, хотя пользована медикусами молодая женщина бывала часто и ложилась она в постель на день-другой-третий привычно, без всякого удивления и досады. Может быть, блеск глаз, живой и счастливый, исключал мысль о хилости княгини.

Человек, не знающий, что такое болезнь, кажется нам обделенным природой, неполноценным, как теперь говорят, потому что если сама болезнь и доставляет приятности, то выздоровление является ощущением наиболее близким к полному счастью. Его-то и не испытывает человек безнадежно крепкого здоровья.

И мы допускаем, что княгиня была несколько жизнерадостней, чем окружающие, главным образом оттого, что чаще остальных находилась на положении выздоравливающей.

При обширном елисаветинском дворе не было, может быть, одной-единственной чистой семьи. Даже тот, кто, пылко любя собственную жену, не хотел бы спать с чужой женой (и такие чудачки бывают на свете), не решился бы на это, из боязни показаться смешным, а это, как известно, гораздо более страшно, более при дворе губительно, чем, скажем, прослыть клеветником, доносчиком, лгуном или казнокрадом.

Петру Ивановичу Шувалову было не до амуров. Он рассуждал и решал за весь сенат, работал за все коллегии, думал за государыню; он, казалось ему, один без всякой подмоги, двигал Россию к цивилизации, к славе между народов европейских, делая своими руками новую эпоху коммерции и промышленности; однако не спать с чужой женой не решился бы и Шувалов, справедливо боясь «смехов и труненья двора».

— Сменять амура хочу, — сказал сенатор своему другу — тучному изнеженному генералу, — только мне надобен амур незаботный. На мне, Степа, Россия. Мне не досужно склонностям в подробность изъясняться и от рогатых мужей под фижмами хорониться.

Внук стольника и отпрыск Солохмира Мирославича, в XIV веке выезжавшего из Большой Орды к Рязанскому великому князю Олегу Иоганновичу, Апраксин Степан Федорович имел жадность к славе, к деньгам, к чинам, к кавалериям, к почестям, к сатраповскому «упражнению в роскошествах».

В 37-м году он под рукою Миниха не усердно дрался с турками; выгосил быть посланным в Петербург с известием о взятии Хотина; был жалован Анною Леопольдовной поместьями, когда знаменитый фельдмар-

шал схватил в постели герцога Бирона; за следствие над Лестоком был дарен Елисаветою домом лейб-мидикуса на Фонтанке со всеми мебельями, фарфорами и серебром. Первая жена Степана Федоровича, дочь канцлера Головкина — Настасья Гавриловна, принесла за собой немалые богатства, ну и Агриппина Леонтьевна, вторая жена, вошла в дом не с пустыми руками.

Государыня была к генералу расположена; Екатерина «имела поверенность», Петр Федорович, не терпевший жениных людей, говорил с ним сердечно; обер-егермейстер числился в друзьях; новый фаворит также; Бестужев «приятельствовал со старинных времен».

— Сменять амура хочу, друг мой нелицемерной, — сказал Шувалов, — сердце у меня не заселено, Степан Федорович. Такая беда. Будь хоть ты сочувственником.

У сенатора была жирная красная шея, круглые трясущиеся щеки в щедринах и рыжие волосы на толстых пальцах.

У гофмейстерши княгини Куракиной были счастливые глаза, прекрасное белое лицо в чертах правильных, но не холодной правильностью, а с нежностью и женственностью славянской.

А тело тонкое, прямое, фарфоровое, и какой хрупкости!

— Сабелька моя, — говорил тучный генерал, целуя дочь в лоб, как любящий родитель, — Сабелька моя вострая.

И с азиатской хитростью сосводничал ее в амуры своему другу, всесильному сенатору.

— В батюшку пронырством, — сказала сердито Мавра Егоровна, репортованная про Сабельку: «порезался, де, об нее Петр Иванович».

И государыня аттестацию рабы и кузины не обспорила:

— От яблони, Мавра Егоровна, яблочко, от ели шишка.

— И то! — отозвалась с ехидством рогатая супруга. — Генерал Степан Федорович вроде как комедиантская девка от купца Мейера: он для политических ридов и скакать горазд, и коверкаться, а также балансировать и вольтижировать.

В «ПРИБАВЛЕНИЯХ К САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ  
ВЕДОМОСТЯМ»

в пятницу октября 4 дня 1756 года

«О насильном вступлении войск короля прусского, курфюрста Бранденбургского, в земли короля Польского, курфюрста Саксонского и о приближении оных к другим имперским же землям».

В «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕДОМОСТЯХ»

во вторник октября 8 дня

«...вчерасть пришедшая немецкая почта привезла нам в Берлинской газете под № 120 из Берлина ведомость: что его величество король прусский 20-го числа минувшего сентября одержал победу в Богемии при Ливоцице, над армиею ее величества императрицы королевы Венгеро-Богемской. Краткость сей ведомости и молчание об обстоятельствах бывшей баталии, заставляли сомневаться в ее справедливости, а желать ближайшего уведомления».

В «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕДОМОСТЯХ»

в пятницу октября 11 дня

«...чинящиеся здесь приготовления к отправлению многочисленной армии на помощь союзникам ее императорского величества нашей всемилостивейшей государыни с неотменною ревностью продолжают...»

...

«...главный командир сей армии его превосходительство генерал фельдмаршал и кавалер Степан Федорович Апраксин, к отъезду своему в Ригу находится совсем в готовности, куда отправленный наперед его полевой экипаж уже прибыл».

«...указала ее величество формировать новой запасной корпус регулярного войска до 30 тысяч человек и сие весьма важное и великое дело вверить и поручить в полную диспозицию и управление его сиятельства генерала фельдцейгместера и кавалера графа Петра Ивановича Шувалова».

\* \* \*

По этому поводу Екатерина написала сэру Чарльзу: «Люди только рассуждают и различно говорят, но все называют его вторым Годуновым».

\* \* \*

#### В «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕДОМОСТЯХ»

во вторник октября 15 дня

«...печатным ее императорским величеством указом повелено для умножения армии собрать вновь рекрутов со всего государства с положенных по новой ревизии в подушной оклад (кроме однодворцев и прочих старых служб служилых людей и ямщиков, також и оренбургских тептерей и бобылей — и приписных к Нерчинским и Кольвановоскресеновским заводам мастеровых людей)».

«...оных рекрутов збирать начать с получения указов и не продолжая нималого времени, крепких и здоровых от двадцати до тридцати пяти лет, ростом (ежели кто больше не поставит) в два аршина четыре вершка...».

#### 4

Сохранилась замечательная тетрадь, перевязанная темно-зеленой лентой, концы которой были прикреплены к картонному переплету сургучной печатью от перстня.

Нам кажется, что не столь уж часто удается видеть более поразительное свидетельство против человека, заключенного в небольшой круг, который обычно называли — высшим, забывая при этом добавлять: по подлости.

«Ах, милостивый государь, как ваше письмо верно разворачивает красоту вашей души» — так восклицала Екатерина в письме к сэру Чарльзу Уильямсу.

Их-то переписку, порой не лишённую блеска, но гораздо чаще — грязную, сплошь и рядом отличающуюся остроумием и никогда глубиной мысли, богатую похотливыми желаниями и нищую сердцем, — сохранила нам тетрадь, перевязанная темно-зеленой лентой.

Не правда ли, это очень любопытно, когда тщеславие и похоть говорят вероломству и лицемерию:

*«Я поставлю вам памятники и велю возвестить по всему миру, что я ценю добродетель, это послужит мне славой».*

\* \* \*

За сравнительно небольшие английские деньги Екатерина чрезвычайно быстро превратилась из красноречивого врага Фридриха II в его неумеренную поклонницу.

*«Я читаю, — спешит она уведомить сэра Чарльза, — сочинения прусского короля с таким же усердием, как произведения Вольтера. Вы подумаете, что я стараюсь ухаживать за вами, если скажу вам сегодня, что я глубокий почитатель его прусского величества».*

Но у Фридриха в Петербурге имелись, как нам известно, и недоброжелатели.

Екатерина утешала сэра Чарльза: *«Было бы легко, я полагаю, уничтожить предрассудки против Пруссии со стороны вице-канцлера, особенно имея, что вынуть из кармана», да, да: «лапы должны быть хорошо смазаны».*

Какая великолепная сентенция в устах будущей императрицы!

Во всяком случае об ее «лапах» Англия побеспокоилась.

*«Сделайте, чтоб мне дали вперед, — клянчила Екатерина у сэра Чарльза, — такую сумму, какую я получила; если это возможно, чтоб это было еще более втайне, чем в первый раз».*

И в том же письме:

*«Вы будете звеном, которое скрепит естественную дружбу, которая должна существовать между нашими обеими родинами; а какое звено более крепкое, как то, что основано на уважении и на доверии самом заслуженном!»*

Боже мой, сколько тут злой иронии, о которой, к сожалению, даже не подозревала высокая особа.

Однако все эти «суммы» короля Великобритании и его союзника Фридриха II полетели бы в трубу, если б



российская императрица «не оказалась настолько добра, чтобы умереть», — как выразился сэр Чарльз.

Эта смерть волнует Екатерину, даже несколько более, чем ее английского друга.

*«Императрица не вышла вчера, так как она только с трудом может вытянуться вследствие болей в теле, — спешит порадовать великая княгиня сэра Чарльза. — Она, тем не менее, волочитя к столу, чтобы могли сказать, что видели ее, но, в действительности, ей, должно быть, очень плохо».*

А через две недели новая радость: «Вчера среди дня случились у императрицы три головокружения или обморока. Она боится, очень пугается, плачет, расстраивается и, когда спрашивают у нее, отчего, она отвечает, что страшится потерять зрение. Бывают моменты, когда она забывается и не узнает тех, которые окружают ее. Говорят, однако, что она хорошо провела ночь», — неприятно огорчается примерная племянница; но тут же находит утешение: «Мой хирург, человек опытный и разумный, высказывается за апоплексический удар, который сразит ее безошибочно. У меня имеются три лица, которые не выходят из ее комнаты и которые не знают, каждое в отдельности, что они меня предупреждают, и не преминут в решительный момент сделать это».

## 5

— Значит, фельдмаршал, тридцатого к армии едете? В таком случае, желаю вам против прусского короля успехов.

Сказав это, Петр Федорович запрыгал в кресле от приступов истошного смеха.

Заржали так же, выплевывая клубы рыжего табачного дыма, и голштинские офицеры в синих узких кафтанам с опущенными фалдами.

Улыбнулся и Апраксин.

Петр Федорович круто обернулся к своим голштинцам:

— Знаете, господа, что фельдмаршал идет на первого полководца нашего века, как на медведя — с рогатками. Верно ли я говорю, Степан Федорович?

— Да, это верно, часть конницы неприятельской, в село подтвердил главный ко

Осчастливленный таким ла заплескал в ладоши:

— Bravo! Bravo! Bravo!

Голштинцы последовали

Тучный фельдмаршал, с нявшись со стульца, шуточн

А тот задвигал ушами п музыки, доносившейся из за

— Меня радует, фельд уныния перед походом.

И, перекинув через руч ногу в ботфорте, Петр Федо мигнул мутным желтым гла над глиняными трубками.

То, что фельдмаршал не исходит от той причины, что Берлин не только прекрасну гатками, но еще и кавалерик

Апраксин подумал: «Струисто говорит».

В комнату вошла Елисавета Воронцова, толстая, дурная собой.

— Романовна, — нежно отнесся к ней Петр Федорович, — драгоценный конфект мой, почему вы принудили нас столько чувствительно скучать?

— Всякое мгновенье без вас, сударыня, есть мгновение потерянное, — добавил, подольщаясь, Апраксин.

Мысли его так располагались: «В самой скорости, конечно, станет эта дурная свинья не иначе как Шуваловым Иван Ивановичем в юбке».

— Будьте в пути счастливы, фельдмаршал, — пожелала Воронцова, глядя тусклыми заплавленными глазами в бокал. — А то, что вы на эту дурацкую войну едете, все это нам с его высочеством никакого удовольствия не доставляет; лучше б вам, сударь, и армии российской на винтер-квартирах остаться, — заключила она.

«Не хитра, — сказал себе Апраксин, — что в уме, то и на языке».

## 6

А вечером того же дня фельдмаршал «имел частную аудиенцию у императрицы для принятия последних ее повелений».

— Что я тебе, Степан Федорович, могу сказать?

Апраксин не слушал, а внимал.

— Будь я, сударь, в здравье лучше, сама повела б святое воинство свое, российскую армию на прусского этого Шах-Надира, на изверга и злодея Европы.

И усталым глазом, не заживавшимся даже от ругательств, Елисавета поглядела в черное окно: лил дождь в толстую вожжу.

— А что у тебя, Степан Федорович, как жалуешься, географических карт нет, Литвы там или Пруссии, так и Александр Македонский, небось, без географии воевал, но какое множество народов перебил; также и Юлиус Цезарь.

И улыбнулась:

— Да и я, стало, сколько Россией правила, матерью отечества называема, а до какой поры думала, что в Лондон можно по сухому пути в карете скакать. Выходит, верно, что и без географий ладится дело, коли есть на плечах голова, а в голове есть ум.

И трудно поднялась с канапе.

Тучный Апраксин, имеющий неожиданную ловкость при вскакиваниях со стульца, так располагал свои мысли: «Ноги-то у нее будто у слоники, отечны, и глаз скучный; самые сумерки дней; не жить ей долго, пресекается».

— Воюй, Степан Федорович, против изверга усердно. Ищи баталий, по Фредерикову правилу, всегда вступаю в поле прежде неприятеля, чтобы сюрпризу ему делать. И лагерь так располагай: сколько можно ближе к пруссакам, чтобы он был, лагерь твой, наступательным, а не, боже упаси, оборонительным. Этого и в завете не держи. И у врага, Степан Федорович, не постыдно учиться, коли он с умом. Так и родитель мой поступал. Свои намерения держи в скрытности, от всего света хорони, а неприятельские раскрывай; не будет нам с вами, фельдмаршал, конфузии перед всей Европой.

И пошутила:

— Дай Бог нашему теляти волка поймати.

А фельдмаршал, глядя на белое в провалинах лицо государыни, на дряблые веки ее, на синие, как у трупа, ногти, думал одно: «Нет, не здешняя она житель; скоро ей в деревянную шубу влазить; может, и до Риги-то я не доеду, как отдаст дух; пресекается».

## 7

И Апраксин решил не увильнуть от секретного свиданья с великой княгиней.

— Ваше высочество, поверьте, это не лесть, вы хорошеете с каждым днем! — и тучный фельдмаршал сделал поэтическое сравнение: — Вы, как яблонь в цвету.

На Екатерине была из фиолетового бархата просторная распашная курточка, называемая карако. Полная розовая шея, обещающая второй, а может быть, и тре-

тий подбородок, глядела из довольно глубокого выреза. Серебряные и золотые ленты образовали большой, по моде, бант на груди, высокой благодаря искусству, но не природы.

Апраксин, поглядывая на колыхающийся бант, думал: «В самой скорости свиных жиров на ней будет, как на дурной Воронцовой».

Подобно всем толстякам, он имел склонность к людям иного сложения.

Екатерина ответила так:

— У какого-то древнего автора замечено, что Цицерон до конца жизни дрожал от восторга перед похвалами. Грешно ли, сударь, после того мне, слабой женщине, слушающей комплимент, покрываться румянцем удовольствия?

Человеку много читавшему и обширных знаний обычно не так соблазнительно говорить фразами из книг, как невежде кой-чему нахватавшемуся.

Впрочем, при дворе, половина которого, по уверению мемуариста, вряд ли умела читать и только треть — писать, Екатерина, отведавшая от Вольтера, Тацита, Монтескье и Плутарха, представлялась кладезем образованности.

Апраксину стало грустно; а потом родилась злобность, почему и он не может чего-нибудь наврать про римлян или греков.

Екатерина сказала:

— Есть слух, фельдмаршал, что для вас у государыни заготовлен прекрасный сервиз.

— Слыхнулось и мне, что подарен буду серебряным сервизом, — отвечал Апраксин, — весьма, сказывали, прекрасен: восемнадцати пудов весом.

Екатерина подосадовала: «Неумный задала вопрос».

Она бы тоже предпочла одаривать своих друзей, а врагов еще в большей мере, не одними улыбками.

И сказала себе в сотый раз: «Вся ихняя русская нация такая; государь хорош, если серебряные сервизы дарит, а сервиз хорош, если весит восемнадцать пудов; вот какой это умный народ».

Он же, потирая мякишем большого пальца ногти свои розовые и холеные и косясь прозрачным глазом на

улыбающуюся жеманно собеседницу, думал: «Вот так лоб! Наградил же Господь немку! Да, вовсе не бабий лоб, а как у попа лысого: небось, сидят в нем, во лбу этом, государственные прожекты? Уж, верно, сидят».

Потом мысль от Екатерины прыгнула к Елисавете: «И! И! Как плоха государыня».

И будто деревянным молоточком застучало сердце:

«Чую, что и до Риги мне не доехать, как пресекется; ноги-то у нее совсем были синие».

И фельдмаршал стал, не таясь особо, но и не в полную откровенность, отвечать Екатерине на вопросы, относящиеся к кампании.

## 8

### НЕСКОЛЬКО ДОКУМЕНТОВ

#### № 1

#### ЕКАТЕРИНА — СЭРУ УЛЬЯМСУ

*«Я щупала и перещупала вчера Апраксина разными способами; он мне сказал, что его инструкции уже восемь дней как были у императрицы и не были подписаны, что он ждал их и денег на путешествие, чтоб уехать. Я спросила его: "Напagate ли вы на Мемель?" "Нет, — сказал он, — что нам делать с этой лачугой. Она будет нашей, когда мы захотим этого и одержим более полезные победы; болото, которое защищает он, не стоит того, чтобы в нем засесть"».*

*— Вы возьмете тогда через Польшу? — сказала я.*

*— Да, — был его ответ, — если случай того потребует».*

#### № 2

*«Посылаю вам самые верные известия, которые только удалось мне получить относительно планов, касающихся русской армии. Они были сообщены мне здешним лучшим моим другом великой княгиней. Она имела весьма продолжительный разговор с фельдмаршалом*

*Апраксиным, в ночь накануне его отъезда в Ригу, и то, что я пишу вам теперь, есть только точный список того письма, которым ее высочество почтило меня на другой же день. Фельдмаршал Апраксин сильно жаловался императрице, что его отправляют начальствовать над армией, лишенной кавалерии и офицеров. На это великая княгиня спросила его, зачем же он принял на себя такое командование; Апраксин отвечал, что он должен был подчиниться повелению императрицы. Затем великая княгиня спросила его, что он предполагает делать и думает ли он идти прямо на Мемель. Он отвечал: что же толку в такой крепостишке, как Мемель? что вовсе не имеется в виду атаковать его прусское величество, но решено идти прямо через Польшу в Силезию. Она возразила, что, быть может, король прусский атакует вас во время вашего марша. Он отвечал, что в таком случае я сделаю все, что будет возможно для своей защиты; но у меня нет намерения атаковать Пруссию. Весь этот разговор я считаю достоверным, потому что Апраксин всегда угрожает моему другу великой княгине и считается чрезвычайно преданным ее интересам. Я все еще надеюсь добыть инструкцию, данную Апраксину; мне обещали уже два раза, но эти обещания еще не исполнены».*

Со своей депешей английский посланник не очень торопился, он только 18 декабря отправил ее в Лондон. Разумеется, подлинную инструкцию было бы переслать эффективней. Вот и ждал, пока не разуверился в обещаниях.

### № 3

Полученные шпионские сведения Лондон немедленно переправил в Берлин к своему союзнику.

*«Я узнал из верного источника, — писал после того Фридрих фельдмаршалу Левальду, — что Апраксину повелено, не атакуя ни Мемель, ни Восточную Пруссию, идти через Польшу в Силезию. Полагаю, поэтому, что, если так, то вы оставите в Восточной Пруссии только гарнизонные батальоны Люкского полка и земский батальон, а со всеми остальными войсками двинетесь в тыл русских войск Апраксина и будете следовать за ними до*

*Силезии, что, конечно, крайне затруднит Апраксина и будет держать его в постоянном страхе».*

#### № 4

Не менее достойна внимания депеша сэра Миткеля, английского посла при Берлинском дворе:

*«Прусский король полагает, — извещал он своего друга сэра Уильямса, — что Апраксину можно предложить известную сумму денег, лишь бы он задержал движение русских войск, повод чему всегда легко найдется у главнокомандующего. Следовало бы при этом случае воспользоваться великой княгиней, если она согласится взять на себя это».*

## Одиннадцатая глава

### 1

Старый клен в зеленых лапах своих держал луну, похожую на огромное яблоко антоновку.

Илистая неширокая речка, казалось, была кинута, как мушкетерская шпага, в высокие откормленные травы заливного луга.

Да! Да! Словно какой-то большой воин вытащил ее из яловой кожи ножен с медным наконечником и, не желая рубить людей, бросил в высокие травы.

Мушкетерам Апшеронского полку — Хрипунову Ивану, Васяткину Василию и Петуху — тихая теплая прусская ночь чудилась ночью своей, российской, тверской.

— Так этак, братцы мои, с самой измладости, — сказал Петух, глядя в неяркие звезды, — я к жизни нашей милой голублюсь, а она от меня тетерится.

У Петуха был добрый и изляпанный веснушками нос-репка и глаза словно из животного мира — кошачьи, что ли.

— И откуда, Петух, к тебе всякие слова приходят? — недоумевал мушкетер Васяткин. — Из песен ты их помнишь или от попов?



Когда б мушкетеру Васяткину — черные косы и цветистую кофту с юбкой, исщипали б его, измяли парни. Ласковой, горячей, черниговской красотой надела ашшеронца скудная тверская природа.

— Неспокойный ты, Петух.

— Это так — согласился мушкетер.

И запел, озирая звезды:

Во селе, селе Покровском  
Середь улицы большой...

И оборвал:

— Братцы, а братцы, и чего это жизнь наша не игра-ние, значит, музыки? Нету мне уйму на такую жизнь.

Васяткин сидел в полной неподвижности у костра или, как говорили мушкетеры, у огнища и, подперев круглый подбородок кулаками, любовно глазел на картошку, варящуюся в котле.

У Петуха чесался язык:

— Такое, я, братцы, имею понятие...

Хрипунов Иван, широкий в плечах, большерукий, поросший жестким мхом, словно пень древний, нескладно выбирал вшей из красных своих мушкетерских штанов.

Высокие травы пахли чудесно.

— Жизнь, братцы, это как сукно, — философствовал Петух, — приложи ты к нему старание, и будет оно самое тонкое и наилучшее, а приложи дурость и снимешь со станов самое грубое и шишковатое.

Петух сердито пнул ногой в зеленый кафтан с медными пуговицами.

— Вот, стало, этакую негодь, в какую армия мундирована.

И глаза у Петуха, распалившись, стали как две большие веснушки.

Хрипунов бросил вшу в костер.

Шипел котелок с картошкой, вырытой из огорода, кинутого земледельцем.

Петух испил из водоносной фляжки:

— Этак, братцы.

— Не уварилась еще, — сказал мушкетер-красавица, не отрывая карих глаз от картошки.

— Почему знаешь без пробы? Ты, Вася, сучочком ее продырь.

— Не годится, Петух, сучочком ее дырить, — возразил тот строго, — никак не годится.

И добавил, поясняя:

— Она картофел!

Слово было новое.

— Экое горе!

— Ты про что, Вася?

— Да про картофелы. Обидно жить, Петух, в свете.

— Чего ж обидно?

— А то, Петух, что все народы земные, может, тыщу или пять тыщ лет без нашего соучастия картофелы ели.

— Это так.

Из-за косогора вырвался ветерок, и старый клен будто закачал в зеленых мохнатых лапах яблоко-луну.

От картошки, «по необыкновенности сей пищи», как говорил современник, у воинов начались жестокие поносы, и армия российская «за узнание сего плода» расплатилась несколькими стами человек умерших.

— И выходит, стало, с картофелой чистой смех и горе, — страдал мушкетер-красавица, — все народы, стало, пять тыщ лет его кушали, а мы, как великие дурни, и понятия не имели. Вот ведь беда какая!

— Чистой смех и горе, — повторил Петух, отмахивая едкий дымок огнища шерстяной своей черной шляпой.

Узкая речка закудрявилась.

Травы ожили.

— И мне вот трудно из головы вынуть, почему нету хотения сделать жизнь нашу игранием музыки.

Мечтатели и поэты не переводились и не переведутся в этом мире.

— Чтоб тебя, черта, в черепья! — озлился мушкетер Хрипунов, нескладный, большерукий, обросший, как древний пень, жестким мхом. — Играние музыки! Ишь чего восхотел! Господина Татищева на тебе, черте, не было. У, черт рыжий!

— Уварилась, — со счастливой улыбкой на пухлых губах сказал мушкетер-красавица. — Слышь, братцы, картофелы уварились.

— Ладно, — отозвался Петух.

А Хрипунов, вобрав голову в большие плечи, завел свое говоренное и переговоренное:

— Барщина у нас четыре дни, а когда в убор хлебов на дворе погоже, господин Татищев говорит беспрестанно на ево работать, а когда ево хлебы повалишь, да когда соберешь, да когда сено покосишь, да в стоги сметешь, гляди свое и сгнило, а колос осыпался, а ему что — неси пятину, всякой от себя, значит, пятый сноп, и хмеля также, и конопля, и капуста, и всего, яиц, сукна сермяжного и петухов каплунь, и с тягла четыре подводы, чтоб в город ему за толикие сотни верст, к столам ево, везти в скорбях наших.

И бросил вшу в костер.

— Да, вот. А ты вот. У, черт рыжий!

В сущности, обычный житейский разговор наш, если прислушаться к нему, из того и состоит, что в продолжение десятков лет повторяем мы и переповторяем немногие, очень немногие, слова, фразы и мысли.

— Это истинно, братцы, — сказал Петух, — помещик вам, что медведь на имянинах: зверю пирог, а имениннику коготок.

И заключил:

— Камень вот в земле полежал, да не вырос, а нас, дурней, батожьем учили, да не поумнели.

Красавица Васяткин о чем-то сам с собою в мыслях толкуя (верно, о картошке), задумчиво покачивал головой над дымящимся котелком.

Звезды были, как нечищенные медные пуговицы на кафтанах, камзолах и штанах мушкетерских.

Петух шомполом от фузел задористо сбил васильку синий венчик.

Во селе, селе Покровском  
Середь улицы большой  
Расплясались, расскакались  
Красны девки меж собой...

Голос он имел высокий, дерзкий.

Мохнатые лапы клена, будто играя, подкинули луну-яблоко; а оно, как зачарованное, остановилось и замерло в полете.

Из леса, стоящего косяком по ту сторону илистой речки, вылетели птицы.

Качались травы, пахнувшие Россией.

Петух, озирая неяркие звезды, думал о жизни, к которой он голубился.

Хрипунов, отложив с бережливостью штаны, принялся неловко выбирать вшей из зеленого, с красными обшлагами, кафтана.

Пухлогубый, сияя счастливыми глазами, жевал картошку.

Вдруг щелкнули выстрелы из мелкого ружья.

— Братцы, — почесал Петух за ухом, — никак прусаки.

Хрипунов стал нескладно натягивать красные штаны.

— Может, это кто из жителей ихних пуляет? — гадал Васяткин. — У которых дома пограбили и картофелы порыли.

И нежные щеки его от страха зарозовели.

— Из леса пуляют.

Петух, заломив черную с бантом шляпу, запел:

Во селе, селе Покровском  
Середь улицы большой...

— Бесстрашный ты, — сказал тихо Васяткин и перекрестился.

— Эти пули, Вася, не про нас.

Речка кудрявилась.

Хрипунов нескладно собирал мундирование и вооружение: шляпу, кафтан, камзол, фузею со штыком, патронную суму, флягу, ранец, шпагу с черным грифом, перевитым медной проволокой.

— Экий ты, мешкотный, — еще тише сказал Васяткин, а потом умоляюще: — Братцы, братцы, побежим, что ли?

— Эти пули, Вася, не про нас, — повторил Петух.

И глаза его, похожие на две большие веснушки, словно радовались тому, что по ним стреляли.

Казалось, чья-то большая ласковая и невидимая рука гладила высокие травы.

И еще щелкнули выстрелы: такие ненастоящие, такие нестрашные.

— Во селе, селе Покровском, — запел было Петух.

И оборвал.

— Вася!.. Друг ты мой истинный...

— О-ох! — будто вздохнули пухлые, горячие от картошки губы.

И, опрокинув котелок, мушкетер Апшеронского полку Васяткин Василий повалился головой в костер.

Картошка рассыпалась,

Петух сказал будто с укоризной:

— Эх ты, Васятка!

И хотел побежать, но зацепился ногой за перевязь патронной сумы.

Выругался.

— Прах тебя побери.

И стал высвобождать ногу.

В ту минуту злая прусская пуля и выхлестнула ему глаз.

## 2

Начнем с конца Баталии Егерсдорфской:

*«...погибель наша, властно, как на волоску, уже висела, — писал поручик Архангельского полку Андрей Болотов к любезному и воображаемому приятелю. — Пруссаки смяли уже весь наш фронт совершенно, и в некоторых местах ворвались уже и в самые обозы. Тут сделалось тогда науужаснейшее смятение и белиберга. Все кричали: "Прочь! прочь! Назад, назад обозы!" Но что некуда им было деваться, того никто не помнил. С одной стороны крутейший буерак, а с другой стороны — река заграждала путь во все стороны. Самой армии Бог знает куда бы ретироваться можно было, а чтоб обозы конечно все пропали, в том и сомнения нет. Одним словом, победа неприятелями получена была уже наполовину, и если б еще хотя мало-мало, то бы разбиты были мы со всем, к стыду неизреченному.*

*Теперь, надеюсь, нетерпеливо хотите вы выведать, каким же чудным образом мы не только спаслись, но и*

победу одержали? Сего, ежели прямо рассудить, мы уже сами почти не знали, сам Бог хотел нас спасти. Все состояло в том, что стоящие за лесом наши полки, наскучивши стоять без дела, в то время, когда собратия и товарищи их погибали и услышав о предстоящей им скорой опасности, вздумали пойти или может быть посланы были, продираться кое-как сквозь лес и выручать своих единоплеменников. Правда, проход их был весьма труден: густота леса так была велика, что с нуждою и одному человеку програться было можно. Однако ничто не могло остановить ревности их и усердия. Два полка, третий гренадерский и новгородский, бросив свои пушки, бросив и ящики патронные, увидев, что они им только остановку делают, а провезть их не можно, бросились огни, и сквозь густейший лес, на голос погибающих и вопиющих. И, по счастью, удалось им вытиснуть в самому нужнейшее место, а именно в то, где нарвский и второй гвардейский полки совсем уже почти разбиты были и где опасность была больше, нежели в других местах. Приход их был самый благовременный. Помянутые разбитые полки дрались уже рука на руку, поодиночке, и не поддавались неприятелю до пролития самой последней капли крови. Нельзя быть славней той храбрости, какую оказывали тогда воины, составляющие раздробленные остатки помянутых полков несчастных. Иной, лишившись руки, держал еще меч в другой и оборонялся от наступающих и рубящих его неприятелей. Другой почти без ноги, весь изранен и весь в крови, прислонясь к дереву, отмахивался еще от врагов, погубить его старающихся. Третий как лев рычал посреди толпы неприятелей, его окруживших и мечом очищал себе дорогу, не хотя просить пощады и милости, несмотря, что кровь текла у него ручьями по лицу. Четвертый отнимал оружие у тех, которые его, обезоружив, в неволю тащили, и собственным их оружием их умертвить старался. Пятый, забыв, что был один, метался со штыком в толпу неприятелей и всех их переколоть помышлял. Шестой, не имея пороха и пуль, срывал сумы с мертвых своих недругов и искал у них несчастного свинцу и их же пулями по их стрелять помышлял. Одним словом, тут оказываемо было все, что

только можно было требовать от храбрых и неустрашимых воинов.

В самую сию последнюю крайность и показались им в лесу помянутые два полка, им на помощь спешающие. Нельзя изобразить той радости, с какою смотрели сражающиеся на сию помощь, к ним идущую, и с каким восхищением вопияли они к ним, спешать их побуждая. Тогда переменилось тут все прежде бывшее. Свежие сии полки не стали долго медлить, но давши залп, и подняв военный вопль, бросились прямо на штыки против неприятелей, и сие решило нашу судьбу и произвело желаемую перемену. Неприятели дрогнули, погались несколько назад, хотели построиться получше, но некогда уже было. Наши сели им на шею и не давали им времени ни минуты. Тогда прежняя прусская храбрость обратилась в трусость, и в сем месте, не долго медля, обратились они назад и стали искать спасения в ретираже. Сие устрашило прочие войска, а ободрило наши. Они начали уже повсюду мало-помалу колебаться, а у нас начался огонь сильнее прежнего. Одним словом, не прошло четверти часа, как пруссаки во всех местах сперва было порядочно ретироваться начали, но потом, как скоты, без всякого порядка и строя побежали...

Сим образом кончилась славная наша апраксинская и первая баталия с пруссаками. Небу угодно было даровать нам над неприятелем нашим совершенную победу, и мы не могли довольно возблагодарить оное за то, а особливо узнав, в какой опасности находилась вся армия и сколь малого недоставало к тому, чтоб ей совершенно разбитой, и нам вечно тем стыдом покрытым быть, что одна почти горсть пруссаков в состоянии была разбить столь многочисленную армию, какова была наша. И поглинно ежели рассудить, то победа сия одержана была не искусством наших полководцев, которых и в помине не было, а паче отменною храбростью наших войск, или науболее по особливому устройению судеб, расположивших все обстоятельства так, чтоб самая храбрость наших воинов была уже принужденною и они поневоле присуждены были дратья до последней капли крови, когда им ни бежать, ни ретироваться было некуда. Но как бы то ни было, но мы победили и победу одержали совершенную».

Отступление пруссаков было настолько поспешно и преследование их русскими настолько слабо, что связь между двумя армиями была потеряна через несколько часов.

Полками, продравшимися через лес и принесшими «викторию», командовал молодой Румянцев.

Стоит заметить, что пять полков авангарда — Апшеронский, Бутырский, Белозерский, Архангелогородский и Псковский, занимавшие крайне выгодное фланговое положение по отношению к пруссакам, бездействовали во все время боя.

Такова была распорядительность фельдмаршала.

### 3

8 сентября в день рождения Богородицы в Царско-сельской церкви была непереносная теснота. Двор прел.

Императрица то и дело, через платье, отдирала мокрую рубашку от живота.

«Голыми б сюда приходите, как в баню или, как в рай, что ли», — подумала Елисавета.

Неподалеку молился пузатый князь Никита Юрьевич Трубецкой. Елисавета вообразила его без исподних. Стало противно. А когда себя перед целым двором вообразила без рубахи и, почему-то, в кавалерской екатерининской ленте и при синем кресте с распятым апостолом из финифта, как увидела эту «насмехательную картину» — дух зяняло от крайнего гнева и кровавые пятна поплыли перед глазами, окрашивая в красный цвет и попа, и дяконов, и толстые свечи, и лики, и курящийся фимиам.

Огрызнувшись на статс-дам, «чтоб не пялили глаз в стороны, и чтоб ревнительней лбы крестили, и чтоб, Боже ты мой, отлепились, дуры, от нее», — Елисавета пошла из церкви.

Падали косые лучи теплого сентябрьского солнца; падали легкие листья с высоких деревьев; падали, словно с облаков, маленькие веселые птахи.



Дворец слепил глаза: золотые вазы, золотые кариа-  
тиды, золотые статуи на крышах.

«Не достает только футляра на эту драгоценность» —  
так сказал французский посланник.

Елисавета, умедля шаг и глядя в неотдаленные пе-  
ристые облака, так же как и ее екатерининская лента  
обведенные золотой каймой, принялась глотать, жадно  
и беспокойно, сентябрьскую благодать: «ох, круто мне  
посолило».

Несколько молодых женщин в ярких широких юбках  
и бородатые мужчины в просторных кафтанах купецко-  
го сословия, остановились глазеть на императрицу.

Девочка лет четырех с круглыми, как пуговицы, гла-  
зами спросила:

— Мама, чья эта тетя-генерал?

Мать, вместо ответа, больно рванула девочку за ухо.

В эту минуту Елисавета почувствовала, как знакомый  
ветерок поднимается по ее телу — снизу вверх.

Девочка решила, что тетя-генерал ради праздника  
выпила лишку.

Когда ветерок, пройдя сердце, хлынул в голову, им-  
ператрица с коротким криком, тяжело, как шкаф, пова-  
лилась.

С желтых деревьев, пронизанных нежными сен-  
тябрьскими лучами, брызнули маленькие веселые птицы.

Залаяла собачонка, похожая на Никиту Юрьевича  
Трубецкого, — такая же пузатая и криволапая.

Девочка с глазами как пуговицы, показав на затылок,  
лаконически сказала:

— Пьяная тетя убила лоб.

Стал сбегаться простой народ.

Двор прел в церкви.

Сначала императрица лежала мертвой глыбой,  
страшно закатив широко растворенные глаза.

На круглое лицо ее упал желтый лист с пронизанного  
солнцем дерева.

Из-под задравшихся юбок бесстыдно глядела ляжка,  
белая и жирная.

Толпа, образовав тесный круг, глазела.

Эпилептичка сначала медленно, потом все быстрее и быстрее стала сгибать и разгибать руки и ноги.

Начались конвульсии.

Щеки и шея запрыгавшей головы побагровели; изо рта полилась кровавая пена; голубые глазные яблоки вочалялись в орбитах.

Гримасы лица, круглого как тарелка, были страшны.

Девочка заплакала.

Важная собачонка поджала хвост.

Изо рта, пузырящегося кровавой пеной, вывалился синий язык.

Девочка сказала:

— Мама, пойдем домой.

Только в таком глупом возрасте, испугавшись высунутого синего языка, люди иногда отворачиваются от мрачной картины человеческого страдания. Разве есть зрелище более захватывающее?

Толпа, разломав круг, попятилась: из церкви хлынул двор.

Хирург Фусадье тут же на траве, посреди народа, отворил императрице кровь.

Из дворца принесли канане и ширмы.

Шуваловы подняли тяжелое дергающееся тело.

Из толстого прикушенного языка хлынула черная кровь на палевый кафтан Ивана Ивановича.

Княгиня Куракина, перемазывая прекрасные руки свои липкими кровавыми слюнями, давала нюхать государыне разные спирты.

Алексей Разумовский глотал слезы.

Можно подумать, что верность, благодарность и сердечность, т. е. чувства в какой-то мере оправдывающие человеческое существование, свойственны по преимуществу глупцам.

— Унесем государыню, Иван Иванович. Не ладно тут ей страдать посреди всей подлости, — сказал обер-егермейстер рыдая.

Часа через три к эпилептичке вернулось сознание. Но говорить она из-за перекушенного языка дней восемь никак не могла, но только страшно мычала.

Княгиня Куракина со всею подробностью, отписав родителю в армию печальное царскоесельское приключение, такую сделала «поскрыпту».

*«Все имеют крайнее беспокойство и неуверенность в здорovie государыни. Дай, Господь, чтобы скольконибудь недель продолжила. Его высочество великий князь посылает Вам свою память. Он нынче в изрядных политических авантажах».*

#### 4

— Сначала дело, — сказала Екатерина. — Давайте же, сударь, ваш толстый пакет.

— Сначала любовь, — сказал вкрадчиво Понятовский.

— Это ужасно! Вы, сударь, понятия не имеете, что такое терпение.

— Боже мой, какое несчастье! Вы, кажется, не знаете, сударыня, что такое любовь.

Екатерине пришлось уступить, несмотря на то, что пакет, принесенный Понятовским, заключал в себе бес-тужевский «проект» о престолонаследии.

Впрочем, стоило ли торговаться из-за нескольких минут?

— Ты знаешь, Катя, какой был спор у Юноны с Юпитером? — спросил Понятовский, щури счастливые близорукие глаза.

Ну да, конечно! Юнона и Юпитер в эту минуту больше всего в жизни интересовали Екатерину.

— Юпитер утверждал, Катя, что сладострастие приятней для женщины, а Юнона с этим не соглашалась, думая, что мужчина получает больше наслаждения.

— Ну, и как же они разрешили вопрос?

Нетерпеливость в тоне показалась Понятовскому вполне уместной.

— Им, Катя, пришлось обратиться к мудрому Терезию, который, как известно, семь осеней был женщиной и потому знал цену обоим любовным наслаждениям.

— Ну?

Понятовский небрежно обнял длинную негибкую талию:

— Я должен огорчить тебя, Катя, мудрый Терезий высказался в пользу мужчин.

— Вот как!

И Екатерина, по-мужски, указательным пальцем разорвала измятый пакет.

Бестужев в «прожекте» своем предлагал, чтобы, по смерти Елисаветы, Петр Федорович был отрешен от наследия, а императором объявлен маленький Павел при регентше Екатерине.

Апраксинской армии, отходящей после победы к российским границам, надлежало спустить канцлеров «прожект» с облаков на землю.

Екатерина читала медленно, будто по слогам.

Потела от удовольствия.

Листы были белые, толстые и большие.

Буквы выведены не наспех.

Фразы, как медь.

— Тут не всякое слово самое нужное, — сказала Екатерина, — да и о нравственности моего мужа не так сильно сказано, как следует.

— Твой муж природою бесстыдный шут. Ему, Катя, к лицу не корона, но колпак с бубенцом.

— Однако он может стать императором, если не действовать решительно.

В «прожекте» Бестужев не забыл и себя: его устраивало президентство в трех коллегиях: иностранной, военной и адмиралтейской и чин подполковника четырех гвардейских полков.

Понятовский сказал, улыбаясь:

— Нашего друга Алексея Петровича меньше всего можно сравнить со спартанцем Пэдоретом.

— Я что-то не помню про него.

— Когда этого человека не выбрали в число трехсот лучших, составляющих царское окружение, он шел к дому с сияющим лицом, радуясь, что в отечестве нашлось триста граждан лучше его.

Понятовский был остроумен в разговоре блеском чужого ума и литературной фразы.

— Да, я тоже думаю, что Алексей Петрович не Пэдорет, — согласилась Екатерина, — во всяком случае, мой друг, поблагодари канцлера за его добрые намерения относительно меня.

И, достав из столика золотую табакерку со своим портретом, добавила:

— Алексей Петрович знает, что я бедна. Скажи ему, мой друг, что за мной, Бог видит, не пропадет золотой сервиз. Величие и богатства вельмож составляют славу их государей. Такие у меня мысли. Передай и это, мой друг.

## 5

28 сентября в армии состоялся военный совет. Первоначальная мысль о наступлении на Либаву была решительно оставлена.

*«Суровость времени и недостаток в здешней земле провианта и фуража, равно как изнуренная совсем кавалерия и изнемогшая пехота суть важнейшими причинами, кои меня побудили, для соблюдения вверенной мне армии принять резолюцию через реку Неман перенестись и к своим границам приближаться»,* — доносил в Петербург фельдмаршал Апраксин. И победоносная российская армия, заколачивая пушки, бросая, затопляя и сжигая припасы амуниции, пороха, бомб, патронов, ружья и прочего, побежала в отечество свое от разбитых при Грос-Егерсдорфе пруссаков.

Много позже, неловко оправдываясь перед историей, императрица Екатерина II писала: *«Старались распушить слухи, будто он пошел назад вместо того, чтобы идти вперед, потому что желал сделать угодное великому князю и мне».*

## 6

### ИЗ ПРОТОКОЛА

*«В учрежденной при дворе ее императорского величества конференции, ея величество присутствуя высо-*

чайшею своею особою объявить изволила, что понеже предпринята армиею неожиданным образом ретирада натурально наносит не токмо здешнему оружию бесславие, но и собственно высочайшей ея величества чести и славе чувствительное предосуждение, и отзываясь о всем том весьма неудовольственным образом, повелела, чтоб конференция так как пред самим Богом и по своей присяге представила ея императорскому величеству свое мнение».

Конференц-секретарь Дмитрий Волков объявил:

— Чтоб каждый член конференции, мнение свое в вышеизложенном важном обстоятельстве особливо запечатав, ея императорскому величеству подал.

Нелицемерные друзья фельдмаршала предавали его следующим образом:

### БЕСТУЖЕВ

*«...для наискорейшего всего того поправления мнолось бы ни часа не мешкая отправить к генерал-фельдмаршалу указ, которым бы ему повелелось команду над армией сложя немедленно в Ригу ехать и оттуда без дальнего указа никуда не отлучаться... сколь скоро фельдмаршал Апраксин в Ригу прибудет то слабейшие мнится надлежало б равномерно ж кого-либо из фельдмаршалов отсюда с приличным числом протчаго генералитета туда отправить для держания над ним военного суда...»*

### ПЕТР ИВАНОВИЧ ШУВАЛОВ

*«...ево для ответу призвать сюда, поруча команду генералу Фермору...»*

### АЛЕКСАНДР ШУВАЛОВ

*«...повелеть сугить о чем дать знать союзных дворов послам и министрам, что оный фельдмаршал в слабых своих поведениях достоин быть под судом...»*

### НИКИТА ЮРЬЕВИЧ ТРУБЕЦКОЙ

*«...ево велеть тотчас отправить в Ригу и тамо, пока высочайшим вашего императорского величества указом*

*что об нем определенно будет, быть ему. За подписанием высочайшего вашего величества ручки инструкцию от него отобрав, отгать тому, кто на ево место определится».*

\* \* \*

Апраксин, обвиненный в государственной измене, был арестован и перевезен в урочище Три-Руки.

## 7

Была стужа с ветром. По Невской перспективе пегая коняга волокла тяжелые дровни. Солдаты в наинесчастнейшем состоянии — раненные тяжело и тяжело больные жестокими лихорадками и прилипчивыми горячками, как определяла нехитрая медицина, были навалены на дровни большой плотной грудой. Словно поленья.

Старенький щуплый капрал, до костей промерзший под недлинной васильковой епанчой, сопровождал несчастливых.

Дровни смердели.

В верхнем ряду этих людей, наваленных как поленья, лежал Петух. Его трудно было бы опознать: щеки оползли, нос из репки превратился в сморщенную горошину, а вместо левого глаза зияла черная дыра.

Дровни стонали.

Возле Анического дворца, выстроенного графом Растрелли для обер-егермейстера, пегая коняга повалилась в жесткий снег.

Возница в мерлушечьем тулупчике, покрытом зеленой китайкой, принялся неторопливо крутить четвероногий страдалице жидкий хвост, видимо, для придания сил и мужества.

Щуплый капрал ворчливо учил:

— Да как ты, леший, крутишь-то? Да разве так люди крутят?

Петух сказал:

— Поморозите нас, диаволы! Всех поморозите.

Кто-то из несчастливых просто добавил:

— Паршуков вона уже помер, а Гришка безрукий кончається.

Петух стал глядеть своим единственным глазом, никак не похожим на веселую большую веснушку, в окна дворца, высящегося четырьмя жильями над высокими насыпными берегами замерзшего пруда, что серебрился широким лезвием вдоль перспективы.

— Там, в светлицах ихних, небось, тепло, — сказал Петух. — Им чего помирать!

Коняга, приведенная кнутом, вожжой и выкручиванием хвоста в состояние сравнительной бодрости, сначала села на тощий заиндевелый зад свой, потом, пошатываясь, встала на ноги.

К госпитальному дому щуплый капрал доставил смердящие и стонущие дровни часа через три.

— Куды привез? Куды? Чтоб тебя пополам! — заорал выбежавший на крыльцо медицинский служитель. — Поворачивай! Поворачивай, с Господом Богом! Да живо!

Во дворе госпитального дома стояло еще трое дровен с наинесчастнейшей поклажей.

— Поворачивай, сатана! Поворачивай! — орал медицинский служитель.

И верно, госпитальный дом был набит солдатскими полутрусами до краев. Больные жестокими лихорадками и прилипчивыми горячками и тяжело раненные валялись, вперемешку, на койках и на полу, в покоях и в сенях.

Ямой зловоний можно было бы назвать госпитальный дом.

— Мы ж к вам, господин служитель, не так чтобы многих и доставили, — нерешительно уговаривал зачоченевший капрал, — их, господин служитель, в пути довольно померло! Ей, ей, не вру! Господин служитель, коли счесть, может, и до половины померло.

— Поворачивай, сатана, поворачивай! Вези обратно в команду.

Те, из несчастливых, которые могли шевелиться, оттирали заиндевевшими епанчами белые носы и щеки.



Петух сказал:

— Оттаять бы сколько-нибудь, господин дохтур, а потом и в команду.

В госпитальный двор въехали бодрой рысцой пятые по счету дровни с героями Егерсдорфской баталии.

Мушкетер, находящийся при провожании их, не успел и рта открыть, как медицинский служитель, замавав руками, принялся на него орать.

— Поворачивай, сатана! Поворачивай! Вези восвояси в команду.

На обратном пути наинесчастнейшая поклажа, в верхнем ряду которой лежал неподвижный, как полено, Петух, уже не стонала; только смердела.

На широкой Литейной улице, имеющей сплошь строение деревянное, пегая коняга скончала жизнь свою.

Была стужа с ветром.

Щуплый капрал и возница в мерлушечьем тулупчике, глядя на четвероногого покойника, молча прыгали с ноги на ногу и хлопали себя по бокам заоченевшими руками; так глупые куры бьют крыльями, когда озорные ребята бросают в них камнями.

Кто-то с дровен сказал совсем тихо:

— Конец нам.

В эту минуту из-за угла шестерка варварийских жеребцов в мелкую гречку вынесла карету.

На запятках ее, на козлах и на подножках были солдаты во всем вооружении; взвод рейтар лейб-гвардии конного полку на вороных конях размашистой рысью следовал на коротком расстоянии.

В карете, как нетрудно догадаться, сидел государственный преступник.

\* \* \*

На следующий день рано утром Екатерина получила такую записку от Станислава Понятовского: *«Граф Бестужев арестован, лишен всех чинов и должностей; с ним арестован — ваш бриллианщик Бернардо Елагин и Агадуров».*

Елисавета сказала валявшейся у нее в ногах великой княгине:

— Встань.

Екатерина замотала головой и, обхватив руками теплые тупоносые, отороченные черным мехом башмаки императрицы, уткнулась в них мокрым от слез лицом.

Петр Федорович скорчил презрительную гримасу.

— Встань, — во второй раз сказала Елисавета.

Провинившаяся еще крепче обхватила опухшие ноги.

Петр Федорович шепнул Александру Шувалову:

— Притворничает.

У начальника Тайной канцелярии дернулась правая сторона лица.

Елисавета сказала в третий раз, но не повелительно:

— Встань.

И добавила:

— Быстрая вошь первой попадает на гребешок.

Екатерина в голос, по-русски, завывала.

Петр Федорович презрительно фыркнул.

Императрица строгим глазом чиркнула по его фигуре, напоминавшей червя, но не ползущего по земле, а воткнутого в нее.

Было далеко за полночь.

— Сделай дружбу, Александр Иванович, — попросила Елисавета, — придвинь-ка мне стулец.

Шувалов подскочил с тяжелым золотым креслом.

— Благодарна тебе, граф.

И грузно села и укуталась в тальму, и насупила наведенные брови:

— Не залыгай меня только, ради Господа, ваше высочество. Говори по чести и сердцу. Врать-то ведь не из чего.

Екатерина без слов подняла жалкие молящие глаза.

«И горазда ж точить слезы, — подумала допрашивающая, — у, змея!»

А сказала почти ласково:

— Ладно уж! Вижу, ваше высочество, твое чисто-сердечие.

Петр Федорович сделал едкую мимику.

Часы, стоящие на золотом столике в простенке узкой и длинной комнаты, пробили половину третьего.

Несколько выждав, Елисавета спросила нестрого:

— Сколько ж цидул ты написала фельдмаршалу и по какому каналу шли они от тебя?

— Три, — пролепетала Екатерина.

В длинной комнате, кроме золотых столиков в простенках да нескольких кресел с высокими спинками, стояли еще китайские ширмы в больших птицах с красными клювами.

Екатерина сразу же догадалась, что за ширмами упрятан Иван Иванович Шувалов.

Он полулежал на канаве с французской книгой.

Императрица привыкла считать, что она не может обходиться без его советов, которые, чаще всего, бывали советами Петра Ивановича, ищущего низкой высоты власти.

— Да ты, ваше высочество, вспомни-ка, вспомни, — ласково уговаривала Елисавета, — может, какие цидули и в голове не остались? Может, поболе писала?

— Три! — прорыдала Екатерина.

Петр Федорович с едкой мимикой, из-за спины тет-ки, показал на пальцах — шесть.

Но Екатерина знала, что три политических письма Апраксиным сожжены и только три незначущих переданы начальнику Тайной канцелярии.

— Кинь, ради Бога, валяться-то в ногах, и выть оставь... Не баба, небось, из деревни, — сказала императрица.

И рукою показала на вазу, что стояла на золотом столике.

— В ней твои письма. Тебе, как думается, сколько их там будет?

— Три.

Это звучало, как клятва, как признание перед матерью, как раскрытие сердца. Но мера искренности была нарушена, и поэтому обман ощущался явно. Точно так в чрезмерном простодушии мы без труда обнаруживаем хитрость или в чрезмерной пылкости — ум холодный.

— А фельдмаршал показал, что ты, ваше высочество, к нему шесть писем слала, — протянула Елисавета, подышав на синеющие ногти.

Растерявшийся Апраксин действительно назвал эту настоящую цифру.

— Ну, говори, ваше высочество, с чистосердечием, как перед Богом.

— Три! — сказала Екатерина.

И потом чуть слышно, с молитвенным трепетом:

— Как перед Богом.

Петр Федорович с издевкою поднял глаза ввысь.

У Александра Шувалова запрыгала правая половина лица.

А из-за китайской ширмы лились безмятежные носовые звуки: Иван Иванович опочивал сладко.

— Хорошо же, ваше высочество, — погрозила Елисавета, — так как друг твой Апраксин ложно обнес тебя, я прикажу пытать его.

Екатерина не возражала.

«Хоть пей ее, змею, хоть ешь, хоть ножом режь! — злилась императрица — У, тварь!»

— Ведь тебе, сударыня, воспрещено писать; а ты что? В какие дела мешаешься? А, сударыня?

Екатерина вместо ответа снова повалилась в ноги, целовать и обливать слезами тупоносые башмаки.

— Что это, сударыня, за обычай у тебя азиатский? Откудово б ему? Не по-брауншвейгски то. Изволь встать.

И грубо, прямо из-под губ, чмокающих жалко, из цепляющихся пальцев, выдернула опухшие ноги.

Петру Федоровичу очень захотелось плюнуть в свою супругу. А плевать он умел изрядно, длинной струйкой сквозь редкие передние зубы.

Елисавета спросила:

— А через какой, значит, канал шли от тебя письма к фельдмаршалу?

— Через канцлера, государыня. Все три через него.

— Так, так! Канал верный... А теперь, друг мой, исполни по моей большой просьбе, учини откровенность про его прожект.

— Про какой, выше высочество, прожект?

— Будто и не ведаешь.

— Нисколько не ведаю, о каком прожете изволите говорить, ваше величество.

Бестужев в первые же дни ареста исхитрился через музыканта своего сообщить великой княгине, чтоб поступила она «смело и бодро с твердостью, так как все нарочитые бумаги ко времени им сожжены, а подозрениями одними ничего доказать невозможно».

Елисавета сказала:

— Я тебе, ваше высочество, открою. О Митьке Волкове, небось, слыхала, что у канцлера ближайшим был, а потом из провинностей своих по лесам скитался, да скоро возвратившись, стал Бестужеву первейшим ненавистником? Вот и посуди сама, что же от ближайшего упрячешь, с которым все каверзы государственные канцлер одним умом сочинял и который был его достойным инструментом? Ваше высочество, не запирай-ка рот попусту. Нам все одно Митька Волков канцлера головою выдал.

— Что такой, о Господи, за прожет? По глупости своей, даже в толк не возьму, ваше величество.

— У! Чтоб тебе ежа против шерсти! — пожелала в сердцах императрица.

## 9

Граф Понятовский, по требованию российского двора, был отозван в Польшу.

Апраксин умер «параличной болезнью» во время допроса.

Тело его было предано земле на кладбище в Невской Лавре, при одном духовном обряде, без всяких военных почестей.

Дело над бывшим великим канцлером велось более года.

Следователи приложили усердие вполне достаточное, чтобы повесить даже невинного человека.

А обвиняемый проявил такую изворотливость, при которой даже убийца нередко приобретает репутацию жертвы и выходит из тюрьмы, завоевав сочувствие и

расположение общества, как известно, всегда немного более, чем нужно, совестливого и менее, чем хотелось бы, проницательного.

В апреле 1758 года Бестужев был сослан в Можайский уезд, в собственную деревню.

Таким образом, излишнее усердие и чрезмерная изворотливость, взаимно уравновесясь, добились финала, в какой-то степени соответствующего обстоятельствам дела, которое могло не казаться отвратительным только отвратительному обществу.

Движимое бестужевское имущество и дома, и пригородные дачи, и многие деревни были проданы за долги государству и долги купцам и мастеровым и по проигранным тяжбам; а многопудовый серебряный сервиз свезен для расплавки на монетный двор: *«чтоб от праздного стояния какого повреждения или утраты от него не сделалось»* — так заявила заботливая комиссия.

## Двенадцатая глава

### 1

*«Право, не все ли равно жить с тиграми, леопардами, рысью или в век, который слывет цивилизованным, находиться среди убийц, разбойников и вот этих вероломных людей, что управляют нашим бедным миром»,* — писал Фридрих II после поражения при Коллине.

Великий канцлер Михайла Ларионович Воронцов получил для себя в компании с генерал-прокурором Глебовым привилегию на исключительный отпуск из портов Архангельского и Онежского льняного семени.

Фридрих имел из Петербурга сведения, касавшиеся русской армии, раньше Елисаветиных главнокомандующих.

Не стало графини Мавры Егоровны Шуваловой.

О шпионстве наследника российского престола все знали, вплоть до Михайлы Ларионовича Воронцова, и даже укрывали шпионов.

Петр Иванович Шувалов стал еще монопольно торговать скотом и убойным мясом.

*«У меня нет более средств в запасе и, чтобы не солгать, я считаю все потерянным. Я не переживу гибели моего отечества. Прощайте навсегда»*, — так писал король прусский к своему министру графу Финкенштейну в августе 1759 года.

Помещики получили право ссылать своих крестьян в Сибирь.

— Дворянство — это первый член государственный! — сказал Петр Иванович Шувалов.

*«Каждый сноп соломы, который доходит до меня, каждый транспорт рекрутов или денег становится или подачкой, брошенной мне врагами из милости, или доказательством их нерадивости»*, — писал Фридрих II в декабре 1761 года.

## 2

Елисавету положили в гроб в серебряной робе с кружевными рукавами. На мертвую голову надели корону.

Пришла лейб-компания со штандартом и стала в зале дворца.

Пришли лейб-гвардия, артиллерийский корпус и армейские полки.

Выстроились на морозе.

Гроб, украшенный фестонами и гирляндами из серебряной парчи и покрытый золотым покровом с испанским шитьем, стоял на возвышении под балдахином, имеющим горностаевый спуск до земли.

Старинные короны царств Казанского, Астраханского и Сибирского, так же как и ордена — русские, прусские, шведские и польские, были разложены на табуретах.

За несколько часов до кончины Елисаветы Румянцев прислал в Петербург ключи от прусской крепости Кольберг.

«Ничего не препятствовало отныне русским следующей весной осадить Штетин или овладеть Берлином и всею Бранденбургией». Так сказано у Фридриха II в его «Истории семилетней войны».

И короны на табуретах, и шитье испанское, и горностаи с балдахина, и ключи от неприступной крепости, и завоеванная Пруссия.

Нам кажется, что смерть главным образом трагична тем, что в ней отсутствует какая-либо таинственность. Уж больно все просто и понятно. Труп человека, дохлая кошка, раздавленный комар, срубленное дерево, опавший лист. Одно смердит больше, другое меньше, третье почти не смердит. Вот и все различие.

\* \* \*

Двое суток Елисавета рвала желчью и кровью. Икала. 24-го вечером приказала читать отходные молитвы.

Агония длилась всю ночь и до четвертого часа полудни.

Врачи, как и полагается, оказались очень умными и понимающими после смерти пациента.

Болезнь они приписывали волнению крови, происходящей у Елисаветы от геморроя.

\* \* \*

Еще не омыли большого мертвого тела, как Петр III кликнул камергера Гудовича:

— Минуты одной не теряя, друг мой, лети стрелою вот с этим письмом моим к королю прусскому.

И раскрыл объятия:

— Дай-ка поцелую.

И чмокнул с нежностью мокрыми губами.

— Путь тебе счастливый, друг мой, путь добрый. А сколько берешь на сборы?

— Четверть часа, ваше величество.



\* \* \*

К войскам, стынувшим на морозе перед домом, где лежал труп, пышно разодетый, Петр III прискакал на черном коне.

Императора освещали факелами.

Когда он объезжал полки — музыка гремела, барабаны били, знамена преклонялись, солдаты орали: «Виват!»

Печальный день Петр закончил не печальным ужином.

33 кавалера и 41 дамская персона сели с ним за стол в галерее.

Задолго до рокового дня предусмотрительная Екатерина составила для своего неуравновешенного супруга подробную записку, как вести себя после кончины царственной тетки.

Об ужине с дамскими персонами до 2 часов ночи в записке ничего не было сказано.

Правительственный сенат разослал указ, чтобы во все время глубокого траура столы были накрыты черным сукном, стены черными чехлами и все бумаги посылались за черной печатью.

В «печальной комиссии», учрежденной Петром III для великолепного погребения, пошла торговля с поставщиками черных сукон, стамеда, фланели, крепа и прочего.

\* \* \*

Миниха с сыном, Бирона с фамилией, Лестока император звал из ссылок.

А про Бестужева сказал: «Пусть сидит в деревне и выдумывает жизненные эликсиры; он с женою моею был смигнувшись, ее сочувственник, черт с ним!»

Смертельно больной граф Петр Иванович Шувалов, пожалованный Петром III в фельдмаршалы, приказал, на изумление жителям, тащить себя по морозным улицам на парадной постели из собственных светлиц, отдаленных от дворца, в дом нового генерал-прокурора и генерал-кригс-комиссара Глебова, живущего в самой близости от императора.

— А то его величеству далече скакать ко мне за принципами, — объявлял российский Цицерон, болезнями распятый на перине.

Но шуваловским секретарям, писчикам и копиистам, заполнившим все углы просторного глебовского дома, не долго пришлось поскрипеть перьями для «новой эры»: 4 января Петр Иванович испустил дух.

— Чего так поторопился за тетушкой? — сказал сердито император.

### 3

Украшенный фестонами и гирляндами гроб с телом Елисаветы на шесть недель выставили в большой зале деревянного дворца, что помещается на углу Адмиралтейского и Мойки.

Потянулись зеваки.

Екатерина, бывшая на седьмом месяце беременности, почти не отходила от гроба.

Ее видели то молящейся, то вздыхающей, то льющей слезы «по доброй и великой Елисавете, матери отечества», — другими словами она не называла покойницу.

Когда Юлий Цезарь приказал поставить на пьедесталы сброшенные с них изображения Помпея, Цицерон сказал, что Цезарь своим прекрасным поступком не только восстановил статуи своего врага, но еще в большей степени утвердил свои.

Об этом Екатерина читала.

К покойной императрице она, возможно, и испытывала некоторое чувство благодарности, но скорее за уход ее в Царствие Небесное, чем за ее царствование земное, чересчур затянувшееся.

Однако, как известно, из чувства благодарности, даже не столь парадоксального в этом случае, обычно вздыхают не очень уж глубоко, а слезы только роняют, но не льют; разумеется, если делают это искренне.

Но тем-то и страшно лицемерие, что оно завоевывает немудрые души и сердца (а таких большинство) во всяком случае не хуже, а может быть, и лучше, чем скромная правдивость.

Плохо забальзамированный труп императрицы стал смердеть.

Зловоние качало гвардейцев, стоявших в карауле.

Дамские персоны, посозерцав покойницу считанные минуты, валились без чувств.

А беременная Екатерина, вся в черном, коленопреклоненная, с опухшими от слез глазами, как закаменела у гроба.

— Вот и хорошо, пусть нюхает, пусть нюхает! — потирал руки император. — Может, даст Бог, и сама подохнет от вони.

— Нет, пожалуй, не подохнет, — с грустью отвечала толстая Елисавета Воронцова.

— Ты так думаешь, драгоценный конфет мой? В таком случае ее нужно поскорей на костер. Она не иначе, как истинная ведьма.

А французский посланник барон Бретэль спешил с депешей об Екатерине:

*«Никто усерднее ее не исполняет установленных греческою религиєю обрядов относительно умершей императрицы, — сообщал он в Париж, — эти обряды очень многочисленны, полны суеверий, на которых она, конечно, смеется; но духовенство и народ вполне верят ее глубокой скорби по усопшей и высоко ценят ее чувство».*

\* \* \*

Император, зажав нос в кулак, раз в день длинным прыгающим шагом подходил к гробу.

— Галстук, галстук, черт побери! — сверкая почти желтыми глазами, визжал он на измайловца, стоявшего в карауле. — Я тебя, сукина сына, научу галстук повязывать!

Петербургский житель-зевака, допущенный к пышному гробу «матери отечества», глазел со страхом и удивлением на Петра III.

— Букли! Букли! Кто ты есть, черт побери? Солдат или глупая баба с рынка? Неряхи слюнявые!

Так император величал лейб-гвардию.

И словно был не перед гробом со смердящим трупом, а в зале танцевальной, — принимался перемаргиваться с дамскими персонами:

— Ах, мои сладчайшие сахара!

И чтобы смешить их, не вынимая носа из кулака, передразнивал сначала долгобородых тучных попов, истово молящихся за упокой души, потом брюхатую Екатерину, делающую из себя «фигуру скорби».

#### 4

Петр III задрал маленькую голову.

Сенат не дышал.

Голос у императора был противный, визгливый.

— Париж, Лондон, Вена и Москву не иначе сравнить имею, как с людьми зрелого века, а Санкт-Петербург разумею младенцем. Где же это видно, чтобы дите было без попечения? Строение столицы происходит весьма обширно и, по большей части, весьма глупое, как бы азиатское. Прошу, господа сенаторы, пресекая глупость, ограничивать строение деревянное и производить каменное, хотя не очень пространно, но регулярно, и по более в вышину, нежели в широту.

И сразу же вслед за тем, даже воздуха не глотнув, взвизгнул:

— Дворянам, господа сенаторы, службу продолжать по своей воле, сколько и где пожелают.

У сенаторов заняло дух.

— А как военное время будет, — добавил император, — то все господа дворяне должны явиться на том основании, как сие есть в Лифляндии.

И вышел из залы длинным прыгающим шагом. Генерал-прокурор Глебов прохрипел:

— Милостивцу нашему, государю Петру Федоровичу, даровавшему российскому дворянству вольность, воздвигнем, господа сенаторы, золотую статую.

— Золотую статую! Золотую статую! — подхватили князя Трубецкие Никита Юрьевич с сыном, а за ними и

оба Воронцова, и оба Голицына, и Александр Шувалов, и Бутурлин, и Неплюев, и Жеребцов, и Кастюрин, и Сумароков, и Одоевский.

\* \* \*

На другой день явился перед императором Правительственный сенат в полном составе своих членов; их была чертова дюжина.

Когда Глебов говорил о статуе, у Петра по спине бегали мурашки.

Но ответ дал самый неожиданный:

— Сенат может дать золоту лучшее назначение.

И шутовски задрал маленькую голову.

— А я своим царствованием, господа, надеюсь воздвигнуть более длительную память в сердцах моих подданных.

И несколько помолчал. Сенаторы переминались.

«Чем бы еще подивить их?» — искал Петр; и тут счастливо вспомнил понравившуюся ему фразу из книги, что часто валялась раскрытой на столике у Екатерины:

— Право, господа сенаторы, для меня приятней, когда меня будут спрашивать, почему мне не поставили золотую статую, чем спрашивали бы, почему мне ее поставили.

## 5

О дне похорон Елисаветы жители Петербурга были извещены герольдами.

Серебряный гроб был поставлен на великолепный катафалк, украшенный фигурами, живописными картинами, барельефами и резьбой. Все это прославляло имя Елисаветы и деяния Петра Ивановича Шувалова, так бы, верно, подумал знаменитый сенатор, будь он жив.

Первым гвардейский полк открыл «печальное шествие».

За преображенцами следовали попы, выстроенные попарно; их было 300.

Вельможи несли короны и ордена.

Ехал всадник, одетый с ног до головы в латы.

На Петре III был ратиновый кафтан без пуговиц; нижние края круглых обшлагов и рукава камзола были обшиты белыми плерезами; шпага и трость — затянуты черным ратином; на замшевых башмаках — черные пряжки; на руках — черные перчатки; чулки — гарусные; сорочка не имела манжет; шляпа была обвязана длинным, развевающимся по ветру флером; с плеч свисал черный плащ, который несли камергеры; их было 12; каждый держал в левой руке зажженную свечу.

На брюхатой Екатерине тоже был печальный ратиновый кафтан с узкими рукавами и тесным воротом; большая креповая каппа ниспадала на платье.

Шлейф императрицы, имеющий четыре аршина длины, несли в руках. В схожих костюмах шествовали за гробом и прочие дамы, отличающиеся друг от друга длиною шлейфа: персоны первых двух классов имели шлейфы по два аршина, третьего класса — по полтора, а четвертого и пятого — по аршину.

Неаполитанские лошади в черных бархатных пополах выступали так, словно прекрасно понимали, кого и куда везут.

Уже через полчаса императору стало невыносимо скучно.

Под ногами похрустывал лед.

Петр оглянулся: старые, дородные, благообразные камергеры с важными и скорбными рожами несли плащ его.

Петр умедлил шаг.

А неаполитанцы в бархатных пополах не умедлили.

Вскоре между колесницей и императором образовался порядочный, шагов на девяносто, прогал.

Шествующие недоуменно переглядывались.

Вдруг император, будто спохватившись, кинулся со всех ног догонять покойницу.

Дородные камергеры от неожиданности выпустили из рук черный плащ.

Он взмывался над бегущими, как пиратский парус.

Господа камергеры, дородные и благообразные, припустились за императором.

Пыхтя и отдуваясь, стали они на бегу ловить проклятую извивающуюся материю.

Неуклюже прыгали.

Жгли друг друга свечами, которые держали в левых руках. Ругались.

Первым шлепнулся обер-камергер граф Шереметьев.

Уж очень усердно прыгал. Застонал:

— Ох, батюшки, ох, ребрышко поломал. Тише, дьяволы проклятые, тише! Ох, подавите! Ох, окаянные, ох, жалости в вас нету. Господи, прими душу мою грешную!

На графа Шереметьева сначала повалился пузатый Голицын, за ним Куракин, третьим Строганов.

Император, обернувшись, взвизгнул:

— Мала куча!

Черный плащ трагически развеялся над его головой.

Улица надседалась от смеха.

— Государь-то наш записался кровию своею князю бесовскому и всем бесам в службу, — сказал поп людской тесноте.

Таков был последний путь Елисаветы.

## 6

Буржуазный историк сообщает:

*«В вотчинах стат. сов. Евграфа Татищева (сына знаменитого Василия Никитича) и гвардии поручика Петра Хлопова, в Тверском и Клинском уездах, крестьяне отложились от помещиков по научению тверского отставного подьячего Ивана Собакина, у Татищева хоромы срыли и разбросали, у Хлопова — дом и житницы с хлебом, и оброчные деньги разграбили, а помещикам своим приказывали сказать, чтоб они к ним не ездили, приказчиков и дворовых людей хотели побить до смерти и из вотчин выбили вон. Вслед за тем поступили донесения от прокурора московской губернской канцелярии Зыбина — о возмущении его белевских крестьян; от княгини Елены Долгорукой — о возмущении галицких; от капитана Балк-Полева — каширских и епифанских; жены полковника Дмитриева-Мамонова — волоколамских. У Татищева воз-*

мутилось 700 душ, у Хлопова — 800, у Зыбина — 350, у кн. Долгорукой — 2000, у Балк-Полева — 950, у Афросимова — 650, у Дмитриева-Мамонова — 400. Кроме того, в Волоколамском уезде, в сельце Вишенках, староста и крестьяне с дубьем пришли в дом помещицы Эрчаковой, ругали ее и выгнали из сельца. В Сенат явилось четверо крестьян Тащицева с жалобой на помещика, что он немалое число из них развел в другие свои деревни и берет к себе в дворовые люди; остальные всегда на его работе, и взыскивает с них оброк с прибавкою и рекрутские деньги. Сенат велел этих крестьян наказать нещадно плетью».

## 7

— Ваше величество, в Петербург прибыл чрезвычайный посол короля прусского.

Император, вытянувшись в линейку перед мраморным бюстом Фридриха II, завизжал:

— Его величеству королю прусскому виват!

— Виват! — выкатив глаза, провопили генерал-прокурор Глебов и тайный секретарь Волков.

Петр легко вспрыгнул на канapé и, обняв мраморный бюст короля, порывисто трижды поцеловал его в тонкие хитрые холодные губы.

Глебов и Волков, как и следовало ожидать, с меньшим удовольствием, но с еще большей горячностью, облюнявили мраморное плечо героя.

\* \* \*

В инструкции, которую перед отъездом из Пруссии получил от короля чрезвычайный посол барон Гольц, было сказано: «Доброе расположение русского императора позволяет надеяться, что условия (мира) не будут тяжки. Я вовсе не знаю видов императора в точности; все, что мне о них известно, вращается около двух главных пунктов, а именно: что дела Голштинские, по крайней мере, так же близки к сердцу императора, как и дела русские, и, во-вторых, что он принимает большое участие в моих интересах».



А вот каков был второй пункт инструкции: «Если они захотят оставить за собою Пруссию навсегда, то пусть они вознаградят меня с другой стороны».

Впрочем, на компенсацию король не очень рассчитывал.

\* \* \*

После аудиенции барон Гольц последовал за императором в церковь.

— Этим дуракам, — и Петр мотнул головой в сторону священников, — я решил, дорогой барон, обрезать гривы и бороды. Также я одену их в сюртуки. Мне, черт возьми, несносно всякое варварство, всякая азиатчина. Что может быть глупей этих женских юбок на людях, рожденных для штанов?

Петр не умел разговаривать тихо.

Кроме того, он не умел разговаривать, стоя на месте.

Чрезвычайный посол едва поспевал за императором, расхаживающим во время службы длинным прыгающим шагом по коврам, закапанным воском.

— Ну, скажите, дорогой барон, да разве это храм? Это капище! Черт знает, кого они только не повешали на стенах. Чистая картинная зала. Как бы смеялся, сударь, такому идолопоклонству ваш просвещенный монарх. — И помахав вокруг себя руками, добавил: — Я уж приказал изготовить указ, чтобы все церкви в моей империи были очищены от всякого хлама.

Хор запел «иже херувимы».

Все опустились на колени.

— Смотрите на них, дорогой барон, любуйтесь ими, этими азиатцами!

И, захохотав, Петр выбежал из церкви, увлекая за собой чрезвычайного посла короля прусского.

## 8

Толстая Воронцова храпела под одеялом. Она влезла в него с головой, как в мешок.

А у Петра не было сна в глазах. Суета мыслей, прозрачность, легкие веки — бессонница! Мучительно хо-

телось разговаривать. Болтунам он понятен. Так курильщики, пьяницы и картежники понимают друг друга.

Но разбудить Воронцову Петр боялся — стала бы ругаться.

Над кроватью висел в круглой золотой раме портрет прусского короля. Болтун завел с ним беседу:

— О друг мой и брат...

Минута требовала торжественного жеста и, барахтаясь в перине, император поднял руку над головой.

— ...клянусь и клянусь тебе, что никогда свои деяния Петр III не подчинит эгоизму мнимого величия и выгодам коммерции.

— Да спи ты, ради Господа, чего раздрыгался? С каким чертом посреди ночи разговариваешь? Опять, небось, с Фридрихом. Вот велю, чтоб этот проклятый портрет в печь кинули, ей-ей, велю. Ни роздыха от тебя, ни покоя. Всю постелю выстудил. — Воронцова ругалась, не продирая глаз: — Чистой бес ты, вот кто!

Император притих, но ненадолго.

— Романовна, а Романовна?

И сказал с нежностью о храпящей туше:

— Как дите!

И, стараясь не дрыгать холодными ногами, возобновил шепотом прерванную беседу:

— Того б достойно, ваше величество, на кол посадить, кто объявит, что свою пользу я поставил впереди вашей.

Это так: Петр на самом деле и от земель королевских отказался, Пруссии и Померании, занятых русскими войсками, и корпусу Чернышева приказал драться за короля, и разоренным войной Фридриховым подданным щедро дал денег, и прусскому комиссариату сдал свои магазины и, наконец, сказал барону Гольцу, что с закрытыми глазами подпишет мирный трактат, который будет составлен рукою «друга и брата».

Так вскоре и случилось.

Посылая, по просьбе Петра III, свой проект в Петербург, Фридрих II писал: *«Я отчаялся бы в собственном положении; но в величайшем из государств Европы... (доверчивый Петр сиял)... нахожу еще верного друга: расчетам политики он предпочитает чувство чести».*

Эта фраза, звучащая как обычная любезность, была в данном случае совсем необычна, потому что, вероятно впервые в истории, высказала столь удивительную правду.

Из Петербурга в Берлин мирный трактат, подписанный императором, был отправлен со следующими словами: *«Надеюсь, что ваше величество не найдет в нем ничего, что могло бы относиться до моего собственного интереса, я не хочу, чтобы имели право сказать, будто я предпочел собственный интерес вашему».*

Так Петр при дневном свете повторил свой ночной бред.

Воронцова храпела.

Свечи стали огарками.

Воображение императора вложило в уста полотняного короля такую реплику:

«Друг и брат, варварские порфириноносцы в такой же мере являют бесславие века, в какой мы, два просвещенных монарха, являем его славу».

Петр порозовел щеками, зловеще разузоренными оспой.

— Друг, брат и герой...

И принялся по-мальчишески хвастать энергичными приготовлениями своими к походу против датского короля, чтоб отомстить за старые обиды, нанесенные Голштинии.

Рябые щеки пылали.

Толстая Воронцова перекрестилась: «О Господи, никак Петер из ума вышел».

Боязно было выпростать голову: «Еще укусит!»

И подумала с тоской: «Ох, посадят моего рыцаря на цепь, уж верно посадят, да и меня еще, толстую дуру, к нему приклепают, уж верно приклепают».

И, с молитвой откинув одеяло, легонько потрясла императора за плечо:

— Петя!.. Петенька!..

Но император не почувствовал и не расслышал.

Петербургский рассвет растекался по спальной, образуя то там, то здесь безвлажные лужи, мутно-серые и мутно-желтые.

А Екатерина спала с капитаном Гришкой Орловым, цалмейстером артиллерийского штата.

Капитан был молод; впрочем, телом он был все же ближе к полной зрелости, чем умом, обещавшим оказать упорное сопротивление могуществу времени, которое можно назвать коварным скорее по отношению к нашим телесным силам, чем к мыслительным.

Капитан был синеглаз, толстошей, очень высок ростом, очень широк в груди и щеки имел пунцовыми шарами.

Чтобы сделать понятным, почему цалмейстер артиллерийского штата был столь почитаем и в лейб-гвардии, перечислим еще несколько его достоинств: во-первых, он водку пил из ковша; во-вторых, не разговаривал, а шумел; в-третьих, был вором казенных артиллерийских денег, которые пропивал с солдатами; в-четвертых, ведал, как говорили в Петербурге, «дирекцию веселостей».

Господина Монтескье Григорий Орлов не читал.

Когда он состоял адъютантом при покойном графе Петре Ивановиче Шувалове, т. е. без толку ездил верхом при его карете и без толку сидел в передних, то утешил себя и услужил патрону тем, что наставил ему рога с прелестной княгиней Куракиной.

Двор радовался, что Шувалов, которому раболепствовали, угодил в орловское рогатое стадо.

В этом же роде сказали и про Екатерину.

Словом, у капитана было большое рогатое хозяйство.

А господина Вольтера он тоже не читал.

О женщинах говорил так:

— Я неприхотлив, государи мои, не случись серебряной ложки, нахлебаюсь досыта и деревянной.

Из чего можно догадаться, что родственницами Екатерины по орловскому стаду были не одни принцессы крови.

Орловых было пять братьев.

О сержанте гвардии Алексее, третьем по счету, у биографа написано: *«Никто не мог перемочь его ни в борьбе, ни в кулачной сшибке».*

Это, конечно, очень важно, особенно для личности, которая перед выходом на историческую арену, главным образом, «упражнялась» в питейных домах.

Но что поделаешь, если гвардия была настолько же прилежна к водке и разврату, насколько ленива ко всему остальному, не исключая и воинской славы, от которой бы она, однако, не отказалась, если б ее можно было добывать, не рискуя головой и не выходя за петербургскую околицу.

## 10

Княгиня Дашкова воскликнула:

— Ах, государыня, если не найдется патриотов среди мужчин, то женщина вонзит кинжал в голштинское сердце императора!

— Знаю, знаю, моя милая патриотка.

— Для души, которая предана отечеству и справедливости, эшафот — это награда!

— Да, это награда, — охотно согласилась Екатерина.

— Такая награда, ваше величество, от которой столь слабая женщина, как я, может быть, не найдет в себе мужества отказаться.

Екатерина, обняв пылкую патриотку, поцеловала ее в маленькие горящие глаза, которые хотелось бы назвать глазенками, несмотря на то, что они были скорее злыми, чем добрыми. Слишком глубоко втиснутые и несколько широко, от расплуснутого носа, расставленные, они придавали монгольскую характерность.

— Но все же, мой друг, я не столь ничтожного мнения о мужчинах, — возразила ласково Екатерина.

Разговор велся на французском языке, потому что княгиня Дашкова, урожденная Воронцова, младшая сестра толстой Елисаветы, связывала самые простые русские фразы, начав учиться родной речи только после замужества.

Не выпуская юную патриотку из объятий, Екатерина сказала как бы вскользь:

— Я даже готова чем угодно поручиться, мой друг, что среди друзей вашего мужа без труда найдешь не одного и не двух с сердцем Брута.

Муж Дашковой служил вторым капитаном в Преображенском полку.

Княгиня согласилась с последней репликой.

— Я уверена, — сказала льстиво Екатерина, — что все они готовы пойти за вами, мой прекрасный трибун, в огонь и воду.

Выпрямившись во весь свой крохотный рост и раздувая широкие ноздри расплуснутого носа, княгиня воскликнула:

— Да! В том случае, если я их поведу в защиту вас, а это и значит: ради блага отечества и свободы!

Черная головка маленькой княгини была в такой же мере набита «Историями» Тацита и «Жизнеописаниями» Плутарха, в какой мере головы гвардейских офицеров свободны от них.

Потом приятельницы заговорили о датском походе.

— За благо России мы никогда не устанем проливать свою кровь, — заявила, картавя, Дашкова, — не отдадим и капли ее за обиды, нанесенные Голштинии в Северную войну.

И размашисто — по-гренадерски — зашагала, производя треск и грохот, так как пышные фижмы ее, увитые гирляндами из чайных роз, сдвигали и роняли французские стулья на золотых ножках.

Екатерина задумчиво нюхала табак, запихивая его в нос левой рукой, чтобы не провонялась правая, которую она давала целовать.

— Однако, милый друг, война состоится. Государь очень упрям. Ему кажется, что он в качестве владельца голштинского не может существовать на свете без этого клочка Шлезвигской земли, забранной у его несчастного отца королем датским.

Екатерина несколько раз чихнула.

— Нет, ваше величество, этой войны не будет! — сверкнула злыми, широко расставленными глазенками маленькая княгиня, мужеподобная, несмотря на миниатюрность своего подвижного тельца и пышность фижм. — Мы не желаем умирать за голштинские интересы русского императора.

«Жаль, что она не так хороша собой, — подумала Екатерина, — потому что убедительность женских слов

часто зависит не столько от логики, хотя бы она спорила с Сократовой, сколько, к сожалению, от формы нашего носа и еще более того — наших талий; уж верно, мы бы не часто имели успех над умами, если бы упустили случаи действовать на чувства».

## 11

Когда куранты Петропавловского собора били семь, император, как обычно, был уже на ногах.

С низкого грязного неба падало что-то мокрое.

Свистел ветер.

— На сегодня, сударь, довольно! — отнесся Петр к тайному секретарю Волкову. — Я и то, рассуждая о пользах коммерции, слишком долго находился промышленником и купцом. Я не смею, сударь, более воровать время у солдата.

Император принужден был сидеть, вытянув ноги, а ходить не сгибая колена, потому что чересчур крепко стягивал щиблеты.

Волков взглянул через запотевшее стекло на измайловцев, вытягивающихся в длинную линию:

— У лейб-гвардии, ваше величество, сердитые, по погоде, носы.

Петр взвизгнул:

— Если я не сделаю из них отличных солдат, клянусь небом, я обращу их в последнюю скотину.

И добавил:

— При покойной моей тетушке, они всего и годны были, что для караула возле печки. За двадцать лет, черт побери, мне не довелось видеть, чтобы какой-нибудь из полков гвардии экзерцировал при маленьком дожде.

Ветер свистел за окнами нового Зимнего дворца. О строителе его, графе Растрелли, современники так говорили: «Если у него и не было тонкого изящного вкуса, какой был бы желателен, зато он строил чрезвычайно прочно».

Отпустив Волкова, император на несгибающихся ногах подскочил к зеркалу, чтобы в последний раз оки-

нуть придирчивым глазом мундирование свое: короткий зеленый фридрихового покроя кафтан, обшитый по воротнику и обшлагам брандебурами, желтые штаны, камзол такого же цвета, сапоги с заостренными носками, поясной шарф и ленту прусского ордена «За услугу».

— Гут!

Маленькая живая физиономия, глядясь в зеркало, принимала разные выражения: надменное сменялось милостивым, любезное — свирепым, размышляющее — воинственным.

— Черт побери, мне жаль Данию! — воскликнул император.

И не отрываясь от зеркала:

— Трость!

Камер-лакей подал испанскую трость.

— Шляпу!

Была принесена шляпа прусского образца, с пером и малой кокардой из белого конского волоса.

— А тебе, глупая голова, жаль Данию?

— Жаль, ваше величество!

— Осел!

И Петр ударил лакея тростью по лицу.

Из рассеченного уха хлынула кровь.

— В следующий раз не будешь жалеть врагов своего государя.

И, спокойно припудрив волосы, собранные в две большие букли, Петр вышел из комнаты, придерживая левой рукой длинную шпагу.

\* \* \*

Гвардия мрачно месила грязь.

Император орал:

— Маршировать наилучшим порядком, черт побери!

Под свист ветра, низкое небо словно оплевывало этих обозленных людей, сменивших просторные кафтаны прошлого царствования на узенькие пестрые мундиры, а спокойную бездельную жизнь с семействами своими в натопленных казармах на марширования и муштру.

— Всем фрунтом вперед шесть шагов выступить! — махнул тростью император.



\* \* \*

Генерал-прокурор Глебов обратился к Елисавете Воронцовой, вышедшей в спальном платье в галерею:

— Столь чрезмерным экзерцированием несмотря ни на какую погоду государь отяготил и огорчил всю гвардию.

— Слыхала про это.

У толстой фрейлины лицо походило на живот.

— От вашей ли проницательности, Елисавета Романовна, сему укрыться! Но я, упаси Бог, не ради протестации, а лишь из ревнительной преданности к государю.

— А его величество на то говорит, — потянулась Воронцова жирными плечами, — что, может, и с королем датским им драться доведется не каждый раз при солнышке.

— Это так, — сказал Глебов, — но гвардия, Елисавета Романовна, не столько для войны себя понимает, сколько для славы государей перед лицом Европы.

— А государь понимает ее по-другому, — и, почесываясь, добавила: — В распущенном войске государь хочет ввести строжайшую дисциплину... Ах, да я в спальном туалете!

— Он, сударыня, делает вас прелестной нимфой.

Рябая, зардевшись, побежала по галерее, виляя толстым задом.

Тем и окончился утренний разговор генерал-прокурора Глебова с российской госпожой Помпадур.

\* \* \*

Ветер свистел. Прогнившее низкое небо разваливалось мокрыми хлопьями.

Император махал испанской тростью.

— Разговоров не иметь! Конфузных поступков не иметь! Со всей тихостью, сукины дети, для завождения в баталион-каре!

Гвардейцы с свирепостью в глазах, с нависшими бровями, сжав челюсти, месили грязь.

Ветер трепал знамя над головой Петра.

На знамени был изображен черный двуглавый российский орел с распущенными крыльями; птица сидела

на утесе, держа в правом клюве белую хартию с надписью: «Никого не устрашусь!»

— На елевацию бросать шпаги, — повелительно взлетела испанская трость, — дабы конфузить, черт побери, нападающих!

А когда изнеженные, не привыкшие к экзерцициям гвардейцы падали от изнеможения, из-под знамени раздавался сердитый визг:

— Бабу убрать, а на то место поставить солдата.

С прогнившего неба стекало что-то похожее на холодный липкий гной.

Ветер свистел.

## 12

В Петербурге праздновали заключение «вечного мира» с Пруссией. По окончании стола Петр, пошатываясь, направился во вторую аванзалу, чтобы оттуда смотреть фейерверк.

Господа иностранные министры и вся русская нация, как называла, помнится, Екатерина толпу придворных, сопровождали императора, прославленного стихотворцами.

В бесчисленных одах рядом с Великим Дедом был поставлен и Великий Внук, который «с самого восшествия своего на престол не пропускал ни единого дня без изливания новых милостей или не подавал существительных опытов отеческого своего о пользе подданных попечения и глубокого в государственные дела проникания».

Так, по крайней мере, писала современная газета. Ночь была теплая. Ползли тучи, похожие на громадных черных тараканов.

Екатерина стояла с повисшим носом. Император только что во всеуслышанье, через весь стол, крикнул ей «дуру»!

Княгиня Дашкова, раздувая расплюснутые ноздри, утешала свою подругу примерами из римской истории.

— Когда Антоний, — говорила она, — приказал выставить на трибуне отрубленную голову и руки Цицеро-

на, римлянам казалось, что они видели не лицо Цицерона, а образ души Антония.

Но Екатерине было не до римских примеров.

— Точно так же и сегодня, — не унималась маленькая княгиня, — когда государь перед всем светом обозвал вас «дурой»...

— Ах, не будем об этом вспоминать, — попросила робко Екатерина.

— Нет! Нет! — вспыхнула княгиня вдавленными злыми глазенками. — История этого никогда не забудет.

У Екатерины окончательно повис нос.

Почему-то и до сих пор самые искренние друзья и приятельницы, желая нас в несчастье приободрить и утешить, выбирают для этого дашковский способ; таким образом, если до приободренья мы всего-навсего были в скверном расположении духа, то после, обычно, имеем сильное желание залезть в петлю.

Тучи ползли, как громадные черные тараканы.

Император визжал:

— Сегодня, господа, его величество король датский имеет 69 эскадронов кавалерии и 59 баталионов дрянной пехоты, а через три месяца, черт побери, — пьяный императорский язык заплетался, — черт побери!.. я даю вам слово самодержца, черт побери, что его величество король датский, черт побери, будет иметь вот это.

И, сделав большую фигу, Петр III показал ее иностранным министрам и всем чинам первых трех классов, приглашенным на празднование «вечного мира» с Пруссией.

— Генерал Румянцев, черт побери, под моим командованием, черт побери, сделает из ихнего Сен-Жермена куру в лапшах! — визжал император, брызгая слюной.

Фридрих II, извещенный о геройских намерениях своего друга и брата, писал в Петербург:

*«Я вам скажу откровенно, что не доверяю русским. Всякий другой народ благословлял бы небо, имея государя с такими выдающимися и удивительными качествами, какие у вашего величества; но эти русские, чувствуют ли они свое счастье».*

*«Могу вас уверить, — успокаивал Петр III заботливого короля, — что когда умеешь с ними обходиться, то можно быть покойным на их счет. — И восклицал в письме: — Ваше величество! Что подумают обо мне эти самые русские, видя, что я сижу дома в то самое время, когда идет война в моей родной земле».*

Так внук Петра I называл Голштинию. Незадолго до празднования «вечного» мира император распорядился:

— Отправить моих лошадей к армии в Кольберг.

Теперь очередь была за лейб-гвардией, которая только того и желала, как бы поскорей пролить свою кровь за петербургской околицей.

Ползли тучи.

Император, подобно трагическому актеру, поднял руку над головой.

Тогда выпалили пушки и грянули четыре хора полевой музыки, давая сигнал «зачинать фейерверк».

Проходя по набережной Большой Невы, пьяный гвардейский сержант Алексей Орлов сказал пьяным измайловцам, окружавшим его:

— Эх, какие громогласные шумы! А чего, братцы, празднует царь, этого я никак в ум не возьму, не то с Пруссией мир, не то новую войну с Датским королевством.

Пьяные измайловцы стали въявь ругаться среди людской тесноты.

Преображенский гренадер в шапке с брусничным верхом по цвету воротника, носа и щек, торчащих буграми, пригрозил кулаком растреллиевскому дворцу.

В эту минуту был зажжен ящик с тысячью ракет. Огни образовали радугу, как небесный знак Союза, Дружества и Примирения.

Вслед за тем на воздух было брошено множество лусткугелей с блистающими звездочками.

Алексей Орлов, потирая рубец, пересекавший тяжелую скулу, сказал некстати:

— А нам подыхать за какой-то Шлезвиг, бесову землю.

Разноцветные огни образовали остров, изрезанный двенадцатью пальмовыми аллеями и огражденный прекрасными перилами и мраморными столбами, на которых лежали трофеи или знаки побед и высился сосуд с

масличной ветвью. На сосуде была латинская, из Виргиния, надпись.

— Э-э-эх, — вздохнул преображенный гренадер, — кабы нам да в этом огороде цветки помять со своими бабами.

— А вот тебе, дурню, и бабы, — сказал Орлов.

Из одной пальмовой аллеи явилась к сосуду фейерверкная Россия, а из другой фейерверкная Пруссия в королевской мантии. Подав друг другу правые руки, левыми они стали поливать масличную ветвь, пока та не превратилась в красивое дерево, шумящее огненными листьями и плодами.

— Глупостями нас тешат, — сказал Орлов, — чтоб с охотой лейб-гвардия на датский штык лезла. Ан, не дурни!

Преображенный гренадер, ворочая буграми щек, опять показал кулак растреллиевскому дворцу.

Пьяные измайловцы опять въявь ругали императора среди людской тесноты.

На огненном острове, как по мановению ока, вырос огненный храм Мира, украшенный статуями. Пришла богиня. На голове у нее был венок, в левой руке масличная ветвь, а под пазухой рог изобилия. Огненные реки приводили в движение крылья и колеса, рассыпающие звезды. Богиня соединила лентами голубого и померанцевого цвета вензеловые имена Петра и Фридриха. Били высокими струями огненные фонтаны.

Измайловцы разинули рты, преображенный гренадер ворочал буграми щек. Рядом с храмом Мира вырос замок Непокколебимого Спокойствия, на крыше его сидела Минерва, подле нее — Благополучие.

По небу ползли тучи, как огромные тараканы, — серебряные, голубые и померанцевые.

— А что это за псы бешеные? — спросил преображенный гренадер про «швермеров», которые, олицетворяя смятение и беспорядок, прыгали и летали, крутя пунцовыми хвостами и хвостиками.

Вскоре светлый луч, поднявшийся из жилища богинь и объявший весь горизонт, прогнал их.

Замок Российского Спокойствия стоял непоколебимо.

## Тринадцатая глава

### 1

Стояли жаркие июньские погоды.  
Екатерина тихо жила в Петергофе.  
Петр — шумно в Ораниенбауме.

Днем император усердно экзерцировал свой любимый отряд «голштинских военных людей». Это происходило в «потешной» крепости Петерштадт, сооруженной в прошлое царствование. Крепость, грозная своими пятью бастионами с двенадцатью чугунными пушками, имела маленький арсенал, маленькое казначейство, маленькую лютеранскую кирку, маленький пороховой погреб, маленькую казарму для голштинцев, офицерские домики, казематы и, наконец, двухэтажный дворец, стены которого были обложены лакированными досками, расписанными в китайском вкусе — птицами, деревьями и цветами.

Гвардия видела в голштинском отряде, получившем оранжевое знамя, новую лейб-компанию.

Экзерциции сменялись спектаклями в оперном доме и концертами, в которых император, причисляющий себя к школе старика Тистини из Падуи, играл первую скрипку.

Люди, знающие толк в музыке, не столько приходили в восхищение от игры порфириносца, как от запаса его отличных скрипок.

Зала оперного дома, обитая живописной фламандской холстиной, имела 22 кресла, 22 стула, 22 скамьи и по 12 лож в этаже.

Сборы в Ораниенбауме, особенно когда император играл в оркестре, были хорошие.

Между экзерцициями в Петерштадте и служением музе в оперном доме, Петр III упражнялся, как тогда говорили, в государственной деятельности.

Так на берегу Финского залива протекали дни, принося, как полагается, одним смех, другим слезы и давая столько же пищи для лести, которая, по выражению Тацита, «заключает в себе гнусное преступление рабства», сколько и для злословия, имеющего «обманчивый вид свободы».

Словом, солнце всходило и падало; в оранжереях неторопливо созревали южные плоды, в тенистых садах чирикали птички, били фонтаны и целовались любовники, не внося ничего нового в это приятное искусство, которое, видимо, все-таки умрет последним, несмотря на то, что не имеет никаких надежд помолодеть, как это иногда случается с поэзией, живописью и музыкой.

А когда из Петербурга являлись доносчики, Петр III кричал:

— Все врут, сукины дети! Русские мне преданы душой, сердцем и кровью!

Однако доносчики не забывали дорогу в Летнюю резиденцию, и это тем удивительнее, что как-то император даже приказал строго наказать того, кто вполне справедливо мог рассчитывать на благодарность.

Разумеется, что наиболее здравомыслящие из царедворцев поспешили счесть своего повелителя тронувшимся в уме.

## 2

### ИЗ ПРОТОКОЛА ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА

*«Июня 26 по указу его императорского величества Правительствующий сенат, по доношению военной коллегии, приказали: для отправляющихся отсюда, по высочайшему его императорского величества соизволению, через Нарву, Дерпт, Ригу и Курляндию в отдаленный лагерь лейб-гвардии полков 4 баталионов, с 4 гренадерскими ротами и конного полка 3 эскадронов, артиллерийским подъемным и собственным лошадам по тракту от обывателей велеть везде отводить достаточные полевые кормы, так же крайним образом стараться, дабы и фураж в Лифляндии и Эстляндии выставлен был от арендаторов без малейшего продолжения времени».*

## 3

Пьяный преображенский гренадер слонялся по казарме. Все у него заплеталось — ноги, язык и мысли. Глаза были как из слюды. Шапка с желтой опушкой съехала на левое ухо.

— А в какой день, братец, будет и-и-императору с трона ссадка? — ворочая буграми щек, спросил гренадер у косяка, треснувшись об него лбом.

— Ладно! Леший с тобой, — обиженно сказал гренадер, потирая лоб. — Коли ты, дурак, отвечать не можешь, так я о том у капитана своего спрошу.

Гвардейцы, валявшиеся круглый день на койках, заржали.

А гренадер предстал перед капитаном.

— Тебе чего?

— А я, стало, спросить: в какой день будет и-и-императору с трона ссадка?

— Ступай, черт этакий, и проспись, — не сердито сказал капитан Пассек, дружный собутыльник Алексея Орлова. — Ну! Ну! Ступай-ка, да живо!

«Ладно. Леший с тобой, — обиженно подумал гренадер, — коли ты, дурак, отвечать не можешь, так я у поручика своего спрошу».

И ушел, ворочая буграми щек.

— С чем явился?

— А я, стало, с тем, чтоб спросить: в какой день будет и-и-императору с трона ссадка?

Поручик, враждебный Орловым, наорав на гренадера, побежал к майору.

— А капитан Пассек сумнительно умолчал, — сказал майор.

— Со многих сторон подозрителен господин Пассек, — согласился поручик.

— Тех же и я мыслей, — и майор поскреб за ухом, — экий, прости Господи, Брут.

Поручик перекрестился.

Майор также.

В резиденцию к императору полетело доношение: в лейб-гвардии Преображенском полку смута.

#### 4

Во всю дорогу от Петербурга до Петергофа Алексей Орлов не сказал с приятелем своим камер-юнкером Бибиковым десятка слов.



Белая ущербная ночь производила волнующее действие скорее на лошадей, бегущих неровной рысью, чем на седоков.

Ожидая в Петергоф императора, Екатерина переместилась из нагорного дворца в павильон Монплеизир, который в Петровы времена назывался также и беседкой.

Сержант Алексей Орлов торопился звать в казармы Екатерину, чтобы идти ей во главе гвардии, не желавшей иметь на троне Петра III.

Все дело устроил арест капитана Пассека.

Орловы решили: «Добра не жди, как начнут ворошить в полках».

Ничего не подозревая, Екатерина в эту ночь спала не более тревожно, чем в предыдущую.

Белая императорская кровать была слишком широка даже для двоих, и даже тогда, когда второй персоной в ней бывал артиллерийский капитан, отличающийся столь богатырским сложением.

Алексей Орлов не повторял в пути короткие фразы, с которым предстояло ему обратиться к любовнице брата.

Да он и не заготовил их.

То и дело потирая багровый рубец, пересекающий тяжелую скулу, он медленно считал и пересчитывал по пальцам гвардейских офицеров, способных оказаться верными императору.

Разномастные лошади, наспех впряженные в экипаж, бежали неровной рысью.

Восходящее солнце было похоже на большую красную руку с растопыренными пальцами.

Каменная ограда верхнего Петергофского сада, называемого при Петре I еще и огородом, и последние минуты не показались гвардейскому сержанту более длинными, чем они были на самом деле. У этого человека по пустякам не расстраивалось воображение.

Подкатив к большим железным воротам, возница остановил лошадей.

Трепетали только деревья розовыми листьями.

— Ожидай меня, — отнесся Орлов к приятелю, — я скоро с ней буду сюда.

— Для всякого случая, поторапливай, Алеша, — сказал камер-юнкер.

Гвардейский солдат дремал на ружье.

Ему было брошено:

— Здорово, братец!

Для петергофских садов Петр покупал липы в Амстердаме, яблони в Швеции, барбарисы и розовые кусты в Данциге, буковые деревья приказывал везти из Ростова, а кедры из Сибири.

«Рощи изредить, а деревья, которые толще, — рассуждал беспокойный царь, — те сажать в тех местах, где мало лесу, а которые тонее, подле косой дороги, что от палат к Монплезиру».

Этой косой дорогой и пошел Орлов.

В нижнем саду росли дубы и сибирские кедры.

В бассейне, выложенном камнем, плавали лебеди, казавшиеся неживыми даже тогда, когда они, оглядываясь, поворачивали головы на длинных шеях, изогнутых неправдоподобно.

Среднюю часть Монплезира занимала большая зала, обшитая темным дубом.

Орлов не умел ходить не цыпочках.

Вседневные солдатские башмаки, имеющие штибельманжеты с небольшими раструбами, сильно скрипели, скользя по мраморному полу.

Екатерина спала крепко.

Подойдя к белой императорской кровати, перины которой не раз мял старший брат, сержант сказал грубо:

— Пора вставать.

## 5

Орлов поместился на козлах.

Камер-юнкер стоял на запятках рядом с камер-лакеем.

Екатерина, сидя в карете, дошнуровывала при помощи камер-фрейлины свое траурное платье.

Чтобы казаться более несчастной, она, со дня смерти Елисаветы, одевалась только в черные цвета и старательно пряталась от солнца, видимо, не вполне доверяя белилам и пудре.

Орлов, то и дело поглядывая на небо, стегал лошадей длинным ременным кнутом и ругался матерно. Рубец, что пересекал тяжелую скулу, наливался кровью. Это не делало более мягким лицо, открыто выражающее чувства и замкнутое для выражения мысли.

Солнце теперь более походило на красный кулак, чем на руку с растопыренными пальцами.

Скверная карета бренчала, хрипела, визжала.

Екатерина подумала, что честолюбие — это такой порок, который подвигает на добродетельные поступки. По-видимому, к таковым она относила и свои намерения относительно российского престола.

Матерная брань, несшаяся с козел, действовала успокоительно. Подобное действие она имеет на большую часть русских людей. Следовательно, дочь генерал-майора прусской службы, родившаяся в городе Штеттине, в какой-то мере уже обрусела.

В утреннем июньском воздухе была та прекрасная чистота, которой обыкновенно так не хватает человеческому сердцу.

Казалось, будто ни одного седого волоса не имела росная поляна. Ее неприятно рассекала дорога, подобно тому, как лицо гвардейского сержанта рассекал рубец.

Своему прежнему возлюбленному графу Станиславу Понятовскому Екатерина нередко говорила: «Давай, милый друг, строить замки в Испании», что означало: «Давай, милый друг, помечтаем». Вкрадчивый поляк охотно соглашался, несмотря на то, что мечты его возлюбленной никогда не отличались разнообразием: «Корона! корона! корона!» Эта большелобая петербургская женщина, подобно большелобой штетинской девочке, не представляла себе, что можно помечтать и о чем-нибудь другом, может быть, и не столь высоком, но гораздо более возвышенном.

Орлов стегал измученных лошадей длинным кнутом. Скверная карета могла бы вытрясти душу, если бы она имелась.

— Вы, матушка, перед солдатами-то слезы рекой лейте, а слова малой струйкой! — грубо крикнул сержант с козел.

Он опасался за ее немецкий выговор.

Но совет этот, столь неловкий в присутствии возницы, камер-фрейлины, камердинера и камер-юнкера, был совершенно излишним: заготовляя короткое слезное обращение к гвардейцам, Екатерина давным-давно затвердила в нем всякое слово на русский лад.

Из Петербурга, навстречу меньшому брату, скакал в открытой коляске Григорий Орлов с князем Барятинским.

В пяти верстах от столицы экипажи повстречались:

— Перелазьте-ка, матушка, сюда, — распорядился артиллерийский капитан, — ваши лошади мыльные, кабы не повалились.

## 6

Барабан бил тревогу.

Сонные измайловцы на бегу застегивали штаны.

Кто-то кричал.

— Государыня к нам! Государыня, мать вашу...

Сонные солдаты окружили Екатерину.

Кой-кто из офицеров был мундирован, как в парад.

Не теряя времени, Екатерина, плача, стала врать им на императора, что он замыслил заточить ее с маленьким сыном в Шлиссельбург, а может, «только один Бог знает, и порешить обоих».

Григорий Орлов, небогатый терпением, крикнул: «Виват! Самодержица наша матушка-государыня Екатерина Алексеевна!»

И вот, дочь генерала прусской службы, не успев сказать двух дюжин слов, т. е. и половины от затверженных, стала императрицею всероссийской, потому что куча гвардейских солдат, не желающих экзерцировать в плохую погоду и еще более того идти на войну, подхватила орловское «ура!»

Орали, будем справедливы, с превеликой охотой, но, разумеется, скорее из ненависти к внуку Петра I, чем из любви к немке.

— Тащите попа, — распорядился Орлов.

— Это можно, — отвечали солдаты.

И через несколько минут приволокли под руки старенького полкового попа с крестом.

Быстро-быстро присягнули: солдаты, офицеры и граф Кирила Разумовский, полковник измайловцев.

А перед семеновцами Екатерине и разговаривать не пришлось, эти сами выбежали навстречу, вопя «ура!»

Преображенцы несколько помешкали. Сии явились последними.

Что ж до гренадерской роты, то она даже сначала пообещала своему майору, арестовавшему капитана Пасека, «умереть за Петра III!»

Однако мы знаем, как любили умирать гвардейцы.

Короче говоря:

*«Приняв Бога и его правосудие в помощь, а особливо видев к тому желание всех наших вернопогоданных ясное и нелицемерное, вступили на престол наш всероссийской самодержавной, в чем и все наши вернопогоданные присягу нам торжественно учинили».*

Так говорил манифест, который не заставил себя долго ждать.

## 7

Княгиня Дашкова проснулась, когда, собственно говоря, все уже было кончено.

От огорчения она чуть не заплакала.

Одеваясь, кричала на горничных, швыряла юбки, ломала руки и дрыгала ногами.

А шелковый чулок, лопнувший на пятке, явился той капелькой, которая, как говорится, переполнила чашу.

Из широко расставленных злых глаз брызнули самые горькие слезы.

Таким образом, маленькая княгиня, столько раз с горячностью заявлявшая, что счастливейшим днем ее жизни будет тот, в который ее нежный и великий друг Екатерина осчастливит родину, став главою государства, теперь, когда этот долгожданный день наступил, вдруг почувствовала себя совершенно несчастной.

Но нельзя же злиться на «великое историческое событие» только потому, что вы его проспали.

И маленькая мужеподобная княгиня, сверкая глазенками и раздувая расплюснутые ноздри, стала совсем поженски вымещать свой небеспричинный гнев на юбках, горничных и парикмахере.

Как всегда в таких случаях, она одевалась тем медленнее, чем более спешила: крюпочки не влезали в петли, банты не завязывались, пуговицы отлетали и швы лопались.

А войска, проходившие по улице, орали «виват и ура!», и жители, разбивая кабаки, не скупилась на клики, исполненные радости.

У содержателей вольных кабаков Генриха Гейтмана, Рудольфа Вальмана, Федора Ахматова, Алексея Питечкина, Ивана Дьяконова и Богдана Медера было выпито на 28 375 рублей 53 коп.; и у кабацких откупщиков на 77 133 рубля 60  $\frac{1}{2}$  коп.

Впоследствии, на прошении одного вольного кабатчика о покрытии убытков, понесенных им в исторические дни, императрица Екатерина II сделала следующую иезуитскую надпись: *«Как казна не приказала грабить, то и справедливости не вижу, чтоб казна платила».*

\* \* \*

Дашкова била и царапала свою парадную карету. Но это не помогало делу. Сытые лошади не мчали, а волокли несчастную княгиню по запруженным улицам.

Дворец окружала многотысячная пьяная толпа: жители смешались с войском, потерявшим строй.

Карета остановилась.

Княгиня стала ругаться по-французски, а челядь, стоящая на запятках и сидящая на козлах, по-русски. Прок был один.

«Боже мой! Боже мой! Наверно, уже и сенат пригнул и синод, и целый двор, — с ужасом думала княгиня, — а я! Я! Устроившая всю эту революцию (так называла она гвардейское возмущение), боже мой! Боже мой! Явлюсь самой последней».

И без колебаний, задрав роскошные фижмы, обшитые старинным венецианским кружевом, она — этакой стрекозой — выпрыгнула из кареты, на удивление своей челяди.

Жители и солдаты стояли качающейся стеной.

Маленькая княгиня, раздув расплюснутые ноздри, принялась свирепо работать локтями и кулаками.

Но локти и кулаки имелись также и у жителей и солдат. Поэтому роскошные фижмы, парижская шляпа и необыкновенная прическа, являющаяся скорее произведением художника, чем парикмахера, довольно жестоко пострадали. Настолько жестоко, что императрица даже не сразу признала своего пламенного свободолюбивого друга в маленьком, потном, грязном и красном, как вареный рак, чудовище, окаймленном золотыми лохмотьями и черными космами, болтающимися спереди, сзади и с боков.

— Что с вами, дорогая княгиня? — только и могла выговорить растерявшаяся императрица.

Вместо ответа маленькое чудовище кинулось с широко раскрытыми объятиями на Екатерину, ставшую II.

Императрица испуганно попятилась.

— Вы бы взглянули на себя в зеркало, дорогая княгиня, — сказала она робко.

— Ах, ваше величество, — всплеснулась Дашкова, — что было! Что было! Когда я вышла из кареты, офицеры и солдаты, сразу же опознав меня, подняли на руки и понесли.

— Вот как? — позавидовала Екатерина.

— А кругом раздавались громкие клики радости. Весь народ, ваше величество, благословлял меня, как общего друга.

И показав на золотые лохмотья и болтающиеся космы, она заключила:

— Вот, ваше величество, многочисленные свидетели этого триумфа.

## 8

Был канун Петрова дня.

Император себя чувствовал почти именинником. Он даже экзерциции и развод проспал, приведя тем в изумление голштинских военных людей.

Солнце припекало.

Жухлые морщинистые воды Финского залива, казалось, помолодели.

— Сегодня, стало, у Катьки обедаем? — спросила недовольным голосом толстая Воронцова.

Вместо ответа Петр поцеловал ее в жирную шею.

— Отстань! — сказала фрейлина и отбегла широкой ладонью обслонявленное место.

У российской госпожи Помпадур лицо походило на живот.

Подали кареты, коляски и неуклюжие линейки.

Сели тесно.

Дамы жеманничали. Кавалеры к ним прижимались без особой страсти.

Император, чувствуя себя почти именинником, всю дорогу не закрывал рта. Визжал он оглушительно, полагая, что особы, сидящие на последней линейке, были бы совершенно несчастны без его острот.

Так думает большинство неутомимых остроумцев. Развлекаясь и говоря за всех, они обычно считают себя добрыми гениями беседы, в действительности становясь ее чумой, и виновниками безудержного веселия, тогда как являются рассадниками самой злой скуки.

Любимый императором Гудович, ехавший из Ораниенбаума в седле, первым узнал петергофскую новость о бегстве Екатерины.

Кинулся к императору.

Задыхаясь доложил.

Петр взвизгнул:

— Врешь, дурак, все врешь!

Но так как был подвижен в соображении, то скорее не желал верить, чем не поверил словам Гудовича.

И опять взвизгнул:

— Врешь! Врешь! Врешь! Куда ей, дурак, побежать? Для какого черта, дурак, побежать?

Но, как это часто бывает, бессмысленные вопросы задавал более для неверного успокоения самого себя, чем по незнанию и недогадливости.

— Черт побери, — замахал руками, — пустите меня вон из коляски!



Он уже более не чувствовал себя именинником.

Как бы цепляясь за воздух, понесся по аллеям, таким притихшим и потемневшим.

Ноги не сгибались в коленках, перетянутых на прусский манер.

На скользких мраморных плитах Монплезира зала — растянулся.

— Болван строил! — сказал, почесывая ушибленные ладони.

Парадное платье Екатерины, видимо, приготовленное для встречи супруга и не понадобившееся, валялось в кресле.

Петр полез под кровать.

Императрицы там почему-то не оказалось.

Открывал шкафы.

Заглядывал за портьеры.

Шарил тростью под канапе.

Выдвигал у бюро ящики, которые вряд ли могли бы служить колыбелями для новорожденных.

Повалил все стулья.

Восклицал:

— Черт ее побери, как сквозь землю провалилась!

Обыскав таким образом монплезирские комнаты, выпрыгнул в притихший и потемневший сад.

— Катя!.. Катя!.. Ваше величество!.. А-у-у-у-у! — кричал император.

В голосе его дрожала слеза.

И толстая фрейлина, зараженная безумием, тоже кричала «А-у-у-у-у!» и раздвигала кусты и оглядывала деревья.

Но даже эхо не отвечало им.

Тогда фаворитка заревела.

А вслед за ней заревели и все прибывшие из Оранienбаума прекрасные и непрекрасные персоны, молоденькие, среднего века и старухи.

К Петру на цыпочках подошел пузатый князь Никита Юрьевич Трубецкой.

— Ваше величество, я дознал с достоверностью, — сказал он медовым голосом, — государыня в пять часов

утра потаенно с камер-юнгферою своей и с камердинером Шкуриным уехала в Петербург.

Петр, упав в траву, стал рвать ее зубами и пальцами.

— Не надо, миленький, не надо так, — уговаривала его толстая фрейлина, глядя по голове, как ребенка, широкой ладонью.

А у самой струями катились слезы по рябым щекам.

Если б какая-нибудь сверхъестественная сила поставила в ту минуту перед императором коварную Екатерину, то и ее бы он, как траву, рвал зубами и пальцами.

Одного можно взбесить, другого озлить, третьего рассердить, у четвертого разжечь гнев — этот не станет царапаться и кусаться.

Многолиственные ветви, образовав зеленое сито, просеивали июньское солнце мельчайшими раскаленными зернами.

Трубецкой, Воронцов и Александр Шувалов, отойдя в сторонку, шушукались.

— Ты, Михайла Ларивонович, в том роде, как родственник ему, — обратился Шувалов к почтенному дядюшке толстой фрейлины.

— И также великий канцлер, — сказал Трубецкой.

— А потому, сударь, тебе надлежит впереди нас производить разговор с ним.

Вся правая сторона лица у Шувалова дергалась беспрестанно.

— Как же репортовать-то? — спросил Воронцов, у которого, по меткому слову Елисаветы, «в голове было редынько засеяно».

— А так, чтобы троих нас в Петербург направил, — сказал медовым голосом Трубецкой, — будем, де, изо всех сил уговаривать императрицу, коли она для захватки престола побежала, чтобы смирилась.

— Ну, а коли, сударь, не убедится он моими резонами?

— А ты, Михайла Ларивонович, поревнительней с ним, поревнительней, — дернулся Шувалов скулой и бровью, — не гибнуть же нам тут в бедственных лабиринтах.

И трусливо, все трое на цыпочках, стали как бы подкрадываться к императору, сидящему на траве.

Рассеянно выслушав великого канцлера, Петр взвизгнул:

— А коли она не покорится, убейте ее шпагами, друзья мои!

Воронцов отвечал:

— Бог тому будет свидетель.

Петр вскочил с травы.

— Клянись, судари, что или живою она будет у моих ног или мертвою у ваших!

Царедворцы, устремя взоры к небу, сказали:

— Клянемся!

Тогда Петр, прослезясь, обнял и трижды поцеловал каждого в губы.

— Вот, сударыни, — обернулся он к дамским персонам, — вот истинные герои! Смотрите на них, осыпайте их цветами. Государь, имеющий вокруг себя друзей со столь рыцарскими сердцами, может почитаться счастливейшим из смертных.

Воронцов, Трубецкой и Шувалов, рыдая, бросились лобызать руку, указывающую на них.

— С Богом, друзья мои! Скачите, не теряя ни минуты!

И царедворцы, не теряя ни минуты, захватив лучших императорских лошадей, поскакали в придворной карете в Петербург приносить присягу Екатерине II.

\* \* \*

Первую весть из столицы привез поручик Преображенской бомбардирской роты, приехавший в Петергоф с фейерверком.

В девятом часу утра он слышал в своем полку большой шум и видел, как многие солдаты бегали с обнаженными тесаками, провозглашая Екатерину Алексеевну царствующей императрицей.

— Вы слышали это своими ушами, сударь?

— Своими ушами, ваше величество, но я не обратил внимания, так как торопился с фейерверком.

После этого известия лейб-хирургу пришлось немедленно дать императору успокоительного стального порошка.

— Чего в печь стали? — крикнул на матросов поручик бомбардирской роты. — Выгружайте, дьяволы, фейерверк! Выгружайте фейерверк!

Екатерина, умевшая угождать людям, позаботилась о прекрасном зрелище для своего супруга-именинника.

Петр замахнулся испанской тростью:

— Убирайтесь вы, сударь, в преисподню со своим фейерверком!

Миних, бывший в свите, сказал:

— Надо разослать гусар и ординарцев по дорогам, чтоб разведку делали.

Шефы ингерманландцев и астраханцев приказали адъютанту скакать в Петербург к полкам с объявлением «в самой скорости выступить им в Раниенбаум».

Тайный секретарь Волков стал диктовать четырем писцам именные указы к гвардии и народу. Петр, не глядя, подписывал их на поручне канального шлюза.

Отправили полковника в Кронштадт за тремя тысячами солдат, а вслед за полковником отправили туда же генерала, чтоб «удержать» за государем «эту крепость».

Прусский посланник посоветовал императору бежать в Нарву к войскам.

А толстая Воронцова еще дальше:

— Прямо в Голштинию, в вотчину свою, к Фридерикку, другу нашему, под покров.

— Нет, господа, не в Нарву и не в Голштинию, а в Петербург, — присоветовал Миних, этот старый тигр, старая змея, старая лисица и старый осел.

— Куда? — переспросил Петр.

— Поверьте, государь, если вы явитесь храбро и неожиданно перед гвардией и народом, вы склоните их на свою сторону. Так поступал Петр Великий, ваш дед.

Лейб-медик дал императору принять второй успокоительный порошок.

Проглотив его, Петр сказал:

— Я решил, друзья мои, защищаться здесь до последней капли своей крови и до последнего человека.

И, послав в Ораниенбаум за голштинцами, побежал к римскому фонтану, бьющему из плоской вазы, чтобы намочить платок.

Повязал им лоб.

А через минуту содрал повязку и бросил прочь.

Вдруг стали подкашиваться ноги.

Кликнул:

— Романовна, где же ты ходишь!

И оперся на ее жирную руку.

И сказал жалобно:

— Я очень хочу кушать.

Принесли бутербродов, какого-то мяса и несколько бутылок вина; поставили на деревянную скамью. Тем же жалобным голосом спросил:

— А где же все наши друзья?

— Верно, гуляют по аллеям или еще где, — сказала Воронцова, не глядя в глаза.

Посланные к Екатерине и в разведку, и к полкам не возвращались, а дамские персоны укрылись в нагорном дворце, боясь не столько оказаться посреди баталии, сколько оказать внимание императору, чьи дела были плохи.

Глотая мясо большими неразжеванными кусками, сказал:

— Она будет дурой, если не смирится... Черт с ней, не больно жаль! Пусть на себя пеняет, коли проткнут шпагами.

— Уж верно проткнут, — заключила Воронцова, не глядя в глаза.

Ел и пил с жадностью, но руки дрожали не от того.

В восемь часов вечера генерал фон-Левен привел из Ораниенбаума белоштаннных голштинцев.

Пехоту разместили близ моря на террасе в обширном зверинце, занимавшем до шести квадратных верст.

Кавалерия рассыпалась вдоль парка.

Были даже пушки, но без снарядов.

— Ваши порошки, сударь, имеют прекрасное действие, — сказал император лейб-медику, — если они не вредны для здоровья, я готов проглотить еще один.

И, проглотив третий, принял решение не давать боя в Петергофе.

Наконец около десяти часов вечера прибыло известие от генерала, посланного в Кронштадт: крепость сохранила верность.

Император стал прыгать и бить в ладоши.

— А как, Романовна, быть нам с голштинским войском? — спросил у толстой фрейлины. — Может, ему обратно маршировать?

— Пуццай маршируют, — согласилась та; и еще посоветовала благоразумно: — Да и кафтан бы ты, что ли, надел гвардейский, а ленту прусскую и сей проклятый мундир скинул.

— Это так! — воскликнул Петр. — К черту их!

Кухню, погреб и прекрасных персон приказано было грузить на суда.

Дул попутный ветер.

Тем не менее, когда подплыли к крепостному бастиону, караульный мичман уже орал в трубу, что «никакого Петра III более нету, а есть Екатерина II».

Оказывается, что императрица сообразила послать к матросам адмирала; и петергофский генерал, прибыв в морскую крепость первым, скоро очутился позади; таким образом, тот, кто был ближе к делу, оказался ближе и к счастью.

Императорская галера бежала на веслах.

Ночь была светлая.

К морщинистым финским водам вернулась старость.

Высадившись в Ораниенбауме, Петр III, по просьбе дам, распустил голштинское войско.

## 9

### УКАЗ ГОСПОДАМ СЕНАТОРАМ

*«Я теперь выхожу с войском, чтобы утвердить и обнадежить престол, оставляя вам, яко верховному моему правительству с полной доверенностью под стражу отечество, народ и сына моего».*

*Екатерина*

## 10

Императрица и княгиня Дашкова, спустив юбки, перерядились, будто для «менуветов метаморфоз» — в преображенцев.

Штаны, камзолы и кафтаны они сняли с двух низкорослых офицеров — одного округлого, другого щуплого.

Подруги распустили по плечам волосы. У Екатерины они были красивого коричневого цвета с сухим блеском; у Дашковой — жесткие черные.

Но в штанах вертялая княгиня была не столько смешна, как дородная императрица, имеющая короткие ноги и низкую спину.

В таком виде, впереди гвардейских полков, дамы поздним вечером выступили в поход, на Петергоф, думая найти там императора, окруженного горстью голштинцев.

Екатерина, разумеется, с обнаженной шпагой восседала на белом коне.

А Дашкова гарцевала на вороной кобыле.

Гусары, казаки, артиллерия и полевые полки вышли из столицы несколькими часами ранее.

Движение гвардейских полков, возглавляемых дамами, меньше всего можно было назвать маршем: до Красного Кабачка, стоящего от Петербурга на девятой версте, плелись три часа.

Здесь было решено дать несколько проспаться пьяным солдатам, которых Екатерина называла «утомленными».

Такая учтивость вообще была ей свойственна; кроме того, она, как известно, почитывала древних авторов, а римские аристократы, если только верить Плутарху, имели обыкновение говорить: «он жил», когда надо было сказать о ком-нибудь, что он умер.

Солдаты где стояли, там и повалились. Если бы воздух не был оглашаем пьяным храпом, можно было бы подумать, что большая дорога усеяна трупами.

Когда дамы, видимо, изнывающие от жажды, попросили «бутылочку какого-нибудь вина», хозяину трактира пришлось только руками развести.

— Алексей Орлов, верно, со своими гусарами имел здесь остановку? — догадалась Екатерина.

Так оно и было в действительности.

Дамы, не снимая штанов, провалялись пять часов на грязной постели, завешанной солдатским плащом.

Когда стали уже петь петухи, пришло донесение от сената о благополучном состоянии столицы и полной исправности повеленных учреждений и добром здравии цесаревича.

Екатерина с некоторого времени усердствовала казаться нежной родительницей.

Ведь император освобождал российский трон не столько для дочери генерала прусской службы, сколько для матери правнука Петра Великого. По крайней мере, за такового полагалось принимать маленького Павла. Само собой, никто не мог воспретить родительнице его иметь свое собственное мнение на этот счет.

В шестом часу трубы и барабаны едва подняли разоспавшуюся гвардию.

Расчесав волосы чужим гребнем, Екатерина вновь села на белого коня.

Утро было превосходно.

Лица гвардейских солдат казались мужественными и воинственными, тогда как они были злыми и мрачными с похмелья и короткого сна.

Свита становилась с каждым часом все более и более блестящей, пополняясь предателями.

И может быть, только подруга, гарцевавшая подле на вороной кобыле, несколько портила императрице настроение.

Трудно, вообще, сказать, отчего мы больше страдаем — от отсутствия друзей или от их присутствия.

Кроме того, отчаянному скупцу легче поделиться содержимым своего кошелька, чем честолюбцу — славой.

Полки шли, разломав строй и линии.

Сорвав с плеч в первые часы возмущения узкие и короткие мундиры прусского образца, гвардейцы теперь чувствовали себя вольготно в просторных старых кафтанах прошлого царствования.

У Троицкой пустыни к Екатерине явился вице-канцлер князь Голицын с письмом, писанным по-французски, от Петра III.

Екатерина встретила посланца улыбкой, которая ей самой казалась очаровательной.

Петр предлагал своей супруге разделить с ним власть.



— А что у вас, князь, делается в Ораниенбауме? — спросила Дашкова.

Голицын рассказал, как Петр, по просьбе дам, распустил тамошнее войско.

— Это очень разумно, — сказала Екатерина.

И, продолжая весело болтать с вице-канцлером, как бы забыла о письме своего супруга.

\* \* \*

Алексей Орлов занял Петергоф без выстрела.

Но воинскую часть, верную императору, все же удалось обнаружить.

Это были голштинские рекруты с палками вместо ружей.

## 11

Петр старательно переписывал с листа, присланного Екатериной: *«Того ради, помыслив я сам в себе беспристрастно и непринужденно, чрез сие объявляю не токмо всему Российскому государству, но и целому свету торжественно, что я от правительства Российским государством на весь век мой отрицаюся».*

За дверью тяжелыми шагами расхаживал Григорий Орлов.

Под окном ржали гусарские лошади.

Казалось, что Петр, писавший за небольшим овальным столом, думал только о том, как бы поизрядней вывести буквы.

И только когда шаги Орлова, доносившиеся из соседней залы, становились нетерпеливей и резче, Петр вздрагивал всем телом.

— Вот и кончил, — сказал он с жалким видом, — пойдите и передайте это, пожалуйста, господину Орлову.

Генерал, которого Петр считал преданным себе, взял бумагу. Солдаты разговаривали под окном хриплыми голосами.

Петр, крадучись, заглянул через пыльное стекло.

— Господи! Господи! Господи!

И задрожал всем телом, и заплакал и забился в дальний угол.

Столь страшен и звероподобен показался громадный одноглазый конногвардейский вахмистр, с которым бывший император ненароком встретился взглядом.

Фамилия вахмистру была Потемкин. В комнату вернулся генерал, которого Петр считал преданным себе.

— Пойдемте садиться в карету, — сказал генерал. — Елисавета Романовна и Гудович там дожидаются вас.

Петр спросил с жалобным видом:

— Куда же повезут меня?

— В Петергоф, — коротко объявил генерал.

Гусары и конногвардейцы окружили четырехместную карету.

Генерал спустил на окнах зеленые гардины. Петр жаловался на озноб.

Толстая фрейлина всю дорогу грела своими широкими ладонями его холодные руки.

А был полдень, и солнце пекло.

В Петергофе влюбленных разлучили.

Дежурному офицеру бывший император сам отдал свою шпагу.

А ленту андреевскую и преображенский мундир с него содрали.

И так как другой одежды не припасли, то он остался сидеть во исподниках, в нижней рубашке и босиком.

## 12

*«...после того я послала, под начальством Алексея Орлова, в сопровождении четырех офицеров и отряда смиренных и избранных людей, низложенного императора за 25 верст от Петергофа, в местечко, называемое Ропша, очень уединенное и очень приятное, на то время, пока готовили хорошие и приличные комнаты в Шлиссельбурге...*

*Страх вызвал у него понос, который продолжался три дня и прошел на четвертый; он чрезмерно напился в этот день, так как имел все, что хотел, кроме свободы*

*(попросил он у меня, впрочем, свою любовницу, собаку, негра и скрипку)».*

Это принадлежит перу Екатерины II.

Скрипка бывшего императора была работы Лаврентия Гваданини; собака — породы мопсик; негра звали Нарциссом.

Просьбу же относительно любовницы не сочли мыслимым уважить.

## 13

— Что-то на сердце у меня нет спокойствия, — пожаловалась императрица Григорию Орлову, перевязывая ему ногу, зашибленную в голени.

— Чего ж так? — потянулся Орлов. — Теперь будто, матушка, сколько-нибудь против прежнего поспокойней.

И, хрупнув костями, выгнул спину подобно большому, но гибкому животному. Екатерина сказала:

— Всякая мысль моя в Ропше.

И, положив на колени волосатую, тяжелую как бревно ногу, погладила ее нежно.

— Все о карауле думаю, да и как, право, не думать, когда и наше счастье и счастье целого отечества от такого вздора зависит.

Орлов успокоил:

— Алешка, небось, стережет-то. От него не больно брызнешь! — и опять потянулся в плечах и выгнул спину, имеющую скорее лопаты, чем лопатки. — Да еще Бярятинский там, да Потемкин-циклоп, поди брызни от них!

— Что и говорить, сам не побежит, другое дело, если какой полк приедет в помощь да эскадроны.

— Это так, — согласился Орлов, — нынче время бурливое.

И, придвинув к себе шкатулку, что стояла на небольшом круглом столике, стал рыться в ней.

— Что ищешь? — спросила Екатерина.

— Да цидулу из Ропши, от уroda нашего. Ту, стало, цидулу, что как бы шутком и буфоном писана. Что-то по-

смеяться охота. Вот она, вот! Сделай милость, матушка, огласи уродовым голосом.

Это письмо было уже читано раз двадцать, и всегда Григорий Орлов надседался от смеха.

— Ну, давай, — сказала Екатерина.

И стала читать:

— *«Сударыня, я прошу ваше величество быть уверенной во мне и не отказать снять караулы от второй комнаты, так как комната, в которой я нахожусь, так мала, что я едва могу в ней двигаться. И так как вам известно, что я всегда хожу по комнате...»*

В этом месте почему-то Григория Орлова начинало трясти от смеха.

Екатерина повторила:

— *«И так как вам известно, что я всегда хожу по комнате, и то от этого распухнут у меня ноги...»*

— Ну? ну? — не терпелось смешливому человеку.

— *«Еще вас прошу, — Екатерина пыталась подражать голосом Петру, — не приказывать, чтобы офицеры находились в той же комнате со мной, когда я имею естественные надобности — это невозможно для меня...»*

От безудержного веселия слезы посыпались градом из голубых глаз Орлова.

Дав ему вдосталь насмеяться, Екатерина сказала:

— А то письмо, где бывший император просит отпустить его в чужие края, верно, чтоб искать защиты у Фридриха, — не так уж потешно.

Орлов вдруг озлился:

— В Шлиссельбург его, урода! Завтра же наутрие и везти. Вот что! И садить там в какой ни есть каземат. А коли стены не так белены будут да мебели не французские, так в черепья, небось, не рассыпется. Урод проклятый!

Екатерина сказала задумчиво:

— Шлиссельбург, как помнится, тоже не на краю земли. До Петербурга рукой протянуть. И караулы держат не ангелы неподкупные.

И вздохнула глубоко:

— А если дальше услать, за Архангельск или в Сибирь, это и того беспокойней.

Орлов грубо снял ее пальцы со своей волосатой ноги:  
— Вот навязался тоже урод на голову нашу!  
Екатерина подняла спокойные глаза:  
— Здоровья он не очень крепкого, чуть не всякий день спазмы в груди да колика геморроидальная.  
И, несколько помолчав, заключила:  
— Может, и позовет скоро Господь к себе.  
Орлов, переведя дух, сказал:  
— Да, здоровья он вовсе не крепкого.  
И повторил, задрожав ногой, тяжелой, как бревно:  
— Да, кто ведает, может, и позовет скоро Господь.

## 14

### ВТОРНИК 2 ИЮЛЯ

Гренадеры бездельно валялись во дворе под высокими елями, обрезанными пирамидами.

Петр стонал на кровати, стоящей под альковом.

Так как тяжелые гардины круглые сутки занавешивали окна, в комнате его было, несмотря на ранний час, полутемно и прохладно.

В чистом пруду, обильном форелями, сержанты купали лошадей, смеясь на ругательства актера Федора Волкова, сидящего на зеленом берегу с удочкой.

Потемкин, князья Барятинские, сержант гвардии Энгельгардт и бывший лейб-компанец Шванович спозаранок играли в карты, устроившись на широких каменных ступенях террасовой лестницы.

Выигрывал циклоп.

По звездообразным липовым аллеям порядочного сада, разбитого в старом французском вкусе, только пичужки прыгали.

*«Матушка Милостивая Государыня здравствовать вам мы все желаем нещетные годы. Мы теперь по отпуск сего письма и со всею командою благополучны...»*

Как-то странно — палкой — торчало перо в негибких пальцах Алексея Орлова.

А какому-нибудь другому человеку трудно ломать подковы.

Рубец, пересекавший тяжелую скулу, побагровел, налился кровью, верно от чрезмерного напряжения, как физического, так и умственного.

*«...только урод наш очень занемог и схватила кво нечаеная колика, и я опасен, шток он севоднишнюю ночь не умер, а больше опасюсь, шток не ожил».*

Орлов кинул за окно негодное перо. Взял другое. Размял затекшую левую руку.

Прислушался, как стонет в соседней комнате арестант. Перекрестился.

Однако этот день не принес ничего хорошего.

### СРЕДА 3 ИЮЛЯ

У лакеев есть дурная привычка доедать с чужих тарелок и допивать оставшееся в бокалах вино.

Барятинские, Энгельгардт и Шванович опять проигрались.

Фортуна, видимо, не собиралась изменять Потемкину.

Офицеры, вслед за актером Федором Волковым, стали называть Алексея Орлова «писателем».

Вот несколько строк из следующего произведения его пера:

*«...А теперь и тот приставленный к нему для услуги лакей Маслов занемог, а он сам теперь так болен, што не думай, шток он дожил до вечера и почти совсем уже в безпамятстве о чем уже и вся команда здешняя знает и молит Бога, штоб он скорей с наших рук убрался...».*

А больной-то и выжил.

### СУББОТА 6 ИЮЛЯ

Перед тем, как удавить Петра, гвардейцы схватили вышедшего из дворца камердинера и, посадив его в повозку, вывезли из Ропши.

А некоего Брессана, пожалованного из камердинеров в действительные бригадиры, не вывезли, и он один против всех кинулся защищать своего «барина».

Похоже на то, что только камердинеры иногда сохраняют верность бывшим императорам.

Удавив Петра, Орлов сел писать к Екатерине очередное письмо, которое мы уже с полным правом можем назвать творчеством литературным:

*«Матушка, милосердная Государыня! Как мне изъяснить, описать что случилось! Не согласишься верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть; но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка — его нет на свете. Но никто сего не глумал, и как нам загумать поднять руки на Государя! Но, Государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором, не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня, хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил, прогневали тебя и погубили души на век».*

\* \* \*

Алексей Орлов в сентябре, в коронационные дни, получил орден Александра Невского и 800 душ и крупную сумму денег; кроме того, вместе с братьями Григорием и Федором, — село Оболенское в Серпуховском уезде с 2929 душами.

Князь Федор Барятинский был пожалован в камерюнкеры и двадцатью четырьмя тысячами рублей.

Потемкину — «в Куньевской волости — 400 душ».

## 15

Сообщение французского посланника барона Брейгель:

*«Императрица получила известие об этом ужасном исполнении в полдень. Это было время показаться при дворе. Она собрала потом интимный совет из тех, которые могли узнать о конце ее мужа, и решали сообщить ли в тот же день в сенат о смерти Петра III. Большинство было за то, чтобы скрыть это еще сутки от се-*

*ната и народа. После этого решения царица показалась, как всегда, вечером при дворе. На другой день, назначенный для объявления о смерти императора, Екатерина сделала вид, что узнала это вместе с публикою, плакала, не выходила и показывала свое горе. Я знал все ужасные причины, требовавшие этой трагической сцены, но я не знаю, прав ли я, она мне так отвратительна, как и событие, вызвавшее ее».*

## 16

Своему прежнему возлюбленному графу Станиславу Понятовскому Екатерина, не скупясь на подробности, следующим образом описала смерть Петра:

*«Его охватил приступ геморроидальных колик вместе с приливами крови к мозгу; он был два дня в этом состоянии, за которыми последовала страшная слабость, и, несмотря на усиленную помощь докторов, он испустил дух, потребовав лютеранского священника. Я опасалась, не отравили ли его офицеры. Я велела его вскрыть; но вполне удостоверено, что не нашли ни малейшего следа; он имел совершенно здоровый желудок, но умер он от воспаления в кишках и апоплексического удара. Его сердце было необычайно мало и совсем сморщено».*

Сообразительная Екатерина, перед тем как показать народу мертвого Петра, приказала одеть его в голштинский мундир.

Шею удушенного обмотали широким шарфом, а на пальцы, вывернутые в суставах, натянули белые грязные перчатки с крагами.

Конец

<Конец 1930-х>



## ПИРОГОВ У ГАРИБАЛЬДИ

### 1

Русские профессорские кандидаты приехали в Гайдельберг 8-го июня. А Николай Иванович Пирогов, назначенный их руководителем, приехал туда двумя неделями позже. Он не предупредил телеграммой о дне своего приезда и поэтому его никто не встречал на вокзале.

Сделав несколько шагов по перрону, Пирогов неожиданно услышал позади себя русскую речь.

— А вот и господин Пирогов! — громко сказала рыхлая дама в розовой шляпке своему кавалеру в песочном пальто и в цилиндре такого же цвета. — Явился развращать возмутительными идеями русскую молодежь.

— Слава Богу, что из России его государь выгнал, — ответил кавалер, разглаживая пышные усы.

«Э, родные плевелы! — подумал Пирогов. — Обернуться, что ли?.. А почему бы и нет!»

И, вскинув густые брови, он насмешливо взглянул прямо в лицо рыхлой даме, а потом ее спутнику из жандармского корпуса.

Пирогов хорошо знал, что Александр II не слишком благоволил к нему и даже называл «красным». Знал и то, что отправка его за границу с кандидатами на профессорские кафедры российских университетов и была, в сущности, высылкой, сравнительно вежливой. Знал и отношение к себе вот таких «пушистых усов», которые для многоопытного русского глаза оставались жандармскими, «голубыми мундирами», и в штатском песочном пальто парижского кроя. Все это, повторяем, Пирогов превосходно знал и, тем не менее, слова «дорогих соотечественников» рассердили его.

— Покорнейше прошу! — сделав шаг в сторону, сказал он. — Прошу покорно.

И пропустил онемевшую пару мимо себя. После чего, минуя вокзал, вышел, вслед за своим носильщиком, на небольшую площадь, вымощенную каменными плитами — гладкими, как ладонь.

Гайдельберг, возникший на развалинах римских укреплений времен Юлия Цезаря, красиво расположенный у зеленых гор Оденвальда, был чисто студенческим городом. На улицах мелькали маленькие студенческие цепочки — малиновые, голубые, оранжевые и ярко-зеленые.

В магазинах торговали вещами для студентов: книгами, рапирами, фарфоровыми трубками, толстейшими палками, пивными кружками и ошейниками для студенческих собак. Их было великое множество.

В железных лавках, рядом с ведрами, лопатами и гвоздями, красовались рапиры и маски из тонкой проволоки, которыми студенты закрывали лицо при поединках.

Портные шили студенческие венгерки, сапожники делали студенческие ботфорты, а часовщики чинили студенческие часы, похожие на луковицы.

Кроме того, в каждом квартале имелся либо студенческий трактир, либо пивная, либо винный погребок. И было там от студентов много тесней, чем в аудиториях университета, старейшего в Германии.

## 2

В русскую библиотеку-читальню зашел запыхавшийся Модзалевский.

— Ужасное известие, господа...

В просторной комнате, оклеенной оливковыми обоями и освещенной тремя лампами под зелеными абажурами, находилось человек двадцать — политические эмигранты, студенты, туристы, профессорские кандидаты.

— Ранен Джузеппе Гарибальди! — глухо сказал Модзалевский, и как-то странно повел шеей, словно галстук повязан был слишком туго.

Кто-то спросил:

— Тяжело ранен?

Модзалевский утвердительно наклонил голову.

В тихой комнате стало еще тише.

— Куда?

— Одной пулею, господа, в бедро, а другой чуть выше ступни.

— Боже мой, боже мой, они стреляли в Гарибальди, — чуть слышно промолвила бледная стриженная девушка в роговых очках. — Они осмелились в него стрелять.

— Да-а!..

И напряженная тишина библиотеки-читальни превратилась в гул, в шум, в несдержанный взволнованный говор.

У Модзалевского в комнате висел на стене портрет Гарибальди в красной шерстяной рубашке и с клетчатым платком, завязанном на груди морским узлом. Такие же портреты, или статуэтки, или фотографии можно было увидеть в десятках тысяч комнат Европы и обеих Америк.

— Да-с, господа, герой освобождения Италии от иноземных поработителей ранен пулей Виктора-Эммануила! Того самого Виктора-Эммануила, того самого «свободолюбивого короля», который еще совсем недавно посылал герою фазанов, убитых собственноручно. Какая ирония!

Политический эмигрант в темно-синей блузе, подпоясанной широким ремнем, воскликнул:

— Вот тебе и фазаны! Королевские фазаны...

Италию тогда топтали солдаты австрийские и испанские, солдаты французского деспота Наполеона III, прозванного Наполеоном маленьким, солдаты Неаполитанского Бурбона и крестоносное войско римского папы, не желавшего отказаться от светской власти.

— Позор Виктору-Эммануилу! — крикнула молодая красивая женщина в старомодной гарусной накидке.

И русская библиотека-читальня зашумела.

\* \* \*

Виктор-Эммануил, шпагою Гарибальди освободивший Италию от австрийцев и Неаполитанского Бурбона, раболепствовал перед Наполеоном III.

Когда Гарибальди заявил: «Рим или смерть!» и двинул своих волонтеров на освобождение Вечного Города от власти папы, французский деспот написал Виктору-Эммануилу: «Ваше величество, необходимо со всей решительностью пресечь мятеж гарибальдийских красных рубашек. Эти бродяги, ремесленники и нищие студенты несут на своих пиках, вилах и кольях безверие и республику». После чего король Италии с трусливой покорностью загородил своими войсками дорогу на Рим.

Краснорубашечники встретились с полками Виктора-Эммануила у горы Аспромонте. Не жалея «обогреть итальянской кровью землю Италии», Гарибальди приказал своим волонтерам «поставить ружья к ноге».

Краснорубашечники повиновались.

А генерал Палловчини, командовавший солдатами монархии, открыл огонь.

Гарибальди был ранен первыми пулями. Падая, он крикнул:

— Да здравствует свободная Родина!

Королевский генерал взял в плен победителя австрийцев при Луино и французов, высадившихся в Чевито-Веккиа; взял в плен главнокомандующего войсками Римской Республики, мужественно защищавшими Вечный Город от громадной армии Наполеона III; взял в плен вождя, за которым шли тысячи итальянских юношей и мужей даже тогда, когда он говорил им: «Я обещаю вам голод, жажду, холод и зной; никаких запасов, но постоянные тревоги; отсутствие пороха и рукопашные битвы; форсированные марши день и ночь». Наконец, он взял в плен освободителя обеих Сицилий и Неаполя от тирании Бурбона. Короче говоря, Паллавичини взял в плен Джузеппе Гарибальди.

Теряющего сознание пленника внесли на корабль «Женевский Герцог». Солдаты обеих итальянских армий плакали, целуя край его окровавленного плаща.

На корабле не оказалось льда. Раны воспалились. С каждым часом усиливался жар. В таком состоянии пленника отправили сначала в Вариньяно, потом в Спеццию.

Газеты писали об унылой сырой комнате, где расхаживали две сороки; об одинокой сальной свече на шатающемся столике; о грубом одеяле, о подушках без наволочек

и узкой жесткой кровати, на которой «был распростерт Великий Плебей». Так Герцен называл Гарибальди.

Мир заволновался. В столицах обоих полушарий за бурлили митинги. Кой-где уже открыли подписку на золотой венок для человека, который еще не умер.

Все это вначале смутило, а потом напугало Виктора-Эммануила. Объединяя Италию «Шпагою Гарибальди», он искал популярности и нуждался в расположении Старого и Нового Света.

«Я окружу моего друга Джузеппе заботой, как пленника королевской крови», — объявил монарх.

Ничего другого ему и не оставалось сделать.

В сырой комнате стало уютней: появились столики и кресла красного дерева, появились бронзовые светильники с желтыми восковыми свечами и сверкающие белой наволочки на подушках.

Прибывали врачи.

Каждый день они выпускали бюллетени все более и более тревожные.

\* \* \*

— Друзья! Друзья мои!

Стриженная девушка в роговых очках подняла руку над головой:

— Возле раненного Гарибальди должен быть Пирогов!.. Наш великий Пирогов!

— Это верно, — приятным баском сказал политический эмигрант в темно-синей блузе. — Если рана серьезная, там должен быть Николай Иванович.

И со всех сторон раздались возбужденные голоса:

— Просить Пирогова!..

— Просить Николая Ивановича!..

В тот же вечер в библиотеке-читальне была устроена «общая чрезвычайная сходка», единодушно выбравшая посланцем к Пирогову профессорского кандидата Льва Николаевича Модзалевского, который в свое время подготавливал к поступлению в университет обоих сыновей Николая Ивановича и был в семье хирурга не чужим человеком.

Городские куранты пробили полночь, когда Модзалевский, минуя витрину магазина с картинками из студенческой жизни, подошел к узкому дому из серого камня, что стоял на берегу речки Неккар, неподалеку от старинного моста с тяжелыми гранитными башнями.

«Поздновато, собственно говоря, к Николаю Ивановичу», — подумал Модзалевский.

Узкий дом был защищен от мирных переходов высокой решеткой из литого чугуна и крепостными воротами, которые мелодично пели, когда открывали их громадным средневековым ключом.

Модзалевский глубоко вздохнул и, пощипывая бородку, поднял глаза на окна пироговского кабинета. В окнах еще трепетал зеленоватый приветливый огонек.

«Э, была-не-была!»

И робко дернул за толстый шнур, сплетенный из бронзовых нитей.

Сейчас же в маленьком квадратном окне, слева от ворот, появилась заспанная голова в ночном колпаке.

— Добрый вечер, дедушка Гоф! — подобострастно прокричал Модзалевский, вообще отличающийся довольно независимым характером. — Добрый вечер!

— Доброй ночи, сударь! — хрипло отвечала голова привратника; она казалась не менее древней, чем мост с гранитными башнями.

— Я, видите ли, к профессору Пирогову.

— Пожалуйста, пожалуйста, сударь. Господин профессор еще не ложились.

И крепостные ворота мелодично запели.

\* \* \*

Коридор, рассекавший большую квартиру на две разные половины, был устлан толстой и мягкой дорожкой вишневого цвета; по ней и в кавалергардских шпорах можно было пройти без звона.

— Разрешите войти, Николай Иванович?

— А!.. Полуночник! — не поворачивая головы, сказал Пирогов.

В эту минуту он собирал на письменном столе большие голубоватые листы, исписанные сверху донизу, кривым и не слишком разборчивым почерком.

— Очень рад. Присаживайтесь, голубчик.

Пирогов работал тогда над книгой о военно-полевой хирургии. Вскоре, после выхода в свет, эта книга была переведена на многие языки и стала «настольной» для хирургов Европы.

— Поближе, мой друг, поближе.

Модзалевский придвинул тяжелое кресло и стал медленно свертывать папироску, подыскивая в уме первые нужные слова, которые обычно находят несколько раньше — дома или по дороге.

— Я, Николай Иванович, собственно говоря... явился, видите ли... незваным гостем... в такой несуразный час...

А Пирогов уже вытянул из-под бронзовой чернильницы телеграмму, подписанную старшим сыном Гарибальди — Менотти.

— Вот... два часа тому назад получил из Спецции... К раненному герою приглашают... к Джузеппе Гарибальди.

И, передавая телеграмму, пробормотал:

— И как это им в голову взбрело?

— А Вам, Николай Иванович, так сказать, во всем мире...

— Что? Где? — оборвал пирогов. — Во всем мире? И только? А на Луне еще не знаменит ваш покорный слуга? А на Марсе? А на Юпитере?

Пирогов не терпел славословий.

Но Модзалевский, в сущности, был прав. В те годы Пирогов уже стал широко известен не только в России, но и далеко за ее пределами. Кроме того, Гарибальди был слышан о нем от своего друга Александра Ивановича Герцена.

— Этот Менотти, говорят, родился со шрамом на лбу, — сказал Модзалевский.

И положил прочитанную телеграмму на стол.

— Пожалуйста, Николай Иванович... Примечательная телеграмма.

— Нда, так-то... — промолвил Пирогов, прикрыв телеграмму ладонью, — «И последний мой вздох отдать

за отечество. Вот мое право...» А?.. Хорошо где-то сказал мой будущий пациент?

— Очень!

— Это я в газете прочитал, года четыре тому назад. Такие слова, друг мой, на всю жизнь запоминаются.

И он подошел к окну, раскрытому настежь. Ночь была ясная, безветренная, нехолодная.

— Да-с, именно «мое пра-во»! — отчеканил Пирогов. — Каждый человек имеет право умереть за отечество.

И сердито свел густые беспокойные брови:

— А вот наш император не хотел пускать меня в осажденный Севастополь... Вот вам и право!

\* \* \*

Это было в 54-м году. Николай Первый, не любя Пирогова, действительно с глупым упрямством, которое считал примерной твердостью, отказывал ему в чести «служить России в осажденном городе». Однако Пирогов, как сам тогда говорил, — «перешиб плетью обух» — и через два месяца после начала осады уже скакал на лохматой лошаденке по севастопольской мостовой от госпиталя до госпиталя.

\* \* \*

Модзалевский встал с кресла и тоже подошел к окну, выходящему на каменную набережную речки Неккар.

От высокого синего неба оторвалась звезда и, оставляя за собой хвостик золотой пыли, укатилась за громаду пфальцграфского замка, что с холма Иеттеболь уже шестой век стерег город.

Проводив глазами звезду, Пирогов сказал:

— А я успел на пациента моего загадать! Слава Богу, все хорошо вышло.

И, усмехнувшись, провел рукой по большому выпуклому лбу, переходящему в лысину, гладкую и поблескивающую.

— Впрочем, звезды врут еще почище людей. Прямо спасу нет, до чего врут!



И, полуприщуря умный, пытливый глаз, неожиданно спросил:

— А может, батенька, вместе махнем? В Спеццию-то? К Гарибальди? А?

Модзалевский так и засиял:

— Я бы, Николай Иванович, с величайшей радостью!

И, пощипывая мягкую светлую бородку, наконец рассказал в качестве кого он заявился, кем послан, с чем послан и как взволнована молодая русская колония трагическим известием о герою освобождения Италии.

— Экой вы человек, право! — пробурчал Пирогов. — Пришел, кресло передвигает, бородку пощипывает... А почему сразу-то не выложил?

Городские куранты и ореховые часы, стоящие в углу комнаты, одновременно сыграли половину первого.

— Вот точность-то какая! А?.. Этому учиться у них надо, у немцев-то.

— А нам, русским, особенно — позволю себе добавить.

— И то!

Потом Пирогов опять полуприщурился, заложил руки за спину и сказал:

— Ну-с, государь мой, чемодан собирайте. Завтра и поедем.

#### 4

Они прибыли в Спеццию 31 октября, не предупредив телеграммой о своем приезде.

Город возникал из белого тумана, похожего на мыльную пену, какая бывает в корыте у старательной прачки.

На вокзале Модзалевский купил итальянскую газету и первое, что кинулось ему в глаза, это был бюллетень о Гарибальди, напечатанный жирным шрифтом.

— Читайте вслух! — сказал Пирогов.

— «Тщательное освидетельствование главной рапы, — прочел Модзалевский, — удостоверило в отсутствии пули».

— Кем бюллетень подписан? — спросил Пирогов. — Подпись! Подпись!

— «Ричард Патридж, — хирург королевского госпиталя, профессор при королевском анатомическом колледжуме и член главного королевского совета хирургов в Англии», — прочитал Модзалевский.

— Все?

— Все, Николай Иванович.

— Идемте.

— Известен вам, Николай Иванович, этот Ричард Патридж?

— Как же-с! Известен!

— И лично знакомы?

— Нет, друг мой, не имел счастья.

У вокзального выхода стояла коляска с белым дырявым верхом в кружевных фистонах.

У возницы на белом цилиндре было написано золотыми буквами: «Отель Лаура».

— В отель! — сказал Пирогов.

И коляска, подпрыгивая на выбоинах, покатила по мокрой мостовой.

Отель «Лаура» помещался на набережной.

Высокий хозяин, с тонкой и гибкой, как у девушки, талией, записывая русские имена, доложил не без гордости:

— У нас занимает апартаменты и член Французской Академии знаменитый профессор Нелатон! А также его лондонский коллега — королевский врач сэр Патридж.

— Очень рад, очень рад, — пробормотал Пирогов. — А как, скажите пожалуйста, у вас в Специи насчет Турманов?

И сердито сдернул с правой руки влажную кожаную перчатку.

— Мы к этим туманам привыкли, синьор. Мы на них не обращаем внимания. Как в Лондоне! — обиженно ответил хозяин отеля.

— «Как в Лондоне!» Вот это и плохо!.. А где будет наша комната?

— Ваши апартаменты, синьор, в бельэтаже. С видом на залив.

— Небось и залива вашего не увидишь... из-за этого проклятого тумана.

Модзалевский подумал: «И чего это он так на туман разгневался? Не в духе».

Апартаменты оказались столь же роскошными, как и неопрятными. Черный волос торчал из кресел, обитых парчой; с золотых карнизов свисала паутина; а на многодневной пыли, покрывшей венецианские зеркала, можно было писать пальцем сонеты Петрарки. Кофе принесли холодный и не сладкий, но зато в чашках XVIII века.

— Ну-с, батенька, нам пора! Повяжите-ка новый галстук.

— К Гарибальди поедем, Николай Иванович?

— Да нет, — ответил Пирогов, — прежде того нам следует повидаться с профессором Нелатоном и с членом лондонских королевских коллегийумов.

## 5

Каждое слово Ричард Патридж как бы взвешивал на точных аптекарских весах:

— В пятницу я совещался с итальянскими хирургами. Они согласились со мной — пуля отсутствует.

Он почти не мигал своими восковыми веками в тяжелых рыжих ресницах, казалось сделанными из конского волоса.

— Повторное безрезультатное зондирование раны говорит за это мое утверждение. Пуля, ударившись о кость, отскочила. Рикошет!

— Так, — кивнул головой Пирогов, — случай довольно редкий. Я бы даже сказал исключительный.

— Но и самые исключительные случаи, сэр, иногда случаются.

— Безусловно.

— Английская медицина довольно хорошо с ними знакома.

— Русская тоже, — отвечал Пирогов.

— Надеюсь, сэр.

И мистер Патридж снисходительно улыбнулся углами губ.

— Подобные исключительные случаи, — спокойно продолжал Пирогов, — мы поставили себе за правило исследовать с особой, с исключительной, тщательностью.

— Это похвально, сэр.

Опять улыбнулся англичанин, но уже несколько менее снисходительно.

Пепел не падал с его сигары, которую он держал как палку, в сухих желтых пальцах.

А француз с явным удовольствием молчал, играя изящным лорнетом из слоновой кости.

Модзалевский рассматривал его руки. Они были выхоленные, красивые, с длинными тонкими пальцами и розовыми узкими ногтями, тщательно отполированными. На мизинце, на безымянном пальце и на указательном искрились крупные бриллианты.

«Снимаете ли вы эти перстни, месье, когда делаете операцию?» — мысленно спросил Модзалевский члена Французской Академии, который был женат на миллионерше и слыл одним из самых эlegantных мужчин Парижа Второй Империи.

Тут же Модзалевский вспомнил рассказ о том, как этот модный светский хирург, получив в последнюю минуту приглашение на придворный бал, сделал неотложную операцию в белых лайковых перчатках и ни одной каплей крови не забрызгал их.

«Что толковать, — решил Модзалевский, — пальцы у него виртуоза. Недаром, значит, где-то изрек: "Операционный нож — смычок в руке хирурга"».

Это была крылатая фраза Нелатона.

А Пирогов говорил: «Нож хирурга должен быть умным».

Модзалевский перевел взгляд на сухие желтые руки Патриджа.

— Достопочтенный сэр! — англичанин встал с кресла.

«Э, плохо дело! — сказал себе Пирогов. — Что-то уж очень торжественное начало».

Патридж застегнул черный сюртук на все пуговицы и произнес тоном пуританского проповедника:

— Если мы хотим быть достойными творениями нашего Создателя и Отца Небесного...

Пирогов глядел ему прямо в глаза.

— Наша, сэр, святая обязанность — принять мужественное решение.

— Иначе говоря, — не повышая голоса, спросил Пирогов, — вы считаете, что необходимо будет прибегнуть к ампутации?

— Да, сэр, необходимо принять мужественное решение.

Пирогов повернулся к французу:

— А каково будет ваше мнение?

— Я, коллега, тоже зондировал рану нашего прославленного пациента, — уклончиво отвечал француз. — О, у меня необыкновенный зонд! Собственного изобретения. С фарфоровой пуговкой на конце. Надеюсь, коллега, вы не откажитесь принять от меня этот скромный подарок.

«Извиняется, хитрит, — решил Пирогов. — Ну что ж, надо будет встретиться с ним без Патриджа. Попытаюсь это сделать сегодня вечером, после осмотра раны».

А, выходя из отеля, Пирогов сказал Модзалевскому:

— Мистер Патридж, как мне известно, не очень-то одобряет своего соотечественника Чарльза Дарвина...

На панели, возле красивой, но пустой мраморной урны для уличного мусора, валялась разбитая бутылка. Пирогов поднял ее и осторожно опустил в урну.

— Так вот, мой друг, я и говорю: королевскому хирургу, разумеется, весьма приятно считать себя ближайшим родственником Царя Небесного...

Модзалевский рассмеялся.

— А Дарвин возьми и огорошь: «Нет, мол, distinguished сэр, как это ни обидно, но вы, к сожалению, произошли от обезьяны». Ну, само собой, мистер Патридж скандализован этим обстоятельством.

Пирогов отшвырнул тростью окурки сигары, валяющийся посреди панели.

— А вот я, признаюсь, ну не капельки этим не скандализован. Напротив! По-моему, это даже изрядная честь уму, что он сумел выйти в люди. А?..

И, надевая черные козловые перчатки, добавил:

— Для меня, однако, вполне вероятен и обратный переход.

— В обезьяну, Николай Иванович?

— Да-с, друг мой, переход, который иногда совершается на наших глазах!

У подъезда «Лауры» стояла все та же роскошная коляска с дырявым верхом.

— К Гарibaldi! — командовал Пирогов.

Он всегда ездил только на белых лошадях и теперь был доволен, что жеребец похож был на лебедя.

## 6

Гарibaldi полулежал на ореховой английской кровати, под теплым английским одеялом из верблюжьей шерсти.

Голова героя производила впечатление: высокий лоб, широкая энергичная переносица (ее называли «львиной») светлые, но потускневшие волосы, ниспадающие на плечи; глаза глядели прямо, мягко и радушно; вместе с тем чувствовалось, что эти глаза могут быть властными, повелевающими.

Отяжелевшие веки, казалось, покрывали тонкий слой серой пыли. «Он похож на северного славянина, — решил Модзалевский, — однако, и на итальянца... эпохи Возрождения».

Гарibaldi приветливо улыбнулся. Но какая-то скорбная тень от перенесенных страданий — нравственных и физических — лежала на его лице. Хотя, как рассказывали Пирогову, еще ни одна живая душа не слышала от него даже самого легкого стога во время мучительных зондирований воспаленной раны.

Пирогов приступил к осмотру.

Первая нога Гарibaldi висела в каком-то неуклюжем приборе, привезенном из Лондона профессором Патриджем.

Рана была величиной с двугривенный. Припухла. Небольшими каплями из нее выходил гной «хорошего свойства».

Неприятно поражали белые исхудалые ноги. Особенно по сравнению с широкой мужественной грудью.

Расстояние между двумя лодыжками, при измерении дугообразным циркулем, оказалось увеличенным на 1,5 сантиметра. Сустав распух.

Пирогову показали кусок обуви и частички кости, извлеченные из раны.

— Выстрел в отца, — сказал Минотти, — был произведен из нарезного ружья конической пулей. Такие пули принято называть берсаглиерскими. Но эта пуля, черт побери, короля Италии Виктора-Эммануила!

— По-моему, она здесь, — нерешительно промолвил Гарибальди, показывая место на ноге, где он чувствовал свинец.

Пирогов молча заканчивал осмотр.

— Но мистер Патридж считает...

— Мне это известно. Перед тем, как направиться к вам, я встретился со своими коллегами, которые живут в том же отеле.

И, прикрыв ногу одеялом, Пирогов сказал:

— По-моему, также — пуля здесь. Более того — я в этом убежден.

— А вот мне почему-то никто не верил, — улыбнулся Гарибальди.

— Это понятно. Раненные иногда чувствуют ногу, оторванную ядром. И даже жалуются, что у них болит ступня.

— Они стреляли в отца, — сказал Минотти, — почти в упор.

— Нет, мой друг, — поправил Гарибальди; он любил истину. — Нас разделяло расстояние примерно в триста шагов.

— Отец не хотел проливать итальянской крови и крикнул: «Не отвечайте». А вот его кровь для монархистов и попов — не итальянская!

— Судя по всему, это так, — согласился Пирогов.

— А незадолго до этого отец сказал Виктору-Эммануилу: «Не только вы, государь, но даже сам Господь Бог не может воспретить мне гнать иноземцев из родной страны».

Гарибальди остановил сына:

— Обо всем этом, Минотти, ты расскажешь профессору в другой раз. Не сегодня.

— Хорошо, отец.

Но не выдержал и, сверкнув на Пирогова расширенными зрачками, кинул скороговоркой:

— Виктор-Эммануил — это жалкий и подлый трус! Он считает, что можно освободить Италию от поработителей, ползая на животе перед Луи-Наполеоном и римским папой.

— Вы правы, молодой человек, это не лучший способ служить своей родине, — сказал Пирогов.

Ему пришлось по душе и спокойствие отца, очевидно, умеющего пламенеть только когда это необходимо, и юношеская горячность сына, не умеющего быть спокойным. «И оба они такие итальянцы! До кончиков своих ногтей, итальянцы».

Русскому хирургу это очень нравилось.

## 7

В четыре часа того же дня Пирогов вторично осмотрел рану Гарибальди в присутствии профессора Патриджа.

— Будете ли вы зондировать? — спросил англичанин, не мигая своими восковыми веками.

— Нет.

— Почему?

— Потому что мне все ясно.

И Пирогов тут же написал бюллетень: «Пуля в кости и лежит ближе к наружному мышцелку».

— Я, сэр, прощупывал рану мизинцем, — возразил мистер Патридж, — и вошел в нее глубже второго сустава. Но пули не обнаружил.

— Тем не менее, она там.

— Это самоуверенно, — рассердился англичанин. — Слишком самоуверенно.

И, отказавшись поставить свою подпись под бюллетенем, добавил:

— Еще Гиппократ сказал: «Врачи торгуют жизнью больного. Отсюда всякие споры у его постели. Ни один врач не разделяет взглядов другого, желая сам прославиться».

Пирогов вежливо слушал цитату, которая была известна ему со школьной скамьи.



— А в результате, как говорит Гиппократ, на могильном камне появляется надпись: «Он умер от несогласия врачей».

— Еще чаще, коллега, — спокойно отвечал Пирогов, — больные умирают или делаются калеками от малой осведомленности врачей, от скудности опыта их и, воистину, поразительных заблуждений.

Рассерженный королевский хирург медленно опустил восковые веки. Это было его поклоном.

— Честь имею, сэр.

После чего на негнибачущихся коленях он пронес себя по комнате, словно британское знамя на параде.

Гарибальди, как юноша заговорщик, переглянувшись с Пироговым, прошептал:

— Я, профессор, уже себя вижу на кладбище под могильным камнем.

— А я, генерал, вижу себя вашим могильщиком с железной лопатой в руках.

Заживо погребенный спросил шепотом:

— Нельзя ли мне вынуть ногу из этой стальной дыбы мистера Патриджа? Дьявольски неудобно.

— Не возражаю, — ответил Пирогов тем же таинственным шепотом заговорщика.

И, не выдержав, оба рассмеялись.

— Что ж, не будем терять времени и выпустим на свободу пленницу медицины.

После этих слов Пирогов освободил раненную ногу от прибора, сделанного из стали и свиной кожи столь же неуклюже, как неуклюже был сделан мистер Патридж из костей, мяса, сухожилий и нервов, этого тончайшего материала природы.

— Спасибо, профессор!

И Гарибальди, как-то по-детски улыбнувшись (Пирогов хорошо знал эту улыбку раненных и больных) с наслаждением вытянул свою худую и слишком белую ногу.

Пирогов заботливо завернул ее в одеяло.

— Да что вы... помилуйте, — промолвил Гарибальди, все так же по-детски улыбаясь.

— Здесь команду я, — отчеканил Пирогов.

И добавил:

— Необходимо держать в тепле... Тепло! Тепло!

— Слушаю-с.

Потом Гарибальди спросил:

— Вы проделали две кампании, профессор?

— Да, Севастопольскую и Кавказскую.

— То и видно. Для вас эти пули — старинные добрые знакомые.

— Старинные — это, пожалуй, так. Но я бы не сказал, что добрые. К ядрам и пулям я всегда относился, как к злым знакомым.

Гарибальди согласился:

— Я бы тоже, признаться, предпочел охотиться на фазанов, как Виктор-Эммануил. Но Италия еще не свободна.

— Да!.. И ей нужен Гарибальди. Ну что ж, за нами дело не станет, — злосчастную пулю мы вытащим.

— Завтра? — с нетерпеливыми искорками в глазах спросил Гарибальди.

— Нет, — ответил Пирогов, — не завтра! Вам положено отдохнуть. И вам, и вашей ноге.

И, несколько помолчав, добавил:

— А вот сегодня я переправлю вас в соседнюю залу. В ту самую залу, где устраивают консилиумы любезные мои коллеги. Там много света и воздуха. Это ведь самые превосходные лекарства! А дня через три или четыре, думается мне, мы будем иметь честь преподнести вам предательский кусочек королевского свинца.

Гарибальди приложил руку к сердцу.

— Не скрою, что за этот подарок я благодарен больше, чем за какой-либо другой!

— А потом, сеньор, уезжайте из Специи. Разумеется, если вас выпустят. У входа я видел двух королевских карабинеров.

— Теперь, полагаю, выпустят, — усмехнулся Гарибальди. — Карабинеры только для красоты.

— Тогда: вон, вон отсюда! Чтоб духу вашего здесь не было. Эти чертовы туманы никуда не годятся. Вам необходим сухой и здоровый климат.

— Может быть на Капреру? Там у меня домик и три козы.

— А солнце у вас там имеется? Солнце и синее небо?

— О!..

— В таком случае, на Капреру. Немедленно после операции на Капреру.

— Есть, капитан, на Капреру! — отвечал бывший матрос Сардинского флота.

Менотти, слушая, потирал шрам на лбу, с которым действительно появился на белый свет.

— Уезжая на Капреру, — сказал он, — не забудь, отец, захватить собой связку сушеной трески и мешок фасоли для своего огорода. Это пригодилось тебе и после освобождения Неаполя, и обеих Сицилий. Помнишь? Тогда негодяй Кавур, не слишком своевременно поспешил распустить твоих волонтеров. А тебе с улыбочкой пожелал «Хорошего отдыха». Хотя победы, как я полагаю, не очень утомляют человека.

И, покусывая жесткие черные усики, Менотти отошел в дальний угол комнаты, где на оленьем роге висели, прострелянные пулями, шерстяной плащ его отца, черная калабрийская шляпа и клетчатый платок.

— Я надеюсь, Менотти, — сказал Гарибальди, — что и на этот раз на Капреру мы уедем вместе.

— Разумеется.

— Значит, о семенах для огорода и о сушеной рыбе ты сам вовремя позаботишься.

— Придется. Но я предпочел бы сегодня позаботиться о свинце и о порохе.

— Об этом, мой друг, мы тоже позаботимся вместе.

Менотти забыл упомянуть, что у его отца, когда он вернулся на Капреру после своей трехмесячной диктатуры в Королевстве Обеих Сицилий, кроме связки сушеной трески под мышкой и мешка фасоли за плечами еще было 50 франков в кармане.

Во время этого короткого разговора отца с сыном Пирогову захотелось увидеть Гарибальди не беспомощно лежащим на кровати под верблюжьим одеялом, а на трибуне непокорного Римского Собрания, замирающего или клокочущего от его слов; и еще увидеть — в плаще, в красной шерстяной рубашке, с головой, повязанной красным платком, на боевом коне перед полками своих волонтеров, которых он ведет на битву, всегда неравную и почти неизменно — победоносную. И, как это ни удивительно, но в Гарибальди, беспомощно распростертом

на кровати и роняющем слова ровным болезненным голосом, Пирогов легко представил себе другого Гарибальди — Гарибальди-вождя, народного героя, полководца, Гарибальди на трибуне, Гарибальди на боевом коне.

Пирогов встал.

— Отдыхайте, генерал.

— До скорого свиданья. Не так ли, дорогой профессор?

— Я буду у вас в четверг. Примерно в это же время.

Пирогов прошел в соседнюю комнату, большую и светлую.

Член Французской Академии оказался значительно стоворчивей своего лондонского коллеги. Внимательно выслушав доводы Пирогова о невероятности рикошета, он весело развел руками и с чисто галльской любезностью поставил под бюллетенем свое имя.

После чего сказал:

— А мой зонд с фарфоровой пуговкой, любезный коллега, я все-таки позволю себе вам преподнести.

И дружески улыбнулся, показав две ровные полоски необычайно белых зубов.

«Будь молодой и богатой дамой, — подумал Пирогов, — свои прыщички я бы оперировал только у него».

## 8

К вечеру туман рассеялся. Из-за горного хребта выплывала луна.

«Такая же, как в Пензенской губернии, — подумал Модзалевский. — Наша пензенская луна!»

И вдруг на эту пензенскую луну протяжно завывала корабельная собака.

«Ну вот! — Ехал в Спеццию, к берегам Лигурийского моря, а попал на бережок родимой Суры».

Пирогов и Модзалевский гуляли по набережной до поздней ночи.

— На белом свете, мой друг, — говорил Пирогов, — нет ни одного дела, как бы оно ясно не было, и чтоб не облепили его, как дачные комары, всякие дурацкие сомнения и возражения. Ну, скажите по чести, разве мало простого здравого смысла, подкрепленного кое-каким опытом, чтоб сказать определенно: «Пуля в ране!» Ведь

кость повреждена, растянута. Сустав увеличен. Пулевое отверстие одно. Так нет! Два десятка хирургов изволят сомневаться: «Там пуля или вылетела обратно?» Фантастическая история! Ей-ей.

И с досадой развел руками:

— «Вылетела обратно! Рикошет!» Вот до какой чепухи, прости Господи, досомневались!.. Нет, прямо уму не поддается, до чего наш брат лекарь иной раз не желает видеть самых простых вещей. Ходит и ходит в шорах. Как лошадь!

И добавил, сердито подняв плечи:

— А сэр Патридж сегодня опять вещал итальянским хирургам: «Надо быть готовым к ампутации».

Пирогов остановился, как вкопанный, и закинул руки за спину.

— Ненавижу эти проклятые ампутирования!.. Ведь это, мой друг, грубейшая из операций. Да-с, до чего просто: нож остер, пила хорошо зазубрена, мягкие части отрезаны чисто, кровеносные сосуды перевязаны — и все идет, как по сливочному маслу: нет руки, нет ноги.

И Пирогов крякнул совсем так, как крякают в мясных лавках чернобородые детины, лихо опуская топор на коровью тушу.

— Вот, что это за работа!

Великий хирург, подчас, горячо и страстно сердился на свою хирургию. Так нередко в крепких, хороших семьях очень сердятся на самого дорогого и любимого человека.

Неожиданно с северных кряжей подул пронизывающий ветер и залив, минуту тому назад совершенно неподвижный, сразу заворочался, заерзал, заежился, словно ему стало холодно, словно его зазнобило.

Пирогов поднял бархатный воротник темного драпового пальто, повывавшего виды.

— Однако, Николай Иванович, — робко сказал Модзалевский, — в некоторых случаях ампутация...

— Ампутация! — перебил Пирогов. — Да о чем они говорят эти ваши ампутации? Что доказывают? И только то и доказывают, что искусство наше несовершенно. Да-с. И какие мы еще бедные художники!

Он всегда считал хирургию искусством, требующим, как и всякое искусство, неустанного и вдохновенного труда. А хороших хирургов любил называть художниками.

Ветер посвистывал.

Залив корчился, как от судорог.

— Нелатон и Патридж хирурги невоенные, — заметил Модзалевский, — авторитет же у них европейский. Ну и смутили своих итальянских коллег, и заварилась катавасия с рикошетом.

— Нда, — оборвал Пирогов, — в королевской ляжке не так уж часто доведется увидеть пулю. Они, эти европейские авторитеты, и гипсовую повязку только от нас узнали.

— От вас, Николай Иванович! — уточнил профессорский кандидат.

Но Пирогов будто не расслышал.

— И операции под наркозом после нас делать стали.

— После вас, Николай Иванович.

И снова Пирогов будто не расслышал.

— Да-с, батенька, русская хирургия их кое-чему обучила, обучает и, смею надеяться, обучать будет!

Корабельный пес еще протяжней завыл на луну.

— А этот чудодейственный зонд с фарфоровой пуговкой? Экий, поди ж ты, вздор! Да и вся-то слава этой фарфоровой пуговки, что побывала в ране Гарибальди и понапрасну мучила хорошего человека.

Пирогов сдвинул брови:

— Что и толковать, еще бы раза три позондировали, да пальцем в ране поковырялись и, хочешь не хочешь, пришлось бы нам отрезать ногу. Видит Бог, пришлось бы. Драть их за это, как сидорову козу!

И, круто повернув, зашагал к отелю.

На потускневшую луну напозла буря туча с двумя горбами.

— Скажите, Николай Иванович, а для чего они, собственно, сюда приехали? К Гарибальди?

— Кто? — рассеяно спросил Пирогов. — Кто они?

— Да вот этот парижский щеголь с бриллиантами на пальцах и этот немигающий сэр. «Что он Гекубе, что Гекуба ему?», как говорил Гамлет.

Пирогов прищурил правый глаз, будто прицелился из ружья по зайцу:

— За славой, друг мой, за славой приехали. Ее ведь не одни актеры любят, тенора там разные и баритоны. Этот «немигающий сэр», как вы изволили выразиться, не только сам сюда заявился, но и кровать из Лондона собой притащил. Пусть, де, и она вместе с ним прославится, их английская кровать: «Знаменитый, значит, Гарибальди на их, на английской кровати лежит, под их английским одеялом!» Ведь читали же мы с вами об этом вчера в газете.

Упали первые капли дождя, крупные и холодные.

Воздух был густой, насыщенный запахом оливкового масла и молодого вина.

У входа в отель «Лаура» горели бледно-розовые фонари.

— А хорошо бы сейчас печечку затопить, — размечтался Пирогов. — Кафельную, с тремя отдушинами!

Залив Лигурийского моря бурлил и пенился.

Ветер свистел.

Знакомо! До боли в сердце знакомо!

Не так ли, заложив в рот два пальца, свистит вихрастый сорванец, гоня белых голубей?

Пирогову вспомнилось далекое детство, Москва, Кривоярославский переулок, Басманной части, и возле Троицы легкий дом в деревянных оборочках.

И вот он, веснушчатый Коля пирожок, с обеденным ножом в руке играет в военного лекаря. Кухонная скамейка служит операционным столом, а старая синеглазая кукла сестры, извлеченная из маминого комода, является мужественным генералом, которому в Бородинском сражении ядром раздробило ногу. И он, Коля, сжав челюсти и насупив брови принимает суровое решение: «Отрезать выше колена!»

## 9

Менотти быстро заменил жесткий стул широким и мягким креслом:

— С него, профессор, труднее подняться.

Гарибальди одобрительно наклонил голову.

— Менотти читает мои мысли, как афишу на столбе.

И проведя рукой по волосам, которые сегодня как-то мягче рассыпались по подушке, сказал не отрывисто:

— Мне сказывал Герцен, с которым я в дружбе, что в осажденном Севастополе произошел такой случай: на перевязочный пункт вносят на носилках солдата без головы, хирург, стоящий в дверях, машет руками и кричит: «Куда несете? Разве не видите, что он без головы!» «А ничего, — отвечают солдаты, — голову несут за нами. Доктор Пирогов как-нибудь привяжет. Еще пригодится России наш брат-солдат»... Скажите, дорогой профессор, все это так и было?

— Да... что-то в этом роде, — улыбнулся Пирогов.

— Вот так, точно так, — промолвил Гарибальди, — солдаты Свободы должны верить в своего полководца.

Менотти, словно изваяние, стоял у стены, скрестив на широкой груди сильные руки и закинув голову.

Пирогов думал:

«И ведь это, его героическая поза, не вызывает улыбки. Да, — не вызывает... как все естественное. А эти руки, эта голова совершенно естественны в нем, в этом отдаленном потомке римлян, эпохи Брута».

— Севастопольская кампания, — искренне и просто сказал Гарибальди, — сделала честь вашему народу.

— Не скрою, — с горячностью отвечал Пирогов, — что от Гарибальди мне это особенно дорого слышать. Наш простой солдат в своей терпеливости, в мужестве и в любви «к матушке-России», как он говаривал, и вправду показал себя чрезвычайно высоко.

Севастополь продолжал жить в Пирогове жизнью самой полной и волнующей.

— Право, мне стыдно, — сказал Гарибальди, — что итальянцы дрались в Крыму рядом с солдатами Луи Наполеона, лорда Пальмерстона и турецкого падишаха.

— К сожалению, не обо всех моих соотечественниках, — с горечью продолжал Пирогов, — можно сказать то же, что о нахимовских матросах, о пехотных солдатах, артиллерийской прислуге и о бастионных офицерах, сложивших свои головы при защите Севастополя.



И бывший военный хирург сердито засунул руки в просторные рукава своего коричневого сюртука не первой молодости.

— Нда-а...

Он сгорбился, свел брови:

— Вот в тыловом Симферополе Провиантское ведомство открыло игорный дом. Господа командиры коровьих и воловьих парков и воры из интендантства, кормившие наших героев заплесневелыми сухарями, ставили на карту десятки тысяч рублей. И очередной счастливцев потчевал своих собратьев по воровству лукулловским ужином. А шампанское лакали они из хрустальных ваз.

Пирогов перевел дыхание.

— И все это было известно сановному Петербургу, военному министру, Зимнему дворцу, царю. Да-с, все знали, все ведали и пальцем о палец не изволили стукнуть!.. А мы из Севастополя писали, писали и писали. И письма наши переписывались сотнями людей. Они по всей России ходили. Их даже в рудниках сибирских мученики-декабристы читали.

— О ваших письмах из Севастополя, — тихо сказал Гарибальди, — я от того же Герцена слышал. Он говорил, что они сыграли большую роль для русского общества.

Пирогов достал из костяной сигарочницы большую сигару и резко откусил кончик ее.

Менотти показалось, что русский хирург не расслышал отцовских слов.

— Севастополь сдали Наполеону III и Пальмерстону. Не русский солдат, матрос и боевой офицер, а николаевский чиновник, николаевский вор, казнокрад, оставившие крепость без пуль, без ядер, без бомб, без штуцерных ружей, без корпии и бинтов для раненых. Вот кто!

Гарибальди молчал. Он слишком хорошо знал, что значит воевать без пуль, без хороших ружей и без бинтов для раненых.

Пирогов положил незакуренную сигару обратно в сигарочницу и, засунув ее в карман сюртука, буркнул:

— Я, к сожалению, страдаю пороком всех севастопольцев: как заговорят они о Крымской кампании, так уж часа на два, никак не меньше.

— В таком случае, профессор, вы у меня в большом долгу: за вами еще час и пятьдесят минут разговора о Севастополе.

И, остановив взгляд на очень приятном ему собеседнике, Гарибальди стал поглаживать, как боевого коня, свое ворсистое одеяло.

«Вот и руки стали у него поспокойней, — тут же про себя отметил хирург, — и веки полегче. А серенькую пыль с них словно тряпочкой кто-то стер».

Тонкие лучи желтого осеннего солнца, разорвав дымчатые облака, обильно вливались в просторную комнату через большие окна, выходящие на залив, который в древности назывался «Заливом Луны».

Пирогов потер ладонь о ладонь, прошел по комнате, поднял упавшую с оленьего рога калабрийскую шляпу и сказал тем незначительным тоном, каким говорят о самом каждодневном:

— Ну, а королевскую пулю мы вытащим послезавтра, в девять часов утра. Это, значит, в субботу, под праздничек. Что же касается вашей раны...

И он улыбнулся:

— ... она, признаюсь, сегодня мне ну прямо понравилась. Вот не поковырялись в ней три денька и отдохнула она, в себя, так сказать, пришла... До свидания. Спите покрепче.

## 10

Гарибальди чувствовал себя после операции превосходно.

Вечером Пирогов, как и обещал, преподнес ему «предательский кусочек королевского свинца».

— Благодарю вас, — сказал Гарибальди, — я сохраню его со всей бережливостью.

И, повертев коническую пулю в руках, добавил:

— Память о вас, дорогой профессор, будет прекрасной...

— А память о монархии — поучительной, — продолжил Менотти фразу отца.

И так пожал Пирогову руку, что тому пришлось слегка помассировать ее.

Гарибальди только вздохнул:

— Ах, Менотти, Менотти... лев аристократических салонов!

— Я бы хотел, синьоры, чтобы это была не последняя наша встреча, — сказал Пирогов. — Но следующая будет, как я уверен, уже в свободной Италии. Не правда ли?.. Конечно, об этой второй встрече я говорю не как лекарь. С этими господами лучше и вовсе не встречаться.

Отец и сын рассмеялись.

— А вот как лекарь я покорнейше прошу, генерал, написать мне в Гайдельберг о своем здоровье.

— Есть, капитан, написать в Гайдельберг о своем здоровье, — по-флотски отвечал Гарибальди.

## 11

И опять Пирогова ждала коляска с белым дырявым верхом в кружевных фестонах.

И опять (только в обратном направлении) они с Модзалевским катили по мокрой мостовой и подпрыгивали на выбоинах.

И опять мыльный туман окутывал город.

На перроне итальянские хирурги, провожавшие «русского коллегу», без усталости махали широкополыми шляпами, высоко подняв их над головами, — лысыми, серебряными и черными.

Это было 60 ноября.

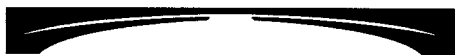
А через шесть недель нашим славным соотечественником была получена из Италии фотографическая карточка со следующей надписью:

*«Великому хирургу Николаю Пирогову с душевной благодарностью возвращенного им к жизни и поставленного на обе ноги Джузеппе Гарибальди».*

14 декабря 1862 год.  
Капрера.

Конец

# МЕМУАРЫ





# РОМАН БЕЗ ВРАНЬЯ

Экземпляр для переиздания примерно через четверть века.

20 ноября 1954.

Переиздадут быстрее.

А. М. 10 октября 1960.

(Написи на обороте обложки «Романа без вранья»)

## 1

В Пензе у меня был приятель: чудаковеловек. Поразил он меня с первого взгляда бряцающими (как доспехи, как сталь) целлулоидовыми манжетами из-под серой гимназической куртки, пенсне в черной оправе на широком шнуре и длинными поэтическими волосами, свисающими как жирные черные сосульки на блистательный целлулоидовый воротничок.

Тогда я переводился в Пензенскую частную гимназию из Нижегородского дворянского института.

Нравы у нас в институте были строгие — о длинных поэтических волосах и мечтать не приходилось. Не сходишь, бывало, недельку-другую к парикмахеру, и уж ловит тебя в коридоре или на мраморной розовой лестнице инспектор. Смешной был инспектор — чех. Говорил он (произнося мягкое «л» как твердое, а твердое мягко) в таких случаях всегда одно и то же:

— Древние греки носили длинные вольсы для красоты, скифы — чтобы устрашать своих врагов, а ты для чего, малчик, носишь длинные вольсы?

Трудно было в нашем институте растить в себе склонность к поэзии и быть баловнем муз.

Увидев Женю Литвинова — целлулоидовые его манжеты и поэтическую шевелюру, сразу я понял, что суждено в Пензенской частной гимназии пышно расцвести моему стихотворному дару.

У Жени Литвинова тоже была страсть к литературе — замечательная страсть, на свой особый манер. Стихов он не писал, рассказов также, книг читал мало, зато выписывал из Москвы почти все журналы — толстые и тонкие, альманахи и сборнички, поэзию и прозу, питая особую склонность к «Скорпиону», «Мусагету» и прочим такого же сорта самым деликатным и модным тогда в столице издательствам. Все, что получалось из Москвы, расставлялось им по полкам в неразрезанном виде. Я захаживал к нему, брал книги, разрезал, прочитывал — и за это относился он ко мне с большой благодарностью и дружбой.

Жене Литвинову и суждено было познакомить меня с поэтом Сергеем Есениным.

Случилось это летом тысяча девятьсот восемнадцатого года, то есть года через четыре после моего появления в Пензе. Я успел окончить гимназию, побывать на германском фронте и вернуться в Пензу в сортире вагона первого класса. Четверо суток провел бодрствуя на стульчаке и тем возбуждая зависть в товарищах моих по вагону, подобно мне бежавших с поля славы.

Женя Литвинов, увлеченный политикой (так же, как в свое время литературой), выписывал чуть ли не все газеты, выходящие в Москве и Петрограде.

Почти одновременно появились в левозсеровском «Знамени труда» — «Скифы», «Двенадцать» и есенинские «Преображение» с «Инонией».

У Есенина тогда «лаяли облака», «ревела золотозубая высь», богородица ходила с хворостиной, «скликая в рай телят», и, как со своей рязанской коровой, он обращался с богом, предлагая ему «отелиться».

Радуясь его стиху, силе слова и буйствующему крестьянскому разуму, я всячески силился представить себе поэта Сергея Есенина.

И в моем мозгу непременно возникал образ мужика лет под тридцать пять, роста в сажень, с бородой как поднос из красной меди.

Месяца через три я встретился с Есениным в Москве...

Хочется еще разок, напоследок, помянуть Женю Литвинова.

В двадцатом году мельком я увидел его на Кузнецком.

Он только что приехал в Москву и привез с собой из Пензы три дюжины столовых серебряных ложек.

В этих ложках сосредоточился весь остаток его немалого когда-то достояния. Был он купеческий сынок — каменный дом их в два этажа стоял на Сенной площади, и всякого добра в нем вдоволь.

Приехал Женя Литвинов в Москву за славой. На каком поприще должна была прийти к нему слава, он так хорошенько и не знал. Казалось ему (по мне судя и еще по одному своему гимназическому товарищу, Молабуху, разъезжавшему в качестве инспектора Наркомпути в отдельном салон-вагоне), что на пензяков в Москве слава валится прямо с неба.

Ежедневно, ожидая славы, Женя Литвинов продавал одну столовую ложку. Последний раз я встретил его в конце месяца со дня злосчастного приезда в Москву. У него осталось шесть серебряных ложек, а слава все не приходила. Он прожил в столице еще четыре дня. На последние две ложки купил обратный билет в Пензу.

С тех пор я больше его не встречал. Милая моя Пенза! Милые мои пензюки!

## 2

Первые недели я жил в Москве у своего двоюродного брата Бориса (по-семейному Боб) во 2-м Доме Советов (гост. «Метрополь») и был преисполнен необычайной гордости.

Еще бы: при входе на панели матрос с винтовкой, за столиком в вестибюле выдает пропуска красногвардеец с браунингом, отбирают пропуска два красноармейца с пулеметными лентами через плечо. Красноармейцы похожи на буров, а гостиница первого разряда на таин-



ственный Трансвааль. Должен сознаться, что я даже был несколько огорчен, когда чай в номер внесло мирное существо в белом кружевном фартучке.

Часов в двенадцать ночи, когда я уже собирался натянуть одеяло на голову, в номер вбежал маленький легкий человек с светлыми глазами, светлыми волосами и бородкой, похожей на уголок холщовой скатерти.

Его глаза так весело прыгали, что я невольно подумал: не играл ли он перед тем, как войти сюда, на дворе в бабки, бил чугункой без промаха, обобрал дочиста своих приятелей и явился с карманами, оттопыренными от козен и медяков, что ставили «под кон»? Одним словом, он мне очень понравился.

Бегая по номеру, легкий человек тот наткнулся на стопку книг. На обложке верхнего экземпляра жирным шрифтом было тиснуто: «ИСХОД» и изображен некто звероподобный (не то на двух, не то на четырех ногах), уносящий голубыми лапищами в призрачную даль бахчисарайскую розу, величиной с кочан красной капусты. В задание художника входило отразить мировую войну, февральскую революцию и октябрьский переворот.

Мой незнакомец открыл книжку и прочел вслух:

Милая,  
Нежности ты моей  
Побудь сегодня козлом отпущения.

Трехстишие называлось поэмой, и смысл, вложенный в него, должен был превосходить правдивостью и художественной силой все образы любви, созданные мировой литературой до сего времени. Так, по крайней мере, полагал автор.

Каково же было мое возмущение, когда наш незнакомец залился самым непристойнейшим в мире смехом, сразу обнаружив в себе человека, ничего не смыслящего в изящных искусствах.

И в довершение, держась за животики, он воскликнул:  
— Это замечательно... Я еще никогда в жизни не читал подобной ерунды!..

Тогда Боб, ткнув пальцем в мою сторону, произнес:

— А вот и автор.

Незнакомец дружески протянул мне руку. Когда минут через десять он вышел из комнаты, унося на память с собой первый имажинистский альманах, появившийся на свет в Пензе, я, дрожа от гнева, спросил Бориса:

— Кто этот...?

— Бухарин! — ответил Боб, намазывая вывезенное мною из Пензы сливочное масло на кусочек черного хлеба.

В тот вечер решилась моя судьба. Через два дня я уже сидел за большим письменным столом ответственного литературного секретаря издательства ВЦИК, что помещалось на углу Тверской и Моховой.

Стоял теплый августовский день. Мой стол в издательстве помещался у окна. По улице ровными каменными рядами шли латыши. Казалось, что шинели их сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди несли стяг, на котором было написано:

Мы требуем массового террора.

Меня кто-то легонько тронул за плечо:

— Скажите, товарищ, могу я пройти к заведующему издательством Константину Степановичу Еремееву?

Передо мной стоял паренек в светлой синей поддевке. Под синей поддевкой белая шелковая рубашка. Волосы волнистые, желтые, с золотым отблеском. Большой завиток как будто небрежно (но очень нарочно) падал на лоб. Завиток придавал ему схожесть с молоденьким хорошеньким парикмахером из провинции. И только голубые глаза (не очень большие и не очень красивые) делали лицо умнее — и завитка, и синей поддепочки, и вышитого, как русское полотенце, ворота шелковой рубашки.

— Скажите товарищу Еремееву, что его спрашивает Сергей Есенин.

### 3

В Москве я поселился (с гимназическим моим товарищем Молабухом) на Петровке, в квартире одного инженера.

Пустил он нас из боязни уплотнения, из страха за свою золоченую мебель с протертым плюшем, за массивные бронзовые канделябры и портреты предков (так называли мы родителей инженера, развешанных по стенам в тяжелых рамах).

Надежд инженера мы не оправдали. На другой же день по переезде стащили со стен засиженных мухами предков, навалили их целую гору и вынесли в кухню.

Бабушка инженера, после такой большевистской операции, заподозрила в нас тайных агентов правительства и стала на целые часы прилипать старческим своим ухом к нашей замочной скважине.

Тогда-то и порешили мы сократить остаток дней ее брэнной жизни.

Способ, изобретенный нами, поразил бы своей утонченностью прозорливый ум основателя иезуитского ордена.

Развалившись на плюшевом диванчике, что спинкой примыкал к замочной скважине, равнодушным голосом заводили мы разговор такого, приблизительно, содержания:

— А как ты думаешь, Миша, бабушкины бронзовые канделябры пуда по два вытянут?

— Разумеется, вытянут.

— А не знаешь ли ты, какого они века?

— Восемнадцатого, говорила бабушка.

— И будто бы работы знаменитейшего итальянского мастера?

— Флорентийца.

— Я так соображаю, что, если их приволочь на Сухаревку, пудов пять пшеничной муки отвалят.

— Отвалят.

— Так вот пусть уж до воскресенья постоят, а там и потащим.

— Потащим.

За стеной в этот момент что-то плюхалось, жалобно стонало и шаркало в безнадежности туфлями.

А в понедельник заново заводили мы разговор о «канделяберах», сокращая ничтожный остаток брэнной бабушкиной жизни.

Вскоре раздобыли себе и сообщников на это гнусное дело.

Стали бывать у нас на Петровке Вадим Шершеневич и Рюрик Ивнев. Завелись толки о новой поэтической школе образа.

Несколько раз я перекинулся в нашем издательстве о том мыслями и с Сергеем Есениным.

Наконец было условлено о встрече для сговора и, если не разбредемся в чувствовании и понимании словесного искусства, для выработки манифеста.

Последним, опоздав на час с лишним, явился Есенин. Вошел он запыхавшись, платком с голубой каемочкой вытирая со лба пот. Стал рассказывать, как бегал он вместо Петровки по Дмитровке, разыскивая дом с нашим номером. А на Дмитровке вместо дома с таким номером был пустырь; он бегал вокруг пустыря, злился и думал, что все это подстроено нарочно, чтобы его обойти, без него выработать манифест и над ним же потом посмеяться.

У Есенина всегда была болезненная мнительность. Он высасывал из пальца своих врагов; каверзы, которые против него будто бы замыслили; и сплетни, будто бы про него распространяемые.

Мужика в себе он любил и нес гордо. Но при мнительности всегда ему чудилась барская снисходительная улыбочка и какие-то в тоне слов неуловимые ударения.

Все это, разумеется, было сплошной ерундой, и щетинился он понапрасну.

До поздней ночи пили мы чай с сахаринном, говорили об «изобретательном» образе, о месте его в поэзии, о рождении большого словесного искусства «Песни песней», «Калевалы» и «Слова о полку Игореве». У Есенина уже была своя классификация образов. Статические он называл заставками, динамические, движущиеся — корабельными, ставя вторые несравненно выше первых; говорил об орнаменте нашего алфавита, о символике образной в быту, о коньке на крыше крестьянского дома, увозящем, как телегу, избу в небо, об узоре на тканях, о зерне образа в загадках, пословицах и сегодняшней чащушке.

Формальная школа для Есенина была необходима. Да и не только для него одного. При нашем бедственном состоянии умов поучиться никогда не мешает.

Один умный писатель на вопрос: «Что такое культура?», рассказал следующий нравоучительный анекдот:

— В Англию приехал богатейший американец. Ездил по стране и ничему не удивлялся. Покупательная возможность доллара делала его скептиком. И только один раз, пораженный необыкновенным газоном в родовом парке английского аристократа, спросил у садовника, как ему добиться у себя на родине такого газона.

— Ничего нет проще, — отвечает садовник, — вспашите, засейте, а когда взойдет, два раза в неделю стригите машинкой и два раза в день поливайте. Если так станете делать, через триста лет у вас будет такой газон.

Всей русской литературе один век с хвостиком. Прозой пишем хорошо, когда переводим с французского.

Не ворчать надо, когда писатель учится форме, а радоваться.

Перед тем как разбрестись по домам, Есенин читал стихи. Оттого ли, что кричал он, ввергая в звон подвески на наших «канделяберах», а себя величал то курицей, снесшейся золотым словесным яйцом, то пророком Сергеем; от слов ли, крепких и грубых, но за стеной, где почивала бабушка, что-то всхлипнуло, простонало и в безнадежности зашаркало шлепанцами по направлению к ватерклозету.

#### 4

Каждый день, часов около двух, приходил Есенин ко мне в издательство и, садясь около, клал на стол, заваленный рукописями, желтый тюречок с солеными огурцами. Из тюречка на стол бежали струйки рассола.

В зубах хрустело огуречное зеленое мясо, и сочился соленый сок, расплзаясь фиолетовыми пятнами по рукописным страничкам. Есенин поучал:

— Так, с бухты-барухты, не след идти в русскую литературу. Искусную надо вести игру и тончайшую политику.

И тыкал в меня пальцем:

— Трудно тебе будет, Толя, в лаковых ботиночках и с проборчиком волосок к волоску. Как можно без поэтической рассеянности? Разве витают под облатками в брючках из-под утюга! Кто этому поверит? Вот смотри — Белый. И волос уже седой, и лысина величиной с вольфовского однотомного Пушкина, а перед кухаркой своей, что исподники ему стирает, и то вдохновенным ходит. А еще очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят... Каждому надо доставить свое удовольствие. Знаешь, как я на Парнас восходил?..

И Есенин весело, по-мальчишески захохотал.

— Тут, брат, дело надо было вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает: я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел? Ввел. Клюев ввел? Ввел. Сологуб с Чеботаревской ввели? Ввели. Одним словом: и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, и Рюрик Ивнев... к нему я, правда, первому из поэтов подошел — скосил он на меня, помню, лорнет, и не успел я еще стишка в двенадцать строчек прочесть, а он уже тоненьким таким голосочком: «Ах, как замечательно! Ах, как гениально! Ах...» и, ухватив меня под ручку, поволок от знаменитости к знаменитости, «ахи» свои расточая. Сам же я — скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею как девушка и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха!

Есенин улынулся. Посмотрел на свой шнурованный американский ботинок (к тому времени успел он навсегда расстаться с поддевкой, с рубашкой, вышитой, как полотенце, с голенищами в гармошку) и по-хорошему чистосердечно (а не с деланной чистосердечностью, на которую тоже был великий мастер) сказал:

— Знаешь, и сапог-то я никогда в жизни таких рыжих не носил, и поддевки такой задрипанной, в какой перед ними предстал. Говорил им, что еду бочки в Ригу катать. Жрать, мол, нечего. А в Петербург на денек, на два, пока партия моя грузчиков подберется. А какие там бочки — за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом... Вот и Клюев тоже так. Он маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода

пришел на кухню: «Не надо ли чего покрасить?..» И давай кухарке стихи читать. А уж известно: кухарка у поэта. Сейчас к барину: «Так-де и так». Явился барин. Зовет в комнаты — Клюев не идет: «Где уж нам в горницу: и креслица-то барину перепачкаю, и пол вощенный наследжу». Барин предлагает садиться. Клюев мнется: «Уж мы постоим». Так, стоя перед баринком в кухне, стихи и читал...

Есенин помолчал. Глаза из синих обернулись в серые, злые. Покраснели веки, будто кто простегнул по их краям алую ниточку:

— Ну а потом таскали меня недели три по салонам — похабные частушки распевать под тальянку. Для виду спервоначалу стишки попросят. Прочту два-три — в кулак прячут позевотину, а вот похабщину хоть всю ночь зажаривай... Ух, уж и ненавижу я всех этих Соллогубов с Гиппиусихами!

Опять в синие обернулись его глаза. Хрупнул в зубах огурец. Зеленая капелька рассола упала на рукопись. Смахнув с листа рукавом огуречную слезу, потеплевшим голосом он добавил:

— Из всех петербуржцев только люблю Разумника Васильевича да Сережу Городецкого — даром что Нимфа его (так прозывали в Петербурге жену Городецкого) самовар заставляла меня ставить и в мелочную лавочку за нитками посылала.

## 5

На Тверской, неподалеку от Газетного, актеры Форегеровского театрала «Московский балаган» соорудили столовку.

Собственно, если говорить не по-сегодняшнему, а на языке и милыми наивными понятиями 19-го года, то назвать следовало бы тот кривококонький полутемный коридорчик, заставленный трехногими столиками (из допотопной пивнушки, что процветала некогда у Коровьего вала), не пренебрежительно столовкой, а ресторанома самого что ни на есть «первого разряда».

До этого прародителя нэповских заведений питались мы с Есениным в одном подвальчике, достойном описания.

Рыжий повар в сиянии торчком торчащих волос (похож на святого со старой новгородской иконы); красного кирпича плита величиной в ампировскую двуспальную кровать; кухонные некрашенные столы, деревянные ложки и... тарелки из дворцовых сервизов с двуглавыми золотыми орлами.

Рыжий повар всякую неудобоваримую дрянь превращает в необыкновеннейшие пловы, бефы и антрекоты.

Фантасмагория неправдоподобнейшая.

Ели и плакали: от чада, дыма и вони.

Есенин сказал:

— Сил моих больше нет. Вся фантасмагория переселилась ко мне в живот.

Тогда решили перекочевать из гофманского подвальчика в столовку форегеровского «Московского балагана».

Ходили туда вплоть до весны, пили коричневую бурдохлыстину на сахарине и ели нежное мясо жеребят.

На Есенине коротенькая меховая кофтенка и высокие, очень смешные черные боты — хлюпает ими и шаркает. В ноги посмотришь — человек почтенного возраста. Ничто так не старит, как наша российская калоша. Влез в калошу — и будто прибавил в весе и характером стал положительен.

В ресторанчике на каждого простого смертного по полдюжине знаменитых писателей.

Разговоры вертятся вокруг стихотворного образа, вокруг имажинизма. В газете «Советская страна» только что появился манифест, подписанный Есениным, Шершеневичем, Рюриком Ивневым, художником Георгием Якуловым и мной.

Австрийский министр иностранных дел Отгокар Чернин передает в своих остроумных мемуарах разговор с Иоффе в Брест-Литовске во время мирных переговоров.

— В случае, если революция в России будет сопровождаться успехом, — (говорил дипломат императора Карла), — то Европа сама не замедлит присоединиться



к ее образу мыслей. Но пока уместен самый большой скептицизм, и поэтому я категорически запрещаю всякое вмешательство во внутренние дела нашей страны.

— Господин Иоффе, — пишет далее Чернин, — посмотрел на меня удивленно своими мягкими глазами, а потом произнес дружелюбным и почти просящим тоном:

— Я все же надеюсь, что нам удастся устроить и у вас революцию.

Вот и Есенин смотрел мягко и говорил почти умоляюще.

После одной из бесед об имажинизме, когда Пимен Карпов шипел, как серная спичка, зажженная о подошву, а Петр Орешин не пожалел ни «родителей», ни «душу», ни «бога», Есенин, молча отшагав квартал по Тверской, сказал:

— Жизнь у них была дошлая... Петька в гробах спал... Пимен лет десять зависть свою жрал... Ну, и стали как псы, которым хвосты рубят, чтобы за ляжки кусали...

В комнате у нас стоял свежий морозный воздух. Есенин освирепел:

— А талантишка-то на пяточок сопливый... ты помни, Анатолий, как шавки за мной пойдут... подтягивать будут...

В ту же зиму прислал Есенину письмо и Николай Клюев.

Письмо сладкоречивое, на патоке и елее. Но в патоке клюевской был яд, не пименовскому чета, и желчь не орешинская.

Есенин читал и перечитывал письмо. К вечеру знал его назубок от буквы до буквы. Желтел, молчал, сунул брови и в гармошку собирал кожу на лбу.

Потом дня три писал ответ туго и вдумчиво, как стихотворение. Вытачивал фразу, вертя ее разными сторонами и на всякий манер, словно тифлисский духанщик над огнем деревянные палочки с кусочками молодого барашка. Выволакивал из темных уголков памяти то самое, от чего должен был так же пожелтеть Миколушка, как пожелтел сейчас «Миколушкин сокол ясный».

Есенин собирался вести за собой русскую поэзию, а тут наставляющие и попечительствующие словеса Клюева.

Долго еще, по привычке, критика подливала масла в огонь, величая Есенина «меньшим клюевским братом». А Есенин уже твердо стоял в литературе на своих собственных ногах, говорил своим голосом и носил свою есенинскую «рубашку» (так любил называть он стихотворную форму).

После одной — подобного сорта — рецензии Есенин побежал в типографию рассыпать набор своего старого стихотворения с такими двумя строками:

Апостол нежный Клюев  
Нас на руках носил.

Но было уже поздно. Машина выбрасывала последние листы.

## 6

Еще об есенинском обхождении с человеком. Было у нас, у имажинистов, в годы военного коммунизма свое издательство, книжная лавочка и «Стойло Пегаса».

Из-за всего этого бегали немало по разным учреждениям, по наркомам, в Московский совет.

Об издательстве, лавочке и «Стойле» поподробнее расскажу ниже — как-никак, а связано с ними немало наших дней, мыслей, смеха и огорчений.

А сейчас хочется добавить еще несколько черточек, пятнышек несколько. Не пятнающих, но и не льстивых. Только холодная, чужая рука предпочтет белила и румяна остальным краскам.

Обхождение — слово-то какое хорошее. Есенин всегда любил слово нутром выворачивать наружу, к первоначальному его смыслу.

В многовековом хождении затрепались слова. На одних своими языками вылизали мы прекраснейшие метафорические фигуры, на других — звуковой образ, на третьих — мысль, тонкую и насмешливую.

Может быть, от настороженного прислушивания к нутру всякого слова и пришел Есенин к тому, что надобно человека обхаживать.

В те годы заведующим Центропечати был чудесный человек, Борис Федорович Малкин. До революции он редактировал в Пензе оппозиционную газетку «Чернозем». Помнится, очень меня обласкал, когда я, будучи гимназистом, притащил к нему тетрадочку своих стихов.

На Центропечати зиждилось все благополучие нашего издательства. Борис Федорович был главным покупателем, оптовым.

Сидим как-то у него в кабинете. Есенин в руках мнет заказ — требовалась на заказе подпись заведующего. А тогда уже были мы Малкину со своими книгами что колики под ребро. Одного слова «имажинист» пугались, а не только что наших книг.

Глядит Малкин на нас нежными и грустными своими глазами (у Бориса Федоровича я не видел других глаз) и, увлекаясь, что-то рассказывает про свои центропечатские дела. Есенин поддакивает и восторгается. Чем дальше, тем больше. И наконец, весьма хитро, в совершеннейший придя восторг от административного гения Малкина, восклицает:

— А знаешь, Борис Федорович, ведь тебя за это, я так полагаю, медалью пожалуют!

От такого есенинского слова (уж очень оно смешное и теплое) и без того добрейший Малкин добреет еще больше.

Глядишь — и подписан заказ на новое полугодие.

Есенин же, сообразив немедля наивное обаяние изобретенной им только что медали, уже припрятал ее в памяти на подходящие случаи жизни. А так как случаев подобных, благодаря многочисленным нашим предприятиям, представлялось немало, то и раздача есенинских медалей шла бойко.

Как-то недельки через четыре после того, выйдя из кабинета Малкина, я сказал сердито Есенину:

— Сделай милость, Сережа, брось ты, пожалуйста, свою медаль. Ведь за какой-то месяц ты Борису Федоровичу третью штуку жалуешь.

Есенин сдвинул бровь:

— Оставь! Оставь! Не учи.

К слову: лицо его очень красили темные брови — напоминали они птицу, разрубленную пополам — в ту и другую сторону по крылу. Когда, сердясь, сдвигал брови — срасталась широко разрубленная темная птица...

А когда в Московском совете надобно было нам получить разрешение на книжную лавку, Есенин с Камневым говорил на олонецко-клюевский манер, округляя «о» и по-мужицки на «ты»:

— Будь милОстив, Отец РоднОй, Лев БОрисОвич, ты уж этО сделай.

## 7

К отцу, к матери, к сестрам (обретавшимся тогда в селе Константинове Рязанской губернии) относился Есенин с отдышкой от самого живота, как от тяжелой клади.

Денег в деревню посылал мало, скупо, и всегда при этом злясь и ворча. Никогда по своему почину, а только — после настойчивых писем, жалоб и уговоров.

Иногда из деревни приезжал отец. Робко говорил про нужду, про недороды, про плохую картошку, сгнившее сено. Крутил реденькую конопляную бороденку и вытирал грязной тряпицей слезящиеся красные глаза. Есенин слушал речи отца недоверчиво, напоминал про дождливое лето и жаркие солнечные дни во время сенокоса; о картошке, которая почему-то у всех уродилась, кроме его отца; об урожае Рязанской губернии не ахти плохом. Чем больше вспоминал, тем больше сердился:

— Знать вы там ничего не желаете, а я вам что мошна: сдохну — поплачете о мошне, а не по мне.

Вытаскивал из-под подушки книгу и в сердцах вслух читал о барышнике, которому локомотивом отрезало ногу. Несут того в приемный покой, кровь льет — страшное дело, а он все просит, чтобы ногу его отыскали, и все беспокоится, как бы в сапоге, на отрезанной ноге, не пропали спрятанные двадцать рублей.

— Все вы там такие...

Отец вытирал грязной тряпицей слезящиеся красные глаза, щипал на подбородке реденькую размохрявленную рогожку и молчал.

Под конец Есенин давал денег и поскорей выпроваживал старика из Москвы.

После отъезда начинал советоваться, как быть с сестрами — брать в Москву учиться или нет. Склонялся к тому, чтобы сейчас погодить, а может быть, и насовсем оставить в деревне. Пытался в этом добросовестно убедить себя. Выдумывал доводы, в которые сам же не верил. Разводил философию по гамсуновскому «Пану» о счастии на природе и с землей, о том, что мало де радости трепать юбки по панелям и делать аборт.

— Пусть уж лучше хлев чистят да детей рожают.

Сам же бесконечно любил и город, и городскую жизнь, и городскую панель, исшарканную и заплеванную. За четыре года, которые мы прожили вместе, всего один раз он выбрался в свое Константиново. Собирался прожить там недельки полторы, а прискакал через три дня обратно, отплевываясь, отбрыкиваясь и рассказывая, смеясь, как на другой же день поутру не знал, куда там себя девать от зеленой тоски.

Сестер же своих не хотел везти в город, чтобы, став «барышнями», они не обобычили его фигуры. Для цилиндра, смокинга и черной крылатки (о которых тогда уже он мечтал), каким превосходным контрастом должен был послужить зипун и цветистый ситцевый платок на сестрах, корявая соха отца и материн подойник.

## 8

В памяти — один пожар в Нижнем. Горели дома по съезду. Съезд крутой. Глядишь — и как это не скувыркнулись домишки. Под глиняной пяткой съезда, в вонючем грязном овраге — Балчуг: ларьки, лавчонки, магазинчики со всякой рухлядью. Большие страсти и копеечная торговля.

Когда вспыхнул съезд, а ветер, вздымая клубами красную пыль, понес ее к Балчугу, огромная черная тол-

па, глазающая на пожар, дрогнула. Несколько поодаль стоял человек почти на голову выше ровной черной стены из людей. Серая шляпа, серый светлый костюм с красной искоркой, желтые перчатки и желтые лаковые ботинки делали его похожим на иностранца. Но глаза, рот и бритые, мягко округляющиеся скулы были нашими, нижегородскими. Тут уже не проведешь никаким аглицким материалом, никакой искоркой на костюме, никакими перчатками — пусть даже самыми желтыми в мире.

Стоял он, как монумент из серого чугуна. И на пожар-то глядел по-монументовски — сверху вниз. Потом снял шляпу и заложил руки за спину. Смотрю: совсем как чугунный Пушкин на Тверском бульваре.

Вдруг: кто-то шепотом произнес его имя. Оно обежало толпу. И тот, кто соперничал с чугуном, стал соперничать с пламенем.

Люди отворачивались от пожара, заглядывали бесцеремоннейшим образом ему в глаза, тыкали пальцем в его сторону и перешептывались.

Несколькими часами позже я встретил мой монумент на Большой Покровке — главной нижегородской улице. Несколько кварталов прошел я по другой стороне, не спуская с него глаз. А потом месяца три подряд писал штук по пять стихотворений в сутки, чтобы только приблизить срок прекрасной славы и не лопнуть от нетерпения, ожидая дня, когда и в мою сторону станут тыкать бесцеремонным пальцем.

Прошло много лет.

Держась за руки, мы бежали с Есениным по Кузнецкому Мосту. Вдруг я увидел его. Он стоял около автомобиля. Опять очень хороший костюм, очень мягкая шляпа и какие-то необычайные перчатки. Опять похожий на иностранца... с нижегородскими глазами и брityми, мягко округляющимися, нашими русапетскими скулами.

Я подумал: «Хорошо, что монументы не старятся!» Так же обгоняющие тыкали в его сторону пальцами, заглядывали под шляпу и шурышали языками:

— Шалапин.

Я почувствовал, как задрожала от волнения рука Есенина. Расширились зрачки. На желтоватых, матовых его щеках от волнения выступил румянец. Он выдавил из себя задыхающимся (от ревности, от зависти, от восторга) голосом:

— Вот так слава!

И тогда, на Кузнецком Мосту, я понял, что этой глупой, этой замечательной, этой страшной славе Есенин принесет свою жизнь.

Было и такое.

Несколько месяцев спустя мы катались на автомобиле — Есенин, скульптор Сергей Коненков и я. Коненков предложил заехать за молодыми Шаляпинными (Федор Иванович тогда уже был за границей). Есенин обрадовался предложению.

Заехали. Есенин усадил на автомобиле рядом с собой некрасивую веснушчатую девочку. Всю дорогу говорил ей ласковые слова и смотрел нежно.

Вечером (вернулись мы усталые и измученные — часов пять летали по ужасным подмосковным дорогам) Есенин сел ко мне на кровать, обнял за шею и прошептал на ухо:

— Слушай, Толя, а ведь как бы здорово получилось: Есенин и Шаляпина... А?.. Жениться, что ли?..

## 9

Случилось, что весной девятнадцатого года я и Есенин остались без комнаты. Ночевали по приятелям, по приятельницам, в неописуемом номере гостиницы «Европа», в вагоне Молабуха, в люксе у Георгия Устинова — словом, где, на чем и как попало.

Как-то разбрелись на ночь. Есенин поехал к Кусикову на Арбат, а я примостился на диванчике в кабинете правления знаменитого когда-то и единственного в своем роде кафе поэтов.

На Тверской, ниже немного Камергерского, помещалась эта «колыбель славы».

А кормилицей, вынянчившей и выходившей небольшую семью скандальных и знаменитых впоследствии

поэтов, был толсторожий (ростом с газетный киоск) сибирский шулер и буфетчик Афанасий Степанович Нестеренко.

Когда с эстрады кафе профессор Петр Семенович Коган читал двухчасовые доклады о революционной поэзии, убаюкивая бледнолицых барышень в белых из марли фартучках, вихрастых широкоглазых красноармейцев и грустных их дам с обезлюдевшей к этому часу Тверской; когда соловели даже веселые забористые надписи на стенах кафе и подвешенный к потолку рыжий дырявый сапог Василия Каменского, — тогда сам Афанасий Степанович Нестеренко подходил к нам и, положив свою львиную лапу на плечо, спрашивал:

— Как вы думаете, товарищ поэт, кто у нас сегодня докладчик?

Мы испуганно глядели в глаза краснорожему нашему господину и произносили чуть слышно:

— Петр Семенович Коган.

Афанасий Степанович после такого неуместного ответа громыхал:

— Не господин Коган-с, а Афанасий Степанович Нестеренко сегодня докладчик, да-с. Из собственного кармана, извольте почувствовать-с, докладывает.

В такие дни нам не полагалось бесплатного ужина.

Но вернемся же к приключению.

Оставшись ночевать в союзе, я условился с Есениным, что поутру он завернет за мной, а там вместе на подмосковную дачу к одному приятелю.

Солнце разбудило меня раньше. Весна стояла чудесная.

Я протер глаза и протянул руку к стулу за часами. Часов не оказалось. Стал шарить под диваном, под стулом, в изголовье...

— Сперли!

Погрустнел.

Вспомнил, что в бумажнике у меня было денег обидов на пять, на шесть — сумма изрядная.

Забеспокоился. Бумажника тоже не оказалось.

— Вот сволочи!

Захотел встать — исчезли ботинки...



Вздумал натянуть брюки — увы, натягивать было нечего.

Так через промежутки — минуты по три — я обнаруживал одну за другой пропажи: часы... бумажник... ботинки... брюки... пиджак... носки... панталоны... галстук...

Самое смешное было в такой постепенности обнаруживаний, в чередовании изумлений.

Если бы не Есенин, так и сидеть мне до четырех часов дня в чем мать родила в пустом, запертом на тяжелый замок кафе (сообщения наши с миром поддерживались через окошко).

Куда пойдешь без штанов? Кому скажешь?

Через полчаса явился Есенин. Увидя в окне мою растерянную физиономию и услыша грустную повесть, сел он прямо на панель и стал хохотать до боли в животе, до кашля, до слез.

Потом притащил из «Европы» свою серенькую пиджачную пару. Есенин мне до плеча, есенинские брюки выше щиколоток. И франтоватый же я имел в них вид!

А когда мы сидели в вагоне подмосковного поезда, в окно влетел горящий уголек из паровоза и прожег у меня на есенинских брюках дырку, величиной с двутривенный.

Есенин перестал смеяться и, отсадив меня от окна, прикрыл газетой пиджак свой на мне. Потом стал ругать Антанту, из-за которой приходится черт знает чем топить паровозы; меня за то, что сплю, как чурбан, который можно вынести, а он не услышит; приятеля, уговорившего нас, идиотов, на кой-то черт тащиться к нему на дачу.

А из дырки — вершка на три повыше колена выглядывал розовый кусочек тела.

Я сказал:

— Хорошо, Сережа, что ты не принес мне подштанников, а то бы и их прожег.

## 10

Сидел я как-то в нашем кафе и будто зачарованный следил за носом Вячеслава Павловича Полонского, который украшал в эту минуту эстраду, напоминая собой розовый флажок на праздничной гирлянде.

Замечательный нос у Вячеслава Павловича Полонского! Нет ему подобного во всей Москве!

Под стеклом на столике в членской комнате «СОПО» хранилась карикатура художника Мака: нарисован был угол дома, из-за угла нос и подпись: «За пять минут до появления Полонского».

Я подумал:

«А ведь даже и мейерхольдовский нос короче без малого на полвершка. Несправедливо расточает природа свои дары».

В эту самую минуту я получил толчок под ребро и вышел из оцепенения.

Рядом стоял Есенин. Скосив вниз куда-то глаза, он произнес:

— Познакомься, Толя, мой первейший друг — Моисей.

Потом чуть слышно мне на ухо:

— Меценат.

О меценатах читывал я во французских романах, в собрании старинных анекдотов о жизни и выдумках российских чудаков, слышал от одного обветшалого человека про «Черный лебедь» Рябушинского, про журнал «Золотое руно», издававшийся по его прихоти на необыкновеннейшей бумаге, с прокладочками из тончайшей папиросной, печатавшийся золотым шрифтом и на нескольких языках разом. Хотя для «Золотого руна» было слишком много и одного языка, так как не было у него читателей, кроме самих поэтов, удостоенных золотых букв.

Но чтобы жи-во-го ме-це-на-та, да еще в дни военного коммунизма, да в красной Москве, да вдобавок такого, который на третью минуту нашего знакомства открыл у меня жилетную пуговицу — нет! о таком меценате не приходилось мне грезить ни во сне, ни наяву. Был он пухленький, кругленький и румянький, как молодая картошка, поджаренная на сливочном масле. На голове нежный цыплячий пух. Их фамилия всяческие имела заводы под Москвой, под Саратовом, под Нижним и во всех этих городах домищи, дома и домики. Ростом же был он так мал, что стоило бы мне подняться слегка на

цыпочки, а ему чуть подогнуть коленки, и прошел бы он промеж моих ног, как под триумфальной аркой. Позднее, чтоб не смешить людей, никогда не ходили мы с ним по улице рядом — всегда ставили Есенина посередине.

Еще примечательнее была его речь: шипящие звуки он произносил как свистящие, свистящие как шипящие, горловые как носовые, носовые как горловые; краткие удлинял, долгие укорачивал, а что касается до ударений, то здесь — не было никаких границ его изобретательности и фантазии.

И при всем этом обожал латинских классиков, новейшую поэзию и певца «Фелицы» — Державина.

Сидя спиной на кресле (никогда я не видел, чтобы сидел он тем местом, которое для сиденья предназначено природой), любил говорить:

— Кохроли были не так глупы, когда окхружали себя поэтами... Сехрежа, пхрочти «Бехрезку»...

Устав мотаться без комнаты, мы с Есениным перенбрались к нему в квартиру.

После номера в «Европе», инквизиторского дивана в союзе, ночевки у приятелей на составленных и распозающих под тобою во время сладкого сна стульях, у приятельниц, к которым были холодны сердцем, — мягкие меценатовские волосяные матрацы, простыни тонкого полотна и пуховые одеяла примирили нас со многими иными неудобствами, вытекающими из его нежной к нам дружбы.

Помимо любви к поэзии, он страдал еще от преувеличения своих коммерческих талантов, всерьез считая себя несравненным комбинатором и дельцом самой новейшей формации.

Есенин — искуснейший виртуоз по игре на слабых человеческих струнках — поставил себе твердую цель раздобыть у него денег на имажинистское издательство. Начались уговоры — долгие, настойчивые, соблазнительные; Есенин рисовал перед ним сытинскую славу, память в истории литературы как о новом Смирдине и... трехсотпроцентную прибыль на вложенный капитал.

В результате — в конце второй недели уговариваний — мы получили двенадцать тысяч керенскими.

В тот достопамятный день у нашего «капиталиста» обедал старый человек в золотых очках. Не так давно он еще был «самым богатым евреем в России». Теперь же не комбинировал, не продавал своих домов, реквизируемых советской властью, и не помещал денег в верные дела с 300% прибылью.

«Наш друг», покровительственно похлопывая его по коленке, говорил:

— В отставку вам, Израиль Израильевич! Что же делать, если уже нет коммерческой фантазии...

И тут же рассказал, как вот он — новейшей формации человек — сейчас проделал комбинацию с таким коммерчески безнадежным материалом, как два поэта:

— Почему не заработать двадцать четыре тысячи на двенадцать... Как говорит русская пословица: у пташечки не болит живот, если она даже помаленьку клюет...

Умный старый еврей поблескивал золотыми очками, поглаживал седую бороду и мягко улыбался.

Месяца через три вышла первая книжка нашего издательства.

Мы тогда жили с Есениным в Богословском бахрушинском доме, в собственной комнате.

Неожиданно на пороге появился «меценат».

Есенин встретил его с распростертыми объятиями и поднес совсем свежую, вкусно пахнущую типографской краской книжку с трогательной надписью. Тот поблагодарил, расцеловал авторов и попросил тридцать шесть тысяч.

Есенин обещал через несколько дней лично занести ему на квартиру.

Недельки через три у нас вышел сборничек.

И снова на пороге комнаты мы увидели «мецената».

Ему немедленно вручили вторую книгу с еще более трогательной надписью.

На сей раз он соглашался простить нам двенадцать тысяч и заработать всего каких-нибудь сто процентов.

Есенин крепко пожал ему руку и поблагодарил за широту и великодушие.

Перед рождеством была третья встреча. Он поймал нас на улице. Мы шли зеленые, злые — третьи сутки пи-

тались мукой, разведенной в холодной воде и слегка подсахаренной. Клейстер замазывал глотку, ложился комом в желудке, а голод не утолял.

Крепко держа обоих нас за пуговицы, он говорил:

— Ребята, я уже решил — мне не надо ваших приблудей. Возьмите себе ваши двадцать четыре, а я возьму себе свои двенадцать... что?.. по рукам?..

И мы ударили своими холодными ладонями по его теплой.

О последней встрече не хочется и вспоминать...

Стоял теплый мартовский день. Болтая ногами, мы тряслись на ломовой телеге, переправляя из типографии в Центропечать пять тысяч экземпляров новенькой книги.

Вдруг вынырнул он.

Разговор был очень короткий. Есенин, нехотя, слез с книжных кип. Я последовал его примеру. Телега свернула за угол и вместо Центропечати поехала в Камергерский переулок топить стихами его замечательную мраморную ванну.

У меня неприятно щекотало в правой ноздре. Я старался уверить себя, что мне очень хочется чихнуть — было бы малодушно подумать другое. На прощанье круглый человечек с цыплячьим пухом на голове мне напомнил:

— А ведь я, Анатолий, знал твоего папу и маму — они были очень, очень порядочные люди.

Я взглянул на Есенина. Когда телега с нашими книгами скрылась из виду, с его ресниц упала слеза, тяжелая и крупная, как первая дождевая капля.

Вчера я перелистывал Чехова. В очаровательном «Крыжовнике» наткнулся на купца, который перед смертью приказал подать себе тарелку меда и съел все свои деньги и выигранные билеты вместе с медом, чтобы никому не досталось.

## 11

Над Большим театром четыре коня взвились на дыбы. Рвут вожжи и мускулы на своих ногах. И все без толку. Есенин посмотрел вверх:

— А ведь мы с тобой вроде этих глупых лошадей. Русская литература будет потяжелее Большого театра.

И он в третий раз стал перечитывать статейку в журнальчике. Статейка последними словами поносила Есенина. Где полагается, стояла подпись: «Олег Леонидов».

Я взял из рук Есенина журнальчик, свернул его в трубочку и положил в карман.

— О Пушкине и Баратынском тоже писали, что они — прыщи на коже вдовствующей российской литературы...

Есенин ловил ухом и прятал в памяти каждое слово, сказанное о его стихах. Худое и лестное. Ради десяти строк, напечатанных о нем в захудалой какой-нибудь газетенке, мог лететь из одного конца Москвы в другой. Пишущих или говорящих о нем плохо как о поэте считал своими смертельными врагами.

В одном футуристическом журнале в тысячу девятьсот восемнадцатом году некий Георгий Гаер разнес Есенина.

Статья была порядка принципиального: урбанистические начала столкнулись с крестьянскими.

Футуристические позиции тех времен требовали разноса.

Годика через два Есенин ненароком обнаружил под Георгием Гаером — Вадима Шершеневича.

И жестким стал к Шершеневичу, как сухарь. Я отдувался. Извел словесного масла великое множество — пока сухарь пообмяк с верхушки.

А по существу так до конца своих дней и не простил он от полного сердца Шершеневичу его статейки.

Рыча произносил:

— Георгий Гаер.

## 12

Стояли около «Метрополя» и ели яблоки. На извозчике мимо с чемоданами — художник Дид Ладо.

— Куда, Дид?

— В Петербург.

Бросились к нему через площадь бегом во весь дух.

Налету вскочили.

— Как едешь-то?

— В пульмановском вагоне, братцы, в отдельном купе красного бархата.

— С кем?

— С комиссаром. Страшеннейшим! Пистолетами и кинжалищами увешан, как рождественская елка хлопками. А башка, братцы, что обритая свекла.

По паспорту Диду было за пятьдесят, по сердцу семнадцать. Англичане хорошо говорят: костюму столько времени, на сколько он выглядит.

Дид с нами расписывал Страстной монастырь, переименовывал улицы, вешал на шею чугунному Пушкину плакат: «Я с имажинистами».

В СОПО читал доклады по мордографии, карандашом доказывал сходство всех имажинистов с лошадьми: Есенин — Вятка, Шершеневич — Орловский, я — унтер.

Глаз у Дида был верный.

Есенина в домашнем быту так и звали мы — «Вяткой».

— Дид, возьми нас с собой.

— Без шапок-то?..

Летом мы ходили без шапок.

— А на кой они черт!?

Если самому «восемнадцать», то чего возражать?

— Деньжонки-то есть?..

— Не в Америку едем.

— Валяй, садись.

Поехали к Николаевскому вокзалу.

На платформе около своего отдельного пульмановского вагона стоял комиссар.

Глаза у комиссара круглые и холодные, как серебряные рубли. Голова тоже круглая, без единого волоска, ярко-красного цвета.

Я шепнул Диду на ухо:

— Эх, не возьмет нас «свекла»!

А Есенин уже ощупывал его пистолетину, вел разговор о преимуществе кольта над прямодушным наганом, восхищался сталью кавказской шашки и малиновым звоном шпор.

Один кинорежиссер ставил картину из еврейской жизни. В последней части в сцене погрома должен был на «крупном плане» плакать горькими слезами малыш лет двух. Режиссер нашел очаровательного мальчугана с золотыми кудряшками. Началась съемка. Вспыхнули юпитеры. Почти всегда дети, пугаясь сильного света, шипения, черного глаза аппарата и чужих дядей, начинают плакать. А этому хоть бы что — мордашка веселая и смеется во все горлышко. Пробовали и то и се — малыш ни в какую. У оператора опустились руки. Тогда мать неунывающего малыша научила режиссера:

— Вы, товарищ, скажите ему: «Мойшенька,ними башмачки!» Очень он этого не любит и всегда плачет.

Режиссер сказал и — павильон огласился пронзительным писком. Ручьем полились горькие слезы. Оператор завертел ручку аппарата.

Вот и Есенин, подобно той матери, замечательно знал для каждого секрет «мойшенькиных башмачков»: чем расположить к себе, повернуть сердце, вынуть душу.

Отсюда его огромное обаяние.

Обычно — любят за любовь. Есенин никого не любил, и все любили Есенина.

Конечно, комиссар взял нас в свой вагон, конечно, мы поехали в Петербург, спали на красном бархате и пили кавказское вино хозяина вагона.

В Петербурге весь первый день бегали по издательствам. Во «Всемирной литературе» Есенин познакомил меня с Блоком. Блок понравился своею обыкновенностью. Он был бы очень хорош в советском департаменте над синей канцелярской бумагой, над маленькими нечаянными радостями дня, над большими входящими и исходящими книгами.

В этом много чистоты и большая человеческая правда.

На второй день в Петербурге пошел дождь. Мой пробор блестел, как крышка рояля. Есенинская золотая голова побурела, а кудри свисали жалкими писарскими запятыми. Он был огорчен до последней степени.

Бегали из магазина в магазин, умоляя продать нам без ордера шляпу.



В магазине, по счету десятом, краснощекий немец за кассой сказал:

— Без ордера могу отпустить вам только цилиндры.

Мы, невероятно обрадованные, благодарно жали немцу пухлую руку.

А через пять минут на Невском призрачные петербуржane вылупляли на нас глаза, ирисники гоготали вслед, а пораженный милиционер потребовал:

— Документы!

Вот правдивая история появления на свет легендарных и единственных в революции цилиндров, прославленных молвой и воспетых поэтами.

## 13

К осени стали жить в бахрушинском доме. Пустил нас к себе на квартиру Карп Карпович Коротков — поэт, малоизвестный читателю, но пользующийся громкой славой у нашего брата.

Карп Карпович был сыном богатых мануфактурщиков, но еще до революции от родительского дома отошел и пристрастился к прекрасным искусствам.

Выпустил он за короткий срок книг тридцать, книги прославились беспримерным отсутствием на них покупателя и своими восточными ударениями в русских словах.

Тем не менее расходились книги Короткова довольно быстро благодаря той неопишуемой энергии, с какой раздавал их со своими автографами Карп Карпович!

Один веселый человек пообещал даже 2 фунта мало-российского сала оригиналу, у которого бы оказалась книга Карпа Карповича без дарственной надписи. Риск был немалый.

В девятнадцатом году не только ради сала, но и за желтую пшенку кормили собой вшей по неделе и больше в ледяных вагонах.

И все же пришлось веселому человеку самому съесть свое сало.

Комната у нас была большая, хорошая.

Силы такой не найти, которая б вытрясла из россиян губительную склонность к искусствам — ни тифозная вошь, ни уездные кисельные грязи по щиколотку, ни бессортирье, ни война, ни революция, ни пустое брюхо, ни протертые на локтях рукавишки.

Можно сказать, тонкие натуры.

Возвращаюсь поздней ночью от приятеля. В небе висит туча вроде дачного железного рукомошника с испорченным краном — льет проклятый дождь без передыха, без роздыха.

Тротуары Тверской черные, лоснящиеся — совсем как мой цилиндр.

Собираюсь свернуть в Козицкий переулок. Вдруг с противоположной стороны слышу:

— Иностранец, стой!

Смутил простаков цилиндр и делосовское широкое пальто.

Человек пять отделилось от стены.

Жду.

— Гражданин иностранец, ваше удостоверение личности!

Ковылял по водомоинам расковыренной мостовой на чалой клячонке извозец. Глянул в нашу сторону — и ну нахлыстывать своего буцефала. А тот, не будь дурак, — стриканул карьером. У кафе «Лира», что на углу Гнезниковского, в рыжем кожане подремывал сторож. Смотрю — шмыг он в переулочек и — будьте здоровы.

Ни живой души. Ни бездомного пса. Ни тусклого фонаря.

Спрашиваю:

— По какому, товарищи, праву вы требуете у меня документ? Ваш мандат?

— Мандат?..

И парень в студенческой фуражке с лицом бледным и помятым, как невзбитая после ночи подушка, помахал перед моим носом пистолетиной:

— Вот вам, гражданин, и мандат!

— Так, может быть, не удостоверение личности, а пальто!

— Слава тебе, господи... догадался...

И, слегка помогая разоблачаться, парень с помятой физиономией стал сзади меня, как швейцар в хорошей гостинице.

Я пробовал шутить. Но было не очень весело. Пальто только что сшил. Хороший фасон и добротный английский драп.

Помятая физиономия смотрела на меня меланхолически.

И когда с полной безнадежностью я уже вылезал из рукавов, на выручку мне пришла та самая, не имеющая пределов, любовь россиян к искусству.

Один из теплой компании, пристально взглядевшись в мое лицо, спросил:

— А как, гражданин, будет ваша фамилия?

— Мариенгоф...

— Анатолий Мариенгоф?..

Приятно пораженный обширностью своей славы, я повторил с гордостью:

— Анатолий Мариенгоф!

— Автор «Магдалины»?

В этот счастливый и волшебнейший момент моей жизни я не только готов был отдать им делосовское пальто, но и добровольно приложить брюки, лаковые ботинки, шелковые носки и носовой платок.

Пусть дождь! Пусть не совсем принято возвращаться домой в подштанниках! Пусть нарушено равновесие нашего бюджета! Пусть! Тысяча раз пусть! — но зато какая лакомая и обильная жратва для честолюбия — этого прожорливого Фальстафа, которого мы носим в своей душе!

Должен ли я говорить, что ночные знакомцы не тронули моего пальто, что главарь, обнаруживший во мне «Мариенгофа», рассыпался в извинениях, что они любезно проводили меня до дому, что, прощаясь, я крепко жал им руки и приглашал в «Стойло Пегаса» послушать мои новые вещи.

А спустя два дня еще одно подтверждение тонкости расейских натур.

Есенин зашел к сапожнику. Надо было положить новые подметки и каблуки.

Сапожник сказал божескую цену. Есенин, не торгуясь, оставляет адрес, куда доставить: «Богословский, 3, 46 — Есенину».

Сапожник всплескивает руками:

— Есенину!

И в восторженном порыве сбавляет цену наполовину.

А вот из истории — правда, ситуация несколько иная, но тоже весьма примечательная.

1917 год. В Гатчине генерал Краснов, командующий войсками Керенского, заключает бесславное для себя соглашение с большевистскими отрядами.

Входят: адъютант Керенского и Лев Давидович Троцкий. Вслед за ними казачонок с винтовкой. Казачонок уцепился за рукав Троцкого и не выпускает его.

Троцкий обращается к Краснову:

— Генерал, прикажите казаку отстать от нас.

Краснов делает вид, что не знает Троцкого в лицо.

— А вы кто такой?

— Я — Троцкий.

Казачонок вытягивается перед Красновым:

— Ваше превосходительство, я поставлен стеречь господина офицера (адъютанта Керенского), вдруг приходит этот еврейчик и говорит: «Я — Троцкий, идите за мной». Я часовой. Я за ними. Я его не отпущу без разводящего.

— Ах, как глупо! — бросает Троцкий и уходит, хлопнув дверью.

А генерал Краснов обращается к столпившимся офицерам с фразой, достойной бессмертия. Он говорит:

— Какая великолепная сцена для моего будущего романа!

Россияне! Россияне!

Тут безвозвратный закат генеральского солнца. Поражение под Петербургом. Судьбы России. А он, командующий армией (правда, в две роты и девять казачьих сотен, но все же решающей: быть или не быть), толкует о сцене для романа? А? Как вам это понравится?

В те дни человек оказался крепче лошади.

Лошади падали на улицах, дохли и усеивали своими мертвыми тушами мостовые. Человек находил силу донести себя до конюшни, и если ничего не оставалось больше, как протянуть ноги, он делал это за каменной стеной и под железной крышей.

Мы с Есениным шли по Мясницкой. Число лошадиных трупов, сосчитанных ошалевшим глазом, раза в три превышало число кварталов от нашего Богословского до Красных ворот.

Против почтамта лежали две раздувшиеся туши. Черная туша без хвоста и белая с оскаленными зубами.

На белой сидели две вороны и доклевывали глазной студень в пустых орбитах. Курносый ирисник в коричневом котелке на белобрисой маленькой головенке швырнул в них камнем. Вороны отмахнулись черным крылом и отругнулись карканьем.

Вторую тушу глодала собака. Протрусивший мимо на хлябеньких санках извозчик вытянул ее кнутом. Из дыры, над которой некогда был хвост, она вытащила длинную и узкую, как отточенный карандаш, морду. Глаза у пса были недовольные, а белая морда окровавлена до ушей. Словно в красной полумаске. Пес стал вкусно облизываться. Всю обратную дорогу мы прошли молча. Падал снег.

Войдя в свою комнату, не отряхнув, бросили шубы на стулья. В комнате было ниже нуля. Снег на шубах не таял.

Рыжеволосая девушка принесла нам маленькую электрическую грелку. Девушка любила стихи и кого-то из нас.

В неустанном беге за славой и за тормошливостью дней мы так и не удосужились узнать кого. Вспоминая об этом после, оба жалели — у девушки были большие голубые глаза и волосы цвета сентябрьского кленового листа.

Грелка немало принесла радости.

Когда садились за стихи, запирали комнату, дважды повернув ключ в замке, и с видом преступников ставили

на стол грелку. Радовались, что в чернильнице у нас не замерзли чернила и писать можно было без перчаток.

Часа в два ночи за грелкой приходил Арсений Авраамов. Он доканчивал книгу «Воплощение» (о нас), а у него в доме Нерензея в комнате тоже мерзли чернила и тоже не таял на калошах снег. К тому же у Арсения не было перчаток. Он говорил, что пальцы без грелки становились вроде сосулек: попробуй согнуть — и сломятся.

Электрическими грелками строго-настрого было запрещено пользоваться, и мы совершали преступление против революции.

Все это я рассказал для того, чтобы вы внимательнее перечли есенинские «Кобыльи корабли» — замечательную поэму о «рваных животах кобыл с черными парусами воронов; о солнце, стынущем, как лужа, которую напрудил мерин; о скачущей по полям стуже и о собаках, сосущих голодным ртом край зари».

Много с тех пор утекло воды. В бахрушинском доме работает центральное отопление, в доме Нерензея — газовые плиты и ванны, нагревающиеся в несколько минут, а Есенин на другой день после смерти догнал славу.

## 16

Перемытарствовав немалую толику часов в приемной Московского совета, наконец получили мы от Льва Борисовича Каменева разрешение на книжную лавку.

Две писательские лавки уже существовали. В Леонтьевском переулке торговали Осоргин, Борис Зайцев, поэт Владислав Ходасевич, профессор Бердяев и еще кто-то из старого «союза писателей».

Фирма была солидная, хозяева в шевелюрах и с собственным местом на полочке истории российской изящной словесности.

Провинциальные интеллигенты с чеховскими бородами выходили из лавчонки со слезой умиления — точно-точно как стародревние салопницы от чудотворной Иверской.

В Камергерском переулке за прилавком стояли Шершеневич и Кусиков.

Шершеневич все делает профессионально — стихи, театр, фельетоны; профессионально играет в теннис, в покер, влюбляется, острит, управляет канцелярией и — говорит (но ка-а-ак говорит).

Торговал он тоже профессионально. Посетителей своего магазина делил на «покупателей» и «покапателей».

А вот содержатель буфета в «Стойле Пегаса» Анатолий Дмитриевич Силин разбивал без всякой иронии посетителей кафе на «несерьезных» и «серьезных». Относя к «несерьезным» всю пишущую, изображающую и представляющую братию (словом, «пустых», на языке шпаны), а сухаревцев, охотнорядцев, смоленскорынцев, отъявленных казнокрадов и не прищученных налетчиков с их веселыми подругами — к «серьезным».

Получив от Каменева разрешение на магазин, стали мы с Есениным рыскать по городу в поисках за помещением и за компаньонами.

В кармане у нас была вошь на аркане. Для открытия книжной лавки кроме нее требовался еще такой пустяк, как деньги и книги.

Помещение на Никитской взяли с бою.

У нас был ордер. У одного старикашки из консерватории (помещение в консерваторском доме) — ключи.

В Муни нас предупредили:

— Раздобудете ключи — магазин ваш, не раздобудете — судом для вас отбирать их не будем... а старикашка, имейте в виду, злостный и с каким-то мандатиком от Анатолия Васильевича.

Принялись дежурить злостного старикашку у дверей магазина. На четвертые сутки, тряся седенькими космами, вставил он ключ в замок.

Тычет меня Есенин в бок:

— Заговаривай со старикашкой.

— Загова-а-а-ривать?..

И глаза у меня полезли на лоб:

— Боюсь вихрастых!.. Да и о чем я с ним буду заговаривать?

— Хоть о грыже у кобеля, растяпа!

Второй толчок под бок был убедительнее первого, и я не замедлил снять шляпу перед седенькими космочками, отбившими у меня только что дар речи и мысли.

— Извините меня, сделайте милость... но видите ли... обязали бы очень, если бы... о Шуберте или, допустим, о Шопене соблаговолили в двух-трех словах...

В круглых стеклах, что вскинули на меня удивленные космочки, я прочел глубокую и сердечную к себе жаль: «такой-де молодой, и скажи-ка, пожалуйста!»

— Извольте понять, еще интересуюсь давно контрапунктом и... и...

Есенин одобрительно и повелительно кивал головой.

— и... бемолями.

Бухнул.

Ключ в замке торчал только то короткое мгновение, в которое космочки сочувственно протянули мне свою руку (помню и обкусанную коротышку ноготь, что голеньким торчал из пуховой, привязанной на тесемочку, как у мальх ребятишек, варежки).

Вдруг злостный старикашка пронзительно завизжал, захолопал по панели резиновым набалдашником палки, ухватил Есенина за полу шубы, в кармане которой мягко позванивал о костяную пуговицу долго мечтаемый ключ.

Есенин сурово отвел от своей полы его руку в беспомощно-ребятишьей варежке, остановил лопотанье набалдашника взглядом председателя ревтрибунала, произносящего «высшую меру», и, вытащив без всякой торопливости из бумажника ордер, ткнул в нос старикашке фиолетовой печатью.

Есенин после уверял, что у злостных космочек никаких не стояло в глазах жемчужинок и никаким носом не думали космочки шмыгать.

А по-моему, все-таки шмыгали.

В тот жестокосердый день можно считать, что спустили мы на воду углое суденышко нашего благополучия.

За компаньонами дело не стало.



В самую суету со спуском «утлого суденьшка» нагрянули к нам на Богословский гости.

Из Орла приехала жена Есенина — Зинаида Николаевна Райх. Привезла с собою дочку — надо же было показать отцу.

Танюшке тогда года еще не минуло. А из Пензы заявился друг наш закадычный, Михаил Молабух.

Зинаида Николаевна, Танюшка, няня ее, Молабух и нас двое — шесть душ в четырех стенах!

А вдобавок — Танюшка, как в старых писали книжках, «живая была живулечка, не сходила с живого стулечка» — с нянинных колен к Зинаиде Николаевне, от нее к Молабуху, от того ко мне. Только отцовского «живого стулечка» ни в какую она не признавала. И на хитрость пускались, и на лесть, и на подкуп, и на строгость — все попусту.

Есенин не на шутку сердился и не в шутку же считал все это «кознями Райх».

А у Зинаиды Николаевны и без того стояла в горле горошиной слеза от обиды на Таньку, не восчувствовавшую отца.

И рядышком примостилось смешное. Вторым по счету словом молабуховским (не успели еще вытащить из ремней подушки с одеялом, а из мешка мясных и мучных благ) было:

- А знаете ли, Сережа и Толя, почем в Пензе соль?
- Почем?
- Семь тысяч.
- Неужто?!
- Тебе говорю.

Часа через два пошли обедать. В Газетном у Надежды Робертовны Адельгейм имелся магазинчик старинных вещей. В первой комнате стояла трехногая карельская береза, шифоньерка красного дерева и пыльная витрина. Под тусклым стеклом на вытертом бархате: табакерочка, две-три камеи и фарфоровые чашечки семидесятих годов (которая треснута, которая с отбитой ручкой, которая без блюдца). А во второй, задней комнате очаро-

вательная Надежда Робертовна кормила нас обедами. За кофе Молабух спросил:

— А знаете ли, ребята, почему в Пензе соль?

— Почему?

— Девять тысяч.

— Ого!

— Вот тебе и «ого».

Вечером Танюшкина няня соорудила нам самовар. Ставила самовар забором. Теперь — дело прошлое — могу признаться: во дворе нашего дома здоровеннейшие тополя без всякого резона были обнесены изгородью. Мы с Есениным, лежа как-то в кровати и свернувшись от холода в клубок, порешили:

— Нечего изгороди стоять без толку вокруг тополей! Не такое ныне время.

И начали самовар ставить забором. Если бы не помогли соседи, хватило бы нам забора на всю революцию.

В вечер, о котором повествую, мы пиршествовали пензенской телятиной, московскими эклерами, орловским сахаром и белым хлебом.

Посолив телятину, Молабух раздумчиво задал нам вопрос:

— А вот почему, смекаете, соль в Пензе?

— Ну, а почему?

— Одиннадцать тысяч.

Есенин посмотрел на него смеющимися глазами и как ни в чем не бывало обронил:

— Н-да... за один только сегодняшний день на четыре тысячи подорожала...

И мы залились весельем.

У Молабуха тревожно полезли вверх скулы:

— Как так?

— Очень просто: утром семь, за кофе у Адельгейм девять, а сейчас к одиннадцати подскочила.

И залились заново.

С тех пор стали прозывать Молабуха «Почем-Соль».

Парень он был чудесный, только рассеянности невозможной и памяти скоротечной. Рассказывая об автомобиле, бывшем в его распоряжении на германском фронте, всякий раз называл новую марку и другое имя шофера.

За обедом вместо водки по ошибке наливал в рюмку из стоящего рядом графина воду. Залихватски опрокинув рюмку, кричал и с причмоком закусывал селедкой.

Скажешь ему:

— Мишук, чего крикаешь?

— Что?

— Чего, спрашиваю, крикаешь?

— Хороша-а!

— То-то хороша-а... отварная, небось... водичка-то.

Тогда он невообразимо серчал; подолгу отплевывался и с горя вконец напивался до белых риз.

А раз в вагоне — ехали мы из Севастополя в Симферополь — выпил вместо вина залпом полный стакан красных чернил. На последнем глотке расчухал. Напугался до того, что, переодевшись в чистые исподники и рубаху, лег на койку в благостном сосредоточии отдавать Богу душу. Души не отдал, а животом промучился.

## 18

Нежно обняв за плечи и купая свой голубой глаз в моих зрачках, Есенин спросил:

— Любишь ли ты меня, Анатолий? Друг ты мне правдивый или не друг?

— Чего болтаешь!

— А вот чего... не могу я с Зинаидой жить... вот тебе слово, не могу... говорил ей — понимать не хочет... не уйдет, и все... ни за что не уйдет... вбила себе в голову: «Любишь ты меня, Сергун, это знаю и другого знать не хочу»... Скажи ты ей, Толя (уж так прошу, как просить больше нельзя!), что есть у меня другая женщина...

— Что ты, Сережа!..

— Эх, милой, из петли меня вынуть не хочешь... петля мне — ее любовь... Толюк, родной, я пойду похожу... по бульварам, к Москве-реке... а ты скажи — она непременно спросит, — что я у женщины... с весны, мол, путаюсь и влюблен накрепко... а таить того не велел... Дай тебя поцелую...

Зинаида Николаевна на другой день уехала в Орел.

В Риме во дворце Поли княгиня Зинаида Волконская устроила для русской колонии литературный вечер. Гоголь по рукописи читал «Ревизора». Народу было много. Но, к ужасу Волконской, после первого действия половина публики покинула зал. Гоголь прочел второй акт и — в зале стало еще просторнее. Та же история повторилась с третьим. Автор мемуаров заключает, что «только обворожающей убедительности княгини удалось задержать небольшой круг самых близких и сплотить их вокруг угрюмого чтеца».

Человеческая тупость бессмертна.

Явились к нам в книжную лавку два студента: шапки из собачьего меха, а из-под шуб синие воротники. Гляжу на носы — юридические. Так и есть: в обращении непринужденность и в словах препротивнейшая легкость.

— Желательно бы повидать поэтов Есенина и Мариенгофа.

У меня сыздетства беспричинная ненависть к студенческой фуражке: «Gaudeamus» ввергало в бешенство. В старших классах гимназии, считая студентов тупее армейского штабс-капитана, мечтал высшее получить за границей.

И разве не справедливо течение судеб русского студенчества, заполнившего в годы войны школы прапорщиков и юнкерские училища и ставшего доподлинными юнкерами и прапорщиками?

В дни Керенского на полях Галиции они подставляли собственный лоб под немецкую пулю ради воодушевления не желающих воевать солдат. (Я нежно люблю анекдот про еврея, который, попав на позиции, спросил первым словом: «А где здесь плен?»)

В октябре за стенами военных училищ отстреливались до последнего патрона и последней пулеметной ленты. А в решительный час пошли в «Ледяной поход», сменив при Корнилове текинцев, с которыми тот бежал из Выховской тюрьмы и которых, в пути через Десну и Новгород-Северск к станицам, генералу приходилось уговаривать следующим образом: «Расстреляйте снача-

ла меня, а потом сдавайтесь большевикам. Я предпочту быть расстрелянным вами...»

Синие воротники рылись в имажинистских изданиях, а мы с Есениным шептались в углу.

— К ним?.. В клуб?.. Вступать?.. Ну их к чертям, не пойду.

— Брось, Анатолий, пойдем... неловко... А потом, все-таки приятно — студенты.

На Бронной, во втором этаже, длинный узкий зал с желтыми стеклами и низким потолком. Человек к человеку — как книга к книге на полке, когда соображаешь: либо втиснешь еще одну, либо не втиснешь. Воротников синих! Воротников!..

— И как это на третий год революции локотков на тужурочках не протерли.

На эстраду вышел Есенин. Улыбнулся, сузил веки и, по своей всегдашней манере, выставил вперед заворачивающую руку. Она жила у него одной жизнью со стихом, как некий ритмический маятник с жизнью часового механизма.

Начал:

Дождик мокрыми метлами чистит...

Что-то хихикнуло в конце зала.

Ивняковый помет на лугах...

Перефыркнулось от стены к стене и вновь хихикнуло в глубине.

Плюйся, ветер, охапками листьев...

Как серебряные пяточки, пересыпались смешки по первым рядам и тяжелыми целковыми упали в последних.

Кто-то свистнул.

Я люблю, когда синие чащи,  
Как с тяжелой походкой волы,  
Животами листвою храпящими  
По коленкам марают...

Слово «стволы» произнести не удалось. Весь этот ящик, набитый синими воротниками и золотыми пуговицами, — орал, вопил, свистел и громыхал ногами об пол.

Есенин по-детски улыбнулся. Недоумевающе обвел вокруг распахнувшимися веками. Несколько секунд постоял молча и, переступив с ноги на ногу, стал отходить за рояль.

Я впервые видел Есенина растерявшимся на эстраде. Видимо, уж очень неожидан был для него такой прием у студентов.

У нас были боевые крещения. На свист Политехнического зала он вкладывал два пальца в рот и отвечал таким пронзительным свистом, от которого смолкала тысячеголовая, беснующаяся орава. Есенин обернул ко мне белое лицо:

— Толя, что это?

— Ничего, Сережа. Студенты.

А когда вышли на Бронную, к нам подбежала девушка. По ее пухленьким щечкам и по розовенькой вздернутой пуговичке, что сидела чуть ниже бровей, текли в три ручья слезы. Красные губошлепочки всхлипывали.

— Я там была... я... я... видела... товарищ Есенин... товарищ Мариенгоф... вы... вы... вы...

Девушке казалось, что прямо с Бронной мы отправимся к Москве-реке искать удобную прорубь.

Есенин взял ее за руки:

— Хорошая, расчудесная девушка, мы идем в кафе... слышите, в кафе... Тверская, восемнадцать... пить кофе и кушать эклеры.

— Правда?

— Правда.

— Честное слово?

— Честное слово...

Эту девушку я увидел на литературной панихиде по Сергею Есенине. Встретившись с ней глазами, припомнил трогательное наше знакомство и рассказал о нем чужому, холодному залу.

Знаешь ли ты, расчудесная девушка, что Есенин ласково прозвал тебя «мордovorотиком», что любили мы тебя и помнили во все годы?

— Пропадает малый... Смотреть не могу — пла-а-а-а-кать хочется. Ведь люблю ж я его, стервеца... понимаешь ты, всеми печенками своими люблю...

— Да кто пропадает, Сережа? О чем говоришь?..

— О Мишуке тебе говорю. «Почем-Соль» наша пропадает... пла-а-а-кать хочется...

И Есенин стал пространно рассуждать о гибели нашего друга. А и вправду, без толку текла его жизнь. Волновался не своим волнением, радовался не своей радостью.

— Дрыхнет, сукин кот, до двенадцати... прохлаждается, пока мы тут стих точим... гонит за нами, без чутья, как барбос за лисой: по типографиям, в лавку книжную, за чужой славой... ведь на же тебе — на Страстном монастыре тоже намалевал: Михаил Молабух...

Есенин сокрушенно вздохнул:

— И ни в какую — разэнтакий — служить не хочет. Звезды своей не понимает. Спрашиваю я его вчера: «Ведь ездил же ты, "Почем-Соль", в отдельном своем вагоне на мягкой рессоре — значит, может тебе Советская Россия идти на пользу». А он мне: ни бе ни ме... пла-а-а-а-кать хочется.

И, чтобы спасти «Почем-Соль», Есенин предложил выделить его из нашего кармана.

Суровая была мера.

Больше всего в жизни любил «Почем-Соль» хорошее общество и хорошо покушать. То и другое — во всей Москве — можно было обрести лишь за круглым столом очаровательнейшей Надежды Робертовны Адельгейм.

Как-то с карандашиком в руках, прикинув скромную цену обеда, мы с Есениным порядком распечалились — вышло, что за один присест каждый из нас отправлял в свой желудок по двести пятьдесят экземпляров брошюрки стихов в сорок восемь страничек. Даже для взрослого слона это было бы не чересчур мало.

Часть, выделенная на обед «Почем-Соли», равнялась ста экземплярам. Приятное общество Надежды Робертовны было для него безвозвратно потеряно...

В пять, отправляясь обедать, добежали мы вместе до угла Газетного. Тут пути расходились. Каждый раз прощание было трагическим. У нашего друга, словно костяные мячики, прыгали скулы. Глядя с отчаянием на есенинскую калошу, он чуть слышно молил:

— Добавь, Сережа! Уж вот как хочется вместе... последний разок — свиную котлетку у Надежды Робертовны...

— Нет!

— Нет?

— Нет!

Вслед за желтыми мячиками скул у «Почем-Соли» начинали прыгать верхняя губа (красный мячик) и зрачки (черные мячики).

Ах, «Почем-Соль»!

Во время отступления из-под Риги со своим «Банным отрядом» Земского союза он поспал ночь на мокрой земле под навесом телеги. С тех пор прыгают в лице эти мячики, путаются в голове имена шоферов, марки автомобилей, а в непогоду и в ростепель ноют кости.

Милый «Почем-Соль», давай же вместе ненавидеть войну и обожать персонаж из анекдота. Ты знаешь, о чем я говорю. Мы же вместе с тобой задыхались от хохота.

Я не умею рассказывать (у нашего приятеля получалось намного смешнее), но зато я очень живо себе представляю:

— Крутил в аптеке пилюли и продавал клистиры. Война. Привезли под Двинск и посадили в окоп. Сидит, не солоно хлебавши. Бац! — разрыв. Бац! — другой! Бац! — третий. В воронке: мясо, камень, кость, тряпки, кровь и свинец. Вскакивает и, размахивая руками, орет немцам: «Сумасшедшие, что вы делаете!?! Здесь же люди сидят!»

Но тебе, милый «Почем-Соль», не до анекдотов. Тебе хочется плакать, а не смеяться.

Мы, хамы, идем к Надежде Робертовне есть отбивные на косточке, а тебя («тоже друзья!») посылаем из жадности («объешь нас») глотать всякую пакость («у самих, небось, животы болели от той дряни») в подвальчик.

«Почем-Соль» говорит почти беззвучно — губами, глазами, сердцем:



— Сережа, Сереженька, последний разок...

У Есенина расплеснулись руки:

— Н-н-н-е-т.

Тогда зеленая в бекеше спина «Почем-Соли» ныряла в ворота и быстро, быстро бежала к подвальчику, в котором рыжий с нимбом повар разводил фантазмагорию. А мы сворачивали за угол.

— Пусть его... пусть (и Есенин чесал затылок)... пропадет ведь парень... пла-а-а-акать хочется...

За круглым столом очаровательная Надежда Робертовна, как обычно, вела весьма тонкий (для «хозяйки гостиницы») разговор об искусстве, угощала необыкновенными слоеными пирожками и такими свинными отбивными, от которых «Почем-Соль» чувствовал бы себя счастливейшим из смертных.

Я вернул свою тарелку Надежде Робертовне.

Она удивилась:

— Анатолий Борисович, вы больны? Половина котлеты осталась нетронутой (прошу помнить, что дело происходило в 1919 году).

— Нет... ничего...

Жорж Якулов даже оборвал тираду о своих «Скачках», вскинул на меня пушистые ресницы и, сочувственно переведя глаз (похожий на косточку от чернослива, только что вынутую изо рта) с моей тарелки на мой нос, сказал:

— Тебе... гхе, гхе... Анатолий, надо — либо... гхе, гхе... в постель лечь... либо водки выпить...

Есенин потрепал его по плечу:

— Съедем, Жорж, по второй?

— Можно, Сережа... гхе, гхе... можно... вот я и говорю... когда они — сопляки — еще цветочки в вазочках рисовали, Серов, простояв час перед моими «Скачками», гхе, гхе, заявил...

— Я знаю, Жорж.

— Ну, так вот, милый мой, я уж тебе раз пятьдесят... гхе, гхе... говорил и еще... милый мой... милый мой... извольте знать, милостивые государи... гхе, гхе... что все эти французы... гхе, гхе... Пинкассо ваш, Матисс... и режиссеры там разные... гхе... гхе... Таиров — с площа-

дочками своими... гхе, гхе... «Саломей» всякие с «Фамирами»... гхе, гхе... гениальнейший Мейерхольд, милый мой, — все это мои «Скачки», милый мой... «Скачки», да-с! Весь «Бубновый валет», милый мой...

У меня защемило сердце.

Ах, «Почем-Соль»! Вот в эту трагическую минуту, когда голова твоя, как факел, пылает гневом на нас; когда весь мир для тебя окрашен в черный цвет вероломства, себялюбия и скаредности; когда навек померкло в твоих глазах сияние нежного и прекрасного слова «дружба», обратившегося в сальный огарок, чадящий изменами и хладнодушием, — в эту минуту тот, которого ты называл своим другом, уплетает вторую свиную котлету и ведет столь необыкновенные, столь неожиданные и столь зернистые (как любила говорить одна моя приятельница) разговоры о прекрасном...

Прошло дней десять. Мы с Есениным стояли на платформе Казанского вокзала, серой мешками, мешочниками и грустью. «Почем-Соль» уезжал в Туркестан в отдельном вагоне (на мягкой рессоре) в сопровождении пома и секретаря в шишаке с красной звездой величиной с ладонь, Ивана Поддубного.

Обняв Молабуха и крепко целуя в губы, я сказал:

— Дурында, благодари Сергуна за то, что на рельсу тебя поставил...

Они целовались долго и смачно, сдабривая поцелуй теплым матерным словом и криком, каким только крикают мясники, опуская топор в кровавую бычью тушу.

## 21

Тайна электрической грелки была раскрыта. Мы с Есениным несколько дней ходили подавленные. Часами обсуждали, какие кары обрушит революционная законность на наши головы. По ночам снилась Лубянка, следовательно с ястребиными глазами, черная стальная решетка. Когда комендант дома амнистировал наше преступление, мы устроили пиршество. Знакомые пожимали руки, возлюбленные плакали от радости, друзья

обнимали, поздравляли с неожиданным исходом. На радостях пили чай из самовара, вскипевшего на Николае угоднике: не было у нас угля, не было лучины — пришлось нащипать старую иконку, что смиренхонько висела в уголке комнаты. Один из всех «Почем-Соль» отказался пить божественный чай. Отодвинув соблазнительно дымящийся стакан, сидел хмурый, сердито пояснив, что дедушка у него был верующий, что дедушку он очень почитает и что за такой чай годика три тому назад погнали б нас по Владимирке. Есенин в шутливом серьезе продолжал:

Не меня ль по ветряному свею,  
По тому ль песку,  
Поведут с веревкою на шее  
Поллюбить тоску...

А зима свирепела с каждой неделей. После неудачи с электрической грелкой мы решили пожертвовать и письменным столом мореного дуба, превосходным книжным шкафом с полными собраниями сочинений Карпа Карповича и завидным простором нашего ледяного кабинета ради махонькой ванной комнаты.

Ванну мы закрыли матрасом — ложе; умывальник досками — письменный стол; колонку для согревания воды топили книгами.

Тепло от колонки вдохновляло на лирику. Через несколько дней после переселения в ванную Есенин прочел мне:

Молча ухает звездная звонница,  
Что ни лист, то свеча заре,  
Никого не впусти я в горницу,  
Никому не открою дверь.

Действительно: приходилось зубами и тяжелым замком отстаивать открытую нами «ванну обетованную». Вся квартира, с завистью глядя на наше теплое беспечное существование, устраивала собрания и выносила резолюции, требующие: установления очереди на житье под благосклонной эгидой колонки и на немедленное вы-

селение нас, захвативших без соответствующего ордера общественную площадь.

Мы были неумолимы и твердокаменны.

После Нового года у меня завелась подруга. Есенин смотрел на это дело бранчливо; сунул брови, когда исчезал я под вечер. Приходил Кусиков и подливал масла в огонь, намекая на измену в привязанности и дружбе, уверяя, что начинается так всегда — со склонности легкой, а кончается... и напевал своим приятным, маленьким и, будто, сердечным голосом:

Обидно, досадно,  
До слез, до мученья...

Есенин хорошо знал Кусикова, знал, что он вроде того чеховского мужика, который, встретив крестьянина, везущего бревно, говорил тому: «А ведь бревно-то из сухостоя, трухлявое»; рыбаку, сидящему с удочкой: «В такую погоду не будет клевать»; мужиков в засуху уверял, что «дождей не будет до самых морозов», а когда шли дожди, что «теперь все погибнет в поле»...

И все-таки Есенина нервило и дергало кусиковское

Обидно, досадно...

Как-то я не ночевал дома. Вернулся в свою «ванну обетованную» часов в десять утра; Есенин спал. На умывальнике стояла пустая бутылка и стакан. Понюхал — ударило в нос сивухой.

Растолкал Есенина. Он поднял на меня тяжелые, красные веки.

— Что это, Сережа?.. Один водку пил?..

— Да. Пил. И каждый день буду... ежели по ночам шляться станешь... с кем хочешь там хороводься, а что-бы ночевать дома...

Это было его правило: на легкую любовь он был падох, но хоть в четыре или в пять утра, а являлся спать домой.

Мы смеялись:

— Бежит Вятка в свое стойло.

Основное в Есенине: страх одиночества.

А последние дни в «Англетере». Он бежал из своего номера, сидел один в вестибюле до жидкого зимнего рассвета, стучал поздней ночью в дверь устиновской комнаты, умоляя впустить его.

## 22

Но до конца зимы все-таки крепости своей не отстояли. Пришлось отступить из ванны обратно — в ледяные просторы нашей комнаты.

Стали спать с Есениным вдвоем на одной кровати. Наваливали на себя гору одеял и шуб. По четным дням я, а по нечетным Есенин первым корчился на ледяной простыне, согревая ее дыханием и теплотой тела.

Одна поэтесса просила Есенина помочь устроиться ей на службу. У нее были розовые щеки, круглые бедра и пышные плечи.

Есенин предложил поэтессе жалованье советской машинистки, с тем чтобы она приходила к нам в час ночи, раздевалась, ложилась под одеяло и, согрев постель («пятнадцатиминутная работа!»), вылезала из нее, облекалась в свои одежды и уходила домой.

Дал слово, что во время всей церемонии будем сидеть к ней спинами и носами уткнувшись в рукописи.

Три дня, в точности соблюдая условия, мы ложились в теплую постель.

На четвертый день поэтесса ушла от нас, заявив, что не намерена дольше продолжать своей службы. Когда она говорила, голос ее прерывался, захлебывался от возмущения, а гнев расширил зрачки до такой степени, что глаза из небесно-голубых стали черными, как пуговицы на лаковых ботинках.

Мы недоумевали:

— В чем дело? Наши спины и наши носы свято блюди условия...

— Именно!.. Но я не нанималась греть простыни у святых...

— А!..

Но было уже поздно: перед моим лбом так гроыхнула входная дверь, что все шесть винтов английского замка вылезли из своих нор.

## 23

В есенинском хулиганстве прежде всего повинна критика, а затем читатель и толпа, набивавшая залы литературных вечеров, литературных кафе и клубов.

Еще до всероссийского эпатажа имажинистов, во времена «Инонии» и «Преображения», печать бросила в него этим словом, потом прицепилась к нему, как к кличке, и стала повторять и вдалбливать с удивительной методичностью.

Критика надоумила Есенина создать свою хулиганскую биографию, пронести себя хулиганом в поэзии и в жизни.

Я помню критическую заметку, послужившую толчком для написания стихотворения «Дождик мокрыми метлами чистит», в котором он, впервые в стихотворной форме, воскликнул:

Плюйся, ветер, охалками листьев,  
Я такой же, как ты, хулиган.

Есенин читал эту вещь с огромным успехом. Когда выходил на эстраду, толпа орала:

— «Хулигана».

Тогда совершенно трезво и холодно — умом он решил, что это его дорога, его «рубашка».

Есенин вязал в один веник поэтические свои прутья и прутья быта. Он говорил:

— Такая метла здоровше.

И расчищал ею путь к славе.

Я не знаю, что чаще Есенин претворял: жизнь в стихи или стихи в жизнь.

Маска для него становилась лицом и лицо маской.

Вскоре появилась поэма «Исповедь хулигана», за нею книга того же названия и вслед, через некоторые

промежутки, «Москва кабацкая», «Любовь хулигана» и т. д., и т. д. во всевозможных вариациях и на бесчисленное число ладов.

Так Петр сделал Иисуса — Христом.

В окрестностях Кесарии Филипповой Иисус спросил учеников:

— За кого почитают меня люди?

Они заговорили о слухах, распространявшихся в галилейской стране: одни считали его воскресшим Иоанном Крестителем, другие Илией, третьи Иеремией или иным из воскресших пророков.

Тогда Иисус задал ученикам вопрос:

— А вы за кого меня почитаете?

Петр ответил:

— Ты Христос.

И Иисус впервые не отверг этого наименования.

Убежденность простодушных учеников, на которых не раз сетовал Иисус за их малую просвещенность, утвердила Иисуса в решении пронести себя как Христа.

Когда Есенин как-то грубо в сердцах оттолкнул прижавшуюся к нему Изидору Дункан, она восторженно воскликнула:

— *Ruska lubow!*

Есенин, хитро пожевав бровями свои серые глазные яблоки, сразу хорошо понял, в чем была для той лакомость его чувства.

Невероятнейшая чепуха, что искусство облагораживает душу.

Сыно- и женоубийца Ирод — правитель Иудеи и ученик по эллинской литературе Николая Дамаскина — одна из самых жестокосердных фигур, которые только знает человечество. Однако архитектурные памятники Библоса, Баритоса, Триполиса, Птолемаиды, Дамаска и даже Афин и Спарты служили свидетелями его любви к красоте. Он украшал языческие храмы скульптурой. Выстроенные при Ироде Аскалонские фонтаны и бани и Антиохийские портики, шедшие вдоль всей главной улицы, — приводили в восхищение. Ему обязан Иерусалим театром и гипподромом. Он вызвал неудовольствие Рима тем, что сделал Иудею спутником императорского солнца.

Ни в одних есенинских стихах не было столько лирического тепла, грусти и боли, как в тех, которые он писал в последние годы, полные черной жутью беспробудности, полного сердечного распада и жесточенности.

Как-то, не дочитав стихотворения, он схватил со стола тяжелую пивную кружку и опустил ее на голову Ивана Приблудного — своего верного Лепорелло. Повод был настолько мал, что даже не остался в памяти. Обливающегося кровью, с рассеченной головой Приблудного увезли в больницу.

У кого-то вырвалось:

— А вдруг умрет?

Не поморщив носа, Есенин сказал, помнится, что-то вроде того:

— Меньше будет одной собакой!

## 24

Собственно говоря, зазря выдавали нам дивиденд наши компаньоны по книжной лавке.

Давид Самойлович Айзенштадт — голова, сердце и золотые руки «предприятия» — рассерженно обращался к Есенину:

— Уж лучше, Сергей Александрович, совсем не заниматься с покупателем, чем так заниматься, как вы или Анатолий Борисович...

— Простите, Давид Самойлович, душа взбурлила.

А дело заключалось в следующем: зайдет в лавку человек, спросит:

— Есть у вас Маяковского «Облако в штанах»?

Тогда отходил Есенин шага на два назад, узил в щелочки глаза, обмерял спросившего, как аршином, щелочками своими сначала от головы до ног, потом от уха к уху, и, выдержав презрительнейшую паузу (от которой начал топтаться на месте приемом таким огорошенный покупатель), отвечал своей жертве ледяным голосом:

— А не прикажете ли, милостивый государь, отпустить вам... Надсона... роскошное имеется у нас издание, в парчовом переплете и с золотым обрезаем?



Покупатель обижался:

— Почему ж, товарищ, Надсона?

— А потому, что я так соображаю: одна дрянь!.. От замены этого этим ни прибыли, ни убытку в достоинствах поэтических... переплетец же у господина Надсона несравненно лучше.

Налившись румянцем, как анисовое яблоко, выкатывался покупатель из лавки.

Удовлетворенный Есенин, повернувшись носом к книжным полкам и спиной к прилавку, вытаскивал из ряда поаппетитнее книгу, нежно постукивал двумя пальцами по корешку, ласково, как коня по крутой шее, трепал ладонью по переплету и отворачивал последнюю страницу:

— Триста двадцать.

Долг потом шевелил губой, что-то в уме прикидывая, и, расплывшись наконец в улыбку, объявлял, лучась счастливыми глазами:

— Если, значит, всю мою лирику в одну такую собрать, пожалуй что на триста двадцать потяну.

— Что!

— Ну, на сто шестьдесят.

В цифрах Есенин был на прыжки горазд и легко уступчив. Говоря как-то о своих сердечных победах, махнул:

— А ведь у меня, Анатолий, за всю жизнь женщин тысячи три было.

— Вятка, не брешь.

— Ну, триста.

— Ого!

— Ну, тридцать.

— Вот это дело.

Вторым нашим компаньоном по лавке был Александр Мелентьевич Кожебаткин — человек, карандашом нарисованный остро отточенным и своего цвета.

В декадентские годы работал он в издательстве «Музагет», потом завел собственную «Альциону», коллекционировал поэтов пушкинской поры и вразрез всем библиографам мира зачастую читал не только заглавный лист книги и любил не одну лишь старенькую виньеточ-

ку, сладковатый вековой запах книжной пыли, дату и сентябрьскую желтизну бумаги, но и самого старого автора.

Мелентьич приходил в лавку, вытаскивал из лысого портфельчика бутылку красного вина и, оставив Досю (Давида Самойловича) разрываться с покупателями, распивал с нами вино в задней комнатке.

После второго стакана цитирует какую-нибудь строку из Пушкина, Дельвига или Баратынского:

— Откуда сие, господа поэты?

Есенин глубокомысленно погружается в догадку:

— Из Кусикова!..

Мелентьич удовлетворен. Остаток вина разлит по стаканам.

Он произносит торжественно:

— Мы лени-и-вы и не любопы-ы-ытны!

Житейская мудрость Кожебаткина была проста:

— Дело не уйдет, а хорошая беседа за бутылкой вина может не повториться.

Еще при существовании лавки стали уходить картины и редкие гравюры со стен квартиры Александра Мелентьевича. Вскоре начали редеть книги на полках.

Случилось, что я не был у него около года. Когда зашел, сердце у меня в груди поджало хвост и заскулило: покойник в доме то же, что пустой книжный шкаф в доме человека, который живет жизнью книги.

Теперь у Кожебаткина дышится легче: описанные судебным исполнителем и проданные с торгов шкафы вынесены из квартиры.

Когда мрачная процессия с гробом короля испанского подходит к каменному Эскуриалу и маршал стучит в ворота, монах спрашивает:

— Кто там?

— Тот, кто был королем Испании, — отвечает голос из похоронного шествия.

Тяжелые ворота открываются перед «говорившим» мертвым телом.

Монах в Эскуриале обязан верить собственному голосу короля. Этикет.

Когда Александру Мелентьевичу звонят из типографии с просьбой немедленно приехать и подписать

«к печати» срочное издание, а Жорж Якулов предлагает распить бутылочку, милый романтический «этикет» обязывает Кожебаткина верить своей житейской мудрости, что «не уйдет дело», и свернуть в грузинский кабачок.

А назавтра удвоенный типографский счет за простой машины.

## 25

В раннюю весну мы перебрались из Богословского в маленькую квартирку Семена Федоровича Быстрова в Георгиевском переулке у Патриарших прудов.

Быстров тоже работал в нашей лавке.

Началось беспечальное житье.

Крохотные комнатухи с низкими потолками, крохотные оконца, крохотная кухонька с огромной русской печью, дешевенькие, словно из деревенского ситца, обои, пузатый комодик, классики в издании «Приложения к "Ниве"» в нивских цветистых переплетах — какая прелесть!

Будто моя Пенза. Будто есенинская Рязань.

Милый и заботливый Семен Федорович, чтобы жить нам как у Христа за пазухой, раздобыл (ах, шутник!) — горняшку.

Красотке в феврале стукнуло 93 года.

— Барышня она, — сообщил нам из осторожности, — предупредить просила...

— Хорошо. Хорошо. Будем, Семен Федорович, к девичью ее стыду без упрека.

— Вот! вот!

Звали мы барышню нашу бабушкой-горняшкой, а она нас: одного — «черным», другого — «белым». Семен Федоровичу на нас жаловалась:

— Опять ноне привел белый...

— Да кого привел, бабушка?

— Тьфу! сказать стыдно.

— Должно, знакомую свою, бабушка.

— Тьфу! Тьфу!.. к одинокому мужчине, бессовестная. Хоть бы меня, барышню, постыдилась.

Или:

— Уважь, батюшка, скажи ты черному, чтобы муку не сыпал.

— Какую муку, бабушка? (Знал, что разговор идет про пудру.)

— Смотреть тошно: муку все на нос сыплет. И пол мне весь мукой испакостил. Метешь! Метешь!

Всякий раз, возвращаясь домой, мы с волнением нажимали пуговку звонка: а вдруг да и некому будет открыть двери — лежит наша бабушка-барышня бездыханным телом.

Глядь, нет, шлепает же ведь кожаной пяткой, кряхтит, ключ поворачивая. И отляжет камешек от сердца до следующего дня.

Как-то здорово нас обчистили. Из передней шубы вынесли и даже из комнаты, в которой спали, костюмы.

Грусть и досада обуяла такая, что прямо страсть. Нешуточное дело было в те годы выправить себе костюм и шубу.

Лежим в кроватях чернее тучи.

Вдруг бабушкино кряхтенье на пороге.

Смотрит она на нас лицом трагическим:

— У меня сало-о-оп украли.

А Есенин в голос ей:

— Слышишь, Толька, из сундука приданое бабушкино выкрали.

И, перевернувшись на животы, уткнувшись носами в подушки, стали кататься мы в непристойнейшем — для таких сугубо злокозненных обстоятельств — смехе.

Хозяйственность Семена Федоровича, наивность квартирки, тишина Георгиевского переулочка и романтичность нашей домоуправительницы располагали к работе.

Помногу сидели мы за стихами, принялись оба за теорию имагинизма.

Не знаю, куда девалась неоконченная есенинская рукопись. Мой «Буян-Остров» был издан Кожебаткиным к осени.

Работа над теорией завела нас в фантастические дебри филологии.

Доморощенную развели науку — обнажая и обнаруживая диковинные, подчас основные, образные корни и стволы в слове.

Бывало, только продерешь со сна глаза, а Есенин кричит:

— Анатолий, крыса!

Отвечаешь заспанным голосом:

— Грызть.

— А ну, производи от зерна.

— Озеро, зрак.

— А вот тоже хорош образ в корню: рука — ручей, река — речь...

— Крыло — крыльцо...

— Око — окно...

Однажды, хитро прихромнув бровью, спросил:

— Валяй, производи от сора.

И, не дав пораскинуть мозгами, проторжествовал:

— Сортир.

— Эх, Вятка, да ведь *sortir*-то слово французское...

Очень был обижен на меня за такой оборот дела.

Весь вечер дулся.

Казалось нам, что, доказав образный рост языка в его младенчестве, раз навсегда сделаем мы бесспорной нашу теорию.

Поэзия — что деревенское одеяло, сшитое из множества пестроцветных лоскутов.

А мы прицепились к одному и знать больше ничего не желали.

Так один сельский поп прилепился со всем пылом своего разума к йоду. Несокрушимую возымел веру в целительность и всеврачующую его благодать.

Однажды матушка, стирая пыль со шкафчика, сронила большую боржомную бутылку с йодом.

Словно расплавленная медь разлилась по полу.

Батюшка заголосил:

— Ах, господи Иисусе! ах, Господи Иисусе! несчастье-то какое, Господи Иисусе!

И живым манером, скинув порты и задрав рясу, сел пышными своими ягодицами в лужу йода, приговаривая при этом:

— И чтоб добро такое, господи Иисусе, не пропадало! Матушку тоже приглашал.

— Садись и ты, Марфа Петровна, органами благодать впитывать!

Смех смехом, а правота правотой.

Стою на Окуловой горе в Пушкине. На закорках у меня двухгодовалый пострел мой — Кирилка. Смотрим оба на пламенно-красное заходящее солнце.

Кирилл протягивает ручонку в закат и говорит, сияя:

— Мяять (мяч).

Еще посмотрел и, покачав головенкой, переменил решение:

— Саал (шар).

И наконец, ухватив меня пребольно за нос, очень уверенный в своей догадке, произнес решительно:

— Неть. Неть — тисы (часы).

Каковы образы. Какова наглядность — нам в подтверждение — о словесных формированиях.

## 26

У Семена Федоровича где-то в Тамбовской губернии были ребятишки. Сообразил он их перевезти в Москву и по этому случаю начал поприглядывать нам другую комнату.

Сказал, что в том же Георгиевском хотели уплотниться князя В.

Семена Федоровича князь предупредил:

— Жидов и большевиков не пущу.

На другой день отправились на осмотр «тихой пристани».

Князю за шестьдесят, княгине под шестьдесят — оба маленькие, седенькие, чистенькие. И комнатка с ними схожая. Сразу она и мне, и Есенину приглянулась. Одно удивило, что всяческих столиков в комнатенке поставлено штук пятнадцать: круглые, овальные, ломберные, чайные, черного дерева, красного дерева, из березы карельской, из ореха какого-то особого, с перламутровой

инкрустацией, с мозаикой деревянной — одним словом, и не перечислить всех сортов.

Есенин скромненько так спросил:

— Нельзя ли столиков пяточек вынести из комнаты?

Князь и княгиня обиделись. Оба сердито замотали головами и затуркали ножками.

Пришлось согласиться на столики. Стали прощаться. Князь, протянув руку, спрашивает:

— Значит, вы будете жить?

А Есенину послышалось вместо «жить» — «жид».

Говорит испуганно:

— Что вы, князь, я не жид... я не жид...

Князь и княгиня переглянулись. Глазки их метнули недоверчивые огоньки.

Сердито захлопнулась за нами дверь.

Утром, за чаем, Семен Федорович передал князев ответ, гласящий, что «рыжий» (Есенин) беспреречно уж жид и большевик, а насчет «высокого» они тоже не вполне уверены — во всяком случае, в дом свой ни за какие деньги жить не пустят.

Есенин чуть блюдечко от удивления не проглотил.

## 27

В весеннюю ростепель собрались в Харьков. Всякий столичанин тогда втайне мечтал о белом украинском хлебе, сале, сахаре, о том, чтобы хоть недельку-другую поработало брюхо, как в осень мельница.

Старая моя нянька так говорила о Москве:

— Уж и жизнь! Уж и жизнь! В рот не бери и на двор не ходи.

Весь последний месяц Есенин счастливо играл в карты. К поездке поднаобирались деньги.

Сначала садились за стол оба — я проигрывал, он выигрывал.

На заре вытрясем бумажники: один с деньжищами, другой пустой.

Подсчитаем — все так на так.

Есенин сказал:

— Анатолий, сиди дома. Не игра получается, а одно баловство. Только ночи попусту теряем.

Стал ходить один.

Играл свирепо.

Сорвет ли чей банк, удачно ли промечет — никогда своих денег на столе не держит. По всем растычет карманам: и в брючные, и в жилеточные, и в пиджачные.

Если карта переменится — кармана три вывернет, скажет:

— Я пустой.

Последние его ставки идут на мелок.

Придет домой, растолкает меня и станет из остальных уцелевших карманов на одеяло выпотрашивать хрусткие бумажки...

— Вот, смекай, как играть надо!

Накануне отъезда у нас в Георгиевском Шварц читал свое «Евангелие от Иуды».

Шварц — любопытнейший человек. Больших знаний, тонкой культуры, своеобразной мысли. Блестящий приват-доцент Московского университета с вдохновенным цинизмом проповедовал апологию мещанства. В герани, канарейке и граммофоне видел счастливую будущность человечества.

Когда вкусовые потребности одних возрастут до понимания необходимости розовенького цветочка на своем подоконнике, а изощренность других опростится до щелканья желтой птички, наступит золотой век.

На эстраде всегда Шварц был увлекателен, едок и остро словен.

Как несправедливо, что маленькая черная фигурка, с абсолютной круглой бледной головой и постоянным в глазу моноклем на широком шнуре, ушла, не оставив после себя следа.

Походил он на палку черного дерева с шаром из слоновой кости вместо ручки.

Шварц двенадцать лет писал «Евангелие от Иуды».

Впервые его прочесть решил у нас — тогда самых молодых, самых «левых», самых бесцеремонных к литературным богам и божкам.



Объяснял:

— Мне нос важен. Чтобы разнюхали: с тухлятинкой или без тухлятинки. А на сей предмет у этих носы самые подходящие.

На чтение позвали мы Кожебаткина и еще двух-трех наших друзей.

«Евангелие» Шварцу не удалось.

Видимо, он ожидал, что три его печатных листика, на которых положено было двенадцать лет работы, поразят по крайней мере громом «Войны и мира».

Шварц кончил читать и в необычайном волнении выплюнул из глаза монокль.

Есенин дружески положил ему руку на колено:

— А знаете, Шварц, ерунда-а-а!.. Такой вы смелый человек, а перед Иисусом словно институтка с книксочками и приседаньями. Помните, как у апостола сказано: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам»? Вот бы и валяли. Образ-то какой можно было закатить. А то развел патоку... да еще «от Иуды».

И, безнадежно махнув рукой, Есенин нежно заулыбался.

Этой же ночью Шварц отравился.

Узнали мы о его смерти утром.

В Харьков отходил поезд в четыре. Хотелось бежать из Москвы, заткнув кулаками уши и придушив мозг.

На вокзале нас ждали. В теплушке весело потрескивала железная печка. В соседнем вагоне ехали красноармейцы.

Еще с Москвы стали они горланить песни и балагурить. Один, голубоглазый, с добрыми широкими скулами, ноздрями, расставленными как рогатка, и мягким пухлым ртом, чудесно играл на гармошке.

На какой-то станции я замешкался с кипятком. Поезд тронулся. На ходу вскочил в вагон к красноармейцам.

Не доезжая Тулы, поезд крепко пошел. Вдали по насыпи бежала большая белая собака, весело виляя хвостом.

Голубоглазый отложил гармонь и, вскинув винтовку, неожиданно выстрелил.

Собака, только что весело вилявшая хвостом, ткнулась носом в землю, мелькнула в воздухе белыми лапами и свалилась с насыпи в ров.

Довольный выстрелом, красноармеец повернул ко мне свое мягкое, широкоскулое лицо с пухлым ртом, расплывшись в добродушную улыбку:

— Во как ее...

И еще одна подобная же улыбка как заноза застряла у меня в памяти.

Во дворе у нас жил водопроводчик. Жена его умерла от тифа. Остался на руках неудачливый (вроде как бы юродивенький) мальчонка лет пяти.

Водопроводчик все ходил по разным учреждениям, по детским домам пристраивать мальчика.

Я при встречах интересовался:

— Ну как, пристроили Володюху?

— Обещали, Анатолий Борисович, в ближайшем будущем.

В следующий раз сообщил:

— Просили наведаться через недельку.

Или:

— Сказали, чтоб маненько повременил.

И все в том же духе.

Случилось, что встретил я водопроводчика с другим ответом:

— Пристроил, Анатолий Борисович, пристроил моего Володюху.

И с тою же улыбкой мне в ласковости своей хорошо знакомой — рассказал, каким образом пристроил: взял на Ярославском вокзале билет, сел с Володюхой в поезд, а в Сергиеве, когда мальчонка заснул, тихонько вышел из вагона и сел в поезд, идущий в Москву. А Володюха поехал дальше.

## 28

Идем по Харькову — Есенин в меховой куртке, я в пальто тяжелого английского драпа, а по Сумской молодые люди щеголяют в одних пиджачках.

В руках у Есенина записочка с адресом Льва Осиповича Повицкого — большого его приятеля.

В восемнадцатом году Повицкий жил в Туле у брата на пивоваренном заводе. Есенин с Сергеем Клычковым гостили у них изрядное время.

Часто потом вспоминали они об этом гощенье, и всегда радостно.

А Повицкому Есенин писал дурашливые письма с такими стихами Крученыха:

Утомилась, долго бегая,  
Моя вороха пеленок,  
Слышит, кто-то, как цыпленок,  
Тонко, жалобно пищит:  
Пить, пить.  
Прислонивши локоток,  
Видит: в небе без порток  
Скачет, пляшет мил дружок.

У Повицкого рассчитывали найти в Харькове кровать и угол.

Спрашиваем у встречных:

— Как пройти?

Чистильщик сапог кому-то на хромовом носке ботинка наяривает полоской бархата сногшибательный глянец.

— Пойду, Анатолий, узнаю у щеголя дорогу.

— Поди.

— Скажите, пожалуйста, товарищ...

Товарищ на голос оборачивается и, оставив чистильщика с повисшей недоуменно в воздухе полоской бархата, бросается с раскрытыми объятиями к Есенину:

— Сережа!

— А мы тебя, разэнтакий, ищем. Познакомьтесь: Мариенгоф — Повицкий.

Повицкий подхватил нас под руки и потащил к своим друзьям, обещая гостеприимство и любовь. Сам он тоже у кого-то ютился.

Миновали уличку, скосили два-три переулка.

— Ну, ты, Лев Осипович, ступай вперед и вопросы. Обрадуются — кличь нас, а если не очень, повернем оглобли.

Не прошло и минуты, как навстречу нам выпорхнуло с писком и визгом штук шесть девиц.

Повицкий был доволен.

— Что я говорил? А?

Из огромной столовой вытащили обеденный стол и, вместо него, двухспальный волосяной матрац поставили на пол.

Было похоже, что знают они нас каждого лет по десять, что давным-давно ожидали приезда, что матрац для того только и припасен, а столовая для этого именно предназначена.

Есть же ведь на свете теплые люди!

От Москвы до Харькова ехали суток восемь; по ночам в очередь топили печь; когда спали, под кость на бедре подкладывали ладонь, чтобы было помягче.

Девицы стали укладывать нас «почивать» в девятом часу, а мы и для приличия не попротивились. Словно в подкованный тяжелый солдатский сапог усталость обула веки.

Как уснули на правом боку, так и проснулись на нем (ни разу за ночь не повернувшись) — в первом часу дня.

Все шесть девиц ходили на цыпочках.

В темный занавес горячей ладонью уперлось весеннее солнце.

Есенин лежал ко мне затылком. Я стал мохрывать его волосы.

— Чего роешься?

— Эх, Вятка, плохо твое дело. На макушке плешинка в серебряный пяточок.

— Что ты?..

И стал ловить серебряный пяточок двумя зеркалами, одно наводя на другое.

Любили мы в ту крепкую и тугую юность потолковать о неподходящих вещах — выдумывали январский иней в волосах, несуществующие серебряные пяточки, осеннюю прохладу в густой горячей крови.

Есенин отложил зеркала и потянулся к карандашу.

Сердцу, как и языку, приятна нежная, хрупкая горечь.

Прямо в кровати, с маху, почти набело (что случалось редко и было не в его тогдашних правилах) написал трогательное лирическое стихотворение.

Через час за завтраком он уже читал благоговейно внимавшим девицам:

По-осеннему кычет сова  
Над раздольем дорожной рани.  
Облетает моя голова,  
Куст волос золотистый вянет.

Полевое степное «ку-гу»,  
Здравствуй, мать голубая осина!  
Скоро месяц, купаясь в снегу,  
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,  
Звоном звезд насыпая уши.  
Без меня будут юноши петь,  
Не меня будут старцы слушать.

## 29

В Харькове жил Велемир Хлебников. Решили его проведать.

Очень большая квадратная комната. В углу железная кровать без матраца и тюфячка, в другом углу табурет. На табурете обгрызки кожи, дратва, старая оторванная подметка, сапожная игла и шило.

Хлебников сидит на полу и копошится в каких-то ржавых, без шляпок, гвоздиках. На правой руке у него щиблета.

Он встал нам навстречу и протянул руку с щиблетой. Я, улыбаясь, пожал старую дырявую подошву. Хлебников даже не заметил.

Есенин спросил:

— Это что у вас, Велемир Викторович, сапог вместо перчатки?

Хлебников сконфузился и покраснел ушами — узкими, длинными, похожими на спущенные рога.

— Вот... сам сапоги тачаю... садитесь...

Сели на кровать.

— Вот...

И он обвел большими, серыми и чистыми, как у святых на иконах Дионисия Глушицкого, глазами пустынный квадрат, оклеенный желтыми выцветшими обоями.

— ...комната вот... прекрасная... только не люблю вот... мебели много... лишняя она... мешает.

Я подумал, что Хлебников шутит.

А он говорил строго, тормоша волосы, низко, под машинку остриженные после тифа.

Голова у Хлебникова как стакан простого стекла, просвечивающий зеленым.

— ...и спать бы... вот можно на полу... а табурет нужен... заместо стола я на подоконнике... пишу... керосина у меня нет... вот и учусь в темноте... писать... всю ночь сегодня... поэму...

И показал лист бумаги, исчерченный каракулями, сидящими друг на друге, сцепившимися и переплетшимися.

Невозможно было прочесть ни одного слова.

— Вы что же, разбираете это?

— Нет... думал вот, стихок сто написал... а когда вот рассвело... вот и...

Глаза стали горькими:

— Поэму... жаль вот... ну, ничего... я, знаете, вот научусь в темноте... непременно в темноте...

На Хлебникове длинный черный сюртук с шелковыми лацканами и парусиновые брюки, стянутые ниже колен обмотками.

Подкладка пальто служит тюфяком и простыней одновременно.

Хлебников смотрит на мою голову — разделенную ровным, блестящим, как перламутр, пробором и выутюженную жесткой щеткой.

— Мариенгоф, мне нравится вот, знаете, ваша прическа... я вот тоже такую себе сделаю...

Есенин говорит:

— Велемир Викторович, вы ведь Председатель Земного шара. Мы хотим в Городском харьковском театре

всенародно и торжественным церемониалом упредить ваше избрание.

Хлебников благодарно жмет нам руки.

Неделю спустя перед тысячеглазым залом совершается ритуал.

Хлебников, в холщовой рясе, босой и со скрещенными на груди руками, выслушивает читаемые Есениным и мной акафисты, посвящающие его в Председатели.

После каждого четверостишия, произносит:

— Верую.

Говорит «верую» так тихо, что еле слышим мы. Есенин толкает его в бок:

— Велемир, говорите громче. Публика ни черта не слышит.

Хлебников поднимает на него недоумевающие глаза, как бы спрашивая: «Но при чем же здесь публика?» И еще тише, одним движением рта, повторяет:

— Верую.

В заключение как символ Земного шара надеваем ему на палец кольцо, взятое на минуточку у четвертого участника вечера — Бориса Глубоковского. Опускается занавес.

Глубоковский подходит к Хлебникову:

— Велемир, снимай кольцо.

Хлебников смотрит на него испуганно за спину.

Глубоковский сердится:

— Брось дурака ломать, отдавай кольцо!

Есенин надрывается от смеха. У Хлебникова белеют губы:

— Это... это... Шар... символ Земного шара... А я — вот... меня... Есенин и Мариенгоф в Председатели...

Глубоковский, теряя терпение, грубо стаскивает кольцо с пальца. Председатель Земного шара, уткнувшись в пыльную театральную кулису, плачет светлыми и большими, как у лошади, слезами.

Перед отъездом в Москву отпечатали мы в Харькове сборничек «Харчевня зорь». Есенин поместил в нем «Кобыльи корабли», я «Встречу», Хлебников — поэму и небольшое стихотворение:

Голгофа  
Мариенгофа.  
Город  
Распорот.  
Воскресение  
Есенина.  
Господи, отелись,  
В шубе из лис.

## 30

В пасхальную ночь на харьковском бульваре, вымощенном человеческой толпой, читали стихи.

Есенин своего «Пантократора».

В колокольный звон вклинивал высоким, рассекающим уши голосом:

Не молиться тебе, а лаяться  
Научил ты меня, Господь.

Толпа в шлемах, кепках и картузах, подобно огромной черной ручище, сжималась в кулак.

А слова падали, как медные пятаки, на асфальт.

И за эти седины кудрявые,  
За копейки с золотых осин,  
Я кричу тебе: «К черту старое»,  
Непокорный разбойный сын.

Когда Есенин кончил, шлемы, кепки и картузы подняли его на руки и стали бросать вверх. В пасхальную ночь. В колокольный звон.

Хорошая проверка для стихов. А у Гоголя была еще лучше.

Старый большевик Михаил Яковлевич Вайнштейн рассказал мне следующий случай.

В Петропавловской крепости его соседом по камере был максималист. Над максималистом шли последние дни суда, и тюрьма ожидала смертного приговора. Воздух становился твердым, словно камень, а мысли в голове ворочались тупо и тяжело, как жирные свиньи.



И вдруг: из соседней комнаты, от максималиста, через толстую петропавловскую стену — широкий, раскатистый во всю грудь — смех. Такой, что идет от пупа.

Смех перед виселицей пострашнее рыданий.

Вайнштейн поднял тревогу: казалось, безумие опередило смерть.

Пришел надзиратель, заглянул в камеру к максималисту, развел руками, недоуменно покачал головой и сообщил:

— Читает.

Тогда Вайнштейн стуками оторвал соседа от книги и спросил:

— В чем дело?

Сосед ответил:

— Читаю Гоголя. «Ночь под Рождество». Про кузнеца Вакулу. Сил моих нет, до чего смешно...

## 31

Из всей литературы наименее по душе была нам — литература военного комиссариата.

Сначала читали внимательно и точно все мобилизационные приказы. Читали и расстраивались. Чувствовали непрочность наших освободительных бумажек. Впоследствии нашли способ более душеспокойный — не читать ни одного. Только быстрее пробежали мимо свежерасклеенных.

Зажмурили глаза, а вести стали ползти через уши. С перепугу Есенин побежал к комиссару цирков — Нине Сергеевне Рукавишниковой.

Циркачи были освобождены от обязанности и чести с винтовкой в руках защищать республику.

Рукавишникова предложила Есенину выезжать верхом на коне на арену и читать какую-то стихотворную ерунду, сопровождающую пантомиму.

Три дня Есенин гарцевал на коне, а я с приятельницами из ложи бенуара встречал и провожал его громовыми овациями.

Четвертое выступление было менее удачным.

У цирковой клячи защекотало в ноздре, и она так мотнула головой, что Есенин, попривыкнувший к ее спокойному нраву, от неожиданности вылетел из седла и, описав в воздухе головокружительное сальто-мортале, растянулся на земле.

— Уж лучше сложу голову в честном бою, — сказал он Нине Сергеевне.

С обоюдного согласия полугодовой контракт был разорван.

Днем позже приехал из Туркестана «Почем-Соль». Вечером распили бутылку кишмишевки у одного из друзей. Разошлись поздней ночью.

На улице догорланивали о «странностях любви».

Есенин вывез из Харькова нежное чувство к восемнадцатилетней девушке с библейскими глазами.

Девушка любила поэзию. На выпряженной таратайке, стоящей среди маленького круглого двора, просиживали они от раннего вечера до зари. Девушка глядела на луну, а Есенин в ее библейские глаза.

Толковали о преимуществах неполной рифмы перед точкой, о неприличии пользоваться глагольной, о барабанности составной и приятности усеченной.

Есенину невозможно нравилось, что девушка с библейскими глазами вместо «рифмы» — произносила «рыфма».

Он стал даже ласково называть ее:

— Рыфмочка.

Горланя на всю улицу, Есенин требовал от меня подтверждения перед «Почем-Солью» сходства Рыфмочки с возлюбленной царя Соломона, прекрасной и неповторимой Суламифью.

Я, зля его, говорил, что Рыфмочка прекрасна, как всякая еврейская девушка, только что окончившая в Виннице гимназию и собирающаяся на зубоврачебные курсы в Харьков.

Он восхвалял ее библейские глаза, а я — будущее ее искусство долбить зубы бормашиной.

В самом разгаре спора неожиданно раздался пронзительный свисток, и на освещенном углу появились фигуры милиционеров.

Из груди Есенина вырвалось как придыхание:

— Облава!

Только вчера он вернул Рукавишниковой спасительное цирковое удостоверение.

Раздумывать долго не приходилось.

— Бежим?

— Бежим!

Пятки засверкали. Позади дребезжали свистки и плюхались тяжелые сапоги.

«Почем-Соль» сделал вслед за нами прыжков двадцать. У него заломило в спине, в колене, слетела с головы шапка, а из раскрывшегося портфеля, как из голубятни, вылетели бумаги.

Схватившись за голову, он сел на мостовую.

Срезая угол, мы видели, как пленили его и повели милиционеры.

А между нами и погоней расстояние неизменно росло.

У Гранатного переулка Есенин нырнул в чужие ворота, а я побежал дальше. Редкие ночные прохожие шаркались в стороны.

Есенин после рассказывал, как милиционеры обыскивали двор, в котором он притаился, как он слышал приказ стрелять, если обнаружат, и как он вставил палец меж десен, чтобы не стучали зубы.

С час просидели мы на кроватях, дожидаясь «Почем-Соли».

А он явился только в десятом часу утра. Бедняга провел ночь в милиции. Не помогли и мандаты с грозными подписями и печатями.

Ругал нас последними словами:

— Чего, олухи, побежали?.. Вшей из-за вас, чертей, понабрался. Ночь не спал. Проститутку пьяную в чувство приводил. Бумажник уперли...

— А мы ничего себе — спали... на мягкой постели...

— Вот тебе, «Почем-Соль», и мандат... и еще грозишь: «имею право ареста до тридцати суток», а самого в каталажку... пфф...

— Все не «пфф»... А спрашивали: «Кто был с вами?», говорю: «Поэты Есенин и Мариенгоф».

— Зачем сказал?

— А что же, мне всю жизнь из-за вас, дьяволов, в каталажке сидеть?

— Ну?

— Ну, потом: «Почему побежали?» — «Потому, — отвечаю, — идиоты». Хорошо еще, что дежурный попался толковый: «Известное дело, — говорит, — имажинисты», и отпустил, не составив протокола.

«Почем-Соль» вез нам из Туркестана кишмиш, урюк, рис и разновсякого варенья целые жбаны.

А под Тулой заградительный продовольственный отряд, несмотря на имеющиеся разрешения, все отобрал.

«Заградилка» та и ее начальник из гусарских вахмистров — рыжий, веснушчатый, с носом, торчащим, как шпора, — славились на всю Россию своей лютостью.

## 32

В середине лета «Почем-Соль» получил командировку на Кавказ.

— И мы с тобой.

— Собирай чемоданы.

Отдельный маленький белый вагон туркестанских дорог. У нас двухместное мягкое купе. Во всем вагоне четыре человека и проводник.

Секретарем у «Почем-Соли» мой одноклассник по Нижегородскому дворянскому институту — Василий Гастев. Малый такой, что на ходу подметки режет.

Гастев в полной походной форме, вплоть до полевого бинокля. Какие-то невероятные нашивки у него на обшлаге. «Почем-Соль» железнодорожный свой чин приравнивает чуть ли не к командующему армией, а Гастев — скромно к командиру полка. Когда является он к дежурному по станции и, нервно постукивая ногтем о желтую кобуру нагана, требует прицепки нашего вагона «вне всякой очереди», у дежурного трясутся поджилки.

— Слушаюсь: с первым отходящим.

С таким секретарем совершаем путь до Ростова молниеносно. Это означает, что вместо полагающихся по тому времени пятнадцати — двадцати дней, мы выскакиваем из вагона на ростовском вокзале на пятые сутки.

Одновременно Гастев и... администратор наших лекций.

Мы с Есениным читаем в Ростове, в Таганроге. В Новочеркасске, после громовой статьи местной газеты, за несколько часов до начала — лекция запрещается.

На этот раз не спасает ни желтая гостевская кобура, ни карта местности на полевой сумке, ни цейссовский бинокль.

Газета сообщила неправдоподобнейшую историю имажинизма, «рокамболические» наши биографии — и под конец ехидно намекнула о таинственном отдельном вагоне, в котором разъезжают молодые люди, и о боевом администраторе, украшенном ромбами и красной звездой.

С «Почем-Солью» после такой статьи стало скверно.

Отдав распоряжение «отбыть с первым отходящим», он, переодевшись в чистые исподники и рубаху, лег в своем купе — умирать.

Мы пробовали успокаивать, давали клятвенные обещания, что впредь никаких лекций читать не будем, но безуспешно. Он был сосредоточенно-молчалив и смотрел в пространство взглядом блуждающим и просветленным, словно врата Царствия Небесного уже разверлись перед ним.

А на ночь принял касторки.

Поезд шел по кубанской степи.

К пустому пузырьку от касторки Есенин привязал веревку, и раскачивая ею, как кадиллом, совершал отпевание над холодеющим в суеверном страхе «Почем-Солью». Действие возвышенных слов службы и тягучая грусть напева были бы для него губительны, если бы, к счастью, вслед за этим очень быстро не наступил черед действию касторки.

Волей-неволей «Почем-Соли» пришлось встать на ноги.

Тогда Есенин придумывал новую пытку. Зная любовь «Почем-Соли» к «покушать» и невозможность сего в данный момент, он приходил в купе к нему с полной тарелкой нарезанных кружочками помидоров, лука, огурцов и крутых яиц (блюдо, горячо обожаемое нашим другом) и, усевшись против, начинал, причмокивая, при-

чавкивая и прищелкивая языком, отправлять в рот ложку за ложкой.

«Почем-Соль» обращался к Есенину молящим голосом:

— Сереженька, уйди, пожалуйста.

Прищмокивания и прищелкивания становились яростней и язвительней.

— Сережа, ты знаешь, как я люблю помидоры... у меня даже сердце начинает болеть...

Но Есенин был неумолим.

Тогда «Почем-Соль» ложился, закрывал глаза и наваливал подушку на уши.

Есенин наклонялся над подушкой, приподнимал уголок и продолжал чавкать еще громогласней и нестерпимей.

«Почем-Соль» срывался с места. Есенин преследовал его с тарелкой. «Почем-Соль» хватал первый попавшийся предмет под руку и запускал им в своего истязателя. Тот увертывался.

Тогда жертва кричала грозно и повелительно:

— Гастев, наган!

— А я уже все съел.

И Есенин показывал пустую тарелку.

Мы лежали в своем купе. Есенин, уткнувшись во флоберовскую «Мадам Бовари». Некоторые страницы, особенно его восторгавшие, читал вслух.

В хвосте поезда вдруг весело загалдели. От вагона к вагону — пошел галдеж по всему составу.

Мы высунулись из окна.

По степи, вперегонки с нашим поездом, лупил обалдевший от страха перед паровозом рыжий тоненький жеребенок.

Зрелище было трогательное. Надрываясь от крика, размахивая штанами и крутя кудластой своей золотой головой, Есенин подбадривал и подгонял скакуна. Железный и живой конь бежали вровень версты две. Потом четвероногий стал отставать, и мы потеряли его из вида.

Есенин ходил сам не свой.

После Кисловодска он написал в Харьков письмо девушке, к которой относился нежно.

Оно не безынтересно.

Привожу:

*«Милая, милая Женя. Ради Бога, не подумайте, что мне что-нибудь от вас нужно, я сам не знаю, почему это я стал вам учащенно напоминать о себе. Конечно, разные бывают болезни, но все они проходят. Думаю, что пройдет и эта. Сегодня утром мы из Кисловодска выехали в Баку, и, глядя из окна вагона на эти кавказские пейзажи, внутри сделалось как-то тесно и неловко. Я здесь второй раз, в этих местах, и абсолютно не понимаю, чем поразили они тех, которые создали в нас образы Терека, Дарьяла и всех прочих. Признаться, в Рязанской губ. я Кавказом был больше богат, чем здесь. Сейчас у меня зародилась мысль о вредности путешествий для меня. Я не знаю, что было бы со мной, если б случайно мне пришлось объездить весь земной шар. Конечно, если не пистолет юнкера Шмигта, то, во всяком случае, что-нибудь разрушающее чувство земного диапазона. Уж до того на этой планете тесно и скучно. Конечно, есть прыжки для живого, вроде перехода от коня к поезду, но все это только ускорение или выпукление. По намекам это известно все гораздо раньше и богаче. Трогает меня в этом только грусть за уходящее, милое, родное, звериное и незыблемая сила мертвого, механического.*

*Вот вам наглядный случай из этого. Ехали мы из Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно и что же видим: за паровозом, что есть силы, скачет маленький жеребенок, так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод — для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень многое. Конь стальной победил коня живоголого, и этот маленький жеребенок был для меня и вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка тягательством живой силы с железной...*

*Простите, милая, еще раз за то, что беспокою вас. Мне очень грустно сейчас, что история переживает*

*тяжелую эпоху умерщвления личности как живого. Ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я глумал, а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены без славы и без мечтаний. Тесно в нем живому, тесно строящему мост из-под ног грядущих поколений. Конечно, кому откроется, тот увидит тогда эти покрытые уже плесенью мосты, но всегда ведь бывает жаль, что если выстроен дом, а в нем не живут, челнок выдолблен, а в нем не плавают».*

А в прогоне от Минеральных до Баку Есениным написана лучшая из его поэм — «Сорокоуст». Жеребенок, пустившийся в тягу с нашим поездом, запечатлен в образе, полном значимости и лирики, глубоко волнующей.

В Дербенте наш проводник, набирая воду в колодце, упустил ведро.

Есенин и его использовал в обращении к железному гостю в «Сорокоусте»:

Жаль, что в детстве тебя не пришлось  
Утопить, как ведро, в колодце.

В Петровском порту стоял целый состав малярийных больных. Нам пришлось видеть припадки поистине ужасные. Люди прыгали на своих досках, как резиновые мячи, скрежетали зубами, обливались потом, то ледяным, то дымящимся, как кипятком.

В «Сорокоусте»:

Се изб деревенчатый живот  
Трясет стальная лихорадка.

### 33

Забыл рассказать.

Случайно на платформе ростовского вокзала я столкнулся с Зинаидой Николаевной Райх. Она ехала в Кироводск.

Зимой Зинаида Николаевна родила мальчика. У Есенина спросила по телефону:



— Как назвать?

Есенин думал, думал — выбирая нелитературное имя — и сказал:

— Константином.

После крещения спохватился:

— Черт побери, а ведь Бальмонта Константином зовут.

На сына посмотреть не поехал.

Заметив на ростовской платформе меня, разговаривающего с Райх, Есенин описал полукруг на каблуках и, вскочив на рельсу, пошел в обратную сторону, лоя равновесие плавающими в воздухе руками.

Зинаида Николаевна попросила:

— Скажите Сереже, что я еду с Костей. Он его не видал. Пусть зайдет, взглянет. Если не хочет со мной встречаться, могу выйти из купе.

Я направился к Есенину. Передал просьбу.

Сначала он заупрямился:

— Не пойду. Не желаю. Нечего и незачем мне смотреть.

— Пойди — скоро второй звонок. Сын же ведь.

Вошел в купе, сдвинул брови. Зинаида Николаевна развязала ленточки кружевного конвертика. Маленькое розовое существо барахтало ножками...

— Фу! Черный!.. Есенины черные не бывают...

— Сережа!

Райх отвернулась к стеклу. Плечи вздрогнули.

— Ну, Анатолий, поднимайся.

И Есенин легкой, танцующей походкой вышел в коридор международного вагона.

## 34

На обратном пути в Пятигорске мы узнали о неладах в Москве: будто, согласно какому-то распоряжению, прикрыты — и наша книжная лавка, и «Стойло Пегаса», и книги не вышли, об издании которых договорились с Кожебаткиным на компанейских началах.

У меня тропическая лихорадка — лежу пластом. Есенин уезжает в Москву один, с красноармейским эшелоном.

Еще месяц я мотаюсь по Кавказу. Наш вагон прыгает, словно блоха, между Минеральными — Петровским портом — Баку.

Наконец — восвояси. Мы в хвосте скорого на Москву. Белыми простынями застлана земля, а горы — как подушки в сверкающих полотняных наволоках.

В Москве случайно, на улице, встречаю первым Шершеневича. Я еду с вокзала. Из-под чемоданов, корзин, мешков торчит моя голова в летней светлой шляпе.

Останавливаю извозчика. Шершеневич вскакивает на подножку:

— Знаешь, арестован Сережа. Попал в какую-то облаву. Третий день. А магазин ваш и «Стойло» открыты, книги вышли...

Так с чемоданом, корзинами и мешками, вместо дома, несусь в Центропечать к Борису Федоровичу Малкину — всегдашнему нашему защитнику, палочке-выручалочке.

— Что же это такое?.. Как же это так?.. Борис Федорович, а?.. Сережа арестован!

Борис Федорович снимает телефонную трубку.

А вечером Есенин дома. На физию серой тенью легла смешная чумазость. Щеки, губы, подбородок — в рыжей, милой, жесткой щетине. В голубых глазах — сквозь радость встречи — глубокая ссадина, точащая обидой.

За чаем поет бандитскую:

В жизни живем мы только раз,  
Когда отмычки есть у нас.  
Думать не годится,  
В жизни что случится,  
Эх, в жизни живем мы только раз.

## 35

Опять перебрались в Богословский. В том же бахрушинском доме, но в другой квартире.

У нас три комнаты, экономка (Эмилия) в кружевном накрахмаленном фартучке и борзый пес (Ирма).

Кормит нас Эмилия рябчиками, глухарями, пломбирами, фруктовыми муссами, золотыми ромовыми бабами.

Оба мы необыкновенно увлечены образцовым порядком, хозяйственностью, сытым благополучием.

На брюках выутюжена складочка; воротнички, платочки, рубахи поразительной белоснежности. Есенин мечтает:

— Подожди, Анатолий, и типография своя будет, и автомобиль жрать у подъезда.

Три дня подряд у нас обедает один крестьянский поэт.

На четвертый Есенин заявляет:

— Не к нам он ходит, а ради мяса нашего, да рябчики жрать.

Эмилия получает распоряжение приготовить на обед картошку.

— Вот посмотрю я, как он часто после картошки будет ходить.

Словно в руку Есенину, после картофельного обеда недели две крестьянский стихотворец не показывает носа.

По вечерам частенько бываем на Пресне, у Сергея Тимофеевича Коненкова. Маленький, ветхий, белый домик — в нем мастерская и кухонка. В кухонке живет Коненков. В ней же Григорий Александрович (коненковский дворник, коненковская нянька и верный друг) поучает нас мудрости. У Григория Александровича лоб Сократа. Коненков тычет пальцем:

— Ты его слушай да в коробок свой прячь — мудро он говорит: кто ты есть? А есть ты человек. А человек есть — чело века. Понял?

И, взяв гармошку, Коненков затягивает есенинское яблочко:

Эх, яблочко  
Цвету звонкого,  
Пьем мы водочку  
Да у Коненкова.

Один Новый год встречали в Доме печати. Есенина упросили спеть его литературные частушки. Василий Каменский взялся подыгрывать на тальянке.

Каменский уселся в кресле на эстраде, Есенин — у него на коленях.

Начали:

Я сидела на песке  
У моста высокого,  
Нету лучше из стихов  
Александра Блокова.

Ходит Брюсов по Тверской  
Не мышой, а крысиной.  
Дядя, дядя я большой,  
Скоро буду с лысиной.

Ах, сыпь! Ах, жары!  
Маяковский бездарь.  
Рожа краской питана,  
Обокрал Уитмана.

Ох, батюшки, ох-ох-ох,  
Есть поэт Мариенгоф.  
Много кушал, много пил,  
Без подштанников ходил.

Сделала свистулечку  
Из ореха грецкого,  
Нету яре и звончей  
Песен Городецкого.

И, хитро глянув на Каменского, прижавшись коварнейшим образом к его груди, запел во весь голос припавшую под конец частушку:

Квас сухарный, квас янтарный,  
Бочка старо-новая,  
У Васятки, у Каменского,  
Голова дубовая.

Туго набитый живот зала затрясся от хохота. В руках растерявшегося Каменского поперхнулась гармошка.

Зашел к нам на Никитскую в лавку человек — предлагает недорого шапку седого бобра. Надвинул Есенин шапку на свою золотую пену и пошел к зеркалу. Долго делал ямку посреди, слегка бекренил, выбивал из-под меха золотую прядь и распушал ее. Важно пузыря губы, смотрел на себя в стекло, пока сквозь важность не глянула на него из стекла улыбка, говорящая: «И до чего же это я хорош в бобре!»

Потом попримерил я.

Со страхом глядел Есенин на блеск и на черное масло моих расширяющихся зрачков.

— Знаешь, Анатолий, к тебе не тово... Не очень...

— А ты в ней, Сережа, гриба вроде... Березовика... Не идет...

— Ну?..

И оба глубоко и с грустью вздохнули. Человек, принесший шапку, переминался с ноги на ногу.

Я сказал:

— Наплевать, что не к лицу... зато тепло будет... я бы взял.

Есенин погладил бобра по серебряным иглам.

— И мне бы тепло было! — произнес он мечтательно.

Кожебаткин посоветовал

— А вы бы, господа, жребий метнули.

И рассмеялся ноздрями, из которых торчал волос, густой и черный, как на кисточках для акварели.

Мы с Есениным невозможно обрадовались.

— Завязывай, Мелентьич, на платке узел.

Кожебаткин вытащил из кармана платок.

Есенин от волнения хлопал себя ладонями по бокам, как курица крыльями.

— Н-ну!..

И Кожебаткин протянул кулак, из которого торчали два загадочных ушка.

Есенин впился в них глазами, морщил и тер лоб, шевелил губами, что-то прикидывал и соображал. Наконец уверенно ухватился за тот, что был поморщинистей и погорбатей.

Покупатели, что были в лавке, и продавец шапки сомкнули вокруг нас кольцо.

Узел и бобровую шапку вытащил я.

С того случая жребьметание прочно внедрилось в нашу жизнь.

Двадцать первый год балует нас двумя комнатами: одна похуже, повыщвестей обоями, постарей мебелью, другая — с министерским письменным столом, английскими креслами и аршинным бордюром в коричневых хризантемах.

Передо мной два есенинских кулака — в одном зажата бумажка.

Пустая рука — пустая судьба.

В непрекословной послушности року доходили до того, что перед дверью уборной (когда обоим приспичивало одновременно) ломали спичку. Счастливец, вытащивший серную головку, торжественно вступал в тронный зал.

## 37

Генерал Иванов, получив от царя приказ прибыть с георгиевцами для усмирения февральского Петербурга, прежде всего вспомнил о своих добрых знакомых в столице и попросил адъютанта купить в Могилеве сотенку яичек из-под курочки и с полпудика сливочного масла.

Пустячное дело! Пройдет по торцам Невского молодецким маршем георгиевский батальон, под охи и ахи медных труб — и конец всем революциям.

А там — генерал отдаст яички добрым знакомым, погреет у камелька старые ноги в красных лампадах, побрызжит, поскрипит, потешится новым орденом, царской благодарностью, и — обратно на фронт.

Но яички так и не пришли по назначению.

Март.

Любовью гимназистки влюбилась Россия в Александра Федоровича Керенского.

Ах, эта гимназическая любовь!

Ах, непостоянное гимназическое сердечко?..

Прошли медовые весенние месяцы.

Июнь.

Галицийские поля зацвели кровью.

Заворочался недовольный фронт.

Август.

Корнилов поднимает с фронта туземный корпус. Осетинские и Дагестанские полки. Генералы Крымов и Краснов принимают командование. Князь Гагарин с черкесами и ингушами на подступах к Петербургу.

Но телеграммы Керенского разбивают боевых генералов.

Начало октября. Генералу Краснову сотник Карташов делает доклад.

Входит Керенский. Протягивает руку офицеру. Тот вытягивается, стоит смиренно и не дает своей руки. Побледневший Керенский говорит:

— Поручик, я подал вам руку.

— Виноват, господин верховный главнокомандующий, я не могу подать вам руки, я — корниловец, — отвечает сотник.

Керенский не вполне угодил господам офицерам.

А рабочим и солдатам?

Еще меньше.

Они своевременно об этом его уведомили. Правда, не столь церемонно, как сотник Карташов.

Одну неправдоподобь сменяет другая — более величественная.

Девятнадцатый и двадцатые годы.

Гражданская война.

В Одесском Совете депутатов Муравьев говорит:

— ...в одни сутки мы восстановили разрушенный Радой сорокасаженный мост и ворвались в Киев. Я приказал артиллерии бить по самым большим дворцам, по десятиэтажному дому Грушевского. Дом сгорел дотла. Я зажег город. Бил по дворцам, по церквям, по попам, по монахам. Двадцать пятого января оборонческая дума просила перемирия. В ответ я велел бить химическими удушливыми газами... Говоря по прямому проводу с Владимиром Ильичом, я сказал ему, что хочу идти с революционными войсками завоевать весь мир...

Шекспировский монолог.

Литературу всегда уговаривают, чтобы она хоть одним глазом, а поглядывала на жизнь. Вот мы и поглядывали.

Однажды имажинистам показалось, что в искусстве поднимает голову формальная реакция.

«Верховный совет» имажинистов (Есенин, Эрдман, Шершеневич, Кусиков и я) на тайном заседании решил объявить «всеобщую мобилизацию» в защиту левых форм.

В маленькой тайной типографии мы отпечатали «приказ». Ночью вышли на улицы клеить его на заборах, стенах, столбах Москвы — рядом с приказами военного комиссариата в дни наиболее решительных боев с белыми армиями.

Кухарки ранним утром разнесли страшную новость о «всеобщей» по квартирам. Перепуганный москвич толпами стоял перед «приказом». Одни вообще ничего не понимали, другие читали только заглавие — хватались за головы и бежали как оглашенные. «Приказ» предлагал такого-то числа и дня всем! всем! всем! собраться на Театральной площади со знаменами и лозунгами, требующими защиты левого искусства. Далее — шествие к Московскому совету, речи и предъявления «пунктов».

Около полудня к нам на Никитскую в книжную лавку прибежали Шершеневич и Кусиков.

Глаза у них были вытаращены и лица белы. Кусиков, медленно ворочая одеревеневшим языком, спросил:

— Вы... еще... т-торгуете?..

Есенин забеспокоился:

— А вы?..

— Нас... уже!..

— Что уже?..

— Запечатали... за мобилизацию... и...

Кусиков холодными пальцами вынул из кармана и протянул нам узенькую повестку.

Есенин прочел грозный штамп.

— Толя, пойдём... погуляем...

И потянулся к шляпе.

В этот момент перед зеркальным стеклом магазина остановился черный крытый автомобиль. Из него выскочило два человека в кожаных куртках.



Есенин отложил шляпу. Спасительное «погулять» слишком поздно пришло ему в голову. Люди в черной коже вошли в магазин. А через несколько минут Есенин, Шершеневич, Кусиков и я были в МЧК.

Следователь, сияясь проглотить смешок, вел допрос.

Есенин говорил:

— Отец родной, я же с большевиками... я же с Октябрьской революцией... читал мое:

Мать моя родина,  
Я большевик.

— А он (и тыкал в меня пальцем) про вас писал... красный террор воспел:

В этой черепов груди  
Наша красная месть...

Шершеневич мягко касался есенинского плеча:

— Подожди, Сережа, подожди... товарищ следователь, к сожалению, в последние месяцы от русской литературы пошел запашок буниновщины и мерещковщины...

— Отец родной, это он верно говорит... завоняла... смердеть начала...

Из-под «вечного» золотого следовательского пера ползли суровые и сердитые буквы, а палец, которым чесал он свою макушку, ероша на ней белобрысенький пух, был непростительно для такого учреждения добродушен и несерьезен.

— Подпишитесь здесь.

Мы молча поставили свои имена.

И через час — на радостях угощали Шершеневича и Кусикова у себя, на Богословском, молодым кахетинским.

Есенин напевал:

Все, что было,  
Чем сердце ныло...

А завтра, согласно данному следователю обязательству, явились на Театральную площадь отменять мобилизацию.

Черноволосые девушки не хотели расходиться, требуя «стихов», курчавые юноши — «речей».

Мы таинственно разводили руками. Отряд в десять всадников конной милиции преисполнил нас гордостью.

Есенин шепнул мне на ухо:

— Мы вроде Марата... против него тоже, когда он про министра Неккера написал, двенадцать тысяч конницы выставили.

## 38

«Почем-Соль» уезжал в Крым. Дела наши сложились так, что одному необходимо было остаться в Москве. Тянем жребий. На мою долю выпадает поездка. Уславливаемся, что следующая отлучка за Есениным.

Возвращаюсь через месяц. Есенин читает первую главу Пугачева.

Ох, как устал и как болит нога,  
Ржет дорога в жуткое пространство...

С первых строк чувствую в слове кровь и мясо. Вдавлив в землю ступни и пятки — крепко стоит стих.

Я привез первое действие «Заговора дураков».

Отправляемся распить бутылочку за возвращение и за начало драматических поэм. С нами «Почем-Соль».

На Никитском бульваре в красном каменном доме на седьмом этаже у Зои Петровны Шатовой найдешь не только что николаевскую «белую головку», «перцовки» и «зубровки» Петра Смирнова, но и старое бургундское, и черный английский ром.

Легко взбегаем нескончаемую лестницу. Звоним условленные три звонка.

Отворяется дверь. Смотрю, Есенин пятится.

— Пожалуйста!.. пожалуйста!.. входите... входите... и вы... и вы... А теперь попрошу вас документы!.. — очень вежливо говорит человек при нагане.

Везет нам последнее время на эти проклятые встречи.

В коридоре сидят с винтовками красноармейцы. Агенты производят обыск.

— Я поэт Есенин!

— Я поэт Мариенгоф!

— Очень приятно.

— Разрешите уйти...

— К сожалению...

Делать нечего — остаемся.

— А пообедать разрешите?

— Сделайте милость. Здесь и выпивочка найдется...

Не правда ли, Зоя Петровна?..

Зоя Петровна пытается растянуть губы в угодливую улыбку. А растягиваются они в жалкую испуганную гримасу.

«Почем-Соль» дергает скулами, теребит бородавочку и разворачивает один за другим мандаты, каждый величиной с полотняную наволочку.

На креслах, на диване, на стульях шатовские посетители, лишённые аппетита и разговорчивости.

В час ночи на двух грузовых автомобилях мы компанией человек в шестьдесят отправляемся на Лубянку.

Есенин деловито и строго нагрузил себя, меня и «Почем-Соль» подушками Зои Петровны, одеялами, головками сыра, гусями, курами, свиными корейками и телячьей ножкой.

В «предварилке» та же деловитость и распорядительность. Наши нары, устланные бархатистыми одеялами, имеют уютный вид.

Неожиданно исчезает одна подушка.

Есенин кричит на всю камеру:

— Если через десять минут подушка не будет на моей наре, потребую общего обыска... слышите... вы... граждане... черт вас возьми!

И подушка возвращается таинственным образом.

Ордер на наше освобождение был подписан на третий день.

## 39

Есенин уехал с «Почем-Солью» в Бухару. Штат нашего друга пополнился еще одним комическим персонажем — инженером Левой.

Лева на коротеньких кривых ножках, покрыт большой головой с плешью, розовой, как пятка у девушки. Глаза у него грустные, и весь он грустный, как аптечная склянка.

Лева любит поговорить об острых, жирных и сдобных яствах, а у самого катар желудка и ест одни каши, которые сам же варит на маленьком собственном примусе в чистенькой собственной медной кастрюльке.

От Минска и до Читы, от Батума и до Самарканда нет такого местечка, в котором бы у Левы не нашлось родственника.

Этим он и завоевал сердце «Почем-Соли».

Есенин говорит:

— Хороший человек! С ним не пропадешь — на колу у турка встретит трокородную тетю.

Перед отъездом «Почем-Соль» поставил Лева условие:

— Хочешь в моем штате состоять и в Туркестан ехать — купи себе инженерскую фуражку. Без бархатного околыша какой дурак поверит, что ты политехникум окончил?

Лева скуп до наивности, и такая трата ввергает его в пропасть уныния.

Есенин уговаривает «Почем-Соль»:

— Все равно никто не поверит...

Лева бурчит:

— Пгистал ко мне с фугажкой, как лавговый лист к заднице...

Есенин поправляет:

— Не лавровый, Лева, а банный — березовый...

— Безгазлично... Я ему, дугаку, говогию... Тут фугашка пагшивая, а там тти пуда муки за эти деньги купишь...

«Почем-Соль» сердится:

— Ничего вы не понимаете! Мне для красоты инженер нужен. Чтоб из окошка вагона выглядывал...

— Так ты инженерскую фуражку на проводника и надень.

У «Почем-Соли» скулы бьют чечетку.

Лева безнадежно машет рукой:

— Чегт с тобой... пойду завтга на Сухагевку...

Денег наскребли Есенину на поездку маловато. Советуемся с Левой — как бы увеличить капитал.

Лева потихоньку от «Почем-Соли» сообщает, что в Бухаре золотые десятирублевки дороже в три раза.

Есенин дает ему денег:

— Купи мне.

На другой день вместо десятирублевки Лева приносит кучу обручальных колец.

Начинаем хохотать.

Кольца все несуразные, огромные — продевай.

Лева резонно успокаивает:

— Не жениться же ты, Сегежка, собигаешься, а по-давать... говогу, загаботаешь — и загаботаешь...

Возвратясь, смешно мне рассказывал Есенин, как бегал Лева, высунув язык, с этими кольцами по Ташкенту, шнырял по базарам и лавчонкам и как пришлось в конце концов спустить их, понесся потери. Целую неделю Лева был мрачен и, будто колдуя, под нос себе шептал холодными губами:

— Убитки!. какие убитки...

С дороги я получил от Есенина письмо:

*«Милый Толя, привет тебе и целование.*

*Сейчас сижу в вагоне и ровно третий день смотрю из окна на проклятую Самару и не пойму никак — действительно ли я ощущаю все это или читаю "Мертвые души" с "Ревизором". "Почем-Соль" пьян и уверяет своего знакомого, что он написал "Юрия Милославского", что все политические тузы — его приятели, что у него все "курьеры, курьеры, курьеры". Лева сидит хмурый и спрашивает меня чуть ли не по пяти раз в день о том: "съел ли бы я сейчас тарелку борща малороссийского". Мне вспоминается сейчас твоя кислая морда, когда ты говорил о селедках. Если хочешь представить меня, то съешь кусочек и посмотри на себя в зеркало.*

*Егу я, конечно, ничего, не без настроения все-таки, даже рад, что плюнул на эту проклятую Москву. Я сейчас собираю себя и гляжу внутрь. Последнее происшествие меня таки сильно ошеломило. Больше, конечно, так пить я уже не буду, а сегодня, например, даже совсем отказался, чтоб посмотреть на пьяного "Почем-Соль". Боже мой, какая это гадость, а я, вероятно, еще хуже бывал.*

*Климат здесь почему-то в этот год холоднее, чем у нас. Кой-где даже есть еще снег. Так что голым я пока не хожу и сплю, покрываясь шубой. Провизии здесь, ко-*

нечно, до того "много", что я невольно спрашиваю в свою очередь Леву: "А ты, Лева, съел бы колбасу?" Вот так сутки, другие, третьи, четвертые, пятые, шестые едем-едем, а оглянешься в окно — как заколдованное место проклятая Самара.

Вагон, конечно, хороший, но все-таки жаль, что это не ровное стоячее место. Бурливой голове трудно гадается в такой тряске. За поездом у нас опять бежала лошадь (не жеребенок), но я теперь говорю: "Природа, ты попражаешь Есенину".

Итак, мой друг, часто вспоминаю тебя, нашу милую Эмилию и опять, опять возвращаемся к тому же: "Как ты думаешь, Лева, а что теперь кушает Анатолий?"

В общем, поездка очень славная. Я и всегда говорил себе, что проехаться не мешает, особенно в такое время, когда масло в Москве 16—17, а здесь 25—30.

Это, во-первых, экономно, а во-вторых, но, во-вторых, Ваня (слышу: Лева за стеной посылает "Почем-Соль" к священной матери), это на второе у нас полагается.

Итак, ты видишь — все это довольно весело и интересно, так что мне без труда приходится ставить точку, чтоб поскорей отделаться от письма. О, я негаром говорил себе, что с "Почем-Солью" ездить очень весело.

Твой Сергун.

Привет Коненкову, Сереже и Дав. Самойл.

P.S... Прошло еще четыре дня с тех пор, как я написал тебе письмо, а мы еще в Самаре. Сегодня с тоски, то есть с радости, вышел на платформу, подхожу к стенной газете и зрю, как самарское Лито кроет имажинистов. Я даже не глумал, что мы здесь в такой моде...»

## 40

В дни отсутствия Есенина я познакомился в шершеневичской книжной лавочке с актрисой Камерного театра — Анной Никритиной (в будущем моей женой).

Как-то в мягкую апрельскую ночь мы сидели у Каменного моста. Купол храма Христа плыл по темной воде Москвы-реки, как огромная золотая лодка. Тараща

глазищами и шипя шинами, проносились по мосту редкие автомобили. Волны били свое холодное стеклянное тело о камень.

Хотелось говорить о необычном и необычными словами.

Я поднял камень и бросил в реку, в отражение купола храма.

Золотая лодка брызнула искрами, сверкающей щепой и черными щелями.

— Смотрите!

По реке вновь плыло твердое и ровное золото. А о булыжнике, рассекшем его, не было памяти и следа.

Я говорил о дружбе, сравнивая ее с тенью собора в реке, и о женщинах, которые у нас были, подобных камню.

Потом завязал узел на платке, окунул конец в воду, мокрым затянул еще и, подавая Никритиной, сказал:

— Теперь попробуйте... развяжите...

Она подняла на меня глаза.

— Зачем?

— Будто каменным стал узел... вот и дружба наша с Есениным такая же...

И заговорил о годах радостей общих и печалей, надежд и разуверений. Она улыбнулась:

— В рифму и ямбом у вас, пожалуй, лучше получится.

И мне самому стало немножко смешно и неловко от слов, расхаживающих по-индючьи важно.

Мы разошлись с Есениным несколькими годами позже. Но теперь я знаю, что это случилось не в двадцать четвертом году, после возвращения его из-за границы, а гораздо раньше. Может быть, даже в лавочке Шершеневича, когда впервые я увидел Никритину. А может быть, в ту ночь, когда мне захотелось говорить о дружбе необычными словами.

## 41

Задымились серебряной пылью мостовые. По нашему Богословскому ходит ветхий седенький дворник, похожий на коненковского деревянного «старенького

старичка». Будто не ноги передвигает он, а толстые, березовые, низко подрубленные пни. В руках у дворника маленькая зеленая леечка. Из нее он поливает дымящиеся пылью булыжники. Двигается медленно, медленно склоняет узкую шею лейки, а та, нехотя, фыркает на горячий камень светлыми малюсенькими брызгами.

Когда-то «старенький старичок» был садовником и поливал из зеленой леечки нежные розовые левкой.

Тогда нужен был он, его леечка и цветы, пахнущие хорошим французским мылом.

А булыжники, которые он поливает, начинают дымиться наново раньше, чем он дойдет до конца своей мостовой, длиной в десяток сажен.

Я с Никритиной возвращался с бегов.

Как по клавишам рояля, били по камню подковы рысака. Никритина еще ни разу не была у нас в доме. Я долго уговаривал, просил, соблазнял необыкновенным кулинарным искусством Эмилии.

А когда она согласилась, одним легким духом взбежал три этажа и вонзил палец в звонок. Вонзив же, забыл вытащить. Обладевший звонок горланил так же громко, как мое сердце.

Когда распахнулась дверь и на меня глянули удивленные, перепутанные и любопытные глаза Эмилии, я мгновенно изобрел от них прикрытие и прозрачную ложь:

— Умираю от голода! есть! есть! е...

В коридоре мешки с мукой, кишмишем, рисом и урюком.

Влетел в комнату. Чемоданы, корзины, мешки.

— Сергей Александрович приехали... вас побежали искать...

Я по-ребячьи запрыгал, по-ребячьи захолопал в ладоши, по-ребячьи уцепил Никритину за ладони.

А из них по капелькам вытекало тепло.

В окно било солнце, не по-весеннему жаркое.

— Я пойду...

И она высвободила из моих пальцев две маленькие враждебные льдинки.

Я проводил ее до дому. Прощаясь, ловил взгляд и не мог поймать — попадались стиснутые брови и ресницы,



волочащиеся по щекам, как мохры старомодной длинной юбки.

Есенина нашел в «Стойле Пегаса».

И почему-то, обнимая его, я тоже прятал глаза.

Вечером «Почем-Соль» сетовал:

— Не поеду, вот тебе слово, в жизни больше не поеду с Сергеем... Весь вагон забил мукой и кишмишем. По ночам, прохвост, погрузки устраивал... я, можно сказать, гроза там... центральная власть, уполномоченный, а он кишмишников в вагон с базара таскает. Я им по два пуда с левой разрешил, а они, мерзавцы, по шесть наперли...

Есенин нагибается к моему уху:

— По двенадцати!..

— Перед поэтишками тамошними метром ходит... деньгами швыряется, а из вагона уполномоченного гомельскую лавчонку устроил... с урючниками до седьмого пота торгуется... И какая же, можно сказать, я после этого — гроза... уполномоченный...

— Скажи, пожалуйста, «урюк, мука, кишмиш»!.. А то, что я в твоём вагоне четвертую и пятую главу «Пугачева» написал, это что?.. Я тебя, сукина сына, обесмерчиваю, в вечность ввожу... а он — «урюк! урюк!..»

При слове «вечность» замирали слова на губах «Почем-Соли», и сам он начинал светиться ласково, тепло, умиротворенно, как в глухом слякотном пензенском переулке окошечко под кисейным ламбрекенчиком, озаренное керосиновой лампой с абажуром из розового стекла, похожим на выкрахмаленную нижнюю юбку провинциальной франтихи.

## 42

Когда Никритина уезжала в Киев, из какой-то ласковой и теплой стесненности и смешной неудобности я не решился проводить ее на вокзал.

Она жила в Газетном переулке. Путь к Брянскому шел по Никитской мимо нашей книжной лавки.

Поезд уходил часа в три. Боясь опоздать, с половины одиннадцатого я стал собираться в магазин. Обычно никогда не приходили мы раньше двух. А в лето «Пугачева»

и «Заговора» заглядывали на часок после обеда и то не каждый день.

Есенин удивился:

— Одурел... в такую рань...

— Сегодня день бойкий...

Уставившись на меня, ехидно спрашивал:

— Торговать, значит?.. Ну, иди, иди, поторгуй.

И сам отправился со мной для проверки.

А как заявились, уселся я у окна и заерзал глазами по стеклу.

Когда заходил покупатель, Есенин тыкал меня локтем в бок:

— Торгуй!.. торгуй...

Я смотрел на него жалостливо.

А он:

— Достаньте, Анатолий Борисович, с верхней полки Шеллера-Михайлова.

Проклятый писателишко написал назло мне томов пятьдесят. Я скалил зубы и на покупателя, и на Есенина. А на зловерное обращение ко мне на «вы» и «с именем-отчества» отвечал с дрожью в голосе:

— Товарищ Есенин.

И вот: когда стоял на лесенке, балансируя кипую ростом в полтора аршина, увидел в окошко, сквозь серебряный кипень пыли, извозчика и в ногах у него знакомую мне корзиночку.

Трудно балансировать в таком положении. А на извозчиьем сиденье беленькая гамлетка, кофточка из батиста с галстучком и коричневая юбочка. Будто не актриса эстетствующего в Гофмане, Клоделе и Уапльде театра, а гимназисточка класса шестого ехала на каникулы в тихий Миргород.

Тут уж не от меня, а от судьбы — месть за то, что был Есенин неумолим и каменносердечен.

Вся полуторааршинная горка Шеллера-Михайлова низверглась вниз, тарабаря по есенинскому затылку жесткими «нивскими» переплетами.

Я же пробкой от сельтерской вылетел из магазина, навсегда обнажив сердце для каверзнейших стрел и ядовитейших шпилек.

На лето остались в Москве. Есенин работал над «Путачевым», я — над «Заговором дураков». Чтоб моркотно не было, от безалабери, до обеда закрыли наши двери и для друзей, и для есенинских подруг. У входа даже соответствующую вывесили записку.

А на тех, для кого записка наша была не указом, спустили Эмилию.

Она хоть за ляжки и не хватала, но цербером была знаменитым.

Материал для своих исторических поэм я черпал из двух-трех старых книжонок, Есенин — из академического Пушкина.

Кроме «Истории Путачевского бунта» и «Капитанской дочки», так почти ничего Есенин и не прочел, а когда начинала грызть совесть, успокаивал себя тем, что Покровский все равно лучше Пушкина не напишет.

Меня же частенько уговаривал приналечь на «Ледяной дом».

Я люблю есенинского «Путачева». Есенин умудрился написать с чудесной наивностью лирического искусства суровые характеры и отнюдь не лирическую тему.

Поэма Есенина вроде тех старинных православных иконок, на которых образописцы изображали бога отдыхающим после сотворения мира на полатях под лоскутным одеялом.

А на полу рисовали снятые валенки. Сам же бог — рыжебородый новгородский мужик с желтыми мозолистыми пятками.

Петр I предавал такие иконы сожжению как противные вере. Римские папы и кардиналы лучше его чувствовали искусство. На иконах в соборах Италии — святые щеголяют модами эпохи Возрождения.

Свои поэмы по главам мы читали друзьям. Как-то собрались у нас: Коненков, Мейерхольд Густав Шлет, Якулов. После чтения Мейерхольд стал говорить о постановке «Путачева» и «Заговора» у себя в театре.

— А вот художником пригласим Сергея Тимофеевича, — обратился Мейерхольд к Коненкову, — он нам здоровеннейших этаких деревянных болванов вытешет.

У Коненкова вкось пошли глаза:

— Кого?

— Я говорю, Сергей Тимофеевич, вы нам болванов деревянных...

— Болванов?

И Коненков так стукнул о стол стаканом, что во все стороны брызнуло стекло мельчайшими брызгами.

— Статуи... из дерева... Сергей Тимофеевич...

— Для балагана вашего.

Коненков встал:

— Ну, прости, Серега... прости, Анатолий... я пойду... пойду от «болванов» подальше...

Обиделся он смертельно.

А Мейерхольд ничего не понимал: чем разобидел, отчего заварилась такая безладица.

Есенин говорил:

— Все оттого, Всеволод, что ты его не почуял... «Болваны»!.. Разве возможно!.. Ты вот бабу так нежно по брюху не гладишь, как он своих деревянных «мужичков болотных» и «стареньких старичков»... в мастерской у себя никогда не разденет их при чужом глазе... Заперемшись, холстяные чехлы снимает, как с невесты батистовую рубашечку в первую ночь... А ты — «болваны»... разве возможно!..

Есенин нравучил, а Якулов утешал Мейерхольда на свой якуловский неподражаемый манер:

— Он... гхе-гхе... Азия, Всеволод, Азия... вот греческую королеву лепил... в смокинге из Афин приехал... из бородищи своей эспаньолку выкроил... ну, думаю, — европейский художник... а он... гхе-гхе... пришел раз ко мне, ну... там шампанское было, фрукты, красивые женщины... гхе-гхе... он говорит: двинем ко мне, на Пресню, здесь, гхе-гхе, скучно... чем, думаю, после архипелага греческого подивит... а он в кухню к себе привез... водки две бутылки... гхе-гхе... огурцов соленых, лук головками... а сам на печь и... гхе-гхе... за гармошку... щиблеты снял, а потом... гхе-гхе... пойте, говорит: «Как мы просо сеяли, сеяли»... можно сказать, красивые женщины... гхе-гхе... жилет белый... художник европейский... гхе-гхе... Азия, Всеволод, Азия...

Больше всего в жизни Есенин боялся сифилиса. Выскочит, бывало, на носу у него прыщик величиной с хлебную крошку, и уж ходит он от зеркала к зеркалу су-ров и мрачен.

На дню спросит раз пятьдесят:

— Люэс, может, а?.. а?..

Однажды отправился даже в Румянцевку вычиты-вать признаки страшной хворобы.

После того стало еще хуже — чуть что:

— Венчик Венеры!

Когда вернулись они с «Почем-Солью» из Туркестана, у Есенина от непрерывного жеванья урюка стали слегка кровоточить десны.

Перед каждым встречным и поперечным он задира-л губу:

— Вот кровь идет... а?.. не первая стадия?.. а?..

Как-то Кусиков устроил вечеринку. Есенин сидел рядом с Мейерхольдом.

Мейерхольд ему говорил:

— Знаешь, Сережа, я ведь в твою жену влюблен... в Зинаиду Николаевну... Если поженимся, сердиться на меня не будешь?..

Есенин шутливо кланялся Мейерхольду в ноги:

— Возьми ее, сделай милость... По гроб тебе благо-дарен буду.

А когда встали из-за стола, задрал перед Мейерхоль-дом губу:

— Вот... десна... тово...

Мейерхольд произнес многозначительно:

— Н-да-а...

И Есенин вылинял с лица, как ситец от июльского солнца.

Потом он отвел в сторону «Почем-Соль» и трагиче-ским шепотом сообщил ему на ухо:

— У меня сифилис... Всеволод сказал... а мы с тобой из одного стакана пили... значит...

У «Почем-Соли» подкосились ноги.

Есенин подвел его к дивану, усадил и налил в стакан воды:

— Пей!

«Почем-Соль» выпил. Но скулы продолжали прыгать. Есенин спросил:

— Может, побрызгать?

И побрызгал.

«Почем-Соль» глядел в ничто невидящими глазами.

Есенин сел рядом с ним на диван и, будто деревянный шарик из чашечки бильбоке, выронил с плеч голову на руки.

Так просидели они минут десять. Потом поднялись и, волоча ступни по паркету, вышли в прихожую.

Мы с Кусиковым догнали их у выходной двери.

— Куда вы?

— Мы домой... у нас сифилис...

И ушли.

В шесть часов утра Есенин расталкивал «Почем-Соль»:

— Вставай... К врачу едем...

«Почем-Соль» мгновенно проснулся, сел на кровать и стал в одну штанину подштанников всовывать обе ноги.

Я пробовал шутить:

— Мишук, у тебя уже начался паралич мозга!

Но, когда он взъерошил на меня глаза, я горько пожалел о своей шутке.

Зрочки его в ужасе расползались, как чернильные капли, упавшие на промокашку.

Бедняга поверил.

Есенин с деланным спокойствием ледяными пальцами завязывал галстук.

Потом «Почем-Соль», забыв одеть галифе, стал прямо на подштанники натягивать сапоги.

Я положил ему руку на плечо:

— Хотя ты теперь, Миша, и «полный генерал», но все-таки сенаторской формы тебе еще не полагается!

Есенин, не повернувшись, сказал, дрогнув плечами:

— А ты все остришь!.. даже когда пахнет пулей браунинга... — И с сокрушенной горестью: — Это — друг... друг...

Половина седьмого они обрывали звонок у тяжелой дубовой двери с медной, начищенной кирпичом дощечкой.

От горничной, не успевшей еще телесную рыхлость, заревые сны и плотоядь упрятать за крахмальный фар-тучек, шел теплый пар, как от утренней болотной речки. В щель через цепочку она буркнула что-то о раннем часе и старых костях профессора, которым нужен покой.

Есенин бил кулаками в дверь до тех пор, пока не услышал в ответ кашель, сипы и охи из дальней комнаты.

Старые кости поднялись с постели, чтобы прописать одному — зубной эликсир и мягкую зубную щетку, а другому:

— Бром, батенька мой, бром...

Прощаясь, профессор кряхтел:

— Сорок пять лет практикую, батенька мой, но такого, чтоб двери ломали... нет, батеньки мои... и добро бы с делом пришли... а то... большевики, что ли?.. то-то! то-то!.. Ну, будьте здоровы, батеньки мои...

## 45

Эрмитаж. На скамьях ситцевая веселая толпа. На эстраде заграничные эксцентрики — синьор Везувио и дон Мадриде. У синьора нос вологодской репкой, у дона — полтавской дулей.

Дон Мадриде ходит колесом по цветистому русскому ковру. Синьор ловит его за шароварину:

— Фи, куда пошел?

— Ми, синьор, до дому...

А в эрмитажном парке пахнет крепким белым грибом. Как-то около забора Есенин нашел две землянички.

Я давно не был в Ленинграде. Так же ли, как и в те чудесные годы, меж торцов Невского вихрявится милая нелепая травка.

Синьора Везувио и дона Мадриде сменила знаменитая русская балерина. Мы смотрим на молодые упругие икры. Носок — подобно копыю — вонзен в дощатый пьедестал. А щеки мешочками, и под глазами пятидесятилетняя одутловатость. Но об этом знает зеркало в уборной, а не ситцевые взволнованные ряды.

Чудесная штука искусство.

Из гнусавого равнодушного рояля человек с усталыми темными веками выколачивает «Лебединое озеро».

К нам подошел Жорж Якулов. На нем фиолетовый френч из старых драпри. Он бьет по желтым крагам тоненькой тросточкой. Шикарный человек. С этой же тросточкой в белых перчатках водил свою роту в атаку на немцев. А потом на оранжевых ленточках звенел Георгиевскими крестами.

Смотрит Якулов на нас, загадочно прищуря одну маслину. Другая щедро полита провансальским маслом.

— А хотите, с Изадорой Дункан познакомлю?

Есенин даже привскочил со скамьи:

— Где она... где?..

— Здесь... гхе-гхе... замечательная женщина...

Есенин схватил Якулова за рукав:

— Веди!

И понеслись от Зеркального зала к Зимнему, от Зимнего в Летний, от Летнего к оперетте, от оперетты обратно в парк шаркать глазами по скамьям. Изадоры Дункан не было.

— Черт дери... гхе-гхе... нет... ушла... черт дери.

— Здесь, Жорж, здесь.

И снова от Зеркального к Зимнему, от Зимнего к оперетте, в Летний, в парк.

— Жорж, милый, здесь, здесь.

Я говорю:

— Ты бы, Сережа, ноздрей след понюхал.

— И понюхаю. А ты пиши в Киев цидульки два раза в день и помалкивай в тряпочку.

Пришлось помалкивать.

Изадоры Дункан не было. Есенин мрачнел и досадовал.

Теперь чудится что-то роковое в той необъяснимой и огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда не видел в лицо и которой суждено было сыграть в его жизни столь крупную, столь печальную и, скажу более, столь губительную роль.

Спешу оговориться: губительность Дункан для Есенина ни в какой степени не умаляет фигуры этой замечательной женщины, большого человека и гениальной актрисы.



«Почем-Соль» влюбился. Бреет голову, меняет пестрые туркестанские тюбетейки, начищает сапоги американским кремом и пудрит нос. Из бухарского белого шелка сшил поддюжины рубашек.

Собственно, я виновник этого несчастья. Ведь знал, что «Почем-Соль» любит хорошие вещи.

А та, с которой я его познакомил, именно хорошая вещь. Ею приятно обставить квартиру.

У нашего друга нет квартиры, но зато есть вагон. Из-за вагона он обзавелся левой в «инженерской» фуражке.

Очень страшно, если он возьмет вещь в жены, чтобы украсить свое купе. Я ему от сердца говорю:

— Уж лучше я тебе подарю ковер!

А он сердится.

По вечерам мы с Есениным беспокоимся за его судьбу. Есенин, как в прошлые дни, говорит:

— Пропадает парень... пла-а-а-кать хочется!

Вернулась Никритина.

Холодные осенние вечера. Луна похожа на желток крутого яйца.

С одиннадцати часов вечера я сижу на скамеечке Тверского бульвара, против Камерного, и жду. В театр мне войти нельзя. Я — друг Мейерхольда и враг Таирова. Как это давно было. Теперь, при встрече с Мейерхольдом, еле касаюсь шляпы, а с Таировым даже немного больше, чем добрые знакомые.

Иногда репетиции затягивались до часу, до двух, до трех ночи.

Когда возвращаюсь домой, Есенин и «Почем-Соль» надомной издеваются. Обещают подарить теплый цилиндр с наушниками. Меня прозвали Брамбиллом (в Камерном был спектакль «Принцесса Брамбилла»). А Никритину — обезьянкой, мартышкой, мартыном, мартышоном.

Есенин придумывает частушки.

Я считаю Никритину замечательной, а он поет:

Ах, мартышечка-душа  
Собой не больно хороша.

А когда она бывает у нас, ту же частушку Есенин поет на другой манер:

Ах, мартышечка-душа  
Собою очень хороша.

По ночам через стену слышу беспокойный шепот. Это «Почем-Соль» с Есениным тревожатся о моей судьбе.

## 48

Якулов устроил пирушку у себя в студии.

В первом часу ночи приехала Дункан.

Красный, мягкими складками льющийся хитон; красные, с отблеском меди, волосы; большое тело, ступающее легко и мягко.

Она обвела комнату глазами, похожими на блюдца из синего фаянса, и остановила их на Есенине.

Маленький, нежный рот ему улыбнулся.

Изадора легла на диван, а Есенин у ее ног.

Она окунула руку в его кудри и сказала:

— Solotaya golova!

Было неожиданно, что она, знающая не больше десятка русских слов, знала именно эти два.

Потом поцеловала его в губы.

И вторично ее рот, маленький и красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы:

— Anguel!

Поцеловала еще раз и сказала:

— Tshort!

В четвертом часу утра Изадора Дункан и Есенин уехали.

«Почем-Соль» подсел ко мне и стал с последним отчаянием набрасывать план спасения Вятки.

— Увезу его...

— Не поедет...

— В Персию...

— Разве что в Персию...

От Якулова ушли на заре. По пустынной улице шагали с грустными сердцами.

## 49

На другой день мы отправились к Дункан. Пречистенка. Балашовский особняк. Тяжелые мраморные лестницы, комнаты в «стилях»: ампировские — похожи на залы московских ресторанов, излюбленных купечеством; мавританские — на сандуновские бани. В зимнем саду — дохлые кактусы и унылые пальмы. Кактусы и пальмы так же несчастны и грустны как звери в железных клетках Зоологического парка.

Мебель грузная, в золоте. Парча, штоф, бархат. В комнате Изадоры Дункан на креслах, диванах, столах — французские легкие ткани, венецианские платки, русский пестрый ситец.

Из сундуков вытащено все, чем можно прикрыть бесстыдство, дурной вкус, дурную роскошь.

Изадора нежно улыбнулась и, собирая морщинки на носу, говорит:

— C'est Balachoff... pioho chambre... ploho... Isadora fichu chale... achetra mnogo, mnogo ruska chale...

На полу волосяные тюфячки, подушки, матрацы, покрытые коврами и мехом.

Люстры затянуты красным шелком. Изадора не любит белого электричества. Ей больше пятидесяти лет.

На столике, перед кроватью, большой портрет Гордона Крега.

Есенин берет его и пристально рассматривает. Потом будто выпивает свои сухие, слегка потрескавшие губы.

— Твой муж?

— Qu'est-ce que c'est mouje?

— Man... ерoux...

— Oui, mari... bil... Kreg pioho mouje, pioho man... Kreg pichet, pichet, travaillait, travaillait... pioho mou-je... Kreg genie.

Есенин тычет себя пальцем в грудь.

— И я гений!.. Есенин гений... гений!.. я... Есенин — гений, а Крег — дрянь!

И, скроив презрительную гримасу, он сует портрет Крега под кипу нот и старых журналов.

— Адью!

Изадора в восторге:

— Adieu.

И делает мягкий прощальный жест.

— А теперь, Изадора (и Есенин пригибает бровь), танцуй... понимаешь, Изадора?.. Нам танцуй!

Он чувствует себя Иродом, требующим танец у Саломеи.

— Tansoui? Bon!

Дункан надевает есенинские кепи и пиджак. Музыка чувственная, незнакомая, беспокоящая.

Апаш — Изадора Дункан. Женщина — шарф.

Страшный и прекрасный танец.

Узкое и розовое тело шарфа извивается в ее руках. Она ломает ему хребет, беспокойными пальцами сдавливает горло. Беспощадно и трагически свисает круглая шелковая голова ткани.

Дункан кончила танец, распластав на ковре судорожно вытянувшийся труп своего призрачного партнера.

Есенин впоследствии стал ее господином, ее повелителем. Она, как собака, целовала руку, которую он носил для удара, и глаза, в которых чаще, чем любовь, горела ненависть к ней.

И все-таки он был только — партнером, похожим на тот кусок розовой материи — безвольный и трагический.

Она танцевала.

Она вела танец.

## 50

А нам приятель Саша Сахаров, завязтый частушечник, уже горланил:

Толя ходит неумыт,  
А Сережа чистенький —  
Потому Сережа спит  
С Дуней на Пречистенке.

Нехорошая кутерьма захлестнула дни. Розовый полусумрак. С мягких больших плеч Изадоры стекают легкие складки красноватого шелка.

Есенин сует «Почем-Соли» четвертаковый детский музыкальный ящичек.

— Крути, Мишук, а я буду кренделя выделывать.

«Почем-Соль» крутит проволочную ручку. Ящик скрипит «Барыню».

Ба-а-а-а-рыня, барыня-а!  
Сударыня барыня-а!

Скинув лаковые башмаки, босыми ногами на пушистых французских коврах Есенин «выделывает кренделя».

Дункан смотрит на него влюбленными синими фаянсовыми блюдами.

— C'est la Russie... а с'est la Russie...

Ходуном ходят на столе стаканы, расплескивая теплое шампанское.

Вертуном крутятся есенинские желтые пятки.

— Mitschateino!

Есенин останавливается. На побледневшем лбу крупные, холодные капли. Глаза тоже как холодные, крупные, почти бесцветные злые капли.

— Изадора, сигарет!

Дункан подает Есенину папиросу.

— Шампань!

И она идет за шампанским.

Есенин выпивает залпом стакан и тут же наливает до краев второй.

Дункан завязывает вокруг его шеи свои нежные слишком мягкие руки.

На синие фаянсовые блюда будто проливается чай, разбавленный молоком.

Она шепчет:

— Essenin krepkii!.. oschegne krepkii.

Таких ночей стало семь в неделю и тридцать в месяц.

Как-то я попросил у Изадоры Дункан воды.

— Qu'est-ce que c'est «vodi»?

— L'eau.

— L'eau?

Изадора забыла жажду. Шампань, коньяк, водка.

В начале зимы «Почем-Соль» должен был уехать на Кавказ. Стали обдумывать, как вытащить из Москвы Есенина. Соблазняли и соблазнили Персией. На горе Есенин опоздал к поезду.

«Почем-Соль» пожертвовалевой в инженерской фуражке.

После третьего звонка беднягу высадили из вагона с тем, чтобы, захватив Есенина, догонял вместе с ним вагон в Ростове.

Выбрались они дней через семь.

Из Ростова я получил открытку:

*«Милый Толя. Черт бы тебя побрал за то, что ты меня вялпал во всю эту историю.*

*Во-первых, я в Ростове сижу у Нины и ругаюсь на чем свет стоит. Вагон ваш, конечно, улетел. Лева гостал купе, но в таких купе ездить — все равно что у турок на колу висеть, да притом я совершенно разуверился во всех ваших возможностях. Это все за счет твоей молодости и его глупости. В четверг еду в Тифлис и буду рад, если встречу с Мишей, тогда конец всем этим мукам.*

*Ростов — грязь невероятная, грязь, слякоть и этот "Сегежа", который торгуется со всеми из-за двух копеек. С ним всюду со стыда сторишь. Привет Изагоре, Ирме и Илье Ильичу. Я думаю, что у них воздух проветрился теперь и они, вероятно, уже забыли нас. Ну, да с глаз долой и из сердца вон. Плакать, конечно, не будем.*

*И дурак же ты, рыжий!*

*Да и я не умен, что послушался.*

*Проклятая Персия.*

*Сергей».*

А на другой день после получения этого письма заявился обратно в Москву и Есенин самолично.

В маленький белый вагон туркестанских дорог вошла Вещь.

У Вещи нос искусной формы, мягкие золотистые волосы, хорошо нарисованы яркой масляной краской губы и прозрачной голубой акварелью глаза — недружелюбные, как нежилая, нетопленая комната.

Одновременно с большой Вещью в вагончике поселилось множество маленьких вещей: голубенькие скатерочки, плюшевые коврики, ламбрекенчики, серебряные ложки, вазочки, пепельницы, флакончики.

Когда «Почем-Соль» начинал шумно вздыхать, у большой Вещи на носу собирались сердитые складочки.

— Пожалуйста, осторожней! Ты разобьешь мое баккара.

В таких случаях я не мог удержаться, чтобы не съязвить:

— А пузырьчики вовсе не баккара, а Броккара.

Вещь собирала губы в мундштучок.

— Конечно, Анатолий Борисович, если вы никогда в жизни не видели хорошего стекла и фарфора, вы можете так говорить. Вот у вас с Есениным на кроватях даже простыни бумажные, а у нас в доме кухарка, Анатолий Борисович, на таких спать постыдилась бы...

И Вещь, продев в игольное ушко красную нитку, сосредоточенно начинала вышивать на хрустящем голландском полотне витиеватенькую монограмму, переплетая в ней начальные буквы имени «Почем-Соли» и своего.

В белом вагончике с каждым днем все меньше становилось нашего воздуха.

Вещи выдыхали свой — упрямый, въедливый и пахучий, как земляничное мыло.

У «Почем-Соли» стали округляться щеки, а мягонький набалдашничек на носу розоветь и чиновно салиться.

Есенин почти перебрался на Пречистенку.

Изадора Дункан подарила ему золотые часы. Ей казалось, что с часами он перестанет постоянно куда-то то-

ропиться; не будет бежать от ампировских кресел, боясь опоздать на какие-то загадочные встречи и неведомые дела.

У Сергея Тимофеевича Коненкова все человечество разделялось на людей с часами и людей без часов.

Определяя кого-нибудь, он обычно буркал:

— Этот... с часами.

И мы уже знали, что если речь шла о художнике, то рассуждать дальше о его талантах было бы незадачливо.

И вот, по странной игре судьбы, у самого что ни на есть племенного «человека без часов» появились в кармане золотые, с двумя крышками и чуть ли не от Буре.

Мало того — он при всяком новом человеке стремился непременно раза два вытянуть их из кармана и, щелкнув тяжелой золотой крышкой, полюбопытствовать на время.

В остальном часы не сыграли предназначенной им роли.

Есенин так же продолжал бежать от мягких балашовских кресел на неведомые дела и загадочные, несуществующие встречи.

Иногда он прибежал на Богословский с маленьким сверточком.

В такие дни лицо его было решительно и серьезно.

Звучали каменные слова:

— Окончательно... так ей и сказал: «Изадора, адью!»

В маленьком сверточке Есенин приносил две-три рубашки, пару кальсон и носки.

На Богословский возвращалось его имущество.

Мы улыбались.

В книжной лавке я сообщал Кожебаткину:

— Сегодня Есенин опять сказал Изадоре:

Адью! Адью!  
Давай мое белье.

Часа через два после появления Есенина с Пречистенки прибывал швейцар с письмом. Есенин писал лаконичский и непреклонный ответ. Еще через час на-



жимал пуговку нашего звонка секретарь Дункан — Илья Ильич Шнейдер.

Наконец, к вечеру, являлась сама Изадора.

У нее по-детски припухали губы, и на голубых фаянсовых блюдцах сверкали соленые капельки.

Она опускалась на пол около стула, на котором сидел Есенин, обнимала его ногу и рассыпала по его коленям красную медь своих волос:

— Anguel.

Есенин грубо отталкивал ее сапогом.

— Пойди ты к... — и хлестал заборной бранью.

Тогда Изадора еще нежнее и еще нежнее произносила:

— Serguei Alexandrovich, lublu tibia.

Кончалось всегда одним и тем же.

Эмилия снова собирала сверточек с движимым имуществом.

## 53

Летом я встречался с Никритиной раз в сутки. После ее возвращения из Киева — два раза. Потом — три. И все-таки казалось, что мало.

Тогда она «на совсем» осталась в маленькой богословской комнатке.

Случилось все очень просто: как-то я удержал ее вечером и упрямил не уходить на следующее утро.

Я сказал:

— Все равно вам придется через час торопиться ко мне на свидание... Нет никакого расчета.

Никритина согласилась.

А через два дня она перенесла на Богословский крохотный тюлевый лифчик с розовенькими ленточками. Больше вещей не было.

## 54

Весна. В раскрытое окно лезет солнце и какая-то незатейливая, подгуповатенькая радость.

Я затягиваю ремень на непомерно разбухшем чемодане. Сколько ни пыхчу, как ни упираюсь коленом в его

желтый фибровый живот — толку мало. Усаживаю Никритину на чемодан.

— Постарайся набраться весу.

Она, легонькая, как перышко, наедается воздухом и смехом.

— Рразз!

Раздувшиеся щеки лопаются, ремень вырывается у меня из рук, и разъяренная крышка подбрасывает «вес» кверху.

Входят Есенин и Дункан.

Есенин в шелковом белом кашне, в светлых перчатках и с букетиком весенних цветов.

Он держит под руку Изадору важно и церемонно.

Изадора в клетчатом английском костюме, в маленькой шляпочке, улыбающаяся и помолодевшая.

Есенин передает букетик Никритиной.

Наш поезд на Кавказ отходит через час. Есенинский аэроплан отлетает в Кенигсберг через три дня.

— А я тебе, дура-ягодка, стихотворение написал.

— И я тебе, Вяточка.

Есенин читает, вкладывая в теплые и грустные слова теплый и грустный голос:

#### ПРОЩАНИЕ С МАРИЕНГОФОМ

Есть в дружбе счастье оголтелое  
И судорога буйных чувств —  
Огонь растапливает тело,  
Как стеариновую свечу.

Возлюбленный мой, дай мне руки —  
Я по-иному не привык —  
Хочу омыть их в час разлуки  
Я желтой пеной головы.

Ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли,  
В который миг, в который раз —  
Опять, как молоко, застыли  
Круги недвижущихся глаз.

Прощай, прощай! В пожарах лунных  
Дождусь ли радостного дня?  
Среди прославленных и юных  
Ты был всех лучше для меня.

В такой-то срок, в таком-то годе  
Мы встретимся, быть может, вновь...  
Мне страшно — ведь душа проходит,  
Как молодость и как любовь.

Другой в тебе меня заглушит.  
Не потому ли — в лад речам  
Мои рыдающие уши,  
Как весла, плещут по плечам?

Прощай, прощай! В пожарах лунных  
Не зреть мне радостного дня,  
Но все ж средь трепетных и юных  
Ты был всех лучше для меня.

Мое «Прощание с Есениным» заканчивалось следующими строками:

А вдруг —  
При возвращении  
В руке рука застывает  
И оборвется встречный поцелуй.

## 55

А вот что писал Есенин из далеких краев:

*«Остенге. Июль, 9, 1922.*

*Милый мой Толик. Я думал, что ты где-нибудь обретаешься в краях злополучных лихорадок и гынь нашего чудеснейшего путешествия 1920 года, и вдруг из письма Ильи Ильича узнал, что ты в Москве. Милой мой, самый близкий, родной и хороший. Так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему зазору. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая северянинщина жизни.*

*Сейчас сижу в Остенге. Паршивейшее Бель-Голландское море и свиные тупые морды европейцев. От изобилия вин в сих краях я бросил пить и пяну только сельтер.*

*Там, из Москвы, нам казалось, что Европа — это самый обширнейший район распространения наших идей и поэзии, а отсюда я вижу: боже мой, до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет такой страны еще и быть не может.*

*Со стороны внешних впечатлений после нашей разлуки здесь все прибрано и выглажено под утюг. На первых порах твоему взору это понравилось бы, а потом, гугаю, и ты стал бы хлопать себя по колену и скулишь, как собака. Сплошное кладбище. Все эти люди, которые снуют быстрее ящериц, не люди — а могильные черви, дома их — гроба, а материк — склеп. Кто здесь жил — тот давно умер, и помним его только мы. Ибо черви помнить не могут.*

*Из всего, что я здесь намерен сделать, — это издать переводы двух книжек по 32 страницы двух несчастных авторов, о которых здесь знают весьма немного, и то в литературных кругах. Издам на английском и французском.*

*В Берлине я наделал, конечно, много скандала и переполоха. Мой цилиндр и сшитое берлинским портным манто привели всех в бешенство. Все гугают, что я приехал на деньги большевиков как чекист — или как агитатор. Мне все это весело и забавно. Том свой продал Гржебину. От твоих книг шарахаются. "Хорошую книгу стихов" удалось продать только как сборник новых стихов твоих и моих. Ну, да черт с ними, ибо все они здесь прогнили за 5 лет эмиграции. Живущий в склепе пахнет мертвечиной. Если ты хочешь сюда пробраться, то потормоши Илью Ильича, я ему пишу об этом особо. Только после всего, что я здесь видел, мне не очень хочется, чтобы ты покинул Россию. Наше литературное поле другим сторожам доверять нельзя. Во всяком случае, конечно, езжай, если хочется, но скажу откровенно: если я не удержу отсюда через месяц, то это будет большое чудо. Тогда, значит, во мне есть гьявольская выдержка характера, которую отрицает во мне Коган.*

*Вспоминаю сейчас о Туркестане. Как все это было прекрасно, Боже мой! Я люблю себя сейчас даже пьяного со всеми своими скандалами:*

*В Самарканд не поеду-у я  
Т-там живет-га любовь моя.*

*Толя милый, приветы. Приветы.*

*Твой Сергун».*

*«Дура моя ягодка.*

*Дюжину писем я изволил отправить вашей сволочности, и ваша сволочность — ни гу-гу.*

*Итак, начинаю.*

*Знаете ли вы, милостивый государь, Европу? Нет. Вы не знаете Европы. Боже мой, какое впечатление, как бьется сердце... О, нет, вы не знаете Европы.*

*Во-первых, боже мой, такая гадость, однообразие, такая гуховная нищета, что блевать хочется. Сердце бьется, бьется самой отчаяннейшей ненавистью, так и чешется, но к горю моему огин ненавистный мне в этом случае, но прекрасный поэт Эрдман сказал, что почесать его нечем. Почему нечем? Я готов просунуть для этой цели в горло сапожную щетку, но рот мой мал и горло мое узко. Да, прав он, этот проклятый Эрдман, передай ему за это тысячу поцелуев.*

*Да, мой друг рыжий, да. Я писал Сашке, писал Златому — и вы "ни тебе, ни матери".*

*Теперь я понял, понял все я —  
Ах, уж не мальчик я давно, —  
Среди исканий, без покоя  
Любить поэту не дано.*

*Это сказал В. Ш., по-английски он зовется В. Шекспир. О, я узнал теперь, что вы за каналы, и в следующий раз вам, как в мечь, напишу обязательно по-английски — чтобы вы ничего не поняли.*

*Ну так вот — единственно из-за того, что вы мне противны, за то, что вы не помните меня, я с особым злорадством перевел ваши скандальные поэмы, на англ. и франц. яз. и выпускаю их в Парнике и Лондоне.*

*В сентябре все это вам пришлю, как только выйдут книги. Адрес мой (для того, чтобы ты не писал).*

*Сергей Есенин».*

И Сахарову из Дюссельдорфа:

*«Родные мои. Хорошие...*

*Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве  
мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме  
фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут, и пьют,  
и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не  
знаю, где им пахнет. В страшной моде Господин доллар,  
а на искусство начихать, самое высшее — мюзик-холл.  
Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на ге-  
шевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно.*

*Если рынок книжной Европы, а критик — Львов-  
Рогачевский, то глупо же писать стихи им в угоду и по  
их вкусу.*

*Здесь все выглажено, вылизано и причесано так же  
почти, как голова Мариенгофа. Птички сидят, где им по-  
зволено. Ну куда же нам с такой непристойной поэзией?  
Это, знаете ли, невежливо так же, как коммунизм. По-  
рой мне хочется послать все это к черту и наострить  
лыжи обратно. Пусть мы нищие, пусть у нас голод, хо-  
лод и людогедство, зато у нас есть душа, которую здесь  
сдали за ненадобностью в аренду под смердяковщину.*

*Конечно, кой-где нас знают, кой-где есть стихи, пе-  
реведенные мои и Толькины, но на кой все это, когда их  
никто не читает?*

*Сейчас у меня на столе английский журнал со стихами  
Анатолия, который мне даже и посылать ему не хочется.  
Очень хорошее издание, а на обложке пометка: в колич.  
500 экземпляров. Это здесь самый большой тираж.*

*Развейтесь, кони! Неси, мой ящик! Матушка, пожа-  
лей своего бедного сына! А знаете? У Алжирского Бея под  
самым носом шишка! Передай все это Клычкову и Ване  
Старцеву, когда они будут матюгаться, душе моей лег-  
че станет.*

*Твой Сергун».*

Гоголевская приписка:

*«Ни числа ни месяца...  
Если б был... большой...  
То лучше б ... повеситься».*

Мой друг, бывший артист Камерного театра, а теперь театра Макса Рейнхардта, Владимир Соколов ставил в Берлине на немецком языке с крупными немецкими актерами «Идиота» по Достоевскому.

Это было осенью 1925 года.

Я сидел в Пшор-Броу на Курфюрстендаме за полулитровой кружкой мюнхенского пива. Ждал Соколова. Со мной немецкий социал-демократ. Губы у него серые и тонкие, как веревочка. Говорит:

— Русские в Берлине любят рассказывать про нас, немцев, анекдот. Вы слышали, наверное. В каком-то городе революционное восстание. Берут вокзал. Мечутся по залам. Подбегает русский; кричит: «Почему вы не выходите на линию? не занимаете платформу?» Немцы отвечают: «Касса закрыта... не выдают перронных билетов».

Я рассмеялся и подумал: небось о нас такой анекдотец не сложится.

Мой сосед полагает, что «перронные билеты» — залог того, что немцы раньше других и самым коротким и спокойным путем придут к социализму.

Вошел Соколов. Хмурый, сердитый.

Бурчит:

— Знаешь, кажется, брошу все... Не могу... Все это как назло... читаю, видишь ли, им первый акт «Идиота». Помнишь, где Рогожин рассказывает князю Мышкину, как валялся он пьяный ночью на улице в Пскове и — собаки его объели... Только прочел — смех... Спрашиваю: «В чем дело?..» Актеры как-то неловко между собой переглядываются... Потом один и говорит: «Здесь, Непт Sokolov, плохо переведено. Неправдоподобно... Достоевский так написать не мог...» — «Да что написать-то не мог?..» — «А вот насчет того, что собаки обкусили... Это совсем невозможно... Публика смеяться будет...» — «Чего же смеяться-то?» И сам злиться начинаю. «Да как же, — говорит, — собаки обкусать могут, если они в намордниках?» И ничего, понимаешь ты, им возражать не

стал — только руками развел. Так и пришлось это место вычеркнуть...

Когда я думаю о Есенине на Западе, мне всегда приходят в голову и первый анекдотец, и соколовский случай.

Есенин почувствовал себя, свой внутренний мир и свои стихи неправдоподобными и обреченными на вымарку, как та собака без намордника, которая укусила Рогожина.

Уже в кубанских степях Есенина слегка напугала железная лошадка. Какой же она оказалась несчастной и жалкой в сравнении с тем железным конем, которого довелось ему увидеть скачущим по другой половине земного шара.

В 1924 году я был в Париже. Как-то целый день пробродил с Кусиковым по Версальскому парку и Трианону. Устали чудесной усталостью.

Ужинали в полумиле от Версаля в маленьком ресторанчике. За разговором я сказал Кусикову:

— Знаешь, Сандро, однажды очень я рассердился, прочитав у какого-то француза в романе, что «два парижских вивера и две кокотки за одну ночь расходуют больше остроумия и грации, чем англичане, французы, русские, американцы за целый год». А теперь...

И, не договорив, выпил большой стакан холодного белого вина за Версаль, за французов, за романский геней. Кусиков улыбнулся:

— А я тебе, Анатолий, кажется, еще не рассказывал, как мы сюда в прошлом году с Есениным съездили... неделю я его уламывал... уломал... двинулись... добрались до этого самого ресторанчика... тут Есенин заявил, что проголодался... сели завтракать, Есенин стал пить, злиться, злиться и пить... до ночи... а ночью уехали обратно в Париж, не взглянув на Версаль; наутро, трезвым, он радовался своей хитрости и увертке... так проехал Сергей по всей Европе и Америке, будто слепой, ничего не желая знать и видеть.

Я припомнил фразу из давнишнего есенинского письма о гибельности для него путешествий. «Я не знаю, — писал он, — что было бы со мной, если б "слу-



чайно" мне пришлось объездить весь земной шар. Конечно, если не пистолет юнкера Шмидта, то, во всяком случае, что-нибудь разрушающее чувство земного диапазона».

В одном из лесковских романов приживалка князей Протозановых, Ольга Федотовна (вскоре после похода Александра на Париж, в котором участвовал и ее князь), попадает за границу. Вернувшийся в Россию посольский дьячок про Ольгу Федотовну рассказывал:

— У нее это с Рейна началось... Как увидит развалины, сейчас вся возрадуется и пристает ко всем: «Смотрите, батюшка, смотрите. Это все наш князь развалил», и сама от умиления плачет.

И, продолжая свою теорию разрушения всех европейских зданий, завела в Париже войну с французской прислугой, доказывая всем, что недостроенный в то время Собор Парижской Богоматери отнюдь не недостроен, но что и его князь «развалил».

А когда княгиня приняла сторону обиженных французов, Ольга Федотовна заявила, что та «рода своего не уважает».

Пришло время признаться, что российский патриотизм, которым болели мы в годы военного коммунизма, имел большое сходство с идейным богатством Ольги Федотовны.

Не чуждо нам было и гениальное мракобесие Василия Васильевича Розанова, уверяющего, что счастливую и великую родину любить не великая вещь и что любить мы ее должны, когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна. Именно, именно, когда наша «мать» пьяна, лжет и вся запуталась в грехе... Но и это еще не последнее: когда она наконец умрет и, «обглоданная евреями», будет являть одни кости — тот будет «русский», кто будет плакать около этого остова, никому не нужного и всеми плюнутого...

Есенин был достаточно умен, чтобы, попав в Европу, осознать всю старомодность, ветхую дырявость, проношенность таких убеждений, — и недостаточно тверд, решителен, чтобы отказаться от них, чтобы найти новый внутренний мир.

На лето уехали с Никритиной к Черному морю пожариться на солнышке. В августе деньги кончились. А тут еще как нарочно, как назло остроглазый, коричневый, будто вылепленный из глины, голопятый и голопузый купец кричит раз по пять в день:

У меня у Яшки  
У маленькой корзине  
Алейнц у Берлине,  
У магазине.

К счастью: не у каждого купца столько соблазнов.

Две копейки фунт вишня.

И пятикопеечные дыни, о которых чернокошая сеньора возвещала следующей серенадой:

Дини! Дики?  
Си тицих ейших  
Просто дим идет! —

делали картину нашей жизни не столь мрачной.

Мы пополняли пустоту желудков щедротами юга и писали в Москву друзьям, чтобы те потолкались в какой-нибудь мягкосердечной редакции за авансиком для меня, и родичам — чтобы поскребли у себя в карманах на предмет краткосрочного займа.

Хотя, по совести говоря, плоховато я верил и в редакторское широкодушие, и в родственные карманы.

Впрочем, и родичей-то у меня (кроме сестры) почти что нет на белом свете. Самые кровные узы, если скажем, бабушки наши на одном солнышке чулочки сушили. Так, кажется, говаривали старые хорошие писатели.

Вдруг: телеграфный перевод на сто рублей. И сразу вся кислятина из души выпарилась. Решили даже еще недельку поболакатся в море.

За обедом ломали головы: от кого бы такая благодать? А вечером почтальон догадку вручил нам под расписку.

Телеграмма: «Приехал Приезжай Есенин».

Ошалев, заскакал я и захолопал в ладоши.

Из желтого кожаного несессерчика бросил в меня стыдящий взгляд шестинедельный Кирилл: «Такой, мол, дядя здоровый и козлом прыгаешь!»

Усовестясь, я помахал пальцем перед его розовенькой, с двумя дырочками горошинкой:

— Ну, брат Кирилл, в Москву едем... Из невозможных америк друг мой единственный вернулся... Понимаешь?

Розовенькая горошина сморщилась и чихнула.

— Значит, правда!

Наутро Кирилл сменил квартиру — кожаный несессерчик на деревянное корытце — и в скором поезде поехал в Москву.

## 58

— Вот и я.

— Вяточка!..

Ах, какой европеец! Какой чудесный, какой замечательный европеец! Смотрите-ка: из кармашка мягкого серого пиджака торчит даже блестящий хвостик вечно-го пера.

И, кажется, еще легче стала походка в важных белых туфлях, и еще золотистой волосы из-под полей такой красивой и добротной (цвета кофе на молоке) шляпы.

Только вот глаза... не пойму... странно — не его.

— Мразь!

— А?

— Европа — мразь.

— Мразь?

— А в Чикаго до надземной дороги встань на цыпочки и пальцем достанешь!.. Ерунда!..

И презрительно приподнялся на белых носках своих важных туфель.

— ...в Венеции архитектура ничего себе... только воня-я-ет! — И сморщил нос пресмешным образом. — А в Нью-Йорке мне больше всего понравилась обезьяна

у одного банкира... Стерва, в шелковой пижаме ходит, сигары курит и к горничной пристаёт... а в Париже... сижу это в кабаке... подходит гарсон... говорит: «Вы вот, Есенин, здесь кушать изволите, а мы, гвардейские офицеры, с салфеткой под мышкой...» — «Вы, спрашиваю, лакеями?...» — «Да! лакеями!..» — «Тогда извольте, говорю, подать мне шампань и не разговаривать!..» Вот!.. ну, твои стихи перевел... свою книгу на французском выпустил... только зря все это... никому там поэзия не нужна... А с Изадорой — адьо!..

— «Давай мне мое белье?»

— Нет, адьо безвозвратно... безвозвратно... я русский... а она... но... могу... знаешь, когда границу переехал — плакал... землю целовал... как рязанская баба... стихи прочесть?..

Прочел всю «Москву кабацкую» и «Черного человека».

Я сказал:

— «Москва кабацкая» — прекрасно. Такой лирической силы и такого трагизма у тебя еще в стихах не было... умудрился форму цыганского романса возвысить до большого, очень большого искусства. А «Черный человек» плохо... совсем плохо... никуда не годится.

— А Горький плакал... я ему «Черного человека» читал... слезами плакал...

— Не знаю...

Есенин не вытаскивал для печати и не читал «Черного человека» вплоть до последних дней. Насколько мне помнится, поправки внес не очень значительные. Вечером были в каком-то божественном кабаке на Никитской — не то «Бродячая собака», не то «Странствующий энтузиаст».

Есенин опьянел после первого стакана вина. Тяжело и мрачно скандалил: кого-то ударил, матерщинил, бил посуду, ронял столы, рвал и расшвыривал червонцы. Смотрел на меня мутными невидящими глазами и не узнавал. Одно слово доходило до его сознания: Кириллка.

Никритина говорила:

— Сережа, Кириллка вас испугается... не надо пить... он маленький... к нему нельзя прийти таким...

И Есенин на минутку тишал.

То же магическое слово увело его из кабака.

На извозчике на полпути к дому Есенин уронил мне на плечо голову, как не свою, как ненужную, как холодный костяной шар.

А в комнату на Богословском, при помощи чужого, незнакомого человека, я внес тяжелое, ломкое, непослушное тело. Из-под упавших мертвенно-землистых век сверкали закатившиеся белки. На губах слюна. Будто только что жадно и неряшливо ел пирожное и перепачкал рот сладким, липким кремом. А щеки и лоб совершенно белые. Как лист ватмана.

Вот день — первой встречи. Утро и ночь. Я вспомнил поэму о «Черном человеке». Стало страшно.

Может быть, не попусту плакал над ней Горький.

## 59

На другой день Есенин перевез на Богословский свои американские шкафы-чемоданы. Крепкие, желтые, стянутые обручами; с полочками, ящичками и вешалочками внутри. Негры при разгрузках и погрузках с ними не очень церемонятся — швыряют на цемент и асфальт чуть ли не со второго этажа.

В чемоданах — дюжина пиджаков, шелковое белье, смокинг, цилиндр, шляпы, фракная накидка.

У Есенина страх — кажется ему, что его всякий или обкрадывает, или хочет обокрасть.

Несколько раз на дню проверяет чемоданные запоры. Когда уходит, таинственно шепчет мне на ухо:

— Стереги, Толя!.. в комнату — ни-ни! никого!.. знаю я их — с гвоздем в кармане ходят...

На поэтах, приятелях и знакомых мерещатся ему свои носки, галстуки. При встрече обнюхивает — не его ли духами пахнет.

Это не дурь и не скупость.

Я помню первую ночь, пену на губах похожую на сладкий крем, чужие глаза на близком, милом лице и то — как рвал он и расшвыривал червонцы...

Раньше бывало по-иному.

Как-то Мейерхольд с Райх были у нас на блинах. Пили с блинами водку. Есенин больше других. Под конец стал шуметь и швырять со звоном на пол посуду. Я тихонько шепнул ему на ухо.

— Брось, Сережа, посуды у нас кот наплакал, а ты еще кокаешь.

Он тайком от Мейерхольда хитро подмигнул мне, успокоительно повел головой и пальцем указал на валяющуюся на полу неразбитую тарелку.

Дело обстояло просто. На столе среди фарфорового сервизишки была одна эмалированная тарелка. Ее-то он и швырял об пол, производя звон и треск; затем ловко незаметно поднимал и швырял заново.

Или еще:

Наш беленький туркестанский вагон стоял в тупике ростовского вокзала. Есенин во хмелю вернулся из города. Стал буяннить. Проводник высунулся и заявил:

— Товарищ Молабух приказал вас, Сергей Александрович, в этом виде в вагон не пущать!

— Меня?.. не пускать?..

— Не приказано-с, Сергей Александрович!

— Пустите лучше!

— Не приказано.

— Скажи своему «енералу» в подбрюшниках — ежели не пустит — разнесу его хижину!

— Не приказано

Тогда Есенин, крякая, стал высаживать в вагоне стекла.

Дребезжа, падали стекла на шпалы. «Почем-Соль» стоял в купе, бледный, в нижней рубашке и подштанниках, с прыгающей свечой в руке.

А Есенин не унимался. Прошло после разгрома вагона три дня. «Почем-Соль» ни под каким видом не желал мириться с Есениным. На все уговоры отвечал:

— Что ты мне говоришь: «пьян! пьян!» не в себе? Нет, брат, очень в себе... Он всегда в себе... небось когда по стеклу дубасил, так кулак-то свой в рукав прятал, чтоб не порезаться, боже упаси... а ты: «пьян, пьян! не в себе!...»... Все стекла выставил — на пальце ни одной царрапины... хитро, брат... а ты... «пьян».

В этом был Есенин.

Если бы в день первой встречи в «Бродячей собаке» он показывал червонцы и рвал белую бумагу, я бы знал, что не так страшны и упавшие веки, и похожая на крем пена на губах, и безучастное ломкое тело.

## 60

Предугаданная грусть наших «Прощание» стала явственной и правдоподобной.

Сначала разбрелись литературные пути.

Есенин еще печатался в имажинистской «Гостинице для путешествующих в прекрасное», но поглядывал уже в сторону «мужиковствующих». Подолгу сидел он с Орешиним, Клычковым, Ширяевцем в подвальной комнате «Стойла Пегаса».

Ссорились, кричали, пили.

Есенин желал вожаковать. В затеваемом журнале «Россияне» требовал:

— Диктатуры!

Орешин злобно и мрачно показывал ему шиш. Клычков скалил глаза и ненавидел многопудовым завистливым чувством.

Есенин уехал в Петербург и привез оттуда Николая Клюева. Клюев раскрывал пастырские объятия перед меньшими своими братьями по слову, троекратно лобызал в губы, называл Есенина Сереженькой и даже меня ласково гладил по колену, приговаривая:

— Олень! олень!

Вздыхал об олонечкой избе и до закрытия, до четвертого часа ночи, каждодневно сидел в «Стойле Пегаса», среди визжащих фокстроты скрипок и красногубой, пустосердечной и площадноречивой толпы, отпрыгивающей винным духом, пудрой «Леда» и мутными тверскобульварными страстишками.

Мне нравился Клюев. И то, что он пришел путями господними в «Стойло Пегаса», и то, что он творил крестное знамение над жидким моссельпромовским пивом и вобельным хвостиком, и то, что он ради мисти-

ческого ряжения и великой фальши, которую зовем мы искусством, одел терновый венец и встал с протянутой ладонью среди нищих на соборной паперти, с сердцем циничным и кощунственным, холодным к любви и вере.

Есенин к Клюеву был ласков и льстив. Рассказывал о «Россиянах», обмозговывал, как из «старшего брата» вытесать подпорочку для своей «диктатуры», как «Миколаем» смирить Клычкова с Орешиним.

А Клюев вздыхал:

— Вот, Сереженька, в лапоточки скоро обуюсь... последние щиблетишки, Сереженька, развалились!

Есенин заказал для Клюева шевровые сапоги.

А вечером в «Стойло» допытывал:

— Ну, как же насчет «Россиян», Николай?

— А я кумекаю — ты, Сереженька, голова... тебе красный угол.

— Ты скажи им — Сереге-то Клычкову и Петру, — что, мол, Есенина диктатура.

— Скажу, Сереженька, скажу...

Сапоги делались целую неделю.

Клюев корил Есенина:

— Чего Изадору-то бросил... хорошая баба... богатая... вот бы мне ее... плюшевую бы шляпу купил с ямкою и сюртук, Сереженька, из поповского сукна себе справил...

— Справим, Николай, справим! Только бы вот «Россияне»...

А когда шевровые сапоги были готовы, Клюев увязал их в котомочку и в ту же ночь, втихомолку, не простившись ни с кем, уехал из Москвы.

## 61

Вслед за литературными путями разбежалась у нас с Есениным дорога дружбы и сердца.

Я только что приехал из Парижа. Сидел в кафе. Слушал унылое вытье толстой контрабасной струны. Никого народу. У барышни в белом фартучке — флюс. А вторая



барышня в белом фартучке даже не потрудилась намазать губы. Черт знает что такое!

На улице непогода, мокрядь, желтый, жидкий блеск фонарей.

Я подумал, что хорошо бы эту осеннюю тоску расхлестать веселыми монпарнасскими песенками. Неожиданно вошел Есенин. Барышня с флюсом и барышня с ненакрашенными губами испуганно трепыхнулись и повели плечиками. Глаз у Есенина мутный, рыхлый, как кусочек сахара, полежавший в чашке горячего кофе. Одет неряшливо. Шляпа пятнистая, помятая; несвежий воротничок и съехавший набок галстук. Золотистая пена волос размылилась и посерела. Стала походить на грязноватую, как после стирки, воду в корыте.

Есенин, не здороваясь, подошел к столику, за которым я сидел. Заложил руки в карманы и, не произнося ни слова, уперся в меня недобрый мутным взглядом.

Мы не виделись несколько месяцев. Когда я уезжал из России, не довелось проститься. Но и ссоры никакой не было. Только отношения похолодали.

Я продолжал мешать ложечкой в стакане и тоже молча смотрел ему в глаза.

Кто-то из маленьких петербургских поэтов вертелся около. Подошла какая-то женщина и стала тянуть Есенина за рукав.

— Иди к этой матери... видишь, с Мариенго-о-офом встретился...

От Есенина пахнуло едким, ослившим перегаром:

— Ну?

Он тяжело опустил руки на столик, нагнулся, придвинул почти вплотную ко мне свое лицо и, отстукивая каждый слог, сказал:

— А я тебя съем!

Есенинское «съем» надлежало понимать в литературном смысле.

— Ты не серый волк, а я не Красная Шапочка. Авось не съешь.

Я выдавил из себя улыбку, поднял стакан и глотнул горячего кофе.

— Нет... съем!

И Есенин сжал ладонь в кулак.

Петербургский поэт, щупленький, черненький, с носом, похожим на восклицательный знак, и незнакомая женщина стали испуганным шепотом упрашивать Есенина и в чем-то уговаривать меня.

Есенин выпрямился, снова заложил пальцы в карманы, повернулся ко мне спиной и неровной пошатывающейся походкой направился к выходу.

Поэт и женщина держали его под руки. Перед дверью, словно на винте, повернул голову и снял шляпу:

— Ад-дью-о!

И скрипнул челюстями.

— А все-таки... съем!

Поэт распахнул дверь.

Вот наша ссора. Первая за шесть лет. Через месяц мы встретились на улице и, не поклонившись, развели глаза.

## 62

Весной я снова уехал с Никритиной за границу и опять вернулся в Москву в непролазь и мглу позднего октября. В один из первых дней по приезде побывали у Качаловых. В малюпатеьной их квартирке в Камергерском пили приветливое хозяйское вино.

Василий Иванович читал стихи — Блока, Есенина. Из угла поблескивал черной короткой шерстью и большими умными глазищами качаловский доберман-пинчер.

Василий Иванович положил руку на его породистую точеную морду.

— Джим... Джим... Хорош?

— Хорош!..

— Есениным воспет!

И Качалов прочел стихотворение, посвященное Джиму. А я после спросил:

— Что Есенин?.. хорошо или худо?..

Вражда набросала в душу всякого мусора и грязи. Будто носили мы в себе помойные ведра.

Но время и ведра вывернуло, и мокрой тряпкой подтерло. Одно слово — чистуха, чистоплюха.

— Будто не больно хорошо...

И Василий Иванович рассказал теплыми словами о том, что заметил за редкие встречи, что понаслышал через молву и от людей, к Есенину близких, и сторон них.

— А где же сейчас Сережа?.. Глупо и гадко все у нас получилось... не из-за чего и ни к чему...

До позднего часа просидели в малюсенькой комнатке за приветливым хозяйским вином.

Прощаясь, я сказал:

— Вот только узнаю, в каких обретается Есенин палестинах, и пойду мириться.

И в эту же ночь на Богословском несколько часов кряду сидел Есенин, ожидая нашего возвращения. Он колдыхал Кириллкину кроватьку, мурлыкал детскую песенку и с засыпающей тещей толковал о жизни, о вечности, о поэзии, дружбе и любви. Он ушел, не дождавшись. Велел передать:

— Скажите, что был... обнять, мол, и с миром...

Я не спал остаток ночи. От непрошенных слез намокла наволочка.

На другой день с утра — бегал по городу и спрашивал подходящих людей о есенинском пристанище. Подходящие люди разводили руками. А под вечер, когда глотал (чтобы только глотать) холодный суп, раздался звонок, который узнал я с мига, даром что не слышал его с полутысячу, если не более, дней.

Пришел Есенин.

## 63

Прошло около недели. Я суматошился в погоне за рублем. Засуматошенный вернулся домой.

Никритина открыла дверь:

— У нас Сережа...

И встревоженно добавила:

— Принес вино... пьет...

Когда в последнее время говорили: «Есенин пьет», слова звучали как стук костыля.

Я вошел в комнату.  
Еще желтая муть из бутылок не перелилась в его глаза.  
Мы крепко поцеловались.  
— Тут Мартышон меня обижает...  
Есенин хитро прихромнул губой:  
— Выпить со мной не хочет... за мир наш с тобой...  
любовь нашу...  
И налил в стаканчик непенящегося шампанского.  
— Подожди, Сергун... сначала полопаем... Мартышка нас щами угостит с черной кашей...  
— Ешь...  
Есенин сдвинул брови.  
— А я мало теперь ем... почти ничего не ем...  
И залпом выпил стаканчик.  
— Весной умру... Брось, брось, пугаться-то... говорю умру, значит — умру...  
Опять захитрили губы:  
— У меня... горловая чахотка... значит, каюк!  
Я стал говорить об Италии, о том, что вместе закатимся весной к теплой Адриатике, поваляемся на горячем песке, поглотаем не эту дрянь (и убрал под стол бутылку), а чудесное, палящее, расплавленное д'аннунциевского солнце.  
— Нет, умру.  
«Умру» произносил твердо, решение, с завидным спокойствием. Хотелось реветь, ругаться последними словами, корябать ногтями холодное, скользкое дерево на ручках кресла.  
Жидкая соль разъедала глаза.  
Никритина что-то очень долго искала на полу, боясь поднять голову.  
Потом Есенин читал стихи об отлетевшей юности и о гробовой дрожи, которую обещал он принять как новую ласку.

## 64

— К кому?

— К Есенину.

Дежурный врач выписывает мне пропуск.

Поднимаюсь по молчаливой, высланной коврами лестнице. Большая комната. Стены окрашены мягкой, теплой краской. С потолка светится синенький глазок электрической лампочки. Есенин сидит на кровати, обхватив колени.

— Сережа, какое у тебя хорошее лицо... волосы даже снова запушились.

Очень давно я не видел у Есенина таких ясных глаз, спокойных рук, бровей и рта. Даже пооблетела серая пыль с век.

Я вспомнил последнюю встречу.

Есенин до последней капли выпил бутылку шампанского. Желтая муть перелилась к нему в глаза. У меня в комнате, на стене, украинский ковер с большими красными и желтыми цветами. Есенин остановил на них взгляд. Зловеще ползли секунды и еще зловещее расплывались есенинские зрачки, пожирая радужную оболочку. Узенькие кольца белков налились кровью. А черные дыры зрачков — страшным, голым безумием.

Есенин привстал с кресла, скомкал салфетку и, подавая ее мне, прохрипел на ухо:

— Вытри им носы!

— Сережа, это ковер... ковер... а это цветы...

Черные дыры сверкнули ненавистью:

— А!.. трусишь!..

Он схватил пустую бутылку и заскрипел челюстями:

— Размозжу... в кровь... носы... в кровь... размозжу...

Я взял салфетку и стал водить ею по ковру — вытирая красные и желтые рожи, сморкая бредовые носы.

Есенин хрипел.

У меня холодело сердце.

Многое утонет в памяти. Такое — никогда.

И вот: синенький глазок в потолке. Узкая кровать с серым одеяльцем. Теплые стены. И почти спокойные руки, брови, рот.

Есенин говорит:

— Мне очень здесь хорошо... только немного раздражает, что день и ночь горит синенькая лампочка... знаешь, заворачиваюсь по уши в одеяло... лезу головой

под подушку... и еще — не позволяют закрывать дверь... все боятся, что покончу самоубийством.

По коридору прошла очень красивая девушка. Голубые, большие глаза и необычайные волосы, золотые, как мед.

— Здесь все хотят умереть... эта Офелия вешалась на своих волосах.

Потом Есенин повел в приемный зал. Показывал цепи и кандалы, в которые некогда заковывали больных; рисунки, вышивки и крашеную скульптуру из воска и хлебного мякиша.

— Смотри, картина Врубеля... он тоже был здесь...

Есенин улыбнулся:

— Только ты не думай — это не сумасшедший дом... сумасшедший дом у нас по соседству.

Он подвел к окну:

— Вон то здание!

Сквозь белую снежную листву декабрьского парка весело смотрели освещенные стекла гостеприимного помещичьего дома.

## 65

Платон изгнал Гомера за непристойность из своей идеальной республики.

Я не Гомер.

У нас республика Советов, а не идеальная. Можно мне сказать гадость. Совсем маленькую и не очень скабрезную. О том, как надо просить у жизни счастья.

Так вот, счастья надо просить так, как одесский беспризорный милостыню:

— Гражданка, дайте пятак. А не то плюну вам в физиономию — у меня сифилис.

## 66

В тюремной приемной женщина узнала о смерти мужа. Она зарыдала. Тогда к ней подошел часовой и сказал:

— Гражданка, огорчаться ступай за ворота.

31 декабря 1925 года на Ваганьковском кладбище, в Москве, вырос маленький есенинский холмик.

Мне вспомнилось другое 31 декабря. В Политехническом музее «Встреча нового года с имажинистами». Мы с Есениным — молодые, веселые. Дразним вечернюю Тверскую блестящими цилиндрами. Поскрипывают сани. Морозной пылью серебрятся наши бровные воротники.

Есенин заводит с извозчиком литературный разговор:

— А скажи, дяденька, кого ты знаешь из поэтов?

— Пушкина.

— Это, дяденька, мертвый. А вот кого из живых знаешь?

— Из живых нема, барин. Мы живых не знаем. Мы только чугуновых.

# КОММЕНТАРИИ







## КОММЕНТАРИИ КО ВТОРОМУ ТОМУ

Во второй том собрания сочинений А. Б. Мариенгофа вошли прозаические тексты и мемуары. Некоторые из них (рассказ «Пирогов у Гарибальди») публикуются впервые.

К прозе Мариенгоф обратился в тот момент, когда распался Орден Имажинистов. После смерти Есенина приложением к журналу «Огонек» вышла брошюрка «О Сергее Есенине. Воспоминания», впоследствии превратившаяся в «Роман без вранья» — споры о котором не утихают и по сей день. Роман получился громким, по имажинистскому ярким и насыщенным. На фоне воспоминаний о Есенине, которыми запестрила периодика, где поэт наделялся ангельской чистотой, божественным талантом и непомерной святостью, «Роман без вранья» давал иное представление о поэте. Мариенгоф не делал херувима, а сделал максимально живой портрет.

Из-за некоторых имажей, из-за умолчания нескольких сцен критики уже почти целый век разбирают роман по мелочам, выискивая подтверждения каждой буковке, и, если находится опровержение, клеймят «Враньем без романа».

Критики русской эмиграции относились к роману намного мягче и с пониманием. «"Петрополис" только что переиздал "Роман без вранья" — воспоминания Мариенгофа о Сергее Есенине, — пишет Георгий Адамович. — В анонимном предисловии издательство высказывает предположение, что книгу эту всякий прочтет "с большим интересом и не без пользы". Предположение правильное: книга увлекательна, а насчет пользы ее можно сказать, что перечесть настолько умные и правдивые записки о гибели человека полезно всегда. Есть в есенинской истории и материал для раздумий, и предостережения, и урок».

На Западе видели, насколько глупо разразилась мемуарная истерия вокруг Есенина: «Преувеличение дарования Есенина и его значения в первое время после его самоубийства было очевидным, — пишет тот же Адамович, — и было что-то оскор-

бительное по внутренней своей нелепости в похоронах поэта, когда гроб его троекратно обнесли вокруг памятника Пушкина, и странный этот обряд истолковывался как признание Есенина пушкинским сыном и наследником. Услуги глупые, как известно, "опаснее врага".

И сегодня любой литературовед, занимающийся Есениным, если и берется выяснять какие-то подробности жизни поэта, не может обойтись пройти мимо «Романа без вранья».

Второй нашумевший роман — «Циники». «Книга странная и, местами, отвратительная, но умная, резкая и отчетливая, — отмечал Адамович. — Что такое эта книга? Бесстрастная запись или обвинительный акт с благонамеренной тенденцией, или "психологический этюд", или горькая авторская исповедь? Не знаю. Но книга любопытная».

Не могли понять природу романа и советские критики: когда «Циники» вышли в Берлине, Мариенгофа охотно включили в попутчики и начали травлю в компании Пильняка и Замятина. В октябре 1929 года Мариенгоф написал «Объяснение» во ВССП (Всероссийский Союз Советских Писателей): «Мой новый роман "Циники" вышел за границей. На русском языке — в "Петрополисе", на немецком — у Фишера. Кроме того печатается на чешском языке и французском. В СССР роман света не увидел. Это обязывает меня дать следующие объяснения». В своем заявлении Мариенгоф не кается, не объясняется, не извиняется, а защищает: «Это объяснение по форме. По существу же я должен сказать, что считаю "отказ от печатания" ханжеством и святошеством нового порядка. Многие политредакторы страдают этой болезнью, вредной, а может быть, и губительной для советской литературы».

После этого объяснения критика несколько успокоилась и последующий роман «Бритый человек», выпущенный опять же в Берлине, попросту не заметили. Эмиграция же назвала роман «талантливой беллетристикой»: «Мариенгоф представился мне утомительным человеком, все тщеславие которого в том, чтобы одеваться как можно более странно и неестественно, так чтобы на улице все пальцами тыкали, — писал В. Варшавский. — Но так же, как не замечаешь опечаток (сознание автоматически подставляет правильные слова), я постепенно привык не замечать «имажей» Мариенгофа, и тогда чтение его романа мне начало доставлять удовольствие. Это все-таки на редкость талантливая беллетристика».

Рецензий на роман было крайне мало. Мариенгоф, любивший любые отзывы, и в первую очередь отрицательные, ибо они составляли репутацию литератору, был ошарашен — его не замечали.

А в 1934 году, спустя не так много времени после травли за «Циников», его выводят на допрос по делу о Пролеткино. Об этом есть два воспоминания — Михаила Кузьмина и Анны Никритиной. Первое звучит достаточно лаконично: «Арестованы Мариенгоф и Рафаловичи». Это Кузьмин пишет в своем дневнике — 6 июня, среда. Второй комментарий рассказывает предысторию: «В тот год первый день Пасхи был 1-го мая, а 30-го апреля в 4 часа дня пришел к нам человек с повесткой, пригласивший Мариенгофа в следственные органы. Он ушел и пропал. <...> Сарра, спокойная, суровая прождала со мной всю ночь <...> и оставила меня только тогда, когда появился Мариенгоф, через два дня».

Закончилось все, видимо, для Мариенгофа хорошо, так как уже в 1936 году в журнале «Литературный современник» появляются отрывки из романа «Екатерина». Роман получился увесистым, монументальным. Чтобы с полной серьезностью описать приход к власти Екатерины, Мариенгоф проводил немалое количество времени в библиотеках города. То есть после «дела Пильняка и Замятина» и «дела о Пролеткино» не остается ничего другого, как уйти от актуальных тем в тихую работу — например, в исторический роман.

«Екатерина» также насыщена имажами и реальными документами — Мариенгоф усердно выписывал шокирующие детали из дневников царицы и придворных и из документов екатерининской эпохи. Весомая часть этих выписок хранится в записных книжках (РГАЛИ, ф. 2269, оп. 1, ед. хр. 34 и ед. хр. 35).

После столь серьезного труда последовал рассказ «Пирогов у Гарибальди», написанный в 1940-е. За основу берется опять же историческая тема, но имажи значительно сокращаются. Долгое время текст хранился в архивах и печатается только сейчас.

Помимо этого, у Мариенгофа из записных книжек постепенно получились «Записки сорокалетнего мужчины», которые в свою очередь легли в основу мемуаров — «Мой век...» и «Это вам, потомки!». Последние два мемуарных текста вместе с «Романом без вранья» автор объединил под одной книгой — «Бессмертная трилогия».

## Проза

Роман «Циники» публикуется по берлинскому изданию 1928 года (издательство «Петрополис»). Сегодня среди широких читательских масс именно «Циники» делают славу Мариенгофа. Роман разобран на цитаты. Театры наперебой выводят его на сцену. На момент составления собрания сочинений «Циники» гремят в театре им. Моссовета.

В 1991 был снят фильм (режиссер — Дмитрий Месхиев) с участием Андрея Ильина и Ингеборги Дапкунайте, получившей благодаря фильму в 1992 году премию «Золотой овен» как лучшая актриса года.

Комментарии к «Циникам» — Т. Хутгунена.

Публикуется по берлинскому изданию 1928 года (издательство «Петрополис»).

[1918:3]

*Чехословаки взяли Самару* — Во время Гражданской войны Чехо-Словацкий корпус под командованием полковника Стефана Чечека вошел в Самару 8 июня 1918 года, преодолев сопротивление красных войск.

[1918:4]

*В Петербурге хоронили Володарского* — В. Володарский (настоящее имя Моисей Маркович Гольдштейн, 1891 — 1918) — видный деятель российского революционного движения. Был застрелен по дороге на митинг 20 июня 1918 года в Петрограде.

[1918:11]

*Мой старший брат Сергей* — большевик <...> управляет водным транспортом. — Двоюродный дядя Мариенгофа работал комиссаром водного транспорта, когда поэт в 1918 году приехал в Москву из Пензы.

*Я завожу разговор <...> о судьбе черноробого семнадцатилетнего еврейского мальчика, который, чтобы «спасти честь России», бросил бомбу в немецкое посольство; о смерти Мирбаха...* — Имеется в виду Я. Г. Блюмкин (1898 — 1929), революционер (левый эсер), чекист, советский разведчик и террорист. 6 июля 1918 года Блюмкин вместе с Н. А. Андреевым (1890 — 1919) убили графа Мирбаха, (В. фон Мирбаха-Харфа, 1871 — 1918), посла Германской империи. После 1921 года Блюмкин работал в секретариате народного комиссара по военным делам Л. Д. Троцкого (Бронштейн, 1879 — 1940). Был бли-

зок к кругу имажинистов, его роль часто обсуждается в различных мемуарах. В 1929 году, когда «Циников» уже издали в Берлине, Блюмкин работал в Иностранном отделе ВЧК. Мариенгоф упоминает его в своем публичном «объяснении» ВССП в октябре 1929 г.: «Несколько недель тому назад я повстречал в Москве т. Блюмкина. Он любезно, но вкратце рассказал мне содержание белоэмигрантских рецензий». Осенью 1929 года Блюмкин был арестован за связь с Троцким и привезенное им в Москву письмо Троцкого к К. Радеку. В ноябре (3 или 12 по разным данным) был расстрелян.

*Ихний главнокомандующий — Муравьев.* — М. А. Муравьев (1880 — 1918) — офицер Русской императорской армии, революционер (эсер), командир отрядов Красной гвардии и Красной армии.

*У меня с собой «Сатирикон» Петрония* — Петроний Арбитр (*Petronius Arbitr*, ок. 14 — 66) — автор древнеримского романа «Сатирикон».

[1918:14]

*Мечтаю печальный остаток своих дней прожить в Пензе* — Мариенгоф жил в Пензе с 1913 по 1918 г. Ср. упоминание Пензы в есенинской поэме трагедии «Пугачев» (1920), которая посвящена Мариенгофу: «Когда в Пензенской губернии у меня есть свой дом?»

*«Речь»* — дореволюционная газета конституционно-демократической партии (кадетов). Издавалась ежедневно с 1906 по 1917 год в Санкт-Петербурге/Петрограде. Сразу после Октябрьской революции была закрыта большевиками, 8 августа 1918 года газету закрыли окончательно.

[1918: 21]

*Голова Иоканаана на серебряном блюде была менее величественна. <...> Я горд и счастлив, как Иродиада...* — Имена Иоканаан (Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча; ок. 6 — 2 до н. э. — ок. 30 н. э.) и Иродиада (ок. 15 — 39 до н. э.) отсылают одновременно к евангельскому сюжету о казни Иоанна Крестителя и к пьесе О. Уайльда (1854 — 1900) «Саломея» (1891), важнейшему подтексту мариенгофской поэзии и прозы.

[1918: 26]

*Спартак* (лат. *Spartacus*; около 110 до н. э. — 71 до н. э.) — римский раб-гладиатор, возглавил восстание в период 74 — 71 гг.

*Гракхи* (лат. *Gracchi*) — древнеримская семья, ветвь плебейского, но выдвинувшегося в ряды новой оптиматской аристократии.

*Марк Юний Брут Цезион* (лат. *Marcus Junius Brutus Caepio*; 85—42 гг. до н. э.) — римский сенатор, известный как убийца Цезаря.

*Г. Бабеф* (фр. *Gracchus Babeuf*, настоящее имя *François Noël Babeuf*; 1760—1797) — французский революционный коммунист-утопист.

*Ф. Лассаль* (фр. *Ferdinand Lassalle*; 1825—1864) — немецкий философ, юрист, экономист и политический деятель.

*Ж. Жорес* (фр. *Jean Jaurès*; 1859—1914) — философ, историк, деятель французского и международного социалистического движения, борец против колониализма и милитаризма.

*П. Лафарг* (фр. *Paul Lafargue*; 1842—1911) — французский экономист и политический деятель, один из крупных марксистских теоретиков. Зять К. Маркса.

*О. Вальян* (фр. *Auguste Vaillant*; 1861—1894) — французский анархист.

*Ж.-П. Марат* (фр. *Jean-Paul Marat*; 1743—1793) — политический деятель времени Великой Французской революции, врач, журналист, один из лидеров якобинцев.

*М. Робеспьер* (фр. *Maximilien François Marie Isidore de Robespierre*; 1758—1794) — один из лидеров Великой Французской революции, глава якобинцев.

*Ж. Ж. Дантон* (фр. *Georges Jacques Danton*; 1759—1794) — французский революционер, один из основателей Первой французской республики.

*Дж. Гарибальди* (итал. *Giuseppe Garibaldi*; 1807—1882) — народный герой Италии; военный вождь Рисорджименто; автор мемуаров.

[1918:28]

*З. Б. Хмельницкий* (1595—1657) — гетман Войска Запорожского, полководец и государственный деятель.

[1918:30]

*А. А. Брусилов* (1853—1926) — русский и советский военный начальник и педагог, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, главный инспектор кавалерии рабоче-крестьянской Красной армии (1923).

[1918:32]

*Товарищ Мамашев*. — Вероятным частичным прототипом т. Мамашева является поэт-имажинист Рюрик Ивнев (Михаил Ковалев, 1891—1981), который работал секретарем наркомпроса А. В. Луначарского.

[1918:41]

*Овидий* — Публий Овидий Назон (лат. *Publius Ovidius Naso*; 43 до н. э. — 17 или 18 н. э.) — древнеримский поэт, прославив-

шийся элегиями и поэмами. Оказал огромное влияние в т. ч. на А. С. Пушкина.

*Гораций* — Квинт Гораций Флакк (лат. *Quintus Horatius Flaccus*; 65 до н. э. — 8 до н. э.) — древнеримский поэт.

*Цицерон* — Марк Туллий Цицерон (лат. *Marcus Tullius Cicero*; 106 до н. э. — 43 до н. э.) — древнеримский политик, философ и блестящий оратор.

*Расин* — Ж.-Б. Расин (фр. *Jean-Baptiste Racine*; 1639 — 1699) — французский драматург, автор трагедий «Андромаха», «Британик», «Ифигения», «Федра».

*Тьер* — Л.-А. Тьер (фр. *Louis-Adolphe Thiers*; 1797 — 1877) — французский политический деятель и историк.

*Беранже* — П.-Ж. де Беранже (фр. *Pierre-Jean de Béranger*; 1780 — 1857) — французский поэт и сочинитель песен.

*Гюго* — Виктор Мари Гюго (фр. *Victor Marie Hugo*; 1802 — 1885) — французский поэт, прозаик и драматург, теоретик романтизма.

*Гете* — И. В. фон Гете (нем. *Johann Wolfgang von Goethe*; 1749 — 1832) — немецкий поэт и государственный деятель.

*Ренан* — Ж. Э. Ренан (фр. *Joseph Ernest Renan*; 1823 — 1892) — французский писатель, историк и филолог.

*Готье* — П. Ж. Теофиль Готье (фр. *Pierre Jules Théophile Gautier*; 1811 — 1872) — французский поэт и критик.

[1918:45]

*Бальзаковский герой однажды крикнул, бросив монету в воздух:*

— «Орел» за Бога.

— *Не глядите!* — посоветовал ему приятель, ловя монету на лету:

— *Случай такой шутник.* — Диалог Эмиля и Рафаэля из романа «Шагреновая кожа» (фр. *La Peau de Chagrin*, 1830 — 31) французского прозаика и драматурга О. де Бальзака (*Honore de Balzac*, 1799 — 1850).

[1918:47]

*Не гаром же в книге «Драгоценных драгоценностей» арабский писатель записал...* — Имеется в виду «Книга драгоценных сокровищ» или «Книга драгоценных драгоценностей» писателя Абу-Али Ахмеда Ибн-Омар Ибн-Даства (написана около 30-х годов X столетия).

[1919: 13]

*Э. М. Склянский* (1892 — 1925) — советский военный деятель Гражданской войны, ближайший сотрудник Л. Д. Троцкого.



[1919:14]

*Виргилий* — Публий Вергилий Марон (лат. *Publius Vergilius Maro*; 70 до н. э. — 19 до н. э.) — национальный поэт Древнего Рима, автор «Энеиды».

*Анатоль Франс* (фр. *Anatole France*; настоящее имя — *François-Anatole Thibault*; 1844 — 1924) — французский писатель и литературный критик.

[1919:24]

*Поставленный несколько дней тому назад в Александровском саду памятник Робеспьеру разрушен «неизвестными преступниками».* — Как сообщил Ю. Г. Цивьян, разрушение памятника Робеспьеру не выдумка, а факт, только дело было не в 1919 году, а в ноябре 1918 года. В газете «Знамя трудовой коммуны» писалось 9 ноября 1918 года: «Открытый неделю тому назад в Александровском саду памятник Робеспьеру в ночь с 6-го на 7-е ноября был уничтожен чьей-то преступной рукой. Наш корреспондент, посетивший место происшествия, вынес несомненное убеждение в том, что памятник был взорван. Фигура Робеспьера была сделана из бетона и имела полые трубки внутри. Теперь это превращено в груды мелких осколков, разбросанных вокруг. Постамент уцелел».

[1919:28]

*Плиниус* — Плиний Старший (лат. *Plinius Maior*, настоящее имя *Gaius Plinius Secundus*; 23 — 79) — римский писатель-эрудит, автор «Естественной истории».

[1919:38]

*Колчак сказал: «Полка — это полумера»* — А. В. Колчак (1874 — 1920) — русский ученый-океанограф, один из крупнейших полярных исследователей конца XIX — начала XX веков, военный и политический деятель, флотоводец, действительный член императорского русского географического общества (1906 г.), адмирал (1918 г.), вождь Белого движения, Верховный правитель России.

[1919:47]

*А. И. Деникин* (1872 — 1947) — русский военачальник, один из руководителей Белого движения во время Гражданской войны.

[1919:48]

*Н. Н. Югенич* (1862 — 1933) — русский генерал, один из руководителей Белого движения во время Гражданской войны.

[1922:41]

*У балыка тело уайльговского Иоканаана.* — В пьесе «Саломея» О. Уайльда Саломея говорит о теле Иоканаана: «Твое тело

отвратительно. Оно как тело прокаженного. Оно точно выбеленная стена, по которой прошли ехидны, точно выбеленная стена, где скорпионы устроили свое гнездо. Оно точно выбеленная гробница, которая полна мерзостей».

[1924:4]

*В. Э. Мейерхольд* (1874—1940) — русский советский театральный режиссер, актер, теоретик и педагог. Именно он титуловал Мариенгофа «единственным денди республики».

[1924:7]

*В. Ф. Комиссаржевская* (1864—1910) — знаменитая актриса.

*А. Г. Коонен* (1889—1974) — актриса Московского Камерного Театра, жена режиссера А. Я. Таирова.

*М. С. Наппельбаум* (1869—1958) — фотограф, известный портретист.

*В. И. Пудовкин* (1893—1953) — известный кинорежиссер, теоретик и актер.

[1924:16]

*Базилио Вагильо* — Basilio Vadillo (1885—1935), мексиканский политик и дипломат. В 1924 году работал послом в Копенгагене и Осло, а с ноября 1924 года стал полномочным министром Мексики в Москве до мая 1928 года.

Роман «Бритый человек» публикуется по изданию 1991 года (М.: Горизонт).

Комментарии к роману — О. Демидова.

*Меня много занимал писанный мною пейзаж...* — из очерка «Несколько слов о Пушкине» Н. В. Гоголя.

*Сковорода Григорий Савич* (1722—1794) — странствующий философ, поэт, баснописец, педагог, родоначальник русской религиозной философии.

*Пустаревская гимназия* — в ней угадывается частная гимназия имени С. А. Пономарева (1907—1918), где учился Мариенгоф.

*Лилиенфельд-Тоаль Павел Фегорович* (1829—1903) — российский государственный деятель; служил мировым посредником в Санкт-Петербургской губернии, председателем петергофской земской управы и мирового съезда, вице-губернатором, курляндским губернатором, сенатором.

*Галантерейный магазин братьев Слонимских* был в известном на всю Пензу доме, который построила Рахилья Иса-

аковна Слонимская в 1913 — 1914 годах. До наших дней дом не сохранился — был снесен в 1970-е. До того как нижний этаж оказался полностью занятым магазинами, горожане могли наблюдать здесь любопытное зрелище. С 17 ноября 1913 года в доме Слонимской, как писали «Пензенские губернские ведомости», демонстрировались «два феномена — 18-летняя девушка-великанша Отилия весом 13 пудов 18 фунтов, уроженка Курляндии, на конгрессе в Берлине в 1911 году признанная единственной во всей Европе по своей колоссальности, и великан, юноша Ваня Марченко, 18 лет от роду и 3 аршин и 4,5 вершков вышины». Вскоре после постройки здания хозяйка разместила в нем свой магазин, в котором продавался разнообразный товар в следующих отделах: галантерейном, бельевом, дамских шляп, обуви и дорожных вещей. Магазин существовал под фирмой «Р. И. Слонимская с сыновьями».

*Tailor* — портной.

*Кафешантан «Эрмитаж»* — бывшая Нижняя гостиница Варенцова. В начале XX века называлась — «Континенталь». Хозяева ее постоянно менялись. В 1907 году при этой гостинице возник кафе-ресторан «Эрмитаж», размещавшийся на втором этаже. Постепенно и за гостиницей закрепилось ресторанное название. В газетах часто давались такие объявления о развлекательной программе кафе-ресторана: «Новые дебюты интернациональной субретки Люссет, знаменитой танцовщицы петербургских варьете Огиевской, шансонетки Казабианки, субретки Люси, новый жанр шансонетки Хризантен, неподражаемый венгерский дуэт Илькай, любимицы публики Гриневской, исполнительницы русских песен и танцовщицы Ланге, субретки Пальской и много других». У Мариенгофа также сохранились воспоминания о посещении этого кафешантана с отцом — см. мемуары «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги».

*Пальмерстон* — пальто. Появилось во времена правления Наполеона, и ввел его в моду один из его дипломатов лорд Пальмерстон, в чью честь оно и названо. Модели пальто, существовавшие в то время, были несколько широковаты и далеки от изящества, но английский лорд придумал пояс, который собирал все пальто сзади и плотно прилегал его к талии, каким бы оно широким ни было.

*Пиф-Паф ездит на гутиках* — так назывались камеры с чрезвычайно низким давлением — 0,2—0,4 атмосферы, что позволяет ездить по гвоздям и битым бутылкам, не повреждая самих камер.

*Штрипки* (от нем. *Strippe*) — тесьма в виде петли, пришитая к нижнему краю штанины брюк, разного рода накладным голенищам типа гетр, а также рукавов, которая охватывает ступню (иногда под подошвой обуви).

*Китайгородские склады* — Китайгородская стена (в старину Китайская) — почти не сохранившийся памятник средневековой русской фортификации. Краснокирпичная крепостная стена вокруг московского Китай-города строилась в правление Елены Глинской. Стены Китай-города примыкали к угловым башням Московского Кремля — Беклемишевской и Арсенальной. В сравнении с Кремлевской стеной стены Китай-города ниже, но зато толще, с площадками, рассчитанными на орудийные лафеты. Но довольно быстро Китайгородская стена потеряла свое прямое — оборонительное — назначение и стала использоваться как склад, вокруг стены возникло огромное количество торговых лавок.

*Жан-Жак Руссо* (1712—1778) — французский писатель, мыслитель.

*Анатоль Франс* (1844—1924) — французский писатель и литературный критик.

*Шар-мазла* — старинная игра, напоминающая современный хоккей. Имеет и другие названия: «Котел», «Масло», «Дук», «Лунки», «Мазлы», «Свинка», «Кубарь», «Зевака», «Клюшки» и пр. Была широко распространена еще тысячу лет назад. При раскопках Древнего Новгорода уже в слоях X и XI вв. было найдено много деревянных шаров и многочисленные остатки деревянных клюшек — палок с загнутым концом.

*Текинский ковер* — самый распространенный и знаменитый из туркменских ковров.

*«Амур, смеясь, все клятвы пишет стрелою по воде»* — строки из стихотворения К. Н. Батюшкова «Разлука».

*Бутылка «Аи»* — одно из знаменитых шампанских вин. Название происходит от французского *ai* (или *au*), восходит к французскому *le vin d'Аи* — вино из Аи, центра виноделия Шампани. Производство шампанских вин в Аи началось в конце XVII века. В конце XVIII века Аи, как и другие шампанские вина, появилось в России и стало литературным символом свободы и молодости. Про Аи писали Вяземский, Пушкин, Баратынский, Блок, Т. Кибиров, Е. Евтушенко и др.

*Юлиан Отступник* (331 или 332—363) — римский император из династии Константина. Последний языческий римский император, ритор и философ. Также иногда упоминается как Юлиан II.

*По жителям прудонов* — Пьер Жозеф Прудон (1809—1865), — французский политик, публицист, экономист, философ-мютюэлист и социолог. Был членом французского парламента и первым человеком, назвавшим себя анархистом. Считается одним из наиболее влиятельных теоретиков анархизма.

*Первая женская гимназия* в Пензе была открыта в 1870 году на базе женского училища 1-го разряда. Имела гуманитарный уклон, контингент учащихся составляли преимущественно дети дворян и чиновников.

*Разве не всякому известно, что из себя представляет «00» в проходном дворе на лаятельной Трубе или «Pour les messieurs» в баламутной пивной «Стенька Разин» по Лиговке, или перронное — «для мужчин» на шербаршинстой станцийке южно-русских железных дорог* — «Pour les messieurs» переводится с французского как «для господ».

*Рабкооп* — рабочий кооператив.

*Капельгунер* — служащий театра или концертного зала.

*Беком был Саша Фрабер* — беком, т. е. защитником; по аналогии от хавбек — полузащитник.

*«Внезапу, яко вода воскипеша московитии народи: улицы воспоташася, слободы пролияшася, переулки протекоша»* — из книги Денисов А. Повесть риторическая о срете в Москве слона персидскаго (Русская старина, 1880, т. 29, № 9).

*Сулла* (138 — 78 гг. до н. э.) — древнеримский государственный деятель и военачальник, бессрочный диктатор, консул, император, организатор кровавых проскрипций и реформатор государственного устройства. Стал первым римлянином, который захватил Вечный город силой, причем дважды. Остался в памяти потомков как жестокий тиран, добровольно отказавшийся от неограниченной власти.

*Агриппа из Неттесрейма* (63 до н. э. — 12 до н. э.) — римский государственный деятель и полководец, зять императора Октавиана Августа. Играл значительную роль в военных успехах Октавиана Августа. Покровительствовал искусствам, построил Пантеон.

*Преториус* (1798 — 1853) — лидер буров, боролся за создание независимого от англичан бурского государства; в январе 1852-го Великобритания признала независимость захваченной территории (Трансвааль), которая в 1856-м была провозглашена Южно-Африканской Республикой.

*«Ночь, платформа, огоньки, дальняя дорога»* — один из вариантов «Цыганочки». Не раз появляется в творчестве Мариенгофа — см., например, пьесу «Золотой обруч».

«Мещанская мораль» — отсылка к Герцену. «Философы перевели церковные заповеди на светский язык. Вместо милосердия появилась филантропия; вместо любви к ближнему — любовь к человечеству; вместо того чтобы сказать «это предписано», воскликнули «это принято». Эта мораль требует от человека той покорности и тех же жертв, что и религия, не предоставляя ему в то же время награды в виде мечты о рае. <...> Мораль, которую нам проповедают, стремится лишь к тому, чтобы уничтожить личность, сделать из индивида тип, алгебраического человека, лишённого страстей», — писал Герцен в отрывке из работы «Дуализм — это монархия». Сравните с отрывком из «Циников» Мариенгофа: «Я не верю в любовь к "сорока тысячам братьев". Кто любит всех, тот не любит никого. Кто ко всем хорошо относится, тот ни к кому не относится х о р о ш о».

*Старец Зосима, Грушенька* — герои романа «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского.

*Настасья Филипповна, Идиот Мышкин* — герои романа «Идиот» Ф. М. Достоевского.

*Сидоняне* — Сидон — старший сын Ханаана, родоначальника ханаан — племени, которое и основало город Сидон в 4-м тысячелетии до нашей эры. Во 2-м тысячелетии до нашей эры крупный центр торговли; боролся с Тиром за гегемонию в Финикии.

*ВСНХ* — высший совет народного хозяйства.

Роман «Екатерина» печатается по изданию Мариенгоф А. Б. «Это вам, потомки!», «Записки сорокалетнего мужчины», «Екатерина» (роман), СПб.: Петро-РИФ, 1994, который в свою очередь печатается по одной из двух машинописных копий, хранящихся в рукописном отделе Российской национальной библиотеки (фонд Мариенгофа, ед. хр. 14 и 15). Несколько глав романа были опубликованы в журнале «Литературный современник» (1936, № 9 — 10); их текст значительно отличается от хранящегося в архиве варианта и в настоящем издании не учитывается. Машинописные копии содержат значительное количество исправлений и карандашных вставок. Большинство из них в том и другом экземпляре идентичны, но есть и ряд отличий, затрудняющих решение вопроса о том, какой из вариантов является окончательным. Текст романа печатается по второй машинописной копии, (ед. хр. № 15) с учетом не вошедших в нее исправлений первой копии (ед. хр. 14).

...у генерал-майора прусской службы... — Христиан Август Ангальт-Цербстский (1690—1747), князь Ангальт-Дорнбургский, князь Ангальт-Цербста, прусский генерал-фельдмаршал, отец Екатерины II.

*Иоганна-Елизавета Гольштейн-Готторпская* — дочь любекского князя Христиана Августа в замужестве Ангальт-Цербстская (1712—1760), мать Екатерины II.

...владетельного принца Ангальт-Цербстского княжества... — Имеется в виду Иоганн-Август (1677—1742), владетельный князь Ангальт-Цербстский, оба брака которого были бездетными, дядя Екатерины II.

...дочери Петра Великого... — имеется в виду Анна Петровна (1708—1728) — Цесаревна, старшая дочь Петра I и Екатерины I. Герцогиня Голштинская, мать Петра III.

*Ее родной брат...* — имеется в виду Карл Август Гольштейн-Готторпский, (1706—1727), принц Гольштейн-Готторпского дома, жених цесаревны Елизаветы Петровны, умерший в преддверии свадебной церемонии от оспы.

...за русским венценосцем... — имеется в виду царевич Алексей Петрович (1690—1718), старший сын Петра I и его первой жены Евдокии Лопухиной. Был женат на Софье-Шарлотте Брауншвейг-Вольфенбюттельской.

*Екатерина I Алексеевна (Марта Самуиловна Скавронская (Крузе) (1684—1727)* — российская императрица с 1721 как супруга царствующего императора, с 1725 как правящая государыня; вторая жена Петра I Великого, мать императрицы Елизаветы Петровны.

*П. И. Ягужинский* (1683—1736) — государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра I, первый в русской истории генерал-прокурор.

*А. Д. Меншиков* (1673—1729) — государственный и военный деятель, сподвижник и фаворит Петра I Великого, после его смерти — фактический правитель России (1725—1727). Первый член Верховного Тайного Совета, президент Военной коллегии, первый генерал-губернатор Санкт-Петербурга, при Петре II был лишен по обвинению в злоупотреблениях и казнокрадстве всех занимаемых должностей, наград, имущества, титулов и сослан со своей семьей в г. Березов.

*Елизавета Петровна* (1709—1761) — дочь Петра I, российская императрица с 1741 года после дворцового переворота и свержения императора-младенца Ивана VI Антоновича.

...*Маврутка Шепелева*... — Шепелева М. Е. (в дальнейшем графиня Шувалова) (1708 — 1759) — фрейлина, близкая подруга цесаревны Елизаветы Петровны.

*Карл-Петр-Ульрих* (1728 — 1762) — первый представитель Голштейн-Готторпской (Ольденбургской) ветви Романовых на русском престоле, сын Анны Петровны и герцога Карла-Фридриха-Голштейн-Готторпского, внук Петра I. В дальнейшем российский император Петр III.

*Анна Иоанновна* (1693 — 1740) — вторая дочь царя Ивана V и царицы Прасковьи Федоровны, герцогиня Курляндская, племянница Петра I, российская императрица с 1730 г.

*О. Брюммер* — воспитатель, затем гофмаршал двора голштинского принца Карла Петера Ульриха (будущего императора Петра III), прибыл в Россию в 1742 в свите своего воспитанника.

*Агольф-Фридрих* (1710 — 1771) — герцог Голштейн-Эйтинский, епископ Любекский в 1727 — 1750 гг. Опекун будущего императора Петра III.

*Анна Леопольдовна* (1718 — 1746) — правительница (регентша) Российской империи с 9 ноября 1740 по 25 ноября 1741 г. при своем сыне малолетнем императоре Иване VI, внучка Ивана V. Свергнута в 1741 году, умерла в ссылке.

*Ю. М. Мерген* (1719 — 1786) — баронесса, любимая фрейлин Анны Леопольдовны.

*Петр II* (1715 — 1730) — российский император, сменивший на престоле Екатерину I в возрасте одиннадцати лет. Сын царевича Алексея Петровича, умер в 14 лет от оспы.

*Ф. М. Апраксин* (1661 — 1728) — сподвижник Петра I, генерал-адмирал, первый президент Адмиралтейств-коллегии.

*Антон-Ульрих*, принц Брауншвейгский (1714 — 1774) — муж Анны Леопольдовны, отец Ивана VI Антоновича. В ноябре 1740 г. провозглашен генералиссимусом российских войск, после переворота 1741 г. сослан в Холмогоры вместе с супругой.

*А. И. Остерман* (1686 — 1747) — государственный деятель, дипломат, граф, один из сподвижников Петра I, фактически руководивший внешней политикой Российской империи в при Анне Иоанновне. После переворота 1741 года был сослан в Березов.

*Штарпгу Ж. И. Т.* (1705 — 1758) — французский дипломат и генерал, который в качестве французского посланника в России в 1739 — 42 гг. способствовал низвержению Анны Леопольдов-



ны и приходу к власти Елизаветы Петровны (см. дворцовый переворот 1741 года Интриговал против А. П. Бестужева-Рюмина, после перехвата курьера с бумагами выслан из страны).

*И. Г. Лесток* (1692—1767) — первый в России придворный лейб-медик, действительный тайный советник главный директор Медицинской канцелярии. В конце 1730-х и начале 1740-х гг. — доверенное лицо Елизаветы Петровны, организатор дворцового переворота 1741 года. Агент французского дипломатического влияния. После того как А. П. Бестужев-Рюмин перехватил его переписку с Шетарди, арестован, приговорен к смертной казни, помилован и сослан.

*К. Э. Левенгаупт*, граф-главнокомандующий шведской армией во время русско-шведской войны 1741—1743 гг. Казнен в 1743 г.

*...императором-младенцем...* — Иван VI (Иван Антонович) (1740—1764) — номинальный российский император с октября 1740 г. Император-младенец был свергнут Елизаветой Петровной, провел почти всю жизнь в заключении в тюрьмах в одиночных камерах и уже в царствование Екатерины II был убит охраной Шлиссербургской крепости в 23-летнем возрасте при попытке его освободить.

*Куртаг* — прием, приемный день в царском дворце.

*С. К. Нарышкин* (1710—1775) — генерал-аншеф, обер-егермейстер, посол России в Великобритании;

*А. Б. Бутурлин* — граф (1694—1767) — генерал-фельдмаршал (1756), денщик Петра I, фаворит императрицы Елизаветы Петровны.

*А. И. Шубин* (1707—1766) — офицер Семеновского полка. За участие в заговоре в пользу цесаревны Елизаветы сослан Анной Иоанновной в Сибирь. После переворота 1741 г. возвращен в Петербург, произведен в генерал-майоры, наделен деньгами и землями.

*А. Возжинский* придворный конюх, при Елизавете Петровне произведен в камергеры, жалован и получил значительные поместья.

*А. Г. Разумовский* (1709—1771) — сын украинского казака Г. Розума, днепровский казак, фаворит (по не подтвержденным документально сведениям, тайный супруг) императрицы Елизаветы Петровны. Первый хозяин Аничкова дворца, генерал-фельдмаршал Русской армии (1756). После переворота 1741 г. — камергер, генерал-поручик, граф (1744), генерал-фельдмаршал (1756).

*Б. К. Миних* (1683—1767) — военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1732), наиболее активный период деятельности которого пришелся на правление Анны Иоанновны: при ее правлении президент Военной коллегии. После воцарения Елизаветы Петровны сослан в Пелым, возвращен из ссылки Петром III в 1762 г.

*Э. И. Бирон* (1690—1772) — фаворит русской императрицы Анны Иоанновны, фактический глава ее правительства, регент Российской империи в октябре — ноябре 1740 года, герцог Курляндии и Семигалии с 1737. После дворцового переворота 9 ноября 1740 г. приговорен к смертной казни, замененной ссылкой 1740—1761. Помилован и возвращен в Петербург Петром III.

*М. И. Воронцов* (1714—1767) — государственный деятель и дипломат, которому обязан своим возвышением род Воронцовых. Один из ближайших приближенных Елизаветы Петровны и Петра III. В 1741 участник дворцового переворота и ареста правительницы Анны Леопольдовны. С 1744 вице-канцлер, в 1758—1765 канцлер Российской империи.

*Э. М. Нолькен* — шведский посланник в Петербурге с сентября 1738 г. по июль 1741 г.

*М. Г. Головкин* (1705—1775) — государственный деятель, русский дипломат, сын петровского канцлера, женатый на двоюродной сестре императрицы Анны Иоанновны. При Анне Иоанновне сенатор и заведующий денежным двором, при Анне Леопольдовне вице-канцлер. По воцарении Елизаветы Петровны сослан в Сибирь, где находился до конца жизни.

*С. В. Лолухин* (род. 1748) — генерал-лейтенант, кавалер ордена св. Александра Невского, действительный камергер, член Адмиралтейств-коллегии. При Елизавете Петровне сослан в Селенгинск.

*К.-Л. Менгген* барон (1706—1760) — президент коммерц-коллегии. Сослан Елизаветой Петровной в Кольский острог.

*Р.-Г. Левенвольде* барон, граф (1693—1758) — камергер. При восшествии на престол Елизаветы сослан в Соликамск.

*Я. А. Корф* (1710—1766) — генерал-аншеф, директор над полицией. Был женат на двоюродной сестре Елизаветы Петровны и выполнял ответственные поручения императрицы.

*А. Мардефельд* — барон, прусский посланник в Петербурге с июля 1728 г. по август 1746 г.

— *Как поживаете, Алемант!*.. — Цитата из 2 сцены II акта трагедии В. Шекспира «Тимон Афинский» (1608).

*А. П. Волюнский (1689—1740)* — российский государственный деятель и дипломат. В 1719 — 1730 годах астраханский и казанский губернатор. В 1722 г. упрочил свое положение браком с двоюродной сестрой Петра Великого. С 1738 года кабинет-министр императрицы Анны Иоанновны. Противник «биروقратии». В результате интриг Э. Бирона и А. И. Остермана обвинен в измене и казнен.

*Тестамент* — духовное завещание.

*Профос* — воинская должность в управлении вооруженными силами (ВС) (армия и флот), существовавшая для нижних чинов до XIX века, ведавший чистотой помещения, надзором за арестованными, приведением в исполнение приказов о телесном наказании.

*Георг Людвиг*, принц Голштейн-Готторпский, (1718 — 1763) — генерал прусской службы. В России генерал-фельдмаршал, полковник лейб-гвардии Конного полка. Родственник российских монархов: двоюродный дядя Петра III и родной (по матери) — Екатерины II.

*Фридрих II Великий (1712—1786)* — прусский король с 1740 г. король Пруссии с 1740 года. Яркий представитель просвещенного абсолютизма и один из основоположников прусско-германской государственности.

*К. Е. Сиверс*, граф (171 — 1774) — камер-юнкер, впоследствии обер-гофмаршал двора.

*Пифия* — прорицательница.

*В. В. Долгоруков* — русский военачальник из рода Долгоруковых, генерал-фельдмаршал, участник Северной войны 1700—1721 годов, член Верховного тайного совета, президент Военной коллегии, рижский вице-губернатор.

*П. П. Ласси (1678 — 1751)* — ирландец родом, в 1700 г. поступил на русскую службу и к 1736 г. дослужился до чина генерал-фельдмаршала, главнокомандующий в войне со Швецией (1741 — 1743 гг.).

*В. Ф. Салтыков (1675 — 1755)* — сын боярина Федора Петровича и младший брат царицы Прасковьи, жены Ивана Алексеевича. Императрица Анна Ивановна, племянница Салтыкова, пожаловала его генерал-майором и генерал-полицмейстером, в 1734 — генерал-адъютантом и позже генерал-аншефом. Он помогал Елизавете Петровне взойти на престол, а затем удался от двора.

*Генерал-прокурор...* — имеется в виду Н. Ю. Трубецкой, русский военный и государственный деятель. Почти все годы

царствования Елизаветы Петровны занимал должность генерал-прокурора, затем в течение 3 лет возглавлял Военную коллегию (в чине генерал-фельдмаршала).

*А. П. Бестужев-Рюмин*, граф (1693 – 1766) — русский государственный деятель и дипломат, канцлер Российской империи при Елизавете Петровне. Один из «кабинетных» фельдмаршалов. Обвиненный в поддержке великой княгини Екатерины Алексеевны, приговорен в 1758 г. к смертной казни, замененной ссылкой. После переворота 1761 г. восстановлен во всех званиях.

*Г. Бургов* (Бургаве-Каау) (1705 – 1753) — доктор медицины, с 1748 г. первый лейб-медик Елизаветы Петровны.

*Е. А. Карр* (в замужестве княгиня Голицына), *А. В. Салтыкова* (в замужестве княгиня Гагарина) — фрейлины императрицы Елизаветы.

*Жизненные капли избрал в Копенгагене...* — К записи статс-секретаря Екатерины II А. В. Храповицкого «Говорено о пользе Бестужевских капель» Г. И. Геннади сделал следующее примечание: «Известная Tincturanervini Bestusheffii, составленная бывшим при Копенгагенском дворе нашим Резидентом, графом Алексеем Петровичем Бестужевым» (Памятные записки А. В. Храповицкого статс-секретаря императрицы Екатерины Второй. Репринт, воспроизв. изд. 1862 г. М., 1990. С. 8). История «Бестужевских капель» такова: «Химик Лембке, работавший у Бестужева в Копенгагене, продал секрет, и капли стали продаваться под названием elixird'or, elixirde Lamotte. В 1748 г. изобретатель сам передал секрет академику Моделю; Модель в 1779 г. открыл тайну аптекарю Дуропу, а Дуроп, умирая, аптекарю Винтербергеру. При посредстве лейб-медика Роджерсона, Екатерина II купила у вдов Дуроп и Винтербергер секрет приготовления капель за 3000 руб. и обнародовала его».

*С. Тогорский* (1700(1) – 1754), в миру Симеон Федорович Теодорский; — епископ Русской церкви, архиепископ Псковский, Изборский и Нарвский. Богослов, переводчик и проповедник, законоучитель Петра III и Екатерины II.

*А. К. Воронцова*, графиня (урожденная Скавронская) (1698 – 1788), *М. А. Румянцева* (урожд. Матвеева) (1722 – 1775) — статс-дамы.

*В. Е. Агауров* (1709 – 1780) — российский ученый (математик и филолог-русист), педагог, учитель русского языка великой княгини Екатерины Алексеевны, адъютант и почетный

член Санкт-Петербургской академии наук. Впоследствии тайный советник, сенатор, куратор Московского университета.

*И. И. Бецкой* (Бецкий) (1704 — 1795) — общественный деятель, внебрачный сын фельдмаршала князя И. Ю. Трубецкого. В 1740-х годах камергер Петра Федоровича. Видный деятель русского Просвещения, личный секретарь императрицы Екатерины II (1762 — 1779), президент Императорской Академии искусств (1763 — 1795), инициатор создания Смольного института и Воспитательного дома.

*П. И. Шувалов* (1710 — 1762) — государственный деятель, граф, генерал-фельдмаршал. Автор проектов государственных, экономических и военных реформ. В 1750-х гг. фактически определял внутреннюю политику России.

*Реприманды* — выговоры.

*А. И. Ушаков*, граф (1672 — 1747) — генерал-аншеф, начальник розыскной канцелярии.

*Штакельберг* — лифляндец, поручик.

*«Братья Бестужевы, — писал... Кириль Уэйч, — достойны получать осязательные доказательства...»* — К. Уэйч (Вейч), баронет-английский посланник в Петербурге с 1742 по 1744 г. Однако не ему принадлежат слова о возможности обещать Бестужевым пенсию от английского правительства. Об этом писал К. Уэйчу статс-секретарь короля Георга II лорд Д. Картер: «Мне поручено передать вам те же предписания и относительно обоих Бестужевых, к которым король питает особое уважение, чему готов дать осязательные доказательства». (Сборник Русского исторического общества СПб., 1894. Т. 91. С. 492).

*...историю Наталии Лопухиной...* — Н. Ф. Лопухина (урожд. Балк-Полева) (1699 — 1763) — статс-дама, жена генерал-лейтенанта С. В. Лопухина, двоюродного брата первой жены Петра I. В результате дворцовых интриг она с мужем и сыном была обвинена в заговоре против Елизаветы Петровны. По приговору троих Лопухиных публично высекали и, урезав языки, сослали в Сибирь.

*Арсений* (Алексей Могилянский) (1704 — 1770) — проповедник двора Елизаветы Петровны. В 1744 — 1752 гг. архимандрит Сергиевской лавры и член Синода. С 1757 г. киевский митрополит.

*...дворяне, обучавшиеся в Сухаревой башне* — в башне помещалась Навигацкая школа.

*Х. Гольдбах* (1690 — 1764) — математик. В 1725 — 1740 гг. конференц-секретарь Петербургской Академии наук, в 1742 —

1764 г. работал в Коллегии иностранных дел. Дешифровал около 70 донесений Шетарди и ответов его адресатов.

*Сакрифис* — жертва.

*Тироули* — лорд, английский посланник в Петербурге.

*Аграф* — застежка, пряжка.

*Складень* — род ожерелья с камнями.

*Алексей Михайлович* (1629 — 1676) — второй русский царь из династии Романовых, сын Михаила Федоровича и его второй жены Евдокии, отец Петра I.

*Шпалеры* — шеренги военных по сторонам пути следования кого-либо; темляк-петля с кистью на рукоятке холодного оружия, надеваемая на руку.

*Г.-А. Гюлленборг* — граф, племянник шведского министра иностранных дел.

*Д. Кейт* (1696 — 1758) — генерал-аншеф, на русской службе с 1728 г. Уйдя в отставку в 1747 г., принял предложение Фридриха II вступить к нему на службу в чине фельдмаршала. С 1749 г. губернатор Берлина.

*А. Н. Демидов* (1678 — 1745) — уральский горнозаводчик, владелец более 20 железных и медных заводов.

*П. А. Девьер* (1710 — 1773) — граф, внук А. Д. Меншикова, паж Анны Петровны, которую сопровождал в Голлгтинуию. С 1737 г. снова в России. При Петре Федоровиче-камергер, генерал-аншеф.

*А. Г. Чернышев* — камер-лакей Петра Федоровича.

*Я. Вольф*, барон-английский посланник в Петербурге.

*Гиндфорг*, лорд-английский посланник в Петербурге.

*К.-В.-Ф. Финкеншейн* (1714 — 1800) — граф, дипломат, ближайший советник Фридриха II, во многом определявший внешнюю политику Пруссии. С 1746 г. прусский посланник в Петербурге.

*Аглавра или Агравла* — в буквальном переводе с греческого означает «полебородная».

*Брантом* (ок. 1535 — 1614) — французский придворный и писатель. Автор «Жизнеописаний знаменитых людей и полководцев», «Жизнеописаний знаменитых женщин», «Жизнеописаний галантных дам», а также обширных мемуаров.

*Перефикс* (1605 — 1570) — наставник Людовика XIV, архиепископ Парижский, составитель биографии Генриха IV.

*Барр* — каноник собора св. Женеьевы, автор 11-томной «Всеобщей истории Германии».

*А. И. Шувалов* (1710 — 1771) — генерал-фельдмаршал, в 1746 — 1763 гг. глава Тайной канцелярии.

*С. Ф. Апраксин*, граф (1702—1758) — генерал-фельдмаршал (1756). Командующий русской армией в Семилетнюю войну. За нерешительные действия был отстранен от должности, предан суду, умер во время следствия.

*Негоциация* — переговоры.

*И. И. Шувалов* (1727—1797) — государственный деятель. С 1749 г. камер-юнкер, фаворит Елизаветы Петровны. С 1760 г. Генерал-адъютант. Куратор Московского университета, создатель и первый президент Академии художеств (1757—1763 гг.).

*Тохтамыш* (ум. 1406) — хан Золотой Орды, в 1382 г. предпринял поход в русские земли, разорил Московский Кремль.

*В. Салтыков* (род. 1726) — камергер Петра Федоровича, посланник в Гамбурге, Париже и Дрездене, генерал-поручик, фаворит Екатерины Алексеевны. С 1754 г. за границей.

*Л. А. Нарышкин* (1733—1799) — обер-штальмейстер.

*...великая княгиня рождала сына* — Павел I (1754—1801) — сын Петра III Федоровича и Екатерины II Алексеевны, российский император с 1796 г.

*Клеврет* — приверженец.

*Ч. Г. Уильямс* (Вильямс) (1709—1759) — английский посланник в Петербурге с 1755 по 1757 г.

*Вольтижер* — искусный, ловкий прыгун, наездник.

*К. Г. Разумовский* (1728—1803) — государственный деятель, граф (1744), камергер, в 1746—1765 гг. президент Петербургской Академии наук. Активный участник переворота 1762 г., затем сенатор, генерал-фельдмаршал (1764), член Государственного Совета.

*С. А. Понятовский* (1732—1798) — польский аристократ, в 1757—1762 гг. польско-саксонский посол в России, фаворит великой княгини Екатерины Алексеевны. Последний польский король (1764—1795), избранный при поддержке Екатерины II и Фридриха II.

*Е. Р. Воронцова*, графиня («Романовна», в замуж. Полянская) (1739—1792) — сестра Ек. Р. Дашковой, фрейлина, затем камер-фрейлина, фаворитка Петра III.

*...из-за какого-то... «испанского наследства»* — война за Испанское наследство (1701—1714), в которой против Франции выступала коалиция государств, включающая и Австралию, началась после смерти последнего испанского короля из династии Габсбургов Карла II, не оставившего мужского потомства.

*А. М. Голицын* (1723—1807) — князь, дипломат, сенатор, обер-камергер.

*М. Я. Бестужев-Рюмин* (1688—1760) — дипломат, обер-гофмаршал, впоследствии императорский посол в Париже.

*Е. С. Куракина*, княгиня (рожд. Апраксина; 1735—1768) — жена Куракина Б. А. (1733—1764), генерал-поручика, гофмейстера.

*Г. И. Головкин*, граф (1660—1734) — государственный канцлер.

*Надир* (1688—1747) — шах Ирана (с 1736 г.). Прославился своей жестокостью и завоевательными войнами.

*Я. А. Румянцев* (Румянцев-Задунайский), граф (1725—1796) — русский полководец, генерал-фельдмаршал (1770).

*Д. В. Волков* (1718—1785) — государственный деятель. Ближайший помощник канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, секретарь Петра III, при Екатерине II президент Мануфактур-коллегии, оренбургский генерал-губернатор.

*В. В. Фермер* (1702—1771) — граф, генерал-аншеф (1755), главнокомандующий русской армией в 1757—1759 гг.

*В. В. Растрелли* (1700—1771) — сын обрусевшего итальянца Б. К. Растрелли, русский архитектор итальянского происхождения, академик архитектуры Императорской Академии художеств, придворный архитектор. Наиболее яркий представитель так называемого елизаветинского барокко.

*Бернарди* — ювелир великой княгини Екатерины Алексеевны.

*И. П. Елагин* (1725—1794) — писатель, адъютант А. Разумовского, впоследствии сенатор, статс-секретарь Екатерины II, директор придворного театра (1766—1777), член Российской академии (1783).

*А. И. Глебов* (1722—1790) — генерал-прокурор Сената (1761—1764 гг.), генерал-аншеф.

*А. В. Гудович* (1731—1808) — поручик, затем генерал-адъютант Петра III, впоследствии генерал-аншеф.

*Стамед* — вид шерстяной ткани.

*Л. О. Брейтель*, барон (род. 1733) — дипломат, с 1760 г. французский посланник в Петербурге.

*...оба Воронцова...* — Воронцов И. И. и Воронцов Р. И., граф (1707—1783), генерал-аншеф, сенатор.

*...оба Голицына...* — Голицын А. М. (1723—1807), вице-канцлер, вице-президент иностранных дел и Голицын А. М., князь (1718—1783) — камергер, сенатор, впоследствии генерал-фельдмаршал, петербургский генерал-губернатор.



*И. И. Неплюев* (1693—1773) — с 1760 г. сенатор и конференц-министр.

*А. Г. Жеребцов* (1711—1777) — камергер, сенатор (1760).

*И. И. Кастюрин* (1712—1787) — генерал-аншеф, обер-комендант в Петербурге, сенатор.

*П. С. Сумароков* (1709—1780) — русский государственный деятель, сенатор с 1761 г. В юности был камер-пажом при Екатерине I, а при бракосочетании Анны Петровны отчислен в ее свиту и некоторое время жил в Киле.

*И. В. Огоевский* (1710—1764) — князь, сенатор.

*Каппа* — род монашеского плаща с широкими рукавами.

*П. Б. Шереметев* (1713—1787) — генерал-аншеф, сенатор, с 1761 г. обер-камергер.

*А. С. Строганов*, граф (1733—1811) — камергер, сенатор, президент Академии художеств и директор Публичной библиотеки.

*Г. Г. Орлов* (1734—1783) — государственный и военный деятель, граф (1762), фаворит Екатерины II. Генерал-фельдцейхмейстер русской армии (1765—1775 гг.), с 1775 г. в отставке.

*А. Г. Орлов* (1737—1807) — военный деятель, граф (с 1762), генерал-аншеф (1769). Виднейший участник переворота 1762 г. После морской победы над турками при Чесме (1770) как главнокомандующий флотом получил титул Чесменского, с 1775 г. в отставке.

*Е. Р. Дашкова* (*урожденная Воронцова*) (1743—1810) — политическая и культурная деятельница, директор Петербургской Академии наук (1783—1796 гг.). Подруга и сподвижница будущей императрицы Екатерины II, активнейшая участница государственного переворота 1762 года. После восшествия на престол Екатерина II охладела к подруге и княгиня Дашкова не играла заметной роли в делах правления. Одна из заметных личностей Российского Просвещения, стоявшая у истоков Академии Российской. В ее мемуарах «Записки» содержатся ценные сведения о времени правления Петра III и о воцарении Екатерины II.

*Швермер* — фейерверочная ракета, оставляющая зигзагообразный огненный след.

*П. Б. Пассек* (1736—1804) — капитан Преображенского полка, участник переворота 1762 г., затем генерал-губернатор.

*А. И. Бибииков* (1729—1774) — государственный деятель, генерал-аншеф, сенатор.

*Ф. С. Барятинский*, князь (1742—1814) — поручик Преображенского полка, впоследствии обер-гофмаршал.

*Г. И. Ливен* (1732–1815) — генерал, с 1752 г. на русской службе.

*Г. А. Потемкин* (1739–1791) — русский государственный деятель, который руководил присоединением к Российской империи и первоначальным устройством Новороссии, где обладал колоссальными земельными наделами и основал ряд городов, включая современные областные центры. Возвысился как фаворит, а с 8 июня 1774, по неподтвержденным данным, морганатический супруг Екатерины II.

*Ф. Г. Волков* (1729–1763) — актер и театральный деятель, создатель первого постоянного русского театра.

*Н. Н. Энгельгардт* (1742–1791) — сержант гвардии.

*А. Шванович* — артиллерист, бывший лейб-компанец. Его называют в числе участников убийства Петра III.

Рассказ «Пирогов у Гарибальди» публикуется по машинописи, хранящейся в РГАЛИ (ф. 2269, оп. 1, ед. хр. 20) с исправлениями автора. Написан рассказ в 1940-е гг. Точной даты не известно: на документах в РГАЛИ отметка о годе написания так и значится — 1940-е гг.

В одном из писем к жене от 1952 года Мариенгоф рассказывает о своих попытках пристроить рассказ: «Побывал и в "Новом мире", где был отлично принят. Журнал практически делает Тарасенков: он сумасшедший коллекционер. Собирает поэтов XX века, двух моих книжек не имеет, ну и всячески просит выручить его. Одну я могу дать ("Пять баллад"). Оставил Тарасенкову "Пирогова" и "Кукушку". Если дело выгорит, будет что-то вроде чуда, так как ни маленьких пьес, ни исторической прозы они не печатают и не печатали». Дело не выгорело: ни рассказ, ни пьеса опубликованы не были.

Если еще говорить о предпосылках написания этого рассказа, то необходимо сказать о фильме «Пирогов» (1947). Возможно, что рассказ написан после просмотра фильма. Возможно обратное: например, изначально был не рассказ, а сценарий к фильму — если внимательно прочитать текст, то можно заметить определенные синтаксические конструкции, используемые Мариенгофом при написании сценариев и драматических произведений: короткие предложения, мимолетные метафоры, не заостряющие на себе внимание, и т. д.

Необходимо также сказать, что это единственный на данный момент опыт Мариенгофа в короткой прозаической фор-

ме. Возможно, что были и иные попытки, но в силу ряда причин (при эвакуации в Киров Мариенгоф потерял весомую часть домашних архивов) мы о них ничего не можем сказать.

Комментарии к рассказу — О. Демидова.

*Н. И. Пирогов* (1810 — 1881) — хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник военно-полевой хирургии, основатель анестезии. Член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии наук.

*Дж. Гарibaldi* (1807 — 1882) — народный герой Италии, военный вождь Рисорджименто; автор мемуаров.

*Гайдельберг* (Хайдельберг, Гейдельберг) — город в Германии, на северо-западе земли Баден-Вюртемберг. Известен как один из крупнейших научных центров Германии: здесь находится большое число научных институтов, преимущественно биологической направленности. Здесь также находится Гейдельбергский университет, основанный в 1386 году, который является старейшим университетом на территории современной Германии.

*Слава Богу, что из России его государь выгнал.* — Н. И. Пирогов впал в немилость к Александру II. Сначала он был отправлен в Одессу на должность попечителя Одесского и Киевского учебных округов. Там Н. И. Пирогов пытался заняться реформами в системе образования, но все эти попытки привели к конфликту с местными властями, и ученому пришлось оставить свой пост. Позже его «сослали» как руководителя над обучающимися за границей кандидатами в профессора. Н. И. Пирогов выбрал своей резиденцией Гайдельберг, куда прибыл в мае 1862.

*Плевелы* — так обозначаются все сорные травы. Так же см. «Евангелие от Матфея»: «Поле есть мир: доброе семя — это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого».

*...студенческие цепочки — малиновые, голубые, оранжевые и ярко-зеленые.* — По цвету можно было определить принадлежность студентов: белый цвет выделял гуманитариев и людей искусства, золотой — экономистов, голубой — живописцев и преподавателей, коричневый — архитекторов, зеленый — медиков, синий — юристов и т. д.

*А. Н. Модзалевский* (1837 — 1896) — педагог, директор училища глухонемых; отец историка литературы и пушкиниста Б. Л. Модзалевского и генеалога В. Л. Модзалевского. Окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-

верситета (1859). После учебы был командирован за границу (1862), где вместе с Н. И. Пироговым изучал педагогическое дело.

*...портрет Гарибальди в красной шерстяной рубашке и с клетчатым платком, завязанном на груди морским узлом.* — Есть несколько портретов со схожим описанием, но следует сказать о другом: в XIX веке Гарибальди был настолько популярен в Европе, что даже в женскую моду вошли жакеты, шапочки и рубашки — «гарибальдийки». Сначала, правда, одежда стала униформой повстанцев из его отряда, а уже потом перешла к «гражданским».

*Виктор Эммануил II* (1820 — 1878) — король Сардинского королевства (Пьемонта) с 1849 года; первый король единой Италии нового времени с 1861 года.

*Наполеон III* — Шарль Луи Наполеон Бонапарт (1808 — 1873) — первый президент Французской республики с 20 декабря 1848 по 1 декабря 1852, император французов с 1 декабря 1852 по 4 сентября 1870.

*Италию тогда топтали солдаты...* — В 1858 году Наполеон III обязался объявить Австрии войну и уступить Италии Пьемонт, Ломбардию и Венецию взамен Ниццы и Савойи. Война быстро закончилась подписанием Виллафранкского мира: Ломбардия досталась Виктору-Эммануилу II, Венеция — Австрии, остальная Италия должна была составить федерацию под председательством папы римского — Пия IX. Постановления Виллафранкского мира вызвали протест во всей Италии. Пий IX на уступки не пошел. Тоскана, Модена, Романья и Парма не захотели принять своих герцогов и избрали главой своего союза Дж. Гарибальди, поручив ему присоединиться к Пьемонту. Наполеон, оставив за собой Савойю и Ниццу, был не против такой рокировки — и тогда Виктор-Эммануил II народным голосованием был признан королем этих провинций (1860). При этом на одном из первых же заседаний парламента Рим и был назван «столицей Италии», против чего был категорически настроен Наполеон III. Город был занят французскими войсками. Тогда Виктор-Эммануил II решил дипломатическим путем добиться вывода из Рима французской армии. После долгих раздумий Наполеон III согласился вывести войска в течение 2 лет, но при условии, что Рим никогда не будет столицей Италии и у папы римского останется собственное войско.

*Палловчини* — Паллавичини ди Приола Эмилио (1824 — ?) — маркиз, итальянский генерал; по окончании военной академии

в Турине поступил в сардинскую армию, принимал участи в войне 1848—1849 г., крымской кампании, войне 1859 г. В 1862 г. командовал правительственными войсками против Гарибальди, разбил и взял в плен последнего в битве при Аспромонте.

*Аспромонте* — горный массив на юге итальянского полуострова Калабрия.

*«Я обещаю вам голод, жажду, холод и зной...»* — полностью цитата выглядит так: «Солдаты! Тем из вас, кто хочет следовать за мной, я предлагаю голод, холод и зной; никаких вознаграждений, отсутствие казарм и запасов, но форсированные марши и штыковые атаки. Словом, кто любит Родину и славу, пусть идет со мной!»

*Пирогов работал тогда над книгой о военно-полевой хирургии.* — Имеется в виду книга «Начала общей военно-полевой хирургии, взятые из наблюдений военно-госпитальной практики и воспоминаний о Крымской войне и Кавказской экспедиции» в двух частях, изданная в Дрездене в 1865—1866 гг. В Москве была издана только в 1941 году.

*Менотти Гарибальди (1840—1903)* — итальянский политический и военный деятель, участник национально-освободительного движения итальянского народа против иноземного господства и за объединение раздробленной Италии.

*А. И. Герцен (1812—1870)* — революционер, публицист, писатель, философ. Во время эмиграции он вращался в кругах радикальной европейской эмиграции, собравшейся в Швейцарии после поражения революции в Европе. Именно там и произошло знакомство с Джузеппе Гарибальди.

*«И последний мой вздох отдать за отечество. Вот мое право...»* — Следует также привести схожий пример о «последнем вздохе» из сравнительного очерка «Джузеппе Гарибальди. Его жизнь и роль в объединении Италии», написанного А. И. Цомакион в 1892 году: «Для нашей несчастной страны оставался еще луч надежды, — говорит он в своих мемуарах, описывая, под каким впечатлением он оставил маленький трактир в Таганроге. — Христофор Колумб — я объявляю это публично — не был счастливее, когда, заблудившись в Атлантическом океане, не зная, куда направить путь, осыпаясь угрозами своих спутников, у которых он просил еще три дня иметь терпение, услышал в конце третьих суток столь радостное для него восклицание: "Земля!" — Он не был, говорю я, счастливее меня, когда я услышал крик "отечество!". Следовательно, были люди, которые думали об освобождении Италии!». Гарибальди тогда поклялся умереть за отечество.

*Ричард Патридж* — хирург королевского госпиталя, профессор при королевском анатомическом колледжуме и член главного королевского совета хирургов в Англии.

*Нелатон* — (1807 — 1873) — французский хирург, член медицинской академии; ученик Дюпюитрена, степень доктора медицины получил в Париже в 1830 г.; профессор клинической хирургии и директор клиники с 1851 г. В 1856 г. избран в Парижскую медицинскую академию по отделению хирургической патологии. Нелатон пользовался репутацией хорошего профессора и практика. Нелатон ввел операции для непосредственного извлечения камней мочевого пузыря помимо всех приемов литотрипсии. Ввел в употребление зонд с фарфоровой пуговкой для отыскания пуль (Нелатоновский) и мягкий катетер.

*Петрарка* (1304 — 1374) — итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского Проторенессанса. Больше известен своими сонетами к Лауре.

*«Операционный нож — смычок в руке хирурга».* Это была крылатая фраза Нелатона. — На самом деле эту фразу приписывают другому специалисту — немецкому хирургу Лангенбеку. Об это пишет сам Н. И. Пирогов в «Анналах дерптской клиники». «"Нож должен быть смычком в руке настоящего хирурга", — говаривал Лангенбек <...> Лангенбек, — замечает Пирогов, — научил меня не держать нож полною рукой, кулаком, не давить на него, а тянуть, как смычок, по разрезаваемой ткани. И я строго соблюдал это правило во все время моей хирургической практики везде, где можно было это сделать».

*«Нож хирурга должен быть умным».* — Н. И. Пирогов не уставал ругать западных хирургов, которые без анатомических познаний, на ощупь делали сложнейшие операции. Русский ученый так ругал западных коллег: «ученые, которые не хотят убедиться в пользе хирургической анатомии», «знаменитые профессора» в «просвещенной Германии», «которые с кафедры говорят о бесполезности анатомических знаний для хирурга», профессора, чей «способ отыскивания того или другого артериального ствола сводится исключительно на осязание: "следует ощупать биение артерии и перевязывать все то, откуда брызжет кровь" — вот их учение!»

*Размером с двугривенный* — двугривенный — русская разменная монета достоинством в 20 копеек. Чеканилась из серебра с 1760 года, с 1931 года — из никеля, с 1961 года — из мельхиора, с 1991 года перестала чеканиться вовсе.

*Берсаглиерская (сардинская) пуля* — т. е. полученная от австрийцев или французов в войне 1859 года.

*Карабинер* — На западе Европы, а так же и в Российской империи до середины XIX века — это солдат-стрелок, вооруженный карабином. В контексте рассказа — это жандарм.

*Калабрийская шляпа* — остроконечный головной убор с широкими, мягкими полями.

*Сура* — река, правый приток Волги. Протекает по Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областям, Мордовии, Марий Эл и Чувашии.

*...и гипсовую повязку только от нас узнали... <...> и операции под наркозом после нас делать стали.* — Пирогов впервые в истории мировой медицины применил гипсовую повязку, дав начало сберегательной тактике лечения ранений конечностей и избавив многих солдат и офицеров от ампутации. Также Пирогов впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего великий хирург провел около 10 тыс. операций под эфирным наркозом.

*«Что он Гекубе, что Гекуба ему?»* — или «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?» — крылатая фраза из шекспировского «Гамлета», так любимого Мариенгофом. Эти слова произносит принц датский по поводу мастерства актера, только что прочитавшего отрывок из монолога Энея, описывающий страдания Гекубы, жены убитого троянского царя Приама. Иносказательно фраза используется как в отношении человека, безразличного к чему-либо или кому-либо, так и по отношению к тому, кто вмешивается в не касающееся его дело.

*Москва, Кривоярославский переулок* — Ныне Мельницкий переулок; на доме № 12 (вл.12, стр.1) находится поставленная еще до октябрьской революции мемориальная доска: «Здесь родился Николай Иванович Пирогов 13 ноября 1810 г.». Но это не совсем так, здание уже как минимум третье по счету на этом месте со времени памятного события.

*Лорд Пальмерстон* — Генри Джон Темпл, лорд Палмерстон (1784 — 1865) — английский государственный деятель, долгие годы руководил обороной, затем внешней политикой государства, а в 1855 — 1865 (с небольшим перерывом) был премьер-министром.

*Потчевал лукулловским ужином.* — Лукулл Луций Лициний (около 117 — около 56 до н. э.) — римский полководец и политический деятель. Лукуллов пир — изобильный и изысканный

стол с множеством блюд. Писатель Варрон свидетельствует: «Повара богачей жарили павлинов с острова Самос, рябчиков из Азии, журавлей из Греции. Закусывали устрицами из Южной Италии, на сладкое подавали египетские финики». О Лукулле есть упоминания и в письме Мариенгофа к жене от 20 февраля 1950 года: «А блины наши прошли роскошно — лукуллоски. (Ты наверное слышала о таком древнем обжоре). Ели, ели, ели, ели — и с трудом съели 1/4 того, что поставили на свой овальный стол Барты».

*О ваших письмах из Севастополя...* — Письма были опубликованы: «Севастопольские письма и воспоминания». В одном из них находим следующее: «Стол был человек на двадцать; гости были: бригадный генерал, полковой поп, дивизионный квартирмейстер, дивизионный провиантмейстер, два штаб-лекаря, мы втроем и несколько штаб- и обер-офицеров. Начался обед, да еще какой! Было и заливное, и кулебяка, и дичь с трюфелями, и желе, и паштеты, и шампанское. Знай наших, а еще жалуемся на продовольствие, говорим, что у нас сухари заплесневели. Кабы французы и англичане посмотрели на такой обед, так уже бы верно ушли, потеряв надежду овладеть Севастополем».

Что касается сюжета, то в той же книге «Начала общей военно-полевой хирургии» можно прочесть описание самого Н. И. Пирогова относительно споров трех хирургов (с. 140 — 141): «Общее состояние, за исключением периодических ревматических болей (к которым раненый был всегда расположен), весьма удовлетворительное. Из анамнеза я узнал, что выстрел был сделан в расстоянии 300 шагов конической сардинскою (берсаглиерскою) пулею — снизу вверх. Небольшой разрез, сделанный тотчас после повреждения (по приказанию самого раненого) на наружной стороне ноги не открыл ничего. Припадки давления и раздражения показывались несколько раз, были значительны и осложнены ревматическими болями всей конечности. Из раны извлекались или сами выходили небольшие кусочки обуви, губчатой ткани кости помертвелой фасции. Зондирование и исследование пальцем, сделанное только однажды д-ром Порты, не привели ни к какому результату. Нелатон, исследовав рану за 3 дня до меня, нашел, что «зонд в расстоянии 2 1/2 сантиметров от наружной раны попал на что-то твердое, давшее при постукивании не такой тон, как обыкновенная кость...» «Я думаю, — сказал он в своем бюлле-



тене, — что пуля содержится в кости, и основываюсь на анамнезе и на особом ощущении при зондировании». Сверх того он, задав себе вопрос: «нужно ли решиться на ампутацию?», отвечал на него, что решится на это, только когда жизнь больного будет в опасности от нагноения, болей и пр. От введения пальца в рану д-ром Порто Гарибальди почувствовал такую сильную боль, что попытка прощупать пулю и тут не удалась. Хирурги, отвергавшие прежде присутствие пули, начали колебаться в своем мнении; только д-р Патридж, прибывший в Специю вместе со мною, оставался еще при прежнем своем мнении. — Меня спросили, хочу ли я зондировать. Я отвечал: нет, и написал тут же следующий бюллетень, основываясь на одном наружном исследовании: «Пуля в кости и лежит ближе к наружному мышцелку». Когда д-р Патридж, которого мое исследование поколебало, не хотел подписать этого бюллетеня только потому, что я составил его слишком самоуверенно, то я прибавил: «Насколько можно судить по наружному исследованию». Я советовал не спешить с извлечением пули, ждать, пока покажутся другие явления, которые я определил в особом наставлении для Гарибальди; главное же, я вынес раненого из тесной комнаты в залу и настаивал на перемене сырого климата Специи на сухой. Доказательством, что все зондирования раны никого окончательно не убедили в присутствии пули, служит изобретенный Нелатоном ad hoc зонд с фарфоровою пуговкою, который он нарочно прислал из Парижа в Италию. Частички свинца, вынесенные из раны этим инструментом, подвергались химическому анализу, употребляли для этого и гальванизм, и тому подобные процедуры. Наконец, через 26 дней после предварительного (постепенного) расширения раны была легко извлечена сплюснутая пуля. Прав ли я был, сделал диагноз о присутствии пули без исследования раны? Хорош ли был мой совет — не спешить с извлечением? Для чего я советовал дожидаться, пока припадки покажут время извлечения? Вот вопросы, решение которых разъяснит то, чем я руководствуюсь всегда в подобных случаях. Начну с диагноза. При присутствии посторонних тел в свежей и гноящейся ране он может быть ручной, инструментальный и логический».

**«Роман без вранья»** публикуется по изданию 1988 года (Л.: Художественная литература), которое подготовил Б. В. Аверин.

Невозможно не упомянуть один интересный эпизод. Лариса Строжакова в своей книге «Мой роман с друзьями Есенина» описывает такой эпизод: «Я ждала ее [А. Б. Никритину. — О.Д.] <...> Она рассказывала много. И что хотела. Как они с Анатолием Борисовичем, оставшись без денег после войны, придумали трюк. Мариенгоф переписал на старой бумаге «Роман без вранья» и продал в музей как черновик двадцать шестого года».

Публикуется по экземпляру издания 1927 г. с учетом позднейшей авторской правки (ЦГАЛИ, ф. 2269, оп. 1, ед. хр. 8). Надписи на обороте обложки свидетельствуют о том, что Мариенгоф готовил «Роман» к переизданию; таким образом публикуемый текст должен отражать последнюю авторскую волю.

*...питая особую склонность к «Скорпиону», «Мусажету»... — «Скорпион», «Мусажет» — названия московских издательств, объединявших вокруг себя литераторов символистского направления. «Скорпион», издательство русских символистов, основанное в 1899 году меценатом С. А. Поляковым, поэтами В. Брюсовым и Ю. Балтрушайтисом, название которому предложил К. Бальмонт. Финансовую поддержку издательству оказывали также купеческие семьи Морозовых и Филипповых. принадлежавший Существовало в 1900 — 1916 гг.; руководящую роль в издательстве играл В. Я. Брюсов. «Мусажет» издавал русские и переводные книги, в основном стихи поэтов-символистов и критику философского и религиозно-мистического профиля. «Мусажетом» руководили Э. К. Метнер и Андрей Белый. Книги обоих издательств отличались изысканностью, изяществом и высоким качеством.*

*...одному своему гимназическому товарищу Молабуху... — Под именем Михаила Молабуха (Почем-Соль) выведен близкий приятель Мариенгофа и Есенина Г. Р. Колобов, заведующий Трампом (Транспортно-материальным отделом ВСНХ). Псевдоним «Молабух», по свидетельству М. Ройзмана, принадлежит самому Колобову, который так расписался на стене Страстного монастыря вместе с другими имажинистами. Есть сведения, что Колобов пробовал силы в литературе; в библиографии имажинизма, приложенной к изданию драматической поэмы Мариенгофа «Заговор дураков» (1922), обозначена как готовящаяся к печати книжка Колобова под названием «Хлебово», повидимому не вышедшая в свет.*

*«...могу я пройти к заведующему издательством Константину Степановичу Еремееву?»* — Еремеев К. С. (1874 — 1931) — российский революционер, советский военный деятель, журналист, партийный работник. Командовал отрядом революционных войск, бравших в 1917 г. Зимний дворец. Активно работал в области издательского и редакторского дела, в конце жизни редактировал журнал «Красная нива».

*«Из всех петербуржцев только люблю Разумника Васильевича...»* — Иванов Р. В. (Иванов-Разумник; 1878 — 1946), русский и советский литературовед, литературный критик, социолог, писатель, историк, философ. Был близок к партии эсеров, заведовал литературным отделом их газеты «Знамя труда», а после ее закрытия 7 июля 1918 г. работал в журнале «Знамя» той же ориентации. В журнале печатались А. А. Блок, Андрей Белый, С. А. Есенин, О. Э. Мандельштам. Поскольку до начала 1918 г. левые эсеры входили в коалицию с большевиками, участие в их печатных органах воспринималось в писательских кругах того времени как доказательство сотрудничества с Советской властью.

*«...гаром, что Нимфа его (так прозывали в Петербурге жену Городецкого) самовар заставляла меня ставить...»* — Нимфа — Городецкая Анна Алексеевна, урожденная Козельская (1889[?] — 1945), в начале 1910-х гг. печатала стихи и рассказы под псевдонимом Бел-Конь-Любомирская.

*...актеры фореггеровского театра «Московский балаган»...* — Фореггер Николай Михайлович (1892-1939) — режиссер и балетмейстер, основатель театральной мастерской «Мастфор», в постановках которой использовались клоунада, акробатика, эксцентрика, шумовой оркестр; сценическое действие сочеталось с пением, танцами, пародией, пантомимой.

*Австрийский министр иностранных дел Оттокар Чернин передает в своих остроумных мемуарах разговор с Иоффе в Брест-Литовске...* — Имеется в виду книга О. Чернина «В дни мировой войны». Иоффе Адольф Абрамович (1883 — 1927) — государственный и партийный деятель, дипломат. В 1918 г. председатель, затем член советской делегации по мирным переговорам с Германией.

*...дипломат императора Карла...* — имеется в виду Карл I (1887 — 1922) — император Австрии и король Венгрии (1916 — 1918) после смерти в 1916 г. императора Франца-Иосифа.

*После одной из бесед об имажинизме, когда Пимен Карпов шипел, как серная спичка, зажженная о подошву, а Петр*

*Орешин не пожалел ни «родителей», ни «душу», ни «бога»...* — Карпов Пимен Иванович (1884 или 1887 — 1963) — писатель-самоучка, бывший батрак, чернорабочий. Печатался с 1906 г. Автор автобиографических повестей «Верхом на солнце» (1933) и «Из глубины» (1956).

*Орешин Петр Васильевич* (1887 — 1938) — поэт, один из инициаторов создания секции крестьянских писателей при Московском Пролеткульте. В 1925 г. был избран членом правления Всероссийского Союза поэтов. В 1926 — 1927 гг. написал несколько статей и воспоминаний о Есенине. Незаконно репрессирован.

*...знаменитого когда-то и единственного в своем роде «Кафе поэтов»* — Кафе-клуб Всероссийского Союза поэтов (СОПО) с января 1919 по 1925 г. помещалось на Тверской, 18, на месте бывшего кафе «Домино», хозяин которого эмигрировал. Иногда «Кафе поэтов» называли по старой памяти «Домино».

*...о «Черном лебедь» Рябушинского...* — «Черный лебедь» — вилла миллионера-мецената Н. П. Рябушинского, выстроенная в Петровском парке в Москве, где он, как вспоминал М. Д. Бахрушин, «задавал фантастические приемы золотой молодежи».

*Олег Леонидов* — псевдоним Шиманского Олега Леонидовича, поэта и прозаика, драматурга и сценариста, председателя общества «Литературный особняк». В 1918 г. заведовал редакцией развлекательного журнала «Свободный час», где, кроме него, печатались О. Городецкий, В. Шершеневич, Мих. Гальперин, Д. Цензор, Д. Ратгауз, А. А. Вербицкая, Л. Никулин, Ю. Слезкин.

*Пустил нас на квартиру Карп Карлович Коротков...* — Коротков Карп Егорович (а не Карпович), родился в 1879 г., один из основателей и учредителей Всероссийского Союза писателей. Писал также под псевдонимом «Александр Рокотов». Много работал в различных литературных и литературно-общественных организациях. Им было открыто в 1917 г. одно из первых в Москве литературных кафе «Живые альманахи» (впоследствии переименованное в «Музыкальную табакерку»).

*...цилиндр и делосовское широкое пальто...* — По воспоминаниям современников, Мариенгоф, как и другие имажинисты имел любовь к дорогой и качественной одежде, всегда одевался со вкусом. Внешний вид играет для него важную роль. Даже в самые непростые годы он носил костюмы, шитые у лучшего в городе портного, шубы, дорожную обувь.

*Автор «Магдалины»?..* — Поэма Мариенгофа с посвящением С. Есенину появилась в 1919 г. в газете «Советская страна» и почти одновременно вышла в издательстве «Имажинисты». Стихами из «Магдалины» и другими «богоборческими» произведениями расписали имажинисты ночью 28 мая 1919 г. (по другим сведениям — в конце мая 1920 г. или же во второй половине июня 1921 г.) стены Страстного монастыря.

*Он доканчивал книгу «Воллощение»...* — Книга А. М. Авраамова (псевдоним Реварсавр, 1886-1943) «Воллощение. Есенин — Мариенгоф» вышла в издательстве «Имажинисты» в 1921 г.

*Дом Нирнзее* — десятиэтажный дом в Большом Гнездиновском переулке, построенный в 1912 г. и считавшийся тогда самым высоким жилым зданием Москвы. Э. К. Нирнзее.

*Во время отступления из-под Риги со своим баннным отрядом...* — Г. Р. Колобов с мая 1916 г. служил заведующим транспортом Земгора (Главного по снабжению армии комитета Всероссийского земского и городского союзов) на Северном фронте. Среди подразделений Земгора, обслуживавших и снабжавших действующую армию, были и банно-прачечные отряды, занимавшиеся стиркой, дезинфекцией и починкой обмундирования.

*Чай мы пили из самовара, вскипевшего на Николае угольнике...* — И. И. Старцев, гимназический товарищ Мариенгофа, который присутствовал при этом эпизоде, связывает его с празднованием именин Есенина, следовательно, относит не к зиме, а к осени 1919 г.

*«Обидно, госадно...»* — романс Кусикова на музыку его шурина композитора Владимира Романовича Бакалейникова (1885 — 1953; с 1927 г. жил в США).

*Он бежал из своего номера... потом стучал в дверь устиновской комнаты, умоляя впустить его* — Е. А. и Г. Ф. Устиновы жили в «Англетере» в номере 130. Георгий Устинов в 1919 г. редактировал газету «Советская страна», где печатались Есенин и имажинисты.

*...опустил ее на голову Ивана Приблудного — своего, верного Лепорелло* — Иван Приблудный — псевдоним Овчаренко Якова Петровича (1905 — 1937), поэта, родившегося в крестьянской семье, бывшего беспризорника. Приблудный был учеником и подражателем Есенина, который одно время ему покровительствовал. Незаконно репрессирован.

*Этой же ночью Шварц застрелился* — Как сообщила М. Ройзману Н. Л. Манухина (вдова поэта Г. А. Шенгели), от-

рицательные отзывы Есенина и Мариенгофа не произвели на автора «Евангелия от Иуды» особенного впечатления. Н. Л. Шварц не застрелился, а умер около месяца спустя после описанного эпизода от отравления кокаином, «которым в последнее время злоупотреблял».

*...стихами Крученыха...* — футуриста Крученых Алексея Елисеевича (1886 — 1968), одного из создателей и теоретиков так называемой «зауми» («заумного языка»). Цитируются строки из поэмы Крученых «Пустынники» (в последней строке правильно: «Вьетса, кружится дружок»). Известно, что к творчеству Крученых Есенин относился несерьезно. После смерти Есенина Крученых претендовал на роль борца с «есенинщиной», издав несколько малотиражных и литографированных брошюр: «Черная тайна Есенина», «Лики Есенина. От херувима до хулигана», «Гибель Есенина. Как поэт пришел к самоубийству», «Есенин и Москва кабацкая», «Проделки есенистов» и другие. Маяковский в статье «Как делать стихи?» назвал эту «продукцию», как именовал Крученых свои издания, «дурно пахнущими книжонками Крученых, который обучает Есенина политграмоте, так, как будто сам Крученых всю жизнь провел на каторге»

*...его соседом по камере был максималист...* — Эсеры-максималисты — течение, отколовшееся в 1904 г. от партии социалистов-революционеров и оформившееся в октябре 1906 г. в самостоятельную партию. Практиковали экспроприации и непрерывный террор против самодержавной власти. После Октябрьской революции имели свое представительство во ВЦИК, в апреле 1920 г. вошли в состав РКП (б).

*...заградительный проговольственный отряд... все отобрал* — В период военного коммунизма, когда была запрещена торговля, въезд в города охраняли специальные заградотряды, которые конфисковывали продукты у крестьян, пытавшихся провезти их в город для продажи или обмена.

*...Григорий Александрович — коненковский дворник, коненковская нянька и верный друг* — С. Т. Коненков так писал об этом человеке в своих воспоминаниях: «Он навсегда запечатлелся в моем сердце, как один из самых умных, проницательных и сильных людей, с которыми мне пришлось встретиться <...>. Понятия «народ», «русский народ», «народная мудрость», мне казалось, в какой-то степени реализовались в портрете Григория Александровича Карасева».

*...пройдет по торцам Невского молодецким маршем...* — До второй половины 1920-х гг. на Невском проспекте и в других

местах царских проездов существовала торцовая мостовая (из деревянных шашек на деревянном настиле, скрепленных железными скрепами и пропитанных составом от гниения), впоследствии замененная асфальтовой.

*Керенский не вполне угодил господам офицерам* — Этот эпизод также заимствован Мариенгофом из воспоминаний П. Н. Краснова.

*В Одесском Совете депутатов Муравьев говорит...* — Муравьев Михаил Артемьевич (1880 — 1918) — левый эсер, в начале 1918 г. командовал красногвардейскими отрядами, направленными на борьбу против Украинской Центральной рады, а затем Румынии. Муравьев был убит 11 июля 1918 г. при вооруженном сопротивлении аресту во время подавления поднятого им в Симбирске левозсеровского мятежа.

*Ордер на наше освобождение был подписан на третий день* — Бывший заведующий секретно-оперативным отделом ВЧК Т. Самсонов в 1929 г. поместил в журнале «Огонек» статью под названием «Роман без вранья» + «Зойкина квартира». Намекая на пьесу М. А. Булгакова, к тому времени уже снятую с репертуара, Самсонов писал: «Мариенгоф нарочито затушевывает и скрывает от читателя сущность описываемых им событий, выставляя положение в смешном и комическом виде <...>. «Зойкина квартира» существовала в действительности. Есенин, Мариенгоф и другие герои «Романа без вранья» знали это. У Никитских ворот, в большом красного кирпича доме, на седьмом этаже они посещали квартиру небезызвестной по тому времени содержательницы популярного среди преступного мира, литературной богемы, спекулянтов, растратчиков и контрреволюционеров «салона для интимных встреч» Зои Шатовой...»

*Очень страшно, если он возьмет Вещь в жены...* — Речь идет о Л. Эрн, будущей жене Г. Р. Колобова.

*Балашовский особняк* — дом эмигрировавшей после революции балерины А. М. Балашовой (Пречистенка, 20), который был предоставлен Советским правительством Дункан для организации в Москве ее школы-студии свободного танца (открылась 3 декабря 1921 г.).

*На столике перед кроватью большой портрет Гордона Крэга* — Крэг (Крейг) Генри Эдуард Гордон (1872 — 1966), английский режиссер, художник, теоретик и реформатор театра. Творчество Крэга, идейно связанное с, символизмом, утверждало условный символистский театр.

*А наш друг Саша Сахаров, завзятый частушечник...* — Сахаров Александр Михайлович (1894 — 1952), издательский работник, приятель Есенина. Нередко поэта можно было видеть с его закадычным другом полиграфистом Александром Михайловичем Сахаровым, который одно время занимал в Москве ответственный пост председателя Полиграфической коллегии ВСНХ. Сахаров очень уважал книжников-букинистов, был близок к ним, как страстный книголюб.

*В одном из лесковских романов приживалка князей Протозановых Ольга Феготовна...* — отсылка к роману Н. С. Лескова «Захудалый род. Семейная хроника князей Протозановых».

*Не чуждо нам было и гениальное мракобесие Василия Васильевича Розанова...* — По свидетельству И. В. Грузинова, Есенин познакомился с Розановым во время своего первого приезда в Петербург. Розанову нравились его стихи.

*...в каком-то богемном кабаке на Никитской* — не то «Бродячая собака», не то «Странствующий энтузиаст» — Ошибка Мариенгофа: «Подвал Бродячей собаки», открытый Б. К. Прониным, находился в Петербурге, на Михайловской площади, и существовал до 1915 г. Впоследствии Пронин завел еще несколько кафе подобного типа, среди которых был и «Странствующий энтузиаст», открытый в ночь на новый, 1923 год в Москве, но не на Никитской улице, а на Молчановке.

*...показывал червонцы, а рвал белую бумагу...* — Червонцы, сменившие в 1922 г. так называемые «совзнаки», были белого цвета. Сравни в «Мастере и Маргарите» Булгакова в сцене «сеанса черной магии» в варьете: «сверкнуло, бухнуло, и тотчас же из-под купола, ныряя между трапециями, начали падать в зал белые бумажки».

*Поднимаюсь по молчаливой, высланной коврами лестнице. Большая комната... Мерцает синий глаз электрической лампочки* — Есенин лег в клинику 1-го МГУ 26 ноября 1925 г.



## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие Томи Хушпунена.....	5
---------------------------------	---

### ПРОЗА

Циники.....	17
Бритый человек .....	129
Екатерина .....	206
Пироги у Гарибальди .....	472

### МЕМУАРЫ

Роман без вранья .....	501
Комментарии.....	633

Литературное  
приложение

**ОГОНЁК**

**[www.terra.su](http://www.terra.su)**

ISBN 978-5-4224-0737-8



9 785422 407378